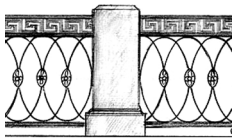

Записки о Петербурге

ЕЛЕНА ИГНАТОВА

ЗАПИСКИ О ПЕТЕРБУРГЕ

Жизнеописание города
со времени его основания
до 40-х годов XX века

Санкт-Петербург
АМФОРА
2005

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
И 26

*Защиту интеллектуальной собственности и прав
издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания
«Усков и Партнеры»*

Игнатова, Е.

И 26 Записки о Петербурге: Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов XX века: В 2 кн. — СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2005. — 815 с.

ISBN 5-94278-788-3

«Записки о Петербурге» Е. А. Игнатовой посвящены истории города — от его основания до 40-х годов XX века. Особый интерес представляет ранее не публиковавшаяся вторая книга, воссоздающая картину городской жизни с 1917 по 1940 г. (на материале архивных документов, редких мемуарных свидетельств, периодики тех лет).

© Е. Игнатова, 2005
© Оформление.
ЗАО ТИД «Амфора», 2005

ISBN 5-94278-788-3

От автора

Повествование «Записок о Петербурге» охватывает почти два с половиной столетия истории города. В первой книге, посвященной периоду от основания Петербурга до двадцатых годов XX века, рассказывается о том, что объединяло разные поколения горожан, о замечательных трагических, а порой и странных событиях, о судьбах петербуржцев, прославленных и безвестных. В свидетельствах людей разных эпох я искала подробности, сохранявшие атмосферу, воздух времени, благодаря которым по-иному увиделись петровские празднества в Летнем саду, или Дворцовая площадь в день екатерининского переворота 1762 года, или Сенатская 14 декабря 1825-го. Жизнь Петербурга — мастерской, в которой выковывалось будущее государства, поражает разнообразием и завершенностью сюжетов. Одни из них читаются как притчи, другие кажутся невероятными вымыслами, и все они составляют историю «самого отвлеченного и самого умышленного города», как назвал его Достоевский. Мне хотелось вглядеться в обыденную жизнь, почувствовать дыхание и тепло давно отшумевших времен, услышать голоса людей прошлых поколений.

Первая книга завершается рассказом о переменах, после которых город утратил положение столицы России, вторая посвящена его жизни в 20—30-х годах XX века. Я писала ее с желанием найти ответ на вопрос «что с нами было», ведь только знание прошлого позволяет нам по-настоящему понять себя и свое время. В основу книги положены устные воспоминания людей старших поколе-

ний, дневники, письма, мемуары, литература, пресса того времени, и благодаря разнородности материалов прошлое начинает приобретать объем и напряжение реальной жизни. В этом времени слишком много болевых точек, оно еще не остыло, и описать его во всей полноте предстоит будущим историкам; моей задачей было рассказать о жизни города той поры, о ее характерных чертах, событиях и людях. «Записки о Петербурге» — книга о любви к странному, прекрасному городу и к замечательным людям, присутствие которых наполняло его жизнь духовным смыслом и во многом определяло его судьбу.

Я искренне признательна А. К. Магарику, В. Д. Родионову, С. К. Егорову, Р. Д. Тименчику, М. Р. Хейфецу, С. А. Зонину, Т. С. Царьковой за помощь и содействие в подготовке этой книги.

КНИГА ПЕРВАЯ

Начало города

Орел над островом.
Возведение крепости. Петропавловский собор.
«Красные хоромы» и Адмиралтейский дом.
Заселение Петербурга

«Что провинции Карелия и Ингрия или Карельская и Ижорская земля со всеми прилежащими ко оным уездами, городами и местами издревле ко Всероссийской империи принадлежали, то не могут и сами шведы отрещи», — писал один из сподвижников Петра I, П. П. Шафиров в «Рассуждениях, какие законные причины его величество Петр Великий... к начатию войны против Карла XII шведского в 1700 году имел...».

Действительно, Ижорская земля, на территории которой был построен Петербург, до XVII века входила в состав новгородских земель. Шведы неоднократно пытались захватить ее, но новгородцы всякий раз отражали нападение. В этой борьбе принял участие и князь Александр Невский, впоследствии канонизированный православной церковью.

В 1237 году папа Григорий IX объявил крестовый поход против язычников — финнов и славян. Шведское войско под предводительством ярла[1] Биргера пришло на берега Невы и здесь было встречено новгородцами во главе с князем Александром. 15 июля 1240 года в битве

[1] У скандинавских народов ярл — представитель родовой знати. (*Здесь и далее примеч. автора.*)

на поле при впадении реки Ижоры в Неву новгородцы одержали победу над шведами. В память об этой победе Петр I в 1710 году заложил в строившемся Санкт-Петербурге Александро-Невский монастырь. В начале XVII века, в тяжелейшее для русского государства Смутное время, шведы, воспользовавшись междоусобицами в России, захватили Ижорскую землю.

Но сто лет спустя на берегах Невы вновь появились русские войска. В апреле 1703 года они, под командой генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева, осадили шведскую крепость Ниеншанц. В осаде принимал участие и Петр I. Когда гарнизон крепости сдался, Петр переименовал ее в Шлотбург и собирался сделать своим оплотом на отвоеванных землях. Но крепость находилась вдалеке от устья Невы, откуда можно было ждать нападения шведов. Поэтому царь с приближенными объехал многие острова невской дельты в поисках места для нового русского укрепления. В сочинении анонимного автора XVIII века, озаглавленном «О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга», так повествуется об основании города:

«В лето от первого дни Адама 7211.
По Рождестве Иисус Христове 1703. Май.

14-го Царское Величество изволил осматривать... устья Невы-реки и островов и усмотрел удобный остров к строению города. (Оный остров тогда был пуст и обросши был лесом, а именовался Люистранд, то есть веселый остров.) Когда сшел на средину того острова, почувствовал шум в воздухе, усмотрел орла парящего, и шум от парения крыл его был слышен; взяв у солдата багинет и вырезав два дерна, положил дерн на дерн крестообразно и, сделав крест из дерева и водружая в дерны, изволил говорить: „Во имя Иисус Христово на сем месте будет церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла“...

15-го изволил послать несколько рот солдат, повелел берега оного острова очистить и, леса вырубя, скласть в кучи. При оной высечке усмотрено гнездо орлово на того острова дереве.

16-го, то есть в день Пятидесятницы, по Божественной литургии, с ликом святительским... изволил шествовать на судах рекою Невою и по прибытии на остров Люистранд, и по освящении воды, и по прочтении молитвы на основание града, и по окроплении святою водою, взял заступ и первый начал копать ров. Тогда орел с великим шумом парения крыл от высоты опустился и парил над оным островом.

Царское Величество, отошед мало, вырезал три дерна и изволил принести к означенному месту. В то время зачатого рва выкопано было земли около двух аршин глубины и в нем был поставлен четвероугольный ящик, высеченный из камня, и по окроплении того ящика святою водою изволил поставить в тот ящик ковчег золотой, в нем мощи святого апостола Андрея Первозванного, и покрыть каменною накрышкою, на которой вырезано было: „По воплощении Иисус Христове 1703 мая 16 основан царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем Всероссийским“. И изволил на накрышку оного ящика полагать реченные три дерна с глаголом: „Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. Основан царствующий град Санкт-Петербург“. Тогда его Царское Величество... от всех тут бывших поздравляем был... при том была многая пушечная пальба. Орел видим был над оным островом парящий. Царское Величество... изволил размерить, где быть воротам, велел пробить в землю две дыры и, вырубив две тонкие березы... поставлял в дыры в землю наподобие ворот. И когда первую березу в землю утвердил, а другую поставлял, тогда орел, опустясь от высоты, сел на оных воротах; ефрейтором Одинцовым оный орел с ворот снят.

Царское Величество о сем добром предзнаменовании весьма был обрадован: у орла перевязав ноги платком и надев на руку перчатку, изволил посадить у себя на руку и повелел петь литию. По литии и окроплении ворот святою водою... изволил выйти в оныя ворота, держа орла на руке, и, сшед на яхту, шествовал в дом свой царской... Веселие продолжалось до 2 часов пополуночи, при чем была многая пушечная пальба.

Оный орел был во дворце; по построении на Котлине острову крепости святого Александра... отдан на гауптвахту с наречением орлу комендантского звания. (Жители острова, который ныне именуется Санктпетербургский... сказывали, будто оный орел этот был ручной, а житье его было на острову, на котором ныне город Санкт-Петербург.)...»

Этот орел, столь кстати появившийся над русским царем, придает церемонии подлинно эпический характер и ставит историю основания «царствующего града» в ряд с легендами об основании великих городов. По преданию, именно орел указал византийскому императору Константину Великому место для строения Константинополя.

Крепость Санкт-Петербург построили в небывало короткий срок: 22 июня, через два месяца после ее закладки, войска, стоявшие до этого в Ниеншанце, перешли в ее казармы, а еще через два месяца строительство было завершено. Крепость возводили с такой поспешностью, опасаясь нападения шведов. В плане она представляла собой вытянутый шестиугольник, по углам которого высились мощные бастионы. Для ускорения дела царь и его приближенные сами руководили работами. По их именам и названы бастионы: Государев, Головкин, Зотов, Трубецкой, Нарышкин, Меншиков. Первоначально крепость была земляной, в камне ее начали перестраивать с 1706 года. Она была мощным оборонительным сооружением: высота стен — девять метров, толщина — около двадцати, со всех сторон ее окружает река.

Крепость Санкт-Петербург стала центром, вокруг которого вырастал город. Строили ее солдаты, пленные шведы, крестьяне, согнанные по приказу Петра I со всех концов России. Каждое утро с зарей по деревянным, наскоро наведенным через рукав Невы мостам сюда тянулись вереницы работников. Одновременно на строительстве работало около двадцати тысяч человек. Одни насыпали огромные земляные куртины, другие возводили пятиугольники бастионов. Даже самых примитивных орудий труда — тачек, носилок, лопат — не хватало. Землю носили в мешках или просто в подоле одежды. Рабочий день

длился от восхода солнца дотемна, а в первые месяцы строительства — при свете белой северной ночи — они шли непрерывно: одни землекопы сменяли других.

Жили работники в землянках возле крепости, по нескольку десятков человек в каждой. Провизию в город доставляли издалека, по воде, а когда на Ладожском озере начиналось время штормов, в Петербурге наступал голод. Болотистая петербургская земля мало пригодна для земледелия. Среди строителей свирепствовали эпидемии, и смертность от них, голода и холода была велика. Очевидцы рассказывали, что измученные люди утрачивали желание жить и ложились на мокрую землю или в ледяную воду. Ни угрозами, ни побоями их не могли заставить подняться. По некоторым свидетельствам, возведение крепости Санкт-Петербург стоило жизни нескольким десяткам тысяч ее строителей.

За этот поистине египетский труд вольнонаемные работники получали по три копейки в день, а государственным крепостным, которых было большинство, не платили вовсе: их содержали за казенный счет. Кроме того, Петербург стал местом отбывания каторжных работ. Со всей России сюда присылали каторжан, беглых крестьян и солдат, и трудно было найти такие страшные условия жизни, как на этой каторге.

Построенная в крепости деревянная церковь во имя Св. апостолов Петра и Павла отличалась от традиционных для Руси храмов. Она была увенчана шпилем, у входа стояли башенки, на которых в праздничные и воскресные дни поднимали вымпелы. Деревянные стены церкви расписали «под каменный вид желтым мрамором».

В крепости размещались Сенат, Казначейство, работала первая в городе аптека. В казематах находились казармы, а часть их петербургские купцы арендовали под склады. В 1712 году в крепости на месте деревянной церкви началось возведение главного собора города по проекту архитектора Д. Трезини. Ее строительство продолжалось двадцать два года. Петропавловский собор и по сей день является одним из главных украшений Петербурга. По виду этот величественный памятник петровского

барокко — собор со шпилем колокольни, возносящимся в небеса, — представлялся поэтическому воображению кораблем в воздушном просторе. Шпиль над колокольней появился по желанию Петра I, которому хотелось, чтобы он был выше всех виденных им в Европе. Император не дожил до завершения строительства, но он нередко поднимался с иностранными гостями на шпиль собора, стоявший в лесах, показывая им панораму города.

В соборе похоронены дети Петра I, умершие в малолетстве, здесь погребен и он сам. После смерти Петра в 1725 году саркофаг с его набальзамированным телом шесть лет простоял в строившемся здании. Работы были завершены в 1731 году, и императора похоронили перед алтарем. В Петропавловской крепости трагически закончилась жизнь старшего сына Петра, царевича Алексея. Алексей, его жена Шарлотта, принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская, и его тетка Мария Алексеевна — сестра Петра I, которая была сторонницей Алексея, также погребены в соборе. Отец отказал сыну и его близким и в посмертной милости: их похоронили не в алтарной части, а при входе, в притворе собора. Согласно символике различных частей храма, его алтарная часть соотносится с раем, а в притворе собора обычно помещается изображение Страшного Суда. В соборе погребены все русские императоры, правившие после Петра Великого, кроме Петра II, умершего в Москве, и Николая II.

Автор «Дневника камер-юнкера Берхгольца, веденного им в России в царствие Петра Великого с 1721 по 1725 год», — одного из интереснейших свидетельств о жизни Петербурга той поры, писал: «Крепость Санкт-Петербург, где находится колокольня, построена у самой Невы и имеет несколько толстых и высоких бастионов, уставленных большим числом пушек... Она есть... род парижской Бастилии: в ней содержатся все государственные преступники и нередко исполняются тайные пытки. Многие пленные шведские офицеры содержались в казематах, находящихся там под валом. Она имеет своего особого коменданта, и туда ежедневно назначается большой караул от здешних полков».

Первым комендантом крепости (1704—1720) стал сподвижник Петра Р. В. Брюс. В 1720 году он умер и был похоронен у стены Петропавловского собора, со стороны его алтарной части. Позднее там хоронили и других комендантов Петропавловской крепости. В 70-е годы XX века на Комендантском кладбище велись археологические раскопки, и иногда, разговорившись с экскурсоводом, можно услышать предание о том, что когда открыли гроб Брюса, тело его не было тронуто тлением. На груди его лежала роза, с виду тоже совсем живая. Но через секунду Брюс и роза рассыпались в прах на глазах у археологов.

Неподалеку от крепости на берегу Невы находился дом Петра I — «красные хоромы». Он был построен по образцу домов в голландском городе Саардаме, где русский царь плотничал и учился кораблестроению. В Саардаме Петр занимал маленькую комнату в доме корабельного мастера, носил скромную одежду рабочего и вместе с другими мастеровыми трудился на верфи, получая жалованье. Непритязательный в личной жизни, Петр I и в Петербурге жил в домике, состоявшем из двух небольших комнат и кухни. Стены комнат были обиты беленым холстом, мебель в них стояла лишь самая необходимая, часть ее сделал сам царь. В одной из комнат он работал и принимал своих сановников, другая служила одновременно столовой и спальней. Снаружи деревянный домик был выкрашен на «голландский манер» под кирпич, центр крыши украшала деревянная мортира, а углы крыши — две деревянные «бомбы».

Это незатейливое жилище вполне отвечало вкусам царя. Невысокие потолки, скромное убранство; комната, служившая одновременно мастерской и кабинетом, — так выглядели покои Петра не только здесь, но и во дворцах, где он жил позже. Его нелюбовь к роскоши приводила к курьезным случаям. Во Франции, когда Петр приехал в Версаль, все было приготовлено к встрече. Войдя в роскошные апартаменты, царь задумчиво и с любопытством оглядел огромный зал со столом, украшенным великолепным сервизом, люстры и зеркала, взял с блюда яблоко —

и объявил, что покои ему не подходят, он хочет чего-нибудь поскромнее. Его поселили в дорогом парижском отеле. Он и там не захотел жить в парадных комнатах, а разместился в гардеробной, приказав вместо кровати принести его походную постель, устроенную в кузове кибитки.

Но, не любя роскоши в собственном быту, Петр неуклонно требовал ее в государственном устроении. Великолепные дворцы и парки, роскошные костюмы придворных — всего этого он добивался с деспотической энергией. Новое государство, которое он хотел создать, должно было со временем затмить своим блеском европейские державы. На Петербург в этих планах возлагались особые надежды.

А пока маленький домик царя окружали мазанковые или деревянные дома приближенных. До наших дней из этих строений уцелел лишь дом Петра Великого. Его бережно сохраняли, а в конце XVIII века построили каменный футляр, предохранявший его от разрушения.

Петр I строил город и был готов оборонять его. Император Карл XII, узнав о строительстве Петербурга, высокомерно заметил: «Пусть царь занимается пустой работой строить города, а мы оставим себе славу брать оные». В 1704 году шведы атаковали город с суши и с моря, но были отброшены русскими войсками. В 1708 году армия под предводительством генерала Либекера в последний раз попыталась вернуть Швеции господство на берегах Невы, но русские войска под командованием генерал-адмирала Ф. М. Апраксина разбили ее и тем положили конец этим устремлениям.

Создание русского флота, позволившего отстоять завоеванный выход к Балтийскому морю, Петр начал еще в Воронеже и в Архангельске. Но главную верфь предполагалось построить в Петербурге. В ноябре 1704 года в журнале Петра I появляется запись: «Заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились; длина 200 сажен, ширина 100 сажен». Так было основано Адмиралтейство, центр российского кораблестроения. Адмиралтейскую верфь выстроили в очень короткий срок. В ноябре 1705 года начальник строительства Яковлев доложил петербургскому генерал-губернатору А. Д. Меншикову, что «верфь строением совсем завершилась». В связи со всеми этими чудесами созидания на придворных праздниках, льстя царю, пели: «Бог идеже хочет, побеждается естества чин». Но известно, за счет каких жертв совершались чудеса.

На петербургской верфи были собраны плотники, корабельных дел мастера, резчики, столяры, кузнецы со всех концов России. К 1715 году здесь работало около десяти тысяч человек, но и этого было недостаточно. Повсюду по повторяющимся указам нанимали на работу в Адмиралтейство «для корабельного дела охочих плотников». Рабочий день начинался рано поутру по сигналу колокола и продолжался дотемна. После окончания работы мастеровых обыскивали, чтобы никто не мог утаить чего-нибудь для себя. Жалованье им выплачивали три раза в год. Строили корабли из леса, привезенного с низовий Волги, из Казани, но использовали и местный лес. Поэтому в Петербурге и окрестностях было запрещено срубать дубы. Нарушивших запрет казнили: в разных местах города стояли виселицы. Все работавшие в Адмиралтействе носили одинаковую одежду «немецкого покроя». Бежать отсюда было почти невозможно, ибо по указу царя от 1707 года «взамен бежавших брать их отцов и матерей, и жен и детей или кто в доме живет, и держать их в тюрьме, покамест те беглецы сысканы и в Петербург высланы будут». Для верности здесь же устроили застенок, где пытали и наказывали. И тем не менее многие решались бежать. Печально звучала песня петербургских работных людей:

Не своей волей корабли снащу,
Не своею я охотою,
По указу я государеву,
По приказу-то я адмиральскому.

Первое судно в Адмиралтействе спустили на воду через четыре месяца после постройки верфи — 29 апреля 1706 года. Это был восемнадцатипушечный бомбардирский корабль. В связи с этим событием царь установил

порядок торжественного спуска корабля: ему салютовали орудия, играла музыка, а корабельный мастер получал награду: на серебряном блюде ему подавали серебряные рубли — по три за каждую пушку на судне.

Первый большой военный корабль «открытого моря» — пятидесятичетырехпушечная «Полтава» — был построен на Адмиралтейской верфи в 1712 году. Царь любил повторять, что «всякий потентат (властитель. — *Е. И.*), который едино войско имеет, — одну руку имеет, а который и флот имеет — две руки имеет». Он неусыпно следил за ходом работ на верфи и даже сам трудился там в ранге «баса» — главного мастера на постройке корабля. Люди, желавшие завоевать расположение Петра I, должны были знать, «как делати те суда». Его ближайшие сподвижники вместе с ним обучались кораблестроению в Голландии; и, конечно, не страсть к плотницкому делу побудила А. Д. Меншикова или П. А. Толстого, немолодого уже человека, оставить семью и родину и ехать плотничать в Саардам. При Адмиралтействе работало первое в России учебное заведение, готовившее офицеров флота, — Навигацкая школа. За границей русские дипломаты обязаны были нанимать корабельных мастеров для работы в Петербурге.

В 1710—1711 годах Адмиралтейство занимало обширную территорию, застроенную эллингами, амбарами, мастерскими. Окруженное с трех сторон укреплениями — валом с пятью бастионами и рвом с водой, — оно оставалось открытым со стороны Невы для спуска кораблей. Верфь строили как крепость, она имела стратегическое значение. К двадцатым годам облик Адмиралтейства изменился. Через ров перебросили мосты, деревянные строения заменили более прочными мазанковыми, над башней у южных ворот голландский мастер Я. ван Болес построил шпиль, обшитый железом, увенчав его яблоком, короной и корабликом. Этот символ Адмиралтейства — кораблик на шпиле — был повторен и при позднейшей перестройке главного здания Адмиралтейства в начале XIX века; позже он стал эмблемой города.

К концу жизни Петра I Адмиралтейство считалось одной из крупных европейских верфей, оно в значительной степени способствовало созданию Российского флота. В 1712 году он состоял из 12 фрегатов и 8 галер, а к 1725 году насчитывал уже 48 военных кораблей и 360 галер. Служило на флоте около 15 тысяч матросов. Отличные боевые качества кораблей, построенных в Адмиралтействе, отмечали многие иностранные наблюдатели. Уже упомянутый нами Ф. В. Берхгольц писал в дневнике об осмотре огромных складов со всей оснасткой для судов, матросской формой, корабельным лесом. «Здесь все заготовлено для великого множества кораблей», — заключал он.

Неожиданное усиление могущества России тревожило западные державы. Английский посланник в Петербурге Джефферис писал в Лондон: «Корабли строят здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе». И английские мастера, работавшие в Адмиралтействе, получили королевский приказ покинуть Россию. Но Петр I в ответ на это намного повысил им жалованье, и они остались в Петербурге.

Первыми крупными сооружениями в городе были крепость Санкт-Петербург и Адмиралтейство, имевшие военное значение. Ведь первоначально, до перелома в ходе Северной войны, Петербург строился не как новая столица, а как город-порт, форпост России на отвоеванных землях. Но после Полтавской и других побед стало ясно, что угроза потерять эти территории миновала. В честь победы при Полтаве в Петербурге заложили церковь Св. Сампсония, праздник которого приходился на день битвы — 27 июня.

С этого времени Санкт-Петербург начал быстро заселяться и застраиваться. Первым его генерал-губернатором стал ближайший сподвижник и друг царя А. Д. Меншиков. Через несколько месяцев после основания города, в ноябре 1703 года, в его гавань вошло иностранное торговое судно — голландское, с грузом соли и вина. Генерал-губернатор щедро наградил команду: шкипер получил

500 золотых, а каждый матрос по 15 серебряных рублей за то, что они первыми пришли в новый порт. Это судно снарядили купцы из Саардама, на верфи которого Петр некогда учился строить корабли. Царь оценил любезность: корабль получил особые привилегии и еще много лет приходил с товарами в столицу России. Были объявлены награды второму и третьему иностранным торговым судам, которые прибудут в Петербург.

Между тем по многочисленным указам Петра началось переселение жителей из внутренних областей страны в заложенный на Неве город. Из Москвы в Санкт-Петербург переселили несколько семей дворян и богатых купцов с требованием, чтобы они выстроили себе в отведенных царем местах новые дома. А крестьян и ремесленников сюда переводили постоянно и в большом количестве.

Раньше других в новом городе был застроен соседствующий с Заячьим островом (на котором стоит крепость) Березовый остров. Здесь появились первые улицы. Их названия говорят о том, кто там жил: Большая и Малая Дворянская, Пушкарская, Зелейная[1], Монетная, Ружейная, Посадская... На Большой Дворянской строили дома вельможи — от губернатора Меншикова до канцлера Шафирова.

На другой стороне Невы вокруг Адмиралтейства располагались слободы его служащих, состоявшие из деревянных и мазанковых домов, вытянутых в линии параллельно зданию Адмиралтейства. Эти улицы назывались Офицерскими, Морскими. Ближе к Адмиралтейству стояли дома людей побогаче. Им для застройки отводили участки шириной в двадцать пять и длиной в сорок метров. Дальше, за речкой Мьей (ныне река Мойка), жили солдаты, матросы, мастеровые люди, переведенные на жительство в Петербург. Некоторые слободы в городе так и назывались — Переведенские. Там участки, определенные под застройку, были меньше — длиной в двадцать и шириной в десять метров. Во всех слободах, офицерских и солдатских, дома возводились по образцам, разработанным Трезини. Не все прибывавшие сюда жители могли сразу построить себе дом и были обречены подолгу оставаться без надежного крова, а бедные переселенцы поначалу жили в шалашах или землянках.

Каждый, будь то богатый помещик, боярин или бедный крестьянин, переселение в Петербург принимал как величайшее несчастье. Причин для этого было немало, но мы упомянем одну из них — природные условия этих мест.

[1] Название происходит от слова «зелье», то есть порох.

«Парадиз» среди топей

Печальный край. На Троицкой площади. Иностранцы в Петербурге. Петр и Москва. Строение города, или Любовь к геометрии. Александро-Невский монастырь

Климат и ландшафт средней и южной России отличались от природных условий Петербурга и его окрестностей. Город стоял на болотах, в низине у устья Невы, где от соседства с Балтийским морем царили сырость, дожди, часто случались наводнения. Скудная природа, вечно серое небо, короткое дождливое лето и сырая холодная зима. Петр I называл эти места и свой город «парадизом»; Меншиков, вторя ему, говорил, что это «святая земля». Но были и другие отзывы. Берхгольц, например, писал, «что здешняя земля из-за сырости ничего не родит», и город, если прекращается привоз продовольствия, оказывается на грани голода: «по всей округе трудно найти кусок хлеба».

Итак, земля холодна и неплодородна. Вода. Кажется, в столь сыром месте с нею не может быть проблем. Однако в книге академика Петербургской Академии наук И. Г. Георги «Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного», изданной в 1794 году, читаем: «Вода реки Невы, ее протоков и каналов, протекающая почти во все части города, есть самая легкая, светлая и чистая речная вода. Хотя приезжие во время первых двух месяцев пребывания своего в Санкт-Петербурге

подвержены бывают поносам, надкожной сыпи и другим болезням, обыкновенно приписываемым действию Невской воды, однако же по сделанным химическим испытаниям г. Моделя явилось, что в 80 фунтах воды, черпанной выше города, находится только 68 гранов известковой земли и 3 грана извлекаемого травяного соку... Отсюда и явствует, что все припадки приезжих надлежит приписывать паче перемене образа жизни и другим причинам, нежели действию Невской воды, совершенно заменяющей недостаток колодезной и ключевой воды в столице».

Наука и, в частности, оптимистические выводы г. Моделя заслуживают всяческого уважения, но все же из текста следует, что колодцев и родников на этой земле мало, приходится пить невскую воду, а от нее сыпь, поносы... «Везде, где землю роют, — сообщает Георги, — обретают в глубине от 2 или, если много, до 7 футов болотную воду, почему в домах отчасти совсем погребов в земле иметь не могут, а хотя и имеются, то не более как на 2 или 3 фунта глубины... Сие свойство земли причиняет кроме действий своих над воздухом и многие другие важные неудобствия, как-то: дороговизну и трудность в строении домов, раннейшее гниение деревянных зданий, недостаток годных колодцев и хороших погребов, грязные улицы и скоро портящиеся мостовые, беспокойствия и частию даже опасности от наводнений, коим западные части города подвержены».

Еще через полстолетия петербургский журналист В. Зотов будет с горьким юмором описывать родной климат: «С первыми числами июня оканчивается царство густой грязи и начинается царство жидкой. Календарь показывает наступление лета — предосторожность похвальная, без которой это было бы трудно заметить, и петербуржец, то промокая от дождя, то просыхая от холодного ветра, выставляет двойные рамы и, обвязывая простуженную щеку, говорит: „Пора на дачу“. И те, кто выезжал на дачу, и те, кто оставался в городе, все одинаково чихали. Только одни называли это инфлуэнцией и аккуратно выполняли все предписания домашнего доктора, а другие объ-

ясняли все волей Божьей и пользовались нашептанной водицей, помогавшей не хуже хваленых докторских пилюль».

Н. П. Анциферов, автор замечательной книги «Душа Петербурга», связывает характер города с его местоположением: «Город на болоте. Жизнь на болоте, в тумане, без корней, глубоко вошедших в животворящую мать сыру-землю. Нет корней, и душа распыляется. Все врозь, какие-то блуждающие болотные огни, ненавидят ли, любят ли, всегда мучают друг друга, не способные слиться в одно органическое целое». Эти строки перекликаются с атмосферой петербургских романов Достоевского.

Воспетые Пушкиным белые ночи, с «прозрачным сумраком, блеском безлунным», прекрасны, но их немного в году — да и переселенцам эти ночи с их полярной красотой должны были казаться непривычными и пугающими. Все здесь было чужое, все не похожее на привычную русскую жизнь. И люди умирали в новой столице России, прикованные к ней силой, — от тоски по родине.

Первоначально застраивались левый берег Невы в районе Адмиралтейства и «аристократическая» часть города — Березовый остров. Центральной площадью Петербурга стала Троицкая площадь, расположенная напротив парадного входа в крепость. В 1710 году на ней возвели деревянную церковь Св. Троицы, поставленную Петром I в память о походе на Выборг. Возле церкви находился первый в городе питейный дом. Неподалеку был и двухэтажный Гостиный двор, выстроенный в форме прямоугольника. По царскому указу торговлю вести разрешалось только в Гостином дворе, а товары купцы хранили в казематах крепости. У ручья, протекавшего через территорию Гостиного двора, расположилась первая петербургская таможня.

В 1710 году Гостиный двор, подожженный злоумышленниками, сгорел дотла. На его пепелище по четырем углам поставили виселицы и повесили поджигателей. Вместо деревянного Гостиного двора на этом же месте построили новый, каменный.

На Троицкой площади находились Оружейный двор и первая в Петербурге типография. Питейный дом возле церкви назывался пышно — Царская торжественная аустерия, «посещаемая иногда знатными особами по выходе из церкви». Содержал ее приехавший из Гамбурга Ян Фельтен. В гостеприимной аустерии собирались офицеры, иностранцы, служившие в Петербурге. Это был своего рода клуб, который охотно посещали царь и придворные. Петр присвоил Фельтену звание «кухмейстера его величества», потому что нередко обедал в аустерии, платя за обед по серебряному рублю. Жена Фельтена была известна в городе как сваха, ее стараниями многие молодые люди, посещавшие аустерию, обзавелись семьями.

Неподалеку от аустерии высилась «триумфальная пирамида», на которой в торжественные дни устанавливали транспаранты[1]. Освещенные огнями фейерверка, они превращались в ярко расцвеченные картины. Возле Троицкой площади находилась и торговая гавань. В первые годы жизни Петербурга эта площадь была городским центром: здесь происходили торжественные церемонии, праздники, маскарады, здесь казнили важнейших преступников.

Кроме русских переселенцев значительную часть населения Петербурга составляли иностранцы. По указам Петра российские дипломаты в Европе приглашали и нанимали на службу мастеров различных профессий, архитекторов, художников, военных. Положение иностранцев, приехавших в Россию, коренным образом отличалось от положения русских всех сословий — «исконных рабов» царя. Они получали хорошее жалованье, многие привилегии, пользовались царским покровительством.

В Петербург съезжались люди разных национальностей, многие из них остались в России навсегда, породнившись с русским дворянством. Благодаря А. С. Пушкину мы помним об одном из таких экзотических пришель-

[1] Транспарант (*фр.* transparent — прозрачный) — прозрачная картина, освещаемая сзади; просветная картина.

цев — о крестнике Петра А. П. Ганнибале. Однако «изо всех иностранных здесь жительствующих народов немцы суть многочисленнейшие... Преимущества, дарованные Петром Великим и наследниками его всем иностранцам, привлекали их в Санкт-Петербург; ибо всякий, кроме беспрепятственного исправления богослужения по собственному его закону веры, пользуется свободою своим искусством, ремеслом, художеством или иным честным образом приобретать себе стяжания и потом имеет право с имением возвращаться куда ему угодно», — писал И. Г. Георги.

Царь охотно встречался и беседовал с иностранными мастерами, как со всеми, у кого считал полезным учиться. Шотландец П. Г. Брюс, капитан русской армии, вспоминал, что во время приемов и ассамблей Петр поддерживал беседу «соответственно профессиям и занятиям присутствующих, особенно с капитанами иностранных торговых судов, очень подробно вникая в существо их торговли. Я видел, что голландские шкиперы держались с ним весьма вольно, называли его не иначе, как „шкипер Петер“, чем царь был очень доволен. Между тем он хорошо использовал получаемые от шкиперов сведения, постоянно занося их в свою записную книжку». О своеобразном демократизме царя писал в «Истории Петра» А. С. Пушкин: «Когда народ встречался с царем, то по древнему обычаю падал перед ним на колени. Петр Великий в Петербурге, коего грязные и болотистые улицы не были вымощены, запретил коленопреклонение, а как народ его не слушался, то Петр Великий запретил уже сие под жестким указом, дабы народ ради его не марался в грязи».

Царь не был бездумным приверженцем всего, что приходило с Запада. Характерен случай, описанный одним из приближенных Петра А. К. Нартовым: в Петербург прибыла труппа иностранцев — плясунов и акробатов. По этому поводу царь строго отчитал обер-полицмейстера А. М. Девьера: «Здесь надобны художники, а не фигляры: Петербург не Париж. Пришельцам-шатунам сорить деньгами грех».

«Художниками», первыми архитекторами Петербурга, были итальянец Доменико Трезини, француз Жан-Батист Леблон и другие замечательные европейские мастера. Основателю города хотелось, чтобы новая столица России ни в чем не уступала европейским городам и походила на них. Художник А. Н. Бенуа, знаток и ценитель Петербурга, писал в статье «Живописный Петербург»: «Только намерение было сделать из Петербурга что-то голландское, а вышло свое, особенное, ровно ничего не имеющее с Амстердамом или Гаагой. Там узенькие особнячки, аккуратненькие, узенькие набережные, кривые улицы, кирпичные фасады, огромные окна... здесь — широко расплывшиеся, невысокие хоромы, огромная река с широкими берегами, прямые по линейке перспективы, штукатурка и небольшие оконца».

В 1708 году в Петербург из Москвы переехала семья царя, в 1712 году — двор. С 1712 года новый город действительно стал резиденцией царя и столицей России. Но странное дело: при невероятном количестве петровских указов не было указа о перенесении столицы, хотя уже в 1704 году Петр называл в письме Петербург именно так. Очевидно, он принял решение задолго до того, как, минуя законодательные формы, поставил Россию перед фактом, переселившись в новый город и постепенно переводя сюда административные учреждения. Для «разжалования» Москвы царь имел личные причины: с нею, хранительницей старого уклада, у него были давние счеты. В Москве ему пришлось бороться за власть со старшей сестрой Софьей; там в детстве и юности он пережил ужас боярских и народных смут, в которых погибли его родственники.

И Москва не любила Петра: в городе помнили его юность, с буйством и опасным озорством, его давнюю дружбу с иноземцами Кукуй-слободы, наконец, его расправу со стрельцами. Московские стрельцы — военный оплот столицы — открыто выступили на стороне царевны Софьи и поплатились за это. Ужас расправы, сотни замученных, повешенных на зубцах кремлевских стен;

молодой царь, который не хуже палача рубил головы подданных, — такое не забывалось.

В 1702 году из Москвы раздались слова Г. Талицкого о грядущем конце света и пришествии царя-антихриста — Петра. Талицкий и его приверженцы были казнены, но сказанное ими разнеслось по всей России. В Москве, в этом «поповском городе», как называл его Петр, в окружении его сына Алексея складывались неясные планы поворота к старому.

По убеждению царя, этот город был тесен, мятежен, опасен, он противился царской воле. Столицей должен стать Санкт-Петербург, построенный по его плану, образ жизни и состав населения которого он продумал до мелочей. А главное, город стоял у моря, а к морю и мореходству царь питал особое пристрастие. Родственницы Петра — вдова его брата Ивана с дочерьми и сестры царя — прибыли в Петербург в апреле 1708 года. Царь с приближенными встречал их на судне у Шлиссельбурга, за ним следовал его флот. При встрече в их честь была «многая пушечная пальба», которая едва ли обрадовала бедных женщин.

По замыслу Петра, заселение столицы производилось по сословному принципу. По его указам сюда переселялось определенное количество дворян, купцов, ремесленников, крестьян, и каждому сословию отводили место для жительства.

Центром города должен был стать Васильевский остров, здесь следовало селиться дворянам, богатым купцам, иностранным мастерам. Знатным людям велено возводить дворцы на Васильевском острове или в окрестностях старого центра — Троицкой площади. На Адмиралтейском острове обосновались служащие Адмиралтейства, а на Городском (Березовом) — мастеровые и солдаты.

Все городские части застраивались улицами — линиями. В первых линиях стояли дома богатых людей, за ними следовали дома людей победнее.

«У царя страсть к прямым линиям. Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможно было, он построил бы весь город по линейке и циркулю. Жителям указано строиться линейно, чтобы... улицы и переулки были ровны и изрядны... Гордость царя — бесконечно длинная, прямая, пересекающая весь город „Невская першпектива“. Она совсем пустынна среди пустынных болот, но уже обсажена тощими липками в три-четыре ряда и похожа на аллею. Содержится в большой чистоте. Каждую субботу подметают ее пленные шведы. Многие из этих геометрически правильных линий воображаемых улиц — почти без домов. Торчат только вехи» (Д. С. Мережковский. «Петр и Алексей»).

Сословный принцип соблюдался и при возведении домов. Строить полагалось не так, как хотелось хозяину, а строго по предписанию. Указ царя от 26 марта 1712 года гласил: «Тысяча лучших фамилий: стольников, дворян... обязаны строиться вверх по реке от царского дворца... из бревен и извести по драни, на староанглийский манер. Пятьсот именитейших купеческих семейств и пятьсот торговцев менее именитых должны выстроить себе деревянные дома на противоположном берегу Невы, против дворянских домов... Две тысячи ремесленников всякого рода: маляров, портных, столяров, кузнецов и проч. должны устроиться на той же стороне вплоть до Ниеншанца. В сумме сюда указом Сената должно быть выписано и населено к следующей зиме пять тысяч семейств».

За планировкой и строительством типовых зданий наблюдали архитекторы. Сначала дома были деревянными и мазанковыми, с 1714 года указано строить в столице лишь каменные. Возведение каменного Петербурга было решено с присущим царю размахом: по всей России с 1714 года запрещалось строить каменные здания в течение нескольких лет. Волей-неволей в поисках работы каменщики потянулись в Петербург.

Каждому переселенцу отводился участок земли, который он должен был застроить для себя по типовому проекту. Если он медлил, то подвергался штрафу, а на второй раз — более суровому наказанию. Поэтому город и рос с такой быстротой: к 1716 году в нем было около 34 тысяч зданий: деревянных, мазанковых, каменных. О по-

следствиях этой сказочной быстроты в строительстве писал член польского посольства, посетивший Петербург в 1720 году: «Этот город поделен на очень большие участки, на которых каждый сенатор, министр и боярин должен иметь дворцы, иным пришлось поставить и три, если было приказано. Счастлив был тот, кому отвели землю на сухом месте, но тот, кому достались болото и топи, — изрядно попотел, пока укрепил фундамент и выкорчевал лес... Еще и теперь, хотя дворцы уже закончены, они трясутся, когда мимо них проезжает коляска; это из-за слабого фундамента... Здесь есть церкви, коллегии, дворцы и так называемые лавки, в которых всего вдоволь... Дворцы просторны и выстроены из кирпича с флигелями, кухнями и удобствами, но поскольку строились в спешке, то тес отваливается уже при небольшом ветре...»

Предметом особых забот Петра I стал Васильевский остров — будущий центр столицы. Здесь возводились дворцы и правительственные здания. Остров должен был походить на Венецию или Амстердам. План его застройки, придуманный царем, составляли прямые линии: три проспекта — Большой, Средний и Малый — пересекались целой сетью улиц-линий. Проспекты и каждая третья линия должны были стать каналами. На пересечении каналов предполагалось устроить бассейны. Эта идея захватила самодержца-мечтателя всерьез. Вышел указ дворянам и купцам, населяющим остров, «при своих палатах делать гавани... делать к двум домам одну гавань, как покажет архитектор Трезини, а без гаваней тех палат не делать... понеже таковые гавани весьма тем жителям будут потребны для их домовых нужд». Передвигаться по будущим каналам острова следовало на лодках. Можно представить чувства бедных жителей, совершенно непривычных к такому флотскому существованию. Лишь генерал-губернатор Меншиков, «Данилыч», как ласково называл его царь, оказался на высоте: Большой канал (ныне Большой проспект Васильевского острова), ведущий к морю, должен был пересечь сад у его дворца и завершиться бассейном на площади (ныне Стрелка Васильевского острова).

Но в истории с каналами Васильевского острова бурная энергия царя столкнулась с тайным сопротивлением новой столицы. Конечно, каналы рыли, как было приказано, но работы двигались не слишком быстро, а Петр часто оставлял свой город, ведя дела в России и за границей. Правда, и издали он засыпал Петербург указами о строительстве и благоустройстве. В 1718 году царь вернулся в город после длительного отсутствия. Каналы на Васильевском острове частью уже были вырыты. Он вместе с Трезини объехал улицы-линии, осмотрел каналы, все больше мрачнея. Они казались слишком узкими. Царь отправился к голландскому резиденту в Петербурге и попросил у него карту Амстердама. По карте вычислил ширину тамошних каналов — и подозрение оказалось верным: на Васильевском острове они были значительно уже. «Все испорчено!» — воскликнул Петр Великий в сильном огорчении. Копирование Венеции и Амстердама не удалось. Больше он к этой идее не возвращался. Каналы постепенно перестали рыть, жители не без тайной радости оставили сооружение гаваней «для домовых нужд». После смерти Петра работы были совсем заброшены. А засыпали каналы на Васильевском острове лишь во второй половине XVIII века. Большой канал превратился в очень широкий Большой проспект, по сторонам которого проложили дренажные канавы, а позже насадили аллеи; и не раз впоследствии городское управление ломало голову над тем, как благоустроить этот проспект шириной больше 85 метров!

Первым украшением Васильевского острова стал дворец А. Д. Меншикова, построенный в 1710 году. Он был сооружен с большим размахом, во-первых, потому, что царь требовал роскошного образа жизни от своих приближенных, а во-вторых, потому, что сам Меншиков, человек из низов, имел неодолимую тягу к роскоши и богатству. Усадьба Меншикова занимала огромную территорию: каменный дворец соединялся каналом с деревянным, называвшимся Посольским, за которым стояла каменная церковь с высокой колокольней и часами-курантами. Возле церкви находился дом княжеского дворецкого, лучший в

городе после меншиковского. За постройками начинался сад с оранжереями, фонтаном, цветниками, окруженный красивой оградой. Большой канал, проходивший через сад, кончался на взморье, где стоял деревянный дом с башней-маяком и обозревательной площадкой. Размеры усадьбы Меншикова были так велики, что впоследствии в ней разместилось крупное учебное заведение — Первый Кадетский корпус.

Меншиковский дворец — трехэтажное каменное здание, построенное «по итальянскому образцу», со сводчатыми потолками, множеством богато убранных помещений. На фронтоне его красовались шесть статуй, а боковые выступы фасада с балконами были увенчаны княжескими коронами. В этом дворце устраивались придворные праздники, здесь справляли свадьбы знатных людей. Дом Меншикова являлся своего рода «образцовым дворцом», где соотечественникам давался образец хорошего тона, а иностранцы должны были убедиться, что и в России можно жить изящно и изысканно. Возвращаясь после трудового дня и видя ярко освещенные окна Меншиковского дворца, слыша музыку, Петр с удовольствием замечал: «Вот развеселился Данилыч!» Но, поощряя стремление приближенных к стилю европейской придворной жизни, Петр Великий сурово наказывал их, когда деньги для этого они добывали из государственной казны. Одна из ссор царя с Меншиковым была связана с постройкой здания Двенадцати коллегий на Васильевском острове — замечательного архитектурного сооружения той эпохи.

Петр I реформировал аппарат управления страной: вместо старых Приказов были организованы двенадцать Коллегий, каждая из которых ведала какой-либо сферой государственной жизни. Они имели более четкие, сравнительно с Приказами, задачи и полномочия, сотрудников их подбирали под контролем царя. Кроме того, Петр I учредил Сенат — высший орган по делам законодательства и государственного управления. В 1722 году для Сената и двенадцати Коллегий на Васильевском острове начали строить здание по проекту Трезини, победившему на первом в России конкурсе проектов.

Главным, почти четырехсотметровым фасадом здание выходило на площадь, названную тогда Сенатской (ныне Менделеевская линия Васильевского острова). Оно состояло из двенадцати частей-корпусов — по числу Коллегий. Каждая часть имела свой вход и парадно оформленный фасад. Но строительство здания Двенадцати коллегий оказалось не только долгим (закончено в 1742 году): еще до окончания работ его пришлось ремонтировать. Отчасти потому, что Трезини не учел разрушительного действия местного климата, а отчасти потому, что Меншиков, взявший на себя руководство строительством, плутовал, поставляя плохие материалы по высокой цене. К казнокрадам Петр был беспощаден, невзирая на их титулы и заслуги. Нескольких сановников за это казнили. Меншикову повезло — по старой дружбе царь наказал его «домашним способом»: заметив плутовство, он прогнал своего генерал-губернатора по всей четырехсотметровой длине здания, немилосердно колотя его тяжелой тростью, и заставил исправить недоделки. Здание Двенадцати коллегий — один из лучших памятников петербургской архитектуры первой половины XVIII века. С 1819 года в нем находится Санкт-Петербургский университет.

За Меншиковским дворцом и зданием Двенадцати коллегий на первых линиях Васильевского острова располагалась Французская слобода: здесь жили художники, архитекторы, ремесленники, в основном французы. На набережной Невы строились типовые дома «именитых людей». Но желание царя сделать этот остров центром столицы не осуществилось. Центр постепенно сложился на противоположном берегу Невы.

Петр I отчасти сам предрешил это, выстроив там свою резиденцию — Летний дворец — в Летнем саду, месте придворных праздников и приемов. За Летним садом находился дворец жены Петра, Екатерины, окруженный домами ее придворных. Напротив Летнего сада, отделенный от него каналом, простирался Царицын луг (ныне Марсово поле), место народных гуляний. За Царицыным лугом, ближе к Адмиралтейству, начинались Финские

шхеры — слобода финских и шведских мастеров — и Немецкая слобода.

На набережной Невы, неподалеку от дворца Петра, находились дворцы родственников царя. В окрестностях Литейного проспекта — дворец сына Петра I Алексея, построенный в 1712 году, дома его тетки Натальи Алексеевны и вдовы старшего брата Петра Марфы Матвеевны. Будущий центральный проспект Петербурга — Невский или Невская першпектива — представлял собой длинную аллею, прорубленную в лесу и замощенную булыжником. По сторонам ее почти не было построек. Аллея вела к мужскому монастырю, основанному Петром в 1710 году в честь победы Александра Невского над шведами в Невской битве в 1240 году. Он именовался монастырем «Живоначальные Троицы и Святого Благоверного великого князя Александра Невского», но обычно его называли проще — Александро-Невским.

В 1712 году началось строительство первой деревянной церкви Благовещения, затем монастырских келий. Царь следил за возведением монастыря с живейшим участием, подарил ему больше двадцати пяти тысяч крепостных и обширные земли «на обзаведение». Государственная казна постоянно и очень щедро помогала монастырю. И вскоре он стал чрезвычайно богатым. Отчего же царь, вообще недолюбливавший монахов, а в случае нужды и прибиравший к рукам церковное достояние (не хватало меди для пушек — приказано снимать и переплавлять церковные колокола), изымавший церковное имущество, так заботился о строительстве и укреплении нового монастыря?

Его быстрое возвышение входило в планы Петра I об усилении новой столицы. Прежние столицы России были освящены в глазах народа авторитетом почитаемых национальных святынь: Киев — Киево-Печерской лаврой, Москва — исторической связью с Троице-Сергиевым монастырем. Это обстоятельство давало Киеву и Москве моральное право «первородства». Монастыри были центрами паломничества русских людей; их авторитет и

величие осеняли и государственную власть, и личность царя-покровителя. Поэтому мысль Петра I об основании в Петербурге монастыря и его возвышении, о перенесении сюда мощей святого Александра Невского из Владимира была понятна.

Александро-Невский монастырь вырос на берегу реки Монастырки при впадении ее в Неву. Вскоре после возведения деревянной церкви Благовещения в нем началось каменное строительство по проекту Трезини: при жизни Петра I возвели церковь Благовещения с верхней Александро-Невской церковью, монашеские кельи, хозяйственные здания. В современном виде монастырь сложился к концу XVIII века. При Петре I у его главных ворот, обращенных к Неве, находилась пристань; на монастырской стене стояли пушки, салютовавшие в дни торжеств.

30 августа 1724 года монастырь Святого Благоверного князя Александра Невского праздновал свое величайшее торжество: сюда переносили из Владимира мощи Александра Невского. Святую реликвию везли на яхте из Новгорода. Навстречу ей вышла празднично украшенная петербургская флотилия. Возглавлял ее Петр, плывший в ладье со своими ближайшими сподвижниками. Ладья подошла к яхте, царь сам перенес реликвию в ладью, поставил под роскошный балдахин, встал у руля, а вельможи-гребцы заработали веслами. Монастырь встречал приближающуюся флотилию самым торжественным образом. Мощи поместили в только что освященную Александро-Невскую церковь, а впоследствии перенесли в главный собор монастыря — Троицкий.

При монастыре работали Славянская школа — первое духовное учебное заведение в Петербурге — и типография. Александро-Невский монастырь, по замыслу царя, должен был стать и усыпальницей царской семьи. В каменной Благовещенской церкви покоятся сестра Петра I Наталья Алексеевна, невестка Прасковья Федоровна, его сын Петр Петрович, умерший во младенчестве, ближайшие сподвижники. Нынешний главный собор — Свято-Троицкий — был также заложен по плану Петра I, но построили его лишь в конце XVIII века.

В 1797 году Александро-Невский монастырь стал лаврой[1] — третьим по значению церковным центром после Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавры и одним из богатейших монастырей России.

В других районах города, заселенных в Петрово время, находились пороховой завод, шпалерная фабрика, разного рода мастерские и убогие слободы работных людей. Численность населения Петербурга того времени историки определяют лишь приблизительно: предполагается, что к концу царствования Петра Великого в столице было около сорока тысяч жителей.

Таков в общих чертах очерк устроения Санкт-Петербурга в Петрово время. Пора обратиться к жизни и быту петербуржцев.

[1] Лавра — название некоторых крупнейших мужских православных монастырей. К 1917 г. в России было 4 лавры: Киево-Печерская, Троице-Сергиева, Александро-Невская и Почаевско-Успенская.

Будни, праздники, события

«Жесткий дух порядка». Обязанности горожан. Немецкое платье и налог на бороды. День Петра I. Царская забота о просвещении подданных. Праздники и торжества. «Всепитейный собор». Ассамблеи. Фискалы и обер-инквизиторы. Судьба царевича Алексея. Смерть Петра Великого

Жизнь Санкт-Петербурга в первой четверти XVIII века, как обыкновенно случается в начале жизни городов, была полна трудностей, напряженной работы, но уже пробивались мало заметные ростки нового, которые дадут всходы позже. После первых, бедственных для переселенцев лет, тысяч смертей и жертв бытие постепенно входило в русло, складывался стиль жизни новой столицы. Этот стиль диктовался прежде всего волей Петра: царь вникал во все мелочи, его указы следовали один за другим. По поводу этой законодательной лихорадки даже советская историческая наука, с ее идеализацией личности «революционера на троне», признавала: «Деспотические приемы управления Петра находили выражение в подробнейшей регламентации жизни подданных царя. Из Петербурга шел поток указов, предписывающих жителям России, как они должны одеваться, строить жилища, жать, выделывать кожи, развлекаться, как они должны отнестись к предстоящему солнечному затмению... Русское законодательство не знало такого мелочного регламентирования, как при Петре».

Указы Петра были обращены ко всей России, но в первую очередь они неукоснительно соблюдались в Петербурге. Здесь жизнь устраивалась наново, ее можно

было организовывать, не ломая старого, укоренившегося уклада. Жители столицы были регламентированы во всем: к примеру, под страхом ссылки и каторги запрещалось подбивать сапоги гвоздями и скобами, «ибо таковые портят полы, а купцам торговать такими сапогами» (указ 1715 года) — и многое в том же роде. Пушкин заметил, что обыкновенно петровские указы бывали рациональны, но наказание за их невыполнение смертью, каторгой, ссылкой делало их тиранническими. Царь многому в русской жизни объявил беспощадную войну, и народ отвечал ему ненавистью. Мастерской, «опытным участком» для деятельности Петра Великого стал Петербург — образцовый город, создаваемый в противовес Москве и старой России.

«В Петербурге есть именно тот римский жесткий дух порядка, дух формально совершенной жизни, несносной для общественного разгильдяйства, но бесспорно не лишенный прелести», — писал А. Н. Бенуа в статье «Живописный Петербург». Прелесть «жесткого духа» для человека XX века, через двести лет после основания города была очевиднее, чем для людей начала XVIII века, для русских, привычных к жизни, в которой наряду с деспотизмом присутствовал дающий известную свободу элемент «общественного разгильдяйства».

Трагическая борьба Петра со старой Россией, Петербурга с Москвой оплачена страданиями миллионов русских людей, в том числе и близких царя. Мы уже приводили слова, которые льстили Петру Великому: «Бог идеже хощет, побеждается естества чин». Местом противоборства воли Петра и «чина естества», законов природы, стала новая столица.

«Петербургская осенняя ночь с ее туманами или ветрами напоминает, что под городом древний хаос шевелится», — писал Н. П. Анциферов о таящейся до времени природной стихии, грозящей городу. Ее сила дала о себе знать уже в начале его существования: первое большое наводнение случилось в августе 1703 года. В 1706 году царь сообщал в письме Меншикову, что в Петербурге опять наводнение, в царских покоях вода стояла в 21 дюйм

(52 см. — *Е. И.*) высотой, продолжалось это часа три, по улицам ездили на лодках, и «зело утешно было видеть», как не только мужики, но и бабы сидели на деревьях и крышах. Сообщается об этом мельком и в юмористическом тоне. Письмо помечено по обыкновению: «Из парадиза». Это наводнение уничтожило многие постройки, не говоря уже о землянках, в которых жили рабочие. Низкие болотистые берега Невы ежегодно заливало водой; иногда во время сильных наводнений вода не спадала в течение нескольких часов.

В таких случаях, как, например, в 1715 году, «весь город понят (покрыт. — *Е. И.*) был водой». При жизни Петра подобных стихийных бедствий было несколько: в 1703, 1706, 1715, 1720, 1724 годах. И в отличие от царского, их описания у других очевидцев, например, у Ф. В. Берхгольца, далеко не юмористические: «Из дома... можно было видеть все, что происходило на реке. Невозможно описать, какое страшное зрелище представляло множество оторванных судов, частью пустых, частью наполненных людьми; они неслись по воде, гонимые бурей, навстречу почти неминуемой гибели. Со всех сторон плыло такое огромное количество дров, что можно было в один день наловить их на целую зиму... На дворе вода доходила лошадям по брюхо; на улицах же почти везде можно было ездить на лодках. Ветер был так силен, что срывал черепицы с крыш». Наводнения стали постоянным бедствием Петербурга, и нам не раз придется упоминать о них.

Другой сферой борьбы царя с «чином естества» стало нежелание его подданных селиться в определенных для них частях города. Несколько раз повторялись указы о ломке крыш, о разрушении домов тех, кто поселился в не положенном по сословному чину месте или построил дом не по типовому проекту. Однако подданные порой проявляли возмутительную самостоятельность, и жесткий сословный принцип расселения не был соблюден в той мере, в какой требовал Петр. Здравый смысл, инстинкт, заставляющий выбирать оптимальные условия жизни, сопротивлялись воле царя со стойкостью закона природы.

Вообще некоторые периоды истории России поражают, на первый взгляд, отсутствием волевого (за исключением крестьянских восстаний) народного сопротивления тирании. Но еще поразительнее другое свойство: способность народа выжить, выстоять в самые тяжелые времена, каких было немало в истории Отечества, — и не просто физически выжить, а сохранить человечность, доброту, возможность духовного возрождения.

Петербургу суждено было жить, и в нем исподволь складывался собственный бытовой уклад, появлялись новые общины. Среди первых горожан оказались переселенцы из северных областей России, которым отводилось по царскому указу место в окрестностях бывшей шведской крепости Ниеншанц. Среди них преобладали плотники, приписанные к Адмиралтейству. Они и составили население Большой и Малой Охты.

По специальному петровскому указу охтинцы считались вольными поселенцами и наделялись землей. На своей городской окраине они быстро обзавелись хозяйством, стали заниматься огородничеством и, пережив первые трудные десятилетия, образовали крепкую, сплоченную общину. Это были сильные, красивые, рослые люди, мастера на все руки.

К концу XVIII века среди охтинцев насчитывалось немало людей зажиточных: отсюда в центр города поставляли молочные продукты. В романе Пушкина «Евгений Онегин», в картине утренней жизни столицы появляется характерная фигура жительницы Охты, разносящей молоко: «С кувшином охтинка спешит».

Эта община жила замкнуто и подчинялась строго установленным правилам. Поэтому охтинцы следили за тем, чтобы девушки из слободы не выходили замуж на сторону. А красивые, стройные охтинки привлекали внимание. И горе было купцу или мещанину, который всерьез начинал ухаживание, появляясь на улочках Охты. Местная молодежь колотила незадачливого воздыхателя, чтобы он поискал себе подругу в других местах.

Не только Охта, но и другие части столицы со временем приобрели собственный колорит, характерные черты.

В 1710-е годы в столице началось мощение улиц. В окрестностях города почти не было пригодного камня, поэтому в 1714 году Петр издал указ о том, чтобы его доставляли все прибывающие в Петербург суда, обозы и даже пешеходы. Мощение начали с центральных улиц; занимались этим пленные шведы под началом немецких каменщиков. А на остальных улицах и в переулках каждый домовладелец должен был за свой счет замостить булыжником участок перед своим домом до середины проезжей части и выстлать плитами пешеходную дорожку во всю длину дома. Вообще по указам Петра I у жителей столицы было множество обязанностей. Вплоть до того, что хозяевам домов на набережной Невы предписывалось своими силами извлекать из воды затонувшие возле их домов суда!

Каждую улицу закрывали на ночь шлагбаумами, и ее обитатели поочередно несли ночную караульную службу. В эти часы по городу разрешалось ходить лишь знатным людям, командам солдат, врачам и священникам. Они, в свою очередь, могли появляться на улице только с факелами. Караульная служба была необходима, так как в городе промышляло много разбойников. Пойманного разбойника немедленно казнили; на Троицкой площади стояли столбы с железными прутьями, на которые насаживали головы казненных; здесь же лежали их четвертованные тела. Однако грабежи не прекращались, и немудрено — ведь город был местом отбывания каторжных работ!

В 1723 году на центральных улицах Петербурга появились фонари: стеклянные шары с горелками, установленные на столбах. Каждое утро с августа по апрель фонарщики обходили улицы, чистили и заправляли фонари конопляным маслом. На перекрестках центральных улиц стояли «бутошники» — полицейские, вооруженные дубинками. Полицию в Петербурге учредили в 1718 году, и первый генерал-полицеймейстер А. М. Девьер (бывший денщик Петра) получил инструкцию, составленную самим царем. В обязанности полиции входил надзор за правильностью построек и чистотой города, тушение пожаров

и обеспечение безопасности горожан, санитарная инспекция и наблюдение за опрятностью одежды горожан — и даже принуждение их к лечению.

Петр открывал госпитали и больницы, приглашал европейских врачей и даже врачевал сам (особенно любил удалять зубы, так что иногда придворные, желая угодить царю, обращались к нему с этой просьбой, жертвуя для карьеры зубами). Русские, до этих пор предпочитавшие средства народной медицины, с большим подозрением относились к медицине европейской. Поэтому Петр I издал указ, по которому лечение сделалось в Петербурге обязательным для всех под страхом жестокого наказания. Каждый хозяин дома, в котором кто-либо заболевал, обязан был немедленно известить об этом полицию, а та присылала врача.

Среди гуманных нововведений Петра Великого упомянем учреждение домов для престарелых и детских приютов. Первый дом для престарелых женщин открыла в Петербурге сестра царя Наталья Алексеевна. После смерти Натальи Алексеевны ее дом стал первым в России детским приютом. Здесь воспитывались сироты, незаконнорожденные подкидыши. К дому пристроили чулан, куда каждый мог принести новорожденного, не объявляя имен родителей. Иногда крепостные подбрасывали сюда младенцев, ибо ребенок, воспитанный государством, являлся свободным человеком. В человеколюбивом указе Петра об учреждении приютов есть и комический момент: незаконнорожденных, воспитывавшихся в них, велено было записывать в художники.

В неустоявшейся жизни города, в котором воплощались идеи царя, часто соседствовало драматическое и комическое. Например, Петр страстно любил мореходство, а посему его подданные, жители столицы, должны были разделять это пристрастие. В первую очередь показать пример надлежало царской семье. К сожалению, среди ее членов преобладали женщины: вдовы братьев Петра с дочерьми, сестра Наталья. Этим дамам и предстояло показать героический пример мореплавания. По

воскресеньям царь вывозил свое семейство кататься. Дородные русские боярыни, не столь давно покинувшие терема, в которых, по старому обычаю, женщины проводили большую часть времени, сменили тяжелые сарафаны на декольтированные голландские платья и исполняли желание энергичного родственника. Но Петр видел, как мало удовольствия доставляло им это развлечение, и это сердило его.

«Петр во всех взорах читал тот древний страх воды, с которым тщетно боролся всю жизнь: жди горя с моря, беды от воды, где вода, там и беда, и царь воды не уймет» (Д. С. Мережковский. «Петр и Алексей»). И лишь жена царя, Екатерина, охотно делила с ним этот досуг. Следом за родственниками и придворными плавать велено было всем жителям Петербурга. Передвижение по городу представляло большие трудности, а в окрестностях вообще не было хороших дорог, и сбившийся с тропинки путник попадал в болотную топь. Да и в самом Петербурге, при его неравномерной застройке, по многим улицам из-за грязи трудно было проехать на лошади. В 1717 году вышел царский указ: дабы сократить расходы на лошадей и уподобить Петербург Венеции, следовало бесплатно раздать знатным людям и государственным служащим шлюпки для езды по воде. Шлюпки раздали, а для их починки возле Летнего сада построили верфь под начальством капитана Потемкина. Но поскольку горожане не проявляли особого рвения немедленно уподобиться венецианцам, то «велено всем жителям выезжать на Неву на экзерцицию[1] по воскресеньям и праздникам: в мае — по 3 1/2 часа, в июне — по 4, в июле — по 3 1/2, в августе — по 3, в сентябре — по 2 1/2, в октябре — по 2. Смотри тиранский о том закон. Петр называл это невским флотом, а Потемкина — невским адмиралом», — писал А. С. Пушкин в «Истории Петра». Эти экзерциции петербуржцев продолжались вплоть до смерти Петра I.

[1] Экзерциция (*лат.* exercitium) — военные упражнения для обучения солдат.

Такие же тиранические формы приняла борьба царя за изменение внешнего вида его подданных. Еще в Москве, вернувшись из-за границы, он приказал москвичам сбрить бороды. Борода в России издревле считалась символом достоинства мужчины, и лишиться ее означало подвергнуться глубокому унижению. Из-за тиранического требования царя вспыхнул не один бунт, разыгралась не одна трагедия. Столкнувшись с сопротивлением, царь решил применить экономические меры, установив новую статью государственного дохода — налог за право носить бороду. И многие, особенно купцы, приверженцы старины, предпочли платить большие деньги, но сохранить бороды. Был выбит специальный жетон, который бородач, уплативший налог, носил на шее во избежание недоразумения.

В Петербурге было не велено продавать и носить (всем, кроме крестьян) русское платье. В связи с этим стоит вспомнить историю о том, как Меншиков в очередной раз сумел угодить царю. Чиновники одной из коллегий долго откупались, отказываясь брить бороды и носить немецкое платье. Меншиков всячески уговаривал их и даже велел приготовить для них одежду «немецкого фасона». Но чиновники упрямились. Тогда он пошел на обман: призвал их к себе и объявил «царский указ»: или сейчас же побриться и переодеться — или в Сибирь. Во дворе стояло несколько телег, приготовленных, по соображениям несчастных чиновников, везти их в Сибирь. С плачем сели они в эти телеги. Меншиков был разочарован. Но тут самый молодой из чиновников, на днях женившийся, соскочил с телеги и стал стаскивать с себя русский кафтан. Его примеру последовали остальные. Через некоторое время на службе в соборе Петр заметил странную группу одинаково одетых людей и спросил, кто они. Тут Меншиков и доложил ему о своем подвиге. Царь очень обрадовался и на следующий день пришел на пир к преображенным чиновникам.

А вот указ о горожанах, впавших в другой грех, — они посмели вместо положенного немецкого платья носить

одежду иного фасона: «Нами замечено, что на Невской першпективе и в Ассамблее недоросли отцов знатных в нарушение этикету и регламенту штиля в гишпанских камзолах и панталонах щеголяют дерзко. Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указую впредь оных щеголей с рвением великим вылавливать, сводить в литейную часть, бить кнутом и батогами, пока от гишпанских панталонов зело похабный вид не покажется. На звание и именитость не взирать, также на вопли наказуемых». Такие указы не нуждаются в комментариях.

Город в Петрово время жил напряженной, деятельной жизнью. Царь первым подавал в этом пример. Вот свидетельства современников-иностранцев, побывавших в России: «Сам он не теряет понапрасну времени, а [всегда] занимается тем или иным делом. Обычно же (когда находится в своей новой резиденции Петербурге) он в три-четыре часа утра присутствует в Тайном совете. Затем посещает кораблестроительную верфь, распоряжается там работой и прикладывает собственную руку, так как знает это дело в тонкостях от малейшей мелочи до самого главного. В 9 или 10 часов он развлекается работой на токарном станке, изготавливая красивейшие вещи. Затем в 11 часов у него короткая трапеза, а послеполуденное время после краткого, по русскому обычаю, сна проводит также за осмотром строительства и иными подобными делами. Вечером же он делает визит или ужинает и, рано с этим покончив, ночью почивает». «Он не любит [карточной] игры, охоты и тому подобного, а развлечения ищет только на воде... Вода кажется его истинной стихией, и его часто видят целый день плавающим на яхте... или шлюпке и упражняющимся в плавании под парусами... Эта страсть настолько сильна, что его величество видят на воде и в дождь, и в снег, и в любую погоду, какой бы она ни была. Когда большая река Нева уже настолько замерзла, что лишь в одном месте, перед резиденцией его величества, оставалась еще сотня шагов чистой воды, он тем не менее плавал по ней под парусом на маленьком суденышке взад и вперед с обычным успехом».

Царь умен и деятелен — и того же требует от других. Замечателен его указ Сенату: «Указую господам сенаторам, буде надобность речь держать в присутствии Государя российского, творить оную не по-писаному, а токмо своими словами, дабы дурь каждого всякому была видна». На запрос военной коллегии в 1724 году о том, как определять знатность дворянства, Петр отвечал: «Знатное дворянство по годности считать».

Петр Великий радел о просвещении России. По его указам молодых дворян посылали в Европу для изучения военного и инженерного дела, кораблестроения, искусств и ремесел. Книгоиздательство в его время было поставлено на новую основу: выходила не только религиозная, но и светская, военная, техническая литература, главным образом переводная. В 1711 году в Петербурге появилась газета «Санкт-Петербургские ведомости». В столице открыли первую библиотеку и первый общедоступный театр, находившийся под покровительством сестры царя Натальи Алексеевны. До того времени театр в России был придворным развлечением; народными зрелищами оставались балаганы, представления скоморохов, раек. Петр I стремился включить театр в народную культуру, чтобы использовать его для пропаганды государственных перемен.

Репертуар первого петербургского театра большей частью составляли пьесы — аллегории, прославляющие дела Петра и победы России, и инсценировки мифологических и исторических сюжетов. Это были слабые начатки театрального искусства, но на сцене играли русские актеры, и горожанам был открыт доступ в зрительный зал.

Другим важным нововведением Петра I стало учреждение Академии наук, проект создания которой разработал он сам. Академия наук была открыта в 1725 году, уже после его смерти. Среди иностранных ученых, приехавших работать в Петербургскую Академию наук, были люди, имена которых известны в истории науки: математики Л. Эйлер и Д. Бернулли, астроном Ж. Н. Делиль. По замыслу Петра I, главной задачей Академии было воспитание будущих русских ученых, поэтому при ней открылись гимназия и университет.

Еще одним «научным предприятием» Петра I стало собрание раритетов — редкостей, диковинок. В 1718 году он объявил указом о создании музея — Кунсткамеры. Тут же последовало обращение к народу: «...Известно нам, что как в человеческой породе, так и в зверской и птичьей случается, что родится монстра, т. е. уроды, которые всегда во всех государствах собираются для диковинки... Несколько уже и принесено: два младенца, каждый о двух головах, два, которые срослись телами. Однако ж в таком великом государстве может более быть, но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действия дьявольского... Также, ежели кто найдет в земле или в воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи — не такие, как у нас ныне есть, или такие, да зело велики или малы... также какие старые надписи на камнях... и прочее, что зело старо и необыкновенно...» — тот должен немедленно отдать находку коменданту города.

За каждого принесенного урода или диковинку назначалась плата. И уродов вместе с прочими редкостями понесли... Эти младенцы о двух головах, скелет великана и прочее выставлены в особом зале Кунсткамеры, ныне Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Академии наук — одного из богатейших в мире этнографических собраний. А начало музею положила петровская коллекция. «Сам он был странный монарх!» — заметил Пушкин в связи с указом о монстрах. И странное было время, заметим мы, — ведь увлечение монстрами, карликами, великанами было европейской модой, и Петр лишь хотел не отставать в «области культуры» от прочих монархов. Часть раритетов царь, пойдя на расходы, купил у европейских коллекционеров.

Первоначально Кунсткамера располагалась в петербургском дворце А. В. Кикина, приближенного Петра, казненного по делу царевича Алексея. Чтобы привлечь туда народ, Петр приказал бесплатно угощать посетите-

лей вином и кофе, для чего Кунсткамера получала из казны определенную сумму. Это угощение тоже являлось мерой просвещения: ведь и употребление кофе было возведено Петром в ранг государственной необходимости и стало обязательным для дворянства. Был ли Петр беззаветным приверженцем всего западного в ущерб русскому? Нет, он заимствовал с Запада главным образом то, что содействовало укреплению императорской власти, экономическим и культурным переменам. «Ему приписывали увлечения, мало сходные с его рассудительным характером... Кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, видевший Париж, возразил: „Хорошо перенимать у французов науки и художества, я бы хотел видеть это у себя, а впрочем Париж воняет...“ Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью Провидения, чудом Божьим, совершенным для русского народа», — писал И. Н. Божерянов.

Для пропаганды своих нововведений в столице Петр I использовал праздники, юбилеи побед, различные торжественные события. И тут он не собирался следовать старой традиции, а сам придумывал церемонии большинства торжеств. Как отмечали важные события и праздники в допетровской Руси? Главным действом, объединявшим всех, было богослужение. Царь появлялся в соборе в тяжелых, сверкающих драгоценными камнями, не гнущихся от золотого шитья ризах. А после литургии, общей благодарственной молитвы, во дворце устраивали пир, а народ вольно веселился в своих домах или в кабаках.

Конечно, Петр не мог и не хотел нарушать этой традиции в основных моментах, но и здесь он не обошелся без новшеств.

Праздники годовщин побед в Северной войне начинались в Петербурге богослужением на Троицкой площади. На ней ставилась походная церковь — палатка с алтарем, шагах в пятнадцати от нее сидел царь, облаченный не в парадные ризы, а в тот мундир, который был на нем в день «виктории», годовщину которой отмечали. Так, при праздновании победы в Полтавской битве он явился народу в старом зеленом кафтане с красными отворотами, с кожаной черной портупеей, в зеленых чулках и старых башмаках. В правой руке Петр держал пику, в левой — офицерскую шляпу. Это было эффектное зрелище: смуглолицый, худой, ростом выше двух метров[1], он выделялся в любой толпе. Царя окружала гвардия, дальше толпился народ. В праздничные дни после торжественного богослужения палили пушки, к вечеру устраивались фейерверки, народные гуляния или маскарады. Маскарады на Троицкой площади бывали нередко, иногда они длились по нескольку дней.

С особой пышностью в Петербурге отмечали установление «вечного» Ништадтского мира с Швецией в

«виктории», годовщину которой отмечали. Так, при праздновании победы в Полтавской битве он явился народу в старом зеленом кафтане с красными отворотами, с кожаной черной портупеей, в зеленых чулках и старых башмаках. В правой руке Петр держал пику, в левой — офицерскую шляпу. Это было эффектное зрелище: смуглолицый, худой, ростом выше двух метров[1], он выделялся в любой толпе. Царя окружала гвардия, дальше толпился народ. В праздничные дни после торжественного богослужения палили пушки, к вечеру устраивались фейерверки, народные гуляния или маскарады. Маскарады на Троицкой площади бывали нередко, иногда они длились по нескольку дней.

С особой пышностью в Петербурге отмечали установление «вечного» Ништадтского мира с Швецией в
1721 году, после заключения которого Петр принял титул императора, именования «Великий» и «отец Отечества». 10 сентября рано утром император Петр Великий явился на Троицкой площади перед зданием Сената в костюме корабельного барабанщика и, отбивая дробь на барабане, объявил народу и войскам о заключении Ништадтского мира. Ликованию их не было предела — ведь Северная война продолжалась двадцать один год! По этому случаю было сожжено множество фейерверков, с Петропавловской крепости салютовали пушки, празднование и маскарады продолжались восемь дней.

Театрализованных действ в городе было много. Ледостав на Неве торжественно объявлял шут царя. Под барабанный бой он в пестром наряде переходил реку по льду в сопровождении ряженых с холщовым знаменем, лопатами, веревками и крюками. Весеннее открытие судоходства отмечалось пушечными выстрелами и парадом судов на Неве. Петровские праздники интересны для нас, потомков: в них было стремление создать новые традиции взамен старых, смешение высокой патетики с грубоватым юмором, а порой и отталкивающий гротеск.

---

[1] Рост Петра I составлял 2 метра 4 сантиметра.

Так, царь еще в молодости учредил шутовской «всепитейный собор», который вслед за ним перебрался в Петербург. Во главе собора стояли «князь-папа» и «кардиналы». Вступить в это общество не составляло труда: для этого надо было быть горьким пьяницей.

Первый князь-папа Н. М. Зотов вскоре и умер в Петербурге от пьянства. Его преемник П. И. Бутурлин должен был жениться на вдове Зотова. Петр I сам разработал церемониал шутовской свадьбы.

Начиналась она удивительным зрелищем: князь-папа и его кардиналы переправлялись через Неву на плотах, составленных из винных бочек. На первом плоту находился огромный котел с пивом, а в котле — большой ковш, в котором сидел князь-папа. Рядом с котлом стоял Нептун, поворачивавший трезубцем ковш с князь-папой.

Закончилась свадьба не менее странно: первую ночь новобрачные провели в деревянной пирамиде на Троицкой площади. Пирамида освещалась изнутри, в ее стенах были просверлены дыры, через которые любопытные могли заглядывать внутрь. Эта шутовская свадьба оказалась не единственной в истории города, из последующих особенно знаменитой стала свадьба в Ледяном доме, о которой мы расскажем позже.

Придворные праздники петровского времени являли дикое смешение стилей: быстро усваивавшие светские манеры кавалеры и дамы могли по воле царя стать невольными участниками безобразной попойки.

В дневнике камер-юнкера Берхгольца описан один из таких праздников. Во время пира на корабле «Св. Пантелеймон» по случаю его освящения царь заметил, что придворные мало пьют. Он приказал подать каждому гостю по огромному стакану вина, смешанного с водкой, а сам ушел. Закончилось торжество плачевно: «Царь... не возвращался более вниз. Уходя в неудовольствии к царице, он поставил часовых, чтоб никто и ни под каким видом не мог уехать с корабля до его приказания... Между тем внизу веселились на славу: почти все были пьяны, но все еще продолжали пить до последней возможности. Великий адмирал (Ф. М. Апраксин. — *Е. И.*) до того напился, что плакал как ребенок... Князь Меншиков так опьянел, что упал замертво, и его люди были принуждены послать за княгинею и ее сестрою, которые с помощью разных спиртов привели его немного в чувство и испросили у царя позволения ехать с ним домой». Берхгольц оставил столь же выразительные описания придворных увеселений в Летнем саду.

Но, допуская подобные безобразия, царь требовал от подданных культуры, отказа от традиционной одежды, обычаев, вкусов, а от дворянства — еще и «политесу», утонченной светскости. С этой целью в 1718 году он учредил в Петербурге ассамблеи, присутствие на которых было обязательным для дворян.

В царском указе об ассамблеях есть разъяснение смысла этого нововведения и его пользы: «Ассамблеи — слово французское, которого на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать: вольное в котором доме собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, притом же и забава». Собирались на ассамблеи поочередно у вельмож, имевших просторные дома. Хозяева должны были отвести для этого три залы: для танцев, для игр в шахматы и шашки; в третьей зале мужчины пили вино и курили.

Цель ассамблей — приучить русское дворянство к светскому общению. Присутствие обязательно для людей всех возрастов, являться следует в праздничном платье; присутствие европейских дипломатов и других иностранцев весьма желательно.

Ассамблеи первых лет были странными собраниями: сюда съезжались переселенные из Москвы бояре, сменившие, кляня судьбу, привычную одежду на «срамной» новый наряд, не рассчитанный на здешний климат; их декольтированные жены и дочери, не знавшие, как держаться в обществе, и конфузившиеся в присутствии мужчин; новое дворянство — неродовитые офицеры и чиновники,

сделавшие карьеру благодаря своей энергии, привыкшие к полям сражений и мастерским больше, чем к бальным залам; жители Французской, Немецкой, Финской и других слобод с семьями; купцы и моряки, прибывшие в Петербург со всех концов света; дипломаты, с ироническим недоумением оглядывающие это собрание. И царь — с неизменной трубкой в зубах, нередко в будничной одежде — распорядитель и надзиратель на этом сборище.

Молодежи полагалось танцевать гавоты и прочие неведомые танцы и куртуазно беседовать. Но и юноши знатнейших фамилий, и безвестные офицеры не умели галантно беседовать о «приятных предметах», да и не до того им было: они с напряженным вниманием следили за тем, как танцует и держится молодежь из Финских шхер, Немецкой слободы, — перенимали. А затем, с каменными лицами, молчаливой старательностью, и сами вступали в круг танцующих.

Из соседних комнат долетали разноязыкий говор, смех, звон стаканов, табачный дым. Там тон задавал царь и его приближенные, соседствовали дипломаты и шкиперы, заезжие иностранцы и русские сановники. Здесь же находился ужасный кубок Большого Орла. С присущей Петру логикой он учредил за нарушение правил хорошего тона штраф: выпить этот огромный кубок вина или водки! Осушив его, гость падал замертво и этикет нарушать уже не мог. Ассамблеи, сообразно вкусам царя, походили на праздничные вечеринки в немецком или голландском доме среднего достатка, но имели особый отпечаток благодаря диким приемам вроде кубка Большого Орла, обязательного присутствия на них и строго регламентированного поведения. Они мало кому доставляли удовольствие.

Иностранные посланники жаловались, что царь применяет извечный способ русской дипломатии деморализовать партнеров — спаивает их. Для русского дворянства обязательная роскошь, выезды и приемы были чрезмерно разорительны. Ассамблеи могли радовать только молодежь, быстро усвоившую навыки и моды «галантного штиля». Однако они сыграли свою роль в европеизации русского дворянства, и через пару десятков лет «русские Венус» были на равных приняты при европейских дворах, а заезжий путешественник-француз отмечал, что «нигде не танцуют менуэта так пристойно, как в Санкт-Петербурге».

В рассказе о праздниках мы остановились лишь на нескольких особенностях, характерных для торжеств петровской эпохи, и еще раз вернемся к ним в главе «Парадиз в парадизе». В этих празднествах отразились характер эпохи и незаурядная личность Петра I, о котором Бранденбургская курфюрстина София Шарлотта писала, что он одновременно «и очень хороший, и очень плохой человек».

Обратимся к нескольким событиям в истории Петербурга, вошедшим в «миф города», запечатлевшимся в народной памяти и литературе. Они касаются гибели царевича Алексея и отношения современников к Петру I.

Характер Петра, его деятельность, нескончаемые усилия и жертвы, которые требовались от народа, вызывали в России не только ненависть и негодование, но и мистический ужас перед царем. Действительно, энергия Петра I поражала воображение: бо́льшую часть времени он проводил в дороге, неутомимо колеся по России, внезапно появляясь то на верфях в Архангельске, то на Урале, а то вдруг оказываясь за границей. Никто не знал, где он может неожиданно явиться. Всем следовало неутомимо работать, ибо за проступки и лень царь карал жестоко. Его страшились все.

В народе ходили слухи о дьявольской природе Петра: «Последние времена нынче настали. Пишут в книгах, что будет антихрист. Он-де государь — антихрист, потому что людей кнутом бьет и головы сечет своими руками, и с немцами табак тянет», — такими показаниями, вырванными под пыткой, пестрят страницы следственных дел Тайного приказа и Тайной канцелярии.

На эти слухи царь отвечал жестокими мерами. Он официально утвердил должность фискала — доносчика.

Задача фискалов — следить за исполнением указов царя, раскрывать злоупотребления, но главное их дело — политический сыск. Фискал должен не предотвращать преступление, но, выждав, когда оно совершится, донести! За ложный донос он не нес никакой ответственности, а за подтвердившийся получал половину имущества обличенного. Это и составляло его доход, было государственной платой! Можно представить страшные последствия такой системы сыска. По указу Петра в каждом городе должно быть определенное количество государственных фискалов, подчинявшихся городскому обер-фискалу. Петербург был наводнен ими. Фискалов — алчных, готовых на любую подлость и ложь, одинаково ненавидели все. «Подлые люди, если им не будет десяти копеек на водку, выкрикивают „слово и дело“ (формула желания сделать донос. — *Е. И.*), и обвиняемый в оковах ведется на допрос», — свидетельствовал современник.

Недовольные сплачивались вокруг церкви. Она еще сохраняла определенную самостоятельность, подчинялась не царю, а патриарху. Основная часть духовенства находилась в оппозиции к Петру — и он, зная это, первым нанес удар: в 1721 году царь упразднил патриаршество, заменив его Синодом — государственным учреждением, ведающим делами церкви. Возглавлял Синод обер-прокурор (каково звание!). Первым главой Синода стал митрополит Стефан Яворский, твердый приверженец Петра.

По указу царя был учрежден институт церковных фискалов: «инквизиторы» и «обер-инквизиторы». Но эти названия вызвали такой шок в церкви, в том числе и у православных «инквизиторов», что от них пришлось отказаться.

Между тем в Петербурге и во всей стране нарастало возмущение действиями фискалов. По их указке в столице ломали дома, построенные не по утвержденному образцу, арестовывали людей. Фискалы, в свою очередь, жаловались царю, что их «все лают». Соглядатаи были везде: даже к невестке царя, жене Алексея Шарлотте,

приставили для этого шутиху Петра — «князь-игуменью санкт-петербургскую», пьяницу Ржевскую. По приказу отца постоянно следили и за самим царевичем.

В 1718 году в Петербурге состоялся суд над Алексеем. Он был сыном Петра от первой жены, Евдокии Лопухиной. Через несколько лет после его рождения Петр заточил жену в монастырь, а воспитание сына поручил родственницам. Затем Алексей учился в Европе. Отец, постоянно занятый делами, уделял сыну мало внимания, а тот скорее боялся его, чем любил. Так, вернувшись в Петербург из-за границы, он получил приказ Петра изготовить какие-то чертежи и, чтобы избежать экзамена грозного отца, выстрелил себе в руку.

Много лет Алексей втайне поддерживал связь со своей опальной матерью. Царь сам выбрал для сына жену — принцессу Шарлотту Брауншвейг-Вольфенбюттельскую, но семейная жизнь супругов не была счастливой. Шарлотта родила двоих детей: Петра (будущий император Петр II) и Наталью.

Отношения царевича с отцом становились все хуже, хотя Алексей старался наладить их. Петр был непримирим и нетерпим: он признавал, что сын умен, но обвинял его в слабохарактерности. В день смерти Шарлотты Алексею передали письмо отца: «Горесть меня снедает, видя тебя, наследника, на правление государственных дел непотребного. Еще же вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не только бранивал, но и бивал, к тому же сколько ни говорю с тобою, но все даром... и ничего делать не хочешь, только бы в доме быть и им веселиться».

Такое вот утешение в трудный час... Педагогические методы Петра были, как видно из письма, самые незатейливые. Но почему же царь был столь непримирим к сыну?

А. С. Пушкин в «Истории Петра» называет основную причину: «Царевич был обожаем народом, который видел в нем будущего восстановителя старины. Оппозиция вся... была на его стороне. Духовенство, гонимое

протестантом царем, обращало также на него все свои надежды. Петр видел в сыне препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания».

Кроме того, с 1712 года женой царя официально стала Марта Скавронская, принявшая при переходе в православие имя Екатерины Алексеевны. В новой семье Петра к этому времени были две дочери — Анна и Елизавета, а в 1715 году родился сын Петр. Царь любил Екатерину, их сын был желанным поздним ребенком. Между тем, по закону власть после смерти Петра I переходила к Алексею. Это тревожило царственных супругов.

В 1716 году царь потребовал от Алексея «исправления» или отречения от права на престол и ухода в монастырь. Тогда царевич решился на побег: он скрывался сначала в Вене, а затем в Риме. Царь использовал все средства дипломатии и сыска; его посланник П. А. Толстой сумел угрозами и обещаниями вернуть Алексея в Россию. После этого Петр I объявил, что Алексей лишается права на престол. По приказу царя его приближенные принесли присягу малолетнему царевичу Петру Петровичу как законному наследнику престола. Но пока Алексей был жив, угроза его возможного воцарения оставалась.

Царевича Алексея перевезли из Москвы в Петербург и заключили в Петропавловскую крепость. Для расследования его дела учредили Тайную канцелярию — политический застенок, еще несколько лет после этого наводивший ужас на Петербург и на всю страну. Царь много раз допрашивал сына, и тот рассказывал все, называя имена своих сторонников. Казематы крепости заполнялись людьми, арестованными по этому делу, под пытками у них вырывали признания. Ремеслом истязателя и палача не гнушался и сам царь. Затем несчастных казнили. Пытали и Алексея. «Царевич более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями» (А. С. Пушкин. «История Петра»). Никакого реального заговора не было, но в отчаянии «несчастный давал сам всему самое преступное значение». Петр присутствовал при этих пытках, задавал все новые вопросы, получая ответы «сначала твердой рукою писанными, а потом, после кнута, дрожащею».

14 июня 1718 года Петр представил дело царевича на суд Сената и церкви. Духовенство ответило, приведя цитаты из Ветхого Завета — о жестоком возмездии, и из Нового Завета — о милосердии, предоставив таким образом царю выбор. Сенат вынес Алексею смертный приговор. 25 июня смертный приговор, утвержденный Петром, объявили в Сенате. А на следующий день царевич Алексей умер в каземате крепости, как было объявлено, «от удара». То, что он был убит по приказу отца, ни у современников, ни у позднейших историков не вызывало сомнений. Исторические свидетельства расходятся лишь в том, каким способом было совершено убийство: одни пишут об отравлении, другие — об удушении, третьи — о смерти под пыткой. 30 июня Алексея похоронили в Петропавловском соборе. Петр присутствовал на похоронах.

Теперь царевич Петр Петрович становился законным наследником престола. Но в 1719 году, через несколько месяцев после гибели Алексея, он умер.

«Смерть сия сломила железную волю Петра», — писал Пушкин. Правда, энергия царя не иссякла, по-прежнему «его государственные учреждения суть плоды ума обширного, исполненного благожелательства и мудрости», но подозрительность, нетерпимость и жестокость в его характере усилились.

На Россию убийство царевича Алексея произвело страшное впечатление. В Тайную канцелярию сыплются доносы о том, что мистические откровения о царе — антихристе имеют бабы, монахи, солдаты, помещики. По Петербургу проносится слух, что дьякон Троицкой церкви увидел на колокольне кикимору и та сказала: «Петербургу быть пусту!» Эти слова повторяли раскольники, убежденные в том, что Петров город — творение дьявола, и считавшие, что он исчезнет без следа, будет залит водой. Этот мотив перейдет в литературу: мы встретим его у Достоевского, Некрасова, Белого, Блока... Он сохранился и в фольклоре. Каждый новый слух и «откровение» влекут за собою

кровавые следствия, снова заполняются узниками казематы Петропавловской крепости и следуют казни.

Последнее событие, о котором мы упомянем, — смерть Петра Великого в Санкт-Петербурге 28 января 1725 года. Здоровье императора давно было подорвано, а в ноябре 1724 года он простудился, помогая солдатам спасать людей с тонущего бота. После этого обострилась болезнь почек, и через три месяца Петр умер. Ему было пятьдесят три года. Смерть Петра I оплакивали те, кто вместе с ним обновлял Россию, чью энергию и таланты вызвали к жизни его реформы. Восьмого марта шествие жителей столицы сопровождало гроб императора при перенесении его по льду Невы в Петропавловский собор. Город прощался со своим создателем. Императрицей была провозглашена его жена — Екатерина I.

Мы завершим рассказ о первых десятилетиях жизни Санкт-Петербурга словами историка К. Валишевского: «История России XVIII века вовсе не походит на альпийский пейзаж, она напоминает скорее земной рельеф в космогонический период. Мы присутствуем здесь при нарождении нового мира».

После Петра

«Похитительница престола». Торжество временщика. Колесо Фортуны. Запустение Петербурга. Императорский двор покидает столицу. Славные деяния генерал-фельдцейхмейстера Миниха

Нет, ты не будешь забвенно,
столетье безумно и мудро...

А. Н. Радищев.
«Осьмнадцатое столетие»

Во время смертельной болезни Петра I встал вопрос о том, кто будет его преемником. Сам Петр отменил традиционный порядок престолонаследия: царствовать, по его убеждению, должен был достойнейший. Это установление имело для государства самые серьезные и драматические последствия на протяжении XVIII века. Завещания император не оставил, и теперь следовало выбирать между женщиной и ребенком: его женой Екатериной и внуком Петром, сыном царевича Алексея. Конечно, оба претендента являлись символическими правителями, за каждым из которых стояла определенная политическая партия.

На стороне десятилетнего Петра была традиция престолонаследия и симпатии большей части дворянства, но Екатерина обратилась за поддержкой к энергичным и влиятельным людям: Александру Меншикову, Петру Толстому, Феофану Прокоповичу. И ее партия одержала победу. Это был дворцовый переворот, каких еще немало случится в России XVIII века.

Во время одного из заседаний высших сановников, решавших вопрос о наследнике, когда мнение их складыва-

лось в пользу Петра, в зал внезапно вошли гвардейские офицеры. Оказалось, что по приказу Меншикова Семеновский и Преображенский полки окружили дворец. Сторонники Екатерины, переходя от одного вельможи к другому, угрозами и посулами склоняли их на свою сторону. Затем по знаку Меншикова за окнами раздался громовой крик гвардии: «Да здравствует императрица государыня Екатерина Алексеевна!» Это был последний и самый веский аргумент. Правительство присягнуло Екатерине I.

Относительно способности Екатерины I к государственной деятельности не обольщался никто, но сподвижники Петра Великого рассчитывали, что она не станет менять его политики, Россия пойдет по намеченному им пути. Действительно, Екатерина ничего не собиралась менять. Реализовывались замыслы Петра, которые он не успел осуществить: в Петербурге открылась Академия наук, была снаряжена и отправлена в плавание экспедиция Беринга с целью выяснить, соединяются ли на востоке Азия и Америка. Продолжали работу петровские учреждения. Но город осиротел. Творение Петра I с этого времени начало приходить в упадок, чахнуть, как ребенок, лишенный родительской заботы.

В Петербурге по-прежнему устраивалось множество балов, праздников, фейерверков. Старательно поддерживались заведенные Петром обычаи — вплоть до обыкновения разыгрывать горожан 1 апреля. Петр I не раз устраивал в столице первоапрельские розыгрыши, однако в России эта традиция была в новинку. Люди обижались и сердились: то ночью их будил отсвет пожара над царским дворцом, то продавали дорогие билеты на представление, и народ бежал на пожар или предвкушал зрелище — но к собравшейся толпе являлись гвардейские солдаты и от имени императора громогласно поздравляли: «С первым апрелем вас!» Так было заведено при Петре, и это вызывало ропот. Теперь он умер, наступили тревожные времена, в умах брожение, а в ночь на 1 апреля 1725 года небо столицы озарилось заревом пожара. Полуодетые люди выскакивали на улицы, спеша к месту пожара, и — «С первым апрелем вас!» — поздравляла уже императрица.

Это, конечно, мелочи, но то, что на престоле женщина, — дело неслыханное, такого в России еще не было. Некоторые горожане отказывались присягать: «Раз на престоле баба, пусть бабы ей и присягают». В таких случаях их отправляли в Тайную канцелярию и били до тех пор, пока не добивались присяги. После Петра I на протяжении почти всего XVIII века правителями в России будут ребенок или женщина.

Тайное возмущение воцарением Екатерины не стихало в Петербурге. В 1726 году полицейские нашли у Исаакиевского собора подметное письмо, в котором императрицу называли похитительницей престола, бранили и осуждали ее частную жизнь. За выдачу автора пасквиля назначили награду в тысячу рублей. Наградные деньги были положены в нескольких местах города на фонари, охраняемые солдатами, готовыми отдать их доносчику. Но никто не донес. Сумму награды удвоили — безрезультатно.

Императрицу занимали только развлечения и наряды. Эта ее страсть порождала новые указы: «Императрица Екатерина Алексеевна... любила... и тщилась украшаться разными уборами и простирала сие хотение до того, что запрещено было другим женщинам подобные ей украшения носить, яко то убирать алмазами обе стороны головы, а токмо позволяла убирать левую сторону; запрещено стало носить горностаевые меха с хвостиками, которые одна она носила, и сие... обыкновение учинилось почти узаконение, присвояющее сие украшение единой Императорской фамилии, тогда как в немецкой земле и мещанки его употребляют», — писал историк М. М. Щербатов в сочинении «О повреждении нравов в России». Кроме того, императрица предавалось неумеренному пьянству. Чтобы не нарушать ее тяжелого сна, горожанам запрещалось шуметь возле дворца, ездить на телегах. Мостовую перед дворцом устлали соломой, заглушающей шум проезжающих карет.

В делах управления Екатерина I положилась на своих вельмож, в первую очередь на Меншикова. Петр Великий умел смирять честолюбие и корыстолюбие своих приближенных, пресекать их интриги. Его не стало, и теперь

каждый мог искать своей выгоды. Меншиков занялся устранением политических соперников: его усилиями многих соратников Петра отправили служить подальше от Петербурга или сослали. В дальнейшем это роковым образом сказалось на судьбе многих петровских начинаний, в том числе и на судьбе Петербурга.

И хотя, по замечанию историка С. М. Соловьева, «дела преобразователя, не идущие вразрез с интересами вельмож, не встречали сознательного противодействия ни в ком из русских, стоящих наверху», в борьбе за власть до этих начинаний никому не было дела, и постепенно они мельчали, угасали.

При Петре государственные учреждения регулярно сообщали через газету «Санкт-Петербургские ведомости» о своей деятельности. После его смерти это правило постепенно забывается, и о нем приходится напоминать специальным указом. И сам Петербург пустеет: многие каменные дома брошены недостроенными, они стоят без крыш, разрушаются от непогоды. Хозяева отказываются достраивать их, ссылаясь на «недостаточность», переезжают в Москву, поближе к своим имениям. А простой народ покидает город, не объясняясь насчет разорительности жизни в столице. И только дворец и усадьба Меншикова, фактического правителя России, продолжают украшаться. От Меншиковского дворца перекинут через Неву к церкви Св. Исаакия Далматского первый наплавной мост в городе.

Александр Меншиков был фактическим правителем государства — временщиком, как называли таких людей, вкладывая в это слово много ненависти. В рассказе о жизни Петербурга нам не раз придется упоминать о временщиках и фаворитах, роскошная жизни которых в столице пришла на смену суровым временам Петра I. Богатство Меншикова вызывало изумление не только в России. Вышедший из низов, талантливый полководец и хитрый политик, Меншиков своей деятельностью при Петре принес немало пользы. С его главными пороками: властолюбием и алчностью — царь справлялся то окриком, а то и побоями. Теперь, после воцарения Екатерины I, его прежней любовницы, Меншиков стал хозяином положения. Он без зазрения совести присваивал чужое, получая все новые звания, не считаясь ни с кем. Меншиков был сказочно богат: ему принадлежали шесть городов и девяносто тысяч крепостных. В доме временщика находился огромный штат прислуги, французские повара. Некоторые его парадные обеды состояли из двухсот блюд, и подавали их на золотом сервизе.

В праздничные дни весь Петербург собирался смотреть на выезд Меншикова в царский дворец. Через Неву он переправлялся на нарядной барке, обитой зеленым бархатом. Затем начиналось торжественное шествие. Впереди бежали скороходы, за ними ехали музыканты и пажи, следом в великолепной карете, сделанной в форме веера, сверкающей зеркальными стеклами, золотыми гербами и золотой княжеской короной, — светлейший князь Александр Меншиков.

Карету везла шестерка лошадей, в попонах из малинового бархата, по сторонам кареты ехали двенадцать камер-юнкеров. Замыкал процессию отряд драгун собственного княжеского полка. Шествие сверкало красками, звучала музыка. Никогда петербуржцы не видели ничего подобного при выездах Петра Великого.

Своим деспотизмом и грабительством Меншиков скоро стал ненавистен всем. Но фаворит был недосягаем, и всякого, кто пытался бороться с ним, ждало поражение. И даже когда 6 мая 1727 года неожиданно умерла Екатерина I, это не поколебало его положения. Императором стал одиннадцатилетний сын Алексея — Петр II. Меншиков был объявлен регентом, причем, по завещанию Екатерины, император должен был через несколько лет жениться на его дочери. 25 мая 1727 года в столице торжественно праздновалось обручение Петра II с Марией Меншиковой. За несколько дней до этого фаворит получил желанное звание генералиссимуса. Его карьера была в зените. Для присмотра за юным императором Меншиков переселил его с двенадцатилетней сестрой Натальей из Зимнего дворца в свой, расположенный на Васильевском острове (тогда остров назывался Преображенским).

А воспитание мальчика поручил Андрею Ивановичу Остерману — человеку образованному, ловкому дипломату, умнице и большому мастеру интриги. Фаворит не подозревал, что последний талант его ставленника Остермана обернется против него самого: юный император терпеть не может учебы, и Остерман клянется, что не стал бы требовать ничего, да Меншиков настаивает! Однако учитель готов на всякие поблажки, и ученик благодарен ему, а Меншикова ненавидит со всею страстью лентяя. Напрасно тот выписывает из Москвы в Петербург царскую соколиную охоту и собак, устраивает праздники. Между ними происходят крупные столкновения. Вот характерный пример: один из городских ремесленных цехов поднес в подарок царю деньги, тот велел отослать их сестре, однако Меншиков отнял их. «Я тебя научу, что я император и что мне надо повиноваться!» — в бешенстве кричит мальчик. Глухие слухи об этих конфликтах ходят по городу, но, кажется, Меншиков неуязвим.

И все же этого человека, который был богаче императора и обладал неограниченной властью, свергли дети: двенадцатилетний Петр, его тринадцатилетняя сестра и их ближайшая подруга, семнадцатилетняя тетка — дочь Петра I Елизавета. Им ненавистна опека временщика. И Меншиков, хитрый политик и интриган, оказывается бессилен перед их сопротивлением. Он собирается, например, серьезно поговорить с царевной Натальей, а она, услышав его шаги, выпрыгивает в окно и убегает в сад. А когда Меншиков заболевает, царственные дети покидают дом и возвращаются в Зимний дворец.

Наконец наступает развязка: 7 сентября 1727 года гвардии приказано подчиняться лишь приказам императора. Утром 8 сентября в Меншиковский дворец является майор Салтыков и объявляет временщику об аресте. Тот при этом известии падает в обморок. Без всякой судебной процедуры Меншикова и его семью отправляют в ссылку. Почти все его имущество, кроме самого необходимого, конфискуют. 10 сентября горожане собираются перед Меншиковским дворцом, чтобы увидеть отъезд одного из создателей города, его первого генерал-губернатора. И этот последний «траурный парад» так же театрально эффектен, как прежние: «Впереди огромного поезда ехали четыре кареты шестернями: в первой сидел сам светлейший князь с женою и свояченицей... во второй — сын его с карлою, в третьей — две княжны с двумя служанками... все были в черном. Поезд провожал гвардейский капитан с отрядом из 120 человек...» (С. М. Соловьев. «История России с древнейших времен»).

Трудно вообразить всеобщую радость, вызванную в городе падением временщика. На улицах люди поздравляли друг друга и рассказывали самые невероятные истории: что Меншиков просил у прусского короля десять миллионов талеров, что он готовил государственный переворот... Но воображение поражало даже не это, а размеры конфискованного богатства: четыре миллиона русских денег, девять миллионов в лондонских и амстердамских банках, на миллион драгоценностей и, наконец, двести пудов серебряной посуды. Начинал карьеру Меншиков, не имея ни гроша.

Теперь же, снова потеряв все, он отправлялся со своими близкими в Сибирь, в Березов. Большинство из них вскоре там умерли. Через три с половиной года назад вернулись лишь его сын и дочь.

«Безумное» XVIII столетие было полно необыкновенных человеческих судеб, авантюр, ослепительных взлетов и трагических падений. Недаром в литературе этой эпохи постоянно присутствует тема колеса Фортуны, непостоянства и изменчивости счастья. К Меншикову можно отнести известную поговорку: «Из грязи — да в князи!», однако его судьба и падение ничему не научили других честолюбцев. В первые месяцы ликования из Петербурга шли письма с поздравлениями и словами вроде: «...У нас все благополучно и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове».

Радовались напрасно. После Меншикова другие вельможи старались снискать расположение императора, подчинить его своему влиянию. На этот раз лукавая Фортуна улыбнулась князьям Долгоруковым, которые прежде активно интриговали против Меншикова и смогли оттес-

нить даже Остермана. Как прежде с Марией Меншиковой, Петр II обручился с княжной Долгоруковой. Но через три года Долгоруковы были сосланы все в тот же Березов, где уже успел умереть прежний временщик. Почти все они погибли — умерли в ссылке или были казнены. К этому повороту колеса Фортуны приложил руку Остерман. Затем Остерман, уже при Елизавете, сам оказался в том же печальном Березове, и к могилам Меншиковых, Долгоруковых прибавилась и его могила. И опять Фортуна одаривала кого-то благосклонной улыбкой...

Правительство Петра II отказалось от продолжения реформ, начало которым положил Петр Великий. Современники отмечали понижение боеспособности русской армии. Сказалась эта политика и на жизни Петербурга. Строительство флота, заброшенное уже при Екатерине I, при Петре II пришло в полный упадок. В 1728 году вернувшийся из Петербурга в Стокгольм шведский посланник Цедеркрейц докладывал королю, что «флот, даже галерный, сильно уменьшился, а корабельный гибнет: старые корабли стоят в Кронштадте, все гниют, пригодны не больше 45; в Адмиралтействе такое несмотрение, что флот и в три года не привести в прежнее состояние, да этого и не собираются делать». Любимое детище Петра I погибало. Когда императору указывали на это, он отвечал: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море; но я не намерен гулять по нем, как дедушка».

В целях экономии на треть сократили численность армии, множество офицеров отправили в отставку. После ссылки Меншикова нового президента Военной коллегии не назначили. Сокращались государственные расходы на содержание армии, на строительство флота, устройство новой столицы, но страна по-прежнему находилась в упадке. Ведь деятельность Петра I, его реформы и многолетние войны стоили России не только огромных экономических жертв — численность ее населения уменьшилась почти на треть. Теперь же начинания и создания Петра Великого, оплаченные такой ценой, пребывали в небрежении. В одном из указов 1727 года говорилось: «Крестьяне, на которых положено содержание войска, находятся в скудости и приходят в разорение. Прочие дела: торговля, юстиция и Монетный двор также находятся в разоренном положении».

Правда, в Петербурге заметно смягчение нравов. В 1727 году возобновились ассамблеи, их устраивали в царском дворце дважды в неделю. Посещать их могли все дворяне. Обстановка на них стала более свободной, никто не требовал обязательного присутствия и не указывал, как следует веселиться. Указ о возобновлении ассамблей огласил на главных улицах Петербурга сам обер-полицмейстер Поздняков.

В 1729 году был упразднен страшный Преображенский приказ, учрежденный Петром I для расследования политических дел. Теперь этими вопросами занимались Сенат и Верховный тайный совет. В числе наказаний за провинности сохранялась публичная порка, но дворяне получили своеобразную поблажку: теперь их пороли с «сохранением чести», не снимая нижнего белья. А простолюдинов по-прежнему заголяли. Появилось и еще одно важное новшество в жизни столицы. По указу 10 июля 1727 года велено «которые столбы в Санкт-Петербурге внутри города на площадях каменные сделаны, и на них, также и на кольях винных (преступных. — *Е. И.*) людей тела и головы потыканы, те все столбы разобрать до основания, а тела и взоткнутые головы снять и похоронить».

Продолжалась борьба за нравственность: еще в 1720 году Петр I запретил строить общие бани, в которых мужчины и женщины мылись вместе. Но люди «нижних классов» по-прежнему мылись в общих банях. Указы о запрещении регулярно повторялись, но, несмотря на них, этот обычай сохранялся почти до конца XVIII века. Видимо, в Европе эти бани давали повод для фривольных шуток, потому что жена английского резидента в Петербурге леди Рондо писала в Лондон своему корреспонденту: «Что касается любопытства господина М., была ли я в русской бане, то он заслуживает не ответа, а презрения, которым отвечают людям его закала, воображающим, что

они остроумны тогда, когда говорят непристойности» (С. М. Соловьев).

Безуспешными оказались меры против бегства жителей из Петербурга. 11 июля 1729 года появился указ о возвращении уехавших купцов и ремесленников с семьями: «...При высылке (в Петербург. — *Е. И.*) всем им подписаться, под потерянием всего имения и ссылкой в вечную каторгу, чтоб они с женами и детьми явились бы в Санкт-Петербург без замедления и впредь бы без указа особого из Санкт-Петербурга не разъезжались». Одновременно с этим дворянам выделяли для застройки участки на Фонтанке близ Невского проспекта. Однако желающих строить дома почти не нашлось, да и часть уже построенных была покинута обитателями. Столица попрежнему оставалась местом отбывания каторжных работ. А ее былое административное главенство отменено: в 1727 году вместе с царским двором в Москву переехал и обер-полицмейстер, и в Петербурге вместо него назначен воевода, как в любом провинциальном городе.

«Все в России в страшном расстройстве, — писал в донесении иностранный посланник, — царь не занимается делами и не думает заниматься; никому денег не платят, и Бог знает до чего дойдут финансы; каждый ворует, сколько может. Все члены Верховного Совета нездоровы и не собираются; другие учреждения также остановили свои дела, жалоб бездна...» После ссылки Меншикова юный Петр совсем забрасывает занятия, заводит себе «компанию» по примеру Петра I (но с петровской она сходна лишь грубостью нравов), интересуется только охотой. Вот его записка с распорядком дел на неделю, которую приводит С. М. Соловьев: «В понедельник пополудни от 2-х до 3-го часа учиться, а потом солдат учить; пополудни вторник и четверг — с собаками на поле; пополудни в среду — солдат обучать; пополудни в пятницу — с птицами ездить; пополудни в субботу — музыкой и танцованием; пополудни в воскресенье — в летний дом и в тамошние огороды».

Между тем в его окружении все громче раздавались голоса о переезде в Москву. По традиции цари короновались в Москве, и в конце 1727 года Петр II и весь его двор, а с ними и большинство зажиточных горожан начали собираться в путь. «...На вопрос, долго ли останется двор в Москве, уже слышался ответ: быть может, навсегда; и этот ответ был очень приятен одним и приводил в отчаяние других. Нравился он русским вельможам, которые до сих пор не смогли привыкнуть к неудобствам новооснованного города, в стране печальной, болотистой, вдали от их деревень... Ужасом обдавал этот ответ тех, которые в удалении из „парадиза“ видели удаление от дела Петра Великого, удаление от Европы, пренебрежение морем, флотом, упадок значения России как европейской державы. Боялись переезда в Москву люди, созданные новым, преобразовательным направлением, и в его ослаблении видели ослабление собственного значения... За границей смотрели так же на это дело: как только узнали здесь о падении Меншикова, так сейчас же явилась мысль, что вельможи увезут императора в Москву, и Россия возвратится к прежнему, допетровскому порядку...» (С. М. Соловьев). У некоторых европейских наблюдателей даже появилась мысль, что переезд в Москву — результат политических интриг Англии, победа английского золота (такой вывод делает, например, дюк Де Лириа в своих письмах о России в Испанию).

В начале 1728 года Петр II навсегда покинул Петербург. Главой административного и военного управления городом был назначен граф Миних. Берхард Кристоф Миних, выходец из Германии, поступил на русскую службу при Петре I. Талантливый администратор и военачальник, энергичный и честолюбивый человек, он не бездействовал в оставленном на его попечение Петербурге. Одной из бед города являлось плохое снабжение продовольствием, ведь налаженных путей сообщения с Петербургом было очень мало. По проекту Миниха и под его надзором был построен Ладожский канал (1718—1731), по которому все необходимое можно было доставлять в город водой. Цены на продовольствие после открытия канала понизились. Миних руководил перестройкой Петропавловской крепости в камне, он раз-

работал проект защиты города от наводнений, по его плану осушали болота на окраине, у Лиговского канала.

Словом, деятельность генерал-фельдцехмейстера графа Миниха была многообразной и плодотворной, но главной страстью его оставались военные учения. Он проводил их почти ежедневно, особое внимание уделяя артиллерии.

В июле 1730 года голландский резидент в Петербурге писал, что Миних демонстрировал успехи скорострельной полевой артиллерии, «так что из трех пушек в семь минут двести семьдесят раз выпалено».

Миних всей душой был предан армии, но в армии его не любили. На просьбы офицеров об облегчении положения солдат, служивших в невозможных условиях, он обычно отвечал: «А, а, батушка! У русских людей невозможности нет!» «Петр I и после него доказали, что русского солдата можно вести в бой, не давая ему обуви и даже хлеба», — заметил историк К. Валишевский.

Усилиями тех, кто оставался в Петербурге, жизнь города не замирала, но пребывала в печальном состоянии. Вот, к примеру, прошение служащих санкт-петербургской типографии: «В 1727 году в августе месяце не было выдано ни жалованье, ни содержание за январскую и майскую трети, вследствие этого справщики с мастеровыми просили ради наступающего праздника Успения Богородицы выдать им рубля по два — по три на человека, чтобы с женами и детьми не исчезнуть гладом».

В январе 1730 года в Петербург пришло известие: в Москве умер от оспы пятнадцатилетний император Петр II.

Жестокая пора

Воцарение Анны Иоанновны. Засилье иностранцев у власти. Тяготы жизни в Петербурге. Нравы императорского двора. Свадьба в Ледяном доме. Труды Комиссии о Санкт-Петербургском строении. Дело Волынского. Дворцовый переворот 1741 года

В России и ее столице продолжались тяжелые времена «...ужасного и невыносимого режима, водворившегося в России после смерти Петра Великого, периодических переворотов и произвола русской олигархии, чередовавшейся с грубостью немецкой диктатуры», — писал К. Валишевский. Фактически власть в стране принадлежала Верховному тайному совету, в который входили несколько влиятельных вельмож из старой и новой, появившейся во времена Петра I, аристократии. Верховный тайный совет был учрежден в 1726 году, состав его менялся (в связи с опалой из него выбыли Петр Толстой, Александр Меншиков, князья Долгоруковы), но число членов не превышало семи-восьми человек.

После смерти Петра II Верховный тайный совет решил призвать на русский престол дочь старшего брата Петра I — Анну Иоанновну. За двадцать лет до этого она была выдана замуж за герцога Курляндского, овдовела и временами писала из Митавы[1] царственной родне в Россию, жалуясь на вдовью бедность и скудность. Ни умом, ни волей Анна Иоанновна не отличалась, и Верхов-

[1] Митава — до 1917 г. название города Елгава (Латвия), в 1561—1795 гг. — столица Курляндского герцогства.

ный тайный совет счел, что она не станет помехой его власти. «Верховники» составили специальный документ — кондиции, которые лишали будущую императрицу реальной власти. Герцогиня Анна согласилась на все условия, подписала кондиции и приехала в Москву. Вероятно, сохранись эти условия в силе, Анна Иоанновна не оставила бы заметного следа в русской истории. Но на свою беду в дело вмешалось дворянство. Большая часть дворян ненавидела вельможных «верховников», оттеснивших остальных от власти. А главное — большинство дворян, особенно в гвардии, не желало ограничения самодержавия, уравнивавшего в бесправии всех.

В феврале 1730 года в Москве к Анне Иоанновне явилась депутация дворян с прошением о роспуске Верховного тайного совета и о том, чтобы она приняла самодержавную власть. Упрашивать ее не пришлось. Неограниченное «самодержавство» было восстановлено. Поплатились за это все — не только «верховники», попавшие в опалу, но и все дворянство, вся Россия, которой предстояло пережить черные времена бироновщины. День коронации Анны Иоанновны был отмечен дурным предзнаменованием: небо над Москвой было багрово-красным, страшным. Это запомнилось.

В 1732 году императрица и ее двор переехали в Петербург. Миних устроил торжественную встречу. Поредевшее население города собралось, чтобы поглазеть на триумфальные ворота, иллюминацию, парад — таких праздников в столице не было давно. Доблестный генерал-фельдцехмейстер разработал церемониал встречи: «...Все полки вдруг на караул поставят и поход в барабаны ударят и десять минут продолжат, а потом все офицеры и рядовые, подняв шляпы вверх, будут ими махать и трижды вскричат: „Виват, Анна, великая императрица, виват, виват!“»

Иллюминация Миниха так понравилась императрице, что отныне устройство иллюминаций вменялось ему в обязанность. Прибыв в Петербург, она, подобно Петру I, начала призывать со всей России необходимых в столице людей. Кто же они? Вот отрывки из писем Анны Иоанновны в Москву и Переяславль: «У Загряжской в Москве живет одна княжна Вяземская; объяви ей, что я беру ее из милости, и в дороге вели ее беречь, а я беру ее для своей забавы: как сказывают, она много говорит...»; «...пришли сюда бедных дворянских девок; ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы лет по сорок и так же говорливы, как были княжны Настасья и Анисья».

Ограниченная, тщеславная Анна Иоанновна в молодости, при дворе Петра I, чувствовала себя приниженной и обделенной — и, став императрицей, жила в подозрительности и страхе. Русским аристократам она не доверяла и помнила, что восстановить «самодержавство» ей удалось главным образом благодаря поддержке гвардии. «Надобно привязать к себе эту гвардию, увеличить ее число и главное — сосредоточить всю власть в руках людей преданных, интересы которых неразрывны с интересами Анны, которым будет грозить беда, если власть перейдет к русской знати. Эти люди — иностранцы» (С. М. Соловьев).

Вместе с Анной Иоанновной и во все время ее правления в Россию прибывали на службу иностранцы, главным образом остзейские немцы из Прибалтики. Они заняли все командные должности в гвардии и в государственном аппарате, все доходные места. Такого засилья и торжества иностранцев Россия до той поры не знала. Главной привязанностью императрицы, единственным человеком, которому она во всем доверяла, был ее фаворит Эрнст Иоганн Бирон. В царствование Анны Иоанновны Бирон фактически стал правителем России.

За те несколько лет, в которые Петербург был покинут императорским двором и значительной частью жителей, он пришел в запустение и упадок. Даже в центральной части города строения перемежались с пустырями; деревянные мосты и набережные пришли в негодность. Разрушались сваи и щиты, которыми были укреплены берега рек: «и от того каналы заносит, и в тех местах також и по берегу Невы реки, при обывательских домах берега и мосты весьма попортились... и от такой долговремен-

ной непочинки пришли оные каналы и речки в такую худобу, что занесло землею в половину, от чего проход и мелким судам весьма с трудностью», — доносила Сенату в 1727 году канцелярия полицеймейстера Петербурга.

Мойка стала несудоходной, и в 1736—1739 годах пришлось проводить работы по очистке и углублению ее русла. В печальном состоянии находились каналы Васильевского острова, который по замыслу Петра I должен был уподобиться Венеции. Эти широкие заброшенные канавы, заполненные стоячей водой и грязью, источали зловоние. Жители окрестных домов сбрасывали в них мусор.

Но несмотря на все тяготы жизни в Петербурге, население его увеличивалось. Город привлекал людей разных сословий, особенно после того, как сюда переселился императорский двор.

Петербург был притягателен не только для русского дворянства: «на ловлю счастья и чинов» сюда стремились иностранцы. Они смело могли рассчитывать на покровительство Анны Иоанновны и ее приближенных: Бирона, Остермана, Миниха.

Десятилетие правления Анны Иоанновны (1730—1740) — тяжелое время в истории Петербурга. В столице с особенной откровенностью проявились худшие свойства тех, кто пришел к власти: презрение к России, невежество и дикость в сочетании со спесью «цивилизаторов», жестокость и раболепство их русских приспешников, нетерпимость ко всякому проявлению национального чувства. У власти были временщики самого низменного свойства, и их мало заботило будущее города и страны.

Жизнь в Петербурге была неспокойной и опасной. В городе развелось множество разбойников. Они пробрались даже в казематы Петропавловской крепости, убили часового и унесли полковую казну. Грабителей стало так много, что гвардии приказано учредить на главных улицах постоянную патрульную службу.

В 1735 году пришлось вырубить лес на Фонтанке, в окрестностях Невского проспекта и вдоль Нарвской дороги, чтобы изгнать и выловить там шайки, которые «многих людей грабят и бьют». Для их поимки военная коллегия

отрядила «пристойную партию драгун». Священник лютеранской церкви Св. Петра на Невском проспекте подал прошение о том, чтобы не переселяться в дом при церкви, пока соседние дома пустуют: «Я переехал бы туда, но опасаюсь недостатка в воде, злоумышленников и разных превратностей, случающихся обыкновенно с теми, кто живет далеко от соседей».

Жестокие казни пойманных разбойников не устрашали остальных. Архиепископ Феофан Прокопович говорил, что жестокостью воровства вывести нельзя, нужны благие примеры и поучения. Но о каких благих примерах можно толковать, когда сама императрица велела повесить перед своими окнами повара, подавшего к столу несвежее масло?

Однако больше, чем разбоя, в столице страшились Тайной розыскных дел канцелярии, учрежденной в 1731 году. Соглядатаи и доносчики были в чести при Петре I, но сейчас на них, пожалуй, не меньший спрос. Тайная розыскных дел канцелярия, политический сыск, выслеживала людей, злоумышляющих против власти. За время правления Анны Иоанновны по приговорам Тайной канцелярии в ссылку отправлено более двадцати тысяч человек. Людей хватали по малейшему подозрению, по любому доносу; формула «слово и дело», которую произносил доносчик, повергала в трепет самых смелых. Дознание в застенках Тайной розыскных дел канцелярии чаще всего проводилось под пыткой.

Иногда на улицах Петербурга появлялись страшные фигуры: люди в балахонах, в которых были лишь прорези для глаз, бродили под конвоем по городу, оглядывая прохожих. Это были «языки» — преступники, которых выводили, чтобы они указывали на сообщников. Знака «языка» было довольно, чтобы человека схватили и отвели в застенок.

Одной из жертв оговора, сделанного «языком», стал помещик Головкин. Он остался жив и впоследствии рассказывал о пытках: его подымали на пялы (дыбу), выворачивали лопатки, гладили спину горячим утюгом, вгоняли под ногти раскаленные иглы... Уже стариком Головкин

отмечал в календаре: «Такого-то числа подчищали ногти у бедного и грешного человека, которые были изуродованы. Благодарение Господу! Ныне мы благоденствуем».

В тридцатые-сороковые годы на Петербург обрушилось еще одно бедствие — опустошительные пожары. Иногда они возникали случайно, но чаще из-за поджогов. В 1736 году пожар на Мойке, начавшийся в доме персидского посла, распространился по всей округе. Он продолжался восемь часов и произвел огромное опустошение. В 1737 году город загорелся сразу в двух местах, пожар уничтожил значительную часть построек, погибло несколько сотен людей. Очевидно, он возник не случайно: накануне возле дворца царевны Елизаветы Петровны был найден горшок с воспламеняющимся веществом. В 1739 году сгорели баржи с зерном и маслом, стоявшие у пристани. Купцы понесли огромные убытки.

Пожары участились настолько, что в центре города и возле всех дворцов были выставлены постоянные гвардейские пикеты, охранявшие их от поджигателей. Летом 1748 года шайки поджигателей появились в Москве и вызвали там такой ужас, что множество жителей покинуло город и жило в окрестных полях в шатрах и палатках, пока преступников не выловили. Схватив, их сжигали на пожарище, на месте поджога.

Поджигательство стало походить на эпидемию, на массовый психоз: среди пойманных на месте преступления — девочка-нянька, поп-расстрига... Ужас жизни вызывал патологическое стремление к разрушению, смерти.

Летом в воздухе столицы стоял смрад. Императрица сетовала на то, что смрад издают бойни у рынков; могилы на кладбищах роют неглубокие, «от чего тяжелый дух чрез рыхлую землю проходит»; полиция «не смотрит, что по пустырям и глухим местам мертвечина валяется и множество непотребных собак в городе бегают и бесятся; 16 сентября одна бешеная собака вбежала в Летний дворец и жестоко изъела двоих дворцовых служителей и младенца».

Во дворце по нескольку дней не открывали окон из-за запаха гари и дыма пожаров. Судя по всему, жизнь в Петербурге тех лет походила на ад. Но это не мешало императорскому двору веселиться. Настали времена неслыханного прежде расточительства, почти каждый день устраивались праздники, и на каждый праздник велено являться в новом наряде. Дворяне продавали свои имения и вздыхали о временах Петра I, издававшего указы против чрезмерной роскоши. «Вы не можете вообразить себе роскошь этого двора. Я был при многих дворах, но могу уверить, что здешний двор своим великолепием превосходит даже самые богатейшие, не исключая и французского», — писал из Петербурга испанский посол.

Пьянство на дворцовых праздниках не в чести, зато Анна Иоанновна вводит в моду азартные карточные игры. Все время, свободное от балов и праздников, толстая рябая императрица в шлафроке и чепце то слушает вздор своих говорливых девок, то возится с заболевшей собачкой, то обсуждает, как доставить в Петербург новорожденную мартышку... Она любит охоту: зверей для царской травли привозят прямо во двор Зимнего дворца или в Летний сад. В покоях императрицы стоят заряженные ружья, и она палит из окон в галок и ласточек; во дворце есть галерея с мишенями, где эта Диана упражняется в стрельбе. Ее фаворит столь же пылко увлечен лошадьми. Австрийский посланник острил, что Бирон говорит, как человек, с лошадьми и о лошадях, а когда беседует с людьми и о людях, то говорит, как лошадь.

При дворе Анны Иоанновны было множество шутов и карликов. Ее забавляли самые грубые проделки и плоское зубоскальство. Среди придворных шутов были два человека из аристократических семей: князья Волконский и Голицын, что оскорбляло русских вельмож. В шуты их определили в наказание: М. А. Голицына, например, за то, что он принял в Италии католичество.

Голицын был в числе молодых людей, посланных Петром I на учебу в Европу, закончил Сорбонну, а затем женился на итальянке. Для того чтобы вступить в брак с католичкой, он сменил вероисповедание. Когда об этом стало известно в Петербурге, Голицыну было приказано немедленно вернуться в Россию. Он оставил жену и вер-

нулся. В наказание за вероотступничество Анна Иоанновна произвела его в шуты и дала прозвище «Квасник». После всех этих потрясений князь Голицын впал в меланхолию, близкую к помешательству, и покорно сносил унижения и насмешки. Среди придворных шутов были и иностранцы: итальянец Педрилло, португальский еврей Ла Коста. Трудно сказать, чего больше было в затеях этой компании: грубости или глупости.

С шутами Анны Иоанновны связано одно из самых знаменитых празднеств XVIII века в Петербурге: свадьба Голицына с приживалкой императрицы, калмычкой Бужениновой в Ледяном доме в 1740 году. В этой затее, как в зеркале, отразился характер и стиль того времени — с его расточительностью, жестокостью, использованием искусства для грубой забавы.

Сотни строителей Ледяного дома трудились на Неве в одну из самых суровых петербургских зим. Для свадебного торжества со всей страны в столицу были присланы представители народностей, населяющих империю, — общим числом около трехсот человек. На празднике они появились в национальных костюмах, с музыкальными инструментами. Кроме того, из одних губерний приказано было прислать в Петербург собак, из других — лошадей, а из Новгорода — «пятьдесят козлов да баранов четверорогих и пятирогих до десяти, и чтоб все были большие»!

Ледяной дом, построенный на Неве между Зимним дворцом и Адмиралтейством, был великолепен. Его описание для «охотников до натуральной науки» составил петербургский академик Г. В. Крафт. Свадебный кортеж состоял из трехсот гостей. Они ехали в санях, запряженных оленями, собаками, свиньями и т. д. Впереди шествовал слон, на спине которого сидели новобрачные. После праздника супругов оставили в Ледяном доме на ночь. Утром их, полумертвых от холода, освободили. А к весне ледяное чудо растаяло, оставив в городе долгую память.

Много странных зрелищ видел Петербург в эти годы. В 1743 году сюда прибыло большое посольство персидского шаха Надира. Послы удивляли придворных цветистыми речами, горожан — экзотическим видом, а под

конец привели город в ужас: они похитили и тайно увезли несколько десятков детей. Часть этих детей удалось вернуть лишь в Астрахани.

Жизнь Петербурга спустя короткое время после смерти его основателя можно сравнить с музыкальной шкатулкой, в которой кончается завод. Слаженная мелодия замедляется, сбивается и наконец смолкает. Обширные замыслы и нововведения Петра I остались в прошлом; зато усугубились худшие черты, присущие его правлению: грубость нравов, пренебрежение к отечественным традициям, жестокость, непомерные траты государственной казны. Лилась кровь в застенках Тайной розыскных дел канцелярии; имя ее начальника, генерал-аншефа А. И. Ушакова, наводило ужас на всех. Этот служака, во времена Петра I капитан Преображенского полка, обнаружил недюжинные способности по части сыска и палачества и ревностно служил Бирону.

Императрица отстранилась от дел, ее интересовали лишь развлечения и праздники. Устройством их занимались министры, военачальники: Миних, Волынский... Газета «Санкт-Петербургские ведомости», издававшаяся Академией наук, регулярно сообщала об охотничьих трофеях императрицы. Академия вносила свой вклад в увеселение двора: так, академик Г. В. Крафт — физик и математик — один из создателей Ледяного дома. В своем сочинении «Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге в 1740 Ледяного дома» Крафт оценивал эту постройку как ценный вклад в науку и сожалел, что до сих пор мало обращали внимания на лед как на «пригодный материал» для строений и мало еще сделано «ледяных открытий».

Придворный поэт В. К. Тредиаковский слагал стихи и панегирики Анне Иоанновне. Как писал Н. И. Новиков в «Опыте исторического словаря о русских писателях», «сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия; весьма знающ в латинском, греческом, французском, итальянском и в своем природном языке; также в философии, богословии, красноречии и других науках». Но участь

придворного поэта незавидна и, в сущности, не слишком отличается от участи приживала или шута. В Зимнем дворце, в покоях императрицы, Тредиаковский, стоя на коленях возле камина, декламировал ей стихи из своей книги «Езда на остров Любви». После чтения, по его выражению, он «удостоился получить из собственных Ее Императорского Величества рук всемилостивейшую оплеушину».

Приближенные и вельможи Анны Иоанновны занимались не только устройством праздников и развлечениями императрицы, но и важными государственными делами, в частности, благоустройством столицы. После опустошительных пожаров тридцатых годов была организована государственная Комиссия о Санкт-Петербургском строении — учреждение, ведавшее вопросами планировки и застройки столицы. Во главе Комиссии стоял Миних, но основную работу в ней вел главный архитектор П. М. Еропкин.

Комиссия разделила город на пять частей, центральной была признана Адмиралтейская часть. Застройку улиц и проспектов определили вести «линейно», как задумано Петром I. На пустырях, образовавшихся после пожаров, предложено возводить каменные дома по образцу дома ювелира Граверо, спроектированного архитектором М. Г. Земцовым. Комиссия создавала проекты планировки частей города — с новыми прямыми проспектами-лучами, с выравниванием уже существовавших улиц. В основу этих проектов было положено стремление к целесообразности и продолжению градостроительной традиции основателя Петербурга.

Были официально утверждены и обозначены названия улиц, проспектов, площадей, рек, каналов, мостов, произведена нумерация домов. Одной из проблем города оставалась нехватка мостов, и Комиссия о Санкт-Петербургском строении постановила построить в различных частях города деревянные мосты. По ее решению начались работы на реке Мойке: углубляли дно реки, очищали от заносов русло. Однако многие планы Комиссии остались на бумаге, потому что гибель Еропкина лишила ее фактического руководителя. В основу работы новой правительственной Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, учрежденной в 1762 году, были положены проекты ее предшественницы.

П. М. Еропкин стал жертвой расправы, ознаменовавшей завершение царствования Анны Иоанновны: он был казнен вместе с кабинет-министром императрицы А. П. Волынским и горным инженером А. Ф. Хрущевым в Петербурге 27 июня 1740 года. Эта казнь — одно из самых беззаконных дел даже в ту эпоху беззакония. Она произвела на современников особенно страшное впечатление, потому что жертвами были влиятельные, незаурядные люди, известные своим патриотизмом.

Несколько десятилетий спустя Екатерина II, прочтя материалы этого судилища, напишет: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала и до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел».

А. П. Волынский был из числа людей, выдвинувшихся во времена Петра Великого, талантливым государственным деятелем и просвещенным человеком. Его, как и многих, возмущало засилье иностранцев в государственном управлении, наглый грабеж страны.

Бирон и другие приближенные императрицы рассматривали себя как европейских цивилизаторов дикой России, которая нуждается в исправлении и жесткой власти.

Один из этих временщиков пояснял: «Императрица принимает советы только от иностранцев, от Остермана, Бирона, Миниха и Левенвольда, и имеет право быть ими довольна; ибо русские, которым нельзя отказать в способностях, все-таки держат в голове свои старорусские начала, уничтожаемые временем».

Вокруг Волынского сплотился кружок единомышленников. Они не замышляли переворота. Люди, собиравшиеся в доме Волынского, обсуждали планы государственного переустройства, ограничения власти самодержца, развития и просвещения страны. «Волынский, служа при Анне кабинет-министром, был истинным любителем отечества,

ревностным духом пылал он к пользам России», — писал его современник Я. П. Шаховской.

Кабинет-министр решился в открытую бросить вызов Бирону. Миних вспоминал об этом в своих записках: «Волынский, Еропкин и друзья их пали жертвами Бирона, потому что Волынский поднес императрице записку, имевшую целью низвержение Бирона. Я сам был свидетелем, когда взбешенный Бирон грозил ей, что перестанет служить, если она не пожертвует Волынским и другими».

Императрица пожертвовала Волынским для своего фаворита. Кабинет-министра и его друзей обвинили в государственной измене, заключили в Петропавловскую крепость, зверски пытали. Волынскому во время пыток вырвали язык, вывихнули на дыбе руки. А 27 июня на Сытном рынке Петербургской стороны совершилась казнь. Из крепости осужденных пешком привели к эшафоту. У Волынского нижняя часть лица была повязана окровавленной тряпкой. Его, Еропкина и Хрущева обезглавили, Мусину-Пушкину вырезали язык, других участников кружка — Ф. И. Соймонова, И. Эйхлера и И. де ла Суда — били плетьми, а затем сослали в Сибирь. Тела казненных, без совершения церковного обряда, похоронили на окраине города, у церкви Св. Сампсония.

Сыны отечества! в слезах
Ко храму древнего Самсона!
Там за оградой, при вратах,
Почиет прах врага Бирона.
Отец семейства! Приведи
К могиле мученика сына;
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина! —

писал в 1822 году К. Ф. Рылеев, который через четыре года после этого тоже будет казнен у Петропавловской крепости.

Спустя несколько месяцев после гибели Волынского Анна Иоанновна умерла. Ее последние слова были обращены к Бирону: «Не бойся!»

Императором провозгласили девятимесячного Ивана Антоновича, сына племянницы Анны Иоанновны — Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Регентом младенца-императора стал по воле Анны Иоанновны Бирон. А через месяц Миних с гвардией арестовал временщика, и тот был отправлен в ссылку. В день падения Бирона Петербург был празднично иллюминирован, горожане ликовали, незнакомые люди плакали, обнимая друг друга.

«Еще не бывало примера, чтобы в здешнем дворце собиралось столько народу и весь этот народ выражал такую неподдельную радость, как сегодня», — писал из Петербурга французский посланник Шетарди. Однако гвардия выражала недовольство: в ней полагали, что после ареста Бирона императрицей станет дочь Петра Великого Елизавета.

Правительница Анна Леопольдовна, ставшая регентшей при малолетнем сыне, правила год и прославилась лишь тем, что успела завести фаворита — польского посланника Линара, обручила его для вида со своей подругой Юлией Менгден, а затем подарила новобрачным дворец, бриллиантов на 3 миллиона рублей и по 35 тысяч рублей каждому. Окрыленный Линар отправился в Германию положить сокровища в банки и там узнал, что русское Эльдорадо для него утрачено: император Иван Антонович был свергнут гвардией. Императрицей стала Елизавета Петровна.

На протяжении XVIII века столица видела несколько дворцовых переворотов, и главную роль в них играла гвардия. В гвардии служили люди из аристократических семей, в ее рядах находился цвет дворянской молодежи — и роль ее в политических событиях была значимой. С нею приходилось считаться.

Младшая дочь Петра I Елизавета, которая жила вдали от императорского двора, почти в опале, была любима в Петербурге, особенно в гвардии. «В тебе течет кровь Петра Великого. Тебе должно царствовать!» — повторяли ей ее приверженцы.

Под влиянием своего окружения она наконец решилась действовать. В ночь на 25 ноября 1741 года в ее дворце на Царицыном лугу собрались близкие люди: Шуваловы, Воронцовы, Лесток. Елизавета долго молилась перед иконой Божьей Матери и дала обет не проливать крови, никого не казнить в свое царствование, если она станет императрицей.

У крыльца ее ждали сани. Елизавета села в них, на запятки встали Воронцов и Шуваловы, и сани понеслись по пустынным улицам ночного Петербурга к казармам лейб-гвардейского Преображенского полка на Литейном проспекте. Там царевну окружило несколько сотен преображенцев.

— Ребята, вы знаете, чья я дочь! Ступайте за мною! — сказала она. — Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли умереть за меня?

— Матушка! Мы готовы! Клянемся!

И толпа лейб-гвардейцев двинулась за санками Елизаветы к Зимнему дворцу.

«...Сильный шум побудил меня быть настороже; я увидел 400 гренадер лейб-гвардии, во главе которых находилась прекраснейшая из государынь. Она шла твердой поступью одна, а за ней и ее свита направилась ко дворцу», — писал несколько дней спустя очевидец этих событий.

Площадь перед Зимним дворцом была покрыта глубоким снегом. Елизавета вышла из саней, сделала несколько шагов в снегу. «Матушка! Так не скоро дойдем, надобно торопиться!» — заговорили лейб-гвардейцы. Она позволила им нести ее до дворца на руках. Гвардейцы, стоявшие в охране во дворце, перешли на ее сторону.

Брауншвейгская фамилия (так называли семью младенца-императора) была арестована. Кроме них, арестовали Миниха, Остермана и других. Свергнутого Ивана Антоновича Елизавета отвезла в свой дворец.

Весть о перевороте чудесным образом облетела спящий город, и когда санки Елизаветы возвращались домой, ее приветствовали толпы народа. Несмотря на темноту и холод, люди бежали к дворцу на Царицыном лугу; там стояли гвардейские полки, горело множество костров, были выставлены вино и водка. Солдаты и горожане, греясь спиртным и теплом костров, восклицали: «Здравствуй, наша матушка императрица Елизавета Петровна!»

Как писал С. М. Соловьев, «в движении в пользу Елизаветы дело шло о национальном интересе, национальной чести, иностранного правительства больше не хотели. Но ошибкой было бы предполагать, что торжество национального интереса будет иметь следствием возвращение русских к допетровским временам — те же самые побуждения заставят дочь Петра сохранять и развивать все сделанное при Петре».

Петербург времен Елизаветы

Блистательный Растрелли. Время чудес и превращений. Смягчение нравов в столице. Записки графа Гордта. Ксения Петербургская. «Продерзостный» Ломоносов. Меценат Шувалов и развитие искусств

«Петербург в царствование Елисаветы... представлял одни противоположности — из великолепного квартала вы вдруг переходили в дикий и сырой лес; рядом с огромными палатами и роскошными садами стояли развалины, деревянные избушки или пустыри; но всего поразительнее было то, что чрез несколько месяцев эти места нельзя было узнать: вдруг исчезали целые ряды деревянных домов, и вместо них появились каменные дома, хотя еще не оконченные, но уже населенные», — писал М. И. Пыляев в книге «Старый Петербург». Город быстро разрастался, в нем строились новые дворцы, улицы, мосты. Уже в петровские времена в нем было немало садов при домах, а теперь, после указа ограждать дома не заборами, а невысокими оградами, улицы оказались окаймленными зеленью — и город изменился, похорошел.

Палисадники были при каждом доме, а садов в Петербурге к концу XVIII века насчитывалось более 1600. Самый знаменитый сад петровского времени — Летний — сохранял значение придворного, но постепенно приходил в упадок. Зато напротив него, на месте Михайловского замка, где в петровские времена находилась усадьбы жены царя, Екатерины, был насажен великолепный сад возле деревянного Летнего дворца, построенного архитектором Растрелли в 1744 году для императрицы Елизаветы.

Он тянулся от Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) до Итальянской улицы. Его украшали цветники и узорчатые партеры, пруды и лабиринты из зелени, павильоны, фонтаны. Впоследствии размеры сада сокращались, новые постройки все больше теснили его, и, наконец, осталась лишь небольшая часть, составившая территорию нынешнего Михайловского сада. Императрица Елизавета любила свой Летний дворец, здесь она устраивала праздники, принимала посольства; в Летнем дворце прошло детство будущего императора Павла I. Впоследствии он приказал разобрать старый дворец и построить на этом месте Михайловский замок.

Архитектурные творения Растрелли придали облику нашего города особый колорит. В Петербурге мы найдем замечательные образцы архитектуры классицизма и ампира, эклектики и изысканного модерна — но насколько беднее был бы он без созданий Растрелли, с их сияющей голубизной и позолотой, праздничным размахом и блеском! Слова об основателе города, победившем «естества чин» этих северных бесприютных мест, можно отнести и к Растрелли. Петербургское небо даже в ненастье кажется не таким сумрачным над Смольным собором, Зимним дворцом или Екатерининским дворцом в Царском Селе. Одно из самых необычных мест в городе — внутренний двор построенного Растрелли Строгановского дворца на углу Невского проспекта и набережной Мойки. Стоит затворить за собою тяжелую дверь, сделать несколько шагов по булыжнику — и вступаешь в тишину, под высокие кроны деревьев, в дивный покой старины... Творения Растрелли стали камертоном, определившим всю мелодику архитектуры Петербурга, ее торжественную красоту.

Франческо Бартоломео Растрелли — сын итальянского скульптора Бартоломео Карло Растрелли, работавшего в Петербурге по приглашению Петра I. Шестнадцати лет будущий архитектор приехал сюда с отцом и почти всю свою дальнейшую жизнь связал с Россией. В 1725—1730 годах Растрелли учился в Европе, а вернувшись в Петербург, стал в 1730 году придворным архитектором. Он был блистательным представителем стиля барокко.

Более тридцати лет Растрелли создавал в Петербурге и других городах России дворцы, соборы, великолепные архитектурные ансамбли. Расцвет его творчества пришелся на время царствования Елизаветы. К сожалению, императрица требовала строить как можно скорее, поэтому многое делалось наспех, лепнину часто заменяли раскраской, одно здание переделывали по нескольку раз. Кроме того, дерево, широко применявшееся для строительства, — материал недолговечный. Деревянные дворцы Растрелли не сохранились до наших дней.

Превосходный образец архитектуры барокко в Петербурге — Аничков дворец, созданный по проекту М. Г. Земцова и Г. Д. Дмитриева. После смерти Земцова строительство продолжалось под руководством Растрелли. Аничков дворец предназначался для графа А. Г. Разумовского, морганатического мужа императрицы Елизаветы. Усадьба этого дворца, с садом, павильонами, оранжереями, занимала территорию от Фонтанки до Садовой улицы; в центре ее располагалось великолепное трехэтажное здание; крышу дворца украшали два купола: над домашней церковью высился купол с крестом, на противоположной стороне — со звездой. Церковь Воскресения Христова Аничкова дворца, оформленная Растрелли, была знаменита своим резным золоченым иконостасом.

В саду (на месте, где сейчас Александринский театр) находился павильон с картинной галереей и бальной залой, вдоль Невского проспекта тянулся пруд с высокими берегами, цветники пестрели экзотическими цветами, бил фонтан — словом, в нем было все, что могли предложить вкус и мода того времени.

Главный, парадный фасад Аничкова дворца был обращен к Фонтанке. От Фонтанки к нему провели канал, так что гости могли прибывать во владения Разумовского по воде. Однако при жизни Елизаветы он мало жил в своем дворце. Императрица любила устраивать там балы и придворные праздники.

В первоначальном виде дворец простоял недолго. В 1761 году умерла Елизавета, подарившая его Разумовскому, а через десять лет и он сам. В конце 70-х годов Екатерина II подарила Аничков дворец своему фавориту — Г. А. Потемкину; похоже, этот дворец становился чем-то вроде вещественного изъявления чувств царственных дам. К тому времени на смену барокко в архитектуре пришел классицизм, и архитектор И. Е. Старов перестроил Аничков дворец. А в начале XIX века перепланировали усадьбу дворца, построили новые здания. Сегодня мы можем судить о ее первоначальном виде лишь по старинным гравюрам.

Неподалеку от усадьбы Разумовского, на другой стороне Невского проспекта, в елизаветинские времена был дворец другого ее фаворита — И. И. Шувалова. А немного дальше, на Садовой улице, помещалась Тайная канцелярия. В середине XIX века, во время перестройки одного из зданий на Садовой в его подвале нашли старый подземный ход, скелеты замурованных в стену людей, камеру с орудиями пытки, цепи, кандалы, переносную кузницу.

Но вернемся к рассказу о созданиях Растрелли. Зимний дворец в своем современном виде — четвертый из стоявших на этом месте. Первый по времени, построенный для Петра I, располагался на берегу Зимней канавки, на месте нынешнего Эрмитажного театра. Рядом с Зимним дворцом был дворец генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. После его смерти дворец по завещанию Апраксина перешел к Петру II. Императрица Анна Иоанновна велела сделать к дворцу Апраксина пристройки и некоторое время жила в нем. В 1732—1737 годах Растрелли возвел для нее новый Зимний дворец. Он был красивым, но следующей императрице — Елизавете — показался тесноватым. Поэтому в 1754 году на его месте Растрелли заложил новый Зимний дворец. Его строительство затянулось почти на десять лет, главным образом из-за нехватки денег. Елизавета торопила зодчего, и он был готов закончить постройку раньше, если будут необходимые средства. Императрица обещала, но все оставалось попрежнему. Растрелли даже заболел от переживаний. Елизавета так и не дождалась завершения работ, она умерла

раньше. Строительство Зимнего дворца было закончено лишь в 1762 году, а внутренняя отделка — в 1769-м. Зимний дворец стал шедевром творчества Растрелли. Сам зодчий писал: «Строение каменного Зимнего дворца создается для одной славы всероссийской».

После завершения работ из окон дворца открылась неприглядная картина: вся площадь перед ним была завалена строительными отходами, мусором, накопившимся за десять лет. Тогда в Петербурге обнародовали указ: жители могли брать с площади все, что им приглянулось в этих залежах. Результат был замечательный: к вечеру того же дня Дворцовая площадь оказалась очищенной. К сожалению, интерьеры Зимнего дворца, выполненные по проекту Растрелли, не сохранились: их уничтожил пожар 1837 года. При восстановлении в первоначальном виде были воссозданы только фасады дворца.

Другим шедевром творчества Растрелли в Петербурге стал собор Смольного монастыря, в который религиозная Елизавета хотела удалиться в старости. Проект этого монастыря был задуман Растрелли как великолепный архитектурный аккорд, в котором центром композиции становился собор. Но после смерти императрицы строительство замерло, поскольку новая царственная заказчица была поклонницей входящего в моду классицизма. Под наблюдением Растрелли успели лишь подвести под крышу Смольный собор. В 1832—1835 годах его достроил архитектор В. П. Стасов.

Смольный собор — одно из лучших творений зодчества в Петербурге. Другой прославленный архитектор нашего города, Дж. Кваренги, проходя мимо него, всякий раз снимал шляпу в знак почтения перед гением Растрелли. «Здание внутри так красиво по архитектурным линиям и так в нем радостно и светло, что его можно считать одной из лучших русских церковных построек... Собор и здания келий охвачены невысоким забором... а по углам поставлены легкие башенки, точно все это задумано для блестящего празднества» (В. Я. Курбатов. «Петербург»).

«Празднество» творчества Ф. Б. Растрелли в Петербурге закончилось с царствованием Елизаветы. Барокко

казалось несозвучным новой эпохе — и гениальный зодчий остался не у дел. В 1763 году придворный архитектор Растрелли вышел в отставку, а затем уехал в Митаву — к герцогу Курляндскому Бирону. Умер он в 1771 году — по одним сведениям, в Митаве, по другим — в Петербурге. То, что неизвестно даже место, где умер великий зодчий, означает, что забвение его было полным. Это особенно горько потому, что праздничные творения Растрелли остались его удивительным подарком Петербургу на счастье. «Растрелли дошел в лучших своих сооружениях до полной гармонии и тем сделал невозможной работу в этом стиле мастерам меньшего размаха. Со смертью его наступил конец и самому стилю... Много из сооружений гениального мастера и его учеников уже исчезло, но то, что осталось, кажется неисчерпаемым и по-сказочному блестящим», — писал историк искусства В. Я. Курбатов.

Жизнь в Петербурге при Елизавете Петровне напоминает сказки из «Тысячи и одной ночи». Здесь случаются удивительные чудеса и превращения. Сама судьба императрицы схожа с историей Золушки, и она, попав наконец на праздник жизни, хочет, чтобы он не прерывался ни на миг.

Придворная жизнь в Петербурге действительно представляла собою нескончаемый праздник. Императрица женственна, хороша собою, любит наряды — после нее остался гардероб из одиннадцати тысяч платьев! Редко наряд надевается дважды, а меняются они по два-три раза на дню. Балы чередуются с маскарадами, фейерверками, спектаклями. В придворный театр приглашены из Италии знаменитые художники-декораторы: Дж. Валериани, Д. Градицци. Замечательного расцвета достигли прикладные искусства: в столице открываются все новые мастерские, прибавляется работы у ткацких мануфактур, все дорогое, изысканное пользуется постоянным спросом.

Почти так же, как наряды, императрица меняет дворцы. Их строят для нее за несколько дней — и на несколько дней. По этой причине большая часть их не сохранилась. Она беспрестанно путешествует, и это походит на стихийное бедствие: в Москву из Петербурга следом

за нею отправляется большая часть жителей. Вместе с беспокойной императрицей кочуют Сенат, правительственные учреждения, казначейство. Для этого «великого переселения» из Петербурга в Москву понадобилось девятнадцать тысяч лошадей! Улицы Петербурга успели порасти травой, прежде чем Елизавета, объехав чуть ли не пол-России, вернулась в столицу.

Итак, дворцы возникали и исчезали, как в сказке. Или их переносили, как по волшебству: граф К. Г. Разумовский имел в Киеве дом из семи корпусов, построенный из дубовых бревен. Однажды туда явился сборщик налогов. Оскорбленный граф приказал разобрать дом и перенести в свое имение за несколько сотен верст. Через день на месте огромного дома был пустырь!

Пастух в эти фантастические времена мог вознестись на вершины власти. Думал ли украинский крестьянин Алексей Разумовский, придя в столицу с котомкой за плечами, что станет служить при дворе царевны Елизаветы, приглянется ей своим видом и хорошим голосом, сделается ее фаворитом, а в ее царствование — графом и морганатическим мужем императрицы! Она осыплет Разумовского богатством и титулами, а его младший брат Кирилл после обучения в Европе будет назначен в свои восемнадцать лет президентом Академии наук! Старую мать Разумовских привезут в столицу, нарядят для встречи с императрицей в роскошное платье, наденут высокий парик — и бедная Разумиха, явившись во дворец и увидев свое отражение в зеркальной двери, упадет на колени, решив, что перед нею императрица.

Елизавете, как Гаруну аль-Рашиду, не спится ночами, поэтому к ней тоже приводят сказочниц: рыночных торговок, старух, и они каждую ночь до рассвета плетут свои небылицы; тут же находятся чесальщицы пяток государыни. Видимо, Елизавета никогда не могла забыть обстоятельств переворота, приведшего ее к власти, ночного ареста малолетнего императора Ивана Антоновича и его родителей, поэтому она редко проводила несколько ночей подряд в одном дворце.

А разве не фантастично выглядит светская хроника в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «После полудня Ее

Императорское Величество изволили смотреть учреждение на площади позади императорского дома между несколькими слонами увеселительного боя», — сообщается 20 декабря 1741 года. Или указ 1744 года: на некоторые праздники и придворные маскарады мужчинам являться без масок в юбках и фижмах, одетым и причесанным, как дамы, а дамам в мужских костюмах.

Царице к лицу мужской костюм, отсюда и указ. А слоны в Петербурге появились уже во времена Петра I, их присылал в подарок персидский шах. В 1736 году неподалеку от места, где сейчас стоит Михайловский замок, построили специальный Слоновый двор. В 1741 году посольство шаха доставило еще четырнадцать слонов. Их появление пошло на пользу городу: для того чтобы они могли пройти, пришлось починить мостовые и Аничков мост. На углу Невского проспекта и Лиговского канала для них был построен новый Слоновый двор. В богатое меню этих животных входила даже водка! Не она ли стала виной происшествия, случившегося в 1741 году: «Вскоре после прибытия слоны начали буйствовать, „осердясь между собою о самках“, и некоторые из них сорвались и ушли. 16-го октября... утром три слона сорвались и ушли, из которых двоих вскоре поймали, а третий „пошел через сад и изломал деревянную изгородь и прошел на Васильевский остров, и там изломал чухонскую деревню и только здесь был пойман“» (М. И. Пыляев).

Или это случилось потому, что невежественные зеваки во время прогулки слонов бранили их и бросали палки? Указано было объявить обывателям с подпиской: не обижать слонов и слонового мастера, когда он выводит их гулять на Невский проспект.

Вид городских улиц оставался по-прежнему неприглядным. Их приходилось очищать от навозных куч, жителям многократно запрещалось выбрасывать нечистоты на улицы. В Петербурге было запрещено просить милостыню (даже у церквей), хотя по старой традиции милостыню просили арестанты, которых для этого специально водили по улицам. Снова и снова повторялись указы, запрещающие быструю езду по улицам: удальцы, любящие прокатиться с ветерком, убивали и калечили прохожих.

Продолжалась борьба за нравственность: в который раз издавались указы, грозящие карами за разбой, за мытье в общих банях; вылавливали и наказывали доносчиков, которых так много развелось при Анне Иоанновне. Преследовалась проституция: одним из самых скандальных дел в Петербурге стало дело Дрезденши. Некая авантюристка из Дрездена открыла в городе публичный дом и дом свиданий, поставив дело так широко, что слухи и жалобы дошли до императрицы. Дрезденшу арестовали. Она назвала всех клиентов и дам из дома свиданий — и вместе с «девицами» — профессионалками в исправительный дом попало несколько женщин из уважаемых в городе семейств.

Но самой примечательной чертой тех времен было постепенное смягчение нравов. В 1742 году указано не арестовывать и не пытать в Тайной канцелярии тех, у кого в прошениях была допущена ошибка в написании императорского титула; или, например, тех, кто случайно ронял наземь монету с изображением императрицы. Прежде такие проступки расценивались как «оскорбление величества», и при Анне Иоанновне за них жестоко наказывали. Эпидемия доносительства и слежки, существовавшая в Петербурге со времени его основания, пошла на спад.

Фактически отменена смертная казнь. Во время дворцового переворота Елизаветы были арестованы главные деятели царствования Анны Иоанновны: Остерман, Миних, Головкин, Левенвольде. Стоило вспомнить расправу над Волынским за год до этого, чтобы представить, какая им была уготована участь. Арестованных также заключили в Петропавловскую крепость, но не пытали. Сенат приговорил их к жестокой казни: колесованию, четвертованию... 17 января 1742 года на площади перед зданием Двенадцати коллегий соорудили эшафот, и толпы горожан собрались, чтобы поглядеть на знакомое зрелище. Но на эшафоте осужденным объявили, что казнь заменяется ссылкой в Сибирь. «Историк должен заметить, что после кровавых примеров аннинского царствия никто из людей, враждебных и опасных правительству, не был казнен, на допросах никого не пытали», — писал С. М. Соловьев.

Все это имело самые благотворные последствия: общественная атмосфера в царствование Елизаветы, при отсутствии всеобщего страха и принуждения, смягчении нравов, в значительной степени подготовила либеральное правление Екатерины II, наступление «золотого века» дворянства.

Даже условия заключения в страшной Петропавловской крепости стали легче сравнительно с предыдущими и последующими временами. Записки о пребывании в ней оставили немецкие пленники времен Семилетней войны, в которой участвовала Россия, — пастор Теге и граф Гордт. Конечно, тюрьма оставалась тюрьмой, а плен — несчастьем, но пастор добрым словом вспоминал солдат охраны, прислуживавших ему, он не бедствовал, не испытывал физических страданий. Разве можно сравнить его записки с мемуарами узников «просвещенного» XIX или нашего века! А вот отрывок из воспоминаний Гордта, тогда же заключенного в Петропавловскую крепость:

«Офицер... отправился с рапортом в Тайную канцелярию, куда потом ходил обо мне докладывать каждый день. Около 10 часов снова явился... положил на стол рубль и объявил, что велено выдавать мне по рублю в сутки на содержание... Мне из этих денег потом носили еду из трактира... я не мог долго употреблять дурную [тюремную] пищу. Я запасся чаем, кофеем, сахаром, а по вечерам мне приносили на ужин рябчиков и икры. Так как я не мог выносить запах сальных свеч, то мне позволено было покупать восковые.

Я поглядывал в окно, но... только в праздничные дни толпы народа проходили в церковь [Петропавловский собор], которая находилась против моих окон... Я наблюдал, в чем состоит разница одежды русских от костюма других народов; женщины повязывали голову платками, а лица их обыкновенно были до того нарумянены, что мне казалось, я вижу фурий. Все они были закутаны в огромные шубы и почти все в башмаках; некоторые из них даже несли свои башмаки в руках до церкви, и я не мог понять, как они могли так легко ходить по снегу. Но что было очень неприятно, так это колокольный звон, который

в России не прекращается, можно сказать, день и ночь... Так что нигде соседство с церковью не доставляет таких неудобств, как здесь...

Мало-помалу офицер и стража привязались ко мне... Раз вечером один из гренадер сказал мне, что если я хочу выйти прогуляться на воле, то увижу весь город иллюминированным; то был один из праздничных дней, которые так часты в России... На одном из бастионов... нам открылся вид всего города; он показался восхитительной картиной; для меня же, давно не видевшего ничего, кроме стен своей комнаты, это было почти волшебное зрелище.

Собор... по архитектуре один из прекраснейших храмов, какие только существуют. Гренадер мой вошел в него вместе со мною; но по несчастью дверь захлопнулась за нами так плотно, что мы не могли ее открыть изнутри. Я испугался, как бы бедняга-солдат не повесился от отчаяния... Пока он изыскивал средства выпутаться из затруднения, я заметил в свете негасимой лампады две великолепные гробницы: императора Петра I и императрицы Анны, сел в пространстве, разделяющем их, и предался размышлениям о превратностях земного величия. Между тем гренадер мой отыскал маленькую дверцу, при которой стоял часовой, в руку которого я сунул червонец за оказанную нам милость выпустить нас. Мы весело возвратились в наше печальное жилище».

Светское и религиозное образование в Петербурге и вообще в России того времени пребывало в печальном состоянии. Хотя открывались новые школы и различные учебные заведения для дворян, работала Академия наук; хотя религиозная Елизавета строго соблюдала посты и требовала того же от придворных настолько, что канцлер А. П. Бестужев-Рюмин должен был получить разрешение немного смягчить соблюдение поста от самого патриарха Константинопольского.

Но торжественно богослужение проходило только в придворных церквах, а в приходских по большей части было грязно, тесно, священники были очень бедны и невежественны. От человека, принимающего сан священника, требовались лишь свидетельства о начальном образовании и честном поведении. Среди аттестаций столичных священников попадались такие: «школьному учению отчасти коснулся», «дошел до риторики и за перерослостию, будучи 27 лет, уволен». Прихожане в церкви вели себя шумно, а между священниками случались ссоры и даже потасовки.

Не лучше обстояло дело и со школами. Образованных учителей было мало. Характерно воспоминание майора Данилова об Артиллерийской школе того времени (в ней учились дворяне): «Великий тогда недостаток в оной школе состоял в учителях. Сначала... было для показаний одной арифметики из пушкарских детей два подмастерья; потом определили... штык-юнкера Алабуева. Он тогда содержался в смертном убийстве (за убийство. — *Е. И.*) третий раз под арестом. Он хотя разбирал несколько арифметику Магницкого и часть геометрических фигур, однако был вздорный, пьяный и весьма неприличный быть учителем благородному юношеству. Училища, заведенные при Петре, были тогда заброшены и скорее портили, чем воспитывали молодое поколение, домашнее же образование в высших классах ограничивалось только внешним наведением лоска» (М. И. Пыляев. «Старый Петербург»).

Картина грустная. Но примечательно, что именно в это время в Петербурге жили первый великий русский ученый — М. В. Ломоносов и первая святая нашего города — Ксения Петербургская. Мы помним, что для упрочения положения Петербурга в глазах России основатель города приказал перенести сюда мощи святого Александра Невского. Князь Александр Невский, воитель за Русскую землю, был близок сердцу самого Петра Великого и его представлению о долге государя. «С XVIII века Св. Александр в официальном почитании затмил и даже вытеснил почти всех святых князей. Император Петр, перенеся его мощи из Владимира в новую столицу, в годовщину Ништадтского мира сделал его ангелом-покровителем новой империи» (Г. П. Федотов. «Святые Древней Руси»). Образ Блаженной Ксении Петербургской не сходен с образом победоносного воителя Александра, ее

подвиг — иного рода. Ксения Петербургская — юродивая, блаженная.

В пятидесятые годы XVIII столетия на улицах Петербурга появилась странная фигура — женщина в мужской одежде, называвшая себя Андреем Петровым. О ней знали, что она вдова певчего придворной капеллы Андрея Петрова — Ксения. После смерти мужа Ксения раздала все имущество бедным, покинула дом и стала странницей-юродивой. Она бродила по Петербургу, ночуя где придется; ее можно было увидеть в церкви, подпевающей во время службы; она заходила в дома, куда ее звали или где случилась беда, или просто шла по улице, что-то бормоча, погруженная в свои мысли. Так блаженная Ксения прожила в Петербурге около полувека. В городе ее знали и любили: богатые купеческие семьи наперебой предлагали приют, ее зазывали в гости — считалось, что посещение Ксении приносит счастье. Говорили также, что по ее молитве совершаются чудеса. Она была прозорливицей. Блаженная Ксения предсказала смерть императрицы Елизаветы, неожиданную для всех. Накануне ее кончины Ксения обходила город со словами: «Пеките блины», вся Россия будет печь блины, справляя поминки по Елизавете.

В житии Ксении Петербургской мы найдем немало свидетельств ее прозорливости, силы ее молитвы, однако в нем не сохранилось имен людей, которым она помогала, поддерживала, предугадывая будущее. Но все эти купцы, чиновники, ремесленники, ничем не прославленные обыватели города, канувшие в забвение, почитали блаженную Ксению при ее жизни и после смерти, прибегали к ее заступничеству — и сохранили память о ней для нас. Умерла Ксения, вероятно, в начале XIX века (год ее смерти точно не известен) и была похоронена на Смоленском кладбище. Через несколько лет началось паломничество горожан на ее могилу — и с тех пор не прекращалось никогда. Даже в самые жестокие советские годы люди тайком приходили к часовне над могилой Ксении Блаженной, оставляли записки или просто молились, прося ее о помощи и заступничестве. И она помогала... Свидетельств тому немало — и каждый, кто входит в эту маленькую часовню, чувствует, что это особое место, что оно «живое».

В 1989 году Блаженная Ксения Петербургская была канонизирована. «Не стоит город без святого, селение без праведника» — кажется, именно жизнь Св. Ксении в Петербурге, таком разнородном в своих началах, придала душе города необходимое тепло, примирила его со старой Россией.

Рассказ о жизни и трудах Михаила Васильевича Ломоносова мог бы далеко выйти за рамки нашего повествования. Мы позволим себе остановиться только на его конфликте с Петербургской Академией наук.

В 1741 году Ломоносов вернулся после учебы в Германии, однако в Академии его встретили не слишком радушно — должность адъюнкта он получил лишь через год. Академия пребывала в печальном состоянии: всю власть в ней забрал секретарь канцелярии И. Д. Шумахер. Одни ученые, не смирясь с этим, покинули Академию и Россию (среди них знаменитые математики Л. Эйлер и Д. Бернулли), другие жили «в непрестанном опасении и безусловной покорности».

Ломоносов этими качествами не обладал и скоро развернул боевые действия со всей решительностью своего характера. В 1743 году он на семь месяцев попал под арест за «великие продерзости» в Академии, ссоры и прямые столкновения. Хорошо, что Бироновы времена миновали, иначе конфликт с академическими «немцами» мог обернуться для него куда хуже. Борьба Ломоносова с Шумахером и его клевретами длилась годы; Ломоносов был вспыльчив и горяч, его противники — мелочны и мстительны, и временами она принимала трагикомический характер. Так, однажды после долгой задержки академического жалования его все-таки выплатили Ломоносову — копейками. Мешки, набитые медной монетой, долго стояли у него в сарае, и, расплачиваясь по хозяйственным нуждам, он отмерял деньги ковшом или ведром. Другую историю приводит в своем «Слове о Ломоносове» писатель Борис Шергин. Не знаю, насколько точно он цитирует жалобу Штурма, но само происшествие достоверно.

«Семье Ломоносова неустанно досаждал их сосед Штурм, приятель Шумахера... Михаилу Васильевичу все некогда было заняться этим делом... Но однажды чаша праведного гнева переполнилась. Вот что доносил Штурм:

„Торжества моего день рождений омрачил злодеяния Ломоносова. Двадесять немецких господ и дамен, моих гостей, пошел воспевать невинный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно на головы воспеваемых господ и дамен из окна Ломоносов квартир упадет пареных реп, кислых капуст, досок и бревна. Я и мой супруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался с отломленным перилом и вопияще: «Хорошо медведя из окна дразнить!» — гонял немецкий господ по улице, едва успел гостеприимная дверь захлопнуть всех моего дома... Я и моя зупруга маялись на балкон поливать его водами и случайно может быть ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес дверь на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием двадесять господ. И дамен выскакнили окнами и везде кричали караулы! Дондеже явился зольдатен гарнизон!!“»

Но гнев Ломоносова вызывали не только интриги Шумахера, но и вещи гораздо более серьезные. Как писал историк П. П. Пекарский, «оба распорядителя Академии, Шумахер и Тауберт, неблагосклонно смотрели на проникновение русского элемента в ученое общество. Первый из них говаривал: „Я-де великую прошибку в политике своей сделал, что допустил Ломоносова в профессоры“. А Тауберт сознавался: „Разве-де нам десять Ломоносовых надобно? И один-де нам в тягость!..“ С другой стороны, даже и те иностранные ученые, которые не способны были на злоупотребления, обнаруживали презрение к русским почти нескрываемое». Одной из причин конфликта Ломоносова с другими учеными Академии наук был вопрос об отношении к культуре России, к ее истории. Его противники, Г. З. Байер, А. Л. Шлецер и Г. Ф. Миллер, были создателями так называемой норманской теории. Согласно ей, русские не могли создать собственной государственности и призвали для этого норманнов, варягов. Иными словами, первое государство на Руси создали варяги. Сейчас норманская теория представляет, пожалуй, лишь академический интерес, но можно понять настроение общества, только что освободившегося от «варягов», прибывших в Россию с Анной Иоанновной.

В работах этих ученых Академии было немало предвзятости, пренебрежения к чуждой им культуре, искажения событий русской истории. Ломоносов писал: «Сие так чудно, что если бы господин Миллер умел изображать живым штилем, то он бы Россию сделал столь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый (малый, ничтожный. — *Е. И.*) народ ни от какого писателя не представлен».

Ломоносов значительную часть своих трудов посвятил делу просвещения в России и созданию основ будущей отечественной науки. Первые открытые лекции по естествознанию на русском языке, которые он читал в Петербурге, переводы трудов европейских ученых, популярные работы, посвященные различным областям науки, учебники, написанные Ломоносовым, — все это служило одной цели. «Я не тужу о смерти, — писал он перед кончиной, — пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют».

«Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый русский университет; он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом», — замечательно сказал о нем А. С. Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург».

Ломоносов умер в 1765 году и был похоронен в Александро-Невском монастыре. Его единственная дочь Елена спустя год вышла замуж за А. А. Константинова, служащего императорской библиотеки. Их дочь, Софья Алексеевна, стала женой прославленного героя Отечественной войны 1812 года, генерала Н. Н. Раевского. Дети Раевского, в том числе и «декабристка» М. Н. Волконская, — правнуки великого ученого.

Другом и покровителем Ломоносова был граф И. И. Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы. По определению К. Валишевского, «он имел благородный ум и великодуш-

ное сердце», был меценатом и энергичным поборником просвещения. В доме Шувалова собирались петербургские литераторы, ученые, любители искусства; он был первым куратором университета, открытого в Москве, и Академии художеств, основанной в Петербурге. В 1756 году по инициативе Шувалова в столице появился первый профессиональный «Российский для представления комедий и трагедий театр». Труппу его составляли в основном актеры из Ярославля. Их пригласили в Петербург, когда стало известно, что в Ярославле уже несколько лет существует русский театр, созданный купеческим сыном Федором Волковым. Волков, одержимый любовью к театру, был режиссером, ведущим актером, композитором и даже автором пьес, которые разыгрывала его труппа. По свидетельству современников, он обладал незаурядным драматическим талантом.

А директором «Российского для представления комедий и трагедий театра» стал знаменитый драматург А. П. Сумароков, трагедии которого разыгрывались на его подмостках. Театр был открыт для всех горожан, и его спектакли, рассчитанные на демократическую публику, имели в Петербурге неизменный успех и привлекали множество зрителей.

Закончим рассказ о Петербурге времени Елизаветы словами историка С. М. Соловьева: «Россия пришла в себя. Народ начинает говорить от себя и про себя... являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, народный театр, журнал; для будущего времени приготовляется новое поколение, воспитанное в других правилах и привычках, чем те, которые господствовали в прежние царствования, приготовляется целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II».

«Парадиз в парадизе»

Летний сад в XVIII веке

«Царский огород». Скульптуры Летнего сада. История Венеры Таврической. Очевидец об одном из петровских празднеств. Летний сад после Петра I

Одним из важных предметов забот в «парадизе» для Петра I был сад возле его Летнего дворца. Летний дворец, построенный в 1710—1714 годах по проекту Д. Трезини, не мог соперничать в пышности с резиденциями последующих царствований, он был намного скромнее Меншиковского дворца. Этот двухэтажный каменный дом с высокой кровлей походил на дома для «именитых людей», которые строили тогда в Петербурге. Однако с садом, прилежащим к Летнему дворцу, царь связывал обширные планы. В Европе он восхищался великолепными парками, особенно поразили его воображение сады Версаля. И в его новом городе, призванном затмить своим блеском прославленные европейские столицы, должен быть сад, который «чрез немного лет великолепием своим Версалию превзойдет». Для этого честолюбивый царь не собирался жалеть ни сил, ни средств.

Летний сад вырос на земле, на которой до того стояла шведская мыза, у истока реки Безымянный Ерик (ныне Фонтанка) из Невы. Вероятно, на этой мызе уже был сад, который царь решил расширить. В одном из писем в 1704 году он требовал «всяких цветов из Измайлова не по малу, а больше тех, которые пахнут, прислать с садовником в Петербург». По анекдоту XVIII века, царь

поручил первые работы по устройству сада шведскому садовнику К. Шредеру и, осмотрев сделанное, спросил, нельзя ли, кроме всего прочего, устроить в саду что-нибудь поучительное, в целях просвещения? Шредер предложил разложить на скамьях книги, но царь, вспомнив свои версальские впечатления, поручил ему заказать для фонтанов скульптурные группы на сюжеты басен Эзопа. И эти фонтаны — шестьдесят групп свинцовых позолоченных зверей, громоздившиеся по краям маленьких бассейнов, — были поставлены среди дорожек лабиринта из живой зелени. Для подачи воды в фонтаны Петр выписал из-за границы первую в России паровую машину; вода в них поступала из специально прорытого для этой цели Лиговского канала. Фонтаны Летнего сада были разобраны после сильного наводнения 1777 года, разрушившего большинство из них.

В 1716 году царь пригласил в Петербург ученика Ленотра (создателя Версальских садов) — Жана Батиста Леблона. Главной задачей Леблона было устройство летней резиденции царя и «люстгартена с водяными кунштами, как то зело первейшим монархам приличествует». Люстгартен — парк, который создавался подобно архитектурному сооружению: искусно расчерченные дорожки из разноцветного песка обрамлялись деревьями и кустами, подстриженными в форме шаров, пирамид, кубов; в нишах, выстриженных в зелени, стояли скульптуры. Одно из главных украшений такого сада — фонтаны; именно они особенно поразили Петра I в Версале.

Летний сад царя должен был стать «парадизом в парадизе», великолепным люстгартеном. Но природные условия здешних мест мало пригодны для произрастания райских кущ. Немецкий путешественник, посетивший Петербург в 1711 году, писал: «...Почва здесь вообще очень холодна от множества воды, болот и пустырей. За городом не растет ничего, кроме моркови да белой капусты... Бедным людям очень трудно пропитываться, так что они употребляют в пищу больше коренья и капусту, хлеба же почти в глаза не видят. Поэтому легко себе представить, как тяжело их существование, и если бы не подвоз съестных припасов из Ладоги, Новгорода, Пскова и других мест, то все скоро померли бы с голоду».

Вероятно, труды по созданию «парадиза в парадизе» стоили жизни немалому числу работников. Но сад был создан. Гораздо обширнее, чем теперь, в петровское время он занимал остров, образованный Фонтанкой, Мойкой и Лебяжьим каналом. К 1717 году осушили болото на месте нынешнего Марсова поля, и скоро вместо топи появился обширный луг (его называли Потешным полем) — место прогулок и военных парадов. Через Лебяжий канал перекинули подъемный мост, по которому гости входили в сад.

Петр был настолько увлечен своим люстгартеном, что, уезжая из города, обязал жену сообщать ему о состоянии сада и переменах в нем. И Екатерина исправно упоминала в письмах о том, что делается в царском «огороде». А уже через несколько лет Летний сад вызывал изумление и похвалы иностранных гостей: «После церковной службы царь привел своих гостей и послов в сад и угощал в галерее... После обеда мы отправились в итальянский сад, где видели разные украшения, фонтаны и клумбы, между которыми стояли большие фарфоровые сосуды... Этот сад от своей закладки насчитывает всего 5 лет, но каждый может признать, что такого, как тут, не увидит и через 20 лет у самого большого господина», — писал один из них.

Главной достопримечательностью Летнего сада были мраморные скульптуры. Значительная часть их — произведения венецианских скульпторов: А. Тарсиа, П. Баратта, Дж. Бонацца. Русский царь с простодушным нетерпением пожелал немедленно и оптом получить произведения искусства, «которые прилично иметь великим монархам». Дипломат Савва Рагузинский заказал по его поручению известным венецианским мастерам скульптуры для сада — и в Петербург прибыла большая коллекция их творений. Чего в ней только не было! Копии античных скульптур и бюсты монархов, статуи героев греческой и римской истории, языческих богов и богинь — дотоле невиданные русскими и вызывавшие возмущение и ужас

своей бесстыдной наготой. Слухи о «белых дьяволах», «похабствах» ползли по городу, расходились по стране.

Были среди скульптур и излюбленные XVII веком «аллегории»: Правосудие, Милосердие, Слава... Чтобы дать представление о наивном символизме «аллегорий», стоит описать одну из скульптур Пьетро Баратта — «Мир и Изобилие», прославляющую Россию, заключившую после победы мир со Швецией. «Изобилие» — нагая женщина с рогом изобилия в руке; другой рукой она гасит факел; у ног ее — знамя, щит, пушка и барабан. «Мир» — крылатая женщина в тунике — держит над «Изобилием» лавровый венок и пальмовую ветвь, ногою попирая издыхающего льва (побежденная Швеция). У ног ее — орел, якорь, корабельный штурвал; на картуше латинская надпись: «Велик и тот, кто дает, и тот, кто принимает, но самый великий тот, кто и то, и другое совершить может». Все эти фигуры громоздятся на постаменте, подобно замысловатому кондитерскому изделию.

Однако садовая скульптура существует по своим законам, и то, что показалось бы грубоватым и не слишком гармоничным в выставочном зале, в дворцовых интерьерах, иначе выглядит в обрамлении зелени или осенней позолоты Летнего сада. В простодушных, чувственных фигурах муз, богинь, героев со временем открылась новая привлекательность, они «прижились» в Летнем саду — и создали его неповторимый, пленительный облик. Правда, количество их с петровских времен уменьшилось — прежде их было около ста. Наводнения, плохая охрана сада в последующие царствования, усердие служителей, каждую весну мывших мрамор жесткими щетками, и акты вандализма уничтожили или повредили часть садовой скульптуры.

Любопытен эпизод в мемуарах знаменитого Казановы, который побывал в Петербурге и был представлен Екатерине II в Летнем саду. Он насмешливо описывает «толпу статуй», уверяя, что под бюстом бородатого старца была табличка с надписью «Сафо», а табличка под изображением старой женщины гласила: «Авиценна». На вопрос императрицы, как ему нравятся скульптуры, он

якобы ответил: «Что касается надписей, то они помещены для обмана невежд и для увеселения тех, кто кое-что смыслит в истории». Однако свидетельство Казановы о комической путанице с надписями трудно счесть достоверным.

Во времена Петра I в Летнем саду находился подлинный шедевр — античная скульптура Венеры, позже названная Венерой Таврической (ныне находится в коллекции Эрмитажа). С ее появлением на берегах Невы связана замечательная история. Она была куплена Юрием Кологривовым, который в Риме начальствовал над русскими «архитектурными учениками», постигавшими искусство архитектуры. Кологривов купил статую у нашедшего ее крестьянина и отдал на реставрацию скульптуру Легри. В 1719 году он с гордостью сообщал царю: «...Купил статую мраморовую Венуса старинную, и найдена с месяц. Как могу хоронюся от известного охотника; и скульптор, которому вверил починить ее, не разнит ее ничем противу Флорентийской славной (Венеры Медичи. — *Е. И.*), но еще лучше тем, что эта целая, а Флорентийская изломана во многих местах».

Однако существовал запрет папы на вывоз античных памятников из Рима, и, узнав о ценной находке, ее отобрали для папского двора. Кологривов с горя заболел и писал Петру: «...Пусть лучше я умру, чем моими трудами им владеть». На помощь ему был прислан дипломат С. Рагузинский. После безуспешных переговоров с папским двором он нашел остроумный выход: в обмен на языческую Венеру папе были предложены мощи святой Бригитты, которые находились в захваченном русскими войсками Ревеле (ныне Таллинн).

На такой обмен глава католической церкви не мог не согласиться, хотя, возможно, и с неохотой. Языческую Венус со всевозможными предосторожностями доставили в Петербург; в 1720 году она уже украшала галерею в Летнем саду. На постаменте статуи была медная пластинка с надписью: «Императору Петру I в угодность подарил папа Климент XI». В галерее Венеру постоянно охранял часовой. Часовые не напрасно несли стражу возле

языческой богини: большинству горожан, современников Петра, она представлялась апокалиптической «блудницей вавилонской», «белой дьволицей», вызывала гнев и ужас. Статуи Летнего сада много раз страдали от «блюстителей нравственности»; последний известный мне случай вандализма был в конце 1970-х годов.

Итак, ценой великих затрат и усилий к двадцатым годам XVIII века «парадиз в парадизе» был создан. Петр сделал его центром придворной жизни столицы. В Летнем дворце и саду в теплое время года проходили торжественные ассамблеи, праздники, приемы иностранных посольств. Как правило, они заканчивались фейерверками, которые устраивали на Потешном поле или на специальных судах на Неве у Летнего сада. Почетные гости любовались ими с Венериной галереи. Вот как описывал один из праздников 1720 года участник польского посольства: «После 11 начался фейерверк — сначала на воде, где на речном судне поставили транспарант с такой русской надписью: „Хотя по мне отовсюду бьют, все же возвышаюсь“... Потом пускали ракеты: одни выстреливали в воздухе, из других вылетали звезды, а третьи, упав в воду, загорались с сильным треском и грохотом. Эти огни продолжались аж до часа ночи».

Как правило, фейерверки представляли политические аллегории: то русский орел побеждал шведского льва, то в карикатурном виде изображались враги России, а рука Всевышнего простирала над ними карающий меч. Горожан, непривычных к потешным огням, пугали фейерверки, пылающие в небе и на воде.

«Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилось в клубах дыма, освещенное разноцветными бенгальскими огнями, плывущее по Неве от Петропавловской крепости к Летнему саду морское чудище с чешуйчатыми колючими плавниками и крыльями — им почудилось, что это и есть предреченный в Откровении зверь, выходящий из бездны» (Д. С. Мережковский).

Стоит подробнее рассказать о том, как проходили в царствование Петра I ассамблеи в Летнем саду. Камер-юнкер Ф. В. Берхгольц описал в дневнике один из таких

праздников, происходивший 25 июня 1721 года. День начался с торжественного молебна и парада на Потешном поле, сопровождаемого ружейной стрельбой и залпами пушек Петропавловской крепости. «После троекратной стрельбы царь удалился, пригласив наших кавалеров собраться после обеда в 5 часов в Летнем саду... Войдя в сад и осмотрев его немного... мы сперва отправились туда, где думали найти царский двор, который очень желали видеть, и пришли, наконец, в среднюю широкую аллею. Там у прекрасного фонтана сидела Ее Величество царица в богатейшем наряде... Взоры наши тотчас обратились на старшую принцессу Анну[1], брюнетку, прекрасную, как ангел... Она очень похожа на царя и для женщины довольно высока ростом. По левую сторону царицы стояла другая принцесса (Елизавета. — *Е. И.*), белокурая и очень нежная. Она годами двумя моложе и меньше ростом, но гораздо живее и полнее старшей, которая немного худа... Я насчитал до 30 хорошеньких дам, из которых многие мало уступали нашим дамам в приветливости, хороших манерах и красоте. Признаюсь, я вовсе не ожидал, что здешний двор так великолепен...

Вскоре после нашего прихода в сад Его Величество оставил гвардейцев и пошел к Ее Величеству, которая осыпала его ласками. Побыв возле нее немного, он подошел к вельможам, сидевшим за столами вокруг прекрасного фонтана, а государыня пошла со своими дамами гулять по саду.

Так как здешнее духовенство обыкновенно также принимает участие во всех празднествах, то оно и в этот день собралось в большом числе и для своего удовольствия выбрало самое живое и приятное место — именно дубовую рощицу, прямо напротив окон царского Летнего дворца. Я нарочно оставался там несколько времени, чтобы отчасти полюбоваться на многие и чрезвычайно прямые деревья, отчасти посмотреть хорошенько на духовенство,

[1] Герцог Голштейн-Готторпский, в чьей свите был Берхгольц, женился на Анне Петровне в 1725 г. Их сын — русский император Петр III, «голштинец», как называли его противники.

сидевшее за круглым столом со многими кушаньями. Духовные лица носят здесь одежду всех цветов, но знатнейшие из них имеют обыкновенно черную, в виде длинного кафтана, и на голове длинные монашеские покрывала, закрывающие плечи и спину. Многие своими бородами и почтенным видом внушают к себе какое-то особенное уважение…

Наконец, я очутился опять на том месте, где остался царь, и нашел его сидящим за столом, за которым он поместился с самого начала. Постояв здесь с минуту, я услышал спор между монархом и его шутом Ла Костою, который обыкновенно оживляет общество… В это время проходила царица с принцессами, и я последовал за дамами… Вскоре появились дурные предвестники, вселившие во всех страх и трепет, а именно — человек шесть гвардейских гренадеров, которые несли на носилках большие бочки с самым простым хлебным вином; запах его был так силен, что оставался еще, когда гренадеры уже отошли шагов на сто и поворотили в другую аллею. Заметив, что вдруг очень многие стали ускользать, как будто завидели самого дьявола, я спросил одного из моих приятелей, что сделалось с этими людьми и отчего они так поспешно уходят. Но тот указал на прошедших гренадеров, и тогда я понял, в чем дело, и поскорее отошел с ним прочь. Мы очень хорошо сделали, потому что вслед за тем встретили многих господ, которые сильно жаловались на свое горе и никак не могли освободиться от неприятного вкуса во рту. Меня предуведомили, что здесь много шпионов, которые должны узнавать, все ли отведали из горькой чаши; поэтому я больше никому не доверял и притворился страдающим еще больше других… Даже самые нежные дамы не изъяты из этой обязанности, потому что сама царица берет немного вина и пьет… За ушатом с вином всюду следуют майоры гвардии, чтобы просить пить тех, которые не трогаются просьбами простых гренадеров. Из ковша величиною в стакан (не для всех одинаково наполняемого), который подносит один из рядовых, нужно выпить за здоровье царя, или, как они говорят, их полковника…

Находясь в постоянном страхе попасть в руки господ майоров, я боялся всех встречающихся мне и всякую минуту думал, что меня уже хватают. Поэтому я бродил по саду, как заблудившийся, пока, наконец, не очутился опять у рощицы близ царского Летнего дворца. Но на этот раз я был очень поражен, когда подошел к ней поближе: прежнего приятного запаха от деревьев как не бывало, и воздух был так сильно заражен винным испарением, очень развеселившим духовенство, что я чуть сам не заболел одною с ними болезнью… Тут стоял один до того полный, что, казалось, тотчас же лопнет; там другой, который почти расставался с легкими и печенью; от некоторых шагов за 100 несло редькой и луком; те же, которые были покрепче других, превесело продолжали пировать. Одним словом, самые пьяные из гостей были духовенство…

Узнав, что в открытой галерее сада, стоящей у воды, танцуют, я отправился туда… Так как царь и царица также в это время отлучились, то нас стали уверять, что мы возвратимся домой не прежде следующего дня, потому что царь, по своему обыкновению, приказал садовым сторожам не выпускать никого без особого дозволения, а часовые, говорят, в подобных случаях бывают так аккуратны, что не пропускают никого, вплоть до первого вельможи. Поэтому знатнейшие дамы и господа должны были оставаться там так же долго, как и мы. Все это было бы ничего, если бы на беду вдруг не пошел проливной дождь, поставивший многих в большое затруднение; вся знать поспешила к галереям, в которых заняла все места, так что некоторые были вынуждены стоять все время на дожде. Эта неприятность продолжалась часов до 12, когда, наконец, пришел Его Величество царь в простом зеленом кафтане, сделанном наподобие тех, которые носят моряки в дурную погоду.

Войдя в галерею, где все ждали его с большим нетерпением и потому чрезвычайно обрадовались этому приходу в надежде скорее освободиться, он поговорил немного с некоторыми из своих министров и потом отдал приказание часовым выпускать…

Но так как проход был только один и притом довольно тесный, то прошло еще много времени, пока последние выбрались из сада. Кроме того, надо было проходить через небольшой подъемный мост на малом канале, и, только пройдя через него, всякий мог без затруднения спешить домой».

В рассказе Берхгольца о празднестве 1721 года уже угадываются темы будущего «петербургского сюжета» русской литературы: злоключения «маленького человека», «фантасмагория неограниченной власти»... Основой этого странного, причудливого сюжета стали реальные обстоятельства жизни новой столицы России — вроде тех, что описаны внимательным и скромным камер-юнкером Берхгольцем.

После смерти Петра I Летний сад постепенно терял значение центра придворной жизни. Уход за ним ухудшался; разрослись подстриженные кустарники и деревья, заброшенными выглядели его боскеты и фонтаны. В 1733 году в Летнем саду для императрицы Анны Иоанновны устраивали медвежьи охоты. Можно представить, как выглядел отстрел несчастных зверей среди аллей, газонов, мраморных скульптур. И позже, при правлении Елизаветы, придворные праздники бывали здесь не часто. Правда, в мае 1755 года императрица устроила маскарад, длившийся всю ночь до восхода солнца. Утром гости пировали, а потом снова танцевали, что было необычным даже для охочей до праздников, «веселой царицы Елисавет».

Во второй половине XVIII века в Петербурге и в пригородах возле императорских дворцов появились новые сады, более соответствовавшие вкусам времени. В Летнем же саду постепенно разрушались фонтаны, немало «статуй, бюстов и ваз, пострадавших от непогоды и праздношатающихся людей», было отправлено на склады и позабыто там. Разрушение петровского парадиза довершило наводнение 10 сентября 1777 года, когда вода в Неве поднялась на 10 футов и схлынула лишь на следующий день. И. Г. Георги так описывал это бедствие: «...Перед

наводнением... продолжалась буря уже 2 дня сряду при западном ветре... Наводнение причинило... весьма великий вред. Суда были занесены на берег. Небольшой купеческий корабль переплыл мимо Зимнего дворца через каменную набережную... По всем почти улицам, даже и по Невской перспективе, ездили на маленьких шлюпках. Множество оград и заборов опрокинуты были... некоторые маленькие хижинки неслись по воде, и одна изба переплыла на противоположный берег реки... Буря не токмо препятствовала истечению речной воды в море, но и самая морская вода стремилась в устья реки... Сие наводнение случилось во время ночи, почему и множество людей и скота пропало.

После сего наводнения определено было от Адмиралтейства давать впредь сигналы... для предостережения людей от подобных бедствий. Когда вода возвышается в большой Неве до такой высоты, что оною поемлются берега реки в Коломне, то тогда производятся там 3 пушечные выстрела... Сколь же скоро вода начинает наводнять город, то с Адмиралтейской крепости палят из 5 пушек... В наиопаснейших местах всегда в готовности имеются суда для спасения людей в случае нужды». В Летнем саду были повалены деревья, разрушены беседки и фонтаны. Фонтаны после этого разобрали, их свинцовые позолоченные фигуры и водопроводные трубы Екатерина II подарила приближенным — Остерману и Бецкому, отчего те «немалую прибыль получили».

Знаменитым украшением Летнего сада стала ограда, выполненная в 1784 году по проекту Ю. М. Фельтена. Эта ограда на набережной Невы — прекрасный образец искусства классицизма — вызывала восхищение петербуржцев. Существует анекдот о том, что некий английский путешественник прибыл в Петербург морем, полюбовался оградой Летнего сада и вернулся на корабль, сказав, что он видел самое замечательное, что есть в Петербурге, и может возвращаться в Англию.

К концу XVIII века Летний сад был открыт для горожан и стал любимым местом их прогулок. И. Г. Георги писал: «В хорошую погоду собирается сюда для гуля-

ния по воскресеньям и праздничным дням великое множество людей разного состояния, где [они] бывают иногда забавляемы императорскою роговою музыкой... Славная императорская роговая музыка изобретена обер-егермейстером Семеном Кирилловичем Нарышкиным с помощью придворного музыканта Мареша. Первые опыты оною были сделаны в 1751 году. Сия музыка есть род живых органов. Для каждого голоса есть особливый рог; длина оных различествует от одной пядени до 10 футов... Сначала было 37 рогов на 3 полные октавы... а ныне имеется 60 рогов с толиким же числом игроков; однако же кажется, что сия отменная музыка уже доведена до возможнейшего совершенства. Каждый игрок имеет токмо одну ноту, а остальные на его листе суть паузы, коих такты он считает, пока его нота придет... Точность и верность, с коею труднейшая музыка... оною исполняется, весьма удивительна».

В Летнем саду устраивались пиры и увеселения для простого народа. 25 ноября 1778 года богатый откупщик Лонгинов устроил такой праздник. Он был великолепен: с иллюминацией, каруселями, катальными горками, изобильным угощением. Праздник привлек многие тысячи горожан. Начался он весело, но вскоре большинство гостей были пьяны; в толпе вспыхивали драки.

«Многие из валявшихся на земле пьяных замерзли; немало людей погибло в драке... По поводу этого праздника написана императрицею Екатериною II записка к генерал-полицмейстеру С.-Петербурга Д. В. Волкову. Государыня упоминает в ней о 370 лицах, погибших от пьянства» (М. И. Пыляев). Трудно представить это великое безобразие в Летнем саду, так же как петровских гренадеров с огромными ушатами водки на его аллеях, осененных временем и поэзией.

Торжество Фелицы

«Голштинец» на престоле. Недовольство в столице. Странные события на Дворцовой площади. Расцвет Петербурга. Дворцовое строительство. «Медный всадник». Характер петербуржца. Дашкова — директор Академии наук. Увлечения горожан. Волнения и невзгоды. Роскошь екатерининских вельмож. «Город пышный, город бедный...»

После двадцати лет правления императрицы Елизаветы Петербург ожидали новые волнения и перемены. И снова они были связаны с Петром — на этот раз с императором Петром III, внуком основателя города. Петр Федорович (так его звали в России), сын старшей дочери Петра Великого Анны и герцога Голштейн-Готторпского, родился в 1728 году и рано осиротел. В 1742 году Елизавета вызвала в Петербург племянника, который со временем должен был унаследовать русский престол. А два года спустя из Германии прибыла избранная для него невеста — пятнадцатилетняя принцесса Августа София Фредерика Ангальт-Цербстская. После перехода в православие она получила имя Екатерины.

Петр и Екатерина — снова на российском престоле должно было появиться сочетание этих имен. Пожалуй, его трудно назвать счастливым: последние годы жизни Петра I и Екатерины были омрачены семейным разладом; еще одной Екатерине — княжне Долгорукой, обрученной с Петром II, вместо короны выпала ссылка после смерти жениха. Что ожидало новую молодую чету?

И что ожидало Россию при императоре, воспитанном в Голштинии, считавшем себя немцем и открыто презирав-

шем все русское? Эта мысль тревожила придворных и вельмож Елизаветы, наблюдавших за великим князем, занимала иностранных дипломатов. Один из них, секретарь французского посла в Петербурге К. К. Рюльер, писал в своей книге «История и анекдоты революции в России в 1762 году»: «Беспредельная страсть к военной службе не оставляла его [Петра] во всю жизнь; любимое занятие состояло в экзерциции, и чтобы доставить ему это удовольствие, не раздражая российских полков, ему предоставили несчастных голштинских солдат, которых он был государем».

Кроме того, великий князь не скрывал преклонения перед Фридрихом II, королем Пруссии, с которым Россия в союзе с Австрией и Францией вела Семилетнюю войну. К 1761 году положение Пруссии было тяжелым. Фридрих терпел одно поражение за другим. «...В то время как Россия, союзница сильнейших держав, вела с ним (Фридрихом II. — *Е. И.*) кровопролитную и упорную войну, Петр, исполненный глупой страсти к героизму, тайно принял чин полковника в его службе и изменял для него союзным планам. Как скоро сделался он императором, то явно называл его: „Король мой государь!“» — продолжал Рюльер.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна, которой муж открыто пренебрегал, вызывала общее сочувствие и втайне собирала сторонников. «25 декабря, в день Рождества Христова, мы имели несчастье потерять императрицу Елизавету. Я могу засвидетельствовать как очевидец, что гвардейские полки (из них Семеновский и Измайловский прошли мимо наших окон), идя во дворец присягать новому императору, были печальны, подавлены и не имели радостного вида...

Все придворные и знатные городские дамы, соответственно чинам своих мужей, должны были поочередно дежурить в той комнате, где стоял катафалк; согласно нашим обрядам, в продолжение шести недель священники читали Евангелие; комната вся была обтянута черной материей, кругом катафалка светилось множество свечей... Императрица (Екатерина. — *Е. И.*) приходила каждый день и

орошала слезами драгоценные останки своей тетки и благодетельницы. Ее горе привлекало к ней всех присутствующих. Петр III являлся крайне редко, и то только для того, чтобы шутить с дежурными дамами, подымать на смех духовных лиц и придираться к офицерам и унтер-офицерам по поводу их пряжек, галстуков или мундиров», — вспоминала в своих «Записках» Е. Р. Дашкова.

Странная история у нашего города. Возможно, потому, что он был создан по замыслу одного человека — пусть великого, но вызвавшего своими деяниями не только благие, но и дурные последствия. Они, как затухающее эхо, отозвались в последующей истории России, их пришлось преодолевать не одному поколению.

В правление Петра III, как в кривом зеркале, повторялось в карикатурном виде многое из того, что происходило при его деде. В начале существования Петербург пережил пору «маскарада» — переряживания жителей в немецкое платье вместо русского и т. п. Петр III сразу после воцарения приказал заменить русскую военную форму на новую — по образцу прусской. Петр I, реформируя государственную систему, взял за образец европейские монархии. Его внук действовал еще решительнее: он, по выражению К. К. Рюльера, «...усугубляя беспрестанно... неудовольствия, прислал в Сенат новые свои законы, известные под именем Кодекса Фридерикова, кои король прусский сочинял для своего государства. Был приказ руководствоваться ими во всей России».

Придворные праздники Петра III во многом напоминали ассамблеи Петра I: главенствовал на них полупьяный император, окруженный голштинцами; он и его бравые голштинцы непрерывно курили, так что гости едва не задыхались от дыма.

«...Полугодичное царствование сие было беспрерывным празднеством. Прелестные женщины разоряли себя английским пивом и, сидя в табачном чаду, не имели позволения отлучаться к себе ни на одну минуту в сутки. Истощив свои силы от движения и бодрствования, они кидались на софы и засыпали среди сих шумных радостей... В шуму праздников и даже в самом коротком обхожде-

нии с русскими он (Петр III. — *Е. И.*) явно обнаруживал свое презрение к ним беспрестанными насмешками», — повествует Рюльер. Все это вызывало ропот в столице. В Петербург стали возвращаться люди, сосланные Елизаветой, — спустя двадцать лет вновь возникли тени прошлого. Среди них был Бирон.

«Он возвратился... под старость лет, не потеряв ни прежней красоты, ни силы, ни черт лица, которые были грубы и суровы. В летние ночи уединенно прогуливался он по улицам города, где он царствовал и где все, что ни встречалось, вопило к нему за кровь брата или друга. Он мечтал еще возвратиться обладателем в свое отечество, и, когда Петр III свержен был с престола, Бирон говорил, что снисходительность была важнейшею ошибкою сего государя и что русскими должно повелевать не иначе, как кнутом или топором» (К. К. Рюльер).

Наконец, новый император объявил, что начинает военную кампанию против Дании — старинного врага его родной Голштинии. Гвардии приказано готовиться в поход. «Негодование скоро овладело гвардейскими полками, истинными располагателями престола... Император вел их в Голштинию, желая воспользоваться могуществом, отмстить обиды, нанесенные предкам его Даниею, и возвратить прежнему своему участку все отнятые у него земли и независимость. Самая лестная цель сего похода долженствовала быть — свидание на пути с королем прусским; место было назначено», — вспоминал Рюльер. Эти военные приготовления и решили судьбу «голштинца». Заговор против него был готов, его главными деятелями стали Григорий Орлов, любовник императрицы, и его братья; в числе заговорщиков была восемнадцатилетняя подруга императрицы княгиня Е. Р. Дашкова. Арест одного из участников заговора, капитана Пассека, ускорил события.

Петр III в это время жил в Ораниенбауме, Екатерина — в Петергофе. В ночь после ареста Пассека, 27 июня 1762 года, она тайно покинула Петергоф и вернулась в столицу. Императрицу ждали в Измайловском полку, его солдаты присягнули ей; затем на ее сторону перешли Семеновский и Преображенский полки. Это означало, что ее дело выиграно.

В сопровождении огромной толпы солдат и горожан карета Екатерины проследовала к Зимнему дворцу. Народ заполнил Дворцовую площадь. Рюльер, очевидец этих событий, писал: «Стечение было бесчисленное, и все прочие полки присоединились к гвардии. Восклицания повторялись долгое время, и народ в восторге радости кидал вверх шапки. Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, пронесенные по главным улицам, и никто не знал, чье погребение. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре, несли факелы, а между тем, как внимание народа было все на сем месте, сия церемония скрылась из вида. Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: „Мы хорошо приняли свои меры“».

Но император был жив и не подозревал о том, что происходит в Петербурге. В городе нашелся лишь один человек, пославший в Ораниенбаум известие о случившемся. Однако Петр III оказался не способен ни на что: ни на решительные действия, ни на бегство за границу. В растерянности и страхе он наблюдал, как рушился его маскарадный мир. Лишь в последние часы правления он расстался с мундиром прусского генерала и орденской лентой, полученной от Фридриха II, и надел ордена Российской империи. Между тем в Петербурге тоже спешно переодевались. Гвардейцы возвращались на Дворцовую площадь в прежних мундирах, которые Петр III велел переменить на форму прусского образца: «...они переоделись в прежний свой наряд, кидая со смехом прусский униформ, в который одел их император и который в их холодном климате оставлял солдата почти полуоткрытым, встречали с громким смехом тех, которые по скорости прибегали в сем платье, и их новые шапки летели из рук в руки, как мячи, делаясь игрой черни» (К. К. Рюльер).

Через несколько часов двенадцатитысячное войско, предводительствуемое императрицей, направилось к Ораниенбауму. Двигались не спеша, вечером остановились на привал, а ранним утром подошли к Петергофу. Петр III сдался на милость победительницы и отрекся от престола. Его привезли в Петергоф, «...провели в отдаленные апартаменты, так что его почти никто не видел... и затем он уехал в Ропшу, принадлежавшую ему еще в бытность его великим князем... Ему сопутствовали Алексей Орлов, капитан Пассек, князь Федор Барятинский и поручик Преображенского полка Баскаков, которым императрица поручила охранять особу государя», — вспоминала Е. Р. Дашкова. Спустя несколько дней они убили Петра III в Ропшинском дворце. Императрица простила убийц, а затем и вознаградила. Петра III похоронили без всяких почестей, и не в Петропавловском соборе, а в Александро-Невском монастыре. Так закончилась жизнь внука Петра Великого.

Однако спустя тридцать с лишним лет Петербург увидит еще одни похороны, когда по приказу его сына, императора Павла I, останки Петра III будут торжественно перенесены в Петропавловский собор. Загадочная погребальная процессия, явившаяся на площади в час торжества Екатерины, была предвестием будущего. Много лет в России ходили слухи о том, что император не погиб, а успел бежать. Емельян Пугачев стал пятым самозванцем, объявившим себя императором Петром Федоровичем.

Утром 29 июня 1762 года императрица и гвардия вернулись в Петербург. «Въезд наш в Петербург невозможно описать. Улицы были запружены ликующим народом, благословляющим нас, кто не мог выйти — смотрели из окон. Звон колоколов, священники в облачении на паперти каждой церкви, полковая музыка производили неописуемое впечатление. Я была счастлива, что революция завершилась без пролития и капли крови», — писала Е. Р. Дашкова почти полвека спустя. «Шествие сие уподоблялось празднику, который поселял в воображении

мысль о благополучии императрицы и ручался за благосостояние народа», — вспоминал Рюльер.

Среди приверженцев Екатерины, сопровождавших ее в походе на Ораниенбаум, были люди, которые впоследствии составили славу ее царствования. Рядом с императрицей во главе войска ехала молодая женщина в форме поручика Преображенского полка — Екатерина Дашкова. Здесь же было пятеро братьев Орловых, знаменитых в гвардии силой и дерзостью. В одной из колонн следовал за Екатериной неведомый ей двадцатитрехлетний поручик Григорий Потемкин. Маршировал со своей ротой девятнадцатилетний мушкетер Преображенского полка Гаврила Державин.

Так начиналось долгое (1762—1796) царствование Екатерины II, составившее целую эпоху в жизни Петербурга.

Вторая половина XVIII века была временем, благотворным для Петербурга, пожалуй, самым либеральным и спокойным со времени его основания. Тридцать четыре года царствования Екатерины II называли «золотым веком» русского дворянства. Россия вступила в пору могущества, имперская идея торжествовала.

Петербург в эти десятилетия постепенно приобретал вид столицы империи, пышный и торжественный. Его население увеличилось: к концу XVIII века оно составляло уже более двухсот тысяч жителей. К 1762 году в городе было лишь 460 каменных домов, а в 1787 году — 1291. В 60-е годы город делился на пять административных частей, а двадцать лет спустя, в связи с увеличением населения и территории, их число возросло до десяти.

В 1762 году была создана Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, в обязанность которой входило «сочинить план Петербурга и представить его со своим мнением в Сенат». Эта комиссия постоянно занималась благоустройством и планировкой столицы. «Императрица Екатерина II обратила серьезное внимание на строительство. При ней был составлен и в значительной степени выполнен план переустройства столицы, улицы урегулированы, реки и каналы скованы гра-

нитными набережными и сооружены постоянные мосты. В то же время совершался медленный переворот стиля. Пышные сооружения Растрелли были сначала заменены изящными работами Ринальди, Фельтена и грандиозными проектами Баженова... На смену им явились предвестники классицизма, того направления, которое, стремясь к возможной рациональности построек, пользовалось исключительно формами, доведенными до совершенства вековою работою. Представителями этого стиля оказались Камерон... и Кваренги. Неоклассицизм зарождался повсюду, но только в России, третьем Риме, было вполне возможно развитие этого стиля», — писал в книге «Петербург» В. Я. Курбатов.

В 60—90-е годы в столице создавались грандиозные архитектурные ансамбли. В эти же годы левый берег Невы в центральной части города оделся в гранит; в 1764—1790 годах по руслу пересохшей речки Кривуши проложили Екатерининский канал, предназначенный для защиты от наводнений. Набережные Екатерининского канала и реки Фонтанки тоже стали гранитными. На другой стороне Невы облицовывали гранитом кирпичные стены Петропавловской крепости. Работы шли повсюду: на центральных улицах, на Английской набережной, на Исаакиевской площади. Были построены каменные мосты на Фонтанке, Мойке, Екатерининском и Лебяжьем каналах, Зимней канавке.

Невский проспект принимал парадный вид главной улицы столицы. Дома на нем возводились вплотную друг к другу, «сплошною фасадою», в три-четыре этажа. В 1785 году было закончено строительство Гостиного двора, в 70—80-е годы на Невском проспекте возвели католическую церковь Св. Екатерины (архитектор Ж. Б. Валлен-Деламот) и армянскую церковь (архитектор Ю. М. Фельтен). В 1770 году в центре города — на Невском и Литейном проспектах и на Миллионной улице — началось сооружение системы подземных каналов для стока дождевой воды. Теперь она поступала в реки по кирпичным или деревянным трубам. Для того чтобы вода попадала в трубы, были устроены люки, закрытые металлическими решетками. К концу века в Петербурге уже существовала система нумерации домов, были установлены столбы с названиями улиц. Улучшилось и освещение города: число уличных фонарей увеличилось более чем в четыре раза. Многие улицы в центральной части Петербурга замостили камнем, но старые дощатые мостовые пребывали в плохом состоянии. О неудобстве езды по ним вспоминал в своих «Записках» Семен Порошин, воспитатель великого князя Павла Петровича: «Как верхом ехали и иная мостовая худа была, и по мостовой дыры случались, то государь, оборачиваясь назад, неоднократно изволил кричать мне, чтоб я берегся, чтоб лошадь подо мной не упала!»

Именно в екатерининскую эпоху сложился торжественный, монументальный облик Петербурга. Обыкновение возводить недолговечные деревянные дворцы осталось в прошлом, теперь все строилось с размахом, в расчете не на одно столетие. В 1764 году рядом с недавно законченным Зимним дворцом началось строительство Малого Эрмитажа (архитектор Ж. Б. Валлен-Деламот), предназначенного для хранения императорских художественных коллекций. Эти коллекции непрерывно пополнялись, и в 1771—1787 годах к Малому Эрмитажу пристроили еще одно здание — так называемый Старый Эрмитаж (архитектор Ю. М. Фельтен). В 1783—1787 годах архитектор Дж. Кваренги возвел Эрмитажный театр, отделенный от Старого Эрмитажа Зимней канавкой, через которую перекинули соединяющую эти здания арку. Неподалеку от них, на Дворцовой набережной, шло строительство еще одного великолепного здания — Мраморного дворца (архитектор А. Ринальди). Оно продолжалось семнадцать лет (1768—1785).

Мраморный дворец — подарок Екатерины II графу Г. Г. Орлову. Над его парадным входом было написано: «Здание благодарности». Григорию Орлову императрица была в значительной степени обязана своим восшествием на престол, но поводом для великолепного дара стали действия Орлова во время эпидемии чумы

в Москве. Благодаря принятым им мерам она не распространилась дальше.

Мраморный дворец отличался классической гармонией и строгостью внешней отделки. Вместе с тем, это одна из самых дорогих построек екатерининского времени в Петербурге: он облицован мрамором, балконные решетки и оконные переплеты сделаны бронзовые, «крепко вызолоченные». «Кровля... из железных полос покрыта медью, а карнизы убраны вазами, урнами и другими украшениями. Внутри роскошно убранные покои, прекрасная домовая церковь», — описывал Мраморный дворец И. Г. Георги. Но Г. Г. Орлов умер раньше, чем были закончены работы, и императрица выкупила дворец у наследников графа.

Еще один знаменитый дворец — Таврический — подарок Екатерины II другому фавориту — князю Г. А. Потемкину, выдающемуся государственному и военному деятелю. С именем Потемкина связаны многие начинания и события, прославившие екатерининскую эпоху. Человек блестящих дарований, он долгое время был ближайшим помощником Екатерины II. Потемкин — участник, а потом и главнокомандующий в русско-турецких войнах, он руководил созданием Черноморского флота, основанием городов Херсона, Николаева, Севастополя, Новороссийска (Екатеринослава). После присоединения Крыма (Тавриды) к России в 1783 году Потемкин получил титул «светлейшего князя Таврического».

По желанию Екатерины в Петербурге был возведен дворец «наподобие Пантеона», предназначенный в дар Потемкину (архитектор И. Е. Старов). Светлейший князь недолго пользовался этим подарком: через два года после завершения строительства Таврического дворца он умер, и дворец вернулся в казну. А спустя несколько лет император Павел I велел вывезти оттуда все ценное убранство в Михайловский замок, а дворец отдал под казармы Конногвардейского полка. В 1801 году он был реставрирован и стал одной из императорских резиденций.

Из числа других построек екатерининской поры в Петербурге упомянем здания Академии художеств (архитекторы А. Ф. Кокоринов и Ж. Б. Валлен-Деламот), Академии наук (архитектор Дж. Кваренги), Новую Голландию (архитекторы С. И. Чевакинский и Ж. Б. Валлен-Деламот).

Преображались и загородные императорские усадьбы. Волшебный мир Царского Села с Александровским и Баболовским дворцами, Камероновой галереей, парковыми павильонами, Чесменской колонной, Орловскими воротами — возникал не соперничая, а дополняя красоту Екатерининского дворца. В 1766—1781 годах построен дворец в новой императорской резиденции — Гатчине (архитектор А. Ринальди); едва закончив его, начали строительство дворца в Павловске (архитектор Ч. Камерон). Иностранные путешественники и дипломаты нередко сравнивали пригородные парки и дворцы столицы со знаменитыми европейскими, восхищались красотой Петербурга. «Я был приятно поражен, когда в местах, где некогда были одни лишь обширные, бесплодные и смрадные болота, увидел красивые здания города, основанного Петром и сделавшегося менее чем в сто лет одним из богатейших, замечательнейших городов в Европе», — писал французский посол в России Л. Ф. Сегюр.

К концу XVIII века город был достойным памятником Петру Великому. Но многие горожане высказывали желание видеть в Петербурге монумент в честь его основателя. В 1763 году Екатерина II издала указ о том, чтобы «во славу блаженной памяти императора Петра Великого поставить монумент».

В 1765 году русский посол в Париже Д. А. Голицын пригласил для этой цели в Россию скульптора Э. М. Фальконе. Директор королевских строений во Франции маркиз де Мариньи писал Голицыну: «Предположение русской императрицы создать памятник Петру Великому заслуживает одобрения всех наций, и выбор для работы Фальконе делает много чести французским художникам». В 1766 году Фальконе прибыл в Петербург со своей ученицей Мари-Анн Колло и начал работу. Его мастерская

находилась на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. В июле 1769 года он создал модель будущего памятника и обязался закончить работу в восемь лет. На самом деле Фальконе работал над памятником двенадцать лет и уехал из России, не дождавшись его открытия.

Екатерина II вела с ним оживленную переписку, утешала, когда скульптор жаловался ей на конфликт с руководителем Канцелярии от строений И. И. Бецким, надзиравшим за его работой, но в конфликт не вмешивалась. Императрица придерживалась правила по возможности не вмешиваться в дела своих приближенных, и это во многом обеспечило успех ее царствования.

Выставленный Фальконе для обозрения проект памятника вызвал различные суждения, споры и был одобрен. Скульптор изваял фигуру всадника на краю скалы: Петр Великий поднял коня на дыбы, жестом правой руки утверждая свою победу, торжество новой России.

Работал Фальконе необыкновенно тщательно. Когда он трудился над изображением коня, перед его мастерской было устроено возвышение, на которое по нескольку раз в день вскачь въезжал берейтор на одной из лучших лошадей императорской конюшни. Модель головы Петра I создала ученица Фальконе М. А. Колло. Фальконе не удавался портрет императора, и по преданию, Мари Колло, желая помочь учителю, исполнила его за одну ночь.

По мнению историка П. Н. Петрова, «змея, попираемая ногами коня, изображает ненависть и злобу, противодействующую предприятиям великих мужей и препятствующую произведению оных в действо». Другой аллегорической деталью памятника была медвежья шкура, наброшенная на спину коня вместо седла. Фальконе считал ее «символом нации, которую Петр цивилизовал».

После окончания работы над моделью наступил ответственный момент: отливка статуи в форме. 7 августа 1775 года Фальконе писал: «...Огонь пылает в печи с

20 числа прошлого месяца, и недели через две приблизительно бронза должна выделиться... Могу сказать, что во всю мою жизнь не было минуты, где бы выдавшаяся на мою долю частица разума была мне так нужна, как теперь!»

Литейная мастерская находилась на Петровской площади, на которой затем и установили памятник. На время его отливки из расположенного неподалеку Адмиралтейства вывезли порох, были приняты различные противопожарные меры. Момент отливки был драматичен: глиняная форма, заключавшая в себе раскаленную бронзу, дала трещину. Литейный мастер Емельян Хайлов с риском для жизни заделал трещину и довел отливку до конца. О его героическом поступке писали газеты, но, увы, тем дело и кончилось. Ему выплатили лишь часть жалования, а просьбу об уплате остального повторяет через пятьдесят лет внучка мастера.

Замечательна история постамента «Медного всадника». По замыслу Фальконе, им должна была стать гранитная скала. Начались ее поиски. В 1768 году в Академию художеств пришел каменотес Семен Вишняков и рассказал о гранитной скале в двенадцати верстах от Петербурга, в лесу у села Лахта. Местные жители называли ее «Гром-камень», потому что часть ее была отколота ударом молнии. На эту скалу, по преданию, поднимался Петр I во время битвы со шведами у этих мест.

Вид «Гром-камня» заворожил Фальконе. Но как перевезти его в Петербург? За решение этой задачи было обещано денежное вознаграждение. Его получил некий Ласкари, предложивший простую и конструктивную идею: скалу весом около 640 тонн поставили на желоба, в которых находились бронзовые шары. При помощи рычагов и канатов камень по желобам передвигали к заливу, а оттуда собирались перевезти его в Петербург по воде.

Доставка камня к заливу заняла более четырех месяцев. На работе «при камне» были заняты 1200 человек. Тянули его зимой по мерзлой земле, одновременно с передвижением на нем работали каменотесы и даже неболь-

шая кузница. Множество любопытных приезжало в Лахту полюбоваться этим зрелищем. На заливе скалу перенесли на баржу и доставили в Петербург, на Петровскую площадь. Эпопея с «Гром-камнем» так волновала горожан, что, по свидетельству И. Г. Георги, «многие охотники ради достопамятного определения сего камня заказывали делать из отколков оного резные запонки, набалдашники и тому подобное». В честь перевозки «Гром-камня» была выбита медаль.

В 1778 году Фальконе окончательно рассорился с начальством и уехал из России. Заканчивал работы над памятником Ю. М. Фельтен — создатель знаменитой ограды Летнего сада. 7 августа 1782 года состоялось открытие памятника. На Петровскую площадь собрался весь Петербург. «Река была покрыта судами, множеством людей наполненными, составившими из мачт своих величественный лес», — писал Георги. На площади выстроились гвардейские полки. По знаку императрицы упала завеса, скрывавшая монумент, грянули музыка, пушечная пальба, крики «ура!». Вечером город был празднично иллюминирован, домик Петра I на другом берегу Невы сиял огнями. В честь торжества объявили амнистию, и один из осужденных за неуплату долгов, И. И. Голиков, пришел на площадь и, поклонившись памятнику, дал клятву написать историю царствия Петра Великого. Он сдержал слово, создав многотомное сочинение «Деяния Петра Великого».

Памятник Петру I — не только одно из лучших произведений монументальной скульптуры в Петербурге. В истории нашего города у него особая судьба. Спустя несколько десятилетий после создания он воспринимался уже не только как дань памяти основателю Петербурга и произведение искусства. Его присутствие казалось наделенным тайным значением: с памятником связана судьба столицы, он в известном смысле продолжал дело Петра — охранителя города и его властелина. В день открытия монумента Иван Голиков, обращаясь к нему, дал клятву не бронзовой скульптуре, а самому Петру Великому. Евгений, герой пушкинского «Медного всадника», проклинает «чудотворного строителя» города, и памятник оживает: грозный царь готов растоптать безумца.

«Медный всадник», названный так с легкой руки Пушкина, волновал умы и воображение последующих поколений и стал одной из тем русской литературы. Он — олицетворение роли Петра в истории России, и в зависимости от ее оценки к монументу обращаются с обличением или хвалой:

Нет, не змия Всадник Медный
Растоптал, стремясь вперед, —
Растоптал народ наш бедный,
Растоптал простой народ.

(Н. Ф. Щербина. «Пред памятником Петру I в Петербурге»)

В литературе второй половины XIX — начала XX века его образ обретает мистический и зловещий характер: «А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый всадник на жаркодышащем коне» (Ф. М. Достоевский. «Подросток»).

«...За мостом, на фоне ночного Исаакия из зеленой мути пред ним та же встала скала: простирая тяжелую и покрытую зеленью руку, тот же загадочный Всадник над Невой возносил меднолавровый венок свой... Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо, и металл лица двоился двусмысленным выраженьем... С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит, — надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества, надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа — Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву — два задних» (Андрей Белый. «Петербург»).

На Сенатской площади, перед «Медным всадником» разыгралась трагедия восстания декабристов. Годы спустя А. И. Герцен в «Былом и думах» размышлял об этом как о чем-то не случайном, что проясняло значение восстания и значение Петра в истории России: «Отчего битва 14 декабря была именно на этой площади, зачем каре жалось к Петру I — награда ли это ему? или наказание? Пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи...»

14 декабря 1975 года несколько молодых ленинградских писателей решили собраться на Сенатской площади, почтить память декабристов. Был юбилей — сто пятьдесят лет со дня восстания. Кому-то из этих литераторов пришло в голову официально уведомить об этой встрече горисполком. Утром 14 декабря на площади нас ожидали милиция и сотрудники КГБ; под аркой Сената и Синода стояли автобусы с курсантами военных училищ. Нас, демонстрантов, было одиннадцать человек, включая двух малолетних детей. Вся площадь была оцеплена, движение на набережной перекрыто. С полчаса простояли мы возле Медного всадника, окруженные толпой милиционеров и штатских. В полдень, с выстрелом сигнальной пушки, из черных «Чаек» на набережной выбралось несколько мужчин, неспешно обошли вокруг памятника и вернулись в машины. Внутреннее оцепление разомкнулось. Нас подогнали вплотную к ограде «Медного всадника». И я словно впервые его увидела. Милиционеры за спиной спрашивали: «Так что скажут: бить или как?», а я смотрела на оскаленную морду коня и на Петра, вздернувшего голову в рогатом венце.

Время в Петербурге течет так, что можно соскользнуть в реку прошлого и, хлебнув его ледяной воды, увидеть небо 14 декабря над Сенатской в магическом круге (или круге оцепления) у «Медного всадника»... «Медный всадник» — хранитель города. В 1812 году, когда Наполеон захватил Москву, из Петербурга решено было вывозить все ценное. «Медный всадник» должен был отправиться на север водным путем. Но к Александру I явился горожанин, майор Батурин, и рассказал, что во

сне ему явился основатель города и велел передать императору, что, пока памятник его стоит на месте, город никогда не будет захвачен врагом. «Медный всадник» остался на своем постаменте. Поверье об охранителе города не забылось. В годы Отечественной войны, во время блокады Ленинграда монумент был надежно укрыт от обстрелов, но оставался на Сенатской площади. И сейчас «Медный всадник», застывший на лету на вершине «Гром-камня», — центр одного из самых пронзительных петербургских пейзажей.

В рассказе о Петербурге его первых десятилетий мы говорили главным образом об императорском дворе, об аристократии, то есть о привилегированной части горожан. Что можно было сказать о жизни нескольких поколений бесправного городского населения, находящегося на положении, напоминающем положение каторжан?

Но к середине XVIII века картина постепенно меняется. Начинает складываться понятие «петербургский житель», у столицы появляется свое, особенное лицо. В «Описании российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» (1794) И. Г. Георги говорит уже о типическом характере его горожан.

«Гостеприимство есть отличная нравственная склонность санкт-петербургских жителей всех классов... Склонность к переменам и предпочтение всего нового в жилищах, одеянии, обычаях, часто также в дружбе и любви показывается у многих в великой степени... Редко найдется большой город, в коем бы более начатых предприятий остались неоконченными, как здесь... Страсть к чинам и достоинствам здесь более царствует, чем в других местах... В обхождении никогда или токмо случайно спрашивается о природе незнакомой особы, но о чине, по которому и образ приема определяется... Склонность к сластолюбивой жизни и роскоши... видна в жилищах, столе, одежде, обхождении у людей всякого звания и происхождения и почти везде... В женском поле царствует всеобщее честолюбие и чувствительность.

Противоборствующие крайности здесь не менее видны, как то думают о Лондоне. В нраве здешних жителей видны удивительные противоположности. Наибольшая деятельность с напряжением всех сил... не токмо при важных, но и при малых предметах... и леность, равнодушие при важнейших делах. Наичувствительнейшее, страстное участие, принимаемое в более или менее важных случаях или приключениях других, часто совсем чужих; и холодное равнодушие при великих происшествиях... потере великих особ, даже... при собственной потере. Склонность к исступлению, загадкам о просвещении духа и отвращение от него; так, например, Калиостро здесь первый удар получил. Пренебрежение и почитание денег... нежность между людьми, которая и в жарком климате более быть не может, — и люди, находящие удовольствие, выходя из бани, в коей от 32 до 34 Реомюровых градусов жару, валяться в снегу при 10 градусах стужи; токожде бабы... кои при 20—25 градусах, в обмерзлых совершенно платьях три часа и более, стоя на льду, на Неве белье полощут.

Самое распространенное неограниченное веротерпение при великом числе весьма смешанных жителей. Единодушно почитают жизнь веселую и приятную, по крайней мере спокойную и беспечную весьма важною. Ни в каком большом городе... самоубийство столь редко не бывает, как здесь... всякий, даже и самый странный человек легко может найти несколько сходных... друзей... Все сии и прочие свойства... основываются на смешении жителей различных племен, званий и состояний и на том, что почти единственно в столице в скором времени счастие свое соделать можно».

Конечно, многое в этом опыте описания нравов выглядит наивным. Если «загадки о просвещении духа» вроде опытов Калиостро в столице успеха не имели, это свидетельствовало скорее о здравом смысле горожан, нежели о недостатке просвещения. Но в описании Георги важно то, что понятие «петербуржец» уже приобретает конкретные черты. Со временем характер его будет меняться, литература следующих двух столетий запечатлеет другой

облик петербуржца — но он всегда будет ярко очерчен, характерен — он «иной», нежели прочие российские люди. И сам город в сознании русских уже отличается стилем жизни, архитектурой от остальной России, как строгая гармония творений Камерона, Кваренги — от облика привольно раскинувшейся Москвы.

Какими же стали горожане? Во-первых, более образованными. В 1781 году в Петербурге было открыто семь государственных начальных школ, в которых бесплатно обучались дети мещан, купцов, солдат. В столице выходило несколько литературных журналов, и если поначалу издатели бесплатно вручали подписки, чтобы как-то привлечь читателей, то вскоре появились и читатели, и подписчики.

В 1763 году открыта первая выставка работ воспитанников Академии художеств. Академия художеств была единственным учебным заведением в Петербурге, в которое в исключительных случаях принимали крепостных. Для многих талантливых разночинцев и особенно крепостных попасть в Академию было заветным желанием: ведь выпускники ее получали не только свободу (если они были крепостными), но и дворянство!

А в 1775 году Академия наук праздновала свое пятидесятилетие. На ее выставке в Петербурге была представлена, в частности, работа знаменитого механика-самоучки И. П. Кулибина — модель одноарочного моста через Неву. Комиссия одобрила ее... но мост не построили. Такая же участь постигла большинство его изобретений.

А директором Академии наук в 1783 году стала женщина, княгиня Е. Р. Дашкова — случай небывалый. Дашкова — участница екатерининского переворота, известная широкой образованностью, умом, энергией и крутым нравом. Ее правление оживило деятельность Академии, обремененной долгами и злоупотреблениями администрации. На первом заседании Академии наук Дашкова говорила о своих планах: «...Мы обязаны совместно исправить эти беспорядки и пользоваться самым простым и быстрым средством к тому, то есть бережно хранить все имущество Академии, не расхищая и не портя его; твер-

до решив сама не пользоваться ничем от Академии, я объявила, что не позволю этого делать и моим подчиненным». Благодаря усилиям нового директора Академия выплатила свои долги, увеличилось число учеников академической гимназии, издания Академии стали окупаться. В своих «Записках» Дашкова вспоминала: «...Я увеличила содержание всем профессорам и открыла три бесплатных курса математики, геометрии и естественной истории; они читались русскими профессорами... Я часто присутствовала на лекциях и с удовольствием видела, что ими пользовались для пополнения своего образования дети бедных дворян и молодые гвардии унтер-офицеры».

В том же 1783 году она возглавила новое, только что созданное учреждение — Российскую Академию, предназначенную для научного исследования русского языка и литературы. Российская Академия блестяще выполнила свое предназначение: через десять лет она завершила выпуск «Словаря Академии Российской» — первого толкового словаря русского языка.

Литература стала предметом всеобщего увлечения: сама императрица сочиняла пьесы и сказки; писали придворные и чиновники; полководец А. В. Суворов присылал в столицу рифмованные реляции о победах. По всеобщему признанию, лучшим современным российским поэтом был Гавриил Романович Державин, «певец Фелицы».

Другое увлечение горожан — театр. Зрители заполняли огромный зал Большого театра (он находился на месте нынешней консерватории) и зал Вольного российского театра на Марсовом поле. Столичная знать составляла публику Эрмитажного театра, простонародье — публику Всенародного театра на Малой Морской улице. Особенной популярностью пользовались комедия и опера. В 1782 году в Вольном театре состоялась премьера комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Она так восхитила зрителей, что вместо цветов они забросали сцену своими кошельками.

А вот постыдное зрелище публичной смертной казни за предыдущее царствование было забыто настолько, что

когда 15 сентября 1764 года на Сытном рынке Петербургской стороны был казнен офицер В. Я. Мирович, пытавшийся освободить свергнутого Елизаветой императора Ивана Антоновича, то «народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не привыкший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились», — вспоминал очевидец казни Г. Р. Державин.

Петербуржцы много читали. К их услугам был целый ряд книжных лавок: русские книгопродавцы торговали в основном русской и переводной литературой, а иностранные книги были в большом выборе у немцев-букинистов. Немецкое население столицы все увеличивалось. В 1786 году к немецкой общине Петербурга присоединились новые переселенцы, построившие поселок на правом берегу Невы, напротив села Рыбацкое.

Горожане увлекались мистицизмом, и когда в 1779 году в Петербург приехал знаменитый Калиостро, к нему проявил интерес сам «некоронованный император» Потемкин. Калиостро занимался лечением, демонстрировал алхимические опыты, давал спиритические сеансы. Но произошло что-то, заставившее его вскоре покинуть Петербург. По слухам, будоражившим город, Калиостро не смог вылечить младенца, и когда тот умер, подменил его другим.

А еще раньше, в 1764 году, в Петербург приезжал другой знаменитый авантюрист — Казанова. Он не прибегал к магии, а напротив, предлагал множество самых практических планов: от реформы российского календаря до инженерных проектов. Желая снискать милость Екатерины II, он искал встреч с нею. Но императрица во время их беседы проявила обидное равнодушие, и оскорбленный Казанова уехал. В своих мемуарах он оставил любопытные, с немалой долей злословия, записи о Петербурге: «Петербург поразил меня своим видом. Мне казалось, что я вижу колонию дикарей среди европейского города. Улицы длинны и широки, площади громадны; все

ново и грязно. В этом городе чувствуется близость пустыни и Ледовитого океана. Нева, спокойные воды которой омывают стены множества строящихся дворцов и незаконченных церквей, не столько река, сколько озеро». Если судить по описанию Невы, объективным Казанову не назовешь.

В Петербурге внимательно следили за европейской жизнью, с готовностью принимая различные новшества и идеи, приходившие оттуда. В Россию был разрешен въезд иезуитам, и одновременно с этим все шире распространялось масонство. Екатерина II вела оживленную переписку с Вольтером, по ее приглашению в Петербург приезжал знаменитый философ Дидро. Появился и отечественный писатель-вольнодумец — А. Н. Радищев. И корреспондентка Вольтера, собеседница Дидро, Екатерина II пишет на полях «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Тут рассеяна зараза французская, автор мартинист, он хуже Пугачева, он хвалит Франклина».

Русское дворянство было потрясено событиями Французской революции, и когда в Петербург приехал родственник казненного Людовика XVI граф д'Артуа, он встретил самый горячий прием. Екатерина подарила ему золотую шпагу с бриллиантами; при отплытии из Петербурга на одном из лучших российских фрегатов граф получил большую сумму денег и драгоценности. Страх, вызванный происходившим во Франции, привел в последние годы царствования Екатерины II к гонениям на тех, кто вызывал подозрение правительства, в частности на масонов.

Из тревожных событий, волновавших Петербург, следует упомянуть о трех. Два из них не коснулись его вплотную, хотя вызвали панику, а третья беда не обошла город стороной. Этими событиями были эпидемия чумы в Москве в 1771 году, восстание Пугачева (1773—1775) и наводнение в Петербурге (1777). Эпидемия чумы, по счастью, не дошла до столицы. Энергичными и даже жестокими мерами правительство не допустило ее распространения. Москве же, где медицинская служба была почти не налажена, она принесла огромные бедствия. В Петербурге

царила паника, был установлен строгий контроль для въезжающих в столицу, многие жители покинули город. Восстание Пугачева на восточных окраинах страны, переросшее в крестьянскую войну, грозило охватить всю Россию. Однако его удалось подавить, и в 1775 году Е. И. Пугачева казнили в Москве.

О наводнении 1777 года мы рассказывали в главе, посвященной Летнему саду. Оно было не менее бедственным, чем известное наводнение 1824 года, потому что случилось ночью, и люди были захвачены врасплох. Еще через несколько дней после него в окрестностях Петербурга находили трупы людей и животных. Разрушительную силу стихии можно представить по объявлению в петербургской газете: на даче Яковлева по Петергофской дороге продавалось две тысячи мачтовых деревьев, сломанных или вывернутых с корнем.

В 1786 году в Петербурге было голодно, цены на хлеб поднялись. Правительство открыло хлебные магазины для продажи бедным по низкой цене, но директор этих магазинов Маврин оптом продал хлеб купцам и нажился на этой спекуляции. Маврин не был наказан, так как правительство в это время было озабочено борьбой с вольнодумцами, по традиции считая грабительство чиновников простительной слабостью, а свободомыслие — смертным грехом.

О роскоши русского дворянства мы говорили много, но екатерининская эпоха все же поражает воображение. Один из путешественников, представленный ко двору, отмечал, что, в отличие от Европы, здесь не только женщины, но и мужчины украшают одежду множеством бриллиантов. Азартная карточная игра была официально запрещена, однако первыми игроками столицы считались фавориты Екатерины II — Г. Г. Орлов и Г. А. Потемкин. Да и сама императрица играла с придворными в карты на бриллианты. На столик рядом с карточным ставили ящик с бриллиантами, и играющие расплачивались ими. При дворе любили делать изящные подарки: то рукомойник, из которого выпадал драгоценный перстень,

то скромный цветок с бриллиантом на стебле. После постановки оперы «Дидона» в Эрмитажном театре композитору Дж. Паизиелло вручили бриллиантовую табакерку со словами, что Дидона завещала ему эту вещицу. Императрица дарила фаворитам и вельможам целые области, закрепощая еще свободную часть крестьянства. Знаменит подарок Г. Г. Орлова императрице: в 1774 году он преподнес ей третий в мире по величине алмаз, купленный им за 400 тысяч рублей. Этот алмаз украсил скипетр Екатерины II.

Англичанин Кокс, посетивший Петербург в 1778 году, писал, что старое азиатское великолепие смешалось здесь с европейской утонченностью. Вельможи старались перещеголять друг друга в роскоши. Во время путешествий Г. А. Потемкина вперед отправлялся английский садовник с помощниками, чтобы на каждой остановке устраивать пейзажный сад в английском стиле. Знамениты кареты того времени: зеркальная карета С. К. Нарышкина; карета со сложным механизмом, купленная К. Г. Разумовским за восемнадцать тысяч рублей в Лондоне и почти сразу заброшенная — из-за тяжести ее едва могли тянуть восемь лошадей; карета К. С. Скавронского, покрытая стразами. В общем, это были золотые времена для дворянства, жившего в городе Петра в свое удовольствие.

Когда по случаю открытия памятника Петра в Петропавловском соборе проходила торжественная служба и священник с пафосом восклицал, обращаясь к его гробнице: «Восстань же теперь, великий монарх, и воззри на любезное изобретение твое!», вельможа К. Г. Разумовский, тихо посмеиваясь, сказал стоявшим рядом: «Чего он его кличет? Если встанет, то всем нам достанется!»

Петербург построен руками крепостных. Они составляли значительную часть населения столицы: по переписи первой четверти XIX века почти половину. Автор записок о России А. де Кюстин заметил, что Петр I и его преемники стремились превратить столицу в грандиозный театр. Но трагическое действие разыгрывалось за кулисами, и можно впасть в заблуждение, если принять за действительность блестящие декорации русской столицы.

Часть крепостных были постоянными жителями Петербурга, но многие приходили сюда на временные работы и жили в городе по нескольку месяцев. Грандиозное строительство, развернувшееся здесь, требовало огромного числа рабочих рук. Об этих работниках писал архитектор О. Монферран: «Двадцать лет, посвященных постройке Исаакиевского собора, позволили мне высоко оценить трудолюбие этих людей. Русские рабочие честны, мужественны и терпеливы. Одаренные недюжинным умом, они являются прекрасными исполнителями. Каждая губерния поставляет своих специалистов: Ярославская — каменщиков, Костромская — плотников, гранильщики и мраморщики приходят из Олонца... Проживая здесь без семей, они селятся группами по пятнадцать-двадцать человек, каждая группа имеет свою стряпуху».

Работа была изнурительной, и нередко крестьяне умирали в Петербурге или по пути домой. Примечательна статистика 1831 года, времени, когда условия жизни работников были лучше, чем в XVIII веке: за год в столице умерло более 20 тысяч человек, а родилось лишь 6,5 тысяч. Однако население столицы неуклонно увеличивалось за счет ежегодно прибывавших работников.

Как выглядели строители гранитных берегов Фонтанки, рассказывали их современники: «...с горя и нищеты они походили скорее на мертвецов. Эти бедные люди, без пищи и крова, со смертной бледностью на лицах, едва прикрытые какими-то лохмотьями, шатались, как привидения, по улицам. Надо было иметь каменное сердце, чтобы не чувствовать к ним сострадания» (А. Г. Яцевич. «Крепостные в Петербурге»).

Их обманывали наниматели, им чаще всего не доплачивали при расчете. Не раз работники пытались жаловаться властям. Так, 7 августа 1787 года на Дворцовую площадь пришли 400 депутатов от рабочих с Фонтанки с жалобой на подрядчика Долгова. Каждую из придворных дам в окнах дворца они принимали за Екатери-

ну II, кланялись и знаками просили принять их прошение. Императрица не приняла их, а велела разойтись. Бедные люди продолжали оставаться на площади. Тогда ближайших 17 человек из них арестовала охрана Зимнего дворца, а остальные в страхе разбежались. Арестованные предстали перед уголовным судом «за учреждение скопа и заговора». Таких историй в летописи Петербурга десятки, и когда узнаешь их, иначе смотришь на красоту Северной Пальмиры.

Крепостные составляли дворню в домах знати. Даже небогатая дворянская семья в столице держала десяток крепостных слуг. А в доме богача Строганова на его семью из трех человек приходилось 600 слуг. Дворню кое-как кормили, ничего не платили, зато и служили многие из них кое-как. Крепостные мастерицы-швеи не имели права заводить семью, чтобы не «отвлекаться от работы». Хозяин мог своей волей сослать крепостного в Сибирь.

В домах вельмож было в моде держать слуг-иностранцев. Не только французских поваров: «...не было дома (богатого. — *Е. И.*), в котором было бы меньше 100 слуг различного рода — негров, турок — и в особенности карликов и карлиц, которые очень в моде. В каждой комнате у дверей стоят для услуг пять-шесть пажей... турок или казаков», — писал заезжий иностранец.

В Петербурге существовали рынки, на которых продавали крепостных. «Санкт-Петербургские ведомости» дважды в неделю сообщали о предстоящих торгах: «Продается мальчик 16 лет, знающий отчасти поварное искусство», «Продается охота на 16 гончих, а если кому угодно, то при сей охоте отпускаются ловчий и доезжачий», «Продается лет 30 девка и молодая гнедая лошадь»...

В крепостных театрах петербургских вельмож было немало талантливых актеров. На одном из спектаклей в таком театре хозяин, видя, что зрители покорены актерской игрой, в упоении кричал: «Это все мои дворовые ребята!»

Замечательна история крепостной актрисы Шереметевых — Прасковьи Ковалевой. Она получила хорошее образование, обладала дивным голосом и артистическим

талантом. Под псевдонимом Жемчуговой она была известна всему театральному Петербургу. В 1801 году один из самых блестящих женихов столицы, граф Н. П. Шереметев, женился на своей крепостной. Поначалу этот брак был тайным, о нем объявили лишь в 1803 году, после рождения сына. Брак «богатейшего в мире вельможи с рабынею» произвел на современников огромное впечатление. А через три года после родов Прасковья Ивановна Шереметева умерла от туберкулеза во дворце на Фонтанке.

Сын П. И. и Н. П. Шереметевых не унаследовал широты взглядов своего отца. С большим трудом друзья уговорили Д. Н. Шереметева дать вольную его крепостному А. В. Никитенко, в будущем известному историку литературы, академику Петербургской Академии наук. «Что касается свободы, я решительно против нее. Люди, подобные вам, редки, и ими надо дорожить», — заметил он, вручая Никитенко вольную.

Особую группу составляли крепостные, отпущенные на промысел в столицу. Те из них, кто сумел разбогатеть, стремились выкупиться на волю. У графа Д. Н. Шереметева, владельца 125 тысяч душ, было много богатых крепостных. Одному из них, купцу Шелушину, получить свободу помог счастливый случай. Шелушин — один из богатейших рижских купцов — не мог найти невест своим сыновьям: девушки отказывались выходить замуж за крепостных, ведь и сами они тогда становились крепостными. Тщетно Шелушин предлагал Шереметеву 200 тысяч за вольную. Граф и без того был баснословно богат. В очередной раз приехав в Петербург с подношениями для барина, Шелушин застал его за завтраком. Тот пребывал в дурном расположении духа: в городе не было устриц.

«А, Шелушин, — воскликнул Шереметев, — ты предлагал мне 200 тысяч, но я не знаю, что с ними делать. Но достань мне к завтраку устриц, и ты получишь свободу!» Шелушин низко поклонился и сказал, что устрицы уже в доме. Бочонок внесли в столовую, на его крышке Шереметев подписал вольную купцу и его семье. «А теперь,

господин Шелушин, я прошу сесть с нами за стол», — заключил он.

Многие замечательные люди вышли из крепостных: художники В. А. Тропинин, Г. В. Сорока, О. А. Кипренский, архитектор А. Н. Воронихин, поэт Т. Г. Шевченко. Этот перечень можно продолжать. Но, конечно, не всем одаренным людям удавалось вырваться из неволи. А. В. Никитенко описал в дневнике встречу в одном из петербургских домов: «Мы нашли мальчика лет 14, который в маленькой комнате срисовывал копию с картины Рубенса. Копия прекрасная... Это крепостной графа Головкина. Я говорил с ним. В нем определенные признаки таланта; но он уже начинает думать о ничтожестве жизни, предаваться тоске и унынию. Граф ни за что не хочет дать ему волю... Что будет из этого мальчика? Теперь он самоучкою снимает копии с Рубенса. Через 2 или 3 года он сломает кисти, бросит картины в огонь и сделается пьяницей или самоубийцею. Граф Головкин, однако, считается добрым барином и человеком образованным. О Русь! О Русь!»

Нескучное время

«Вечный наследник». Перемены в жизни города. Немилость императора. Михайловский замок. Смерть Павла I и радость в столице

6 ноября 1796 года в Петербурге было объявлено о смерти Екатерины II. В городе воцарились тревога и растерянность: было ясно, что после тридцати четырех лет царствования Екатерины грядут перемены, и ничего хорошего от этих перемен ждать не приходилось. Площадь перед Зимним дворцом заполнилась людьми, войска шли к дворцу в парадной форме, увязая в глубоком снегу.

«Вскоре приехал сын ее, наследник, или новый император, Павел. Тотчас во дворце приняло все новый вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом», — вспоминал об этом дне Г. Р. Державин.

Павлу, великому князю, исполнилось к тому времени сорок два года, придворные Екатерины иронически называли его «вечным наследником». Его недолюбливали, а впоследствии, во время правления, он вызвал такую ненависть русской аристократии, что именовался не иначе как деспотом и тираном. Однако среди современников бытовало и другое представление о Павле: он — «Гамлет на престоле»; Наполеон назвал его «русским Дон-Кихотом». Действительно, судьба Павла напоминала судьбу шекспировского героя, и было заманчиво

усмотреть в жизни русского императора развитие литературного сюжета[1].

Павлу было восемь лет, когда его мать стала императрицей. Он на всю жизнь сохранил преклонение перед убитым отцом и ненависть к матери, захватившей престол, по праву принадлежавший ему — наследнику. Годы молодости великого князя были полны унижений и обид. Он знал, что его считают сыном не Петра III, а любовника Екатерины — Сергея Салтыкова (сам Петр III не признавал своего отцовства). Мать его не любила, а под конец жизни намеревалась передать престол не ему, а его старшему сыну Александру. Фавориты Екатерины открыто презирали великого князя. Он же ненавидел мать, ее окружение и тех, кто служил ей, словом, все, связанное с правлением Екатерины. С годами у Павла развилась мания преследования: он боялся, что его отравят, всюду подозревал заговоры, злые умыслы, предательство. И средоточием этих мучительных страхов была мать, осыпавшая милостями убийц мужа, погрязшая во лжи и разврате.

Великий князь все больше замыкался в Павловске и Гатчине — там он чувствовал себя в относительной безопасности и мог устраивать жизнь по своему вкусу. Большую часть времени он посвящал военным учениям и смотрам, муштруя солдат своих «гатчинских» полков. «Во время поездок... в Гатчину и Павловск я... живо помню то странное впечатление, которое производило на меня все, что я здесь видел и слышал. Тут все было как бы в другом государстве, особенно в Гатчине, где выстроен был форштадт, напоминавший мелкие немецкие города», — вспоминал генерал-майор Н. А. Саблуков, автор мемуаров о времени императора Павла I.

В столице смеялись над окружением великого князя, его установлениями (в Гатчине был введен комендантский час), грубыми и невежественными офицерами-«гатчинцами». В отличие от матери, Павел плохо разбирался в людях и приближал к себе тех, кто казался ему преданным, прямодушным и простым. Представление о его проницательности дают имена его приближенных: камердинер И. П. Кутайсов и офицер одного из гатчинских полков А. А. Аракчеев. Кутайсову он пожаловал графский титул; «без лести преданного» Аракчеева произвел в рыцари Мальтийского ордена.

Хитрый пройдоха Кутайсов, «Санчо Панса» императора, баснословно разбогател, скупая за бесценок имения, конфискованные у людей, попавших при Павле в опалу, и получая огромные взятки. Этот безродный проныра, ставший вторым человеком в империи, вызывал общее презрение и ненависть.

Однажды он приехал к А. В. Суворову с поручением от императора. Суворов, выслушав его, кликнул слугу и сказал: «Прошка! Ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку от тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином». Этот эпизод приводит Н. И. Греч в книге «Записки о моей жизни».

7 ноября 1796 года началось царствование императора Павла I. Перемены, которых боялись в Петербурге, не заставили себя ждать. Уже на второй день был обнародован указ Павла о том, как следует одеваться дворянам: запрещено носить круглые шляпы, высокие сапоги. Это только начало: в 1798 году следует запрет на фраки и жилеты (вместо фрака «позволяется носить немецкое платье с одним стоячим воротником... обшлага же иметь того цвета, как и воротники»; вместо жилета — носить «немецкий камзол»); в 1799 году волосы приказано зачесывать не вперед, а назад; запрещено мужчинам носить сюртуки с разноцветными воротниками, а дамам — женские сюртуки с кроеным воротником; был указ, «чтобы никто не имел бакенбард» и т. д. Это лишь

[1] Постановка «Гамлета» в театрах России была запрещена и при Екатерине II, и при Александре I, получившем престол после убийства отца.

часть запретов, касающихся одежды и правил поведения, их было куда больше.

Из боязни революционной «якобинской заразы» запрещено употребление ряда слов, среди них слова «свобода», «представитель», «отечество». В 1800 году вышел запрет привозить из-за границы книги, «на каком бы языке оные ни были». Можно представить, как встретили в столице первые указы нового императора. «В эпоху кончины Екатерины и вступления на престол Павла Петербург был, несомненно, одной из красивейших столиц в Европе... Как по внешнему великолепию, так и по внутренней роскоши и изяществу ничто не могло сравниться с Петербургом в 1796 году — таково было, по крайней мере, мнение всех знаменитых иностранцев, посещавших в то время Россию... Внезапная перемена, происшедшая с внешней стороны в этой столице в течение нескольких дней, просто невероятна. Так как полицейские мероприятия должны были исполняться со всевозможной пышностью, то метаморфоза совершилась чрезвычайно скоро, и Петербург перестал быть похожим на современную столицу, приняв скучный вид маленького немецкого города XVII столетия», — писал Н. А. Саблуков.

При встрече с императором экипажи должны были останавливаться, едущие в экипажах — выходить из них и кланяться. Это сумасбродное распоряжение причиняло горожанам немало мук. Некая дама, спешившая на бал, в легком платье и атласных башмачках, понравилась Павлу и немного побеседовала с ним. Беседа стоила ей жизни — она умерла от простуды. Книксены дам среди сугробов и слякоти, опасность попасть в Петропавловскую крепость за недозволенный наряд... Встречи с Павлом боялись как чумы.

Были закрыты почти все модные магазины, торговавшие предметами роскоши и нарядами, кроме семи — по числу смертных грехов. В городе установилось нечто вроде комендантского часа: царь вставал в шесть часов утра, в десять он ложился спать, и городская жизнь замирала. Ночами по улицам дозволено ходить лишь военным караулам, повивальным бабкам (акушеркам) и священникам, вызванным к умирающим.

Через несколько дней после воцарения Павла, когда гроб с телом Екатерины II стоял в Зимнем дворце, город увидел зрелище, достойное шекспировского Гамлета. Сын воздавал почести убитому отцу. Петр III был похоронен тридцать четыре года назад в Александро-Невском монастыре. Поздним вечером 17 ноября из Зимнего дворца к монастырю направилась процессия. По Невскому проспекту шли факельщики в трауре, сопровождавшие тридцать карет, обитых черным сукном. В каретах сидели придворные в трауре и на черных бархатных подушечках держали ордена Петра III. Описание этого зловещего зрелища напоминает детскую страшилку о «черном-черном городе»...

В монастыре гроб Петра III подняли из склепа и поставили в церкви. На следующий вечер в монастырь приехал император с семьей и свитой. При нем гроб открыли. Павел возложил императорскую корону на голову отца. К этому времени тело истлело, в гробу были череп, кости, кожаные перчатки, сапоги. Останки Петра III находились в Александро-Невском монастыре еще две недели. В церкви непрерывно шла заупокойная служба, в почетном карауле сменялись дворяне из самых знатных семей. Император несколько раз приезжал в монастырь, при нем открывали гроб, он целовал останки.

Затем Петра III торжественно перенесли в Зимний дворец. Особая роль в траурном шествии была отведена одному из его убийц — графу А. Г. Орлову. Старый человек, плача, шел по улицам столицы в начале процессии и нес на подушечке императорскую корону. Стояли декабрьские морозы. Все полки столицы выстроились шеренгой от Александро-Невского монастыря до Зимнего дворца. Войска салютовали, пушки стреляли, колокола церквей звонили. Гроб Петра III поставили рядом с гробом Екатерины, а затем их торжественно похоронили в Петропавловском соборе.

Страсть Павла к театрализации и формализму придавала жизни Петербурга фантастический оттенок. Офицерам гвардии запрещалось носить шубы: император ежедневно появляется на главных улицах города верхом в лег-

ком мундире, показывая пример спартанской выдержки. Однажды он увидел офицера, денщик которого нес за ним шубу и шпагу. Павел приказал разжаловать офицера в солдаты за пренебрежение к оружию, а денщику присвоить звание его хозяина. Забота императора о военном мундире была маниакальной: только форма конногвардейцев за четыре года его правления менялась не менее девяти раз.

Другая его страсть — муштра. Ежедневно на площади у Зимнего дворца проводится вахтпарад: под флейты и барабаны маршируют полки; идут учения на Марсовом поле. В любую погоду, в любое время года шагают солдаты в легких мундирах: месят грязь под дождем, в снегу; летом на Марсовом поле стоит пыль до небес от тысяч марширующих. Гвардейцы богатырского роста; многие из них были в походах с Румянцевым, Потемкиным, Суворовым; а между шеренгами мечется маленькая фигурка императора; он кричит, даже щиплет офицера, которым недоволен; он в упоении. При утренних военных разводах присутствуют... несколько танцовщиц балета! Однажды танцовщица императорского театра Берилева пришла утром на площадь, где стояла гвардия, на свидание с офицером. Павел заметил ее и крикнул: «Вам что здесь надо, сударыня?» Берилева и ее подруга не растерялись: «Мы пришли полюбоваться красотой этого военного зрелища, Ваше Величество». Павлу пришлась по душе такая утонченность вкуса, и он приказал ежедневно присылать на утренний развод из театра несколько танцовщиц, чтобы они могли насладиться зрелищем.

А однажды ночью Петербург проснулся от залпов орудий Петропавловской крепости. Оказалось, императору понравилась хорошенькая прачка, и он приказал доставить ее во дворец. Когда выяснилось, что она не слишком возмущена поведением своевольного государя, восхищенный Павел приказал салютовать в ее честь из орудий крепости. Но как объяснить эту пальбу горожанам? Наутро был выпущен бюллетень об очередном успехе суворовской армии в Италии. Горожане не удивились: Суворов вел победоносную кампанию, и его успех ни у кого

не вызывал сомнения. Неизвестно, многие ли заметили одну странность: в спешке местечко, возле которого якобы произошло сражение, назвали не итальянское, а французское.

Можно привести десятки исторических анекдотов о времени правления Павла I из записок его современников и позднейших воспоминаний. Вероятно, не все они достоверны, но им верили, они не вызывали сомнений. Ведь то, что каждый мог видеть воочию (особенно в столице), раньше показалось бы невероятным.

С первых дней правления Павел решил напомнить подданным, что единственный закон в стране — его воля. Известны слова, сказанные им одному из иностранных послов: «В России нет важных лиц кроме того, с кем я говорю и пока я с ним говорю». Но подданные имели злостную привычку обсуждать и даже осуждать действия императора. Несчастный человек, душа которого была изуродована многолетним страхом и унижением, в таких случаях карал нещадно, не сообразуясь ни с законом, ни с разумом. Правда, случалось, что в хорошую минуту он отменял свой приговор.

В первый месяц правления Павла вышел именной указ о заключении полковника Елагина «в крепость навсегда за дерзновенные разговоры» (4 января 1797 года его, впрочем, освободят). 15 декабря приговорен к пожизненной крепости «за дерзкие разговоры» полковник Копьев... Унтер-офицера Мишкова, подозреваемого в авторстве злой карикатуры на царя... Павел приказывает в начале 1801 года, «не производя над ним никакого следствия, наказав кнутом и вырвав ноздри, сослать в Нерчинск на каторгу». Эти факты приводит в книге «Грань веков» Н. Я. Эйдельман.

На четвертый месяц правления Павел утвердил при Сенате Тайную экспедицию — и это вызвало ропот. Ведь Екатерина II в начале своего царствования упразднила Тайную канцелярию как постыдное напоминание о беззаконии и жестокости старых времен. Сразу после воцарения Александра I Тайная экспедиция была упразднена.

Под подозрением императора находились не только опальные екатерининские вельможи, но большая часть дворянства. Его указы предписывали следить за всеми, особенно за иностранцами; просматривать письма, особенно отправляемые за границу; чиновники обязаны доносить о действиях своих начальников и т. д. В каждый квартал столицы назначены особые надзиратели, следившие за его жителями. «Отнюдь не для забавы, но для контроля, настигающего уже самую малую общественную ячейку — дом, семью, Павел I приказал, между прочим», майору К. Ф. Толю (будущему видному генералу) «изготовить модель Санкт-Петербурга — так, чтобы не только все улицы, площади, но и фасады всех домов и даже их вид со двора были представлены с буквальной, геометрической точностью» (Н. Я. Эйдельман).

Павел, ненавидевший Французскую революцию, в сущности хотел того же, что и «преступные якобинцы»: равенства всех подданных. Но, правда, на свой лад — равенства перед императором, упразднения любой иерархии среди них: по знатности, по заслугам, по таланту. Александр Васильевич Суворов, как и другие знаменитые деятели екатерининских времен, попал в опалу. Павел I сослал Суворова в одно из его отдаленных имений. Ревнивый к чужой славе, он отзывался о великом полководце с пренебрежением. В 1797 году Державин писал:

Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов тверд, велик всегда!
Ступай за ним! — небес в лазуре
Еще горит его звезда!

(«На возвращение графа Зубова
из Персии»)

Звезде Суворова было суждено просиять еще раз. В 1799 году он победоносно провел Итальянский и Швейцарский походы, разгромил французские войска, а затем вывел русскую армию из окружения через Альпы. В Петербург Суворов вернулся больным и в мае 1800 года умер. Завистливая мстительность императора проявилась и после смерти великого полководца. Ни он,

ни его приближенные не пришли проститься с Суворовым, хоронили его без почестей, приличествовавших его званию. Многие дворяне не присутствовали на похоронах, опасаясь императорского гнева.

9 мая 1800 года Петербург прощался с прославленным военачальником: «Мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова... За гробом шли три жалких гарнизонных баталиона. Гвардию не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России», — вспоминал Н. И. Греч.

«Сын Екатерины казнил без вины, награждал без заслуги, отнял стыд у казни, у награды прелесть», — писал Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России». Нежданная беда настигла драматурга В. В. Капниста: Павлу доложили, что комедия «Ябеда» — сатира на его правление. Без всякого разбирательства ее автора арестовали и отправили в Сибирь. Пока он ехал под конвоем, не понимая, что произошло, Павел решил посмотреть комедию. Сыгран первый акт — последовал приказ догнать Капниста и вернуть с курьером в столицу; сыгран второй — новый приказ: наградить и дать чин. Оправившись от потрясения, Капнист шутливо сожалел, что комедия коротковата, иначе он вернулся бы в Петербург министром. Все это — и ссылка, и награды — уместилось в несколько часов.

Среди множества указов Павла I были установления, облегчавшие участь крепостных крестьян: барщина ограничивалась тремя днями в неделю, при продаже крепостных запрещалось разделять семьи, запрещалось продавать крепостных без земли. Конечно, ужас положения, при котором большая часть народа находилась в рабстве у другой его части, оставался прежним: указы Павла были попыткой устранить самые вопиющие его проявления. При Павле I уменьшили рекрутский набор — одну из самых тяжких повинностей, а в 1800 году его вообще не проводили.

Правда, все могло измениться, потому что военные планы императора были самые обширные. В 1799 году, например, он объявил войну Испании за то, что она поддерживала отношения с республиканской Францией. «Вспомните, — писал в 1801 году Л. Л. Беннингсен, — объявление войны, сделанное [Павлом] королю испанскому, который по справедливости в своем ответном манифесте старался показать смешную его сторону, потому что противники не могли бы сойтись ни на суше, ни так же точно и на море». Павел даже подыскал в России претендента на испанский престол — отставного военного испанского происхождения, много лет находившегося на русской службе.

Следующий военный план императора поверг в шок русское общество и заставил еще громче говорить о безумии Павла: он собрался, уже в союзе с Францией, где у власти был Наполеон Бонапарт, завоевать Индию и изгнать оттуда англичан. В начале 1801 года Павел и Бонапарт обсуждали совместные действия, но первый шаг уже был сделан: в конце января тридцатитысячное войско донских казаков выступило в поход на Индию! После гибели Павла их вернули назад уже из глубин Азии.

С первых месяцев правления Павел и его политика оказались неприемлемы для русского дворянства; число его возможных союзников быстро уменьшалось, а число врагов увеличивалось с каждым днем. И император, и его противники помнили об участи Петра III. Император не чувствовал себя в безопасности в собственной семье, в своей столице, во дворцах, в которых прежде жила его мать. Он хотел иметь надежное убежище, в котором можно будет укрыться от врагов. Им должен был стать Михайловский замок.

Михайловский замок построен на месте деревянного Летнего дворца Елизаветы, в котором Павел родился и жил в детстве. По преданию, история основания Михайловского замка такова: солдату, стоявшему в карауле у Летнего дворца, явился сияющий светом архангел Михаил и сказал: «Ступай к императору, передай мою волю, чтобы на сем месте был построен храм во имя архистратига Михаила». Когда императору донесли о чуде, он спокойно ответил: «Мне самому уже давно воля архангела Михаила известна; она будет исполнена».

26 февраля 1797 года состоялась торжественная закладка Михайловского замка. Павел сам заложил первый камень в его фундамент. Строительство дворца он поручил замечательному архитектору — В. И. Баженову. Баженов — автор нескольких грандиозных проектов, которые не были воплощены в жизнь. Современники признавали его гениальность, но «слишком широко задумывались эти проекты, чтобы выполнить их имеющимися средствами», — писал историк искусства В. Я. Курбатов. Знаменит баженовский проект реконструкции Кремля в Москве: архитектурный ансамбль должен был охватить Кремлевский холм со всеми соборами и строениями старого Кремля! Екатерина II присутствовала при закладке фундамента Большого Кремлевского дворца в 1773 году, но дальше дело не пошло: одна мраморная лестница от дворца к Москве-реке обошлась бы в пять миллионов золотых рублей!

Баженов — создатель одного из самых примечательных зданий старой Москвы — дома Пашкова. Размах и гармоничность, свойственные творчеству зодчего, ценили не только его современники. Полтора века спустя Михаил Булгаков изберет дом Пашкова местом встречи героев романа «Мастер и Маргарита»: «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев». Творческую смелость Баженова, масштабность архитектурного мышления унаследовали следующие поколения российских зодчих. Пример тому — грандиозные ансамбли Адмиралтейства и Главного штаба в Петербурге, построенные в XIX веке.

Баженов создал проект Михайловского замка, но вскоре заболел, и строил дворец по его проекту архитектор В. Бренна. Работа шла очень быстро, не только днем, но

и ночью; на строительстве дворца было занято шесть тысяч человек. Павел спешил — ему хотелось скорее укрыться за стенами своего замка. В Петербурге толковали об этом с неодобрением. Екатерина заботилась об украшении столицы, при ней город хорошел и расширялся, а Павел не только не продолжал ее дела, но даже велел брать все необходимое для Михайловского замка из других строений. Был разобран дворец в Пелле, из Таврического дворца вывезли все ценное; мрамор, предназначенный для Исаакиевского собора, пошел на отделку Михайловского замка. Собор велено было достроить в кирпиче. Вскоре появилась эпиграмма:

Се памятник двух царств,
обоим им приличный:
Низ мраморный, а верх его кирпичный.

Авторство ее приписывали разным людям, ходили страшные слухи о расправе, которую учинили над остроумцем. В Петербурге шептались о кощунстве, совершенном императором, и о дурном предзнаменовании для него. Золоченую надпись, предназначенную для Исаакиевского собора, укрепили на фасаде Михайловского замка. Одна из городских юродивых предрекла, что за это Павел проживет столько лет, сколько букв в надписи — сорок семь. Предсказание сбылось — он был убит на сорок седьмом году жизни.

По желанию императора наружные стены Михайловского замка окрасили в бледно-розовый цвет. Говорили, что Павел послал архитектору палевую перчатку своей возлюбленной Анны Лопухиной-Гагариной, велев, чтобы дворец был такого же цвета. 8 ноября 1800 года, в день Архистратига Михаила, замок был освящен. А 1 февраля 1801 года, писал Н. А. Саблуков, «его величество со своим августейшим семейством оставил старый дворец и переехал в Михайловский, выстроенный наподобие укрепленного замка, с подъемными мостами, рвами, потайными лестницами, подземными ходами — словом, он напоминал собою средневековую крепость». Из-за спешки в строительстве стены замка не успели просохнуть. В нем

было сыро и холодно, огонь в огромных каминах не согревал покоев. «...Двор, запертый в Михайловском замке, охранявшемся наподобие средневековой крепости... влачил скучное и однообразное существование. Император, поместивший свою любовницу в замке, уже не выезжал, как он это делал прежде, и даже его верховые прогулки ограничивались так называемым третьим Летним садом, куда, кроме самого императора, императрицы и ближайших лиц свиты, никто не допускался» (Н. А. Саблуков. «Записки»).

На площади перед замком был поставлен памятник Петру I работы скульптора Бартоломео Растрелли — отца прославленного зодчего. Надпись на постаменте гласила: «Прадеду — правнук». Павел рассказывал, что в юности ему однажды явился Петр Великий. Он с грустью посмотрел на своего потомка и промолвил: «Павел, бедный Павел, бедный князь!»

«Во время одной из прогулок, около четырех или пяти дней до смерти императора (в это время стояла оттепель), Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись к шталмейстеру Муханову... сказал сильно взволнованным голосом: „Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что я умираю... Разве они хотят задушить меня?“» — писал Н. А. Саблуков.

Дни императора были сочтены. В начале марта 1801 года заговор против него был готов. Во главе его стоял генерал-губернатор Петербурга граф П. А. Пален, в число заговорщиков входили братья Зубовы (одно из самых влиятельных семейств конца екатерининской эпохи благодаря П. А. Зубову — фавориту императрицы), генерал-лейтенант Л. Л. Беннигсен, офицеры гвардии. В замысел был посвящен старший сын императора цесаревич Александр. Развязку трагедии ускорил сам Павел. В последние месяцы жизни он подозревал о заговоре и считал, что в нем участвуют его старшие сыновья Александр и Константин. Ходили слухи, что он собирается заключить их в крепость или сослать в Сибирь. Некоторое время они находились под домашним арестом. Угроза заставила Александра дать согласие на переворот. В ночь

на 12 марта 1801 года охрану Михайловского замка несли полки, офицеры которых состояли в заговоре. Вечером, во время ужина, император был лихорадочно оживлен, а уходя к себе, вдруг заговорил о смерти. М. И. Кутузов, который был в числе приглашенных, вспоминал, что Павел сказал ему, прощаясь: «На тот свет идтить — не котомки шить».

После полуночи заговорщики вошли в замок, расставили своих людей в коридорах, у лестниц. Несколько человек поспешили в спальню Павла. Он спрятался за ширмами, но его нашли. Платон Зубов предложил императору отречься от престола — тот отказался. Тогда Николай Зубов нанес ему первый удар тяжелой золотой табакеркой. После этого Зубовы и Беннигсен вышли из спальни, а несколько офицеров довершили дело.

Павел был так изуродован, что, по словам Н. А. Саблукова, «докторам и гримерам было нелегко привести тело в такой вид, чтобы можно было выставить его для поклонения, согласно существующим обычаям... На лице его, несмотря на старательную гримировку, видны были черные и синие пятна. Его треугольная шляпа была так надвинута на голову, чтобы по возможности скрыть левый глаз и висок, который был зашиблен». Объявили, что Павел I скончался от апоплексического удара. Наутро гвардия принесла присягу новому императору — Александру I.

В этот день его ждало тяжелое испытание: он должен был проститься с убитым отцом: «Александр Павлович, который... впервые увидел изуродованное лицо своего отца... стоял в немом оцепенении. Тогда императрица-мать обернулась к сыну и с выражением глубокого горя и видом полного достоинства сказала: „Теперь вас поздравляю — вы император“. При этих словах Александр, как сноп, свалился без чувств, так что присутствующие на минуту подумали, что он мертв» (Н. А. Саблуков). Павла I, как и его отца, похоронили в Петропавловском соборе. Обстоятельства их гибели сходны. В алтарной части собора, под великолепными надгробьями из белого мрамора покоятся останки этих императоров — с пробитыми черепами и сломанными шейными позвонками.

После смерти Павла царская семья покинула Михайловский замок и больше туда не возвращалась. В 1819 году в нем разместилось Главное инженерное училище, и с этого времени замок стал называться Инженерным.

...Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец...
(А. С. Пушкин. «Вольность»)

12 марта известие о смерти Павла и воцарении Александра I облетело столицу. «На улице даже незнакомые люди обнимались, как в Христов день, и поздравляли друг друга с новой свободной жизнью», — вспоминал современник. Город без всякого приказа украсился иллюминацией в честь Александра: в богатых домах выставлены яркие транспаранты, в окнах бедных домишек — по нескольку свечей.

Ликование в Петербурге было всеобщим. Имена заговорщиков произносили с почтением, как имена спасителей отечества. На перекрестки выставили бочонки вина, а к вечеру в столице не осталось шампанского. Характерно воспоминание графини В. Н. Головиной: из окна она видела пьяного поручика, который ехал на коне по тротуару, крича: «Теперь вольность!» Неведомо как узнав о перемене власти, на улицах с утра появились франты в круглых шляпах. Их встречали аплодисментами. Появились и экипажи с недозволенной прежде русской упряжью, с форейторами и кучерами в русской одежде. Г. Р. Державин сочинил оду, название которой отражало общее настроениие: «На всерадостное восшествие на престол императора Александра...»:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд...

Начиналось новое столетие, и Петербург встречал его с надеждой и радостью.

Романтический Петербург

Картинки городской жизни. В Летнем саду. «Когда народ пробудился...» Поколение победителей. Литературные собрания. Новые интересы офицерства. Рыцарственный Милорадович. «Ночная княгиня». Наводнение 1824 года. Четырнадцатое декабря. Конец прекрасной эпохи

Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн и розы наши?

К. Н. Батюшков. «К другу»

Начнем рассказ о Санкт-Петербурге XIX столетия с описания обыденной жизни города, с того, что происходило на его улицах и площадях.

Что ж мой Онегин? Полусонный,
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтинка спешит.
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой висисдас.

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»)

Светский молодой человек возвращался с бала, когда в городе начиналась утренняя деловая жизнь. Купцы в

Гостином дворе открывали лавки, приказчики-зазывалы, стоя у дверей, привлекали покупателей забавными шутками, расхваливая свой товар, а то и тянули в лавку, предлагая оценить выбор. Дома на главных улицах пестрели вывесками. Запрещено иметь вывески лишь лавкам, в которых торговали нижним бельем, и гробовщикам.

Открывались многочисленные кофейни, мастерские и магазины. Уличные торговцы-лотошники предлагали разнообразные товары: от материи, галантереи и украшений до пирожков, апельсинов и сбитня. На улицах появлялись бродячие артисты: здесь можно было увидеть шарманщика с сурком, маленький театр марионеток, кукольника с бойким Петрушкой.

Зимой на улицах в павильонах-грелках горели костры. Эти павильоны, построенные в екатерининское время, были спасением для кучеров, по нескольку часов поджидавших своих хозяев, для извозчиков, полицейских, дежуривших на улицах. «Русские, живущие в Петербурге, кажутся южанами, осужденными жить на севере и, выбиваясь из сил, бороться с климатом, который совсем не привычен... Простонародье в России совсем иных привычек: кучера зимою ждут по десяти часов близ ворот и не жалуются; они ложатся на снег под повозки и ведут образ жизни неаполитанских бедняков на шестидесятом градусе географической широты. Вы видите их расположившимися на ступенях лестниц, как немцы на своих перинах. Иной раз они спят стоя, прислонившись к стене головою...

Русские вельможи... — южане по своим привычкам. Надо посмотреть на их дачи, построенные на острову, образуемом Невою, в обводе самого Петербурга. Южные растения, благовония Востока, азиатские диваны украшают их жилища. Огромные оранжереи, где зреют плоды всех стран, создают искусственный климат. Обладатели этих дворцов стараются уловить каждый луч солнца, пока оно видно на горизонте», — вспоминала французская писательница Жермена де Сталь, побывавшая в России в 1812 году.

С наступлением весны на Неве появлялось множество рыбачьих лодок, улов продавали тут же, на набережных. А летом открывался сезон речных прогулок. За небольшую плату можно было нанять нарядное суденышко с гребцами и музыкантами. Гребцы одевались празднично: на них голландские куртки и белоснежные рубашки, шляпы украшены перьями. «Хоры песенников, то есть гребцы и полковой хор, то сменялись, то пели вместе, а музыканты играли в промежутке. Шампанское лилось рекой... громогласное „ура“ ежеминутно раздавалось» (М. И. Пыляев. «Забытое прошлое окрестностей Петербурга»).

Обычно команда суденышка состояла из двенадцати гребцов и музыкантов. Владельцем этой праздничной флотилии было Адмиралтейство. С открытием судоходного сезона жизнь в городе заметно оживлялась. Лодок на реках и каналах Петербурга было не меньше, чем экипажей на улицах. Рыбаки предлагали свой улов: невских лососей, стерлядь, угрей. А те, кто хотел устриц и прочих диковинок, отправлялись на Биржевую набережную. Там у пристани продавалась снедь, доставленная в Петербург морем.

Неподалеку от Стрелки Васильевского острова, возле Академии художеств или у Синего моста на Мойке можно было увидеть немало любопытного. В этих местах собирались люди, желавшие найти работу, и наниматели. Кого здесь только не было: садовники, кучера, няньки, лакеи, мастера со всех концов империи. Здесь же шла торговля всякой всячиной. Вот мужик остановился возле попугая; птица стоит сто рублей — цена неслыханная!

— Да за что же так дорого?

Продавец объясняет, что попугай умный и ученый, умеет говорить.

На следующий день мужик пришел с огромным петухом и встал рядом с продавцом попугая. На вопросы любопытных он отвечал, что цена петуху тоже сто рублей.

— Неужели твой петух говорит?

— Нет, но он тоже очень умный — все время что-то думает.

Такие истории становились городскими анекдотами.

По традиции в дни царских торжеств на площадь перед Зимним дворцом выставляли туши жареных быков и бочонки с вином для угощения народа. Праздничное веселье простонародья вызывало у придворных, наблюдавших за ним из Зимнего дворца, немало смеха. Любимым зрелищем горожан были торжественные выезды царской семьи. На них сбегалось смотреть множество людей. Когда льстецы указали на такую толпу во время выезда Екатерины II, она проницательно заметила: «На медведя еще больше собирается поглазеть». Действительно, «медвежий театр» — древнее и любимое зрелище на Руси. Дрессировка медведей была традиционным промыслом крестьян Сергачевского уезда Нижегородской губернии. Они в основном и были артистами, приводившими медведей в столицу. Вот отрывки из объявления о предстоящей «медвежьей забаве» в «Санкт-Петербургских ведомостях». Заметьте, с каким вдохновением пишет о ней журналист: «Привели крестьяне в город двух больших медведей отменной величины, которых они искусством своим сделали столь ручными и послушными, что многие вещи те (медведи. — *Е. И.*) по приказанию исполняют, а именно: 1) встают на дыбы, присутствующим в землю кланяются и не встают, пока им приказа не будет; 2) показывают, как хмель пьется; 3) на задних лапах танцуют и подражают судьям, как те сидят за судейским столом; 4) берут палку и маршируют, подражая солдатам; 5) ходят как карлы и престарелые и как хромые ногу таскают; 6) как сельские девы смотрят в зеркало и прикрываются от своих женихов; 7) допускают каждого на себя садиться и ездить без малейшего сопротивления; 8) подают шляпу хозяину и барабан, когда козой играет (в маске козы. — *Е. И.*)».

В объявлении перечислено двадцать два цирковых номера. А «хозяин при каждом из действий сказывает замысловатые поговорки, которые тем приятней и смешней, чем больше сельской простоты в себе заключают. Все вышеупомянутое показано будет в праздничные дни в карусельном месте, что против церкви Николая Чудотворца».

Во время гуляний на святках ряженые в медвежьих шкурах исполняли номера из этих представлений. О другой медвежьей забаве сообщал И. Г. Георги: «А летом бывает по воскресеньям при Егерском дворе травля медведей. Медведи привязаны на длинные веревки, и вокруг стоящие зрители за небольшую плату травят на них собак своих». Он же описывал зимние развлечения петербуржцев на льду Невы и ее берегах: «Здесь недалеко от Зимнего дворца постраивали ежегодно две публичные горы на Неве. Сие увеселение так нравится народу, что и простые женщины, и молодые люди лучшего состояния в нем участвуют. Некоторые столь искусны, что спускаются с горы без санок на ногах или на коньках. Нева почти покрыта вокруг гор людьми, каретами и санями, ибо большая часть жителей приезжает туда, чтобы увидеть оное».

Напротив Академии наук на Неве зимой устраивались конные бега, собиравшие множество зрителей. Особенно весело бывало в городе на Святки и на Масленицу. «Ледяные горы во время Масленицы в Петербурге строили обыкновенно на Охте, на Крестовском острове и на Неве, перед дворцом... Простой народ катался с них на лубках, ледянках и на санях... Вокруг невских гор строились сараи, в которых показывали разных животных, давалась кукольная комедия, китайские тени, плясали на канате и т. д.», — писал М. И. Пыляев в книге «Старый Петербург». Богатые люди устраивали целые санные поезда для прогулок. К большим саням, запряженным тройкой лошадей, прицеплялся десяток санок, куда садились поодиночке, и тройка мчалась по вечерним улицам и паркам. Или «...учреждались парадные катания в санях... Лошади были под фартуками, украшались перьями, и араб или егерь позади держал зажженный факел. Такой щегольской поезд тянулся цугом и заезжал к знакомым, где пили чай, ужинали» (М. И. Пыляев). Зимой по городу ездили не только на лошадях, можно было встретить сани, запряженные северными оленями.

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз.

(А. С. Пушкин. «Медный всадник»)

Традиции праздничных гуляний в Петербурге оставались неизменными почти до конца XIX века. «Направо от Дворцовой площади начинается бульвар, отделяющий Адмиралтейство. На этой площади строились на Масленицу и Пасху балаганы, карусели и зимой ледяные горы. Все это представляло чрезвычайно оживленный и оригинальный вид. Голоса сбитенщиков, торговцев разными сластями, звуки шарманок, громогласные нараспев шутки раешников и хохот толпы в ответ на эти выходки, визг с высоты каруселей сливались в нестройный, но веселый хор. Представления в некоторых балаганах, например Легата и Лемана, отличались роскошью обстановки. В некоторых из них ставились специально написанные патриотические пьесы с эволюциями и ружейной пальбой. Гуляющие на балаганах с любопытством ждали проезда „институток“ (воспитанниц Института благородных девиц. — *Е. И.*). Их обвозили вокруг площади в придворных каретах с лакеями в красных ливреях... Окружающая кареты мужская молодежь громко расточала комплименты, сердившие хмурых классных дам...

Перед Гостиным двором между зданием и тротуаром устраивается пестрый торг игрушками, сластями и предметами домашнего употребления. Любимым развлечением для детей служат длинные узкие стеклянные трубки с водой и стеклянным чертиком внутри, который опускается при давлении на пробку», — писал А. Ф. Кони в книге «Петербург. Воспоминания старожила».

Весной и летом любимой забавой горожан становились качели. Они были самые разные: круглые (карусели), подвесные, маховые. За два столетия вкусы не изменились: и сейчас качели и карусели — самые популярные аттракционы в городских парках. «Качели — употребительное увеселение всякого звания народа, однако преимущественно забавляется ими народ в „светлую неделю“. Стро-

ятся качели в разных местах города, преимущественно же на Исаакиевской площади, — повествовал И. Г. Георги. — Эти роды качелей также в Персии и других восточных странах употребляются. От веселости народа происходят иногда шум и ссоры. В таких случаях с помощью везде расставленных пожарных труб обливают полицейские толпу водою, тем оканчивая ссору».

В конце весны приходило время прекрасных белых ночей, покрывались зеленью сады и парки. Любимыми местами гуляний петербуржцев становились Летний сад и набережные Невы.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...

(А. С. Пушкин. «Медный всадник»)

С конца XVIII века императорский Летний сад открыт для горожан. В обычные дни в саду немноголюдно, толпы гуляющих заполняют его по воскресеньям и праздникам. «В сад во всякое время дозволено входить всем порядочно одетым людям, чем пользуются многие особы, которые пьют соки», — писал Георги. С восемнадцатым столетием ушли в прошлое придворные празднества в Летнем саду и многотысячные пиры для народа, которые давали здесь столичные богачи. Летний сад, с разросшимися деревьями, тихими аллеями и лужайками, обретает элегическую красоту. Садовая скульптура уже не шокирует ценителей искусства и блюстителей нравственности, эти статуи — неотъемлемая часть сада. Правда, время и северный климат постепенно разрушают мрамор, и «мраморная ринопластика, — по замечанию М. И. Пыляева, — уже подделала статуям новые носы».

В погожие дни в Летнем саду можно видеть одну и ту же картину: «До 10 часов утра встречаются здесь одни немощные, прогуливающиеся по предписанию врачей. От 10 до 12 бархатные лужки покрываются группами детей, прекрасных, как Рубенсовы и Рафаэлевы ангелы, резвящихся под надзором миловидных нянюшек и кормилиц. В два часа пополудни сцена переменяется, и большая аллея представляет прелести и великолепие под другим видом. Это час предобеденного гуляния петербургских красавиц. В 8 часов мастеровые и рабочие люди часто отдыхают здесь от трудов своих», — писал П. П. Свиньин в книге «Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей».

Живописна светская публика, появляющаяся в саду после полудня, когда «уменьшается число гувернеров, педагогов и детей; они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами» (Н. В. Гоголь. «Невский проспект»). Светские франты, перенявшие стиль и манеры английских денди (эта мода пришла в Россию в 1810-е годы), держатся подчеркнуто холодно и равнодушно. Гвардейские офицеры в ярких, нарядных мундирах, напротив, привлекают внимание громким говором и картинностью поз. Состав совершающих послеобеденный моцион постоянен. Среди них есть люди, при виде которых знакомые спешат скрыться.

Один из них — граф Д. И. Хвостов, известный в свете и в литературе. Он ежедневно выходит на прогулку в сопровождении двух гайдуков. Карманы Хвостова и гайдуков оттопырены: в них стихи графа. Он всюду ищет слушателей. «Придворный чин, родство с Суворовым, большое состояние, все это высоко ценилось; при этом поэзия его шла даром: никто не обращал на нее внимания. А в ней-то и видел он надежды на будущее свое величие... Всю долголетнюю жизнь свою просуетился, промучился он напрасно только из того, чтобы его похвалили; желание это обратилось у него в болезнь, в чесотку, в бешенство», — писал о нем в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель.

Граф Хвостов писал оды и басни, воспевал добродетель и бичевал пороки, но его неуклюжие сочинения вызывали у читателей и собратьев по литературе лишь смех. Знамениты были его строки: «В болоте родился великий Ломоносов» или:

Лисянские и Пашков там
Мешают странствовать ушам —

о концерте, на котором пели сестры Лисянские и Пашков, — и многие другие.

Несчастный стихотворец стоически переносил насмешки и унижения, издавал и сам скупал собрания своих сочинений — и, видимо, в награду за смирение его мечта войти в историю исполнилась. Имя Хвостова стало нарицательным, мы встречаем упоминания о нем у Пушкина, Жуковского, Вяземского, Карамзина и других знаменитых современников.

В будние дни в Летнем саду можно найти покой и уединение. В 1834 году Пушкин писал жене: «Летний сад мой огород. Я, вставши ото сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома».

В праздники в Летнем саду всегда многолюдно: «Ежегодно в Духов день бывает в саду сем большое гулянье. Тогда собирается сюда почти весь город, а особливо русское купечество и мещанство в праздничных богатых нарядах. Также во все лето по воскресеньям бывает здесь много гуляющих после обеда. Жаль, что отменена роговая музыка, которая прежде играла здесь по праздникам и более всего привлекала народ», — рассказывал П. П. Свиньин в «Достопамятностях Санктпетербурга и его окрестностей». Он описал и ежегодные смотрины купеческих невест, происходившие в Летнем саду с начала XIX века: «Перед Петровым постом было еще гулянье в том же саду, называемое купеческий смотр... В сей день собираются обыкновенно все русские девушки из купечества и мещанства, придерживающиеся еще русских старинных обычаев, и становятся с матерями своими по обеим сторонам большой аллеи в шеренгу; а молодые женихи ходят по аллеям — для выбора суженой».

Этот обычай существовал довольно долго. В 40-е годы немецкий путешественник писал о нем: «Смотрины невест происходят вяло, после них заключают мало браков, и унылые девушки стоят из года в год разряженные под статуей Цереры, предлагая, как мраморная богиня, рог изобилия со своими добродетелями и нежностями: однако недаром хитрый Меркурий нашел здесь место, бросая взоры не на деревья и цветы, а на дома, фабрики и акции. Бедные девушки!»

В первой трети XIX века столица продолжала расти и украшаться. В 1810-е годы сложился ансамбль Стрелки Васильевского острова гавани Петербурга, со зданием Биржи и Ростральными колоннами-маяками (архитектор Ж. Тома де Томон). Здание Биржи на высоком цоколе, с дорическими колоннами стилизовано архитектором под античный храм. Ее фасад украсили скульптурные группы: Нептун с двумя реками — Невой и Волховом, и Навигация с Меркурием и двумя реками.

На Невском проспекте в 1811 году закончено строительство Казанского собора (архитектор А. Н. Воронихин). Проект Воронихина был утвержден Павлом I, который пожелал, чтобы собор был похож на собор Св. Петра в Риме. Колоннада со стороны Невского проспекта полукольцом охватывает площадь перед ним. Главная святыня собора — икона Казанской Божией Матери, со времен Ивана Грозного считавшаяся покровительницей русских царей. Чудотворная икона была украшена золотой ризой и множеством драгоценных камней. После войны 1812 года собор стал и мемориалом военной русской славы: в 1813 году в нем был похоронен полководец Кутузов. В соборе хранились знамена и ключи от городов, освобожденных русской армией. В 1837 году перед ним были поставлены памятники полководцам войны 1812 года М. Б. Барклаю-де-Толли и М. И. Кутузову.

В 1829 году сложился архитектурный ансамбль Дворцовой площади: ее полукругом охватило здание Главного штаба (архитектор К. И. Росси), украшенное аркой с триумфальной колесницей в память о победе в войне

1812 года. В 1834 году на Дворцовой площади установили Александровскую колонну (архитектор О. Монферран) из темно-красного гранита. Ее увенчала фигура ангела (скульптор Б. И. Орловский). Этот величественный памятник тоже посвящен победе над Наполеоном. «Дворцовая площадь... не создана в одном стиле, однако ее дворцы, мощная арка Генерального штаба... гранитная колонна с ангелом, грозно указующим на небо, ее широкие перспективы на Мойку, на сады, за которыми темнеет громада Исаакия... и, наконец, выход к Неве и очертания островов с их строениями — все это составляет одно художественное целое, один несравненный архитектурный аккорд», — писал Н. П. Анциферов в книге «Душа Петербурга».

В 1806—1823 годах перестраивалось Адмиралтейство: расположенное неподалеку от Зимнего дворца, оно должно было иметь более парадный вид. Рвы, окружавшие Адмиралтейство, засыпали, валы снесли, а на их месте заложили бульвар. Автор реконструкции Адмиралтейства архитектор А. Д. Захаров сохранил его прежнюю планировку и старые каменные стены здания, пристроив к ним портики; а верфи разместились во внутренних корпусах Адмиралтейства. Фасады здания были богато украшены, его увенчала башня с золоченым шпилем.

В первой четверти XIX века многочисленные дворцы, сады, широкие улицы и проспекты центральной части города благодаря созданию новых архитектурных ансамблей соединились, наконец, в единую гармоническую панораму. И петербуржцы уже не только сравнивали свой город с прославленными европейскими столицами, но и утверждали его преимущество перед ними. К. Н. Батюшков в 1814 году в очерке «Прогулка в Академию художеств» вдохновенно описывал Петербург: «„Надобно видеть древние столицы: ветхий Париж, закопченный Лондон, чтобы почувствовать цену Петербурга. Смотрите, какое единство! как все части отвечают целому! какая красота зданий... и какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип,

вязов и дубов! Какая легкость и стройность в ее рисунке!.. Взгляните теперь на набережную, на сии огромные дворцы — один другого величественнее! на сии домы — один другого красивее! Посмотрите на Васильевский остров, образующий треугольник, украшенный биржею, ростральными колоннами и гранитною набережною, с прекрасными спусками и лестницами к воде. Как величественна и красива эта часть города!.. Теперь, от биржи, с каким удовольствием взор мой следует вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух набережных, единственных в мире!“ — „Так, мой друг, — воскликнул я, — сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие — в одно столетие!“»

А за два года до этого, летом 1812 года, знаменитая французская писательница Жермена де Сталь любовалась панорамой невских берегов с иным чувством: «С глубокой скорбью смотрела я на прекрасный город Петербург, которым скоро завладеет неприятель, и, когда вечером возвращалась с островов и видела золоченый шпиль на крепости, сверкавший в воздухе подобно огненному лучу, в то время как Нева отражала мраморные набережные и окружающие ее дворцы, я представляла себе все эти чудесные творения померкнувшими от высокомерия властелина, готового сказать, подобно сатане на вершине горы: „Царства земные принадлежат мне“. Все прекрасное в Петербурге казалось мне близким к грядущему разрушению, и я не могла наслаждаться этой картиной без чувства скорби».

Баронесса де Сталь, непримиримая противница Наполеона, была изгнана из Франции. Главный вопрос, волновавший ее в России, — сможет ли эта страна отразить нападение Наполеона? Многое из увиденного в Петербурге тревожило ее: «Я не замечала народного воодушевления; непостоянство характера у русских мешало мне наблюдать его... До возбуждения у простого народа царило непонятное равнодушие; но когда народ пробудился, перестали существовать для него все преграды и опасности...»

Жизнь петербургского света представлялась ей сплошным праздником: казалось, эти люди не думали о приближавшейся опасности. «Но между тем неудачи следовали одна за другой, а общество не было о них осведомлено. Один остроумный человек сказал, что в Петербурге все скрывают, хотя ничто уже не было тайною, а на самом деле правду все предчувствовали (но по привычке молчали)... Один иностранец открыл мне, что Смоленск уже взят и Москва находится в величайшей опасности. Мною овладело уныние».

На самом деле настроение в Петербурге не было столь беспечным. Возможность захвата столицы казалась вполне реальной, поэтому решено было вывезти из нее все наиболее ценное на север и северо-восток, в отдаленные области. После взятия Наполеоном Москвы началась эвакуация собрания Публичной библиотеки, готовились к переезду правительственные учреждения.

Жермена де Сталь вспоминала: «Известие о вступлении французов в Смоленск прибыло во время переговоров шведского принца с русским императором. Здесь они обязались никогда не подписывать мира. „Если Петербург будет взят, — сказал Александр, — отступим в Сибирь. Там я восстановлю древние обычаи, и по примеру наших длиннобородых предков мы вернемся снова завоевать царство“» («1812 год. Баронесса де Сталь в России»). Эти слова императора должны были нравиться тем, кто представлял русских варварами, почти дикарями. «Древние обычаи», «длиннобородые предки», отступление в Сибирь — все эти перлы красноречия были куда легковеснее того, что происходило в сердцах русских. 6 июля 1812 года в Петербурге обнародован манифест о созыве народного ополчения. Газеты публиковали длинные списки тех, кто жертвовал деньги для «образования ополчения Санкт-Петербургской губернии». Богатые дворяне снаряжали на свои средства полки, люди малого достатка, даже крепостные, вносили посильную лепту.

«...В продолжение этой войны можно было заметить, какие добродетели выказали люди даже из круга придворных. В бытность мою в Петербурге в обществе почти не видно было молодых людей — все ушли в армию: женатые, единственные сыновья, господа, владельцы огромного состояния служили простыми добровольцами...» («1812 год. Баронесса де Сталь в России»). В армию стремились совсем молодые люди, которых не брали по возрасту. Шестнадцатилетний Никита Муравьев, сын сенатора, тайно бежал из дому, решив убить Наполеона. Крестьяне задержали мальчика, который по-французски говорил лучше, чем по-русски, приняв его за французского шпиона. По счастью, его выручил московский губернатор Ф. В. Ростопчин, и родители согласились отпустить его в армию. Н. М. Муравьев, будущий декабрист, сражался в битвах при Дрездене и Лейпциге, вошел в Париж, а затем «с новым удовольствием увидел Петербург».

В августе 1812 года в Петербурге провожали М. И. Кутузова, назначенного главнокомандующим русской армией. «Мне довелось видеть князя накануне его отъезда, — писала Ж. де Сталь. — Это был старец весьма любезный в обращении... Глядя на него, я боялась, что он не в силе будет бороться с людьми суровыми и молодыми, устремившимися на Россию со всех концов Европы... Перед отъездом Кутузов отправился помолиться в церковь Казанской Божией Матери, и весь народ, следовавший за ним, громко называл его спасителем России... Его годы не позволяли ему надеяться пережить труды похода; однако в жизни человека бывают минуты, когда он готов пожертвовать жизнью во имя духовных благ».

В октябре 1812 года русские войска разбили французский корпус маршала Удино, шедший к Петербургу. Почти в то же время французы оставили Москву. Опасность для столицы миновала. А в июле 1813 года город погрузился в траур: умер фельдмаршал Кутузов. Его похоронили в соборе Казанской Божией Матери. «Народ еще у Нарвской заставы выпряг лошадей и вез траурную колесницу до Казанского собора. Все невольно утирали слезы. Улицы усыпаны были зеленью и цветами», — вспоминал актер В. А. Каратыгин.

В 1814 году союзные войска вошли в Париж. В Петербурге после получения этого известия «иллюминация была отменная. Жители старались осветить дома свои с велико-

лепием и вкусом. Во многих местах играла музыка. Во все три вечера иллюминация продолжалась за полночь, и публика в несчетном количестве забавлялась этим величественным зрелищем», — писала газета «Северная почта». В театрах шли патриотические пьесы; по свидетельству В. А. Каратыгина, героические монологи на сцене однажды вызвали такой восторг, «что театр задрожал от рукоплесканий, зрители вскочили с мест, закричали „ура“, махали платками, и несколько минут актер не мог продолжать монолога».

В 1814 году победоносная армия возвратилась в Петербург. Город готовился к торжественной встрече: на Петергофской дороге, по которой должна пройти гвардия, была возведена триумфальная арка — Нарвские ворота. Первоначально они были деревянными, в 1827—1833 годах их перестроили в камне. Множество народа выехало встречать гвардию за городскую заставу. Наконец, войска появились у Нарвских ворот. Тогда произошла сцена, запомнившаяся многим: «...Показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались: но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого царя», — вспоминал сорок лет спустя И. Д. Якушкин, участник военной кампании 1812—1814 годов, декабрист, отбывший каторгу и ссылку в Сибири.

Молодежь, вернувшаяся с войны, была воодушевлена победой и гордостью за свой народ, а в России все оставалось по-старому. «В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решавшие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь невыносимо было смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед» (И. Д. Якушкин. «Записки»).

Первая четверть XIX века — замечательная пора в жизни Петербурга. «Дней Александровых прекрасное начало», война с Наполеоном знаменовали приход нового столетия — и новой эпохи. Молодежь остро чувствовала разлад с прошлым, отжившим. Среди военных и статских, богатых аристократов и обедневших дворян появлялись, по выражению А. И. Герцена, «всходы другой России, не той, на которую весь свет падал из замерзших окон Зимнего дворца».

Смена царствований означала смену поколений. Молодежи 1810—1820-х годов правление Павла представлялось чредой мрачных анекдотов (лучше всего помнили его убийство), а царствование Екатерины II — далеким прошлым. Екатерининские вельможи казались тенями этого прошлого. А между тем Платону Зубову, фавориту Екатерины, в 1812 году исполнилось всего сорок пять лет. Герой Отечественной войны генерал П. П. Коновницын старше Зубова, генералы Н. Н. Раевский и Д. П. Неверовский — немногим моложе его, однако в глазах молодежи они люди нового времени, в отличие от Зубовых и Орловых.

Конечно, нравы не очень изменились, придворное искательство, страсть к чинам остались те же, но в начале царствования Александра I для успешной карьеры требовались широкая образованность и известная самостоятельность суждений. Во второй половине 1810-х годов «люди, возвращающиеся в С.-Петербург после нескольких лет отсутствия, выражали свое изумление при виде перемены, происшедшей во всем укладе жизни, в речах и даже поступках молодежи этой столицы: она как будто пробудилась к новой жизни, вдохновляясь всем, что было самого благородного и чистого в нравственной и политической атмосфере. Особенно гвардейские офицеры обращали на себя внимание свободой своих суждений и смелостью, с которой они высказывали их, весьма мало заботясь о том, говорили ли они в публичном месте или в частной гостиной, слушали ли их сторонники или противники их воззрений. Никто не думал о шпионах, которые были в ту эпоху почти неизвестны», — писал декабрист Н. И. Тургенев в своих мемуарах «Россия и русские».

«Все стали стремиться к чему-то высшему, достойному, благородному. Молодежь много читала, стали в полках заводить библиотеки... Жадное до образования юношество толпилось в залах на публичных курсах, в особенности у Г. Р. Державина, где происходили чтения любителей российской словесности и где читали Крылов, Гнедич... С трудом доставались билеты, а в охотниках просвещения недостатка не было», — вспоминал декабрист Н. И. Лорер. Это было время общего интереса к литературе и отечественной истории. Появление каждого нового тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина становилось значительным событием, тем более, что до этого русское общество было плохо знакомо с отечественной историей.

Литературные собрания, полемика живо интересовали людей, далеких от словесности. Поэзии придавали значение особое, на поэтическое слово возлагались чуть ли не политические надежды. Крамольные стихи молодого Пушкина были известны всей образованной России[1].

В 1811 году в Петербурге начались заседания Общества любителей русского слова, которые вели А. С. Шишков и Г. Р. Державин. Полемика «Беседы» с новыми литературными направлениями приобретала общественный резонанс. «Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что „Беседа“ составилась единственно с целью возвратить ему его чистоту и непорочность.

Маститый Державин... для заседаний „Беседы“ отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке... Чтобы придать собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, статс-дамы — в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах... Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением», — вспоминал в «Записках» Ф. Ф. Вигель.

В противовес «Беседе» в 1815 году в Петербурге образуется Общество арзамасских безвестных литераторов, или «Арзамас». Само его название вызывало улыбку, а «...благодаря неистощимым затеям Жуковского (секретаря общества. — *Е. И.*) „Арзамас“ сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ... — писал Вигель. — Кому в России не известна слава гусей арзамасских? Эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества».

Почетные члены «Арзамаса» именовались «почетными гусями»; для приема в общество был разработан специальный шуточный ритуал. Самым молодым «арзамасцем» был Александр Пушкин, принятый в общество в 1817 году, после выпуска из Лицея и переезда в Петербург. «На выпуск Пушкина смотрели члены „Арзамаса“ как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, воспреемник его в „Арзамасе“, казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне (Ф. Ф. Вигелю. — *Е. И.*) довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата».

Однако дружной семье «Арзамаса» был сужден недолгий век — слишком разные люди собрались под его кровом. Некоторое время ничто не нарушало гармонии: литературные взгляды арзамасцев были сходны, а прочих

[1] Нечто подобное происходило в 60-е гг. нашего века во времена хрущевской «оттепели». Стихи Е. Евтушенко, Р. Рождественского публиковались в газете «Правда», ходили в списках. На молодых поэтов, особенно на Евтушенко, возлагались какие-то особые гражданские надежды.

предметов они касались мало. Но русское общество все более политизировалось, и сходства литературных вкусов для единства уже недоставало. Это становилось все очевиднее.

В апреле 1817 года в «Арзамасе» появился новый член — Михаил Федорович Орлов. Он был человеком известным: в 1814 году двадцатишестилетний генерал Орлов принимал капитуляцию Парижа. Но мало кто знал, что в том же году он стал одним из создателей тайного политического общества «Орден русских рыцарей», позже входил в Союз спасения и Союз благоденствия[1].

В традиционной речи, которую полагалось произнести каждому вступавшему в «Арзамас», Орлов предложил целую программу действий: «Показалось Орлову, что свободная стихия достаточно наполняет „Арзамас“, чтобы сделаться в нем преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление... Дабы дать занятие уму каждого, предложил он завести журнал, коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действий общества, он находил необходимым и умножить число его членов... предлагал... учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного», — писал Ф. Ф. Вигель.

Д. Н. Блудов ответил Орлову от имени арзамасцев вежливой отповедью. Но с этого времени существование общества стало клониться к закату, а в 1818 году его заседания прекратились, поскольку «...неистощимая веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов; тем же, кто шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто политическим вопросам» (Ф. Ф. Вигель). Однако вопросы эти так или иначе вставали перед каждым — и бывшие арзамасцы по-разному ответили на них:

[1] Союз спасения (1816—1817) и Союз благоденствия (1818—1821) — тайные политические общества, объединявшие будущих декабристов; после роспуска Союза благоденствия ряд его членов образовали Северное и Южное общества.

А. С. Пушкин — в 1820 году сослан за политические стихи;

Н. И. Тургенев — с 1818 года член Союза благоденствия, в 1824 году покинул Россию, по делу декабристов заочно приговорен к пожизненной каторге;

Д. Н. Блудов — министр внутренних дел при Николае I, в 1826 году — член Верховного суда по делу декабристов;

С. С. Уваров — министр просвещения при Николае I (вернее, гонитель просвещения, поскольку усматривал в нем опасность вольнодумства);

Ф. Ф. Вигель — глава Департамента иностранных вероисповеданий при Николае I; в 1836 году после публикации «Философического письма» П. Я. Чаадаева в журнале «Телескоп» написал на Чаадаева донос.

В. А. Жуковскому, далекому от всяких крайностей, много пришлось заниматься «вопросами политическими»: ходатайствовать за Пушкина, Н. И. Тургенева, В. К. Кюхельбекера... Всю жизнь он за кого-нибудь вступался, помогал, поддерживал.

Но были в Петербурге литературные кружки и собрания, в которых о политике говорили больше, чем о поэзии. На Екатерингофском проспекте жил сын «петербургского Креза» камер-юнкер Никита Всеволожский, театрал и светский повеса. В его доме устраивались пирушки, кутежи золотой молодежи. Однако в 1819—1820 годах у Всеволожского бывали и другие собрания: литературного общества «Зеленая лампа», в которое входили поэты А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, Н. И. Гнедич, Ф. Н. Глинка и поклонники поэзии, большей частью офицеры гвардейских полков. Многие участники собраний «Зеленой лампы» были членами Союза благоденствия. В кабинете Всеволожского, при свете зеленой лампы, шли беседы о политике, истории, литературе, о том, что волновало Петербург в то время:

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.

(А. С. Пушкин. «В. В. Энгельгардту»)

В начале двадцатых годов на «русских завтраках» у К. Ф. Рылеева «...собирались многие литераторы и члены нашего Общества (Северного общества декабристов. — *Е. И.*). Завтрак неизменно состоял: из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба... Я очень любил эти завтраки и, как только была возможность, я спешил отдохнуть там душою и сердцем, в дружной семье литераторов и поэтов, от убийственной шагистики, поглощавшей все мое утро до вечера.

Особенно врезался у меня в памяти один из них, на котором, в числе многих писателей, были Дельвиг, Ф. Глинка, Гнедич, Грибоедов и другие... Помню, как зашла речь о Жуковском и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере... Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма», — вспоминал декабрист М. А. Бестужев.

Итак, будущие враги и сподвижники императора Николая Павловича увлекались литературой; гвардейские офицеры стремились, по свидетельству декабриста С. П. Трубецкого, к «познаниям в науках, имеющих целью усовершенствование гражданского быта государства». Александр I, узнав о том, что офицеры одного из полков пригласили профессора политической экономии прочесть им курс, потребовал сведений о них «...и по хорошим о них отзывам нашел очень странным это необыкновенное явление и несколько раз повторил слова: „Это странно! Очень странно! Отчего они вздумали учиться!“» (С. П. Трубецкой. «Записки»).

А чем же увлекался великий князь Николай Павлович, который через несколько лет одних казнит, других возвысит — и до конца дней не сможет без гнева вспоминать о начале своего царствования? Им в Петербурге интересовались мало — никто не предполагал, что он станет императором. Александру сорок с небольшим лет; после его смерти власть унаследует цесаревич Константин, а младшие братья — Николай и Михаил Павловичи,

если и дождутся престола, то очень не скоро. Лучше всего этих великих князей знали — и не любили — в гвардии. Они были грубы и ограниченны, а их привычки напоминали о времени царствования их отца, императора Павла: «Оба великие князя, Николай и Михаил, получили бригады и тут же стали прилагать к делу вошедший в моду педантизм. В городе они ловили офицеров; за малейшее отступление от формы одежды, за надетую не по форме шляпу сажали на гауптвахты; по ночам посещали караульни и, если находили офицеров спящими, строго с них взыскивали... По целым дням по Петербургу шагали полки то на ученье, то с ученья, барабанный бой раздавался с раннего утра до поздней ночи...

Оба великих князя друг перед другом соперничали в ученье и мученье солдат. Великий князь Николай даже по вечерам требовал к себе во дворец команды человек по 40 старых ефрейторов; там зажигались свечи, люстры, лампы, и его высочество изволил заниматься ружейными приемами и маршировкой по гладко натертому паркету. Не раз случалось, что великая княгиня Александра Федоровна в угоду своему супругу становилась на правый фланг с боку какого-нибудь тринадцативершкового усача-гренадера и маршировала, вытягивая носки», — писал в мемуарах «Записки моего времени» декабрист Н. И. Лорер.

Грубость Николая, его страсть к муштре раздражали и вызывали общее пренебрежение, но кто мог предвидеть, что Россия тридцать лет будет маршировать по его команде? Пока он лишь бригадный командир, и ему случается встречать отпор подчиненных. Однажды во время ученья раздраженный Николай схватил офицера за ворот мундира. Тот обернулся и сказал: «Ваше Высочество, у меня в руке шпага». Николай отступил.

У светской молодежи конца 1810-х — начала 1820-х годов вошло в моду стремление к оригинальности, даже экстравагантности. Романтический «разлад с миром» отнюдь не означал их реального отдаления от общества: светские денди, с их меланхолической скукой и томной разочарованностью, неизменно являлись на балы и рауты. Возможно, они были бы оригинальны, не будь их десятки:

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже Демоном моим.

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»)

Но в Петербурге находилось немало людей, которым не было нужды оригинальничать, — яркие, незаурядные личности. Таким был военный генерал-губернатор столицы граф М. А. Милорадович: любимый сподвижник Суворова, герой войны 1812 года, по словам А. И. Герцена, «...храбрый, блестящий, лихой, беззаботный, десять раз выкупленный Александром I из долгов, волокита, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управляющий несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона».

В 1820 году Пушкину грозила ссылка за политические стихи; по слухам, обсуждая это, император упомянул о Сибири. Дело Пушкина поручено было разобрать генерал-губернатору Милорадовичу. Встревоженный поэт обратился за советом к Ф. Н. Глинке, близкому к Милорадовичу человеку. Глинка вспоминал: «...Я сказал ему: „Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и в рыцарских его выходках много романтизма и поэзии... Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности“».

Через несколько часов Глинка пришел к генерал-губернатору: «Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, укутанный дорогими шалями, закричал мне навстречу: „Знаешь, душа моя!.. У меня сейчас был Пушкин! Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги, но я счел более деликатным пригласить его к себе... Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и, когда я спросил о бумагах, он отвечал: „Граф! все мои бумаги сожжены!.. Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною... с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем“.

Пушкин заполнил стихами целую тетрадь; назавтра Милорадович отправился с этой тетрадью к императору: „Я вошел к государю со своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!» ...Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно, и наконец спросил: «А что ж ты сделал с автором?» — «Я?.. Я объявил ему от имени Вашего Величества прощение!»... Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал: «Не рано ли?» Потом, еще подумав, прибавил: «Ну, коли так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу... и, с соблюдением возможной благовидности, отправить на службу на Юг»“».

Рыцарственный Милорадович 14 декабря 1825 года подъехал к восставшим полкам и обратился к солдатам. Видя, что слова его производят на солдат сильное впечатление, отставной поручик П. Г. Каховский выстрелом смертельно ранил его. Адъютант Милорадовича А. П. Башуцкий хотел отнести раненого в один из ближайших домов, чтобы ему оказали помощь. В мемуарах Н. С. Голицына приведен рассказ Башуцкого о последних часах жизни Милорадовича: «Вдруг я чувствую, что Милорадович правою рукою дернул меня за аксельбант и слабым голосом спросил: „Куда несете меня?“ — „На квартиру генерала Орлова“, — отвечал я. — „Я еще не умер, слушайтесь меня: не хочу я туда; в казармы, сударь, на солдатскую койку, на ней хочу я умереть“.

Тогда я повернул направо в первые ворота казарм, и мы понесли раненого по лестнице наверх, внесли в комнату квартиры ротмистра Игнатьева и положили на диван... Вскоре собрались люди его и врачи, и в главе последних доктор Арендт (Н. Ф. Арендт оказывал помощь Пушкину после дуэли с Дантесом. — *Е. И.*), совершавший с Милорадовичем походы 1812, 1813 и 1814 гг. Он и другие врачи долго и мучительно для раненого искали пулю и наконец извлекли ее. Милорадович потребовал, чтобы ее подали ему, осмотрел ее, перекрестился и сказал: „Слава Богу! Это не солдатская!“» Утром 15 декабря Мило-

радович умер. Он погребен в Александро-Невской лавре, в церкви Сошествия Св. Духа, «в нескольких шагах от могилы Суворова, столь любившего и уважавшего Милорадовича» (Н. С. Голицын. «Записки»).

Там же, в церкви Сошествия Св. Духа, похоронена еще одна замечательная личность той эпохи — княгиня Евдокия Ивановна Голицына. На ее надгробье было написано: «Прошу православных русских и проходящих здесь помолиться за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего, для сохранения духа русского».

Среди великосветских салонов Петербурга салон Е. И. Голицыной был одним из самых примечательных. «Дом ее был артистически украшен кистью лучших современных художников. Во всем открывалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать — в этой храмине, тем более, что хозяйку можно было признать жрицею какого-то чистого и высокого служения. Вся обстановка ее, туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то таинственное, не обыденное, не завсегдашнее», — вспоминал П. А. Вяземский. Голицыну называли Пифией и «ночной княгиней»; последнее оттого, что известная гадалка Ленорман предсказала ей, что она умрет ночью. Княгине не хотелось умереть во сне, и она поменяла день с ночью. Гости собирались в ее доме к полуночи и разъезжались на рассвете.

Евдокия Голицына была страстной патриоткой. Патриотизм свой она подчеркивала иногда довольно экстравагантно: знаменито было ее появление на балу в Благородном собрании в русском наряде, в сарафане и кокошнике. Красавицу-княгиню всегда окружали поклонники — в их числе Карамзин, М. Ф. Орлов, Вяземский, Пушкин.

Чужих краев неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?

Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

(А. С. Пушкин. 1817)

Е. И. Голицына намного пережила свою блистательную эпоху. «Неподражательная странность», пленительная для людей 1810—1820-х годов, в николаевскую пору вызывала подозрение и внимание тайной полиции. По донесению Третьего отделения, «княгиня Голицына, жительствующая в собственном доме... которая, как уже по известности, имеет обыкновение спать днем, а ночью занимается компаниями, — и такое употребление времени относится к большому подозрению, ибо бывают в сие время особенные занятия какими-то тайными делами». Воистину

...посредственность одна
Нам по плечу и не странна.

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»)

В старости Голицына стала очень религиозной; жила она по большей части в Париже, увлекалась философией, математикой. Ее смерти в петербургском обществе почти не заметили. Но память о ней сохранилась благодаря мемуарам, посвящениям, стихам, обращенным к ней, «обворожительной, как свобода», — как сказал о ней П. А. Вяземский.

7 ноября 1824 года вошло в хронику Петербурга как день бедствия: город пережил самое сильное в XIX столетии наводнение. Накануне вечером поднялся сильный ветер, ночью разразилась гроза. На башне Адмиралтейства были зажжены сигнальные огни, предупреждающие об опасности: пушки Галерной гавани и Петропавловской

крепости стреляли, оповещая о наводнении. Горожане мирно спали. К десяти часам утра на набережной собрались толпы.

Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась...

(А. С. Пушкин. «Медный всадник»)

В то время, когда в центре города зеваки еще толпились на набережных, селения на побережье Финского залива и на островах в дельте Невы уже были затоплены. Многие дома обрушились, люди пытались спастись на крышах домов, на самодельных плотах, бревнах, воротах... Е. Ф. Комаровский, член правительственного комитета помощи пострадавшим от наводнения, вспоминал: «На четвертой версте, по Петергофской дороге, находился казенный литейный чугунный завод; оный стоял на самом взморье; деревянные казармы были построены для жительства рабочих людей, принадлежавших заводу. В 9 часов утра... ударили в колокол, чтобы распустить с работы людей: все бросились к своим жилищам, но было уже поздно, вода с такой скоростью прибыла, что сим несчастным невозможно было достигнуть казарм, где находились их жены и дети; и вдруг большую часть сих жилищ понесло в море».

К полудню вода хлынула через парапеты набережных и залила город. Напор ее был так велик, что из уличных люков над подземными трубами забили фонтаны. Жители бросились на верхние этажи домов. Застигнутые потоками воды на улицах, люди влезали на фонари, деревья, на крыши карет, плывущих по улицам. На площади возле Зимнего дворца под небом, почти черным, кружились в воздухе листы железа с крыши Главного штаба.

«Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невою составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничкова дворца. Мойка, подобно всем каналам, скрылась от взоров и соединилась с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова, мебель. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах» (М. И. Пыляев. «Старый Петербург»).

Летний сад был завален дровами и бревнами; наплавные мосты через Неву сорваны и разметаны на части. Вода повредила даже гранитную набережную — камни парапетов оказались сдвинутыми или опрокинутыми. Множество судов, стоявших на Неве, разбушевавшаяся река выбросила на улицы Петербурга: «По линиям Васильевского острова всюду были разметаны барки с дровами и угольями; к балкону одного дома пристали два больших транспортных судна... У Троицкой церкви стояло несколько барок с огромным грузом. По улицам Адмиралтейской части плавали могильные кресты, занесенные с кладбища», — писал Пыляев.

Волны бились о стены Зимнего дворца, каменных домов на набережной и прилегавших улицах. Ужасным было положение жильцов нижних этажей: вода залила их квартиры, испортила или унесла имущество. Но сами они все же могли спастись на верхних этажах. Главная опасность грозила тем, кто жил в деревянных домах на взморье, на Васильевском острове, на Петербургской стороне. Там погибло много людей: «Известно, что на Петербургской стороне все почти обывательские дома деревянные и в один этаж, кроме Большого проспекта. Во всех сих домах ветром разбило стекла, а вода разрушила печи... Там многие ветхие дома совсем были снесены. Жителей, по самым верным сведениям, погибло на Петербургской стороне до девяноста душ», — писал Е. Ф. Комаровский.

Наводнение в городе началось около полудня, а к двум часам дня были организованы спасательные работы. Руководил ими генерал-губернатор Милорадович. Как всегда во время серьезных испытаний, нашлось немало самоотверженных людей: они на лодках, шлюпках, катерах

спасали терпящих бедствие. Среди них мы находим знакомые имена: «Генерал Бенкендорф сам перешел через набережную, где вода доходила ему до плеч, сел не без труда в катер, которым командовал мичман гвардейского экипажа Беляев, и при опаснейшем плавании, продолжавшемся до трех часов ночи, успел спасти множество людей», — сообщает М. И. Пыляев. Конечно, доблестный Бенкендорф (в будущем глава тайной полиции) не один спасал тонущих: не меньшую отвагу проявили матросы и командир катера мичман Беляев. В эти часы все они одинаково рисковали и действовали сообща. Через год с небольшим эти люди встретятся по крайней мере еще раз и тоже при чрезвычайных обстоятельствах, но уже как противники. 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь выйдут солдаты и офицеры Гвардейского экипажа, в их числе два брата — мичманы Александр и Петр Беляевы. Позже им не раз придется отвечать на вопросы члена Следственной комиссии А. Х. Бенкендорфа.

Но вернемся к рассказу о наводнении. Во время него было немало случаев чудесного спасения — в книге «Старый Петербург» Пыляев приводит целый ряд таких историй. Случались и комические коллизии. Одна из них описана в «Семейной хронике» А. Кочубея: «Наводнение увеличивалось, на Большой Морской показалась шлюпка, в которой плыл военный генерал-губернатор граф Милорадович. По поводу этой шлюпки случился анекдот с графом В. Толстым, жившим на Большой Морской. Он имел привычку вставать очень поздно. В это утро, поднявшись, он, еще полузаспанный, подошел к окну, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, была шлюпка с сидящим в ней Милорадовичем. Он изумился и испугался; протирая глаза, начал звать камердинера. Тот прибежал, и граф, указывая на окно, спросил его: „Что ты видишь?“ — „Генерал-губернатор едет на шлюпке“, — ответил тот. Толстой перекрестился и сказал: „Ну, слава Богу, а я думал, что я сошел с ума“».

К ночи вода начала спадать. На следующий день во всех частях города начали работать комитеты помощи пострадавшим. Государство выделило для раздачи пострадавшим от наводнения миллион рублей; а вместе с частными пожертвованиями сумма составила четыре миллиона. Во время этого бедствия погибло около пятисот человек, огромное число людей осталось без крова. В городских частях были открыты временные приюты, госпитали, бесплатные столовые; людям раздавали теплую одежду, обувь, все необходимое на первое время.

Воспоминание о бедствии 7 ноября 1824 года надолго сохранилось в памяти горожан, а благодаря пушкинскому «Медному всаднику» вошло в национальную память. Наводнение в Петербурге — явление нередкое, но нашествие стихии такой же разрушительной мощи, как в 1824 году, город пережил лишь столетие спустя, в 1924 году.

Как-то в разговоре Н. М. Карамзина с Н. И. Тургеневым были сказаны знаменательные слова. В ответ на карамзинское: «Мне хочется только, чтобы Россия подоле стояла» Тургенев спросил: «Да что прибыли в таком стоянии?» Вопрос старый как мир: так некогда пророки вопрошали Бога о смысле существования и предназначении народа. Для революционеров всех времен это вопрос риторический, с известным ответом: «Прибыли нет, надобно все переставить».

История декабристского движения в общих чертах известна читателю, и мы не станем углубляться в нее. Попробуем рассказать о событиях 14 декабря 1825 года как об одном из эпизодов жизни Петербурга. Это день чрезвычайных событий: впервые в городе произошло вооруженное восстание; гарнизон столицы разделился на два лагеря, одни гвардейские части атаковали другие; на Сенатской площади, на Галерной улице, на льду Невы погибли сотни солдат и горожан. Движение, которому за несколько лет до этого сочувствовала и была сопричастна либеральная часть русского общества, завершилось катастрофой 14 декабря, западней на Сенатской площади.

27 ноября 1825 года в Петербург из Таганрога пришло известие — умер Александр I. В тот же день Государственный совет, Сенат, а затем войска, все чины и сословия столицы принесли присягу новому императору — Кон-

стантину Павловичу. Константин еще в 1822 году отказался от права на российский престол, и Александр I в 1823 году подписал манифест о переходе права наследования к следующему брату — Николаю. Но, видимо, императорская фамилия полагала, что это — дело семейное, и акт об отречении Константина сохранялся в тайне. Поэтому, хотя в Государственном совете было зачитано духовное завещание покойного императора о передаче престола Николаю, это не могло отменить традиционного правила престолонаследия (по закону император не имел права завещать власть кому-либо по своему усмотрению). После присяги в Петербурге ждали приезда нового императора (Константин, наместник в Польше, жил в Варшаве), а Николай Павлович — его манифеста с отречением от престола. Константин медлил и с тем, и с другим, замкнулся в Варшаве и не принимал посланцев из столицы. Вероятно, искушение властью было сильно: три года назад он отказался от нее, а теперь откладывал формальное отречение.

Этот неожиданный период междуцарствования (27 ноября — 13 декабря) и подтолкнул тайное общество к решительным действиям, хотя «столица, где должно было все решиться, заключала в себе небольшое число членов. Прочие были рассеяны по всему пространству обширнейшей Российской империи... Несмотря на то, обстоятельства показались такими благоприятными, что оно решилось испытать свои силы и подвергнуться всем личным бедствиям, в которые неудача должна была погрузить их. Они давно уже обрекли себя служению Отечеству и презрели страх бесславия и позорной смерти» (С. П. Трубецкой. «Записки»).

Спустя полтора с лишним столетия мы можем оценить дальновидность их цели: «они всем сердцем и всею душою желали: поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных Французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущности» (С. П. Трубецкой). Для понимания этой опасности не надо было обладать особой прозорливостью:

в памяти старшего поколения сохранились ужасы Французской революции и зверства пугачевщины.

Между тем положение законного наследника престола — Николая оставалось сложным и неопределенным. 3 декабря в Петербург доставили письмо Константина об отречении, но «Константин Павлович не сделал никакого ответа, который бы мог послужить доказательством для народа, что он добровольно отказывается от престола и уступает его ближайшему по себе наследнику. Говорили, что ответ, которым он предоставлял престол на волю желающего, был написан в самых неприличных выражениях... Должны были удовлетвориться напечатанием писем Константина Павловича об отречении покойному императору, писанных в 1822 году», — вспоминал С. П. Трубецкой. Новая присяга, на этот раз императору Николаю I, была назначена на 14 декабря. А. Е. Розен в «Записках декабриста» рассказывал: «12 декабря вечером я был приглашен на совещание к Рылееву и князю Оболенскому; там застал я главных участников 14 декабря. Постановлено было в день, назначенный для новой присяги, собраться на Сенатской площади, вести туда сколько возможно будет войска под предлогом поддержания прав Константина... Если главная сила будет на нашей стороне, то объявить престол упраздненным и ввести немедленно временное правление из пяти человек по выбору Государственного совета и Сената... В случае достаточного числа войска положено было занять дворец, главные правительственные места, банки и почтамт для избежания всяких беспорядков. В случае малочисленности военной силы и неудачи надлежало отступить к Новгородским военным поселениям. Принятые меры к восстанию были неточны и неопределительны».

Авантюрность этого плана очевидна, но это еще не значило, что он был обречен на провал. Сколько переворотов совершалось под лозунгами, не совпадающими с их истинными целями! Как принято в подобных предприятиях, в первую очередь положено занять Зимний дворец, банки, почтамт. Отступать к военным поселениям в случае неудачи решено потому, что восставшие рассчитывали

найти там поддержку: страшные условия жизни в этих поселениях приводили к частым бунтам. Спустя несколько лет после событий на Сенатской площади, в 1831 году, военные поселения Новгородской губернии охватило восстание, которое подавляли при помощи армии.

События на Сенатской площади могли сложиться поразному, замыслы и действия декабристов могли вызвать самые непредвиденные последствия, положить начало смуте. «В случае даже совершенной удачи невозможно было предвидеть, к какому концу это приведет; и нельзя было надеяться, чтоб порядок и спокойствие сохранились в государстве», — признавал С. П. Трубецкой. 16 декабря Константин писал одному из своих приверженцев в Петербурге: «Долг верноподданного есть слепое и безмолвное повиновение к высшей власти». А за несколько дней до этого, 12 декабря, на собрании у Рылеева «...все из присутствующих были готовы действовать, все были восторженны, все надеялись на успех, и только один из всех поразил меня совершенным самоотвержением...

— Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды.

Еще сейчас слышу звуки, интонацию — все-таки надо, — то сказал мне Кондратий Федорович Рылеев», — вспоминал А. Е. Розен.

Смутно и странно начинался этот день. И император, и заговорщики имели все основания для тревоги: Николай слишком хорошо знал, что у него мало безусловных, надежных сторонников, а члены тайного общества решили выступить, хотя «декабря 12-го поутру собрались депутаты от полков к Оболенскому. На вопрос его: сколько каждый из них уверен вывести на Сенатскую площадь, они все отвечали, что „не могут поручиться ни за одного человека“» (И. Д. Якушкин. «Четырнадцатое декабря»).

Ранним утром 14 декабря войска начали присягать на верность новому императору. И вновь разгорелись страсти: Николай или Константин? Полковые командиры зачитали офицерам отречение Константина и манифест Николая. В Московском полку, как и в других, готовились

к присяге: «Александр Бестужев отправился один в казармы Московского полка, где все было уже готово к присяге: на дворе были выставлены знамена и налои. Бестужев пробежал прямо в роту своего брата (поручика Михаила Бестужева. — *Е. И.*), которая уже была в сборе, и начал уверять солдат, что их обманывают, что цесаревич никогда не отрекался от престола и скоро будет в Петербурге, что он его адъютант и отправлен им нарочно вперед и т. д.» (И. Д. Якушкин). «Не хотим Николая — ура, Константин!» — отвечали солдаты.

Улицы Петербурга заполнены горожанами, взволнованными, чего-то ждущими. Н. С. Голицын вспоминал: «...я, увидав множество народа у главных ворот Зимнего дворца, пошел туда. Я прибыл в то самое время, когда император Николай Павлович, верхом на лошади, объявил народу об отречении в его пользу великого князя Константина Павловича от престола и о своем вступлении на престол. Стоя в задних рядах народной толпы, неистово кричавшей „ура!“ и бросавшей шапки вверх, я не мог расслышать слов государя».

А неподалеку, на других площадях и улицах, тоже толпы и крики. Сохранился рассказ старика-полицейского, записанный в 1860-е годы литератором Н. А. Благовещенским («Из воспоминаний петербургского старожила»). В 1825 году этот человек служил помощником квартального надзирателя в Адмиралтейской части. Его простодушное повествование сохранило штрихи, позволяющие лучше представить происходившее в тот день: «Иду, я, братец ты мой, утром в квартал (полицейский участок. — *Е. И.*), это 14 декабря... Смотрю я: народ это ходит. Ну что же? пусть его ходит... Пришел я в квартал... Вдруг слышим на улице крик. Говорят, что идут толпы разного звания людей и все кричат. Вот мы и вышли. Слышим, кричат: „Константина! Константина!“»

Воздух этого дня пронизан лихорадочным возбуждением, каким-то увлечением — оно захватывает многих. Солдатам довольно нескольких слов, приказа младшего офицера, чтобы выйти на площадь: «Приехавши в казармы и узнавши, что лейб-гренадеры присягнули Николаю

Павловичу и люди были распущены обедать, они (декабристы А. И. Одоевский и П. П. Коновницын. — *Е. И.*) пришли к Сутгофу с упреком, что он не привел свою роту на сборное место, тогда как Московский полк давно уже там. Сутгоф, прежде про это ничего не знавший, без дальних слов отправился в свою роту и приказал людям надеть перевязи и портупеи и взять ружья; люди повиновались, патроны были тут же розданы, и вся рота, беспрепятственно вышедши из казарм, отправилась к Сенату. В это время случившийся тут батальонный адъютант Панов бросился в остальные семь рот и убеждал солдат не отставать от роты Сутгофа: все семь рот, как по волшебному мановению, схватили ружья, разобрали патроны и хлынули из казарм. Панова, который был небольшого роста, люди вынесли на руках...

Почти в одно самое время с происшествием в лейб-гренадерских казармах происходило подобное в Гвардейском экипаже... Все его (начальника бригады. — *Е. И.*) убеждения оказались тщетными: офицеры сказали ему решительно, что они не присягнут, и сошли к солдатам, их ожидавшим. Лейтенант Кюхельбекер закричал: „Ребята, вперед, наших бьют!“... и весь экипаж двинулся, как одна душа» (И. Д. Якушкин).

Все планы декабристов, составленные накануне восстания, сбивались и рушились с первых шагов. Чего стоит, например, «поход» поручика Н. Панова и его лейб-гвардейцев на Сенатскую площадь! М. А. Бестужев писал в воспоминаниях «Мои тюрьмы»: «Панов повел их через крепость, в это время он мог бы овладеть ею, и, вышедши на Дворцовую набережную, повернул было во дворец, но тут кто-то сказал ему, что товарищи его не здесь, а у Сената, и что во дворце стоит саперный баталион. Панов пошел далее по набережной, потом повернул налево и, вышедши на Дворцовую площадь, пошел мимо стоявших тут орудий, которые, как говорили после, он мог бы захватить». Этот «кто-то», сказавший поручику Панову, где стоят его товарищи, был, очевидно, император Николай.

О действиях Панова и его солдат вспоминал и автор «Записок декабриста» А. Е. Розен: «Перебежав через

Неву, они вошли во внутренний двор Зимнего дворца, где уже стоял полковник Геруа с батальоном гвардейских саперов. Комендант Башуцкий похвалил усердие гренадер на защиту престола, но люди, заметив свою ошибку, закричали: „Не наши!“ — и, повернув полукружием около двора, прошли мимо государя, спросившего их: „Куда вы? если за меня, так направо, если нет, так налево!“ Кто-то ответил: „Налево!“ — и все побежали на Сенатскую площадь врассыпную и были помещены внутри каре Московского полка». Итак, несколько сотен лейб-гвардейцев со своими командирами на пути могли исполнить важнейшие задачи плана декабристов: от захвата Петропавловской крепости — до захвата или убийства императора (возможность этого обсуждалась накануне восстания, но на сей счет не было единодушия). Вместо этого они слепо рвались на Сенатскую площадь, минуя все, в том числе и пушки, из которых по ним станут стрелять через несколько часов.

Образ Петербурга — города, в котором скрытые силы могут закружить, обольстить, погубить человека, — хорошо известен в русской литературе. Он даже стал расхожим штампом, но имеет ли он отношение к реальности? Очевидно, имеет: люди, наделенные обостренной чуткостью, описывали эту реальность на ином, более глубоком уровне.

Как же описать 14 декабря на Сенатской площади? Множество свидетельств, исследований подробно воспроизводят ход событий, но объясняют отнюдь не все. А главное, за событиями проступает сюжет, который сродни скорее прозе Гоголя, а не многотомным исследованиям: «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот... Как странно играет нами судьба наша! Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте...» (Н. В. Гоголь. «Невский проспект»). И случившееся 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, добавим мы.

На площади выяснилось, что не все участники восстания в сборе. Ждали С. П. Трубецкого, диктатора восстания, но его все не было. Зато в рядах правительственных войск, окруживших мятежные полки, оказалось немало офицеров, принадлежавших к тайному обществу. Так, перед каре Преображенского полка, в котором находился император Николай, стояли орудия под прикрытием взвода кавалергардов под командой поручика И. А. Анненкова. Анненков — член Северного общества (вероятно, читателю памятна романтическая история его брака с Полиной Гебль).

Итак, одних членов тайного общества на площади нет, другие, по неведению или нерешительности, оказались в стане противника. Видно, 14 декабря суждено стать днем трагической путаницы: неожиданно мятежный дух овладевает людьми, до сих пор о бунте не помышлявшими. «Граф Грабя-Горский, поляк с георгиевским крестом, когда-то лихой артиллерист, потом вице-губернатор, а в то время находясь в отставке, был известен как отъявленный ростовщик. Он не принадлежал к Тайному обществу и даже ни с кем из членов не был близок. Проходя через площадь после присяги в мундире и в шляпе с плюмажем, по врожденной ли удали или по какому особенному ощущению в эту минуту, он стал проповедовать толпе и возбуждать ее; толпа его слушала и готова была ему повиноваться. В это время тысячи народа толпились около набережной Исаакиевского собора и по другим местам площади. Командир гвардейского корпуса Воинов... приехал верхом на Сенатскую площадь, но не мог добраться до солдат Московского полка; народ, возбужденный Грабя-Горским, разобрал дрова, сложенные у Исаакиевского собора, и принял корпусного командира в поленья», — вспоминал И. Д. Якушкин.

Пылкий Грабя-Горский и толпа действовали решительно и споро, а в стане декабристов растерянность — нет руководителя восстания. «Предложили Булатову: он отказался; предложили Н. А. Бестужеву I: он, как моряк, отказался; навязали, наконец, начальство князю Е. П. Оболенскому, не как тактику, а как офицеру, известному и любимому солдатами. Было в полном смысле безначалие: без всяких распоряжений — командовали, все чего-то ожидали...» (А. Е. Розен).

Заметим — те, кто готовил восстание и вышел на площадь, отнюдь не были неопытными юнцами или трусами: среди них были люди, прославившиеся решительностью и отвагой. Полковники С. П. Трубецкой и А. М. Булатов героически сражались во время Отечественной войны 1812 года; о храбрости капитана А. И. Якубовича ходили легенды; да и другие декабристы были людьми мужественными. Но в этот день многих из них словно подменили — они вели себя несообразно своему характеру и прошлому. Храбрец Якубович действовал по меньшей мере двусмысленно: на площади он покинул товарищей, сославшись на головную боль, а затем «подошел к государю и просил позволения обратить нас на путь законности, — писал М. А. Бестужев. — Государь согласился. Он, привязав белый платок на свою саблю, быстро приблизился к каре и, сказав вполголоса Кюхельбекеру (Михайле):

— Держитесь, вас крепко боятся, — удалился».

Зато Вильгельм Кюхельбекер, лицейский «Кюхля», по свидетельству И. Д. Якушкина, самый беззлобный и «благонамеренный из смертных, но вместе с тем самый неловкий в своих движениях, расхаживал с огромным пистолетом». В эти часы он проявил совершенно не свойственную ему грозную решимость: «Великий князь Михаил Павлович... с самоотвержением подъехал к каре, стал уговаривать солдат и едва не сделался жертвой своей смелости. В. К. Кюхельбекер, видя, что великому князю может удаться отклонить солдат, уже прицелил в него пистолетом; Петр Бестужев отвел его руку, пистолет дал осечку; князь должен был удалиться», — читаем мы в «Записках декабриста» А. Е. Розена.

Стрелять? Не стрелять? Ведь если вооруженное восстание, стрелять непременно надо. А когда противник переходит в атаку, и сомневаться нечего. Но и здесь в действиях декабристов разнобой. Около половины второго пополудни конногвардейцы несколько раз атаковали каре Московского полка. Солдаты Московского полка

встречали их ружейным огнем, из толпы летели камни — и конногвардейцы отступали. «После отражения третьей атаки конногвардейцы проскакали к Сенату, и, когда начали выстраиваться во фронт, солдаты моего фаса, полагая, что они хотят атаковать с этой стороны, мгновенно приложились и хотели дать залп, который, вероятно, положил бы всех без исключения. Я (М. А. Бестужев. — *Е. И.*), забывая опасность, выбежал перед фас и скомандовал: „Отставь!“ Солдаты опустили ружья...»

Из воспоминаний А. Е. Розена: «На Адмиралтейском бульваре, в двадцати шагах от императора, стоял полковник Булатов... Он имел два пистолета заряженных за пазухой с твердым намерением лишить его жизни: но рука невидимая удерживала его руку... Этот смелый воин, когда государь при личном допросе изъявил ему удивление свое, что видел его в числе мятежников, ответил откровенно: „Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от Вашего Величества с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас; но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало“». Что это — слабость? трусость? Но полковник Булатов ни до, ни после этих событий трусом не был. О воле этого человека свидетельствует его страшная смерть. В Петропавловской крепости «чрез несколько недель Булатов уморил себя голодом, выдержав ужасную борьбу: имея пред собой хорошую и вкусную пищу, он сгрыз ногти своих пальцев и сосал кровь свою».

Только отставной поручик П. Г. Каховский действовал в этот день последовательно и четко, словно хорошо отлаженный механизм. И. Д. Якушкин писал, что «Каховский прежде еще дал слово Рылееву, если Николай Павлович выедет пред войска, нанести ему удар; но Александр Бестужев после, наедине с Каховским, уговорил его не пытаться исполнить данное им обещание Рылееву. Переговоры эти между Каховским и Рылеевым, а потом между Бестужевым и Каховским были совершенно неизвестны прочим членам».

Император «пред войска» не выезжал, но военный генерал-губернатор Милорадович вплотную подъехал к восставшим и обратился к солдатам.

«...Милорадович был в нескольких шагах от них и начал уже приготовленную на случай речь. Тут Каховский выстрелил в него из пистолета, пуля попала ему в живот» (И. Д. Якушкин). По словам Якушкина, Н. К. Стюллер, полковой командир лейб-гренадеров, весь путь до Сенатской «шел со своим полком и не переставал уговаривать солдат вернуться в казармы; когда лейб-гренадеры поравнялись с Московским полком, Каховский выстрелил в Стюллера и смертельно его ранил».

Несколько раненых, неудачные атаки конногвардейцев, попытку уговорить солдат вернуться в казармы — после этого действия на Сенатской замерли. Войска императора взяли мятежные полки в полукольцо, толпы народа обступили площадь. Многие горожане вообще не понимали, что происходит, полагая, что это смотр, парад или учение... Не один час длилось странное противостояние, стояние на месте. М. А. Бестужев вспоминал: «День был сумрачный — ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму с 5 часов утра, стояли на площади уже более 7 часов. Со всех сторон мы были окружены войсками — без главного начальства (потому что диктатор Трубецкой не являлся), без артиллерии, без кавалерии, словом, лишенные всех моральных и физических опор для поддержания храбрости солдат».

«Всего было на Сенатской площади в рядах восстания больше 2000 солдат (на самом деле больше трех тысяч. — *Е. И.*). Эта сила в руках одного начальника, в виду собравшегося тысячами вокруг народа, готового действовать, могла бы все решить, и тем легче, что при наступательном действии много батальонов пристали бы к возмутившимся, которые при 10-градусном морозе, выпадавшем снеге с восточным резким ветром, в одних мундирах ограничивались страдательным положением и грелись только неумолкаемыми возгласами „ура!“» (А. Е. Розен)... Как это Александр Иванович Тургенев спросил: «Да что прибыли в таком стоянии?»

Это оцепенение, страдательное бездействие восставших непонятно. Был же план, пусть наспех выработанный, но был; большая часть декабристов на площади — воен-

ные, офицеры. О чем они думали в эти часы? Н. А. Бестужев в воспоминаниях «14 декабря 1825 года» писал: «Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден наполовину». Император тоже ждал, тоже не мог решиться на последнюю меру. Кажется, расслабляющее время этого дня длится бесконечно, ни одна чаша весов еще не перетягивает другую. Декабристам «через народ беспрестанно передавались обещания солдат полков Преображенского, Павловского и Семеновского по наступлению ночи присоединиться к войскам, стоявшим на Сенатской площади» (И. Д. Якушкин). Наконец, генерал Толь решился сказать императору: «Ваше Величество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь от престола». Наступали сумерки, и обеим сторонам было ясно, что медлить больше нельзя. «Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек», — вспоминал Н. А. Бестужев.

«Великое стояние» на Сенатской закончилось. Последние секунды промедления после команды императора: «Первая!», подхваченной командиром орудия Бакуниным: «Пли!», фейерверкер растерянно сказал: «Ваше благородие! Свои!» Бакунин оттолкнул его и сам поднес фитиль к пушке. «...Картечь из орудия посыпалась градом в густое каре. Восстание разбежалось по Галерной улице и по Неве к Академии. Пушки двинулись впереди и дали другой залп картечью, одни — по Галерной, другие — поперек Невы. От вторичного, совершенно напрасного залпа картечью учетверилось число убитых, виновных и невиновных, солдат и народа, особенно по узкому дефиле или ущелью Галерной улицы... Особенно в батальоне Гвардейского экипажа легли целые ряды солдат», — писал А. Е. Розен.

Залп картечи не только решил судьбу восстания — он стал началом массового убийства, расстрела правых и виноватых; картечь била в каре декабристов и в толпы горожан. «Боже ты мой, что тут такое поднялось! Весь этот народ разом вскрикнул; раздался визг, стон, такой вопль, что и в жизнь свою больше не слышал... Тут мать потеряла дитя; там младенца выбили из рук и растоптали. Все кричат, бегут и ничего не помнят» («Из воспоминаний петербургского старожила»). Все, наконец, определилось: есть бегущие и преследователи; военный автоматизм исключил сомнения.

Семеновский полк, солдаты которого собирались присоединиться к восставшим ночью, открыли батальонный огонь. Немногие, кого не сразила картечь на Галерной улице, добежали по ней до первого перекрестка — и попали под огонь Павловского гренадерского полка. Большая часть декабристов оказалась в потоке бегущих. Но некоторые из них под обстрелом обрели хладнокровие и решимость. Поручик М. А. Бестужев построил своих солдат в колонну на невском льду, чтобы вести их к Петропавловской крепости и занять ее. Но лед стал проламываться под артиллерийским обстрелом, и многие солдаты утонули. Добравшись с остатками Московского полка до Академии художеств, он приказал солдатам разойтись и прежде, чем скрыться самому, выполнил то, что предписано воинским этикетом в случае поражения: «Я подошел к знаменщику, обнял его, промолвив:

— Скажи своим товарищам московцам, что я, в лице твоем, прощаюсь навсегда с ними. Ты же отнеси и вручи знамя вот этому офицеру, который скачет впереди; этим ты оградишь себя от наказания.

Я еще постоял некоторое время, видел, как на половине площади Румянцева знаменщик подошел к офицеру, отдавая знамя, и как тот рубанул его с плеча. Знаменщик упал... Я забыл фамилию этого презренного героя, но помнится... он, повергая к ногам императора отбитое им

с боя знамя, получил Владимира с бантом за храбрость!!!» (М. А. Бестужев. «Мои тюрьмы)».

Декабристы на площади медлили и ни на что не решались; их противники теперь решительно и поспешно делали карьеру. Лейтенант Михаил Кюхельбекер не бежал с Сенатской — он сложил оружие согласно правилам офицерской чести. Кюхельбекер, по словам А. Е. Розена, «подошел к генералу Мартынову, чтобы через него передать свою саблю великому князю Михаилу... В это время наскочил на него полковник пионерного эскадрона Засс с поднятою саблей, что заставило генерала Мартынова остановить его порыв и сказать ему: „Ай да храбрый полковник Засс! Вы видели, что он вручил мне свою полусаблю!“».

Среди странностей этого дня была еще одна, о которой стоит упомянуть: несмотря на то, что декабристы стояли в первых рядах, в центре каре, ни один из них не был ранен или убит, а на Сенатской 14 декабря погибло около тысячи человек.

Ночью Петербург выглядел как город, захваченный после сражения. Повсюду конные и пешие патрули, к месту сбора вели первых пленных: лейб-гренадеров, солдат Московского полка, матросов Гвардейского экипажа... Сенатская площадь превращена в бивуак победителей. «Странно оживленную картину представляла площадь эта. Она была местами освещена пылающими кострами, у которых грелись артиллеристы и солдаты. Сквозь дым и мерцание пламени то показывались, то скрывались блестящие жерла пушек, поставленных на всех выходах главных улиц на площадь... Внутри этого заветного круга, где за несколько часов решилась участь царя и России, рабочий люд деятельно хлопотал смыть и уничтожить все следы беззаконной попытки неразумных людей, мечтавших хоть немного облегчить тяжесть их горькой судьбины. Одни скоблили красный снег, другие посыпали вымытые и выскобленные места белым снегом, остальные убирали тела убитых и свозили их на реку», — вспоминал М. А. Бестужев.

Среди описаний побоища один эпизод поражает символической выразительностью: «Сенат тогда был не тот, что вот теперь стоит, а старый, и были там сделаны этакие весы правосудия... Так народ забрался туда, братец ты мой, чтобы лучше видеть. Так там смотришь: ноги висят, а верхней части туловища нет. Страх просто!» («Из воспоминаний петербургского старожила»). Чаши весов правосудия уравновесились: обе они заполнились трупами...

В эту же ночь начались аресты — сначала тех, кто был на площади, затем других членов тайного общества. «Все нижние чины, схваченные на месте битвы, были заключены в Петропавловской крепости. Все прочие лица приводились во дворец, и новый император сам всех допрашивал», — писал С. П. Трубецкой. Число арестованных все увеличивалось, их привозили в Петербург со всех концов Российской империи. Среди них были люди, входившие в Союз спасения и Союз благоденствия, а затем отошедшие от политических дел; и те, кто в какой-то степени были причастны к тайным обществам.

У императора достало дальновидности не распутывать клубок до конца, не увеличивать число подследственных — более того, значительная часть их была освобождена за недостаточностью улик или «заслужила забвение кратковременностью заблуждения, извиняемого отменной их молодостью». Он не ошибся: среди тех, кто в тот момент оказался на подозрении или под следствием, находились его будущие министры, генералы, сановники.

К следствию по делу декабристов привлечено 579 человек, осужден 121. В первые недели казематы Петропавловской крепости, гауптвахты Зимнего дворца и Генерального штаба до отказа заполнились арестованными. И кто же они, эти заговорщики и мятежники? Люди из лучших семейств, аристократы, военные в чинах, цвет петербургской молодежи! Общество в смятении, каждый день называют новые имена. «Как? И этот?» «И этот тоже?» Нет, мир решительно сошел с ума!

В начале января 1826 года декабриста А. Е. Розена доставили из Зимнего дворца в Петропавловскую крепость.

Он вспоминал: «В Комендантском доме застал я четырех офицеров: лейб-гвардии Измайловского полка Андреева, князя Вадбольского, Миллера и Малютина. Через полчаса вошел комендант на деревянной ноге, генерал-адъютант Сукин, прочел пакеты, поданные фельдъегерем, и объявил нам, что по высочайшему повелению приказано держать нас под арестом. В этой же комнате с нами стоял пожилой мужчина с проседью, в статском сюртуке, с анненским крестом, украшенным бриллиантами, на шее. Комендант обратился к нему, узнал его и воскликнул с укором: „Как! и ты здесь по этому делу с этими господами?“ — „Нет, ваше превосходительство, я под следствием за растрату строительного леса и корабельных снарядов“. — „Ну, так слава Богу, любезный племянник“, — сказал комендант и родственно пожал руку честного чиновника».

Спокойнее становится на душе, что не все основы разрушены — хоть что-то в отечестве осталось незыблемым.

В событиях 14 декабря в Петербурге существенно не только то, что в этот день происходило на Сенатской, но и последствия, реакция общества. Александр Блок скажет: «...Пушкина... убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха». Этот исчезающий воздух еще был на Сенатской, где завершалась целая эпоха нашей истории. Она началась со времен екатерининского либерализма, была овеяна славой победы 1812 года — эпоха расцвета культуры, общественной жизни, давшая столько ярких, сильных, незаурядных людей.

Гибнет Милорадович — славный воин старшего поколения, обречена золотая, в подлинном смысле этого слова, молодежь — достаточно вспомнить Муравьевых, Бестужевых. Битва проиграна — и, как водится, появляются мародеры. Одни тащат по мелочам: у князя С. П. Трубецкого, заключенного под арест в Зимнем дворце, крадут шубу. Полицейский с командой солдат несколько дней ждет на квартире князя А. И. Одоевского, чтобы арестовать его. Рассказ полицейского подкупает своим простодушием. Ему приглянулись ботфорты Одоевского: «Такие чудесные ботфорты. Ночью даже во сне приснились... Утром, братец ты мой, не утерпел я, затворил хорошенько двери и потихоньку снял ботфорты с колодок и примерил. Фу ты, пропасть! точно как будто на меня шиты... Ну, думаю, чего же зевать? Ведь Авдуевскому (Одоевскому. — *Е. И.*) их теперь не носить; все равно пропадут, пожалуй, а мне пригодятся! Я их, улучивши удобную минуту, и стащил, да с солдатом домой и послал» («Из воспоминаний петербургского старожила»).

Другая кража, о которой рассказал в «Записках» Н. С. Голицын, куда серьезнее: раненого Милорадовича привезли с Сенатской площади в один из ближних домов, уложили на диван, и адъютант А. П. Башуцкий осторожно раздел его, «...снимая с него мундир с лентою и многочисленными орденами его, которые и сложил в той же комнате. После того в нее входило и выходило в течение дня много людей, конечно, не посторонних и не чужих, но в конце концов ордена пропали! — и так как они нигде и ни у кого не оказались, то, вероятно, были украдены! но кем и как — осталось неизвестным». Бедный Милорадович! Он порадовался, что пуля, поразившая его, не солдатская, но не знал, что еще при жизни все награды его будут украдены каким-то негодяем.

Были мародеры и покрупнее. Князь А. И. Одоевский стал в эти дни жертвой не только кражи (что ботфорты? Бог с ними), но и предательства: «Многие из верноподданных сами спешили привозить к императору ближайших своих родственников, не дожидая, чтоб приказано было их взять. Так, В. С. Ланской не дозволил родному племяннику жены своей, кн. Одоевскому, никакой попытки к избежанию ожидавшей его участи, и, не дав ему ни отдохнуть, ни перекусить, повез во дворец. Супруга Ланского наследовала 2 тыс. душ от кн. Одоевского по произнесении над ним приговора», — вспоминал С. П. Трубецкой.

Еще одну историю долгое время обсуждали в петербургском обществе. В Следственной комиссии особым рвением отличался генерал А. И. Чернышев. Декабрист А. В. Поджио рассказывал о нем в мемуарах: «Нет хит-

рости, нет коварства, нет самой утонченной подлости, прикрытой маской то поддельного участия, то грозного усугубления участи, которых не употреблял бы без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели». Основной его целью была карьера, но открылась и другая ослепительная возможность. Среди арестованных был однофамилец генерала — граф З. Г. Чернышев, один из богатейших людей России. Александр Иванович Чернышев сделал все для того, чтобы представить Захара Григорьевича Чернышева особо опасным государственным преступником, а после его осуждения заявил о своем праве на наследство — на двадцать тысяч крепостных.

Эта история наделала немало шума. Знаменитый генерал А. П. Ермолов заметил в связи с нею, что генерал А. И. Чернышев в своем праве: одежду казненного всегда получал палач. Чернышеву в просьбе было отказано. Декабрист Н. И. Лорер писал в воспоминаниях: «Председатель Государственного совета Николай Семенович Мордвинов отстоял законных, прямых, ближайших родственников и присудил состояние старшей сестре Захара Чернышева... Известная своим влиянием в то время на петербургское общество старуха Наталия Кирилловна Загряжская из дому Разумовских не приняла генерала Чернышева к себе и закрыла для него навсегда свои двери, да и весь Петербург радовался справедливому решению».

Как же общество отнеслось к восстанию декабристов? По свидетельству А. Е. Розена, «действия или действователи 14 декабря обсуждены различным образом: одни — видели в них мечтателей, другие — безумцев, третьи — бранили, называли их обезьянами Запада, четвертые — укоряли их в непомерном честолюбии; иной порицал безусловно, другой жалел; мало кто судил беспристрастно, и то почти тайно, соображаясь с достоинствами отдельной личности и выпуская из виду главную причину и главную цель».

А. С. Грибоедов, некоторое время находившийся под следствием по этому делу, скажет, что «сто прапорщиков хотели перевернуть Россию», а Ф. В. Булгарин донесет,

что среди декабристов были агенты австрийского правительства. «Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: „Ваше Величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!“» (А. Е. Розен). Как и бывает в подобных обстоятельствах, представлен весь спектр общественной реакции: от низости и предательства — до трезвой оценки событий и заступничества (в частности, А. С. Грибоедов не раз будет вступаться за осужденных).

Но не только в событиях 14 декабря, а и в последующем: в приговорах суда и в казни декабристов (13 июля 1826 года) было что-то ирреальное. В приговоре Верховного уголовного суда осужденных разделили на двенадцать разрядов. Собственно судебного разбирательства не было — Верховный суд заочно вынес приговоры по материалам Следственной комиссии, не видя и не выслушав обвиняемых. И что это были за приговоры! Пятеро главных виновников приговорены к четвертованию; следующие, «преступники первого разряда», — к отсечению головы и т. д. «...Каким образом все эти судьи, зародившиеся при Екатерине и возникшие при Александре, не были проникнуты духом кротости этих двух царствований, чтоб так скоро, внезапно отказаться от всего прошедшего и броситься, очертя голову, в пропасть казней и преследований!.. Скажите, где и когда они видели во всю свою долголетнюю жизнь и эти виселицы, и эти каторги в таком числе и в таком размере?» — негодовал декабрист А. В. Поджио.

Редактором «Донесения Верховного уголовного суда» был М. М. Сперанский, либеральнейший советник Александра I, на которого возлагалось в свое время столь много надежд и которого декабристы в случае победы прочили в члены Временного правления — первого правительства нового государства. В докладе Верховного суда, составленном Сперанским, говорилось, что «все подсудимые без изъятия, по точной силе законов наших, подлежат смертной казни». Страшно заглядывать в такие глубины человеческого падения.

Было еще одно странное обстоятельство: целый ряд декабристов оказался осужден Верховным уголовным судом... за цареубийство! «Мне суждено было переходить от удивления к удивлению. Я не знал, что есть суд надо мною — теперь узнал, что он уже и осудил меня... думал, что меня осудят за участие в бунте, — меня осудили за цареубийство. Я готов был спросить: какого царя я убил или хотел убить?» — вспоминал С. П. Трубецкой.

Четвертование, отсечение головы... Да в России уже более полувека не казнили политических преступников! За сто лет до декабристов в Петербурге четвертовали и секли головы, но в сознании дворянства 1820-х годов это отдалено почти так же, как кровавые времена Ивана Грозного!

Император смягчил приговоры: четвертование заменено повешением, отсечение головы — вечной каторгой. В Комендантском доме 12 июля 1826 года осужденным объявили приговоры, а на кронверке Петропавловской крепости уже начались работы — там строили виселицу и эшафот.

Всякая смертная казнь — ужас, но ужас и циническое безобразие казни декабристов поражают воображение. Сооружение виселиц — забытое в России ремесло, а палача пришлось выписывать из-за границы. К. Ф. Рылеева, П. И. Пестеля, П. Г. Каховского, М. П. Бестужева-Рюмина и С. И. Муравьева-Апостола привели к месту казни — но виселица еще не готова, и они ждут. Наконец, петли наброшены, скамьи выбиты из-под ног — и трое из пяти: Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол — срываются в яму под виселицей — веревки не выдержали тяжести их тел и кандалов. Запасных веревок нет, за ними посылают в ближайшие лавки, но ранним утром все они еще заперты, и трое людей, видящие своих повешенных товарищей, стоящие тут же гробы, снова ждут. «Бедная Россия! И повесить-то порядочно не умеют», — произнес Сергей Муравьев-Апостол.

При казни присутствовали военные и полицейские чины, место ее исполнения было оцеплено войсками. Ужас происходящего был непереносим для многих: А. Х. Бенкендорф, чтобы не смотреть, ничком лежал на шее своей лошади, священник П. Н. Мысловский лишился чувств... По неписаной традиции сорвавшихся с виселицы следовало помиловать. Но новый военный генерал-губернатор Петербурга П. В. Голенищев-Кутузов приказал вешать снова. Тела казненных оставались на виселице весь день. Ночью их сняли; по слухам, забросали в гробах негашеной известью и зарыли где-то на острове Голодай. Говорили, что во все время казни на кронверке играла музыка оркестра Павловского полка.

Кажется, в столице наступило затишье. В семьях осужденных траур; готовятся в путь несколько женщин — жены декабристов, получившие разрешение следовать в Сибирь за мужьями.

Есть еще одна странность, связанная с историей декабристов, — слухи. «По городу ходили странные и большей частью нелепые слухи, смущавшие и тревожившие народонаселение столицы, особенно простой народ... Так, например, всюду ежедневно ходили слухи о пороховых подкопах под всеми улицами, по которым должны были везти тело покойного императора (тело императора Александра I было привезено в Петербург в начале марта 1826 года. — *Е. И.*), от заставы до обоих соборов, и под этими последними, подвалы которых будто бы были наполнены бочками с порохом!.. Как ни нелепы были эти слухи, но они легко распространялись в простом народе и держали умы, да и само правительство, в тревоге; со стороны последнего, конечно, были приняты все меры предосторожности и опровержения тревожных слухов» (Н. С. Голицын).

Нам, знающим последующую историю, эти слухи кажутся особенно странными. В феврале — начале марта 1826 года никаких подкопов под улицами и пороха в подвалах Казанского и Петропавловского соборов, конечно, не было. Но слухи 1826 года странным образом предвещали то, что произойдет в Петербурге в 1880—1881 годах.

14 декабря в каре Преображенского полка на Сенатской площади вместе с Николаем I был его семилетний

сын — цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. Люди, которые убьют его 1 марта 1881 года (члены организации «Народная воля»), еще не родились на свет, но они совершат то, о чем сейчас шепчутся в Петербурге. Цареубийцами станут они, а не декабристы, которых казнят, отправят на каторгу за разговоры о цареубийстве, за недонесение о таких разговорах. В 1880 году взрыв потрясет Зимний дворец: динамит в его подвал пронесет народоволец Степан Халтурин. Будет и пороховой подкоп под Малой Садовой улицей в 1881 году... Странная вещь — слухи.

А городское простонародье забывчиво и падко на зрелища: сколько несчастных зевак было побито картечью 14 декабря на Сенатской, но всякое новое происшествие по-прежнему собирает толпы народа. Через несколько месяцев после восстания в Петербурге «...распространился слух, что в такой-то день утром из Казанского собора поведут попа с козлиной бородой! — и в этот день утром вся площадь Казанского собора залилась несметными и густыми толпами народа со всего города: все отовсюду бежали на Казанскую площадь посмотреть попа с козлиной бородой! Долго и тщетно полиция употребляла все меры убеждения народа разойтись, и наконец — прибегла к очень оригинальному способу принуждения к тому, не прибегая к насилию: привезли пожарные трубы с водою — и давай ею с четырех сторон окачивать любопытных! Эти внезапные холодные души миром очистили площадь», — писал Н. С. Голицын. Так — от трагедии к фарсу, что, видно, свойственно жизни.

Время с декабря 1825 по июль 1826 года — словно одна из вершин в истории Петербурга, когда отчетливо просматривалось его прошлое и будущее: жестокость самодержавной власти прошедшего столетия и жестокость революционеров и революции грядущего века.

«Город самовластья»

Важнейшие постройки и благоустройство городского центра. Чудеса прогресса. Холера 1831 года. Пожары. «Русский костюм». Пушкин в Петербурге. Подмостки для императора. Сочинитель Белинский. Опасные мечтатели. Вражеский флот в заливе. Смерть Николая I

> «Я посмотрел на небо и искренно присягнул себе не возвращаться в этот город самовластья голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии...»
>
> *А. И. Герцен. «Былое и думы»*

В 20—30-е годы XIX века Петербург продолжал украшаться, благоустраиваться. К этому времени сложился ансамбль Дворцовой площади в своем нынешнем виде, продолжалось строительство Исаакиевского собора (архитектор О. Монферран), про который горожане говорили, что его сорок лет строили, а потом сорок лет ремонтировали. Началось строительство в 1818 году, а закончилось в 1858-м. Исаакиевский собор — одна из самых грандиозных и дорогих построек Петербурга: его возведение обошлось в двадцать три миллиона рублей. Снаружи его украсили бронзовые барельефы, выполненные на темы евангельских сюжетов и жития Св. Исаакия Далматского, для внутреннего убранства были использованы самые дорогие материалы и самоцветные камни.

Особый интерес в городе вызывала установка колонн из гранитных монолитов вокруг здания. Каждая колонна весила около ста тридцати тонн. «Посредством самого простого механизма огромная масса гранита, скала под прекрасной наружностью, поднята и поставлена на место

в один час. Мы смело можем сказать, что в Европе нет подобных колонн из цельного гранита. Сей храм будет памятником, достойным России», — писала в 1823 году газета «Северная пчела».

Неподалеку от Исаакиевского собора, на Сенатской площади, также шли работы: возводились здания Сената и Синода. Прежде на этом месте был известный в Петербурге несчастливый дом: после ссылки Меншикова этот дом, принадлежавший светлейшему князю, был отдан Б. К. Миниху (тоже впоследствии сосланному). После Миниха он перешел к А. И. Остерману, а когда был сослан и Остерман, владельцем дома стал канцлер императрицы Елизаветы А. П. Бестужев-Рюмин, со временем тоже отправленный в ссылку. Таким образом, дом, принадлежавший известнейшим русским государственным деятелям XVIII века, заслужил репутацию рокового. С 1764 года его передали Сенату. В 1834 году архитектор К. Росси завершил постройку ансамбля зданий Сената и Синода. Та же «Северная пчела» так описывала его: «Величественное здание закончено, оно представляет прекрасную картину. Из-за арки является Галерная улица, как театральная декорация; в конце ее развевается флаг на новом Адмиралтействе».

Кроме того, по проектам Росси в Петербурге созданы ансамбль Главного штаба на Дворцовой площади, Михайловский дворец (ныне здание Русского музея), Александринский театр, Елагин дворец. Архитектор мечтал о создании идеального города единого целого, построенного по классическим законам гармонии. Один из его знаменитых ансамблей — Михайловская площадь (ныне площадь Искусств), перед Михайловским дворцом вместе с двумя спроектированными им новыми улицами Инженерной и Михайловской. Другое творение Росси — Театральная площадь (ныне площадь Островского), Театральная улица (улица Зодчего Росси) и Чернышева площадь (площадь Ломоносова). Центром этого ансамбля стал Александринский императорский театр.

«Счастливая особенность Петербурга заключается в том, что целые площади его построены по одному замыслу

и представляют собою законченное художественное целое, — писал Н. П. Анциферов в книге „Душа Петербурга“. — Здесь воздвигались не отдельные здания с их самодовлеющей красотой, а строились целые архитектурные пейзажи... В качестве примера площади, созданной как единый художественный замысел, может явиться Сенатская площадь. Захаров и Росси окружили... ее бледно-желтыми с белыми колоннами и орнаментами строениями позднего классицизма... Есть... в Петербурге целый квартал, созданный по плану одного архитектора (Росси)... Глядя на безвкусные новые здания... с горечью вспоминаешь о римской мечте Росси. Вот содержание его записки: „Размеры предлагаемого мною проекта превосходят те, которые римляне считали достаточными для своих памятников. Неужели побоимся мы сравниться с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в нерушимости. Этот памятник должен стать вечным“».

В 30-е годы на берегах Невы появились древние египетские сфинксы. Они были найдены при раскопках в Фивах и в 1830 году куплены русским правительством. В 1832 году сфинксов привезли в Петербург и установили на набережной перед Академией художеств. Теперь дети тысячелетий, попавшие на север, стоят на гранитной набережной Невы, глядя в ее холодные просторы.

Благоустраивались центральные улицы города: мостовая Невского проспекта стала паркетной — камни заменили деревянными торцами, которые накладывали на деревянный настил (позже на бетонный) вплотную один к другому, скрепляли смолой и посыпали крупным песком. Торцовые мостовые были удобны для езды и хождения, но довольно дороги. Поэтому торцовое покрытие было только на центральных улицах города, а большую часть улиц по-прежнему мостили булыжником так же, как и площади, даже Дворцовую. Только для царского проезда на Дворцовой площади сделали неширокую торцовую полосу. Булыжные мостовые были очень неудобны, при езде по ним немилосердно трясло. А тяжелые подводы на такой мостовой поднимали неимоверный шум. Первый

асфальтовый настил появился в Петербурге в 1844 году на Полицейском мосту.

Вдоль мостовой тянулись тротуары, на Невском проспекте они были довольно широкие, в две плиты. На городских окраинах тротуары настилали из досок, рядом с водосточными канавами, а иногда и прямо над ними. Такие тротуары представляли определенную опасность для жизни. Городская хроника повествует о гибели обывателя, ступившего на доску тротуара, не закрепленную на концах. Один из концов под его тяжестью взлетел кверху, ударил беднягу по голове, тот упал в водосточную канаву и захлебнулся. До 60-х годов прошлого века на улицах не курили. Это строго запрещалось.

Невский проспект продолжал украшаться новыми зданиями, но в основном в своей парадной части, которая начиналась от Дворцовой площади и заканчивалась у Аничкова моста. В XVIII веке Фонтанка считалась окраиной города, и на Аничковом мосту стоял караул, проверявший документы приезжих. Поначалу мост был деревянным, затем его перестроили в камне, однако он остался попрежнему узким: две кареты не могли проехать по нему одновременно.

В XIX веке движение городского транспорта увеличилось, и в 1841 году Аничков мост реконструировали и расширили. Решено было украсить его четырьмя скульптурными группами работы П. К. Клодта. Горожане стали свидетелями нескольких метаморфоз украшения моста: сначала сюда доставили на специальных катках с Васильевского острова, из мастерской Клодта, две бронзовые и две гипсовые скульптурные группы. Петербуржцы недоумевали: где же два других бронзовых укротителя? Оказалось, что император Николай I подарил их прусскому королю, приезжавшему в Петербург. Целый год на мосту стояли гипсовые кони. От непогоды их хвосты отвалились. К этому времени Литейный двор изготовил двух новых бронзовых укротителей, и в 1843 году их установили на мосту. Но горожанам недолго пришлось любоваться ими, в 1846 году две скульптуры снова исчезли: император подарил их на этот раз неаполитанскому королю! Наконец, в 1850 году третья по счету пара бронзовых скульптур заняла пустовавшие постаменты, и теперь четыре конные группы, как и полагалось, украсили Аничков мост.

За Аничковым мостом Невский проспект утрачивал свой парадный вид. А Знаменская площадь, по описанию А. Ф. Кони, была «обширна и пустынна, как и все другие, при почти полном отсутствии садов или скверов, которые появились гораздо позже. Двухэтажные и одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции (вокзала Николаевской железной дороги. — *Е. И.*) протекает узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила».

Невский проспект от Знаменской площади до Александро-Невской лавры выглядел и вовсе захолустной окраиной: «Он обстроен окруженными заборами невысокими деревянными домами с большими частыми перерывами. Никакой из ныне существующих в этой части Невского улиц еще нет. Есть лишь безымянные переулки, выходящие в пустырь... По левой стороне улицы мы подходим к обширной площади, называемой Конной от производящегося на ней конского торга и служащей для исполнения публичной казни, производимой всенародно» (А. Ф. Кони. «Петербург. Воспоминания старожила»). Приговоренного к наказанию привозили на специальной колеснице, посредине которой был столб. У человека, привязанного к столбу, на груди висела доска с названием преступления, за которое он осужден. Если узник принадлежал к «привилегированному сословию», палач ломал над его головой шпагу (что означало лишение гражданских прав), а если из простых — его били плетьми. Это варварское зрелище можно было наблюдать до 1863 года.

В 30—40-е годы в столице бурно развивалось строительство доходных домов, владельцы которых сдавали жильцам квартиры, комнаты и углы, то есть части комнат. Доходные дома не походили на особняки знати: в них старались устроить как можно больше помещений, потолки

в них были ниже, окна меньше; их выгодно было строить многоэтажными. Первый пятиэтажный дом у Кокушкина моста появился в столице в 1830 году.

Владельцы доходных домов старались как можно плотнее застроить участок, уменьшая размеры дворов: так появились дворы-колодцы. В комнаты, выходившие в них окнами, и днем почти не проникал свет. Быстро выросли целые улицы доходных домов, стоявших вплотную друг к другу: за шеренгами более или менее нарядных фасадов скрывались грязные дворы, зловонные лестницы.

В доходных домах жили люди разного достатка: первые этажи занимали богатые жильцы, выше — люди с более скромными возможностями, а верхние этажи и подвалы заселяли бедные семьи и «угловые жильцы», порой по нескольку человек в комнате. Вот как описывал жизнь в таком доме А. И. Герцен: «Дом, в котором мы живем, от души петербуржский дом: во-первых, шестиэтажный, во-вторых, в нем нет ни секунды, когда не пилили бы на гитаре, не звонили бы в колокольчик и прочее. Жильцов малым чем меньше, нежели в Ноевом ковчеге».

Атмосфера доходного дома передана в «Петербургских повестях» Гоголя: «Взбираясь по лестнице... которая... была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович... Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил... в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе».

К 1830-м годам в жизнь Петербурга начали входить достижения технического прогресса. На Неве рядом с нарядными прогулочными лодками появились пароходы: на них можно было, например, проехать по Финскому заливу до Кронштадта. А. В. Никитенко записал в дневнике впечатления от морской прогулки 9 июня 1828 года: «Изобретение парохода — одно из чудес нашего века. Стоя на палубе, спокойно сидя в каюте, вы с невероятной быстротою, почти незаметно переноситесь вдаль... Один только шум колеса, которое быстро вращается под действием пара и как плуг взрывает водную равнину, нарушает тишину... Еще только шпицы Петропавловской башни сверкали во мгле призрачного тумана, да белели некоторые здания. Правый берег залива, суровый и дикий, еще синею полосою извивался вдали и, наконец, исчез. Левый берег, усеянный дачами и деревеньками, представляет оживленную картину... В 8 часов мы приблизились к Кронштадту и поплыли вдоль гавани, на стенах которой длинною цепью выстроены пушки».

Конечно, по нашим понятиям, «невероятная быстрота» тех пароходов была невелика, но она поражала воображение современников. Так же, как и строительство первой железной дороги в России: из Петербурга до Павловска через Царское Село. В 1836 году дорога была открыта. В первые недели вагоны по рельсам вместо паровозов возили лошади, чтобы пассажиры могли привыкнуть к новому транспорту. Смельчаки, рискнувшие прокатиться по железной дороге, были очень довольны: «Движение ровное, приятное; от Царского Села до Павловского парка пространство в три версты проезжали за 15 минут... удовольствие и одобрение были всеобщие. Катание продолжалось до сумерек. Опасностей, страха, испуга ни малейших!» — восторженно писал один из них, корреспондент «Северной пчелы».

6 ноября 1836 года был пущен первый паровоз. Для привлечения публики вначале поездки были бесплатными. «При том трудно было удерживать зрителей, чтобы они не стояли на дороге и не переходили через нее. Не можем изобразить, как величественно сей громадный исполин, пыша пламенем, дымом и кипящими брызгами, двинулся вперед. Первый в России паровоз начал свои действия на железной дороге. Езда будет продолжаться во всякую погоду», — сообщала газета «Северная пчела». Однако не все жители столицы отнеслись к новшеству

с таким оптимизмом, поэтому для поднятия настроения пассажиров в первые месяцы на локомотиве был установлен органчик, игравший популярные мелодии.

Не сразу жители Петербурга и пригородов привыкли и к правилам, установленным на железной дороге. Поначалу были трудности: то на пути паровоза оказывались стада коров и овец, и машинистам с помощью пассажиров приходилось отгонять их. Хуже бывало, когда на рельсах усаживались отдохнуть или подремать люди. После того как по дороге к Царскому Селу задавили пьяного, заснувшего на рельсах, поездам было приказано замедлять и без того небыстрый ход. Впереди паровоза шел смотритель, звоня в колокольчик, чтобы все, оказавшиеся на рельсах и вблизи от них, могли вовремя убраться с пути. До начала 60-х годов вагоны третьего класса на Царскосельской дороге были открытыми с боков, что представляло для пассажиров некоторую опасность из-за летящих из трубы паровоза искр.

В 1843—1851 годах была открыта железная дорога из Петербурга в Москву. Поначалу ее предполагалось вести через Новгород, но Николай I начертил на карте прямую линию между Петербургом и Москвой, и в соответствии с этой линией строили железную дорогу. Таким образом Новгород остался в стороне от большого движения, что привело к постепенному упадку его экономического значения.

Множество зрителей собрали демонстрации полетов на воздушном шаре, производимые воздухоплавателем Д. Робертсоном. На Васильевский остров, в сад Первого Кадетского корпуса возле Меншиковского дворца, собирались сотни людей. «Северная пчела» в разделе хроники городской жизни писала в 1829 году о полете воздухоплавателя: «...После долгого ожидания завесы, скрывавшие шар от зрителей, упали, и Робертсон явился в лодочке (привязанной снизу к шару) вместе со спутницею своею. При громких рукоплесканиях зрителей воздухоплаватели вдруг поднялись в воздух. Господин Робертсон, стоя на краю лодочки, махал шляпою и флагом с уверенностью человека, уже привыкшего к таким полетам.

Вознесшись на весьма значительную высоту, воздухоплаватели спустили парашют, который упал в Неву против Зимнего дворца. Шар понесся по направлению ветра и опустился в 35 верстах от Санкт-Петербурга, а в первом часу ночи Робертсон и спутница его возвратились в город без дальнейших приключений».

Кроме поразительных технических новшеств, столицу волновали события культурной жизни. В 1832 году торжественно открылся новый Александринский театр. До этого самым популярным в Петербурге был Большой театр: на его сцене играла знаменитая трагическая актриса Екатерина Семенова, ставились балеты прославленного Шарля Дидло. Кроме Большого театра, в столице были популярны Немецкий театр, находившийся на Дворцовой площади, Малый, или Французский, театр и Итальянская опера.

В Петербурге ежегодно бывало множество гастролей, особенно зимой, на Масленицу, в разгар театрального сезона. Здесь пела прославленная итальянка Каталани, играла польская пианистка Шимановская; многие европейские знаменитости посещали Петербург. В 40-е годы здесь гастролировали, вызывая восторг петербургских меломанов, Берлиоз, Шуман, Лист.

В 1836 году в Большом театре состоялись две премьеры, знаменательные в культурной летописи России: были впервые поставлены комедия Гоголя «Ревизор» и опера Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). «Комедия „Ревизор“ наделала много шума. Ее беспрестанно играют почти каждый день», — отметил в дневнике А. В. Никитенко. Музыкальный критик В. Ф. Одоевский писал, что «с оперой Глинки открылась новая стихия в искусстве, новый период русской музыки». «Успех оперы был совершенный, я был в чаду и решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес», — вспоминал М. И. Глинка. Правда, его вторую оперу «Руслан и Людмила» (1842) петербуржцы встретили холодно. На премьере шиканье доносилось не только из зрительного зала, но и из оркестра. Растерянный Глинка не решался выйти на сцену после окончания спектакля, но сидевший рядом

с ним в директорской ложе шеф Третьего отделения Л. В. Дубельт наставительно сказал: «Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше тебя терпел».

Общество радостно встречало появление шедевров национального искусства, оно все больше тяготилось ученическим подражанием европейской культуре. К тому же официальная идеология этого времени начинала все настойчивее противопоставлять «загнивание Запада здоровому русскому началу». И все же Европа оставалась законодательницей моды. В сложном сочетании национальной гордости и робости перед Европой заветной становилась мечта о признании русских талантов на Западе. Поэтому, когда до Петербурга донеслась весть о том, что выпускник Академии художеств Карл Брюллов написал в Италии картину «Последний день Помпеи», вызвавшую восторг итальянцев, и что эта картина удостоилась золотой медали на выставке в Париже, за художника радовались не только его товарищи и учителя, но и люди, далекие от искусства. В 1834 году картину Брюллова привезли в Петербург и торжественно выставили в Академии художеств.

«Ни одно из художественных произведений на нашей памяти не имело такого всеобщего, можно сказать, народного успеха. Вельможи и художники, простолюдины и ремесленники — все проникнуты желанием видеть картину Брюллова... потребность эта разлилась в палатах Английской набережной, в мастерских и магазинах Невского проспекта, в лавках Гостиного двора, в бедных жилищах чиновников на Песках и в конторах на Васильевском острове... При всеобщем восторге, возбужденном „Последним днем Помпеи“, Брюллов стал особою чрезвычайно замечательной... Он вывез из пепла Помпеи добычу бесценную: свою картину, ту самую, которая, покрыв его славой в Италии и Франции, доставила ему громкую славу и имя у нас в России», — писала «Северная пчела».

Картина была куплена одним из петербургских меценатов и подарена императору Николаю I. Успех ее был таков, что владелец балагана на Адмиралтейской площади Леман выставил диораму — «живую картину „Последний день Помпеи“ Брюллова». «Вы видите все группы подлинной картины, видите зарево и извержение Везувия, слышите ужасный грохот... Многие восхищаются этой картиной», — сообщала «Северная пчела».

Но наряду с приятными волнениями город потрясали волнения и события другого рода. Увеличение населения Петербурга, отсутствие канализации и водопровода, скученность жителей в доходных домах грозили опасностью массовых эпидемий. Плохой была питьевая вода. По улицам города ездили водовозы с бочками, выкрашенными в разные цвета — в зависимости от того, откуда набрана вода. Жители побогаче покупали невскую воду, она считалась самой чистой; дешевле стоила вода из Фонтанки; а бедные люди сами черпали ее из речек и каналов. Вода городских каналов — грязная, застойная, издавала скверный запах. Многие из них не чистились со времени их прокладки, нередко в каналы сбрасывали мусор.

Летом 1831 года в город пришла беда — началась эпидемия холеры. Все, кто имел возможность, покинули город, «спасались на дачи, где запирались почти герметически». На помощь медицины рассчитывать не приходилось: больниц было мало, знающих врачей еще меньше. «Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу... Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их вместе», — писал в дневнике А. В. Никитенко.

Когда появились первые больные, император отдал полиции приказ без промедления доставлять их в больницы. Там пациенты, как правило, умирали. Особенно свирепствовала холера в бедных кварталах, в районе Сенной площади, на окраинах. Среди их обитателей распространился слух, что врачи в больницах отравляют пациентов, «что нет вовсе холеры, а все придумали злонамеренные люди, чтобы губить народ». 21 июня на Сенной площади произошло смятение. Народ остановил карету, в которой везли больных в лазарет, разбил ее, а их освободил.

На следующий день толпа разгромила Таирову больницу, убила трех врачей и освободила больных. Начался холерный бунт. Войска оцепили Сенную площадь. И тут император совершил поступок, который печать превозносила как подвиг. «Николай прибыл на Сенную площадь, въехал в середину неистовавшей толпы и, взяв склянку микстуры, которую давали в больницах, выпил всю склянку лекарства, чтоб доказать народу, что его не отравляют, и тем усмирил бунт и заставил толпу пасть перед собой на колени» (М. Фридерикс. «Записки»). Толпа, в которой было около шести тысяч человек, послушно разошлась по домам. Этот подвиг императора увековечен на барельефе памятника Николаю I на Исаакиевской площади.

К сожалению, других действенных мер против эпидемии принято не было. Умерших вывозили из города по ночам. По улицам двигались целые обозы гробов, без священников и провожающих, за город, на отдаленные кладбища. Все дома были крепко заперты, никто не осмеливался выйти на улицу. Город, осажденный смертью и ужасом, словно погрузился во времена Средневековья, с их мрачными преданиями об эпидемиях и бунтах. Так продолжалось до осени, пока холера не пошла на убыль.

Постоянным городским бедствием оставались пожары. Противопожарные меры, запрещение курить на улицах, чистка печей и дымоходов все же не предотвращали их. Некоторые пожары особенно запомнились в городе своими трагическими последствиями. Таким был пожар 2 февраля 1836 года в балагане Лемана на Адмиралтейской площади. Этот балаган всегда привлекал множество зрителей. Здесь показывали пьесы, рассчитанные на непритязательную публику, не слишком искушенную в искусстве. Особенно много народа бывало в балагане на Масленицу, во время гуляний. В один из таких дней и случился пожар.

Зал был переполнен. Пламя занялось от лампы на сцене. И, хотя в балагане имелось восемь широких дверей, в толпе началась паника. Люди задыхались, давили друг друга, стремясь выйти наружу. А снаружи в это время, как вспоминал очевидец, «из тысяч людей, находившихся на площади, ни один не решился броситься ломать стены балагана — виновата была полиция... Все единодушно обвиняют полицию в излишнем усердии и вмешательстве: она упорно отстаивала свои права, оцепила балаган и никого не допускала до прибытия пожарных и воинских команд...» Погибло сто двадцать шесть человек. Среди белого дня, на глазах у тысяч людей, боящихся нарушить дикий запрет полиции! На этой трагедии лежит отпечаток времени со всей его подавленностью, страхом, запретом малейшей инициативы. Поэтому история балагана Лемана производит особенно тягостное впечатление...

Еще более грандиозным был пожар Зимнего дворца 17 декабря 1837 года. Все началось с возгорания в Фельдмаршальском зале, где пришло в негодность печное отопление. Казалось, с пламенем будет легко справиться. Но огонь стал распространяться по перекрытиям, по крыше, и вскоре загорелась часть дворца, обращенная к Неве. К счастью, пожар распространялся медленно, никто при этом не пострадал; люди успевали вынести все ценное из дворцовых залов, прежде чем их охватывало пламя. Но сам дворец спасти было невозможно.

Несколько дней на Дворцовой площади бушевал огромный вулкан, извергавший огонь, дым и сажу. За его обгорелыми стенами, под рухнувшей крышей лежали груды дымящегося мусора. Чтобы огонь не перекинулся на здание Эрмитажа, на его крыше дежурили солдаты, готовые сбить пламя от множества искр, летящих с ветром. «Таким образом пожар не достиг к Эрмитажу, хотя все пламя стремилось на него по направлению сильного ветра. За цепью полков, окружавших Дворцовую площадь, стоял народ бесчисленною толпою в мертвом молчании», — писал М. И. Пыляев в книге «Старый Петербург».

Сокровища Зимнего дворца беспорядочными грудами лежали на Дворцовой площади. Ни одна вещь, ни одна драгоценная безделушка не пропали, хотя в работах по тушению пожара участвовали сотни людей. Мусор, оставшийся на пожарище, команды солдат везли на плавильную фабрику, где его сжигали, выплавляя частицы золота, использовавшегося при оформлении интерьеров.

Пожар Зимнего дворца вызвал много толков в городе. Были люди, особенно в среде духовенства, видевшие в нем Божью кару. Так, митрополит Филарет писал: «Петербург сходит с ума в идолопоклонстве перед французской плясовицей, известной Тальони, в балете „Сильфида“. Говорят, в то самое время, как она в театре бросилась в огонь, из которого ее должен был спасти ее бесстыдный языческий божок, сделался пожар, истребивший дворец. Заметили ли вы, что три страшнейшие и многоубыточные пожары у трех народов разрушили им наиболее любезное: в Санкт-Петербурге — дворец, в Лондоне — биржу, во Франции — театр».

Почти сразу после пожара началось строительство нового Зимнего дворца, завершенное в марте 1839 года. Фасады Зимнего дворца были восстановлены в своем первоначальном виде, часть интерьеров тоже повторяла прежние, созданные Растрелли. По-новому были оформлены покои, в которых жила царская семья: роскошнее, чем прежде, и с меньшим вкусом.

Руководили строительством нового Зимнего дворца архитекторы В. П. Стасов, А. П. Брюллов, А. Е. Штауберт.

Льстецы, которые есть во все времена, превозносили и сравнивали правление каждого нового императора с правлением Петра Великого. Так было и в николаевскую эпоху. И действительно, кое-что в жизни города напоминало былые времена, но, так сказать, с противоположной направленностью. Если Петр I стремился многое заимствовать из Европы, то идеология николаевского правительства противопоставляла «растленной революционной Европе» сохраняющую монархические традиции Россию.

Так же, как в старые времена, на Конной площади стоял эшафот. В тюрьмах клеймили каторжников и бродяг, но уже не по старинке, а с помощью «механической машинки». Сам облик города разительно изменился, казалось бы, от незначительной вещи: было велено выпалывать траву между булыжниками на улицах, площадях, во дворах государственных учреждений. Аллеи деревьев, посаженные при Павле I на Невском проспекте, вырубили.

Почти исчезли частные сады, которых прежде было множество. И Петербург снова стал казаться городом торжествующего камня, холодного и жестокого.

Так же, как Петр I требовал от придворных переодевания в европейскую одежду, Николай I пожелал, чтобы дамы являлись на балы во дворец в русских костюмах, эскизы которых были разработаны под его началом. Как напоминает указ 1840 года знаменитые петровские указы об ассамблеях! «Их Императорское Величество заметить изволили, что многие из дам, вопреки описаниям рисунков русской одежды для приезда ко двору, позволяют себе изменить их. Наистрожайше воспрещается отступать от утвержденной формы национального костюма, который не должен подлежать перемене иностранных мод...»

Этот указ придворным модницам был доставлен полицейскими чинами на дом, и после того как дама читала его и расписывалась, бумаги с подписями пересылались обер-полицмейстеру Петербурга. Такого город не помнил лет сто. Кажется, время повернуло вспять, перенеслось на сто лет назад... или на сто лет вперед. В 40—50-е годы XX века, в сталинские времена, царила та же «мундиромания». И сама идеология эпохи зиждилась на противопоставлении России и Запада, только определения сторон изменились: Россия стала «революционной», а Европа — «консервативной».

В 1848 году, получив известие о революции во Франции, Николай I направился во дворец наследника. Там был бал, и, войдя в круг танцующих, император возгласил: «Седлайте коней, господа, во Франции объявлена республика!» Правда, по здравом размышлении до седлания коней дело не дошло, но эта история напоминает нам недавнее прошлое.

Мундиры в николаевском Петербурге носили не только военные, но и чиновники, студенты, служащие различных ведомств. Император позаботился даже о наряде для кормилиц и нянюшек в дворянских домах: они носили «высочайше одобренный русский национальный костюм».

В сентябре 1826 года А. С. Пушкина вдруг вызвали из Михайловского, из ссылки, в Москву, где император Николай находился на коронационных торжествах. «Он был привезен прямо в Кремлевский дворец и представлен императору. Никто не может сказать, что говорил ему августейший его благодетель, но можно вывести положительное заключение о том из слов самого государя императора, когда, вышедши из кабинета с Пушкиным, после разговора наедине, он сказал окружавшим его особам: „Господа, это Пушкин мой!“» — вспоминал в своих «Записках» К. А. Полевой.

«Августейший благодетель» не обделил вниманием великого поэта, он стал цензором сочинений Пушкина. А 1 января 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)... Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, а по мне хоть в камер-пажи».

Однако поэт принял это пожалование отнюдь не так спокойно, как можно представить по записи в дневнике. «...Друзья, Вильегорский и Жуковский, должны были обливать холодной водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю. Впоследствии... он убедился, что царь не хотел его обидеть, и успокоился», — читаем мы в «Рассказах о Пушкине» П. В. и В. А. Нащокиных. Теперь и знаменитый поэт должен был обзавестись придворным мундиром, чтобы являться в нем в царский дворец. Однако Николай дал ему некоторую поблажку, о которой Пушкин говорил друзьям: «Мне... дорого то, что на всех балах один царь да я ходим в сапогах, тогда как старики вельможи в лентах и в мундирах». Невеселое, однако, утешение.

Одни люди с репутацией былых вольнодумцев должны были надеть мундир, а некоторым пришлось поменять службу и форму. Леонтий Васильевич Дубельт — человек с биографией, схожей с биографиями многих членов

тайных обществ: участник войны 1812 года, ранен в сражении под Бородино; входил в масонское общество. У него была репутация отъявленного вольнодумца, «одного из главных говорунов Второй армии». В начале 1826 года подполковника Дубельта арестовали по подозрению в участии в Южном обществе декабристов, но освободили за недостаточностью улик. Однако его военная карьера закончилась — теперь в армии «говорунов» не терпели. В 1828 году Дубельт вынужден был уйти в отставку и начал карьеру в корпусе жандармов. В этой сфере он преуспел: в 1835 году стал начальником штаба корпуса жандармов, в 1839—1856 годах одновременно с этим был главой Третьего отделения. О нем Николай I мог с полным правом сказать: «Вот Дубельт мой».

От прежнего вольномыслия у главы политического надзора осталось лишь циническое презрение к тем, чьими услугами он пользовался, и к тем, кто трепетал перед его властью. Соглядатаям, платным осведомителям и доносчикам Третье отделение при нем платило суммы, кратные тридцати: «Получай, голубчик, свои тридцать сребреников». «Дубельт — лицо оригинальное, он наверно умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его... усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, или лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив», — писал А. И. Герцен в «Былом и думах». Он приводил примеры этой учтивости, иногда полной тонкой издевки: «...кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что отличился 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: „Умирающая мать, — говорил он, — написала несколько слов на прощанье сыну Ивану (его брат И. Г. Головин с 1844 года был эмигрантом. — *Е. И.*)... тому... несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?“ „Снести на почту“, — сказал, любезно улыбаясь, Дубельт».

Дубельту, не чуждому интереса к литературе, водившему дружбу с В. А. Жуковским, принадлежит следующее суждение: «Всякий писатель есть медведь, которого следует держать на цепи и ни под каким видом с цепи не спускать, а то сейчас укусит!»

В 1827 году Пушкин впервые после ссылки приехал в Петербург. Как изменилась литературная жизнь столицы за эти семь лет! «На литературных вечерах Дельвига никогда не говорили о политике, потому что бо́льшая часть общества была занята литературой и потому что катастрофа 14 декабря была еще очень памятна. Размножившиеся жандармы и шпионы Третьего отделения, в числе которых были литераторы, не давали о ней забыть...

Печатание вообще, а периодического издания в особенности, еще более затруднялось тогдашними цензурными правилами, по которым не пропускались многие слова, между прочими: *республика*, *мятежники*, о чем не сообщалось журналистам, а только цензорам... Было время, что цензоры не пропускали слов: *бог*, *ангел* с большими первоначальными буквами», — вспоминал А. И. Дельвиг, двоюродный брат поэта А. А. Дельвига.

Изменилась жизнь общества и молодежи, выросшей в эти годы. Пушкин и его друзья кажутся людьми другой эпохи, хотя разница в возрасте между ними немногим больше десяти лет. «Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей той эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя... Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни» (П. П. Вяземский. «Александр Сергеевич Пушкин. 1826—1837»).

А. И. Дельвиг и много лет спустя не без ужаса описывал в своих воспоминаниях одну из «выходок» Пушкина и его друзей летом 1830 года: «Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их

сверстникам по летам показать младшему поколению... как они вели себя в наши годы и до какой степени молодость сделалась вялою относительно прежней. Была уже темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове... На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что надо его прогнать... Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам с остротами насчет того же господина и снова отправлялся к нему... Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр... Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели... Дельвиг довел... господина своим приставаньем до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами его сверстников по возрасту заменил бы его... Я упомянул об этой прогулке собственно для того, чтобы дать понятие о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие десять лет».

Петербург 30-х — начала 50-х годов XIX столетия выступает в описаниях современников как город мрачный, с обликом двуликого Януса, где за казенной пышностью скрываются бесправие и страх. Он поражает широкими прямыми улицами, многочисленными колоннадами и портиками. Кажется, эти колоннады украшают дворец или храм, но величественное здание вблизи оказывается казармой, а за классическим портиком скрывается стена с облупившейся краской, в трещинах. Столица становится городом фасадов. Она напоминает театральные подмостки, на которых лицедействует император Николай I. Он старательно играет роль «идеального государя»: строгого и справедливого, величественного и простого.

Он — образцовый семьянин, любящий муж и отец. Ежедневно в определенный час император направляется в Мариинский дворец навестить любимую дочь Марию Николаевну, герцогиню Лейхтенбергскую. В городе известно, что в частной жизни он избегает роскоши и быт его по-солдатски прост.

Он вникает во все обстоятельства жизни подданных и каждому воздает по заслугам. Так, Николай сам разрабатывает церемониал казни государственных преступников (декабристов, позже петрашевцев). И вместе с тем Петербург не раз становится свидетелем проникновенных сцен, одну из которых описал А. Ф. Кони: «Во время его проезда по набережной на мост (Благовещенский, позже переименованный в Николаевский, ныне мост лейтенанта Шмидта. — *Е. И.*) въезжали одинокие дроги с крашеным желтым гробом и укрепленной на нем офицерской каской и саблей. Никто не провожал покойника, одиноко простившегося с жизнью в военном госпитале и везомого на Смоленское кладбище. Узнав об этом от солдата-возничего, Николай вышел из экипажа и пошел провожать прах безвестного офицера, за которым вскоре, следуя примеру царя, пошла тысячная толпа».

Император — высший авторитет в вопросах искусства и противник дурного вкуса. Во время военного парада на Дворцовой площади Николай увидел солдата с двумя Георгиевскими крестами на груди. «На вопрос его, когда и где они получены, георгиевский кавалер, из сданных в солдаты семинаристов, вспомнив уроки риторики, ответил: „Под победоносными орлами Вашего Величества“. Николай, недовольный такими цветами красноречия, нахмурился и пошел далее, но сопровождавший его генерал подскочил к солдату и, поднося кулаки к его лицу, прошипел: „В гроб заколочу Демосфена“» (А. Ф. Кони).

Создавая печально известное Третье отделение, он не мог удержаться от лицемерия. На вопрос шефа Третьего отделения А. Х. Бенкендорфа о его задачах Николай протянул ему носовой платок со словами, что единственная цель его — осушать слезы невинно обиженных. Однако, как известно, именно по вине этого учреждения было пролито немало слез.

«Петербуржцы смеются над костюмами в Москве, — писал А. И. Герцен в „Былом и думах“. — Москва, действительно, город штатский... не привыкший к дисциплине, но достоинство это или недостаток — это нерешенное

дело... Мундир и однообразие — страсть деспотизма. Моды нигде не соблюдаются с таким уважением, как в Петербурге, что доказывает незрелость нашего образования: наши платья чужие. В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукав широк или воротник узок... Если б показать эти батальоны одинаковых сертуков, плотно застегнутых, щеголей на Невском проспекте, англичанин принял бы их за отряд полисменов».

Страх незримо пронизывал жизнь города. Герцен вспоминал: «Отправляя меня в Петербург... мой отец еще раз повторил: „Бойся всех, от кондуктора в дилижансе до моих знакомых, к которым я даю тебе письма, не доверяйся никому. Петербург теперь не то, что был в наше время, там во всяком обществе, наверное, есть муха (доносчик. — *Е. И.*) или две“».

Петербург был тесен для людей, не способных к безмыслию. В небольшом деревянном домике на Лиговке неподалеку от Невского проспекта в середине 40-х годов жил сотрудник журнала «Отечественные записки» Виссарион Григорьевич Белинский. Этот молодой, необыкновенно застенчивый человек был известен всей читающей России. В «тесные времена» деспотизма каждый голос, нарушающий общее молчание, особенно слышен. К суждениям Белинского жадно прислушивались читатели, к нему внимательно приглядывалось Третье отделение. Белинский был беден, болен, лихорадочно работал. И так не походила его жизнь на то, что торжествовало вокруг. И. С. Тургенев писал в воспоминаниях о Белинском: «...Как только я приду к нему, он, исхудалый, больной... тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя... с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но... легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде. Сама жена Белинского умоляла и мужа и меня хоть на время прервать эти прения, напоминая ему предписание врача... но с Белинским сладить было нелегко. „Мы

не решили еще вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!"... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если при воспоминании об этой правдивости, об этой небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве улыбка умиления и удивления».

Ранним весенним утром 1845 года к Белинскому пришли молодые петербургские литераторы Григорович и Некрасов. Они спешили поделиться открытием. «Белинский, новый Гоголь народился!» — воскликнул один из них. «Эк у вас Гоголи-то как грибы растут», — отозвался недоверчивый критик. Однако, прочтя рукопись молодого, еще неизвестного ему писателя Достоевского «Бедные люди», Белинский в тот же вечер поспешил к ним со словами восхищения и признания нового замечательного таланта. Как не вязались эта молодая порывистость и энтузиазм с господствующей атмосферой, где все живое выпалывалось, как трава, пробившаяся между камней.

В мае 1848 года в квартиру умирающего Белинского пришли жандармы, чтобы арестовать его. Он был в бреду. В Третье отделение было сообщено, что «известный сочинитель Белинский не может быть арестован, потому что над ним совершается суд Божий».

На мещанской окраине города, в тихой Коломне, в доме двадцатичетырехлетнего титулярного советника Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, с зимы 1844—1845 года по пятницам собиралось небольшое общество. В него входили студенты, писатели (Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Плещеев), чиновники, офицеры. Многие из них были увлечены идеями утопического социализма. На одном из собраний Д. Д. Ахшарумов произнес речь — проклятие Петербургу, символу деспотизма: «Разрушить столицы и все материалы употребить для других зданий, и всю эту жизнь мучений, стыда превратить в жизнь роскошную, полную счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами и разукрасить цветами — вот наша цель. Мы здесь, в стране нашей, начнем преобразование, а окончит его вся земля!»

Петрашевский, имевший по службе доступ к конфискованным полицией иностранным книгам, давал читать их желающим; это было опасным делом. Да и сам вид Буташевича-Петрашевского привлекал к нему неодобрительное внимание: «Не говоря уже о строго преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить внимание публики, которую он привлекал всячески, например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек, а потом вступал с нею в конфиденциальные разговоры... Один раз он пришел в Казанский собор, переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили внимание, и, когда к нему подошел квартальный со словами: „Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина", он ответил: „Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина!" Квартальный смутился, а Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой», — вспоминал П. П. Семенов-Тян-Шанский. Недопустимое, немыслимое поведение в николаевском Петербурге!

В собраниях у Петрашевского, на которых «обсуждались распоряжения правительства, говорилось громко обо всем», активно участвовал Ф. М. Достоевский. Он принадлежал к радикальной части этого общества, считавшей необходимым создать революционную организацию, устроить подпольную типографию и т. д. А между тем слухи о собраниях у Петрашевского распространились по городу, и в кружок был заслан осведомитель, который больше года доносил обо всем происходящем в тихой Коломне. 15 апреля 1849 года Достоевский прочел на собрании знаменитое письмо Белинского Гоголю, распространение которого было запрещено. Письмо взволновало всех, и было решено размножить его в списках. Но ночью 23 апреля петрашевцев арестовали. Сорок три человека были заключены в Петропавловскую крепость; пятнадцать из них, в том числе Петрашевский и Достоевский, помещены в Секретный дом Алексеевского равелина.

Секретный дом — место заключения особо важных государственных преступников. Все связанное с ним было окружено тайной и слухами. Территорию Алексеевского равелина — старого крепостного укрепления — отделял от остальной части крепости ров с водой. В конце XVIII века здесь построили одноэтажное здание тюрьмы. Узницей этой тюрьмы была княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы и претендовавшая на российский престол. Екатерина II поручила Алексею Орлову доставить самозванку из Италии в Россию. Орлов обманом залучил Тараканову на русский корабль, и в 1775 году она была заключена в Секретный дом Петропавловской крепости, где вскоре умерла.

В 1797 году здание Секретного дома перестроили, теперь в нем было двадцать одиночных камер. О том, кто их узники, знал лишь комендант крепости. Охранники этой тюрьмы сами были почти на положении узников: они редко выходили за ее пределы. Если заключенный в Секретном доме умирал, его хоронили на одном из пригородных кладбищ под чужим именем. Секретный дом просуществовал почти сто лет, и ни один узник не вышел из него на свободу. В 1826 году здесь содержались декабристы, а спустя двадцать три года двери камер захлопнулись за Достоевским и его товарищами. Здесь они восемь месяцев провели под следствием, ожидая приговора.

Достоевский получил характеристику Следственной комиссии — «умный, независимый, хитрый, сильный, упрямый». Допросы и материалы следствия производят странное впечатление: петрашевцев можно было обвинять лишь в дерзости мыслить, в замыслах, а не в действиях — но следствие велось так, словно их схватили накануне государственного переворота. Обвинители и обвиняемые говорят на разных языках и столь по-разному мыслят!

Николай I (в записке Следственной комиссии): «Пусть посадят половину жителей столицы, но пусть отыщут нити заговора».

Петрашевский (из показаний на допросе): «Быть может, все это неуместно в России, и я родился... преждевременно; но зато, быть может, весьма вовремя для человечества — не лишайте же меня возможности быть ему полезным!»

Дубельт (реплика при допросе): «Жаль, что Белинский умер, ускользнул от суда. Мы бы сгноили его в крепости!»

Достоевский (письмо из крепости): «Вечное думанье и одно только думанье безо всяких внешних впечатлений, чтоб возрождать и поддерживать думу, — тяжело... Все из меня ушло в голову, а из головы в мысль, все, решительно все... и, несмотря на это, работа с каждым днем увеличивается. Книги хоть капля в море, но все-таки помогают...».

Диалог между этими людьми невозможен. Да его и не было, как не было и настоящего суда. Под следствием находилось сто двадцать три человека; двадцать два из них заочно осудил военный суд. Даже по понятиям того времени «преступление» их не соответствовало наказанию: из двадцати двух обвиняемых двадцать один приговорен к расстрелу. Достоевский, например, за то, «что он, получив копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях Дурова и Петрашевского».

Петрашевцы не знали о том, что суд состоялся. Приговор им объявили только на Семеновском плацу, куда их привезли, — на месте казни. Как и двадцать три года назад при казни декабристов, Николай I сам разработал ее церемониал, указал маршрут, которым обреченных повезут из крепости, распорядился, чтобы расстреливали петрашевцев солдаты из роты, которой прежде командовал один из приговоренных — поручик Н. П. Григорьев. Кульминацией жуткого фарса должен был стать момент, когда за секунды до смерти приговоренным объявят о замене расстрела каторгой! Император не обманулся в ожиданиях: на месте казни сошел с ума Григорьев, позже — еще несколько человек.

Ранним утром 22 декабря 1849 года из Петропавловской крепости выехала вереница тюремных карет и быстро достигла Семеновского плаца, оцепленного войсками.

«Была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим красным шаром блистало на горизонте. Среди площади высился черный эшафот, возле него были врыты в землю три серых столба», — так запомнилось это Достоевскому. Осужденных провели на эшафот и начали оглашать приговоры. Их читали более получаса, и каждый приговор заканчивался словами «к смертной казни расстрелянием». Было очень холодно, этот холод остался у них в памяти на всю жизнь. «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Думаю, что не ошибусь, сказав, что в ту минуту если не всякий, то чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений», — много позже вспоминал Ф. М. Достоевский.

Затем осужденным надели саваны, первых трех привязали к столбам, а солдаты, стоявшие напротив, прицелились. В последний миг раздался барабанный бой, солдаты подняли стволы ружей вверх. Петрашевского и двух его товарищей отвязали от столбов и вернули к остальным. Было объявлено: казнь заменяется каторгой. Петрашевского, приговоренного к вечной каторге, опять отделили от остальных, посадили в телегу, и он отправился с Семеновского плаца в Сибирь! При известии о царской милости на эшафоте раздались крики: «Лучше бы расстреляли!», «Кто просил?»

Спустя годы Достоевский размышлял о зловещей комедии, придуманной императором: «Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное?» По новому приговору он был осужден на четыре года каторги с последующей службой рядовым. Не все петрашевцы пережили каторгу, ссылку и вернулись в столицу. Федор Михайлович Достоевский вновь увидел Петербург лишь через десять лет.

К началу 1850-х годов жизнь в столице, казалось, приблизилась к идеалу Николая I: все боялись сказать лишнее слово, всюду были агенты полиции, шпионы; значительная часть города — чиновники. Действительно, Петербург становился городом чиновников: в 1804 году их в столице было пять тысяч, в 1832 году — тринадцать тысяч, а к 50-м годам это количество еще увеличилось. Они подчинялись приказам не раздумывая: все их вольности сводились к кутежам, вечерам за карточным столом да содержанию любовниц. Плеяда этих «новых героев» — гражданских и военных чиновников, глубоко равнодушных к делу, казнокрадов и тупиц — все глубже ввергала Россию в кризис.

«Находясь в столице близ государя и первенствующих лиц, я видел ничтожность многих... Я видел своими глазами то состояние разрушения, в которое приведены нравственные и материальные силы России тридцатилетним безрассудным царствованием человека необразованного, хотя, может быть, от природы и не без дарований, надменного, слабого, робкого, вместе с тем мстительного и преданного всего более удовлетворению своих страстей... нисколько не заботясь о разрушаемом им государстве», — писал в своих мемуарах генерал Н. Н. Муравьев (Карский). Современники отзывались о Н. Н. Муравьеве как о «рыцаре чести», о человеке выдающейся «гражданской доблести как государственного деятеля». Но именно эти качества и препятствовали успешной карьере в николаевские времена.

«В России на государственной службе два честных человека — ты и я», — как-то сказал император наследнику. В 1853 году столица обсуждала историю петербургского Монте-Кристо, как называли директора Комитета о раненых, камергера Политковского. Прозвище «Монте-Кристо» он получил за фантастическое расточительство и роскошь, которой окружил себя. Однако при ревизии финансовых дел Комитета о раненых выяснилось, что находчивый камергер нашел свой клад в кассе этого Комитета; он растратил полтора миллиона, предназначенных для помощи раненым. Узнав о разоблачении, Политковский отравился. Такие истории знаменовали приближение катастрофы. Образцовое правление Николая I принесло государству огромный вред и имело самые печальные последствия. Это стало

очевидным во время войны с Турцией и ее англо-французскими союзниками в 1853—1856 годах.

Когда война была объявлена, в Петербурге не сомневались в скорой победе. На нее смотрели как на продолжение военных учений и парадов, на возможность быстро сделать карьеру. Но после первых сообщений о победах стали приходить известия, каких не ожидали: русские войска терпели поражения, потому что их вооружение и обучение безнадежно устарели по сравнению с европейским. Светское общество Петербурга было потрясено смертью блестящего, любимого всеми Андрея Карамзина, сына историка. А. Н. Карамзин вместе со своим отрядом попал в турецкую засаду и погиб. Не удалось даже отыскать его тела.

Из Севастополя, осажденного англо-французским флотом, шли неутешительные вести. Солдаты сражались героически, но не хватало боеприпасов, интенданты разворовывали продовольствие и деньги. В довершение всех несчастий в 1854 году случилось то, чего не было со времени основания Петербурга: в Финском заливе появился вражеский флот! Это обстоятельство особенно наглядно показало жителям столицы, к чему привела политика императора Николая, которого льстецы сравнивали с Петром Великим. «Ожидание появления английского флота повергло всех в смятение. Генералитет мирного времени не был подготовлен к такому событию. Все растерялись и, сознавая необходимость обороны, не могли придумать, как и что следует оборонять. Наконец вспомнили, что при Екатерине II были приняты меры к защите Петербурга. Рылись в архивах, нашли там многое забытое и стали возводить укрепления по указаниям старины. Городские части, прилежащие к Неве, были объявлены на военном положении. Но Петербург, по-видимому, не тревожился, и не слышно было, чтобы кто-нибудь выселялся. Заботились по обыкновению нанимать дачи» (Н. Врангель. «Записки»). Несмотря на серьезность положения, петербуржцы не могли поверить в то, что городу угрожает беда. И действительно, укрепленный, готовый к обороне Кронштадт охранял подступы к столице. Поэтому появление

кораблей противника в Финском заливе весной 1854 года явилось скорее демонстрацией, чем реальной военной опасностью. К осени корабли ушли, а весной 1855 года опять вернулись в Финский залив.

Для петербуржцев присутствие англо-французского флота стало чем-то вроде рискованного, а потому еще более интересного приключения. Даже царская семья приезжала в Кронштадт, чтобы поглядеть на неприятельский флот. В июне 1854 года Ф. И. Тютчев писал из Петербурга: «Я поехал в Петергоф, оттуда можно было разглядеть за Кронштадтским рейдом дым от неприятельских пароходов». Он сообщал, что в городе «много смеялись, вспоминая известие... в иностранных газетах, будто Петербург в ужасе, население бежало, и на защиту столицы привезено 40 тысяч башкир».

Нет, появление вражеского флота не повергло жителей столицы в панику, у них была другая тревога. Люди, воспитанные без критического взгляда на жизнь, словно проснулись от бездумного сна. Национальное чувство страдало, вера в непогрешимость императора быстро таяла. В обществе распространялись письма из Севастополя, присланные участниками и свидетелями его обороны. Знаменитый хирург Н. И. Пирогов писал жене в Петербург: «Сердце замирает... когда покороче ознакомишься с лицами, стоящими в челе власти... Если взглянуть на эту смесь посредственности, бесталанства, односторонности и низости, то поневоле начинаешь опасаться за участь Севастополя».

Фрейлина императорского двора А. Ф. Тютчева, которую никак нельзя заподозрить в революционных настроениях, записывала: «Россия тридцать лет занималась парадами, смотрами и маневрами и при опасности беспомощна! В публике крик негодования против правительства, ибо никто не ожидал того, что случилось!»

После тридцати лет молчания в столице зашептались. Недовольный, изумленный шепот в образованных кругах превращался в ропот. Стало очевидным, что политика Николая I — безумие, помеха на пути нормального общественного развития. Многие желали его отречения

и даже его смерти. Император Николай предпочел умереть. Он умер так неожиданно, что по столице разнеслись слухи о его самоубийстве. Говорили, что он принял яд, не вынеся позора поражения в Крымской войне.

Император умирал в Зимнем дворце, лежа в небольшой полупустой комнате на походной кровати; лежал, укрывшись шинелью. Он был в бреду, но когда приходил в себя, спрашивал об известиях с фронта. Известия по-прежнему были плохими. За несколько часов до его смерти принесли очередную депешу. Николай отвернулся к стене и сказал: «Меня это уже не касается». Депешу передали наследнику престола Александру Николаевичу. 18 февраля 1855 года император Николай I умер.

Известие о его смерти не вызвало в столице особых сожалений. Умы подданных были заняты другим: все ждали необходимых перемен в общественной и государственной жизни; всюду шли разговоры о несчастной войне, обсуждались возможные условия мирного договора с Турцией и ее союзниками. Жизнь стала необыкновенно оживленной, все были полны надежд, словно люди, избавленные, наконец, от многолетнего гнета.

«Век девятнадцатый, железный...»

Медовый месяц либерализма. В праздничные дни. Изобилие снеди. Вокруг Сенной площади. Студенческие волнения 1861 года. Общественное воодушевление и городские пожары. События, отразившиеся в романе «Бесы». Осуждение Чернышевского

Со смертью Николая I закончилась целая эпоха жизни России и ее столицы. Петербург в его правление походил на военный плац во время парада: сверкают позолотой мундиры, безукоризненно маршируют гвардейцы, а поодаль любуется зрелищем народ: чинные толпы людей в приличной одежде (оборванных, нищенски одетых полиция в центр города не пускала). Но к 60-м годам стиль жизни меняется: постепенно уходят в прошлое грандиозные городские праздники и торжества, смотрины купеческих невест в Летнем саду... Да и парады теперь устраиваются реже.

Прежде заметно было стремление к единообразию. «Петербургская публика — она индивидуум, она не множество людей, но один человек, прилично одетый, солидный, не слишком требовательный, не слишком уступчивый, человек, который боится всякой крайности... Люди среднего сословия с напряженным вниманием прислушиваются к отдаленному и непонятному для них гулу „большого света“. Они так заботятся о „большом свете“, будто без него не могут дышать. Они из всех сил бьются передразнивать быт „большого света“», — писал В. Г. Белинский в 40-е годы. Спустя два десятилетия это стрем-

ление подражать единому образцу уходит, каждый класс общества избирает свой стиль.

Придворный мир замыкается от посторонних глаз, шум «большого света» стихает. Реже собираются толпы зевак перед дворцами, за зеркальными окнами которых звучит бальная музыка; меньше становится и самих балов — аристократия беднеет. «Большой свет» перестал быть непререкаемым авторитетом, отношение к нему становится отчужденным и даже критическим. Предметом насмешек журналистов может стать, например, увлечение спиритизмом в придворных кругах или великосветские салоны.

Деловые люди среднего класса уже не слишком стремятся попасть в высшее общество. У них свои клубы, свой круг интересов. Среди столичной буржуазии много выходцев из Германии, Англии, Скандинавии. Эти общины живут замкнуто и часто относятся ко всему русскому высокомерно и с пренебрежением.

Правительственный Петербург переживает глубокий кризис. Губительные последствия николаевского правления очевидны для всех. Император Александр II избирает политику реформ. Впереди великие перемены: отмена крепостного права, судебная, земская, военная реформы. Опять, как в начале XIX столетия, появляется множество проектов устроения России, и отвыкшие от умственных усилий столичные чиновники пытаются разобраться во всех этих «теориях».

Еще одна примета нового времени — «весь Петербург» устремился за границу. Охота к перемене мест охватила множество людей. Пьянит сама возможность покинуть пределы страны, повидать Европу. В николаевские времена это было почти невозможно: для выезда за границу требовалось разрешение императора. Европа во второй половине 50-х годов наводнена русскими путешественниками. Домой возвращаются с чувством приобщенности или, наоборот, неприятия европейской жизни; многие тайно привозят запретную литературу — издания политического эмигранта Герцена.

Без преувеличения можно сказать, что на время Герцен становится одним из главных авторитетов в русском обществе. Его читают даже в Зимнем дворце. Воспитательница детей императора, фрейлина Анна Тютчева записывает в дневнике, что хотя «Герцен большой мерзавец, мысли у него очень верные». В Петербурге находятся книготорговцы, рискующие тайно продавать журнал «Колокол», запрещенные в России книги.

В Лондон, к Герцену, идут десятки писем и статей. Обществом овладел дух критики, пишут все: ученые, чиновники, «прогрессисты», жандармские чины, разоблачающие тайны своего ведомства. Обличение в эмигрантской прессе может обернуться неприятностями по службе даже для важных сановников. В 1862 году в отставку отправлен министр юстиции граф В. Н. Панин. Это повергает в уныние весь чиновный Петербург. Двадцать с лишним лет Панин занимал свой пост, но Герцен в статье привел его суждение о том, что «не следует допускать в России адвокатуры, потому что опасно распространять знание законов вне круга лиц служащих», и Александр II решил, что неудобно иметь такого министра юстиции.

С конца 50-х годов в столице работает комитет, занимающийся проблемами отмены крепостного права. Один из его молодых сотрудников Н. А. Серно-Соловьевич составил свой проект и послал его императору. Через несколько дней его призывают к А. Ф. Орлову (в 1844—1856 годах шефу жандармов), карьера которого началась с подавления восстания декабристов. Орлов выходит к нему со словами: «Мальчишка, знаешь ли ты, что сделал бы с тобой покойный государь Николай Павлович, если бы ты осмелился подать ему записку? Он упрятал бы тебя туда, где не нашли бы и костей твоих». И, помолчав, продолжает: «А государь Александр Николаевич так добр, что приказал тебя поцеловать. Целуй меня!» И Серно-Соловьевич (в недалеком будущем — один из организаторов революционной «Земли и воли») целует свирепую физиономию Орлова.

Другой высокопоставленный чиновник, начальник штаба военных ученых заведений, генерал Путята вызывает преподавателя Военной академии полковника П. Л. Лаврова, чтобы сделать ему выговор за «неправильные взгляды».

Но едва генерал заговорил, Лавров перебивает его и сам делает ему выговор за неправильные взгляды. Путята выслушивает подчиненного молча, боясь прослыть «несовременным человеком». Позже общество поляризуется, радикалы и консерваторы окажутся во враждебных лагерях, но пока все зыбко, и П. Л. Лавров (будущий идеолог революционного народничества, политический эмигрант) отчитывает начальника, служаку николаевской поры.

«Молодежь стала дерзкой, а старшие не знали, что делать: проявлять прежние строгости никто не решался и, хотя морщились, но молчали», — вспоминал об этом времени критик и публицист Н. В. Шелгунов.

А внешне городская жизнь шла по старому руслу. Как и сто с лишним лет назад, полиция издавала указы о борьбе с грабежами на Невском проспекте. За парадной частью Невского проспекта начиналась грязь, тускло горели редкие фонари. Ходить там вечерами было рискованно, поэтому «стража от Аничкова моста до станции Николаевской железной дороги должна быть усилена в ночное время для пресечения грабежей, и, кроме того, часовые ежедневно должны обходить Знаменскую площадь по очереди в течение всей ночи», — приказывал обер-полицмейстер. Однако в правилах общественного порядка заметно некоторое послабление. С 70-х годов разрешено курение на улицах.

По-прежнему каждое городское событие привлекало огромные толпы петербуржцев. 25 июня 1859 года на Мариинской площади состоялось торжественное открытие памятника Николаю I (скульптор П. К. Клодт, архитектор О. Монферран). Для знатной публики были построены трибуны. Предприимчивые владельцы квартир, окна которых выходили на площадь, в этот день за плату пускали желающих поглядеть на торжество. «Даже самые крыши унизались, как бусами, разноцветными дамскими зонтиками. В момент провозглашения „вечной памяти“ Николаю I раздался залп орудий из Петропавловской крепости, с канонерок, расположенных на Неве в три ряда, из всех орудий, находящихся при войсках», — писала одна из петербургских газет.

Зимой, в Крещение, происходило торжественное водосвятие на Неве. В нем участвовало высшее духовенство столицы, императорская семья, придворные, гвардия. Крещенское водосвятие было одним из самых красивых праздников в столице. На льду Невы, напротив Зимнего дворца, прорубали колодец-прорубь, над нею ставили часовню «с легкими колоннами, поддерживающими решетчатый купол, покрашенный в зеленый цвет. Под куполом, окруженный лучами, парил Святой Дух», — описывал торжество французский поэт и художественный критик Теофиль Готье, посетивший Петербург зимой 1858/1859 года. После службы в церкви Зимнего дворца «царский кортеж отправился... к месту крещения, или, скорее, освящения Невы. Император, великие князья в военных мундирах, служители церкви в облачениях из золотой и серебряной парчи... пестрая толпа генералов, офицеров высших чинов, проходя... сквозь плотную массу выстроенных в линии войск, являли собою великолепное и впечатляющее зрелище...

Император, великие князья, священники вошли в часовню, которая вскоре наполнилась людьми до отказа, так что с трудом можно было следить за жестами священников, отправлявших службу над прорубью. Выставленные на другом берегу, на Биржевой набережной, пушки палили поочередно в кульминационные моменты службы... Церемония окончилась, войска прошли парадным маршем, зеваки мирно разошлись, без заторов, без свалки, по обычаям самой спокойной в мире русской толпы» (Т. Готье. «Путешествие в Россию»).

Традиция участия в этом торжестве императора и членов царской семьи существовала более двухсот лет. Но однажды, когда Николай II с семьей были на водосвятии, одна из пушек Петропавловской крепости выстрелила во время салюта боевым снарядом. К счастью, никто при этом не пострадал. После этого случая император и его близкие не участвовали в церемонии водосвятия, а вскоре и сама традиция этого городского праздника прервалась.

А как весело встречали в Петербурге Пасху! Город был иллюминирован, горели огни на Ростральных колоннах;

на Марсовом поле и Адмиралтейской площади проходили народные гуляния. На праздничных базарах можно было купить пасхальные яйца: фарфоровые, восковые, с сюрпризами, шоколадные, сахарные — на любой вкус.

С наступлением тепла начинался своего рода парад модных туалетов на Невском проспекте и в Летнем саду. А 31 августа, в день памяти Св. Александра Невского, во всю длину Невского проспекта двигался многотысячный крестный ход. Александр Дюма, приехавший в Петербург в 60-е годы, назвал Невский проспект «проспектом веротерпимости»: здесь соседствовали православный и католический соборы, армянская и лютеранская церкви.

Петербург — самая молодая из европейских столиц — старательно следовал моде. В 40-е годы во многих крупных городах Европы появились пассажи[1]. В 1848 году на Невском проспекте был открыт «Пассаж» (архитектор Р. А. Желязевич), соединивший Невский проспект и Итальянскую улицу. Он поражал великолепием внутренней отделки; кроме магазинов в «Пассаже» располагались рестораны, кондитерские, «механический театр», кабинет восковых фигур, панорамы, диорамы, «анатомический музеум». На галереях весь день играл оркестр, в концертном зале бельэтажа пел хор цыган, устраивались музыкальные вечера.

В 1865 году в столице открылся зоологический сад. Его хозяйка, предприимчивая голландка София Гебгард, начала свою коммерцию с продажи вафель в Александровском саду. Вафли пользовались большим спросом. Затем она устроила в «Пассаже» кабинет восковых фигур. Был у нее и небольшой зверинец: волк, рысь, обезьяна, козы. Город выделил Софии Гебгард большой участок на Петербургской стороне неподалеку от Петропавловской крепости для устройства зоологического сада. Царская семья подарила саду двух слонов, леопарда, обезьяну-мандрила, а Академия наук — скелет кита. Газеты сообщали: «В Александровском парке открылся зоологический сад.

[1] Пассаж (*фр.* passage) — крытая галерея с двумя рядами магазинов (или контор), имеющая выходы на параллельные улицы.

Он еще не богат, но мы искренне порадовались тому, что публика посещает его довольно усердно».

Правда, основные доходы Гебгард получала не от показа зверей, а от ресторана «Зоология» и увеселительных заведений, занявших большую часть территории сада. Здесь устраивались экзотические представления: «Битвы и охоты нубийцев», «Африканские карлики», «Дикие люди»... Бедным зверям, к которым прибавились гиппопотам и морской лев, жилось довольно скверно. С утра до ночи их слух терзали шум и крики из пивных, музыка ресторана «Зоология», где шли представления под интригующими названиями вроде «Ночь любви». Городская дума не раз обсуждала вопрос о состоянии зоологического сада и его обитателей.

Важной мерой в благоустройстве столицы стало сооружение водопровода в центральных районах. Это было великолепное новшество. Правда, из-за отсутствия хороших фильтров вода почти не очищалась, и зажиточные люди по-прежнему предпочитали покупать чистую воду из бочек. Это понятно, если вспомнить выступление одного из членов Городской думы на заседании в 1877 году: «Общество петербургских водопроводов снабжает город в последнее время недоброкачественной водой, в которой попадается даже тухлая рыба», что свидетельствовало не только о плохом состоянии водопровода, но косвенно и об изобилии рыбы в Неве. Конечно, она попадала на стол горожан не таким странным образом.

На Неве, Большой и Малой Невках и Фонтанке круглый год стояли садки: баржи, где продавали живую рыбу. Зимой ее добывали подледным ловом в заливе и доставляли в садки, летом сюда подходили рыболовные суденышки. В садках продавали не только живую рыбу, но и балыки, икру разных сортов, рыбу различного посола. Зимой у входа в садок выставлялись громадные замороженные белуги.

Летом за свежей рыбой можно было пойти на тоню. Тони — плоты у берега, с которых ловили неводом, — стояли на реке во многих местах. За небольшую плату можно было «заказать тоню»: рыбаки забрасывали невод,

примерно через час вытаскивали его, и весь улов принадлежал заказчику. Дело это было азартное, что-то вроде лотереи. В сети попадались судаки, сиги, лещи, а иногда знаменитые невские лососи. Мелочь заказчик оставлял рыбакам, отбирая себе лишь лучшую рыбу.

Хозяевами тоней в основном были жители пригородного села Рыбацкого: в конце XVIII века они получили по указу Екатерины II право безвозмездно пользоваться рыбными угодьями на Неве и Невках. Рыбацкое было богатым, процветающим селом. И сейчас, когда многоэтажки Невского района подошли к нему вплотную и его окраинные дома заброшены, еще видны следы былого благополучия: двухэтажные и трехэтажные дома, удобные спуски к реке, остатки садов, некогда окружавших село.

Жители Рыбацкого поставляли горожанам свежую рыбу, а с другого берега Невы, с Охты, шли по утрам «целые взводы молочниц с коромыслами, на концах которых побрякивали жестяные ведра с молоком» (А. Н. Бенуа. «Мои воспоминания»), они несли корзинки с маслом и творогом. Тянулись к центру города, к рынкам, бесконечные вереницы возов с разными товарами. На рынке их продавали с возов или сдавали в лавки. Александр Бенуа вспоминал, какими были лавки на рынке: «По стенам на полках стояли бутылки с винами и наливками, банки с леденцами и консервами, а также целый батальон наполовину завернутых в синюю бумагу сахарных голов. В специальных ящиках и витринах лежали пряники, халва разных сортов и неприхотливые конфеты. В бочках же хранился погруженный в опилки виноград разных сортов, сохранявший свою свежесть в течение всей зимы… То и дело один из приказчиков ныряет в святую святых и является оттуда с лежащим на кончике ножа, тонким, как лепесток, куском дивного слезоточивого швейцарского сыра, или с ломтиком божественной салфеточной икры, или с образчиком розовой семги. Но копченый золотисто-коричневый сиг выносится целиком, и его приходится оценивать с виду, лишь чуть дотрагиваясь до его глянцевитой, отливающей золотом кожи, под которой чувствуется нежная масса розовато-белого мяса. Приносятся и черные миноги, и соленые грибки, а в рождественские дни всякие елочные, точно свитые из металла крендели, румяные яблочки, затейливые фигурные пряники с целыми на них разноцветными барельефами из сахара».

Сенной рынок — «чрево Петербурга» — был самым большим в городе. Там шла особая, беспокойная жизнь: до поздней ночи толпились торговцы, покупатели, люди, ищущие случайного заработка, воры, присматривающая за порядком полиция. На рынке можно было купить всякого рода живность, все необходимое в хозяйстве.

Рано поутру Сенную площадь убирали, но к вечеру мостовая покрывалась отбросами, в воздухе пахло гнилью. Рядом с Сенной было еще два рынка и своеобразная биржа труда — место, где собирались крестьяне, пришедшие в столицу на заработки. Соседствовала с Сенной и Вяземская лавра — одна из самых знаменитых петербургских трущоб. Так называли дом с флигелями и пристройками, занимавший целый квартал, который горожане предусмотрительно обходили стороной. Обитателями его были нищие, воры, проститутки, жулики всех мастей. «Вяземский дом выходит двумя большими флигелями на Забалканский (ныне Московский. — *Е. И.*) проспект и одним, довольно красивым, на Фонтанку. В флигелях помещается постоялый двор, чайная, на местном жаргоне называемая „мышеловкой“, вероятно, потому, что чины полиции захватывают здесь всех, кого нужно… А остальные кварталы заняты и в настоящее время, как и прежде, не беднотой, но отбросами, паразитами общества» (Н. Свешников. «Петербургские Вяземские трущобы и их обитатели»).

В Вяземской лавре сдавались большей частью не квартиры, а углы, однако главный доход хозяев и обитателей дома составляли продажа краденого, ростовщичество, ночная торговля водкой. Жильцов там было невероятно много: в 70-е годы больше двух тысяч. Сторонним людям заходить в эти трущобы не рекомендовалось. «Случалось, что некоторые приносили жалобы властям, но они прямо отвечали: „Ведь ты знал, что это Вяземский дом. Знал, куда шел. Вперед наука, не будешь другой раз туда шляться!“» — писал Свешников.

Сенная площадь находится неподалеку от Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Этот канал был настолько грязен, что в 60-е годы городские власти предлагали засыпать его. По выражению журналиста того времени, вода в нем представляла собою «экстракт из дохлых собак и кошек». Проект пустить по Екатерининскому каналу пароходы был отвергнут из опасения, что «вода, попадая на пассажиров парохода, могла наделить их бактериями различных болезней, от брюшного тифа до холеры».

В окрестностях Сенной площади разворачивается действие романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Его герой, Родион Раскольников, жил в Столярном переулке, неподалеку от Сенной. Столярный переулок имел в городе печальную известность: количество питейных заведений в нем изумляло даже привычных людей. Газета «Петербургский листок» в 1865 году писала: «В Столярном переулке находится шестнадцать домов. В этих шестнадцати домах помещается восемнадцать питейных заведений, так что желающие насладиться увеселяющей влагой, придя в Столярный переулок, не имеют необходимости смотреть на вывески: входи в любой дом — везде найдешь вино».

Атмосфера безысходности жизни обитателей убогих кварталов, описанная Достоевским, не была преувеличением. А. Ф. Кони, знаменитый петербургский юрист, вспоминал, что в 1870-е годы печальную известность приобрела в городе Пушкинская улица. «Узкая, с маленькой площадкой, на которой позже поставлен ничтожный памятник Пушкину, обставленная громадными домами, она с самого своего открытия привлекла многолюдное население, среди которого были настолько частые случаи самоубийства, что пришлось командировать к местному судебному следователю нескольких помощников. Может быть, скученность обитателей и какой-то угрюмый вид этой улицы оказались не без влияния на омраченную и исстрадавшуюся душу».

К середине XIX века в русской литературе сложился образ Петербурга как города двух враждующих начал: творение Петра, с его горделивой красотой, царит

над бездной несмиренного хаоса. Но хаос грозит ему опасностью, а возможно, и гибелью. Этот образ приходит на память при размышлении о российской жизни второй половины XIX века. С 60-х годов радикально настроенная молодежь вступила в многолетний трагический конфликт с государством. Центром борьбы стал Петербург.

В чем истоки этого конфликта? В оцепенении общественной жизни России на протяжении нескольких десятилетий? Время становления «новых людей» пришлось на пору, когда общество, очнувшись, с негодованием осуждало современное состояние России и бесславное николаевское царствование. Молодежь, склонная к крайним выводам, шагнула в своем отрицании дальше. «Новые люди» отвергали и переоценивали все духовное наследие прошлого: дворянскую культуру, традиции, концепцию истории России и т. д.

Олицетворение дворянства для них — помещица Салтычиха[1]; путь социального переустройства — крестьянская революция, новая пугачевщина. А в промежутке между временами Салтычихи и Пугачева и современностью, на их взгляд, не было почти ничего ценного. Разрушить и строить на новых, небывалых началах следовало все, от семьи до государства. А между тем 60-е годы — пора важных и благотворных государственных реформ. Важнейшие из них: земская (создание земств — местных органов самоуправления — 1864 год); судебная (учреждение судов присяжных, мировых судов, адвокатуры — 1869 год), военная. И главное — 19 февраля 1861 года в России отменено крепостное право.

В двух зданиях, стоящих неподалеку друг от друга на набережной Невы: Меншиковском дворце и в здании Двенадцати коллегий в 1861 году происходили события, знаменовавшие два возможных пути России. В Меншиковском дворце заканчивала работу государственная Комиссия по делу освобождения крестьян. В Петербургском

[1] Салтыкова Д. Н. — помещица, осужденная в 1768 г. на пожизненное заключение за истязания и убийства своих крепостных.

университете, занимавшем здание Двенадцати коллегий, произошли студенческие волнения, резко усилившие революционные настроения среди молодежи.

1861 год начался в столице неспокойно: ходили слухи о восстаниях крестьян, о том, что в Варшаве войска расстреляли демонстрацию. В католическом костеле на Невском проспекте служили панихиду по погибшим в Варшаве. Вместе с польскими студентами в костел пришли русские. После службы поляки запели:

Еще Польша не погибла, пока мы живем,
Что у нас забрали силой — силою вернем!

Вместе с ними пели и русские студенты. Вскоре Третье отделение начало следствие по делу этой демонстрации в костеле, но об участии в ней русских студентов умалчивалось. Тогда они сами официально уведомили полицию о своем участии в панихиде. Листы этого документа заполнены множеством подписей. Надо заметить, что «сочувствие шляхетским бунтам» было не характерно для русского общества того времени. Герцен, выразивший во время восстания 1863 года в Польше солидарность с поляками, потерял из-за этого большинство своих русских читателей.

Ответной мерой правительства на действия студентов стали новые правила для университетов, принятые в мае 1861 года, — с запрещением студенческих объединений, отменой бесплатного обучения неимущих, увеличением платы за обучение. Осенью, вернувшись после каникул в Петербургский университет, студенты оказались перед его закрытыми дверями. Большая демонстрация отправилась от здания Двенадцати коллегий на Колокольную улицу, где жил попечитель университета. Там ее встретили полицейские и солдаты во главе с полицмейстером и военным губернатором Петербурга. Попечитель обещал студентам, что занятия возобновятся. Однако правительство усмотрело в этой демонстрации опасность и приняло решительные меры. Ночью начались аресты студентов. А наутро возле Двенадцати коллегий собралась еще большая толпа.

Солдаты и полиция окружили ее и доставили студентов в Петропавловскую крепость. Конечно, не обошлось без рукоприкладства. За несколько часов в крепость прибыло более трехсот арестованных. Часть из них пришлось отправить в Кронштадт — в казематах крепости не хватило места. Без суда и следствия студентов несколько месяцев продержали под арестом. Однажды ночью на воротах крепости появилась надпись: «Императорский Петербургский университет». В декабре 1861 года студенты были освобождены.

Произвол власти имел роковые последствия: 1861 год положил начало многочисленным студенческим волнениям. Постепенно общество разделилось на два лагеря: сочувствовавших решительным действиям молодежи и осуждавших их. Слово «студенты» перестало означать просто учащиеся; оно подразумевало особый тип молодых людей, к которым окружающие относились по-разному: «Особенно пугали студенты, не носившие больше форменной одежды и любившие во всей своей наружности выражать независимость, а то и близость к народу. Многие и действительно происходили из низов, из среды, только тогда начинавшей стремиться к просвещению. Типичными чертами такого студенческого образа была широкополая мятая шляпа, длинные неопрятные волосы, всклокоченная нечесаная борода, иногда красная рубаха под сюртуком и непременно плед, положенный поверх изношенного пальто, а то и прямо на сюртук. Нередко лицо студентов было украшено очками, и часто эти очки были темными... Под пару студентам были курсистки — явление для того времени новое и носившее довольно вызывающий характер. Для типичной курсистки полагалась маленькая шапочка, кое-как напяленная, неряшливо под нее запрятанные, непременно остриженные волосы, папироска во рту, иногда тоже плед, сравнительно короткая юбка, а главное — специфически вызывающий вид, который должен был выражать торжество принципа женской эмансипации. К тому же под студентов и курсисток гримировалась и вообще вся „передовая“ молодежь, а быть не передовым считалось позорным... Это была мода дня!» — писал в воспоминаниях А. Н. Бенуа.

Студенты держались обособленными кружками, были завсегдатаями библиотек, кофеен, где за скромным завтраком можно было прочесть свежие газеты, журналы.

Самый популярный журнал у молодежи шестидесятых годов — «Современник». Издателем его был Н. А. Некрасов, критический отдел с 1856 года вел магистр Петербургского университета Н. Г. Чернышевский. Очень скоро он стал «властителем дум» молодежи. Радикальный критик российской жизни, убежденный в необходимости крестьянской революции, «мужиков с дубьем» (уже после отмены крепостного права!), Чернышевский наполнял свои статьи злободневными политическими намеками, пространными рассуждениями о прогрессе, общественной пользе искусства и т. д. Он был изрядно образован и категоричен в своих оценках, смело (но нередко поверхностно) рассуждал об истории и культуре. Обаяние сухого, прагматического мышления Чернышевского, видимо, навеки утрачено для потомков, но не то было в 60—70-е годы. Молодые современники боготворили его: «Повсюду, в столице и провинции, всего более в ходу „Современник“, Чернышевский производит фурор»; «его мы знали наизусть, его именем клялись, как магометанин клянется Магометом, пророком Аллаха».

После ареста и освобождения студентов в конце 1861 года в столице царила тревожная атмосфера. И в правых, и в левых кругах были уверены, что это только начало событий. Примечательно, что во время студенческих волнений у молодежи уже возникла мысль о терроре. В одном из кружков обсуждалась такая идея: «...тремстам человекам надо отправиться в Царское Село, напасть на дворец и захватить наследника; затем телеграфировать царю: он должен тотчас же дать конституцию или пожертвовать наследником». План едва ли осуществимый, но какова идея обмена жизни наследника на конституцию!

Достоевский верно передал в своих романах странную эмоциональную атмосферу, характерную для общества, особенно для молодежи той поры. Это было время скорее не «разума», а «чувства» (хотя в согласии с передовыми идеями было принято ссылаться на «разумное отношение

к жизни» и т. п.). Особое электричество в воздухе, лихорадочное душевное напряжение, предчувствие и готовность к переменам — свидетельства об этом мы находим в мемуарной литературе, посвященной 60—70-м годам.

Но вернемся к Достоевскому. В основу одного из эпизодов романа «Бесы» положено происшествие, случившееся в Петербурге в 1862 году. 2 марта на литературно-музыкальном вечере в пользу «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» либеральный профессор, историк В. П. Павлов выступил с лекцией, посвященной тысячелетию России. Казалось бы, тема академическая, и хотя говорил он главным образом о страданиях русского народа, никакой особой крамолы в его лекции не было. Однако и сам оратор, и слушатели впали в экстатическое состояние. Агент Третьего отделения, находившийся в зале, доносил, что читал Павлов «особенным, восторженным, пророческим голосом... поднимал вверх руку и указательный палец...». Он возглашал: «В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях русская земля наказалась вполне за страдания и позор низшего земского сословия! Не обольщайтесь мишурным блеском мнимой цивилизации этой скорбной эпохи! Никогда Россия не испытывала более тягостного состояния!..»

С данным утверждением профессора можно не согласиться, однако дело не в этом, а в том, как его слушали. «В зале творилось что-то невообразимое: люди плакали, кричали, вскакивали с мест, незнакомые обнимались...»[1]

[1] Хочется привести еще один пример воодушевления слушателей под воздействием оратора. В 1880 г. в Москве, на торжествах, посвященных открытию памятника Пушкину, Ф. М. Достоевский произнес речь. По воспоминаниям А. Ф. Кони, «на эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сли-

5 марта Павлов был арестован, 6 марта выслан из Петербурга в Ветлугу под надзор полиции. Право, все это: профессор, реакция зала и властей — оставляет грустное впечатление.

В начале мая 1862 года город был взбудоражен новым событием: появлением прокламации «Молодая Россия» (ее автор — П. Г. Заичневский, организатор революционного кружка в Московском университете). Листки прокламации находили в государственных учреждениях, на улицах, их получили многие петербургские писатели. Одна из них появилась на дверях квартиры Достоевского. Прокламация призывала к расправе с царствующей династией, с представителями власти. «Выход из страшного положения, губящего современного человека, один — революция, кровавая и неумолимая... Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы...» Эта свирепая экзальтация, призывы к разрушению и кровопролитию вызвали в столице тревогу и возмущение; повсюду толковали о студентах и их вожде Чернышевском, которые вот-вот начнут революцию. Слухи обрастали фантастическими подробностями.

В такой обстановке с 16 мая в Петербурге начались пожары. Горел центр столицы. «28 мая, в несчастный день сгорели Апраксин двор, Толкучий рынок, много капитальных домов частных владельцев, дом министерства внутренних дел, Чернышев и Апраксин переулок, дома и дворцы по левой стороне Фонтанки... барки на Фонтанке...» — свидетельствовал Н. С. Лесков. Даже не зная топографии города, можно представить размах этого пожара. А он был лишь одним из нескольких, не менее пагубных. Город охватила паника, все твердили, что пожары — дело рук «поляков, студентов и журналистов». «Что пожары в связи с прокламациями — в этом нет теперь ни малейшего сомнения», — писал Герцену его петербургский корреспондент. «Когда я вернулся в Петербург в день известного пожара Апраксина двора, первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого на Невском, было: „Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!“», — вспоминал И. С. Тургенев.

вались воедино и, как говорится, потрясали стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым людям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде, и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно».

То, что причина пожаров — поджоги, было очевидно. Толпы, собиравшиеся на пожары, хватали студентов, подозрительных людей, избивали их, иногда намеревались бросить «нигилистов» в огонь. Повсюду повторяли, что триста студентов поджигают столицу с разных концов (опять почему-то «триста»: триста человек должны похитить наследника, триста поджигателей, около трехсот арестованных студентов во время волнений 1861 года!).

Федор Михайлович Достоевский, как немногие, понимал трагизм конфликта молодого поколения с государством и обществом, страстно желал примирить новых людей с русской жизнью. Опасность разрушительного нигилизма, отрыва от национальных и религиозных основ — сколько он писал о гибельности этого пути и как страшно сбылись его пророчества. «Передовая» критика обвиняла его в мракобесии и клевете на молодежь. Во время пожаров в Петербурге произошло событие, которое дает представление об атмосфере тех тревожных дней. К Н. Г. Чернышевскому неожиданно пришел Достоевский. Они были мало знакомы, и этот визит удивил Чернышевского. Достоевский, очень взволнованный, сразу начал говорить: «Я пришел к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими!» Чернышевский был изумлен. «Я слышал, — вспоминал он, — что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не

полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлением о поджоге Толкучего рынка». Но как человек добросердечный, Чернышевский решил успокоить гостя: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание».

«Он схватил меня за руку, — вспоминал Чернышевский, — тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что я, по уважению к нему, избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город». А Достоевский, обрадованный его словами, записал в дневнике: «Я редко встречал более мягкого и радушного человека».

Что это были за пожары, кто поджигатели — неизвестно. Современники обвиняли нигилистов, поляков, революционеров; советские историки высказывали предположение, что поджигателями были агенты Третьего отделения. Но вряд ли властям требовалось прибегать к столь грандиозной провокации для расправы с противниками. Они и без того нередко арестовывали людей, а доказательства их вины фабриковали во время следствия.

«Отчего в наших правительственных людях, даже в лучших из них, такая шаткость, такая податливость, такая неимоверная, страшная несостоятельность?» — записал в дневнике Ф. И. Тютчев. Этот вопрос вспоминается, когда читаешь об одном из беззаконных действий правительства в 60-е годы — осуждении Н. Г. Чернышевского. Во время проведения судебной реформы, когда Россия получила судопроизводство по европейскому образцу, расправа над Чернышевским вызывала в памяти современников времена самого мрачного бесправия.

Еще до майских событий 1862 года в Третье отделение поступали десятки доносов с требованием арестовать Чернышевского «за возбуждение враждебных чувств к правительству». В июле 1862 года он был арестован и заключен в Секретный дом Петропавловской крепости. Александр II написал об этом брату Константину в Варшаву, и тот отвечал: «Как я рад известию об арестовании Чернышевского. Давно пора с ним разделаться!» Почти два года следственная комиссия занималась делом Чернышевского, но не нашла никаких убедительных свидетельств его незаконной политической деятельности. Предъявленное ему обвинение в составлении революционной прокламации тоже было бездоказательным.

Но за время заключения Н. Г. Чернышевский написал книгу, которая стоила десятка революционных прокламаций. Весной 1863 года его роман «Что делать?» появился в журнале «Современник» и вызвал целую бурю: «О романе Чернышевского толковали не шепотом, но во всю глотку в залах, на улицах, в подъездах... и в подвальной пивнице Пассажа. Кричали „гадость“ и „прелесть“, „мерзость“ — все на разные тоны», — вспоминал Н. С. Лесков.

Молодежь приняла «Что делать?» как руководство к действию. В Петербурге появились коммуны художников, музыкантов, студентов, офицерской молодежи «на социалистических основах». Некоторые из них просуществовали не один год. Особенно много толков вызывала Знаменская коммуна, организованная в 1863 году литератором В. А. Слепцовым (она описана Лесковым в романе «Некуда»), главным образом потому, что в нее входили и мужчины, и женщины.

Пока Петербург бурно обсуждал новое сочинение, его автор продолжал сидеть в Петропавловской крепости. Основываясь на сфабрикованных обвинениях следственной комиссии, Сенат приговорил Чернышевского к четырнадцати годам каторги и вечной ссылке в Сибирь. Император сократил срок каторги «особо вредному агитатору» до семи лет. Перед отправкой в Сибирь ему предстояло пройти обряд гражданской казни.

Ранним утром 19 мая 1864 года на Мытнинской площади собралось несколько сотен человек. Лил сильный дождь, но они терпеливо стояли вокруг эшафота. Подъ-

ехала тюремная карета, на эшафот поднялся Чернышевский, палач велел ему встать на колени и надел ручные кандалы. Долго читали приговор, писатель стоял на коленях под проливным дождем. Над его головой сломали шпагу, что означало лишение гражданских прав. «По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых... Кучки людей догнали карету и пошли рядом с ней. Молодой офицер крикнул: „Прощай, Чернышевский!“, и этот крик был немедленно поддержан другими», — вспоминал один из свидетелей казни. В карету полетел букет цветов... Такие сцены не забываются и не прощаются.

Петербург террористов

Покушение Каракозова. Жертвы, мученики, злодеи. Убийство Александра II. Казнь народовольцев. «Тайные диктаторы России»

В Петропавловском соборе, усыпальнице русских императоров, есть два надгробия, отличающиеся от остальных. Надгробия из уральских самоцветов установлены над могилами Александра II и его жены Марии Александровны. А в нескольких сотнях метров от собора, в коридорах тюрьмы Трубецкого бастиона мы увидим фотографии членов организации «Народная воля», некогда заключенных здесь. Эти молодые, волевые лица привлекают своей значительностью. Среди народовольцев было немало талантливых людей. С тех пор, как в августе 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор Александру II, все их способности и воля были направлены на то, чтобы привести его в исполнение. К тому времени уже больше десяти лет шла подлинная война экстремистской молодежи с властью.

4 апреля 1866 года на набережной Невы у Летнего сада стояла толпа, ожидавшая появления императора. Александр II ежедневно совершал прогулку по неизменному маршруту: Дворцовая площадь, набережная Невы, Летний сад. При его приближении молодой человек, стоявший в толпе, выстрелил. Пуля не задела императора. Стрелявшего схватили.

— Ты поляк? — спросил его Александр.

— Нет, я русский.

— Зачем же ты стрелял в меня?

На это молодой человек закричал, что царь, «обещав вольность крестьянам, обманул их». Он оказался студентом Московского университета Дмитрием Каракозовым, из дворян. На допросе Каракозов сказал: «Да, к несчастью, я принадлежу к этому проклятому сословию, но этим действием я себя из него вымарал». Впоследствии такие заявления уже перестанут удивлять: среди террористов было немало дворян, некоторые из них принадлежали к известным семьям. Так, Софья Перовская — правнучка блистательного вельможи елизаветинских времен графа К. Г. Разумовского.

К следствию по делу Каракозова было привлечено более двух тысяч человек, подозреваемых в революционной деятельности. Выяснилось, что Каракозов — член тайного общества, организованного в 1863 году в Москве Н. А. Ишутиным (двоюродным братом Каракозова). Об ишутинцах стоит сказать несколько слов, так как это общество в значительной мере отражало умонастроение революционной молодежи. Их деятельность, на первый взгляд, не вызывала подозрений. Они организовали «Общества взаимного вспомоществования», открыли переплетные и швейные мастерские на кооперативных началах, собирались открыть железоделательный завод в Калужской губернии. Что бы им, болеющим за интересы крестьянства, не попробовать наладить производство железа, столь нужного в мужицком хозяйстве? Но они хотели осчастливить народ сразу и навсегда, а не постепенно и по мелочам.

Целью тайного общества ишутинцев была подготовка крестьянской революции, пропаганда социализма. При этом: «...следствие установило, что ни единства мнений, ни четкой организации, ни серьезных дел у ишутинцев не было...» Присяжный поверенный Д. В. Стасов, человек левых убеждений, защищавший Ишутина на суде, писал: «В числе разговоров и мудрых предположений было такое: „Заставить“ или „просить“ правительство ввести социализм». На суде некоторые подсудимые говорили, что

«для введения социализма они хотели перевести некоторые книжки»... Но были предположения весьма крайние: «В случае необходимости истребить всю царскую фамилию по очереди» (Ф. Лурье. «Нечаевщина. Народная расправа»).

Тайное общество состояло из «Организации» и ее центра «Ада». Каракозов входил и в «Организацию», и в «Ад». Накануне покушения на Александра II он распространил рукописную прокламацию «Друзьям-рабочим», в которой призывал народ к революции и установлению социалистического строя после цареубийства. Но крестьянин Комиссаров, оказавшийся рядом с Каракозовым в толпе, ударил его по руке в момент выстрела, и Александр II был спасен. Его вопрос Каракозову: «Ты поляк?» показывает, что царь еще не осознавал новой политической реальности, вызвавшей этот выстрел. Охотиться за ним, устраивать покушения будут не польские революционеры (традиционные враги самодержавия), а русские террористы.

А пока столица ликует, что император невредим, и его спаситель Комиссаров — герой дня. Потрясенный Александр II говорит: «Да, Бог спас... Единственное утешение то, что жизнь наша в Его руках. Если я еще России нужен, то я не умру. А если я более не нужен, то да будет Его святая воля». Верховный уголовный суд приговорил Каракозова к повешению, восьмерых ишутинцев — к каторге, девятерых к ссылке в Сибирь. 3 сентября 1866 года Каракозов был казнен на Смоленском поле. Народу там собралось множество, ведь в Петербурге публичная казнь — невиданное зрелище. К несчастью, она окажется не последней.

Борьба революционеров с правительством развивалась по законам трагедии, шаг за шагом приближаясь к кровавой развязке. Каждая из сторон стремилась ответить на удар другой сильнейшим ударом. Как и полагается в трагедии, среди ее героев были жертвы, злодеи, мученики — не было только победителей.

Итак, жертвы, злодеи, мученики. Начнем со «злодея». В мнении, что он злодей, сходились революционеры раз-

личных направлений, правительства разных стран. Личность и деятельность С. Г. Нечаева и его организации «Народная расправа» легли в основу романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

Вольнослушатель Петербургского университета Нечаев после участия в студенческих волнениях 1868 — начала 1869 года уехал за границу, в эмиграции сблизился с М. А. Бакуниным и Н. П. Огаревым. А через несколько месяцев вернулся в Россию, объявив себя представителем вымышленного «Международного революционного комитета», который якобы направил его для организации «народной мужицкой революции». Нечаев успел составить в 1869 году несколько «пятерок» (групп из пяти человек) в Москве, в основном из студентов Петровской земледельческой академии и уцелевших ишутинцев. Кажется, единственным реальным действием «Народной расправы» за два месяца ее существования была расправа с членом организации И. И. Ивановым. Иванов не хотел беспрекословно подчиняться Нечаеву, уличал его во лжи, а кроме того, Нечаев намеревался «сцементировать кровью», связать круговой порукой участников своей организации.

Вскоре члены «Народной расправы» были арестованы, а Нечаев бежал за границу. В 1872 году он был выдан России швейцарскими властями как уголовный преступник и приговорен к двадцати годам каторги. Его заключили в Секретный дом Петропавловской крепости. Несомненно, Нечаев был незаурядным человеком, обладавшим особой силой внушения. Мы говорили о специально отобранной команде охраны Секретного дома, о строгости режима в этой тюрьме. За всю историю существования Секретного дома Нечаев стал единственным узником, который сумел подчинить своей воле его стражу. Через солдат охраны он связался с народовольцами и просил помочь ему в организации побега. Это происходило в 1881 году, незадолго до убийства Александра II. Исполнительный комитет «Народной воли» предложил ему самому решить, следует ли отложить подготовленное покушение на царя и заняться вместо этого побегом Нечаева. Тот отказался от свободы в пользу цареубийства. После разгрома «Народной воли» нечаевский заговор был открыт, охранники Секретного дома отправлены на каторгу, а Нечаев вскоре умер в этой тюрьме. Но это, так сказать, авантюрная часть истории Нечаева. Не менее примечательны его идеи.

Нечаев — автор «Катехизиса революционера», в котором сформулированы методы борьбы и правила, которым должен следовать революционер. «Революционер — обреченный человек. Он не имеет личных интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью: революцией». Для революционера не существует понятий морали, чести, законов общества. Он имеет право и должен для пользы дела прибегать к убийству, шантажу, компрометации «высших» классов, он должен устраивать провокации в отношении либералов, «праздно глаголящих в кружках и на бумаге».

В основу революционной организации у Нечаева положен принцип диктаторской власти ее главы, беспрекословного подчинения ему, взаимной слежки и доносов. Каковы же цели, для которых необходимы столь сильные средства? «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение». Революция «уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции порядка и классы в России». В статье «Главные основы будущего общественного строя» Нечаев обрисовал уготованный России путь. Взамен прежней государственности ее ожидает строй, при котором господствует принцип «производить для общества как можно больше и потреблять как можно меньше». Труд станет обязательным для всех под угрозой смерти, а руководить страной будет никому не подотчетный и неизвестный комитет, регламентирующий все человеческие отношения.

Мы плохо знаем свою историю, еще хуже — историю идей в России. Эта программа показалась бы фантастическим бредом, если бы спустя полстолетия не установилась власть, действующая по ее принципам. Но нечаевщина не сразу привилась в революционном сознании.

Первой реакцией на нее стало возмущение и стремление отмежеваться, уж слишком отталкивающей она предстала в своих откровенных формулировках. Но испуг прошел, и печать нечаевщины можно различить в деятельности «Народной воли», и еще явственнее — в дальнейшем развитии революционного движения.

«Жизненные силы молодого поколения похоронены самодержавием под снегами Сибири. Это хуже чумы. Чума убивает без разбора, а деспотизм выбирает жертвы из цвета нации, уничтожая всех, от кого зависит ее будущее, ее слава», — писал революционер-народник С. М. Степняк-Кравчинский о судьбе народнического движения.

В 70-е годы радикально настроенную молодежь захватила идея «хождения в народ». Сотни молодых людей поселялись в деревнях, работали на фабриках, в артелях, чтобы жить единой с народом жизнью, просвещать крестьян, помогать им в их нуждах. Степняк-Кравчинский справедливо относил эту часть молодежи к цвету нации: при иных условиях она могла бы стать связующим звеном в разделенном сословными и экономическими барьерами обществе. Но этого не случилось. Правительство начало борьбу с «нигилистами», прокатилась волна арестов.

В 1874—1875 годах Петропавловская крепость и Дом предварительного заключения стали заполняться участниками «хождения в народ» (всего их было арестовано около четырех тысяч, более тысячи доставлено в Петербург). Некоторых вскоре освободили, а семьсот человек томились в тюрьмах без суда по нескольку лет. За это время около ста из них сошли с ума или покончили с собой.

Наконец, в октябре 1877 года начался судебный «процесс ста девяноста трех». Остальные из нескольких сотен человек, содержавшихся в тюрьмах столицы, выступали на нем как свидетели. Подсудимых обвиняли в революционной пропаганде и создании организации для свержения государственного строя. Двадцать восемь из них были приговорены к различным срокам каторги, девяносто оправданы (правда, восемьдесят из них без права проживания в крупных городах), прочие получили разные сроки

ссылки. Многие из них бежали из ссылки и нередко возвращались в Петербург уже на нелегальном положении.

«Петербург производит в настоящее время, — писал в 1878 году из столицы П. И. Чайковский, — самое давящее, тоскливое действие на душу... Мы переживаем ужасное время, и когда начинаешь вдумываться в происходящее, то страшно делается. С одной стороны, совершенно оторопевшее правительство... с другой стороны — несчастная, сумасшедшая молодежь, целыми тысячами без суда ссылаемая туда, куда ворон костей не заносил, и среди этих двух крайностей равнодушная ко всему, погрязшая в эгоистические интересы масса, без всякого протеста смотрящая на то и на другое».

Хочется вступиться за массу, оказавшуюся между этими крайностями. Войдем в ее положение и задумаемся: к кому примкнуть, кому сочувствовать — власти, хватающей и ссылающей людей без суда, или молодежи, среди бела дня стреляющей в начальство и закалывающей людей на улицах столицы?

23 января 1878 года закончился «процесс ста девяноста трех», а на следующий день дворянка Вера Засулич явилась с прошением к градоначальнику Петербурга Ф. Ф. Трепову и ранила его выстрелом. Она собиралась убить Трепова за то, что по его приказу одного из политических заключенных выпороли розгами. Суд присяжных вынес В. И. Засулич оправдательный приговор.

4 августа 1878 года в Петербурге на Михайловской площади был заколот кинжалом шеф жандармов Н. В. Мезенцов. Его убийца Степняк-Кравчинский сумел бежать за границу. Подпольная типография в Петербурге выпустила в связи с убийством Мезенцова брошюру «Смерть за смерть». Чиновную столицу охватила паника, все ждали новых покушений. Через несколько дней после убийства Мезенцова рассмотрение политических дел решено было передать в военные трибуналы, а в 1879 году в Петербурге ввели военное положение.

2 апреля 1879 года Александр II вышел на обычную прогулку. Надо отдать должное его мужеству. Несмотря на опасность, он не изменил своих правил, маршруты его

проездов и прогулок были хорошо известны. И на сей раз император, сделав привычный круг, вышел на Дворцовую площадь. «В то время как из-за здания Гвардейского штаба показался император, приблизился мерными шагами и направился навстречу ему неизвестный человек, прилично одетый, с фуражкой на голове. Приблизившись спокойно, с руками, опущенными в карманы, на расстоянии около пятнадцати шагов, он мгновенно произвел по Его Величеству выстрел», — гласило донесение Третьего отделения.

Император бросился бежать. Пожилой человек (ему был 61 год), он зигзагами бежал по главной площади своей столицы, уклоняясь от пуль. Неизвестный выстрелил еще трижды, прежде чем был схвачен охраной. Император не был ранен. Арестованного привели в Зимний дворец; он успел принять яд, но его спасли. Выяснилось, что это Александр Соловьев, что он был одним из участников «хождения в народ»; императора решил убить по собственной воле. А. К. Соловьева повесили.

Но время террористов-одиночек заканчивалось. 26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор Александру II. Эта организация была серьезной силой, в нее входило около пятисот человек, спаянных строгой дисциплиной. Отныне вся эта небольшая армия (в ее составе были офицеры, рабочие, студенты, чиновники, «нелегалы») занялась подготовкой убийства.

В 1880 году в мастерских Зимнего дворца появился новый рабочий — столяр Степан Халтурин. Вместе с другими работниками он жил в подвальных помещениях дворца. Никто не подозревал, что этот скромный человек время от времени приносил в свое жилище динамит и складывал его в сундучок у кровати. «Народная воля», в которую входил Халтурин, готовила покушение — решено было взорвать парадную дворцовую столовую, когда в ней будет находиться царская семья. То, что погибнет не только Александр II, но еще множество людей, дела не меняло.

5 февраля 1880 года в Зимнем дворце был назначен парадный обед. В момент, когда приглашенные должны

были войти в столовую, в подвале раздался взрыв. Погибли пятьдесят солдат охраны, находившихся на этаже между столовой и подвалом. Но император и гости задержались, и никто из них не пострадал. «Столовая, когда вошли в нее после взрыва, представляла такую картину: все освещение потухло, в разбитые окна несся мороз, в полу зияло большое отверстие... Снизу доносились стоны раненых», — свидетельствовали очевидцы. Халтурин успел скрыться. Годом позже он был повешен в Одессе за участие в убийстве одесского военного прокурора.

После взрыва Зимний дворец тщательно обыскали, сделав при этом несколько неожиданных открытий: например, на чердаке дворца жила корова. Оказалось, она находилась там довольно долго, ее держал один из служителей.

До марта 1881 года покушения на Александра II оканчивались неудачами. Правительство не теряло времени: оно мобилизовало все силы полиции и сыска. Подозрительных «нигилистов» хватали, «Народная воля» несла большие потери. Все силы организации были сосредоточены на одном — успеть убить императора прежде, чем ее успеют уничтожить. Народовольцы верили, что цареубийство приведет к революции, станет сигналом к ее началу. Александр II, за которым они охотились, чувствовал свою обреченность. Однажды он приехал в Дом предварительного заключения и несколько часов пробыл один в пустой камере. Он хотел почувствовать состояние человека, заключенного в одиночке, понять причины ненависти революционеров.

Последнее покушение «Народная воля» готовила особенно тщательно. Для убийства избрали время, когда Александр II поедет из Зимнего дворца в Михайловский манеж, расположенный на Манежной площади. Обычно его карета следовала из дворца одним из двух путей: по Невскому проспекту и Малой Садовой — или по набережной Невы и Екатерининскому каналу.

В начале 1881 года на Малой Садовой улице открылся магазин сыров, принадлежавший мещанину Кобозеву и его жене (ими были народовольцы Ю. Н. Богданович

и А. В. Якимова). Торговля у них шла не бойко, зато в подвале магазина работа кипела. Из подвала вели подкоп под мостовую для взрыва царской кареты. Одновременно террористы готовили покушение на набережной Екатерининского канала. Метальщики с бомбами должны были ждать карету возле Михайловского сада. Покушение назначили на 1 марта.

Накануне этого дня был арестован Андрей Желябов, руководивший действиями народовольцев. Его место заняла член Исполнительного комитета Софья Перовская. 1 марта царская карета в сопровождении конвоя направлялась в манеж по набережной Екатерининского канала. По сигналу Перовской метальщик Рысаков бросил в нее бомбу; взрывом ранило лошадей, убило нескольких казаков конвоя. Карета опрокинулась, но Александр II не пострадал. Когда он выбрался наружу, к нему подошел метальщик Гриневицкий и бросил вторую бомбу. И император, и террорист были смертельно ранены. У Александра II были раздроблены ноги, он прожил несколько часов; Гриневицкий умер почти сразу. Погиб и мальчик-разносчик, оказавшийся поблизости.

Спустя полчаса, вспоминал Н. С. Лесков, на месте покушения «глазам предстало грязноватое месиво: затоптанный, местами зловеще розоватый снег, обломки разбитой кареты, клочья военной и „вольной“ одежды, обнаженная и разрытая мостовая, густые кровавые пятна на ней... Мы выбрались к Мойке и поехали на Дворцовую площадь. Она была залита народом. Говорили, что царь жив и, может быть, еще и поправится. Ближе к четвертому часу большой желтый императорский штандарт стал медленно сползать с флагштока на фронтоне дворца. Все стало ясно».

По показаниям Рысакова, схваченного на месте покушения, были арестованы все известные ему члены организации. Народовольцы с волнением ждали общественной реакции. В. Н. Фигнер писала в своих мемуарах «Запечатленный труд»: «...я бросилась к своим. Когда я вошла к друзьям, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала, как и другие: тяжелый кошмар, давивший десять лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, кровь наших мучеников — все искупала эта минута, пролитая нами царская кровь. Тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России».

Но реакция общества оказалась противоположной ожиданиям народовольцев. «На месте преступления, — вспоминал А. Н. Бенуа, — я побывал с мамой дня через два. Однако к самому месту, т. е. к перилам набережной Екатерининского канала, нельзя было подойти из-за толпы. Издали было видно, что на том месте, где взорвалась вторая, убившая государя бомба, выросла целая гора венков и цветов, а вокруг этой горы стояли часовые и никого не пропускали... А дней через десять выросла на месте покушения и часовня, скромная, но изящная, построенная из непокрашенного дерева и увенчанная золотой луковицей... Все нараставшая гора цветов теперь была расположена вокруг часовни, и тут же стоял стол для пожертвований на постройку храма на месте убиения царя-мученика — иначе убитого государя не называли. Рассказывали, что уже собраны баснословные суммы. Все рассказы носили почти одинаковый характер — ужас перед свершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до этого „нигилисты“ были почти в моде».

8 марта 1881 года Александр II был погребен в Петропавловском соборе. 3 апреля на Семеновском плацу состоялась казнь народовольцев: Андрея Желябова, Николая Рысакова, Николая Кибальчича, Тимофея Михайлова и Софьи Перовской. Из воспоминаний об этом дне хочется привести одно, хотя его автор не был на Семеновском плацу, а лишь видел проезд обреченных к месту казни: «Затрещали суровые звуки барабанов. Неясный гул, стук и гам надвигающейся лавины раздавался все больше... Впереди ехало несколько рядов солдат. А затем следовали две колесницы. Люди со связанными назад руками и с черными досками на груди сидели высоко наверху. Я помню полное, бескровное лицо Перовской, ее широкий лоб. Помню желтоватое, обросшее бородой лицо Желябова. Остальные промелькнули передо мной незаметно, как тени. Но ужасны были не они... а самый хвост процессии.

Я не знаю, откуда набран он был, какие отребья его составляли. На Сенной площади, у Вяземской лавры группировались такие фигуры. В обычное время в городе подобных выродков нет. Это были... босые люди, оборванные, пьяные, несмотря на ранний час, радостные, оживленные, с воплями несущиеся вперед. Они несли с собой лестницы, табуреты, скамьи. Все это, должно быть, краденое, стянутое где-нибудь. Это были „места" для желающих, для тех любопытных, что будут покупать их на месте казни... Они считали свою торговлю делом законным и безупречным. И смотрели на дело просто: если бы и их везли вешать, они не удивились бы, увидав эти лестницы и скамьи... Это было самое ужасное зрелище, какое я видел в жизни... Толпа пронеслась, образ ее затерялся среди пестроты жизни, но во мне он остался навсегда» (П. П. Гнедич. «Книга жизни»). Так закончилась история трагических героев «Народной воли». Процессия, напоминающая фантасмагории Босха, сопровождала их последний проезд по Петербургу.

Новый император Александр III, опасаясь покушений, вел гораздо более замкнутый образ жизни, чем его отец. Во время его поездки в Москву на коронационные торжества по всей линии Николаевской железной дороги были расставлены часовые на расстоянии 300—500 шагов друг от друга.

В 1881 году в придворных кругах столицы возникла тайная организация для борьбы с революционерами — «Священная дружина». В нее входили военные, чиновники, дипломаты, банкиры. Связи и финансовые возможности «Священной дружины» были велики, ее заграничные центры находились в Берлине, Вене, Париже. Она поставила своей целью уничтожить не только революционные организации в России, но и влиятельных революционеров-эмигрантов. «Дружина» даже издавала в целях провокации «революционные» газеты — «Вольное слово» и «Правда». Однако из-за неспособности ее участников к конспирации эта организация скоро стала темой анекдотов в Петербурге. В 1883 году она прекратила

свою деятельность по желанию Александра III. Советы по искоренению крамолы поступали в Россию отовсюду; например, Бисмарк предлагал преследовать нигилисток, вовлекающих своими чарами юношей в революционное движение.

В 1882—1883 годах «Народная воля» пережила кризис, после которого уже не смогла восстановиться. Однако погубили ее не газета «Правда», не усилия «Священной дружины» и даже не повальные аресты заподозренных в причастности к ней, а предательство и провокация. Одним из тех, кто готовил покушение на Александра II, был штабс-капитан в отставке Сергей Дегаев. Он в числе других вел подкоп на Малой Садовой, позже был арестован, каким-то чудом бежал из тюрьмы и в 1882 году возглавил в Петербурге Центральную группу «Народной воли». И никто не подозревал о том, что побег Дегаева из тюрьмы организовал инспектор тайной полиции, подполковник Георгий Порфирьевич Судейкин. (Невольно вспоминается Порфирий Петрович — следователь из «Преступления и наказания» Достоевского. Мелькнет шальная мысль: Георгий Порфирьевич — не сынок ли?)

Два этих молодых человека (Дегаеву двадцать пять лет, Судейкину — тридцать два года) со столь разными биографиями заключили тайный союз. Подполковник Судейкин начал службу в провинции, был переведен в Петербург, но здесь продвижение в чинах приостановилось. Министр внутренних дел Д. А. Толстой недолюбливал энергичного карьериста. И тогда Судейкин придумал поразительный план. Вокруг Дегаева — одного из немногих «старых» народовольцев, оставшихся на свободе, собиралась молодежь, готовая к действию. По плану Судейкина, террористы должны совершать убийства крупных сановников, а он, по подсказке Дегаева, вылавливать их. Дегаев, глава революционного подполья, и Судейкин, поднявшийся по ступеням власти, со временем станут тайными диктаторами России. Будущие диктаторы встречались на конспиративной квартире Дегаева на Гончарной улице. Судейкин колебался, на кого организовать первое покушение: на брата царя — великого князя Владимира

или на ненавистного начальника, графа Толстого? Решено быстро устроить покушение и на самого Судейкина, при этом легко ранить его, чтобы в правительственных кругах поняли, как он опасен в глазах революционеров.

Дегаев выполнял условия договора, выдавал членов «Народной воли», готовил задуманные покушения. Среди выданных им была В. Н. Фигнер — последний член Исполнительного комитета, остававшийся на свободе. То, что в организации есть предатель, становилось очевидным, но Дегаев умело отводил от себя подозрения. Один из молодых народовольцев, заподозренный в предательстве, покончил с собой, бросившись с моста в Неву.

Наконец, Дегаев был вызван за границу для объяснения с руководителями революционной эмиграции. Там он признался в сговоре с Судейкиным. Ему обещали сохранить жизнь, если он убьет Судейкина. Дегаев вернулся в Петербург, и в декабре 1883 года подполковник Судейкин был убит в квартире на Гончарной улице. А Дегаев, как ему и было обещано, при помощи бывших товарищей бежал за границу и поселился в Америке, где мирно скончался в 1920 году. Так — провокацией и предательством — завершилась история легендарной «Народной воли».

Заводь уходящего столетия

Город преображается. Слободские. Строительная лихорадка. Городские традиции. Знаменская площадь. Музыкальный Петербург. Роман престолонаследника. Революционное затишье. Иоанн Кронштадтский

Облик знакомого нам Петербурга — огромного города, плотно застроенного и заселенного, — сложился к началу XX века. А еще в 60-е годы XIX столетия город выглядел иначе. Постройки занимали меньше десятой части его площади, а значительная часть пространства, особенно на окраинах, — огороды, сады, пастбища, пустыри.

Деревянные дома с палисадниками оставались еще и на Невском проспекте, а между Пушкинской улицей и Знаменской площадью тянулся длинный забор, за которым находились огороды. Невский проспект от Знаменской площади до Александро-Невской лавры был «обстроен окруженными заборами деревянными домами с большими и частыми перерывами... На Петербургскую сторону, имевшую совершенно провинциальный вид, можно было переходить по Тучкову мосту... Каменноостровский проспект состоял из редких построек, перемежавшихся с длинными заборами, за которыми были обширные огороды...» — вспоминал А. Ф. Кони.

Население Петербурга к началу 60-х годов составляло почти полмиллиона человек. Это немало — по численности населения он уступал в Европе лишь Лондону и Парижу. Но в 1881 году население Петербурга и его приго-

родов достигло уже почти миллиона, а в 1900-м — полутора миллионов! За сорок лет число жителей столицы утроилось. Что же произошло? Конечно, причиной стал не естественный прирост населения, он-то как раз был невелик. Две трети населения столицы составили новые жители, переселившиеся сюда со всех концов России.

После отмены крепостного права множество крестьян устремилось в города в поисках работы. Получив место на фабрике или на заводе, они перебирались в столицу вместе с семьями, поселялись на окраинах и в пригородах. К 60-м годам в Петербурге было 137 фабрик и заводов, а к 1900 году — уже 642. В основном это предприятия тяжелой промышленности — металлургические, машиностроительные, металлообрабатывающие. Среди хозяев новых заводов было много дельных, талантливых промышленников и инженеров — для них настало время больших возможностей.

Инженер П. М. Обухов создал сорта стали, превосходившие по своим качествам все известные в то время. В 1862 году пушка, отлитая из стали Обухова, получила золотую медаль на Всемирной выставке в Лондоне, а в 1863 году он открыл в Петербурге свой завод по производству стали (Обуховский завод).

Другой петербургский инженер, Н. И. Путилов, во время Крымской войны построил несколько военных паровых судов, охранявших побережье Финского залива. В 1868 году Путилов, известный в промышленных кругах как энергичный и деловой человек, стал владельцем железоделательного и сталеплавильного завода, перешедшего в казну от разорившихся владельцев. По условиям продажи Путилов обязался в кратчайший срок наладить выпуск рельсов для Николаевской железной дороги. Завод перешел к нему 12 января 1868 года, а уже 30 января была изготовлена первая партия рельсов.

Основатели крупных предприятий не походили на карикатурных капиталистов, известных нам со школьных лет. Инженеры, изобретатели, получившие основательное образование, они были отличными работниками. Казалось, будущее России за ними. И опять, как в начале

XVIII столетия, десятки тысяч крестьян стали переселяться в Петербург. На Путиловском заводе открылись курсы для подготовки мастеровых разных профессий, больница для рабочих, школа. Дело процветало, но у его хозяина возник новый замысел. Путилов решил провести морской канал, соединяющий кронштадтский порт с Петербургом, и построить в столице новый порт. Устье Невы обмелело, и большие корабли уже не могли заходить в городскую гавань. Они выгружались в Кронштадте, а оттуда доставка грузов в Петербург на маленьких судах обходилась очень дорого.

В 1872 году Н. И. Путилов начал работы по проведению канала. Местом для нового порта был выбран Гутуевский остров, железнодорожная ветка должна была связать его с Путиловским заводом. Это грандиозное предприятие требовало огромных средств: на него уходила вся прибыль от завода, и все же денег не хватало. Путилову пришлось отказаться от единоличного владения заводом, превратить его в акционерное предприятие, но и эта мера помогла лишь на короткое время. В 1880 году Н. И. Путилов умер, не завершив строительства: канал и порт, достроенные за счет государства, были открыты спустя пять лет после его смерти.

Итак, почти 80 процентов фабрик и заводов Петербурга, существовавших в начале XX века, возникли за сорок предыдущих лет; население города за то же время увеличилось в три раза. В 1900 году почти 70 процентов петербуржцев составляли не его уроженцы, а приезжие; две трети из них — рабочие, выходцы из крестьянской среды. Такое мощное «вливание» нового населения, конечно, было чревато социальными конфликтами. Условия жизни рабочих, особенно в первые годы индустриализации Петербурга, были ужасны: семьи жили в бараках, часто даже не разгороженных на клетушки, или в квартирах — по нескольку десятков человек. Смертность в рабочих районах гораздо выше, чем в других: по данным 1893 года, в Александро-Невской части в два с половиной раза выше, чем в Адмиралтейской. Грязь, алкоголизм, преступность — составляющие жизни рабочей слободы. Ее обитателей мало

что связывало с великолепной столицей, с ее культурой, историей — она была им чужда, а они — ей. О слободских сложена известная поговорка: «Из деревни вышел, до города не дошел». Слобода имела собственные понятия, обычаи, моды, развлечения, свои излюбленные места гуляний.

Кольцо рабочих окраин, плотно обступивших город, — как солома, в любую минуту готовая вспыхнуть. Опасность, таившаяся в этой огромной, пока инертной массе, была очевидна для многих. Дальновидные хозяева заводов и фабрик строили дешевые дома для рабочих, при заводах открывались больницы, школы, воскресные школы для взрослых. Возникли различные благотворительные общества, помогавшие неимущим. «Общество народной трезвости» вело борьбу с пьянством; открывались культурно-просветительные центры — Народные дома.

В последние десятилетия XIX века Петербург охватила строительная лихорадка: если в 1880—1890 годах ежегодно появлялось около пятисот новых домов, то в 1897 году их выстроили больше тысячи. В 1880 году был утвержден «План урегулирования Санкт-Петербурга», в котором намечалось строительство новых улиц и благоустройство старых. По указу 1844 года запрещалось возводить дома выше здания Зимнего дворца, зато в плотности застройки участка домовладельцы вольны — в столице появляется все больше доходных домов с дворами-колодцами. Превращаются из сонных окраин в оживленные районы Петербургская сторона, отдаленная от центра часть Васильевского острова, улицы, прилегающие к Невскому проспекту. В архитектуре господствует эклектика, и постройки той поры поражают диковинной, разностильной красотой.

Перестраиваются целые кварталы, среди старых особняков появляются новые. Облик Петербурга меняется: цельность планировки, единство архитектурных ансамблей прежнего «вымышленного города» перебивается этими «новоделами», вырастающими всюду, как трава по весне. Наглядный пример — площадь Островского, на которой рядом с классическими творениями Росси расположились доходные дома в «русском стиле».

Горожане по-разному оценивали эти перемены. Еще в 1873 году Достоевский, находивший, что старый Петербург выглядит «псевдо-величественно и скучно до невероятности», с иронией писал о новшествах в очерке «Маленькие картинки»: «Право, и не знаешь, как определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких домов „под жильцов“, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных; с изумительною архитектурою фасадов: тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна... и непременно пять этажей, и все в одном и том же фасаде. „Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну а пять-то этажей ты мне все-таки выведи, жильцов пускать; окно окном, а этажи чтобы этажами“, — так хозяин наставляет архитектора».

Позже эстеты столицы будут грустить об уходящем былом. А. Н. Бенуа писал: «Петербург не тот, что прежде. Он как-то повеселел, не к лицу помолодел... По-прежнему в огромных окнах дворца отражается блеклая заря белых ночей, по-прежнему лепятся громады Биржи, Академии наук, Исаакия, Сената, Адмиралтейства, но вокруг этого Рима и Вавилона растет какая-то трава с веселенькими цветочками, воздвигаются огромные дома с приятными роскошными фасадами, открываются залитые светом магазины, наполненные всякой мишурной дрянью».

Меняется освещение городских улиц. В 60-е годы, по воспоминаниям А. Ф. Кони, вдоль тротуаров на Невском стояли «невысокие чугунные тумбы, выкрашенные в черную краску. Перед большими праздниками их жирно красят вновь, причиняя тем некоторый ущерб платьям задевающих за них франтих. В дни иллюминаций на них и около них ставятся зажженные и портящие воздух едким дымом плошки. На Невском, Морской и некоторых из главных улиц стоят на солидных чугунных столбах газо-

вые фонари. Все остальные местности в городе освещаются масляными фонарями. Такой фонарь имеет четыре горелки перед металлическими щитками, но свет дает лишь на очень близком расстоянии вокруг себя. В узкой Галерной улице такие фонари висят высоко на веревках, протянутых от домов с обеих сторон улицы». В конце 70-х годов газом освещаются улицы не только в центре города, но и на Петербургской и Выборгской сторонах; на окраинах масляные фонари заменены керосиновыми. Невский проспект в 1884 году уже освещен электричеством.

К концу XIX века Невский проспект становится центром деловой жизни столицы: здесь сорок банков, двадцать четыре банкирские конторы, десять страховых обществ, торговые дома многих фирм. Первые этажи зданий на Невском занимают рестораны, магазины, кафе. Сверкают пестрые рекламы, проспект залит целым морем огней. Центральные улицы города выстланы торцами; на окраинах тротуары сколочены из досок, а некоторые улицы так и остались немощеными, с непролазной грязью весной и осенью.

В 70-е годы Городская дума поставила вопрос о закрытии кладбищ в городской черте для улучшения санитарного состояния в столице. Это предложение столкнулось с множеством препятствий, но в 1873—1875 годах были открыты два новых пригородных кладбища: Преображенское в Обухове и Успенское в Парголове. В столице самым дорогим оставалось кладбище Новодевичьего монастыря на Забалканском проспекте. Кладбище Новодевичьего монастыря — одно из примечательных мест нашего города. Оно невелико, но вы найдете на надгробиях немало имен, известных в русской истории. Есть на Новодевичьем кладбище еще одна достопримечательность — надгробие со скульптурой, изображающей Христа на Его крестном пути. По воспоминаниям ленинградцев, переживших блокаду, в то страшное время люди приходили сюда молиться. В начале 80-х годов XX века городские власти хотели уничтожить это маленькое кладбище, перезахоронив «именитых», а остальные могилы сровняв

с землей. Не знаю, что помешало тогдашнему хозяину города Г. В. Романову, но кладбище Новодевичьего монастыря, к счастью, сохранилось.

Казалось, жизнь города менялась стремительно и необратимо, вытесняя все прошлое. Городу не было и двухсот лет, но лишь внимательный взгляд мог различить в нем первоначальные черты, следы замыслов его основателя. Долговечнее других оказались городские традиции, связанные с водой, с рекой. Пушечные выстрелы извещали жителей города о подъеме воды в Неве; в Крещение происходило торжественное водосвятие. Открытие навигации тоже было праздником. Горожане собирались на набережной Невы полюбоваться зрелищем: «Примерно в половине двенадцатого от Петропавловского берега отваливал двенадцативесельный катер, на котором стоял в полной парадной форме генерал, комендант Петропавловской крепости... Матросы гвардейского экипажа изо всех сил наваливались на весла, быстро пересекали Неву и лихо подходили к Зимнему дворцу, при этом все весла ставились «на валек» — вертикально, как полагалось в торжественных случаях и на парадах. Генерал направлялся во дворец, чтобы получить разрешение открыть навигацию. Через несколько минут он возвращался, и катер так же стремительно мчал его к крепости под грохот пушечного салюта, это почти всегда совпадало с полднем. Одновременно на сигнальной мачте крепости поднимался флаг. Все пароходы, стоявшие у пристаней, гудели и тоже поднимали флаги, то же делалось и на пристанях» (Д. А. Засосов, В. И. Пызин. «Из жизни Петербурга 1890—1910-х годов»).

С петровских времен сохранялся и ритуал похорон императора. А. Н. Бенуа вспоминал процессию, которую он видел 8 марта 1881 года, в день погребения Александра II: «Наконец, после многосотенной толпы духовенства в черных ризах появилась и печальная колесница с гробом... Цугом запряженных лошадей (в четыре или шесть пар) в траурных попонах вели под уздцы конюхи в своих эффектных мрачных ливреях. Тут же шли в касках с спадающим черным плюмажем скороходы. Четыре края высо-

кого балдахина были уставлены рядами рыцарских шлемов с колыхающимися перьями... Гроб, покрытый золотой парчой, стоял на высоком помосте». По традиции траурное шествие включало символические изображения Жизни и Смерти. «Жизнь была представлена закованным в золотую броню рыцарем, верхом на покрытом золотой парчой коне. Смерть олицетворял рыцарь в черных доспехах, следовавший пешком... черный рыцарь с опущенным забралом шел такой ковыляющей походкой, его так качало во все стороны, он так волочил ноги, что его можно было заподозрить в нетрезвости. Потом рассказывали, что, дойдя до крепости, этот несчастный пеший „рыцарь смерти" свалился в беспамятстве или даже умер. Несмотря на то, что для этой роли нашелся какой-то доброволец — мясник с Сенной, знаменитый своей атлетической силой. Видимо, и сам Геркулес не смог бы одолеть весь этот путь в пять, по крайней мере, верст пешком, местами по скользкому льду, коченея от холода, неся на своем теле пуда два железа и стали. Ведь его доспехи не были бутафорскими, то были подлинные исторические латы XVI века, выданные из императорского царскосельского арсенала...»

Этот печальный «рыцарь смерти», почти в беспамятстве провожающий в последний путь убитого императора, и впрямь символический образ. Город еще только раз увидит торжественную церемонию погребения императора, когда в 1894 году умрет Александр III. Сейчас он следует за гробом отца, а в одной из придворных карет едет его тринадцатилетний сын Николай, будущий император Николай II, который с его тринадцатилетним сыном и всей семьей будет расстрелян в 1918 году. Но пока — на закате столетия — ничего подобного нельзя и представить. По Невскому проспекту и Дворцовой набережной спешат придворные кареты; в Летнем саду и на Каменном острове можно встретить кавалькады всадников и всадниц. Аристократки одеты подчеркнуто строго, это выгодно отличает их от «новой аристократии» — богатых дельцов, чьи жены соревнуются в великолепии туалетов и драгоценностей. Когда придворные праздники и торжества выходят на улицы столицы, они кажутся маскарадом из далекого прошлого, хотя со времени пышных торжеств екатерининской эпохи не минуло и ста лет. А. Н. Бенуа описал такой праздник: «В 1889 году мне выдался случай увидеть вблизи высшее общество, мало того — царский двор и самого царя. В середине июня я в Петербурге был свидетелем одного из последних торжеств в духе и в масштабе великолепных придворных празднеств XVIII века. Праздновалось бракосочетание брата государя, великого князя Павла Александровича с принцессой греческой Александрой Георгиевной... Свадебный обряд был совершен в Казанском соборе, и туда... были доставлены высоконареченные, прибывшие в сопутствии всей царской родни из Петергофа морем и высадившиеся на Английской набережной. Оттуда свадебный поезд проследовал по главным улицам столицы — по Большой Морской и по Невскому проспекту...

Само шествие было задумано с намерением вызвать впечатление предельной роскоши, представляя собой сплошной поток золота: длинный ряд золотых карет, золотых ливрей, золотых мундиров... Вид парадных карет, иногда прекрасно расписанных и всегда густо разолоченных, сверкавших на солнце своими зеркальными стеклами и увенчанных „букетами" перьев — производил волшебное впечатление, и еще прекраснее были ровно ступавшие белоснежные лошади в богатейших сбруях, которых вели под уздцы ливрейные слуги в белых париках. Но я бы сказал, что эти исторические, баснословно роскошные экипажи производят в музеях большее впечатление, фантазия там добавляет то, чего в действительности не оказалось... Прямо смешными оказались налаживавшие порядок церемониймейстеры, скакавшие взад и вперед вдоль проезда (из них далеко не все были хорошими всадниками), и довольно жалкий вид являли старые камергеры и гофмейстеры, которые с непривычки должны были чувствовать себя крайне неуютно, сидя верхом на исполинских конях».

Такие выезды и шествия стали редкостью в жизни императорского двора. Его мир все более замыкается, укрывается от праздного любопытства. Значительную часть времени царская семья проводит в загородных резиден-

циях. Огромные залы Зимнего дворца заполняются лишь в дни парадных приемов и официальных торжеств.

Весной 1909 года на Знаменской площади был открыт памятник Александру III. Это создание скульптора Паоло Трубецкого вызвало в столице множество откликов: негодование одних и восторг других. Ему посвящено множество эпиграмм, с рифмами «комод» и «бегемот», «холопа» и «ж...а», примечательных скорее не остроумием, а развязностью. В 1939 году памятник был убран со Знаменской площади, но, к счастью, не уничтожен, и, возможно, со временем он займет прежнее место.

У Знаменской площади в истории города особая судьба. Долгое время она являлась «пограничьем» между парадным центром Петербурга и его окраинной частью. Там все было непритязательнее и грубее, окраины напоминали любой провинциальный город России. За Знаменской происходили конские торги и экзекуции каторжан; прогулки по пустынным окрестностям Старо-Невского проспекта считались небезопасными.

Сомнительную репутацию район, прилегающий к Знаменской площади и к Лиговской улице, сохранял и в начале XX века: там находились публичные дома и разного рода притоны. Окрестности вокзала привлекали (и привлекают) городских люмпенов: бродяг, нищих, алкоголиков, воров, проституток самого низкого пошиба. Эти обитатели вокзала вошли в городское присловье: об опустившейся женщине говорят, что она «как с Московского вокзала». Знаменская площадь долгое время и выглядела как пограничье, благодаря обмелевшему, грязному Лиговскому каналу. Только миновав его, вы вступали на Невский проспект.

Каждый период бурной истории Петербурга XX века стремился увековечить себя памятником на Знаменской площади. Гротескный монумент работы Трубецкого — в известном смысле памятник настроения и состояния русского общества в период между двумя революциями. Знаменскую церковь, стоявшую на площади с начала XIX века, снесли в 1940 году, соорудив на ее месте павильон метро «Площадь Восстания» — образчик «сталинской» архитектуры. В 80-е годы в центре площади появился безликий обелиск на грубом постаменте. Он замыкает панораму Невского проспекта, начало которого осенено шпилем Адмиралтейства.

Но вернемся к творению Паоло Трубецкого. Памятник Александру III был воспринят обществом как эпиграмма на время правления этого императора. О 80—90-х годах принято говорить как о поре реакции, общественного застоя. Жизнь столицы — в промежутке между бомбометанием и казнями народовольцев и революцией начала века — представлялась спокойной, ничем не примечательной. «Я помню хорошо глухие годы России — девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм — тихую заводь: последнее убежище умирающего века», — писал О. Э. Мандельштам в книге «Шум времени».

Попытаемся приглядеться, прислушаться к жизни, отшумевшей столетие назад. Волшебные фонари, музыкальные автоматы — новинки, выставленные в лавках Гостиного двора, привлекали жадное внимание детей. «Шум времени» О. Э. Мандельштама кажется волшебным фонарем, вызывающим из небытия разрозненные картинки прошлого. «Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в моем представлении из картин, разорванных, но внутренне связанных... Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды; мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающего капули[1] и „кок“... Конный памятник Николаю Первому против Государственного Совета неизменно, по кругу, обхаживал замшелый от старости гренадер, зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке...

[1] Капули — прическа с локонами.

В двух словах — в чем девяностые года. — Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала и дирижер Галкин — в центре мира».

Летние концерты в Павловском музыкальном вокзале начались в 1838 году. Сюда приглашали известных дирижеров и музыкантов; несколько сезонов оркестром дирижировал знаменитый «король вальса» — Иоганн Штраус. Публика с восторгом принимала не только «Сказки Венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае», но и его вальс «Петербургские дамы», «Конногвардейский марш». В 90-е годы дирижером на концертах в Павловском музыкальном вокзале был профессор Петербургской консерватории Н. В. Галкин.

Итак, музыка... Вслушиваясь, мы различаем музыку, которая пронизывала жизнь столицы. Она разнообразна и на все вкусы: оркестры на парадах и во время гуляний в Летнем саду, на Марсовом поле и Семеновском плацу; концерты в Дворянском собрании и великолепные спектакли Мариинского театра. Французский композитор Гектор Берлиоз, гастролировавший в Петербурге в 1867 году, писал: «Здесь любят все прекрасное; здесь живут музыкальной и литературной жизнью; здесь носят в груди такой огонь, который заставляет забывать и снег, и мороз».

В 30—50-е годы в Петербурге звучала музыка М. И. Глинки, а в 60-е годы в столице сложилась «Новая русская музыкальная школа» (по неудачному, на мой взгляд, выражению критика В. В. Стасова названная «Могучей кучкой»). В это блистательное содружество входили композиторы М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков.

«Народнические», в широком смысле слова, идеи дали русской культуре новый импульс. «Новая русская музыкальная школа» считала своей целью создание национальной музыки, в первую очередь обращаясь к народной традиции и фольклору. Любовь к своему народу может, как

мы видим, выражаться чрезвычайно разнообразно: в деятельности «Народной воли» — и «Новой русской музыкальной школы», в изготовлении разрывных снарядов — и в создании музыки.

В декабре 1890 года в Мариинском театре состоялась премьера «Пиковой дамы», «самой петербургской оперы», по словам одного из критиков. Пожалуй, опера Чайковского в большей мере, чем пушкинская повесть, повлияла на «петербургский миф», вошла в городскую легенду. Зимняя канавка с тех пор считается местом, где утопилась несчастная Лиза; вам покажут дом старой графини; а детские голоса, поющие «Гори-гори ясно», кажется, только что отзвенели в Летнем саду. Александр Бенуа вспоминал о премьере оперы в Мариинском театре: «Я не стану разбирать всю оперу и спектакль во всех подробностях. Скажу только, что мной овладел какой-то угар восторга... В мой восторг от „Пиковой дамы“ входило чувство благодарности. Через эти звуки мне приоткрылось многое из того таинственного, что я чувствовал вокруг себя. Теперь вдруг вплотную придвинулось прошлое Петербурга. До моего увлечения „Пиковой дамой“ я как-то не вполне сознавал своей душевной связи с моим родным городом... Эта опера сделала то, что окружающее получило новый смысл. Я всюду находил ту пленительную поэтичность, о присутствии которой прежде только догадывался... Меня „Пиковая дама“ буквально свела с ума, превратила в какого-то визионера, пробудила угадывание прошлого... Культ Чайковского только начинался и даже сам композитор не давал себе полного отчета, до чего он нужен своему народу, какое огромное значение он для него имеет».

Через три года после премьеры «Пиковой дамы» столица прощалась с великим композитором. Осенью 1893 года в Петербурге была эпидемия холеры, унесшая немало жертв. Среди них был и Петр Ильич Чайковский. Он похоронен в Александро-Невской лавре. В последний путь его провожало многотысячное траурное шествие; его смерть стала горем для всей России.

Представление о 90-х годах XIX века для нас, потомков, во многом определено атмосферой чеховской прозы. Однажды у Анны Андреевны Ахматовой спросили, отчего она не любит Чехова. Она ответила: «Была великолепная жизнь, как прекрасна всякая жизнь, дарованная, чтобы ее прожить. А Чехов словно закутывает все в пепел. Все у него скучно, и люди серые, и носятся они со своей скукой и тоской неизвестно почему».

Выберем из пепла погребенной эпохи несколько имен, судеб, историй, не обязательно общественно значимых — ведь всякая судьба значима сама по себе.

Начнем с мелодрамы. Ее героиня — танцовщица Императорской сцены, балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. Ее имя осталось в истории балета, ее дом — одна из достопримечательностей города; о Кшесинской писали восторженные рецензии — и сплетничали два десятилетия. Начало сплетням положил ее роман с великим князем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II. История их отношений складывалась по законам мелодрамы: внезапно вспыхнувшая любовь, неодолимые препятствия, разлука, борьба великодуший, страдания, редкие встречи.

Они познакомились в марте 1890 года на выпускном экзамене императорского Театрального училища. Туда приехал Александр III с семьей, он заметил талантливую танцовщицу. «Государь протянул мне руку со словами: „Будьте украшением и славою нашего балета“», — вспоминала Кшесинская. За ужином она оказалась рядом с Николаем Александровичем. «Перед каждым прибором стояла простая белая кружка. Наследник посмотрел на нее и, повернувшись ко мне, спросил:

— Вы, наверное, из таких кружек дома не пьете?

Этот простой вопрос, такой пустячный, остался у меня в памяти. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в Наследника» (М. Ф. Кшесинская. «Воспоминания»).

Матильде Кшесинской восемнадцать лет, Николаю — двадцать два. Летом они встретились в Красном Селе: он находился там на военных сборах, Кшесинская танцевала в спектаклях Красносельского театра. «После летнего сезона, когда я могла встретиться и поговорить с ним, мое чувство заполнило всю мою душу, и я только о нем могла думать. Нам ни разу не удалось поговорить наедине, и я не знала, какое чувство он питает ко мне».

Николай тоже увлечен, хотя записи в его дневнике куда сдержаннее записок его возлюбленной:

«17 июля, вторник: Кшесинская мне положительно очень нравится.

31 июля, вторник: После закуски в последний раз заехал в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской».

Он отправился в кругосветное путешествие, и они встретились лишь через полтора года. «Я сидела дома вечером... В передней вдруг раздался звонок, и я услышала, как горничная пошла отворять дверь. Она доложила, что пришел гусар Волков, и я велела провести его в гостиную... но вошел не гусар Волков, а — Наследник... Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить», — вспоминала Кшесинская.

Внезапное появление героя напоминает объяснение Германна и Лизы в опере «Пиковая дама». Николай чувствовал себя романтическим героем: «В одном из писем он привел слова из арии Германна в „Пиковой даме“: „Прости, небесное созданье, что я нарушил твой покой“... В другом письме он вспоминал любовь Андрия к польской панночке в „Тарасе Бульбе“ Гоголя, ради которой он забыл все: и отца, и даже родину. Я не сразу поняла смысл его письма: „Вспомни Тараса Бульбу и что сделал Андрий, полюбивший польку“».

Но, конечно, Николай Александрович не Германн и не Андрий, роковые страсти не тревожат его душу — он, возможно, несколько зауряден, но искренен и порядочен. «В один из вечеров, когда Наследник засиделся у меня почти что до утра, он мне сказал, что уезжает за границу для свидания с принцессой Алисой Гессенской, с которой его хотят сватать. Впоследствии мы не раз говорили о неизбежности его брака и нашей разлуки».

Родители Николая Александровича были против его встреч и сближения с Кшесинской. По желанию императора отцу Кшесинской было передано, чтобы он под благовидным предлогом отказал Николаю от дома. Однако на время отношение царской семьи смягчилось, и Кшесинская сделала решительный шаг: сняла дом на Английском проспекте и поселилась отдельно от родителей. «Много счастливых дней я прожила в этом доме. Наследник обыкновенно приезжал вечером, к ужину, весь день он был очень занят... Я знала приблизительно время, когда Наследник ко мне приезжал, и садилась у окна. Я издали прислушивалась к мерному топоту копыт его великолепного коня о каменную мостовую, затем звук резко обрывался — значит, рысак становился как вкопанный у моего подъезда».

То, что эта идиллия продлится очень недолго, было ясно всем. У Кшесинской было трудное объяснение с отцом: он спросил, понимает ли она, что никогда не сможет выйти замуж за Николая. «Я ответила, что отлично все сознаю, но что всей душой люблю Ники, что не хочу задумываться о том, что меня ожидает, я хочу лишь воспользоваться счастьем, хотя бы и временным, которое выпало на мою долю».

Такие решения легче принимать, чем следовать им. Она мучилась, видя, что Николай все менее свободен в своих поступках, ревновала, зная, что в Англии он виделся с принцессой Алисой. В апреле 1894 года было официально объявлено о помолвке наследника с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. «После своего возвращения Наследник больше ко мне не ездил, но мы продолжали писать друг другу. Последняя моя просьба к нему была позволить писать ему по-прежнему на „ты“ и обращаться к нему в случае необходимости.

На это письмо Наследник мне ответил замечательно: „Что бы со мной в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости“».

Рассказ Кшесинской об их последнем свидании странно напоминает атмосферу чеховской прозы: «После его

помолвки он просил назначить ему последнее свидание, и мы условились встретиться на Волконском шоссе, у сенного сарая, который стоял несколько в стороне. Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря. Как это всегда бывает, когда хочется многое сказать, а слезы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому же знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах...

Когда Наследник поехал обратно в лагерь, я осталась стоять у сарая и глядела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся вдали. До последней минуты он ехал, все оглядываясь назад. Я не плакала, но я чувствовала себя глубоко несчастной, и пока он медленно удалялся, мне становилось все тяжелее и тяжелее... Мне казалось, что жизнь моя кончена и что радостей больше не будет, а впереди много, много горя».

В октябре 1894 года умер Александр III, и Николай стал императором. Иногда императорская чета приезжала в Мариинский театр, и Кшесинская со сцены могла видеть «своего Ники». Однако память о прошлом не исчезла бесследно. Кшесинская рассказывает об их «встречах» спустя десять лет, когда она жила на своей даче в Стрельне. «Когда Государь возвращался в Петергоф из Красного Села... я выходила на горку к мосту, на котором ожидался Высочайший проезд... В этом месте был поворот, и нельзя было быстро ехать. Когда Государь приближался, его голова всегда была повернута в мою сторону и рука приложена к козырьку. Как сейчас помню его чудные глаза, устремленные на меня...»

«...Среди разного живописного хлама... я увидел небольшой картон, представляющий массивного всадника, с знакомыми очертаниями лица, на замечательно некрасивой лошади.

— Это что такое? — спросил я, удивленный.

— Это проект памятника Александру III.

„Проект памятника?.. Увековечение?.. Главная мысль царствования?!“ И я не мог оторвать глаз от рисунка...

Упрям конь и ни под шпорами, ни под музыкой не танцует. На сем „чудище облом“ царственно покоится огромная фигура, с благородным и грустным лицом, так далеким от мысли непременно кого-нибудь задергивать, куда-то гнать. Хотя „ведь нужно же куда-нибудь ехать“... Конь, очевидно, не понимает Всадника... Так все это и остановилось, уперлось» (В. В. Розанов. «Paolo Trubezkoi и его памятник Александру III»).

Время, когда «все остановилось, уперлось», было последним затишьем перед испытаниями XX века. Деятельность революционных экстремистов на время затихла, попытки гальванизировать «Народную волю» потерпели провал. В 1884 году в Петербурге была создана «Молодая Народная воля», но большинство ее членов арестованы уже через несколько месяцев. В 1886 году возникла Террористическая фракция «Народной воли» во главе с П. Я. Шевыревым и А. И. Ульяновым. Она готовила покушение на Александра III, приурочив его к 1 марта — дню гибели его отца. По счастью, дело не удалось — 1 марта 1887 года террористы были арестованы. В середине апреля состоялся суд над членами Террористической фракции. Пятеро из них: П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов, В. С. Осипанов, А. И. Ульянов, П. Я. Шевырев — были повешены в Шлиссельбургской крепости, остальные приговорены к каторге и ссылке.

В мае-июне 1887 года в Петербургском военно-окружном суде шел последний крупный процесс народовольцев — «процесс двадцати одного». Здесь обошлось без смертных приговоров, хотя двое подсудимых — Н. П. Стародворский и В. П. Конашевич обвинялись в убийстве подполковника Судейкина. За большинством осужденных почти на двадцать лет затворились ворота Шлиссельбургской крепости.

Уцелевшие революционеры жили в эмиграции, и теперь взрывы раздавались в пригородах Цюриха, Женевы, Парижа, Льежа... Там, в тайных лабораториях и мастерских, готовились бомбы для предстоящих покушений на Александра III. При опытах со взрывчатыми веществами и тренировках в бросании снарядов экспериментаторы нередко гибли или калечились. Терроризм — опасное ремесло.

Однако бо́льшая часть русского общества после кровавых событий недавнего прошлого отшатнулась от идеи насилия. Жизнь упорядочивалась, другие новости волновали столицу, и, услышав фамилию Фигнер, большинство петербуржцев решило бы, что речь идет о солисте Мариинского театра Николае Николаевиче Фигнере, а не о его сестре, приговоренной к пожизненному заключению за участие в цареубийстве.

В петербургских квартирах висели снимки Александра II на смертном одре; но многие студенты и гимназисты хранили портреты народовольцев. В «тихой заводи» 90-х годов скрыты подводные течения: общество, особенно молодежь, поляризуется, разделяется на два лагеря. Радикальная часть ее тяготится рутиной обыденной жизни, презирает «пошлость» обычной работы, карьеры, семейного счастья. Для нее привлекательнее жертвенность, «гибель во имя народа». Судьбы литературных кумиров как бы подчеркивают обреченность этого поколения. С. Я. Надсон умер от чахотки в двадцать пять лет, В. М. Гаршин покончил с собой в тридцать три года.

«А не хотите ли ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая... и в узком гробу девяностых годов лежала как живая... Вглядываясь в лицо Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли эпоха?

...Все время — литературная страда, свечи, рукоплесканья, горящие лица; кольцо поколения и в середине алтарь — столик чтеца со стаканом воды... Сюда шел тот, кто хотел разделить судьбу поколения вплоть до гибели — высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и Фетом... Как высокие просмоленные факелы, горели всенародно народовольцы с Софьей Перовской и Желябовым, а эти все, вся провинциальная Россия и „учащаяся молодежь“, сочувственно тлели» (О. Э. Мандельштам. «Шум времени»).

Среди высокомерно остававшихся в стороне были молодые люди с другими интересами и идеалами — некото-

рые из них станут творцами культуры «серебряного века». Александр Блок, в 1899 году студент юридического факультета Петербургского университета, был «вполне чужд политическому». Он описал в дневнике характерную для того времени сцену: «Я стал держать экзамены, когда „порядочные люди“ их не держали... На экзамене политической экономии я сидел дрожа, потому что ничего не знал. Вошла группа студентов и, обратясь к профессору Георгиевскому, предложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил какое-то (не знаю какое) выражение, благодаря которому сидел в слезах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь ли я экзаменоваться, и когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: „Вы подлец“. На это я довольно мягко и вяло сказал ему, что могу ответить ему то же самое».

Среди множества замечательных людей, имена которых связаны с Петербургом конца XIX — начала XX века, есть имя, стоящее совершенно особняком, — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте Иван Ильич Сергиев, Св. Иоанн Кронштадтский (канонизирован в 1990 году). Мы рассказывали о Св. Ксении Петербургской, жившей в XVIII веке. Образ Ксении гармонично вписывается в образ Петербурга той поры, и легко представить ее проходящей по улицам города елизаветинского времени. Религиозное чувство в народе, во всех сословиях его, еще не утрачено. И совсем другое дело — появление подвижника и чудотворца в Петербурге конца XIX века! Религиозная жизнь в упадке, бóльшая часть общества соблюдает обряды лишь формально, в среде интеллигенции преобладает атеизм. Вместе с тем появляется множество сект самого разного толка.

Одна из сект — «пашковцы» — возникла в Петербурге под влиянием англичанина лорда Редстока, приезжавшего в Россию в 1874 году. Он был проповедником секты евангельских христиан, отрицавших почитание святых, икон, авторитет церкви. В великосветских кругах Петербурга у Редстока нашлись последователи; среди них были граф А. П. Бобринский, барон М. А. Корф, страстной проповедницей идей Редстока стала Ю. Д. Засецкая (дочь

Дениса Давыдова). Главой секты был кавалергардский полковник В. А. Пашков, отсюда и ее название — «пашковцы». Мы упомянули о ней потому, что этот «великосветский раскол» вызвал в столице много толков.

Горячее признание в обществе нашло учение Льва Толстого, его представления о христианстве. Но для людей разных религиозных воззрений — и вовсе безрелигиозных — характерно неприязненное отношение к «попам». Сын писателя Николая Лескова вспоминал со слов отца: «В Москве Лесков... был у Толстого не один раз. Рассказам о вынесенных впечатлениях не было конца... Удержалась почему-то шутка со свечой, гасшей при произнесении перед нею кем-то из дочерей Толстого слова „поп“». Попы — излюбленная мишень для насмешек в прогрессивной печати и литературе.

Жизнь и труд священника Иоанна Кронштадтского несовместимы с мировоззрением значительной части его современников. Этот человек словно шел поперек потока эпохи, пытаясь изменить его направление. Иоанн Сергиев, сын бедного дьячка, родом был из Пинежского уезда Архангельской губернии. Он с отличием закончил духовную семинарию в Архангельске и был принят в Санкт-Петербургскую Духовную академию. В 1855 году Сергиев окончил курс академии и получил место священника в Андреевском соборе Кронштадта. Карьера его складывалась благополучно, и он мог рассчитывать на спокойную, безбедную жизнь. Но у молодого священника были иные представления о служении Богу и религиозном долге. Мы читаем в «Житии св. Иоанна Кронштадтского»: «Кронштадт был местом административной высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они ютились, по большей части, в жалких лачугах и землянках, попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от этих морально опустившихся людей, получивших название „посадских“».

Попечение о «посадских» становится главным предметом забот отца Иоанна. «Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за боль-

ными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Эти кронштадтские „босяки“, „подонки общества“, которых о. Иоанн силою своей сострадательной пастырской любви опять делал людьми, возвращая им утраченный ими было человеческий образ, впервые „открыли“ святость о. Иоанна».

В сущности, в его деятельности не было ничего необычного — он поступал, как должно доброму пастырю, настоящему священнику. Но уж очень это несозвучно со временем, с закостенелостью одной части общества, с революционным подъемом другой... И опять же — «поп»! Он раздражал всех — и чиновников, и церковные власти, и, конечно, либералов и «прогрессистов»: отец Иоанн вмешивается не в свои дела; прилично ли священнику пропадать на подозрительных окраинах и возвращаться домой чуть ли не босиком. Он либо юродивый, либо честолюбец и лицемер! «Одно время епархиальное начальство воспретило даже выдавать ему на руки жалование, так как он, получив его в свои руки, все до последней копейки раздавал нищим, вызывало для объяснений».

Над ним посмеивались в обществе, потешались в печати. А вскоре открылось, что отец Иоанн обладает даром прозорливца и чудотворца: по его молитве выздоравливали больные, прозревали слепые, в засуху проливался дождь... Это окончательно уронило его во мнении здравомыслящих людей. Еще как-то можно было бы допустить, что в отдаленном прошлом творились чудеса — но в наше просвещенное время? Когда изобретены паровые машины, электрическое освещение, телефон! Когда, наконец, Дарвин установил, что человек произошел от обезьяны (это почему-то считалось самым веским доказательством того, что Бога нет)!

Но весть о протоиерее Иоанне, проповеднике и чудотворце, разнеслась по всей России. «Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть о. Иоанна и получать от него ту или иную помощь. Еще большее число писем и телеграмм получал он: кронштадтская почта для его переписки должна была открыть особое отделение. Вместе с письмами и телеграммами текли к о. Иоанну и огромные суммы денег на благотворительность. О размерах их можно судить только приблизительно, ибо, получая деньги, о. Иоанн тотчас же их раздавал... На эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в Кронштадте... „Дом Трудолюбия“ со школой, церковью, мастерскими и приютом... а в Санкт-Петербурге построил женский монастырь на Карповке, в котором и был по кончине своей погребен» («Житие св. Иоанна Кронштадтского»).

Отец Иоанн постоянно бывал в Петербурге — его просили совершать молебны в учреждениях, в частных домах, навестить больных. Его окружали толпы почитателей: люди стремились получить благословение, даже просто прикоснуться к нему в надежде, что это принесет желанную помощь. Газета «Неделя» в 1885 году писала о его приездах в Петербург: «В центральной части города раз или два в день образуются огромные скопища... Из какого-нибудь дома или собора показывается священник, известный отец Иоанн. Он окружен толпою и еле движется... Его буквально рвут на части, и огромных усилий ему стоит сесть на извозчика, за которым бежит толпа без шапок...» В 1908 году отец Иоанн умер и был погребен в усыпальнице Иоанновского монастыря в Петербурге. Этот монастырь на набережной реки Карповки стал местом паломничества. По ряду свидетельств, у его гробницы происходили чудесные исцеления. Как и Ксения Петербургская, Иоанн Кронштадтский стал заступником и опорой верующих людей в самые трудные годы жизни города.

В числе почитателей Иоанна Кронштадтского были люди разной сословной принадлежности, но не интеллигенция. В чем же дело? А все в том же: он поп, более того — олицетворение всего поповского. Суть даже не в том, что деньги, стекавшиеся к нему, он тратил на милостыню, строительство монастырей и храмов, как делали лет за триста до него — но «не в наше просвещенное время». Главное — его проповеди и дневник, составившие книгу «Моя жизнь во Христе». Например, такая запись:

«Церковь — собрание видящих все в истинном свете. Все люди в мире не возрождены, подвержены слепоте сердечной, но сословие мнимо-ученых и писателей чиновного мира, студенческого, женского подвержены в большинстве самой гибельной слепоте от гордого самомнения, и тем хуже, что они не сознают своей беды и увидят ее лишь тогда, когда будут умирать и когда вся жизнь покажется им как на ладони» (Иоанн Кронштадтский. «Живой колос с духовной нивы»).

Иоанн Кронштадтский хотел с церковного амвона вразумить Россию, остановить набирающий силу разбег к пропасти. Писать и говорить то, что говорил он, в предреволюционную эпоху было смело — и обречено на провал. «Передовым людям» все это казалось отсталым, убогим... А слушали его «темные массы», которые не умели ни красноречиво убеждать, ни возражать, а после революции и разрухи большей частью разбрелись по своим деревням. Среди них был и мой дед, кронштадтский рабочий. Я помню его в разоренной деревне послевоенных лет, всегда что-то мастерящего и усердно молящегося. Кроткий свет его терпения и молитвы — отсвет трудов отца Иоанна.

Монастырь на Карповке, где погребен Иоанн Кронштадтский, в советское время был заброшен, то ли склад там был, то ли артель... Даже среди других разоренных храмов и монастырей он выглядел особенно опустелым, бессмысленно огромным. Теперь он снова стал монастырем. И записи Иоанна Кронштадтского мы, зная последующее, читаем теперь иначе, чем читали столетие назад, в его времени: «Господи, спаси народ русский, Церковь православную в России — погибают: всюду разврат, всюду неверие; богохульство, безначалие. Господи, спаси Самодержца и умудри Его! Господи, все в Твоих руках, Ты — Вседержитель!»

Закат Петербурга

Прекрасное Царское. Праздники воздухоплавания. Синематограф и прочие плоды прогресса. Трамвай через время

«Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас... Музыка играет так весело, так радостно, и кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!..» (А. П. Чехов. «Три сестры»).

На пороге нового столетия люди загадывали: каким он будет, этот век, чем их жизнь, их время отзовется и оправдается в будущем? Газеты и журналы публиковали разноречивые прогнозы: XX век откроет эру всеобщего процветания и прогресса; в XX веке человечеству грозит гибель из-за перенаселенности Земли; скоро наука откроет секреты долголетия и омоложения... Были и фантастические прогнозы: в XX веке люди полетят в космос, человек достигнет Луны! Насчет этого один из петербургских журналистов заметил: «Это вероятно в той же степени, как то, что Россия станет покупать пшеницу у Канады», — то есть совершенно невероятно.

Впрочем, отдаленное будущее волновало петербуржцев меньше, чем ближайшее. Какие перемены ожидают Россию в скором времени? А то, что они на пороге, было несомненным. Петербург, деятельный, многолюдный, всту-

пал в новое столетие, меняясь на глазах, украшаясь и богатея. В нетерпеливом стремлении к переменам в бурной жизни города еще оставались островки покоя, медленно текущего времени — тихие заводи уходящего столетия.

Таким было Царское Село, украшенное замечательными зодчими, прославленное поэтами и художниками. Со временем оно само стало казаться прекрасным творением искусства: не только дворцы и памятники, но и багрец осенних парков, туманы над прудами, летнее разноцветье лугов... Тишина Царского Села привлекала состоятельных людей, не любивших суету большого города; здесь жили отставные сановники и генералы, преуспевающие промышленники и финансисты. С 1904 года Царское Село стало зимней резиденцией императора Николая II.

Но времена пышных дворцовых празднеств ушли в прошлое. Царская семья жила довольно замкнуто. К резиденции, Александровскому дворцу, была проложена особая железнодорожная ветка. Когда император жил в Царском, в Александровский парк не допускали посторонних, а Екатерининский и Баболовский парки были открыты для всех.

Как и в прежние времена, в Царском Селе стояли гвардейские части; на улицах городка было много военных в яркой, щегольской форме: гусары, кирасиры, части императорского конвоя. Жандармы и полицейские, которых тоже хватало, не привлекали внимания и были привычным атрибутом городского пейзажа. Размеренная, тихая жизнь Царского Села казалась петербуржцам скучноватой. «„Город парков и зал“, переживший времена расцвета, оставался театральными подмостками, на которых изредка разыгрывались сцены из прошлого: „тезоименитства“ и „бракосочетания“, с придворными „арапами“, несущими на подушках регалии впереди бесконечного шествия... За ними — цугом белые лошади, запряженные в золотые кареты. А вечером — иллюминации, жемчужные нити фонариков вдоль оживленных улиц, сине-красные на домах вензеля, свист и золотые брызги ракет на синем бархате неба», — вспоминал историк искусства Э. Ф. Голлербах, посвятивший Царскому Селу книгу «Город муз».

Что может быть прозаичнее железной дороги — «чугунки», пригородного вокзала или городского катка? Но в Царском Селе все обретало особый колорит, оттенок «цитаты» — из живописи, литературы... «Откормленные рысаки, короткохвостые, мчат к вокзалу широкие кареты. Ливрейные лакеи распахивают дверцы, вытаскивают едва живых старух, берут им билет. В сиреневых шинелях, волоча палаши и звякая шпорами, гвардейцы улыбаются дамам и дамы гвардейцам... Блеск подведенных глаз под мелкою вуалью, узкая рука в лайке, искры брильянтов под соболями, огонек сигары...» — писал Голлербах. Кажется, эти сановные старухи, гвардейцы, дамы сошли со страниц «Пиковой дамы» или «Анны Карениной».

А вот картинка прямо с выставки художников «Мира искусства»: «На катке кружатся пары, солнце лижет лед, в „раздевалке“ пахнет дымом, теплом и душистым мехом. Паж катит кресло, склонясь к маленькому розовому уху; над ухом завиток, посеребренный инеем. Слегка звенят коньки, вырезая гравюры на ледяной стали...»

Да, в Царском Селе застоялся воздух уходящей эпохи. На его сияющих снегах нет заводской копоти, нет в его жизни и энергии нового времени. Оно словно не торопится вступать в будущее, вглядываясь в прошлое и вдыхая его воздух. Царскоселы, по мнению петербуржцев, нарочито подчеркивают свою «несовременность»: «Приметы этой редкостной породы людей: повышенная восприимчивость к музыке, поэзии и живописи, тонкий вкус, безупречная правильность тщательно отшлифованной речи, чрезмерная (слегка холодноватая) учтивость в обращении с посторонними людьми...» (К. И. Чуковский. «Из воспоминаний»).

Образ заводи уходящего столетия — Царского Села начала века, — связан с образом его поэта — Иннокентия Анненского. Анненского — немолодого и казавшегося старомодным в кругу новой петербургской литературы — одного из лучших русских поэтов столетия. Иннокентий Федорович Анненский был директором Николаевской гимназии в Царском Селе — и образцом царскосела: «В манерах, в светскости обращения

(Анненского. — *Е. И.*) было, пожалуй, что-то от старинного века... Совсем особенный с головы до пят — чуть-чуть сановник в отставке и... вычитанный из переводного романа маркиз», — вспоминал С. К. Маковский в книге «Портреты современников».

Этот красивый, несколько замкнутый человек казался воплощением заслуженного признания и спокойного достоинства. Долгое время лишь близкие друзья знали, что Анненский поэт, а за его обманчивым спокойствием таится трагическое переживание красоты и обреченности жизни, своего одиночества. «Вчера я катался по парку — днем, грубым, еще картонно-синим, но уже обманно-золотым и грязным в самой нарядности своей, в самой красивости — чумазым, осенним днем, осклизлым, захватанным, нагло и бессильно-чарующим. И я смотрел на эти обмякло-розовые редины кустов, и глаза мои, которым инфлуэнца ослабила мускулы, плакали без горя и даже без ветра...» Это строки одного из его писем 1909 года.

В 1904 году Иннокентий Анненский выпустил первую (и единственную при жизни) книгу стихов «Тихие песни» под псевдонимом «Ник. Т-о» («Никто»). Ему было 49 лет; молодые поэты Блок и Брюсов одобрительно отозвались о дебютанте. 30 ноября 1909 года он умер от разрыва сердца на ступенях Царскосельского вокзала в Петербурге. Год спустя вышел сборник стихов «Кипарисовый ларец», а с ним пришли запоздалые признание и слава. Многие молодые поэты, среди них и царскоселы Ахматова и Гумилев, считали его своим учителем. Имя Анненского стало легендой, а Царское Село — местом паломничества для поклонников его поэзии. «С кончиной Анненского Царское Село осиротело... с „душой города“ что-то случилось, она затосковала о том, кто был, по слову Гумилева, „последним из царскосельских лебедей“. Одинокая муза бродит в пустых аллеях, где вечером „так страшно и красиво“, поет и плачет...» — писал Э. Ф. Голлербах.

В Царском Селе звучали стихи Ломоносова, Державина, Пушкина, Жуковского, Тютчева... И Анненского,

с пронзительной любовью воспевшего сумеречную, увядающую красоту Царского Села:

Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.
Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан,
Одни туманы к ней холодные ласкались,
И раны черные от влажных губ остались.
Но дева красотой по-прежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.
Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...
Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.
Особенно, когда холодный дождик сеет,
И нагота ее беспомощно белеет...
О, дайте вечность мне, —
и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

И. Анненский. «PACE» (Статуя мира)

За окном поезда, идущего из Царского Села в Петербург, проплывает название станции: платформа Воздухоплавательная. В поле за нею эллинг; в нем хранятся летательные аппараты, принадлежащие военному ведомству, воздушные шары и дирижабли. Полеты на воздушном шаре для петербуржцев давно не новость. Мы упоминали о полете, совершенном в столице в 1829 году. С тех пор множество смельчаков поднималось в воздух (в их числе и почтенный профессор Д. И. Менделеев). Позже появились дирижабли. В 1885 году в русской армии была сформирована военно-воздушная команда; в сражении при Мукдене в 1905 году участвовал русский воздухоплавательный батальон. В начале столетия петербуржцы стали свидетелями первых в России показательных авиационных полетов. Местом для их проведения избрали Коломяжское скаковое поле за Новой Деревней, вскоре переименованное в Комендантский аэродром.

21 апреля 1910 года толпы горожан спешили туда, чтобы увидеть полет французского авиатора Г. Латама на аэроплане «Антуанетта». Полет был назначен на 11 часов

утра, однако аэроплан поднялся в воздух лишь к вечеру. Он не единожды разбегался, набирал скорость, останавливался... К машине спешили механики, Латам вылезал из кабины, зрители ждали. И так — много часов... Однако любовь требует жертв, любопытство — не меньших, а любовь к необычному, новому была, как еще в XVIII веке заметил Георги, отличительным свойством петербуржцев. На закате «авиетка» Латама поднялась в воздух на несколько десятков метров, продержалась в полете целых полторы минуты и благополучно приземлилась. Зрители в восторге бросились на поле, смели заграждение и на руках понесли героя и его аэроплан.

Есть события, остающиеся в памяти поколения, при этом совсем не обязательно самые исторически значимые. Так, 24 сентября 1910 года, один из дней Первого всероссийского праздника воздухоплавания, запомнили многие горожане. Пока Латам и другие залетные гости поражали воображение петербуржцев, во Франции у авиатора и авиаконструктора А. Фармана обучалась летному искусству группа русских инженеров; среди них был морской инженер, капитан Л. М. Мациевич. Получив звания пилотов, они вернулись в Россию. В Первом всероссийском празднике воздухоплавания в Петербурге участвовали русские летчики. Они были необыкновенно популярны, о них много писали, портреты этих отважных молодых людей появлялись в журналах. То было время восторженного отношения к авиации и авиаторам, время стремительно сменяющихся рекордов.

На празднике воздухоплавания было много известных летчиков; Мациевич считался одним из лучших, и зрители встречали его «Фарман-IV» приветственными криками. Так было и 24 сентября: «В тот день Мациевич был в ударе. Он много летал один; ходил и на продолжительность, и на высоту полета; вывозил каких-то почтенных людей в качестве пассажиров... „Фарман“, то загораясь бликами низкого солнца, гудел над Выборгской, то, становясь черным просвечивающим силуэтом, проектировался на чистом закате, на фоне вечерних облачков над заливом. И внезапно, когда он был, вероятно,

в полуверсте от земли, с ним что-то произошло...» — вспоминал Л. В. Успенский.

Самолет развалился в воздухе. На летное поле порознь падали мотор, обломки корпуса «Фармана», крохотная человеческая фигурка... Гибель Мациевича поразила петербуржцев. Может быть, еще и потому, что это случилось во время праздника, на глазах у тысяч зрителей, множества детей — обнаженный ужас этой смерти, судорожное дерганье летящей к земле фигурки... День его похорон стал в столице днем траура. Церковь Адмиралтейства, где отпевали авиатора, была заполнена венками и цветами; многотысячное шествие провожало его в последний путь. Черновой набросок стихотворения Блока «Авиатор», относящийся к 1910 году, возможно, написан под впечатлением гибели Мациевича. «Авиатора» Блок посвятил памяти другого летчика, Ф. Ф. Смита, гибель которого он видел во время Авиационной недели в мае 1911 года. «В этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация; мы все помним ряд красивых воздушных петель, полетов вниз головой, — падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов», — писал А. А. Блок в предисловии к поэме «Возмездие».

Показательные полеты, праздники воздухоплавания, эффектные зрелища — это начало, первые шаги русской авиации. Но уже прославлено имя С. И. Уточкина; штабс-капитан П. Н. Нестеров разрабатывает сложнейшие фигуры высшего пилотажа. 27 июля 1913 года он выполнил в воздухе знаменитую «мертвую петлю» — «петлю Нестерова». А через год, 26 июля 1914 года, погиб в воздушном бою, впервые в истории авиации пойдя на таран... Первые шаги авиации, ее первые герои и жертвы: Л. М. Мациевич погиб в тридцать три года, П. Н. Нестеров — в двадцать семь; а сколько еще славных имен и судеб русской молодежи связано с нею!

Полет Латама в апреле 1910 года длился 100 секунд. Французскому летчику не повезло: Российский аэроклуб обязался выплатить ему крупную сумму, если он продержится в воздухе 120 секунд. Но эти полторы минуты парения Латама на «Антуанетте» были праздником для восхищенных зрителей.

Другое новшество в столице начала века — кинематограф. 4 мая 1896 года в Петербурге, в театре «Аквариум» (впоследствии на этом месте расположилась киностудия «Ленфильм»), состоялся первый в России киносеанс. Были показаны «живые картины»: прибытие поезда, городская толпа на улице... «Восторг зрителей был громадный, так что по требованию публики пришлось еще раз показать картину, изображавшую прибытие поезда», — писала газета «Петербургский листок». Фильмы длились по нескольку минут: зрители увлеченно следили за поливальщиком улицы, за проездом экипажа. То, что люди и экипажи на экране двигались, было поразительно, невероятно! Кинематограф сразу покорил мир. В Петербурге открывались новые кинотеатры; к 1914 году только на Невском проспекте их было восемнадцать. Поначалу их называли по-разному: «синематографы», «иллюзионы», «электротеатры». Летом они, как и театры, заканчивали сезон и закрывались до осени.

В 1907 году в Петербурге было основано «Синематографическое ателье А. Дранкова» — первая русская фирма по производству фильмов. Для почина был избран сюжет из отечественной классики: фильм «Сцена из боярской жизни» представлял несколько фрагментов из пушкинского «Бориса Годунова». В 1908 году появился фильм «Стенька Разин», или «Понизовая вольница» — инсценировка песни «Из-за острова на стрежень». Играли в нем артисты петербургского Народного дома. Картина была почти «полнометражной», она шла около десяти минут.

Странно смотреть эти первые фильмы. Актеры загримированы так, как было принято в театре: щедро, даже гротескно. И двигались они перед камерой так, как привыкли на небольшом пространстве сцены. В «Стеньке Разине» толпа размалеванных, энергично жестикулирующих господ могла бы сойти за «дикую вольницу» атамана, но несчастная персидская княжна раскрашена столь же густо... Эти «трагические тени» и круги под глазами у героев мелодрам делали их несколько похожими на лемуров, что не мешало зрителям проливать слезы, смеяться — и влюбляться в киногероев.

Самыми популярными в начале века были те же жанры, что и сейчас: боевик и детектив. Огромным успехом пользовались боевик «Приключения знаменитого начальника Петроградской сыскной полиции И. Д. Путилина» и детектив «Рукой безумца». Неизменно привлекали зрителей названия вроде «В сетях порока», «В лапах дьявола», «Обнаженная наложница» и прочее, и прочее...

«Петербург — самый страшный, зовущий и молодящий кровь из европейских городов», — записал в дневнике Александр Блок.

С раннего утра на город накатывает волна шума. Она начинается с окраин: грохочут по булыжнику телеги ломовиков, повозки с колесами почти в человеческий рост, запряженные битюгами. Ломовых извозчиков в городе полсотни тысяч, их повозки — основной грузовой транспорт.

Волна шума приходит с окраин. Там просыпаются на рассвете от заводских гудков. У каждого завода и фабрики гудок своего, особого тона, их не спутаешь, а вместе они сливаются в густой вой. По первому гудку рабочие встают, по второму — выходят из дому, с третьим должны быть на рабочем месте. Через час-полтора шум докатывается до центра. На его тротуарах утренняя толпа, на мостовой не меньшее оживление: коляски, дрожки, конка, дилижансы, повозки ломовиков.

Весь этот движущийся поток оглушает шумом: гремят окованные железом колеса дилижансов, дребезжат на стыках рельсов вагоны конки. Кучера и извозчики кричат на пешеходов, бестрепетно снующих по мостовой. Вот ломовик выкатил на рельсы конно-железной дороги, и вожатый конки яростно трезвонит в колокол. Никакого регулирования движения или мест для перехода улицы нет и в помине, хотя пешеходы частенько предпочитают мостовую тротуарам и переходят улицу, где вздумается. Регулировщики появились на наиболее оживленных перекрестках незадолго до Первой мировой войны.

Тишина наступает лишь к ночи. Она приходит с окраин — в рабочих кварталах рано ложатся спать. В сумер-

ках Невский проспект и центральные улицы ярко освещены; электрическим светом сияют витрины магазинов, окна ресторанов и театров. В пригородах видно розовое свечение неба над вечерней столицей, прибоем докатывается ее отдаленный гул. Петербург растет не только вширь, но и вверх: все выше его дома. Уходит в прошлое провинциальная тишина Песков или Петербургской стороны, теперь эти места застроены многоэтажными зданиями. В 1912 году Александр Блок записал в дневнике, что Большой проспект теперь главная улица «современного Петербурга, ибо Невский потерял свое значение».

«Мы помним строительство гостиницы „Астория“ и появление дома Елисеева, замену небольшого двухэтажного дома на углу Садовой улицы и Воскресенского проспекта большим зданием, в котором ныне размещается райисполком Октябрьского района[1], появление доходных домов и громадного универмага Гвардейского общества (ныне Дом ленинградской торговли)[2]... Каменноостровский проспект... превратился в прекрасную магистраль с большими, благоустроенными домами. Получился модный проспект с торцовой мостовой», — писали в своей книге «Из жизни Петербурга 1890—1910-х годов» петербургские старожилы Д. А. Засосов и В. А. Пызин.

Однако благоустройство и комфорт городской жизни определяются не только многоэтажностью домов, но и такими важными удобствами, как водопровод и канализация. Водопровод в Петербурге существовал уже несколько десятилетий: в 1863—1864 годах в центральных частях города провели первую сеть длиною в 115 километров; в 70-е годы водопровод появился в Василеостровской,

[1] Эти сведения приведены по состоянию на 1991 год. Теперь здесь размещаются административные учреждения Центрального района Петербурга.

[2] По рассказам старых горожан, универмаг Гвардейского общества на Большой Конюшенной в советское время поначалу назывался «Ленинградским домом торговли» — ЛДТ. Во время борьбы с троцкизмом «органы» раскрыли вредительский смысл этой аббревиатуры — «Лев Давыдович Троцкий». После этого универмаг переименовали в «Дом ленинградской торговли», хотя непонятно, чем ленинградская торговля отличается, скажем, от тамбовской.

Петербургской и Выборгской частях. С 1911 года водопроводная вода проходила двухступченчатую очистку, соответствующую требованиям санитарии.

С городской канализацией дело обстояло хуже. В прежние времена домовые уборные устраивали во дворах, в пристройках или в специальных помещениях на лестничных клетках. Нечистоты сливали в выгребной колодец во дворе; люди, чистившие эти колодцы, назывались золотарями. Нередко предприимчивые домовладельцы присоединяли выгребные колодцы своих домов к системе подземных уличных водостоков — так нечистоты попадали в реки и каналы. Грязь, зловоние, угроза инфекций, таившаяся в их воде, много лет были предметом тревоги медиков, темой дебатов в Городской думе. К началу века началось строительство городской канализационной сети. В 1917 году ее протяженность составила уже 486 километров. Из-за революции и последующей разрухи некоторым петроградским окраинам пришлось дожидаться этого существенного удобства еще десять лет.

Еще одно новшество в петербургских домах — телефоны. Первая линия телефонной связи появилась в Петербурге в 1882 году: она соединила Зимний дворец с резиденцией Александра III в Гатчине; в 1898 году начала работать первая междугородняя линия: Петербург—Москва. Однако телефон недолго оставался привилегией царственных особ и высших чиновников: в 1895 году в Петербурге было около четырех тысяч абонентов, а в 1911-м — свыше пятидесяти тысяч.

В начале века на улицах столицы появились автомобили. В 1913 году их насчитывалось около двух с половиной тысяч: государственных и частных; были и таксомоторы. Автомобили — предмет роскоши — и выглядели соответственно: просторные, сверкающие стеклом, металлом, кожей сидений. Все они иностранцы — в России производства автомобилей не было. Попав в уличный затор, автомобиль, в отличие от вульгарных соседей: конок, пролеток, ломовиков, оглашавших воздух звоном и криком, выражал нетерпение мелодичными звуками своего клаксона. Некоторые автомобильные клаксоны испол-

няли целые музыкальные фразы. По правилам уличного движения 1901 года скорость автомобиля в городе не должна превышать двенадцати верст в час.

Население Петербурга продолжало расти: с 1897 по 1913 год оно увеличилось в полтора раза, а население пригородов — в два с половиной раза. Город, как и раньше, притягивал людей. Мужчин в нем по-прежнему было больше, чем женщин; зато по количеству проституток и незаконнорожденных детей, отданных в приюты и воспитательные дома, он намного опережал другие города России. Потребность столицы в рабочих руках была велика: ведь число ее заводов и фабрик увеличилось за первое десятилетие века почти в полтора раза. Город «накачивался» новыми людьми, не задумываясь о возможных последствиях. В 1910 году семьдесят процентов его жителей по происхождению было из крестьянского сословия, большая часть их — горожане в первом поколении. К 1917 году коренные жители Петрограда, родившиеся и выросшие в нем, составят лишь 26,4 процента его населения, а остальные — приезжие, пришлые... Первая мировая война усугубила «великое переселение», продолжавшееся к тому времени уже почти полвека. В том, как разворачивались революционные события в Петрограде, сыграл роль и этот непомерный приток «чужаков». Омолаживающийся за счет прилива сил со стороны, город накапливал новую энергию. В ней был залог всего: блистательного искусства и великих потрясений, расцвета и гибели...

Как над просыпающимся вулканом, над Петербургом стоит темное облако. С высоты аэроплана видно, что и днем небо подернуто серой пеленой от дыма множества труб, а заводские окраины тонут в густом сумраке. «Ночь — на широкой набережной Невы около университета чуть видный среди камней ребенок, мальчик. Мать („простая“) взяла его на руки, он обхватил ручонками ее за шею — пугливо. Страшный, несчастный город, где ребенок теряется, сжимает горло слезами» (А. Блок. «Дневник»).

В 1907 году на улицах Петербурга появились трамваи. Первый маршрут проходил из центра города — от Александровского сада к Кронштадтской пристани на набережной Васильевского острова. По своему значению эта перемена в городской жизни сравнима, пожалуй, только с открытием метрополитена. Поначалу трамвайный вагон разделялся перегородкой на два класса, но вскоре перегородки сняли: пассажиры предпочитали не переплачивать за первый класс. Цена за билет была невелика, но все в трамвае было добротно, нарядно, солидно: лакированные скамьи, широкие окна, форменная одежда вожатого и кондуктора. На снимках, запечатлевших открытие первой трамвайной линии в Петербурге, мы видим солидных мужчин, сознающих важность своей профессии. Женщины — вожатые и кондукторы — появились лишь в годы Первой мировой войны.

Трамвайные маршруты связали окраины с центром города, сомкнули в единое целое его разрозненные части. Трамваи шли от Невского проспекта к Невской заставе, от тихого, дремотного Лесного к гремящему под тысячами колес Литейному мосту. Они стали самым демократическим транспортом в Петербурге: здесь соседствовали люди разного социального положения, обычно мало соприкасавшиеся друг с другом. Герой рассказов Честертона патер Браун говорил, что вокруг нас в городе полно «невидимок»: мы не обращаем внимания на почтальона, рассыльного, мойщика окон... Кто станет вглядываться в их лица? Никто, пока они исправно делают свое дело.

Люди разных классов общались в границах установленных правил и, живя в одном городе, не особенно замечали друг друга. Да и транспорт у них был разный: у одного — собственный выезд, другому по карману было нанять лихача, третьему — извозчика-«ваньку», а четвертый предпочитает пользоваться «одиннадцатым номером» (так называли ходьбу пешком). Но с появлением трамваев, с их удобными маршрутами и доступной платой за проезд, большая часть горожан оценила их преимущество. И тогда, сидя лицом к лицу на новеньких лакированных скамьях, петербуржцы смогли лучше разглядеть друг друга — и подивиться тому, как они несхожи. Или столкнуться с тем, от чего, казалось, отгородились стенами своего дома, круга, мира...

1911 год. «Выхожу из трамвая (пить на Царскосельском вокзале). У двери сидят — женщина, прячущая лицо в скунсовый воротник, два пожилых человека неизвестного сословия. Стоя у двери, слышу хохот, начинаю различать: „Ишь... какой... верно... артис...“ Зеленея от злости, оборачиваюсь и встречаю два наглых, пристальных и весело хохочущих взгляда... Пьянство как отрезало, я возвращаюсь домой, по старой памяти перекрестясь на Введенскую церковь» (А. Блок. «Дневник»).

1913 год. Поэт Бенедикт Лившиц под утро возвращается домой из «подвала» — артистического кабаре «Бродячая собака» на Михайловской площади. «Я возвращался на Петербургскую сторону маршрутным трамваем, соединявшим одну окраину с другой. Его прямым назначением было развозить рабочих по фабрикам. Но он был, вместе с тем, неоценимым средством передвижения для всех, кто, прогуляв ночь, стремился на ее исходе попасть к себе домой и не имел денег на извозчика... В зеркальном стекле я видел свое отражение: съехавший на затылок цилиндр, вытянутое лицо, тяжелые веки. Остальное мне нетрудно было бы мысленно дополнить: двойной капуль, белила на лбу и румяна на щеках — еженощная маска завсегдатая подвала, уже уничтожаемая рассветом...

...На меня смотрит в упор... пожилой рабочий в коротком полушубке. В глубине запавших орбит — темное пламя ненависти. Мне становится не по себе» (Б. Лившиц. «Полутораглазый стрелец»).

Городское пространство густо исчерчено трамвайными линиями. В гремящие вагоны временами врывается злой ветерок неустроенного, затаившего угрозу мира. Страшен «заблудившийся в бездне времен» Петрограда 1920 года, летящий в неизвестность трамвай:

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

(Н. Гумилев. «Заблудившийся трамвай»)

Он мчится по обезумевшему городу, его пассажиры обречены, а за окнами еще можно различить то, что припоминается душе в последний миг: Петербург, «Медный всадник», жизнь, любовь... И нынешний город, где «мертвые головы продают», где «в красной рубашке, с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне».

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Но не вырваться из зачумленного вагона. Николай Гумилев написал «Заблудившийся трамвай» в марте 1920 года. В августе 1921 года он был казнен.

Трамвай, безотказная рабочая лошадь, трудится, несет свою службу в Ленинграде. Он давно утратил щеголеватость, про него распевают частушки («Шел трамвай десятый номер, на площадке кто-то помер...»). В его вагонах разъезжают герои Зощенко. Даже названия у ленинградских трампарков анекдотические: имени Блохина, имени Коняшина... В блокадную зиму на улицах стынут страшные, проржавевшие остовы вагонов; возобновление трамвайного движения в осажденном Ленинграде — важнейшее событие: значит, город оживает.

Конец сороковых годов. На Троицком поле, где мы живем, трамвайное кольцо. Зимой, ранним утром, мы с мамой входим в вагон и долго ждем, когда он тронется. Холод такой, что без варежки не притронуться к скамье — жжется. Пассажиры садятся потеснее друг к другу, у всех подняты воротники. Сидят с закрытыми глазами, дремлют; лица в слабом освещении серые, неживые. И мама неподвижна, уткнула нос в воротник. Трамвай пошел, зазвонил, но у всех, даже у кондуктора, по-прежнему закрыты глаза. Только я сижу с открытыми — и мне одиноко и страшно.

Пляски смерти

Пораженцы и террористы. Январь 1905 года.
Охотник за провокаторами. Провокатор Азеф.
Юбилейные торжества в Петербурге.
Молодцы юнкера! Самоубийства среди молодежи.
Секты в городе. Распутин и Щетинин.
Успех футуристов. Предвестья войны.
После объявления войны. «Полное разложение».
Убийство Распутина

Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнию своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!

А. Блок. «Голос из хора»

«Пляски смерти». Взявшись за руки, в танце движется вереница людей: рыцарь, дама, монах, девка, крестьянин, купец, солдат... А предводитель, влекущий их за собой, — скелет с косою, Смерть. Этот средневековый сюжет приходит на память, когда вглядываешься в жизнь России и ее столицы начала XX столетия.

«Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед... Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась т р а г е д и я. О, не всеми. Но очень многими, в очень многих», — писала З. Н. Гиппиус в своих воспоминаниях «Дмитрий Мережковский».

Что же в русском обществе ломалось, оставалось позади? И что — «воскресло»? Согласно традиции, сложившейся в исторической литературе, самое трагическое и позорное событие в жизни России начала столетия — поражение в войне с Японией (1904—1905). Но у какой

страны не бывало поражений? В российской истории их никак не больше, чем побед. В тени разгрома фашистской Германии как бы подзабылась победа советских войск над японской Квантунской армией и капитуляция Японии в 1945 году. Почему же «бездарность командования», «позор поражения» 1905 года так врезались в память? Потому что тогда в России его пережили особенно тяжело: оно совпало с острым общественным кризисом. Именно раскол в обществе, а не военная неудача, грозил стране потрясениями и смутой. Для радикально настроенных людей это поражение стало поводом для обличения царизма, а у людей умеренных вызвало сомнение в силе государства и армии.

«Громче и отовсюду стали слышаться требования „обуздания правительственного произвола“, непопулярная японская война способствовала развитию уродливого явления — пораженчества... Проиграв войну, обанкротившись, существующий режим должен будет уступить иному, разумеется, более культурному, опирающемуся на более передовые данные, выработанные политической наукой», — вспоминал А. Н. Бенуа.

Но на пути вожделенного будущего стояли такие «предрассудки», как патриотизм, чувство национальной гордости, доверие к власти — то, что в глазах революционеров делало народ «несознательной массой». В 1904 году эсеры в Петербурге готовили убийство министра внутренних дел В. К. Плеве. Один из них, И. П. Каляев, выслеживая карету министра, одевался уличным торговцем, «...таскал тяжелый ящик, продавал папиросы, разную дребедень и картинки „героев“ японской войны. Говорил — „ненавижу эти картинки, во мне страдает художественное чувство! А иной дурень платит за них последний пятак. Герои «Варяга», Чемульпо — грудь колесом, нахальные рожи, слава отечества! Патриотизм — повальная эпидемия глупости. Погодите, дурачье, собьет с вас спесь японец!“» (А. И. Солженицын. «Август четырнадцатого»).

В июле 1904 года эсер Созонов убил в Петербурге Плеве. В феврале 1905 года Каляев убил в Москве генерал-губернатора, великого князя Сергея Александро-

вича. Но большая часть народа почитала героями не террористов-бомбометателей, а моряков «Варяга» и «Корейца», защитников Порт-Артура. В 1904 году в Петербурге были написаны стихи, ставшие народными песнями: «Варяг» («Плещут холодные волны...») Я. Репнинского и «Памяти „Варяга“» («Наверх вы, товарищи, все по местам...») Е. Студенской.

Миру всему передайте,
Чайки, печальную весть:
В битве врагу мы не сдались —
Пали за русскую честь!..
(Я. Репнинской. «Варяг»)

Как это не созвучно с тем, чем были тогда заполнены газеты! В. В. Розанов записал несколько лет спустя: «Прочел в „Русск<их> Вед<омостях>“ просто захлебывающуюся от радости статью по поводу натолкнувшейся на камни возле Гельсингфорса миноноски... Да что там миноноски: разве не ликовало все общество и печать, когда нас били при Цусиме, Шахэ, Мукдене?.. Японский посланник при каких-то враждебных Японии статьях... левых русских газет и журналов, сказал вслух: „Тон их теперь меня удивляет: три года тому назад (во время войны) русская радикально-политическая печать говорила о моем отечестве с очень теплым чувством“... Да, русская печать и общество, не стой у них поперек горла „правительство“, разорвали бы на клоки Россию и раздали бы эти клоки соседям даже и не за деньги, а просто за „рюмочку“ похвалы». Тогда разорвать Россию не удалось, понадобилось еще двенадцать лет.

В Петербурге после проигранной войны вошел в моду «японский стиль»: духи, кимоно, курильницы. И изящно, и с вызовом — это вам не картинки с героями «Варяга»! В обществе, даже в самых высоких кругах его, явственны интерес и сочувствие к революционерам. Особенно к эсерам. Их партия создана недавно, в 1901 году, а сколько успела сделать! Список ее политических убийств (их называли «актами») устрашал числом и именами жертв. Среди них два министра внутренних дел:

Д. С. Сипягин (1902) и В. К. Плеве (1904), губернаторы, генералы...

Террористам не просто сочувствовали — в обществе, даже в самых высоких кругах его, им помогали. А молодежь стремилась к ним: «Красоту и философию террора хорошо понимала Женя Григорович. И ведь опять: дочь генерала, и генерал-то — почти единомышленник! тоже знак времени! — помогал ей спасать революционеров от ареста, прятал у себя в доме заговорщиц, узнавал часы проезда и приема намеченных к удару лиц...» (А. И. Солженицын. «Август четырнадцатого»).

Таких героев и героинь десятки и сотни. Среди них немало людей, разыгрывавших жизнь, как на театральных подмостках: злодей сражен, герой на эшафоте, зрители в слезах. Сколько слез было пролито о красавце Лебединцеве, астрономе Пулковской обсерватории, казненном в 1908 году! На поприще терроризма он, глава «Летучего боевого отряда Северной области», избрал звучное имя — Марио Кальвино. Оперной красотой этих имен и героев пленялись многие; Леонид Андреев увековечил Лебединцева в «Рассказе о семи повешенных».

Однако к террору можно относиться и без экзальтации, как к работе. Просто и буднично говорит эсер Борис Савинков о соратнике по партии: «...Азеф состоит членом партии с самого ее основания... Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас. Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его спокойное мужество террориста, наконец, его глубокую нежность к семье... Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним».

Об Азефе речь впереди. Обратите внимание на стиль Савинкова: так же косноязычно, с теми же оборотами, заговорят в советское время на собраниях и съездах. Террор будут называть работой и не преминут упомянуть о добродетелях палачей. Задолго до победы большевиков сложилась и другая примечательная стилистика — та, что будет в ходу на партийных чистках и на политических про-

цессах. В 1912 году Троцкий пишет в статье «Николай II»: «Вконец обделенный природой, вырожденец по всем признакам, со слабым, точно коптящая лампа, умом... Николай был воспитан в атмосфере казарменно-конюшенной мудрости и семейно-крепостнического благочестия своего родителя, крутого и тупого Александра III... Романов озлобляется — и то подлое и порочное, что лежит в основе его натуры, все бесстыдное выступает наружу. Тупая апатия все чаще сменяется в нем припадками эпилептической злобы. Он быстро привыкает к веревке, свинцу, кандалам, крови — и чтение о погромах, заточениях, расстрелах доставляет ему сладострастное удовлетворение». Читая речи Савинкова, статьи Троцкого, вспоминаешь слова булгаковского героя: «Когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите». Это бредовое сознание и демагогия в радикальных кругах были в ходу задолго до 1917 года.

На снимках 1905 года — толпы петербуржцев, внимающих ораторам. Много молодых, оживленных лиц. Во что они так напряженно вслушиваются? В революционные речи, в нарастающий рев грядущего. «Петербург окружает кольцо многотрубных заводов... Все заводы тогда волновались ужасно, и рабочие представители толп превратились все до единого в многоречивых субъектов; среди них циркулировал браунинг; и еще кое-что. Там обычные рои в эти дни возрастали чрезмерно и сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную черноту; и фабричный инспектор хватался тогда за телефонную трубку: как, бывало, за трубку он схватится, так и знай: каменный град полетит из толпы в оконные стекла» (Андрей Белый. «Петербург»).

В конце 1904 года на Путиловском заводе уволили четырех рабочих. Товарищи потребовали принять их обратно, а мастера Тетявкина, виновника увольнения, убрать с завода. Дирекция не согласилась — и 3 января 1905 года Путиловский завод забастовал. Вероятно, мастер Тетявкин был неправ. Первая русская революция, в историю которой таким образом вошло его имя, не имела времени разбираться в столь незначительном происшествии. Однако оно стало поводом, вызвавшим самые серьезные последствия. Бастующие путиловцы потребовали сократить рабочий день до восьми часов, увеличить жалованье, вдвое повысить расценки оплаты сверхурочных работ и т. п. К Путиловскому заводу присоединились другие, и в начале января в Петербурге бастовало 456 заводов и фабрик, около 113 тысяч человек.

9 января депутация рабочих, сопровождаемая многолюдным шествием, направилась к Зимнему дворцу — подать императору петицию со своими требованиями. Последующее известно: императора в столице не было, рабочих встретили войска петербургского гарнизона. Они открыли огонь, 130 человек было убито.

Организовал депутацию священник Георгий Гапон, руководитель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». «Собрание», созданное Гапоном, было легальным рабочим союзом, достаточно влиятельным и многочисленным к 1905 году. Ни он, ни другие авторы петиции не предполагали возможности расправы над мирным шествием, безоружными людьми. На Дворцовой площади Гапон был ранен. Инженер Путиловского завода, эсер П. М. Рутенберг помог ему скрыться и бежать за границу. В Петербург Гапон вернулся после объявления политической амнистии в октябре 1905 года. А в марте 1906 года Рутенберг с сообщниками повесили его в пустующей даче в Озерках. Гапона убили за то, что, находясь за границей, он согласился сотрудничать с Охранным отделением (политической полицией). Об этом он рассказал Рутенбергу, тот уведомил ЦК эсеров и получил задание «ликвидировать» Гапона. Примечательно то, что убийство совершилось с согласия главы Боевой организации эсеров Азефа — как выяснилось позже, давнего провокатора и агента охранки.

На этом история не завершилась: вскоре провокатором объявили самого Рутенберга. И он, столь отличившийся во время революционных событий 1905 года[1]

[1] В эмиграции Рутенберг работал в Германии и Италии как инженер-гидротехник. Стал убежденным сионистом, активно выступал за создание еврейского государства в Палестине. В июле 1917 г. вернулся в Россию, при Временном правительстве был в Петрограде заместителем губернского комиссара по гражданским делам. В 1919 г.

(нелегально доставлял оружие в Петербург, был командиром боевой дружины), вынужден был бежать.

Трагедия 9 января стала началом революции в России. Императорский манифест 17 октября 1905 года, провозгласивший свободу слова, собраний, узаконивший многие права и свободы, уже ничего не мог изменить. «В мастерских, типографиях, парикмахерских, молочных, трактирчиках все вертелся какой-то многоречивый субъект; нахлобучив на лоб косматую черную шапку, завезенную, видно, с полей обагренной кровью Манджурии; и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман, многоречивый субъект многократно совал первому встречному в руку плохо набранный листик... Учащались ссоры на улицах: с дворниками, сторожами; учащались ссоры на улицах с захудалым квартальным; дворника, полицейского и особенно квартального надзирателя задирал пренахально: рабочий, приготовишка, мещанин... даже лавочник...

Слышал ли и ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было...» — писал Андрей Белый в романе «Петербург».

И слова у этой песни новые. На собрании петербургского Совета рабочих депутатов в октябре 1905 года уже не было речи о петициях к власти: «Депутат Металлического завода объявил, что все они... в числе двух тысяч человек вооружились... при этом он поднял вверх отточенный с одной стороны нож с деревянной рукояткой. Депутат с Путиловского завода... вынул самодельный клинок и заявил, что у них вооружаются все 12 тысяч рабочих... Депутат от завода Лесснера... показал металлическую плетку со свинцовым наконечником...»

На кого же они собрались с плетками, ножами, кастетами? А на черносотенцев и контрреволюционеров! Так,

---

уехал в Палестину. Там в 1923 г. организовал Палестинскую электрическую компанию, строил электростанции в Тель-Авиве, Тверии, Хайфе. К 1932 г. эта компания обеспечивала электроэнергией всю страну. Так Рутенберг наполовину осуществил ленинское представление о коммунизме — «полная электрификация» (но без советской власти) в Палестине.

значит, революция? В петербургской губернии крестьяне вырубают казенные леса, грабят хлебозапасные магазины, жгут усадьбы... По всем приметам — революция.

«Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей», — писал Андрей Белый. Действительно, из несомненной реальности событий: с толпами на улицах, ревом «Долой самодержавие!», пальбой, казачьими разъездами — из реальности этой вдруг проваливаешься в ирреальность, в то, что Андрей Белый называл «мозговой игрой». В тени, отбрасываемой словом «р е в о л ю ц и я», явственно читается: «п р о в о к а ц и я».

Давно нет на свете жандармского подполковника Судейкина, а его сообщника и убийцы Дегаева давно нет в России, но «тени петербургские улицы превращают в людей»; их замыслы и дела не забывались. После политической амнистии 1905 года в Петербурге стали появляться (из-за границы или с каторги) люди, которые долгое время тоже казались почти тенями: немногие оставшиеся в живых народовольцы, эмигранты, годами жившие вне России. Среди других в Петербург вернулся из эмиграции В. Л. Бурцев, издатель журнала истории революционного движения — «Былое». Он одержим опасной в глазах всех партий идеей: выискивает среди революционеров провокаторов и агентов охранки. В этой области у Бурцева несомненный дар, и вожди победившей революции незамедлительно воздадут ему по заслугам: «При большевиках я был арестован в Петербурге в первый день их переворота, 25 октября 1917 года, и оставался у них в тюрьме до мая 1918 года», — вспоминал Бурцев. Тогда он чудом спасся и бежал из советской России.

А в 1906—1907 годах в петербургскую редакцию «Былого» захаживали самые разные люди: «В 1906—1907 годах... я поддерживал связи и с... лицами из мира охранки, которые тоже давали мне сведения. Для одних редакция „Былого“ являлась приманкой, когда они рассчитывали что-нибудь заработать за сообщение материалов, для других это было местом, где они могли бы

из соображений нематериальных поделиться своими сведениями» (В. Л. Бурцев. «В погоне за провокаторами»).

Среди тех, кто захаживал к Бурцеву из соображений нематериальных, был даже прежний директор Департамента полиции С. А. Лопухин. Казалось, революция побеждала, и служащие этого ведомства тоже воспылали желанием разоблачать проклятое прошлое, а кое-кто заодно и поживиться.

Воздух свободы сладок. Не страшно, если к нему примешивается запах гари и крови: революционный террор — это, конечно, прискорбно, но все же честно, открыто... справедливо, в конце концов! В светских кругах столицы в моде революционеры, как прежде, бывало, музыканты, художники, писатели. Впрочем, роман аристократии с революцией начался давно. Одной из самых известных и привлекательных личностей в петербургском свете 1890—1910-х годов была баронесса Варвара Ивановна Икскуль фон Гильдебранд. «В этой прелестной светской женщине кипела особая сила жизни, деятельная и пытливая. Все, что так или иначе выделялось, всплывало на поверхность общего, — мгновенно заинтересовывало ее, будь то явление или человек... Не было представителя искусства, литературы, адвокатуры, публицистики, чего угодно, — который не бывал бы в ее салоне в свое время», — писала о ней в своих мемуарах З. Н. Гиппиус («Маленький Анин домик»).

В. И. Икскуль была незаурядным и деятельным человеком: издавала книги для народного чтения; основала Школу ученых сиделок; во время Первой мировой войны организовывала санитарные поезда и госпитали. В 1916 году баронессу Икскуль фон Гильдебранд наградили Георгиевским крестом за помощь раненым на поле боя, под вражеским огнем. Эта замечательная женщина привлекала к себе разных людей: в числе ее друзей были известные общественные деятели, писатели, сановники, даже Григорий Распутин. И — революционеры. Они не посещали светских приемов у баронессы Икскуль, но часто находили убежище в ее доме. У нее же хранились архивы различных партий.

Симпатий к революционерам не скрывала и Анна Павловна Философова. В молодости она была признанной светской красавицей; в 60-е годы стала одной из основательниц феминистского движения в России, многое сделала для организации женского образования. Позже с той же страстью увлекалась теософией. Все эти годы ее муж, В. Д. Философов, честно трудился на государственном поприще: был прокурором военного суда, затем членом Государственного совета. Был анекдот, будто на двух концах казенной квартиры находились кабинет Владимира Дмитриевича и гостиная Анны Павловны; и вот в кабинете страшный прокурор не покладая рук подписывает один приговор за другим: «„к расстрелу“, „к расстрелу“, „к расстрелу“, тем временем, как в гостиной Анна Павловна принимала самых отъявленных террористов, кокетничая с ними, восхищаясь их доблестью», — иронизировал А. Н. Бенуа в книге «Мои воспоминания».

Давно сложилась традиция благотворительных сборов в пользу политических заключенных. В каком-либо частном доме устраивался литературный или музыкальный вечер. Аристократы, богачи, люди в чинах охотно предоставляли для этого квартиры и рассылали знакомым билеты-приглашения. Отказаться пожертвовать считалось непорядочным, и даже те, кто не мог прийти, присылали деньги. Член Исполнительного комитета «Народной воли» Н. А. Морозов, освобожденный в 1905 году после двадцати трех лет заключения, не без удовольствия вспоминал о своем «успехе в свете»: «...В первую зиму моей жизни в Петербурге в 1905 году за обедом у одной светской дамы к хозяевам прибежала одна пожилая знакомая, вращающаяся в аристократическом кругу (даже с великими князьями), и, увидев меня, воскликнула: „Николай Александрович, неужели это правда? Кто-то из ваших товарищей по Шлиссельбургу состоит на службе градоначальника? Вчера за обедом градоначальник прямо сказал это. Мы, — докончила она, — так и онемели от изумления!“» Ну чем она не гоголевская «дама, приятная во всех отношениях»? Замечательно, что принесенным ею известием шокированы все: от градоначальника до старого революционера Морозова. В гражданской

идиллии 1905—1906 годов проглядывало нечто гоголевское, достоевское; литературные вымыслы становились реальностью.

Но, однако, кто же он, этот двурушник? Неутомимый Бурцев со временем выяснит: это один из убийц Судейкина, народоволец Стародворский! Неужели в момент, когда Стародворский проламывал Судейкину голову, дух жандармского подполковника вселился в него?

Розовая пена салонной революции, грязно-багровая — крестьянской, солдатской. Те, кто не отшатнулся от нее, приняли и ее методы, в том числе террор и провокацию во имя высшей цели. В. Л. Бурцев вспоминал: «В мае 1906 года ко мне в Петербурге в редакцию „Былого" пришел молодой человек... и заявил, что желает поговорить со мной наедине по очень важному делу...

— По своим убеждениям я эсер, а служу в департаменте полиции чиновником особых поручений при охранном отделении.

— Что же вам от меня нужно? — спросил я.

— Скажу вам прямо: не могу ли я быть чем-нибудь полезен освободительному движению?»

В согласии, рука об руку, кружатся в пляске смерти студенты, дамы, агенты охранки, лавочники, террористы, чиновники, литераторы... А предводительствует и правит на этом балу некая особа. Черты ее лица смазаны, и не понять — это человек? тень?

Некая особа может явиться в облике «девятнадцатилетнего юноши Бродского, брата известных польских революционеров, служившего тайным агентом-осведомителем в варшавском охранном отделении.

— Я теперь член боевой организации большевиков и служу в охранном отделении, — говорил Бродский. — Познакомился со студентом Александром Нейманом, сошелся с ним и теперь являюсь его помощником в обучении рабочих за Нарвской заставой боевым делам. Нейман читает им лекции о приготовлении разрывных снарядов...» (В. Л. Бурцев. «В погоне за провокаторами»).

Дома у Неймана хранились запасы динамита, формы для изготовления бомб — все необходимое для практических занятий после лекций. Особой может оказаться сам Нейман. Или член союза максималистов Кенсинский. «Во время разговора Кенсинский сказал мне:

— Вы нас (он говорил о провокаторах) не понимаете. Например, я недавно был секретарем на съезде максималистов. Говорилось о терроре, об экспроприациях... Я был посвящен во все революционные тайны, а через несколько часов, когда виделся со своим начальством, те же вопросы освещались для меня с другой стороны. Я перескакивал из одного мира в другой», — передавал его откровения В. Л. Бурцев.

За несомненной реальностью революции, с кумачом и толпами — открывался провал в ирреальность, в «другой мир». «Петербург имеет не три измеренья — четыре; четвертое — подчинено неизвестности...» (Андрей Белый. «Петербург»).

12 августа 1906 года на даче на Аптекарском острове, где жил премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, прогремел взрыв. Трое максималистов с револьверами и бомбами появились в доме в приемные часы премьер-министра. Охрана не пропустила их в кабинет Столыпина, попыталась задержать. Тогда они бросили бомбы в комнате, в которой ожидали приема посетители. Двадцать семь человек были убиты, тридцать два тяжело ранены. Среди раненых были двое маленьких детей Столыпина; он сам оказался единственным в доме, кто не пострадал. После этого Столыпин по настоянию царя переехал в Зимний дворец.

«...Столыпин с семьей... жили в препыщенной мрачноватой тюрьме Зимнего дворца, где сами цари давно не обитали. На всех входах и въездах менялись строгие караулы. Петр Аркадьевич, так любивший верховую езду да сильную одинокую ходьбу по полям, теперь гулял из зала в зал дворца или всходил на крышу его, где тоже было место для царских прогулок. Вот тут, взнесенный над самым центром Петербурга и скрытый увалами крыш, премьер-министр России только и мог быть неугрожаем» (А. И. Солженицын. «Август четырнадцатого»).

Премьер-министру России опасно появляться на улицах Петербурга. Зато свободно и безбоязненно чувствует

себя на них некая особа. «Однажды... я отправился гулять и шел по Английской набережной... Вдруг издали увидел, что навстречу мне на открытом извозчике едет Азеф со своей женой. Лично с Азефом я не был знаком, но его роль в партии эсеров мне была хорошо известна. Я знал, что он стоит во главе Боевой организации», — вспоминал В. Л. Бурцев.

Героя романа Андрея Белого «Петербург» революционера Дудкина преследует галлюцинация: ему видится страшное лицо некой особы. Дудкин понимает, что болен, что особа — влиятельный человек в партии, но ужас и отвращение неодолимы. Ужас и отвращение охватили многих в России, когда в 1908 году открылось: один из руководителей партии эсеров Евно Азеф — провокатор и платный агент охранки. Этот человек (он и внешне был отталкивающе уродлив) казался порождением страшного сна.

Предательство Азефа не было следствием страха или слабости: он выбрал его сознательно. В 1892 году Евно Азеф уехал из Ростова, где был замешан в студенческих волнениях, в Германию; там он вошел в группу русских социалистов — и одновременно предложил свои услуги департаменту полиции. В 1901 году Азеф стал одним из создателей партии эсеров, с 1903 года — главой ее Боевой организации, совершавшей политические убийства. Но лучше процитировать Савинкова, который защищал Азефа перед ЦК эсеров. По его словам, Азеф «руководил с осени 1903 года Боевой организацией и в разной степени участвовал в последующих террористических актах: в убийстве министра внутренних дел Плеве, в убийстве великого князя Сергея Александровича, в покушении на петербургского генерал-губернатора Трепова, ...на киевского генерал-губернатора Клейгельса, ...на нижегородского генерал-губернатора барона Унтерберга, ...на московского генерал-губернатора адмирала Дубасова, ...на министра внутренних дел Дурново, ...на офицеров Семеновского полка генерала Мина и полковника Римана, ...на заведующего политическим розыском Рачковского, в убийстве Георгия Гапона, в покушении на командира Черноморского флота адмирала Чухнина, ...на премьер-министра Столыпина и в трех покушениях на царя». Савинков не знал, что одновременно с этим Азеф выдавал полиции террористов Боевой организации и других эсеров. Не менее страшным было то, что убийства губернаторов, министров, членов императорской семьи совершались с ведома департамента полиции!

Разоблачил Азефа и многих других провокаторов В. Л. Бурцев. О том, как его отблагодарили победившие большевики, мы уже говорили. Бурцев нанес серьезный урон революционному делу. За яркой завесой — с баррикадами, велеречивыми интеллигентами, буревестниками, боевыми дружинами — открылись неслыханная провокация и низость, проступили черты Азефа. Оказалось, что будущее России решалось не на баррикадах и не в Государственной думе, а в тайных закутах политического сыска, разъеденного провокацией.

«Все начало отшатываться от болотных огоньков революции, — особенно когда премьер-министр (П. А. Столыпин. — *Е. И.*) раскрыл в речах своих в Г<осударственной> думе, около какого нравственного омута и мерзости блуждали эти огоньки, куда они манили общество; когда в других речах он раскрыл все двуличие и государственное предательство „передовых личностей“ общества, якшавшихся с парижскими и женевскими убийцами... Сколько ни щебетали социал-демократические птички, они застряли в приговоре страны, который похоронно прозвучал над ними после раскрытия закулисной стороны революции, ее темных подвалов и гнусных нор», — писал в 1911 году В. В. Розанов в статье «К кончине премьер-министра».

Если бы так!

К 1907 году революционная лихорадка стихла, по видимости не поколебав основ жизни страны. О Петербурге говорили: он стоит на болотах, но под ними — гранит; городу не страшны потрясения.

16 мая 1903 года столица праздновала свое двухсотлетие. По традиции начало торжества возвестил салют

пушек Петропавловской крепости. Празднично украшенный пароход отправился по Неве к пристани у домика Петра Великого. Из него на пароход перенесли икону Христа Спасителя, которую особенно почитал основатель города: эта икона сопровождала русские войска во время Полтавской битвы. Ее торжественно доставили к Зимнему дворцу, там у пристани ее ждали представители городского управления, сословий, высшее духовенство столицы. Крестный ход с иконой Спасителя направился к Исаакиевскому собору.

В этот день торжественные службы шли в Исаакиевском и Петропавловском соборах; митрополит совершил молебствие перед иконой Спасителя у «Медного всадника». По Петровской площади прошли войска петербургского гарнизона, парад принимал император Николай II. Во время парада салютовала не только Петропавловская крепость, но и корабли, стоявшие на Неве. С залпами салюта сливался звон колоколов, музыка оркестров, «ура» петербуржцев, столпившихся на набережных. В день праздника был торжественно открыт Троицкий мост. Крестный ход с иконой Спасителя прошел от Марсова поля к домику Петра по новому мосту, одному из красивейших в Петербурге.

Напоминанием о прошлом стала и выставка русского портрета в Таврическом дворце в марте 1905 года. Один из ее устроителей, Сергей Дягилев, объездил провинцию, отыскивая фамильные портреты, хранившиеся в старых усадьбах. В выставочных залах портреты государственных деятелей и светских красавиц, запечатленных знаменитыми мастерами, соседствовали с изображениями безвестных помещиков, увековеченных крепостными художниками.

Но связи с прошлым не обязательно было искать в музеях или на выставках — они сохранялись в обыденной жизни. Особенно заметно это становилось во время праздников — их в Петербурге встречали так же, как столетие назад. Разве что город украшался пышнее и ярче, чем прежде: на улицах и мостах сверкали электрические гирлянды, переливались светом вензеля на фасадах

дворцов. В пасхальную ночь пылали факелы на Исаакиевском соборе.

«Много есть прекрасного в России... Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невск<ого>). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери. И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой... И покупатель — серьезный и озабоченный, — в благородном подъеме к труду и воздержанию...

В чистый понедельник грибные и рыбные лавки — первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского», — писал В. В. Розанов в книге «Опавшие листья».

На Лермонтовском проспекте перед домом 54 стоит памятник великому поэту. В этом здании с 1839 года располагалась Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, выпускником которой был корнет лейб-гвардейского Гусарского полка Лермонтов. Во времена его учебы Школа размещалась не здесь, а на Исаакиевской площади; впоследствии она поменяла место и название (в 1864 году преобразована в Николаевское кавалерийское училище), но выпускники по-прежнему гордились тем, что среди их предшественников был знаменитый поэт. В 1883 году в училище открылся первый в стране Лермонтовский музей, а в 1916-м — появился памятник, поставленный стараниями юнкеров-николаевцев.

Однажды в газетах появилось объявление: юнкера Николаевского училища устраивают в Михайловском манеже конноспортивный праздник; все сборы от него пойдут на памятник Лермонтову. Благотворительность в городе была в чести, и люди охотно покупали билеты. Вдвойне приятно было то, что юнкера оказались молодцами и показали чудеса ловкости и отваги. Во время праздника, продолжавшегося три дня, «были показаны лихая рубка, стрельба на полном скаку в цель, всякие упражнения, живые пирамиды на конях... Были показаны конные карусели, а под конец — парадный выезд в историче-

ских формах кавалерии. Народ ломился на эти праздники, публика не только сидела, но и стояла в проходах» (Д. А. Засосов, В. И. Пызин. «Из жизни Петербурга 1890—1910-х годов»).

Перед бывшей Школой гвардейских подпрапорщиков стоит памятник корнету М. Ю. Лермонтову. Глядя на него, стоит вспомнить не только великого поэта, но и тот давний праздник: разгоряченные лица юнкеров-николаевцев, поединки «Алой и Белой розы» на арене Михайловского манежа... И то подлинное, что скрывалось за игрою: военную доблесть, благодарную память, традиции офицерского товарищества.

Историки любят сравнивать экономические показатели России 1913 года с данными последующих годов. Действительно, цифры 1913-го впечатляют: за несколько десятилетий совершилась подлинная революция в промышленности, в транспорте; страна вошла в число крупнейших мировых экспортеров хлеба и сельскохозяйственных товаров. На те же десятилетия приходится новый расцвет науки, культуры, искусства. Казалось бы, настало время пожинать плоды трудов и уверенно смотреть в будущее.

«У нас нет совсем мечты своей родины, — писал В. В. Розанов. —И на голом месте выросла космополитическая мечтательность... У француза — „chère France“, у англичан — „Старая Англия“, у немцев — „наш старый Фриц“. Только у прошедшего русскую гимназию и университет — „проклятая Россия“. Как же удивляться, что всякий русский с 16 лет пристает к партии „ниспровержения государственного строя“... У нас слово „отечество“ узнается одновременно со словом „проклятие“».

Не в этом ли причина катастрофы, ожидавшей страну и ее столицу?

Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.

(А. Ахматова. «Поэма без героя»)

«К автору... приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых». Среди теней блистательного петербургского маскарада «драгунский Пьеро», Всеволод Князев — молодой офицер и поэт. Зимой 1913 года он покончил самоубийством из-за любви к актрисе Ольге Глебовой-Судейкиной.

Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту, —
Первых он не стерпел обид.
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид...

(А. Ахматова. «Поэма без героя»)

А может быть, возросшее число самоубийств в ту эпоху, особенно среди молодежи, и было предвестием открывавшейся дороги? На долю этого поколения придутся войны (Первая мировая, гражданская), голод, террор, опять войны. Самоубийства молодежи свидетельствовали о глубоком неблагополучии общества. Много их было в революционных кругах: одни казнили себя за слабость (не решились на террористический акт), другие — «разуверились»; третьи — не вынесли подозрения в предательстве...

Но то же поветрие было в среде молодежи, далекой от политики. Поводы для расчета с жизнью находились самые разные: от любовного разочарования до утраты веры в Бога. Но за всем этим — чувство безысходности, ранняя душевная усталость. Горек и душен был воздух умирающей эпохи. «Собирают мнения писателей о самоубийцах. Если я скажу, что думаю, т. е. что причину можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шее; а „деловые люди“ только лишний раз посмеются; но все-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки», — писал в дневнике Александр Блок в 1912 году.

Небесные знаки явственно предвещали перемены и потрясения. Их видели многие — только «читали» по-раз-

ному. На рубеже веков в Петербурге возросло число сект. Появились иоанниты, обожествляющие Иоанна Кронштадтского, братства Охтинской Богородицы, Иоанна Крестителя, чуриковское и другие. В смутные времена люди ищут духовную опору в вере. Но тогда лишь немногие находили ее в церкви; большинство обретало ее вне пределов храма. Петербург охватило увлечение спиритизмом. Люди более глубоких духовных запросов обращались к теософии, антропософии, оккультизму — или сами становились «учителями» — основателями сект, как петербургский поэт-декадент Александр Добролюбов. В воспоминаниях «Дмитрий Мережковский» З. Н. Гиппиус писала, что Добролюбов «свое „декадентство“ прежде всего провел в жизнь. ...Было известно, что он живет в каких-то черных комнатах, черных одеяниях, что у него много молодых последовательниц (или поклонниц), которым он проповедует, и успешно, самоубийство...

И вдруг... с ним случилось то, что не поймет ни один европеец, но человек русский к подобным делам привык, — Добролюбов „ушел“. Такие „уходы“ — не пропаданье: это лишь погружение в море российское... Декадент Добролюбов нырнул глубоко, выплыл не скоро, и выплыванья его были не часты, кратки. Он являлся босой, в армяке, с такими же своими „учениками“... Что это была за секта — никто путем не знал. Говорили только, что там „все сидят поникши“. И что „учеников“ у Добролюбова очень много».

Александр Добролюбов «прочел» небесные знаки так. Его сестра Мария по-другому: после Смольного института она работала «на голоде» (помощь голодающим крестьянам); во время русско-японской войны была сестрой милосердия. В 1905 году вступила в организацию эсеров, в 1906 — покончила жизнь самоубийством, не решившись не террористический акт. Она была невестой Леонида Семенова, по воспоминаниям З. Н. Гиппиус, «молодого, очень красивого студента из знатной семьи, и талантливого поэта при том. Он погиб уже при большевиках». Л. Д. Семенов-Тян-Шанский, как и А. М. Добролюбов, «ушел» — проповедовал, толковал Евангелие. Был убит

в 1917 году. История этих молодых петербуржцев, их пути и судьбы дают представление об атмосфере эпохи.

Добролюбов ушел из Петербурга. Но многих проповедников-сектантов привлекал именно этот город. История тобольского крестьянина Григория Новых (Распутина) хорошо известна. Не только он, но и другие «учителя» и «старцы» находили в столице учеников и приверженцев. В середине 90-х годов в Петербурге появился самарский крестьянин Иван Чуриков. До этого он занимался торговлей, затем раздал свое достояние бедным и стал проповедником. Проповедь Чурикова была проста: надо следовать евангельским заповедям, отказаться от пьянства, праздности и других пороков. Он нашел учеников среди петербургских рабочих. Чуриков обращался и к совсем опустившимся людям, к бродягам, проституткам, пьяницам. Нередко они меняли образ жизни и входили в его общину. Каждый новый «братец» получал необходимую поддержку: ему помогали получить работу, заказы, кредит. Трудолюбие, добросовестность, честность чуриковцев служили самой надежной рекомендацией.

Церковь преследовала их как сектантов. Чурикова высылали из Петербурга, держали в сумасшедшем доме, в тюрьме. После манифеста 17 октября 1905 года, провозгласившего свободу совести, он и его община могли жить спокойно. Обосновались они в Вырице. «Братцы» держались тесным, сплоченным кружком, чуждались окружающего мира и не допускали вмешательства в свой. Так они пережили революцию, гражданскую войну, самые трудные времена. Советская власть занялась общиной трезвенников только к 1930 году. Ивана Чурикова и его «братцев» выслали на Соловки; на одном из соловецких островов их уморили голодом.

В Петербурге начала века подвизался и «двойник» Распутина — Щетинин, объявившийся в столице почти одновременно с ним: «...Пока Распутин... пролез наверх, до царской семьи включительно, Щетинин пошел по низам и славу свою стал обретать — все большую — в кругах рабочих... Сведения (об этой секте. — *Е. И.*) у меня имелись неполные. А полные я получила позд-

нее, когда кто-то из Временного правительства принес мне дело Щетинина... И с портретом Щетинина — большой фотографией, где он сидит, окруженный поклонницами, сам в женском платье и шляпке... Хоть и похожи они, как два брата, Щетинин и Распутин, но безобразие и распутство последнего бледнеют пред тем, что выделывал Щетинин в неугасимой, неуемной похоти своей и разврате, граничащих с садизмом», — вспоминала З. Н. Гиппиус.

Почти десятилетие в Петербурге негодовали и осуждали окружение императора, в котором все большую силу набирал Распутин, с ненавистью говорили о самом Распутине, к которому льнуло все выморочное и низкое. Передавали: знатные почитательницы надевают грязное белье старца, чтобы приобщиться к его святости. Полз подлый шепоток: «Распутин и царица»... Настоящую причину влияния Распутина (он помогал цесаревичу Алексею, когда врачи были уже бессильны ему помочь) знал лишь очень узкий круг людей.

В черном небе звезды не видно,
Гибель где-то здесь, очевидно,
Но беспечна, пряна, бесстыдна
Маскарадная болтовня.

(А. Ахматова. «Поэма без героя»)

В 1913 году в петербургском литературном мире появились новые герои и «ряженые» — футуристы. Бульдожье лицо Давида Бурлюка с размалеванными щеками; желтая или полосатая блуза Владимира Маяковского; черное жабо и румяна Бенедикта Лившица; Велимир Хлебников с неподвижным, похожим на маску лицом...

В декабре 1913 года в Петербурге, на сцене театра Луна-парка, с успехом прошли «Первые в мире четыре постановки футуристов театра»: трагедия «Владимир Маяковский» и опера «Победа над Солнцем» (музыка М. Матюшина, либретто А. Крученых). «Цены назначили чрезвычайно высокие, тем не менее уже через день на все спектакли места амфитеатра и балкона были проданы. Газеты закопошились, запестрели заметками, якобы имевшими целью оградить публику от очередного посягательства футуристов на ее карманы, в действительности же только разжигавшими общее любопытство», — писал Б. Лившиц в книге «Полутораглазый стрелец».

Футуристы собирали полные залы — но не эстетов и бунтарей, а самой благонамеренной публики. На эти вечера ходили развлечься, повеселиться. Веселило все: зычное «Я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам» Маяковского, заумный лепет Крученых, лорнетка Бурлюка, хамские остроты и выплескивания чая в зал, блуза одного из поэтов, сшитая из церковной парчи. Впрочем, это развлечение довольно скоро приедалось.

Гораздо привлекательнее было художественно-артистическое кабаре «Бродячая собака». Оно занимало подвал дома № 5 на углу Михайловской площади и Итальянской улицы. В двух залах «Бродячей собаки», которая открывалась к полуночи, могло разместиться полсотни гостей. Завсегдатаями ее были поэты, актеры, художники. Однако и «непосвященные», купив входной билет, могли попасть в мир артистической богемы... «...Гостям предлагалось надевать на головы бумажные колпаки, которые им вручали на пороге подвала, и прославленные адвокаты или известные всей России члены Государственной думы, застигнутые врасплох, безропотно подчинялись этому требованию», — вспоминал Бенедикт Лившиц.

Не жаль было платить за то, чтобы побывать на вечере балерины Карсавиной, танцевавшей на огромном зеркале, или на вечере французского «короля поэтов» Поля Фора, или на чествовании Московского художественного театра. А можно было просто наслаждаться приобщенностью к миру искусства, сидя за столиком и наблюдая, как сюда «...переносили недовысиженные восторги театрального зала... везли... свежеиспеченный триумф, который хотелось продлить, просмаковать еще»; или как «затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса вплывала Ахматова... Давно уже исчерпав кредит, горячился перед стойкой буфетчика виллонствующий Мандельштам... В длинном сюртуке и черном регате, не оставляв-

ший без внимания ни одной красивой женщины, отступал... Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь „кинжального“ взора в спину... В позе раненого гладиатора возлежал на турецком барабане Маяковский, ударяя в него всякий раз, когда в дверях возникала фигура забредшего на огонек будетлянина...» (Б. Лившиц. «Полутораглазый стрелец»).

И кажется, никто из сидевших в продымленных зальцах «Бродячей собаки» или мирно спавших в своих постелях — никто из петербуржцев не замечал, что небесные знаки разгорались все ярче.

В феврале 1914 года в Петербург приехал знаменитый итальянский футурист Филиппо Маринетти. Русские футуристы отнеслись к нему настороженно — они не терпели соперничества. Хлебников и Лившиц даже написали декларацию о «кружевах холопства на баранах гостеприимства», пытаясь устроить гостю обструкцию, но публика заполнила зал Калашниковской биржи: «...весь битком набитый зал неотрывно следил за небольшой подвижной фигуркой, оживленно жестикулировавшей на кафедре... Маринетти двоился, выбрасывая в стороны руки, ноги, ударяя кулаком по пюпитру, мотая головой, сверкая белками, скаля зубы, глотая воду стакан за стаканом... „Война — единственная гигиена мира!.. — надсаживался он из последних сил. — Да здравствует милитаризм и патриотизм!.. Долой расслабляющее влияние женщины: нам нужны герои, а не сентиментальные трубадуры и певцы лунного света!..“» — рассказывал Б. Лившиц. Футуристы были озабочены утверждением своего первородства, зрители увлечены зрелищем. Кто из них различил за воплями Маринетти — войну?

В середине июня 1914 года в Кронштадт прибыла с официальным визитом британская эскадра. Два крейсера вошли в Неву и встали у Николаевского моста. Доступ на них был открыт, и петербуржцы не упустили возможности побывать на военных кораблях: «Наша русская публика совершенно переменила мнение об англичанах, ранее представляя их людьми сдержанными... Мужчины любезно обменивались с матросами табаком и папиросами...

На корабль приехало много русских матросов, которые както умудрялись объясняться с английскими матросами», — вспоминали старожилы (Д. А. Засосов, В. И. Пызин. «Из жизни Петербурга 1890—1910-х годов»).

На палубах крейсеров гостеприимные англичане угощали детей шоколадом, устраивали танцы под фисгармонию. Петербуржцы не оставались в долгу: матросов всюду ожидал радушный прием. Появление английской эскадры внесло оживление в жизнь города. Мало кто думал, что это — предвестье войны.

В начале июля в Кронштадт прибыла французская эскадра. И снова горожане ездили на военные корабли, распевали с моряками «Марсельезу», а во время проезда президента Франции Пуанкаре к Зимнему дворцу кричали: «Вив ля Франс!» До начала мировой войны оставалась неделя.

То, что Россия так или иначе примет участие в грядущей войне, было очевидно. Сигналом к ее началу стали выстрелы Гаврилы Принципа, члена тайной организации «Молодая Босния». 15 (28 по новому стилю) июня 1914 года он убил в Сараеве наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда и его жену. Через месяц, 15 июля, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В связи с этим 18 июля в России вышел указ о всеобщей мобилизации. Германия потребовала его отмены, а получив отказ, объявила войну России. 19 июля немецкий посол Пурталес вручил российскому министру иностранных дел Сазонову ноту о начале военных действий.

Петербург походил на человека, внезапно разбуженного окриком. До того он пребывал в летней дремоте: горожане разъехались по дачам, войска были в летних лагерях. Даже заводские трубы дымили меньше: бастовали заводы Выборгской стороны. Лето 1914 года выдалось необычайно жарким. Объявление войны взбудоражило город. При известии о нем толпы петербуржцев заполнили Дворцовую площадь. Николай II вышел на балкон Зимнего дворца — и люди на площади преклонили колени. Тысячи горожан пели «Боже, царя храни», большин-

ство из них — впервые с искренним чувством. Сознание надвигающейся опасности объединило людей всех классов, независимо от политических убеждений. «Надо помнить, — писал в дневнике Александр Блок, — что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких... чем принято думать; чем полагается думать „по-революционному“».

Город был в лихорадочном возбуждении. Ночью 22 июля на Невском проспекте сбивали вывески немецких магазинов и фирм, срывали австрийские флаги. На улицах хватали «немецких шпионов». Стихийные манифестации завершились разгромом немецкого посольства. Его здание на Исаакиевской площади, увенчанное фигурами тевтонов с конями, казалось символом немецкого высокомерия. Посольство громили дня три: выламывали двери и оконные решетки; выбрасывали из окон сейфы с бумагами, мебель, картины... Наконец, на мостовую сбросили бронзовых тевтонов — «толстоногих микроцефалов и тупомордых коней», по выражению Бенедикта Лившица.

Настроение первых дней войны определялось не только стихийным взрывом ярости. Рабочие столицы прекратили забастовки; на призывные пункты являлось множество добровольцев. Была запрещена продажа спирных напитков, закрыты питейные заведения. «Люди разделились на два лагеря: на уходящих и остающихся. Первые, независимо от того, уходили ли они по доброй воле или по принуждению, считали себя героями. Вторые охотно соглашались с этим, торопясь искупить таким способом смутно сознаваемую за собою вину. Все наперебой старались угодить уходящим», — вспоминал Б. Лившиц.

Одной из первых в поход ушла гвардия. Вскоре стали поступать известия о том, что она несет большие потери; газеты публиковали списки убитых и раненых. На смену уверенности в скорой победе приходила мысль, что война может затянуться на месяцы, а может, и дольше. Ненависть к «тевтонам» усиливалась. В этой атмосфере

18 августа 1914 года столица России была переименована в Петроград.

Есть восточная пословица: «Меняющий имя меняет судьбу». Город утратил имя, полученное при рождении (хотя просторечное «Питер» осталось «немецким»). Это не был просто перевод названия на русский язык: ведь Санкт-Петербург — город Св. Петра. Отказ от исторического имени в конечном итоге означает разрыв со своим прошлым. Петроградом город назывался меньше десяти лет. После 1917 года менялись имена его улиц, площадей, пригородов. 26 января 1924 года он получил следующее имя — Ленинград.

Повлияла ли тогда, в 1914 году, перемена имени на будущее столицы? Прямо — едва ли. Однако это событие высветило самое существенное — утрату корневых связей со своей историей, традицией. Большевистская власть изменит календарь и орфографию: даже время в послереволюционном Петрограде будет переведено на три часа вперед. Но первую и важнейшую подмену узаконил не ленинский декрет, а указ последнего русского императора.

Война шла недели, месяцы... «Фронт далеко, и внешне в Петербурге она почти так же мало чувствуется, как прежде японская. Петербург не изменил своей физиономии, переполнены театры и рестораны, такое же движение на улицах, только на фонарях зачем-то налепили синенькие колпачки, да под нашими окнами новобранцы посреди улицы прокалывали штыками соломенные чучела» (З. Н. Гиппиус. «Дмитрий Мережковский»).

Вести с фронта разноречивые: то о победах, то о поражениях. В записных книжках Блока пометы: «4 сентября. Австрийцы разбиты»... «7 октября. Вечером звонил к З. Н. Гиппиус. Она сказала мне, что Ярослав взят австрийцами. Отравила этой вестью (оказалось, ложной. — *Е. И.*)». «15 октября. Победы, победы. А что вокруг войны?»

А вокруг войны много нечистого и лжи. Поначалу — лжи «патриотической»: с газетных страниц не сходили проклятия подлым тевтонам, публиковались солдатские

письма: «Мы, серые герои, уже шестой месяц проливаем свою последнюю каплю крови за отечество».

Голлербах в книге «Город муз» писал: «Как всегда, громче всех возмущались жулики. Театры и шантаны ломились от публики, война жирно кормила казнокрадов, вылуплялись неведомо откуда новые меценаты и коллекционеры, бешено кутило тыловое офицерство».

Война — это лазареты в Петербурге, белые косынки сестер милосердия, инвалиды (их все больше). И неведомые дотоле очереди у магазинов и лавок — тогда их называли «хвостами». Цены на продукты поднялись в первые дни войны и с тех пор росли постоянно. «Привыкнув к многолетней неподвижности российских цен... русские люди только обомлевали от несусветного военного роста цен... Хлеб из четырех копеек фунт да шесть — это как будто земля зашаталась. Чай! Уже по-прежнему не попьешь. Селедка была четыре копейки фунт, а теперь 30!» (А. И. Солженицын. «Октябрь шестнадцатого»).

Начались перебои с продовольствием. Ходили слухи: крестьяне прячут хлеб, торговцы скрывают товары. Изо дня в день с раннего утра люди выстраивались в «хвосты»; в них нарастали раздражение, ожесточение, злоба. В основном в очередях женщины, и их скопление обретает характерные черты. Это — «прислуга» из кошмаров Александра Блока: «Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно ужасное. Лицом — девка как девка, и вдруг — гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего — смешение человеческой породы с неизвестными низкими формами... Так, совершенно последовательно, мстит за себя нарождающаяся демократия: или — неприступные цены, воровство, наглость, безделье; или — забытые существа неизвестных пород».

З. Н. Гиппиус вспоминала о возвращении в Петербург в первые дни войны. «Дорога эта мне запомнилась, во-первых, тем, что была ужасна... а во-вторых — косяками встречных зеленых лошадей, причем лошади эти дико нашего автомобиля пугались. Зачем с такой усердной быстротой выкрасили их в зеленый цвет, понять было трудно».

«Зеленые лошади» — абсурд, все явственнее проступавший в жизни столицы. Старый мир даже не рушился, а словно расползался, истлевал. На фронтах шли сражения, а в Петербурге царили безвременье, неразбериха. Бенедикт Лившиц, призванный в армию, стремился на фронт, но: «...наше пребывание в Петербурге затягивалось... Мы несли караулы во дворцах... и хоронили генералов... так как российские Мальбруки со дня объявления войны стали помирать пачками... В столице все казармы были переполнены. Нам отвели здание университета. Не прошло и суток, как уборные засорились. Ржавая жижа, расползаясь по коридорам, затопила все помещение... Университет не в переносном, а в буквальном смысле сделался очагом заразы. Почему-то солдатам особенно нравилась парадная лестница: они сплошь усеяли ее своим калом. Один шутник, испражнявшийся каждый день на другой ступеньке, хвастливо заявил мне: „Завтра кончаю университет!“».

Но хуже казарменного смрада, дороговизны, «хвостов» было очевидное разложение власти. «С фронта шли мрачные вести. Как ястреб, кружился над Россией темный дух Распутина, вампира, пролезшего в ампир, — дух дикого фанатизма, хлыстовства и похоти» (Э. Ф. Голлербах. «Город муз»).

Распутин был ненавистен всем, кроме слепо верящей ему царской семьи. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич на вопрос Распутина, можно ли ему приехать в ставку, отвечал: «Приезжай, повешу». Но в августе 1915 года главнокомандующим стал сам император. Влияние Распутина губительно: по его настоянию смещают и назначают министров, дельцы из приближенных «старца» наживают маллионы. Говорят, среди них есть немецкие шпионы; императрица сообщает Гришке секретные сведения, о которых тут же узнают в Берлине. Это нестерпимо: мы сражаемся и гибнем, страна напрягает все силы, а причина поражений в предательстве высшей власти!

«Глупость или измена?» — главная тема в разговорах о правительстве, и разговоры эти везде: в цехах, казар-

мах, офицерских клубах, в мещанских домах и великосветских салонах. И опять, как во время русско-японской войны, радикальная интеллигенция желает военного поражения России.

А. Блок писал в дневнике: «В 1915—1916 гг. Рейснеры издавали в СПбурге журнальчик „Рудин“, так называемый „пораженческий“ в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый... Журнальчик очень показателен для своего времени: разложившийся сам, он кричит так громко, как может, всем остальным о том, что и они разложились». Рейснеры — известное в Петербурге семейство: М. А. Рейснер — юрист, профессор университета; его жена — писательница; дочь Лариса тоже упражняется в стихах и прозе (впоследствии более известна как комиссар, политработник Красной армии). В своих пораженческих настроениях Рейснеры отнюдь не одиноки, они выражают общественное мнение.

«Зима 15—16-го года впятеро тяжелее и дороже прошлой... в воздухе чувствовалась особенная тяжесть, какая-то „чреватость“», — вспоминала З. Н. Гиппиус. В очередях у хлебных лавок ругают царя, войну, спекулянтов. «Не продают спичек, отсутствие еды в городе», — записывал 5 мая 1916 года Блок. Население Петрограда увеличивалось: прибывали беженцы, заводы набирали иногородних рабочих. В 1916 году вновь начались забастовки. На улицах нехорошо: хмурые лица, ссоры в очередях. В Петрограде и пригородах расцветало хулиганство.

«9—10 апреля 1916 (Пасхальная ночь). Как подумаешь обо всем, что происходит и со всеми и со мной, можно сойти с ума. Около Исаакиевского собора мы были с Любовью Александровной (Дельмас. — *Е. И.*). Народу сравнительно с прежними годами — вдвое меньше. Иллюминации почти нет. „Торжественности“ уже никакой... На памятнике Фальконета — толпа мальчишек, хулиганов, держится за хвост, сидит на змее, курят под животом коня. Полное разложение. Петербургу — finis» (А. Блок. «Записные книжки»).

Удушливую атмосферу осени 1916 года запомнили многие: «В последний раз благоухали чайные розы на террасе

Екатерининского парка, и в запахе их таилось тление. Слабый запах тления примешивался к терпкому аромату вянущей листвы, летучей жертвенностью дышал воздух. Тишина стояла небывалая», — писал Э. Ф. Голлербах.

Предгрозовая неподвижность года завершилась «совершенно петербургским сюжетом»: убийством Распутина. Место действия — Юсуповский дворец. Участники покушения: Ф. Ф. Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, В. М. Пуришкевич, А. С. Сухотин, С. С. Лизаверт. Время: ночь с 16 на 17 декабря 1916 года. Убийство Распутина приводит на память рассказы об умерщвлении колдунов. «Старец» приехал по приглашению Юсупова. К приему все было готово: в вино и пирожные подмешан цианистый калий, заговорщики ждали сигнала в одной из комнат. Распутин выпил вино, съел несколько пирожных. Увидев, что яд не подействовал, Юсупов дважды выстрелил в него. Оставив убитого, участники покушения поднялись на второй этаж. «Вдруг, — вспоминал Юсупов, — меня охватила непонятная тревога... то, что я увидел внизу, могло бы показаться сном... Григорий Распутин, которого я полчаса назад созерцал при последнем издыхании, переваливаясь с боку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца». Его догнали (Пуришкевич выстрелил ему в голову и в спину), внесли обратно; он еще пытался встать; ударили в висок... Труп отвезли к Елагину мосту и спустили под лед.

Обстоятельства убийства произвели на заговорщиков, совсем не робких людей, потрясающее впечатление. Император хотел судить их, но его власти не хватило уже и на это. Семнадцать человек из царствующего дома Романовых направили ему письменный протест против преследования убийц. Распустина похоронили в Царском Селе. «Дворцовое убийство Распутина мало нас поразило. Чувствовалось, что это ничему не поможет, ничего не выяснит и не повернет», — вспоминала З. Н. Гиппиус. Да, оно уже ничего не могло изменить — ни в судьбе династии, ни в судьбе страны. Спустя два месяца, в дни Февральской революции, труп Распутина вынули из склепа, сожгли, а прах развеяли по ветру.

Страшное, мучительное умерщвление сибирского «вампира» (Юсупов вспоминал о невероятном количестве крови) на фоне дворцовых интерьеров — все это фантастично, театрально; можно сказать, даже вторично по отношению к литературе, господа. Раскольников и старуха-процентщица (тоже кровищи было!); Германн и старуха-графиня (особенно опера: там во дворце домашний театр, как в Юсуповском) — теперь этот старец!

Сожгли и прах развеяли — это тоже уже было: так другого Григория кончали, Отрепьева. Растерзали, сожгли, развеяли. Но то когда было — в Смутное время! Это, знаете ли, старина невозвратная, забытая, такое не повторяется.

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось»

(В. В. Розанов. «Апокалипсис нашего времени»).

«Мы новый мир построим...»

Февральская революция. Кшесинская против РСДРП(б). Тревожный июль. Хроника большевистского переворота. «В плену у обезьян». Буржуй Шаляпин. Петербургу быть пусту? Высылка «людей мысли» в 1922 году. Моровая полоса. Город, преобразующий души

Это ведь только сначала — кровь, насилие, зверство, а потом — клевер, розовая кашка...

А. А. Блок. «Дневник». 30 июля 1917 года

Второго марта 1917 года император Николай II отрекся от престола. На следующий день отказался от власти его брат, великий князь Михаил Александрович, к которому должен был перейти престол. Российское самодержавие перестало существовать. Отречение Николая II формально закрепило реальное положение вещей — в результате Февральской революции он утратил государственную власть.

К началу 1917 года в Петрограде не было мяса, масла, муки. Очереди за хлебом выстраивались с полуночи. Усилились рабочие волнения. 9 января бастовало 150 тысяч человек. 23 февраля (8 марта по новому стилю) на улицы вышли женщины. Работницы ткацкой фабрики направились с Выборгской стороны в центр города; по пути к ним присоединялись демонстранты с других заводов и фабрик. Колонны рабочих шли с Нарвской заставы, с Александро-Невской части, с Петроградской стороны. В сумерках Невский проспект заполнили темные толпы.

Столица видела много демонстраций, но напряжение, исходившее от этой, было сильнее, ощутимее.

24—25 февраля в Петрограде началась всеобщая забастовка. Десятки тысяч людей устремлялись к центру города. Никакого плана действий не было; рабочие, студенты, служащие были безоружны, но увлечены общим подъемом, общим движением. Стоявшие на мостах пикеты не пропускали демонстрации, и толпы людей шли по льду, минуя их. На Невском проспекте, на прилегающих улицах и площадях — шествия, митинги. Полиция пыталась вмешиваться, прекратить беспорядки, но разве это возможно? 26 февраля полицейские и солдаты несколько раз открывали огонь по демонстрантам. А на следующий день часть петроградского гарнизона перешла на сторону восставших.

27 февраля дело не ограничилось митингами: были освобождены заключенные из «Крестов», Дома предварительного заключения, пересыльной тюрьмы, тюрьмы Литовского замка. Литовский замок и здание Окружного суда разгромлены и подожжены. «Это был день, когда революция восторжествовала, решилась бесповоротно» (З. Н. Гиппиус. «Дмитрий Мережковский»).

1 марта почти весь петроградский гарнизон перешел на сторону восставших. К этому времени был организован Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 2 марта Временный комитет Государственной думы сформировал Временное правительство.

«День 1 марта (все по старому стилю) был последний день революционной радости: той, что сияла на лице каждой встречной глупой бабы, почти не умеющей читать. Недаром одна, увидев плакат „Долой монархию!“, прочла: „монахиню“. „Давно бы их, монахов, по шапке!“, и беззлобно радовалась, сама не зная, почему. Такой был подъем, такая общая атмосфера... Мы вышли на улицу, к таврической решетке в толпу. И в толпе все почти знакомые, да и незнакомые улыбались нам, как друзьям. Погода была удивительная: легкий мороз и нежная солнечная метель», — вспоминала З. Н. Гиппиус.

Случилось чудо: ненавистное самодержание рассыпалось как карточный домик, в несколько дней! Настала долгожданная свобода. Ее первые плоды: на петроградских заводах и фабриках введен восьмичасовой рабочий день. По требованию солдат Петроградский совет постановил: революционный гарнизон остается в столице (кому охота на фронт, когда Питер наш — и все наше!). На улицах и в казармах у офицеров срывают погоны, отбирают оружие. Оружие велено сдавать в «революционные комитеты», которых появилось великое множество. «Комитеты», «бюро», «организации» самовольно занимают дома, пустующие особняки. На даче Дурново на Полюстровской набережной разместилось сразу несколько организаций, в том числе анархисты. К ним присоединились освобожденные из «Крестов» заключенные. В июне по распоряжению Временного правительства незаконно занятый дом пришлось брать штурмом. В таких, захваченных «революционным элементом» домах нередко находили приют дезертиры, уголовники.

Особняк Кшесинской после Февральской революции превратился в штаб большевиков. Здесь разместились их ЦК и Петроградский комитет. «Большевики захватили самовластно дворец и превратили его обширный балкон в революционный форум. Проходя мимо дворца, я останавливался на некоторое время... послушать ораторов, которые беспрестанно сменяли друг друга... Говорили ораторы толпе, что эти дворцы, граждане, ваши!.. Недостаточно забрать эти дворцы — нет, нет, граждане! Надо уничтожить как гадов самих этих злостных кровопийц народных!! Слушал я эти речи с некоторым смущением и даже опаской, так как одет я был в костюм, сшитый лучшим портным Лондона, и невольно чувствовал, что принадлежу если не душою, то костюмом к этим именно кровопийцам... И я осторожно улетучивался», — писал Ф. И. Шаляпин в книге воспоминаний «Маска и душа».

Изо дня в день толпе, собиравшейся у дворца, внушали: надо все взять и поделить (по формуле булгаковского Шарикова); есть люди и целые классы, не имеющие права на жизнь. Определить «кровопийц» легко — это те, у кого можно что-нибудь отнять.

Опасным местом стал особняк Кшесинской: охотников послушать большевистскую проповедь все прибавлялось.

Многие горожане ускоряли шаг, обходя распаленную толпу. Тем поразильнее отвага Матильды Феликсовны Кшесинской, которая решила вернуть свой дом. В дни Февральской революции она покинула особняк: бывшей фаворитке императора могла грозить расправа. Но характер взял свое: она была решительна и не привыкла проигрывать. М. Ф. Кшесинская писала в «Воспоминаниях»: «После Февральской революции... я рискнула поехать... в Таврический дворец хлопотать об освобождении моего дома от захватчиков... Меня куда-то водили, всюду было накурено, на полу валялись бумаги, окурки, грязь была невероятная, ужасные типы шмыгали по всем направлениям с каким-то напыщенным, деловым видом». После Таврического дворца Кшесинская отправилась в свой дом: «Когда я вошла... меня объял ужас, во что его успели превратить: чудная мраморная лестница... была завалена книгами, среди которых копошились какие-то женщины. Когда я стала подыматься, эти женщины накинулись на меня, что я хожу по их книгам. Я не выдержала и, возмущенная, сказала им в ответ, что я в своем доме могу ходить как хочу».

Пока Кшесинская ужасалась разорению («чудный ковер, специально мною заказанный в Париже, был весь залит чернилами... из чудного шкафа была вырвана дверь» и т. д.), спутник балерины услышал, что солдаты сговариваются убить ее. Они поспешили уйти. Но Кшесинская не собиралась сдаваться: она обратилась в суд с требованием вернуть ей дом. Суд решил дело в ее пользу. Однако большевики и не думали освобождать его. «Проезжая как-то мимо своего дома, я увидела Коллонтай разгуливавшей в моем саду в моем горностаевом пальто. Как мне говорили, она воспользовалась и другими моими вещами...» — вспоминала М. Ф. Кшесинская. Она уехала из Петрограда 13 июля 1917 года и еще успела узнать, что большевиков вышибли из ее особняка. После июльской попытки свергнуть Временное правительство Ленин и его окружение скрылись. Здание заняли правительственные войска: на этот раз в доме разместился самокатный батальон!

Пьянящий восторг свободы, беззлобная радость первых дней революции постепенно вытеснялись жаждой мести «проклятому прошлому». Разгул черни сопутствует всякой смуте. Одно из гнусных его проявлений — глумление над побежденными. 8 марта Николай II был арестован. Его вместе с семьей поместили в Царском Селе. «В парке за оградой, под присмотром часовых, малорослый полковник в защитной шинели, с зеленовато-бледным припухшим лицом... ворошит в снегу лопатой — расчищает дорожки. А посреди Дворцовой улицы, нарушая все правила этикета, расхаживает чудом уцелевший петух... Долго ли ему жить и кому дольше — ему или полковнику — неизвестно» (Э. Ф. Голлербах. «Город муз»).

В марте-июле 1917 года, пока императорская семья находилась в Царском Селе, охрана сдерживала натиск глумливого сброда, собиравшегося у парка. Из толпы неслись оскорбления и все чаще — угрозы. «Вчера в Миниатюре — представление Распутина и Анны Вырубовой. Жестокая улица... Публика (много солдат) в восторге», — записал А. А. Блок 1 июня 1917 года. Доверенное лицо и подруга императрицы А. А. Вырубова так же, как и царские сановники, в это время находилась под следствием Чрезвычайной следственной комиссии. Комиссия, учрежденная Временным правительством, с трудом ограждала подследственных, заключенных в Петропавловской крепости, от произвола охраны. «С утра я... в Петропавловской крепости, разговаривал и слушал разговоры солдат. Стрелки убили сапера за противуленинизм (на днях в крепости), всячески противятся выдаче еды заключенным» (А. А. Блок. «Дневник»).

Победившая революция решила почтить память своих героев. Но каким образом? Похоронить их на Дворцовой площади! Горький и Шаляпин были в числе людей, воспротивившихся этому: «Совет рабочих депутатов решил хоронить убитых революционеров на площади Зимнего дворца. Под самыми окнами — в укор императорам! Это было бессмысленно уже просто потому, что в Зимнем дворце никаких императоров уже не было...

Жертвы революции д о л ж н ы быть похоронены под окнами тиранов! Мы отправились к Керенскому, бывшему в то время министром юстиции. Мы просили министра воспрепятствовать загромождению площади Зимнего дворца... Керенский с нами согласился... Площадь Зимнего дворца удалось отстоять», — вспоминал Ф. И. Шаляпин. Многое мы повидали — даже зиккурат с мумией на Красной площади в Москве. Но Дворцовую, превращенную в кладбище, все же трудно представить.

23 марта на Марсовом поле были торжественно похоронены 184 человека, погибшие в дни Февральской революции. В 1918 году Марсово поле переименовано в площадь Жертв революции. А впрочем, кладбищенская земля и ряды могил на Дворцовой — это было бы символично. Все чаще казалось, что Петербург теперь — не для жизни. Город менялся на глазах: улицы давно никто не убирал, и ветер носил мусор — газетные обрывки, листовки. Но больше всего подсолнечной шелухи. Петроград лета 1917 года засыпан ею. Лузганье семечек — отрада деревенских посиделок, шик слободских гуляний. Новые хозяева города непрерывно грызут их и сплевывают шелуху — на торцы мостовых, паркеты дворцов, гранит набережных. Заплеванный город с кладбищем на Дворцовой... С продовольствием все хуже, все чаще гаснет свет — перебои с электричеством.

В начале июля город снова сотрясают волнения. Но они не похожи на «солнечную метель» февральских дней: «Ночью рабочие подкатили на грузовике... Три грузовика наполнились людьми, которые с криками укатили в город... По слухам, сегодня вышел вооруженный Московский полк... Какая душная ночь, скоро час, а много не спящих людей на улице, галдеж, хохот, свинцовые облака. Дельмас, воротясь домой, позвонила: на улицах говорят „Долой Временное правительство!“, хвалят Ленина... На дворе — тоскливые обрывки сплетен прислуги», — записывал 3 июля Блок.

3—4 июля в городе стрельба (большая часть петроградского гарнизона осталась на стороне правительства), заводы остановлены, трамваи не ходят. Зато носятся грузовики с пулеметами и вооруженными людьми. Большевики организовали попытку свержения Временного правительства. У дворца Кшесинской непрерывный митинг, среди ораторов — Ленин.

4 июля на демонстрацию вышло почти полмиллиона человек. По ним открыли огонь: на углу Садовой улицы и Невского, на Литейном и Владимирском проспектах. Жертвы были с обеих сторон. 5 июля в городе введено военное положение. С фронта прибыли верные правительству войска. «Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент», — говорил в этот день Ленин. Однако демократическая власть старалась неукоснительно соблюдать законность. 6 июля Временным правительством отдан приказ об аресте Ленина. Газеты сообщали, что попытка переворота организована на немецкие деньги, обвиняли большевиков в подрывной деятельности в пользу Германии. Многих большевиков арестовали, но в сентябре-октябре освободили под залог. Арестовать Ленина было несложно (правительство располагало сведениями о том, где он скрывается), но этого не сделали. Мятеж был подавлен.

И все же удушливый запах надвигающейся беды стоял над городом — в самом буквальном смысле. Лето выдалось жарким, в окрестностях Петрограда горел торф. Заводские дымы смешивались с едким запахом гари. «А гарь такая, что, по-видимому, вокруг всего города горит торф, кусты, деревья. И никто не тушит... Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревням, широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя Бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, сгорит. Такие же желто-бурые клубы, за которыми тление и горение (как под Парголовым и Шуваловым, отчего по ночам весь город окутан гарью), стелются в миллионах душ, пламя вражды, дикости, татарщины, злобы... то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя нет, и Бог не посылает его», — писал А. А. Блок.

Здравомыслящие люди говорят: надо уезжать. Положение правительства шатко, неизвестно, что дальше; на твердую власть и законность рассчитывать, похоже, нечего.

В лавках товар заворачивают в листы отличной бумаги — в страницы Свода законов Российской империи. Записи в дневнике А. А. Блока:

«28 июля. Офицеры английского генерального штаба пророчат голод и немцев и советуют всем, кто может, уезжать отсюда.

22—26 августа. На улицах возбуждение (на углах кучки, в трамвае дамы разводят панику, всюду говорится, что немцы все равно придут сюда, слышны голоса: „Все равно голодная смерть“)... Вокзал кипит уезжающими».

Истории Великой Октябрьской социалистической революции, совершившейся в Петрограде (современники называли ее октябрьским переворотом), посвящена обширная литература. Мы остановимся лишь на нескольких эпизодах этого события.

После Февральской революции Петроградский совет принял постановление о невыводе гарнизона из столицы. Солдаты не хотели отправляться на фронт — куда вольготнее было оставаться в тылу, митинговать и наводить в столице «революционный порядок». Деморализованный гарнизон представлял серьезную опасность для правительства. Во время июльских волнений часть его (около сорока тысяч человек) выступила на стороне большевиков. Временное правительство стремилось сократить численность этой почти не управляемой силы. В сентябре верховный главнокомандующий А. Ф. Керенский решил вывести две трети гарнизона для обороны подступов к столице. Петроградский совет (к этому времени он находился в руках большевиков) опротестовал решение Временного правительства. «...Исход восстания 25 октября был... предопределен в тот момент, когда мы воспротивились выводу петроградского гарнизона, создали Военно-Революционный комитет (1 октября), назначили во все воинские части и учреждения своих комиссаров и тем полностью изолировали не только штаб Петроградского военного округа, но и правительство», — утверждал Л. Д. Троцкий в своей статье «1917. Уроки Октября».

Итак, большевики выступили защитниками военного гарнизона, которому грозила опасность воевать (к октябрю его численность в городе составляла около 150 тысяч человек). Троцкий на митинге в Народном доме заверял, что советская власть «...отдаст все, что есть в стране, бедным и обездоленным. У тебя, буржуй, две шубы — отдай одну солдату, которому холодно в окопах. У тебя имеются теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему. Советская власть даст мир земле и уврачует внутреннюю разруху. Реквизирует хлеб у имущих и бесплатно отправит в город и на фронт...»[1]

Конечно, шубы и сапоги, обещанные Троцким, вещь хорошая, однако для солдат важнее другое. Редакции газет «люди из окопов... буквально заваливали письмами. И только один был в них мотив — конец войны: „безразличны и партии, и политика, и революция. Поддержат всех, кто покажет хоть призрак мира“». Большевики готовы обещать немедленный мир и все, что угодно. Ведь, по словам Ленина (сентябрь 1917 года), главное — «вырвать власть. Остальное приложится».

Петроградский гарнизон не хотел защищать Временное правительство. Для большинства это значило защищать Керенского, к тому времени крайне непопулярного. Но отнюдь не все собирались участвовать в готовившемся перевороте. «Подвойский в день восстания в заседании Военно-Революционного комитета перечислял многочисленные части гарнизона, заявившие о своем нейтралитете: 3 казачьих полка, артиллерия, кавалерийские полки, пехотные полки — Семеновский, Измайловский, Преображенский, инженерный полк, батальон самокатчиков, автобронеотряд и др.».

Даже полки, принимавшие участие в перевороте, выступили не в полном составе, действовали лишь отдельные их части. Так же обстояло дело с рабочими — красногвардейцами. 25 октября «утром работа на фабриках

[1] Эта и последующие цитаты в главе о событиях октябрьского переворота приводятся по книге С. П. Мельгунова «Как большевики захватили власть» (Париж: YMCA-Press, 1984).

и заводах не была остановлена. Работа шла, и только в партийных комитетах, — вспоминает рабочий Балтийского судостроительного завода Мартынов, — происходили совещания. В конце концов 235 рабочих с этого завода приняли то или иное участие в боевых действиях. С других заводов — еще меньше». Путиловцы выставили отряд из 80 человек. В целом эти отряды не представляли серьезной силы. В день переворота «...на улицах дрались только матросы и вооруженные рабочие, солдаты запасных полков были апатичны и, видимо, берегли себя и не желали особенно активных выступлений». Они берегли себя, чтобы в недалеком будущем сложить головы на гражданской войне, сгинуть во времена голода, репрессий, коллективизации. Знали бы они, какую цену за этот «нейтралитет» придется платить им и их потомкам!

О подготовке большевистского переворота было известно заранее. Газеты писали об этом с десятых чисел октября, назывались и даты намеченного вооруженного выступления. Однако правительство и его глава Керенский заявляли, что не допустят мятежа. Если большевики забыли урок, полученный в июле, тем хуже для них. А в частных разговорах Керенский заявлял: «Пусть только они выступят, и я уничтожу их. Сил для этого более чем достаточно». В августе, выступая в Москве, он говорил о силе нынешней власти, могущей позволить «роскошь восстаний и конспиративных заговоров». Это убеждение правительство сохраняло до последнего дня.

«Станкевич рассказывает, что, когда он приехал с фронта в Петербург 24-го, Керенский встретил его в приподнятом настроении: „Ну, как вам нравится Петроград?“ — Я выразил недоумение. — „Как, разве вы не знаете, что у нас вооруженное восстание?“ — Я рассмеялся, так как улицы были совершенно спокойны и ни о каком восстании не было слышно. Он также несколько иронически относился к восстанию, хотя и озабоченно».

К этому времени большевики завладели арсеналом Петропавловской крепости, вооружили Смольный; крейсер «Аврора» после ареста его офицеров был подведен к Николаевскому мосту и т. д. Однако они тоже до последнего дня клялись, что не собираются выступать. 21 октября Петроградский совет опубликовал воззвание: «Братья — казаки... негодяи и провокаторы говорят, что Советская власть готовит „какое-то восстание“. Их цель — вызвать кровопролитие и в братской крови утопить вашу и нашу свободу».

Ложь большевиков понятна: они не были уверены в своих силах. Гарнизон оставался пассивным, даже штаб в Смольном до 24 октября был почти не защищен. Пулеметная рота, охранявшая его, была ненадежной, а пулеметы неисправными. Предполагалось, что главной ударной силой восстания станут матросы из Кронштадта и Гельсингфорса, «уже испытанные в июльские дни». Но они прибыли в Петроград лишь 25 октября. А до тех пор «хорошему сводному отряду (войск Временного правительства. — *Е. И.*) было бы не много хлопот со Смольным» и его обитателями. Почему же правительство бездействовало?

Причин тому много, одна из них — личные качества его главы и верховного главнокомандующего: «непостоянство Керенского, полная невозможность положиться на его слова, доступность его всякому влиянию и давлению извне, иногда самому случайному». Его обвиняли в тщеславии, слабости, трусости. В роковой для России час во главе правительства оказался совершенно негодный для этого человек.

Другой причиной бездействия являлся «синдром левых». Для эсера Керенского и других деятелей из революционных демократов главной угрозой оставался призрак «контрреволюции». Большевики, с их экстремизмом, были, конечно, крайними, но все же своими: крайне левыми. Разгромить их без убедительных доказательств их вины значило подорвать единство революционных сил. Накануне переворота Керенский говорил в Совете Республики: «Правительство могут упрекнуть в слабости и чрезвычайном терпении, но никто не имеет права сказать, что Временное правительство за все время, пока я стою во главе его... прибегало к каким-либо мерам воздействия раньше, чем это не грозило непосредственно гибелью государства». Что тут добавить?

Неужели в Петрограде не было людей, способных взять на себя военное командование и подавить мятеж? Были конечно. Но их правительство опасалось больше, чем Ленина с Троцким, — в каждом из них оно подозревало будущего диктатора. Диктатора, который ликвидирует завоевания революции. Нужен «настоящий человек, достаточно сильный и вместе с тем вызывающий доверие демократии», но демократия не склонна доверять царским генералам и офицерам (большевики решили эту проблему: мобилизуя «военспеца», брали в заложники его семью и чуть что — расстреливали).

Бывший верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев еще в критические июльские дни предлагал свою помощь правительству: «Не могу мириться с умиранием родины», — писал он. 20 октября он просил министра Временного правительства Терещенко: «Скажите правительству, что в Петрограде сейчас находится не менее 15 тысяч офицеров. Если мне разрешат, то завтра же уже 5 тысяч из них под моей командой будут охранять Временное правительство». Имя Алексеева было известно и уважаемо в армии; вскоре после большевистского переворота он возглавит Добровольческую армию. Если бы правительство разрешило ему организовать оборону, само имя Алексеева привлекло бы немало людей. Но к нему не обратились.

В Штаб военного гарнизона приходили офицеры, прибывшие с фронта. Они готовы были выступить против большевиков, требовалось лишь призвать и организовать их. Но им неизменно отвечали, что необходимые меры приняты и нужды в их помощи нет. Накануне переворота Штаб издал приказ: всем частям гарнизона оставаться в казармах; вышедшим самовольно с оружием грозил суд. Офицерам петроградского гарнизона приказано оставаться в казармах, даже если солдаты их частей нарушат приказ и выступят. Таким образом, в день переворота многотысячная армия офицеров, находившихся в столице, не могла принять участия в боевых действиях.

Керенский не ошибался, утверждая, что в Петрограде достаточно сил для подавления мятежа. По общему мнению, с этим можно было справиться силами трех казачьих полков. Но и казаки не выступили в защиту правительства. 17 октября Керенский встречался с делегатами Донского казачьего Войскового круга, которые высказали недоверие к правительству, «идущему на поводу у Советов». У казаков накопилось много обид, а через несколько дней прибавилась еще одна. 22 октября в Петрограде должны были состояться две манифестации: пробольшевистская демонстрация в «День Петроградского Совета» и казачий крестный ход. Правительство запретило проведение крестного хода, а демонстрация Совета отменена не была. Таким образом оно еще раз подтвердило, что «идет на поводу у Советов».

Ночью 24/25 октября в Зимний дворец для переговоров с Керенским пришла делегация от казачьих полков. По свидетельству Керенского, она заявила, что «казачьи полки только в том случае будут защищать правительство... если на этот раз казачья кровь не прольется даром, как это было в июле, когда не были приняты против большевиков достаточно энергичные меры». Керенский согласился с этим и подписал приказ о выступлении Донских казачьих полков. Однако после возвращения делегации Совет казачьих войск постановил, что его соединения будут соблюдать нейтралитет.

С. П. Мельгунов приводит несколько объяснений этого решения. Среди прочего есть знаменательный штрих: «Формулировка приказа (Керенского. — *Е. И.*)... едва ли могла произвести должное впечатление на руководителей Совета казачьих войск... Верховный Главнокомандующий призывал 1, 4 и 14 казачьи полки выступить для поддержки ЦИК Советов, революционной демократии, Временного правительства и для спасения гибнущей России». Керенский был недалеким политиком: он не чувствовал, с какими словами следовало, а с какими не стоило обращаться к возможным сторонникам.

Представители левых партий в Совете Республики тоже сознавали опасность большевизма. Они предложили правительству политическое решение конфликта. В ту же ночь 24/25 октября, кроме казачьей депутации, у Керен-

ского побывала делегация «левых»: лидер меньшевиков Ф. И. Дан и лидер эсеров А. Р. Гоц. От имени большинства Совета Республики они потребовали, чтобы немедленно было напечатано и расклеено по городу заявление Временного правительства о том, что оно обратилось к союзным державам с требованием остановить военные действия и начать переговоры о мире; что оно распорядилось передать помещичьи земли в ведение земельных комитетов и что созыв Учредительного собрания будет назначен на ближайшее время.

Предложение левых было разумным — оно отнимало у большевиков главные политические козыри — лозунги: «прекращение войны», «земля — народу», «власть — представителям народа». Возможно, оно не предотвратило бы вооруженного выступления, но сторонников у Ленина и его партии стало бы куда меньше. На это Керенский заявил, что правительство не нуждается в чьих-либо наставлениях и справится с мятежом. Английский посол в России Бьюкенен так определил итог политики Керенского: «Он всегда готовился нанести удар, но не наносил; он больше думал о спасении революции, чем о спасении страны, и кончил тем, что погубил обе».

Временное правительство все-таки попыталось предотвратить подготовку мятежа. 19 октября отдан очередной приказ об аресте Ленина, Троцкого и других главарей большевиков. Но оказывается, это невыполнимо. Где скрывается Ленин, неизвестно (хотя выяснить это не составляло труда); Троцкий неуловим, потому что «ночует в казармах и притом каждую ночь в другой» и т. п.

В ночь на 24 октября состоялось экстренное заседание правительства. Решено начать расследование деятельности Военно-Революционного комитета, направленной против законной власти. Некоторые министры предлагали арестовать членов ВРК, но министр юстиции возразил — и это предложение было «временно отложено». Постановили закрыть большевистские газеты «Рабочий путь» и «Рабочий и солдат». По распоряжению штаба 24-го к Зимнему дворцу вызваны отряды юнкеров, кое-где в городе расставлены пикеты; со второй половины дня

прекращено трамвайное движение и разведены мосты, соединяющие окраины с городом.

Большевики наметили выступление на ночь 24/25 октября, но революционные массы не рвались в бой. Во всех частях гарнизона шли непрерывные митинги, лишь вечером начались первые стычки красногвардейцев, посланных свести мосты, с охранявшими их юнкерами. Вечером же 24-го Ленин из «подполья» послал обращение к районным партийным организациям. Тон его граничил с истерикой: «Положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно... Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!»

Правительство не колебалось — дело обстояло гораздо хуже: оно не подготовилось к обороне и не мобилизовало своих сил. Ночью 24/25 октября Керенский отправился в Штаб военного округа, чтобы выяснить, какие меры принимаются для борьбы с мятежниками. Впоследствии он вспоминал: «Здание Штаба было переполнено офицерами всех возрастов и рангов, делегатами различных войсковых частей». Однако он сразу понял, что полагаться на командующего Штабом и на офицеров нельзя, а «нужно было сейчас же брать в свои руки командование, но только уже не для наступательных действий против восставших, а для защиты самого Правительства» (в своих записках Керенский обвиняет руководство Штаба в измене и в заговоре против него).

«Опереточный верховный главнокомандующий», как назвал его один из мемуаристов, отстранил руководство Штаба и взялся за дело сам. Единственным очевидным результатом его деятельности стало то, что к утру Штаб опустел — ушли и офицеры, и полковые делегаты. А через несколько часов, утром 25 октября, Керенский сам покинул Петроград. Он отправился в Гатчину для встречи войск, которые должны прибыть на подмогу с фронта. Правда, эти войска правительство вызвало лишь несколько часов назад, ночью 24/25-го. Так что немудрено, что в Гатчине никого не оказалось. Тогда, «как будто повинуясь какому-то внутреннему голосу», он отправился дальше, в Псков.

Самое странное, что первый эшелон вызванных войск в тот день все-таки появился. Состав, в котором прибыл самокатный батальон — надежная, боеспособная часть с Западного фронта — остановился в 80 километрах от Петрограда, на станции Передольская, и до 27 октября ждал распоряжения правительства из Петрограда. Но этого правительства уже не существовало.

Вечером 24 октября в Петрограде было тревожно. Опустели рестораны, кинематографы, театры. Возле правительственных зданий дежурили пикеты; к ночи в центре города появились немногочисленные патрули ВРК — Военно-Революционного комитета большевиков. А утром тревоги как и не было: мосты сведены, «по-всегдашнему ходят переполненные трамвайные вагоны»; «толпа на улицах и в трамваях поражает своим безразличием»; «на улицах все буднично и обыкновенно, привычная глазу толпа на Невском... та же деловая или фланирующая публика». Эти свидетельства о дне 25 октября записаны позже, многие авторы отмечают: в тот день в городе царило веселье («публика поголовно смеется»).

Весело и у Зимнего дворца. Член Чрезвычайной следственной комиссии Коренев вспоминал: «Утром 25-го октября мне, по обыкновению, подают к гостинице экипаж, еду во Дворец с предчувствием чего-то скверного, но предвестников близкого грядущего никаких не замечаю... Только уже у самого Дворца заметно необычное шевеление... Дворец снаружи принял более боевой вид: все его выходы и проходы, идущие на Неву, облеплены юнкерами. Они сидят у ворот и дверей Дворца, галдят, хохочут, бегают по тротуару вперегонки. Их здесь примерно сотни четыре человек».

Военные школы и училища столицы, по подсчетам большевиков, могли выставить четыре-пять тысяч бойцов. Штаб гарнизона имел время и возможность мобилизовать юнкеров, но распоряжение прибыть к Зимнему дворцу было послано лишь 24 октября. Утром 25-го Савинков заметил: в толпе на Невском, как обычно, много военной молодежи. «Я сделал заключение: юнкерам не было отдано приказание оставаться в казармах, и значит, их нельзя будет собрать в случае нападения большевиков на Зимний дворец»[1].

Спокойствие в городе обманчивое: большевики не бездействовали. «За ночь и утро „восстание“ распространилось чрезвычайно быстро, насколько под восстанием можно понимать захват правительственных учреждений». Еще накануне два безоружных комиссара «захватили» Центральный телеграф. Сопротивления представители ВРК не встречали нигде. Это придало захватчикам уверенности; «не встречая противодействия, они безобразничали».

По плану ВРК ночью 24/25-го следовало окружить Зимний дворец и арестовать правительство. Но один из руководителей переворота, Н. И. Подвойский, свидетельствует: первое продвижение войск к Зимнему дворцу началось только в 6—7 часов утра 25 октября. Хотя «продвижение войск» — сильно сказано. Около 9 часов утра Керенскому доложили, что на Дворцовом мосту стоят матросские пикеты. Патрули ВРК выставлены на Невском проспекте в районе Дворцовой площади; солдаты не пропускают прохожих на Мойке у Мариинского дворца. Наверное, были и другие «продвижения войск» в том же роде, но ничего более существенного не происходило.

Во дворце собирались защитники Временного правительства. «На пополнение юнкеров из Петергофской и Ораниенбаумской школ, охранявших Дворец, постепенно подошли ударницы из женского батальона, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, прибыла школа инженерных прапорщиков, собрались добровольцы. Одним словом, скопилась некоторая военная сила, как будто достаточная для того, чтобы продержаться до прибытия войск с фронта».

[1] Многим из тех, кто в этот день фланирует по Невскому или бегает взапуски у Зимнего дворца, осталось несколько дней жизни. 29 октября юнкера военных училищ предприняли вооруженное выступление против большевиков. При его подавлении и после арестов (даже юнкеров, не участвовавших в выступлении) обнаружилась невиданная жестокость новой власти. Расправу чинили «революционные матросы».

Однако скоро выяснилось, что для обороны ничего не подготовлено. Из поленниц дров, сложенных у парадного входа во дворец, юнкера наскоро соорудили баррикады. Нет снарядов, боеприпасов, нет даже еды. Организацию обороны можно представить хотя бы по такой детали: недавно назначенные коменданты Зимнего не знали топографии дворца; дверь, выходящую к Зимней канавке, не заперли, о ней не знали или забыли. К вечеру через этот вход во дворец стали проникать осаждавшие.

Почему министры Временного правительства оставались в Зимнем дворце до самого конца, до ареста? Ведь дворец по-настоящему окруженным оказался лишь к вечеру, у них было время уйти. С утра они собрались в Зимнем на заседание, затем решили ожидать прибытия войск с фронта. Вечером, когда надеяться было уже не на что, правительство составляло воззвания к демократической общественности. Общественность не откликнулась. К ночи «в огромной мышеловке бродили, изредка сходясь все вместе или отдельными группами на короткие беседы, обреченные люди, всеми оставленные».

Около двух часов дня французский журналист Анэ отправился во дворец. У Адмиралтейства он увидел несколько патрулей ВРК, в сотне метров от них юнкера сдерживали толпу любопытных. На площади пусто. «Дворец — какая-то пустыня. Анэ проходит одну залу за другой, никого не встречая. Правительство словно исчезло, и только в комнате для печати французский журналист находит двух-трех собратьев по перу». Управляющий делами Временного правительства В. Д. Набоков приехал к Зимнему дворцу около четырех часов дня. Площадь уже была оцеплена редкими шеренгами солдат. Он предъявил свой пропуск и беспрепятственно прошел через оцепление. «Присутствие мое оказалось совершенно бесполезным... Когда выяснилось, что Временное правительство ничего не намерено предпринимать, а занимает выжидательную позицию, я предпочел удалиться».

Около четырех часов дня в город прибыли вызванные ВРК матросы из Кронштадта и из Гельсингфорса. Их

около четырех тысяч, они — главная сила большевиков. К 6.30 вечера дворец окружен осаждающими. У защитников достаточно сил для обороны, но не хватает командиров («всего 5 действующих офицеров»). Большевики считали, что во дворце около полутора тысяч человек, однако к ночи их число заметно поубавилось. «Покидали Дворец изголодавшиеся, покидали в одиночку и группами павшие духом, покидали обманутые». Юнкеров-артиллеристов увел политический комиссар их училища, солгавший, что таков приказ командира. Ушли казаки. Перед этим они спросили, на что рассчитывает правительство, оставаясь в бездействии. «Правительство казакам отвечало то, что говорило юнкерам — оно не может отдать военного приказа: биться до последнего человека; может быть, кровопролитие будет бесцельно и поэтому оно предоставляет свободу действий». Казачий полковник «ничего не сказал и только вздохнул».

До девяти часов вечера осаждающие и осажденные обменивались редкими выстрелами. После девяти перестрелка усилилась. «Мы — или нас?» — спросил кто-то из министров. «Мы. Для острастки выстрелили из пушки в воздух». Атакующие стреляли всерьез, а не для острастки. Сигналом к штурму стали холостые залпы из сигнальной пушки Петропавловской крепости и из носового орудия «Авроры». После часа перестрелки, когда, по выражению В. А. Антонова-Овсеенко, руководившего штурмом, «беспорядочные толпы матросов, солдат, красногвардейцев то наплывают к воротам дворца, то отхлынывают», начался артиллерийский обстрел Зимнего из Петропавловской крепости. Шестидюймовые орудия «Авроры» тоже должны стрелять боевыми снарядами, но крейсер поставили так неудачно, что он не мог бить по дворцу.

Почему же Зимний дворец не превратился в груду развалин? Со временем возникнет легенда о «великой революции» на пятачке у Зимнего дворца. Но дело у большевиков в тот день шло совсем не гладко. Боевые действия начались через сутки после назначенного срока, были и другие неувязки, едва не сорвавшие переворот.

Около одиннадцати часов вечера артиллерия Петропавловской крепости получила приказ начать обстрел Зимнего боевыми снарядами. Но оказалось, что орудия не могут стрелять — «недоставало каких-то частей. Пришлось наскоро искать не столько недостающих частей, сколько других артиллеристов». Для вразумления артиллеристов в крепость прибыли матросы, и только после этого орудия стали бить прямой наводкой — но из тридцати пяти снарядов только два попали в цель.

На другой день посол Великобритании Бьюкенен «вышел после полудня, чтобы взглянуть на повреждения, причиненные Зимнему Дворцу в прошлый вечер длительной бомбардировкой, и, к моему удивлению, несмотря на близость прицела, со стороны реки имелось всего три отметины в тех местах, где ударила шрапнель. Со стороны площади стены были испещрены тысячами пуль от пулеметов, но ни один выстрел из полевых орудий... не попал в здание».

Штурм идет с девяти часов вечера; осаждающие, по поэтическому выражению Антонова-Овсеенко, много раз «наплывают и отхлынывают», но дворец до сих пор не взят! А что происходило в Смольном? Там с утра 25-го скрывался в задних комнатах вождь революции. «Он был обвязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке», — вспоминал Троцкий. В таком виде он появился здесь накануне вечером. В 2.30 дня Троцкий объявил на заседании Петроградского совета, что взятие дворца и арест Временного правительства — дело ближайших минут. В три часа о том же сообщил появившийся на заседании Ленин. Затем срок перенесли на 6 часов...

В 10.40 вечера в Смольном открылся Второй съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. По замыслу Ленина, при его открытии следовало объявить о свержении Временного правительства. У большевиков на съезде численный перевес, но все же лучше поставить делегатов перед совершившимся фактом. В Смольном слышны артиллерийские залпы — однако известия о победе все нет.

Ленин на съезде не появлялся. Он, как «лев в клетке, метался в маленькой комнатке подле заседания и ругался», — вспоминал Троцкий. Потом они с Ильичом лежали на полу (!) в комнате и отдыхали, лишь изредка Троцкий «выходил в зал заседаний для того, чтобы подать реплику Дану или иному оратору». В реальных событиях 25-го октября был иной колорит, нежели в фильме Эйзенштейна «Октябрь».

Во время обстрела и после него первые группы осаждающих проникли во дворец со стороны Миллионной, блуждали по пустым залам, лестницам. Их обезоружили юнкера, но с разных входов появлялись все новые и новые... «Тревожный шум в самом дворце — ворвались откуда-то 30—40 человек. Бросили бомбы. Опять тишина. Опять ворвалась толпа. Уже большая — человек 100. Пальчинский доложил, что юнкера приняли ее за депутацию от Думы. Толпу обезоружили. И вдруг возник шум где-то и сразу стал расти, шириться и приближаться». То, что юнкера приняли за депутацию от Думы, была толпа, ворвавшаяся через двор вместе с парламентерами большевиков. Начальник обороны передал правительству, что вынужден сдать дворец во избежание кровопролития. Парламентеры обещали сохранить жизнь участникам обороны. Министры начали совещаться о капитуляции. В комнату, где они находились, был допущен глава большевистских парламентеров Антонов-Овсеенко. Толпа осталась за дверьми. К юнкерской охране, стоявшей за дверьми, вышел представитель правительства и объявил решение: принять сдачу без всяких условий. Юнкера выслушали его молча.

В 2 часа 10 минут Антонов-Овсеенко объявил об аресте Временного правительства. «Мы не сдались и лишь подчинились силе, и не забывайте, что ваше преступное дело еще не увенчалось окончательным успехом», — сказал кто-то из министров. В Смольный сообщили о взятии дворца и аресте правительства. Теперь Ильич мог встать с пола, на котором отдыхал, — настал его звездный час.

Какие поразительные сны —
страшные, дикие, яркие...

А. Блок. «Записные книжки».
20 декабря 1918 года

В 1918 году вышла книга Винберга о событиях в Петрограде, названная «В плену у обезьян». В плену у обезьян — так можно определить происходившее в городе после октябрьского переворота. Почти сразу же начались погромы. В Петрограде было несколько сотен винных складов и погребов, к ним и бросились в первую очередь «угнетенные массы». Толпы солдат и городского отребья разгоняли охрану и взламывали двери склада. Из разбитых бочек спиртное лилось на пол. Сбегались новые толпы, «вокруг винного погреба хороводом неслась кровопролитная драка»; по мостовой, смешиваясь с грязью, расплывались винные лужи; пили, отталкивая друг друга, из луж... Потом начиналась стрельба, грабежи окрестных лавок. Вспыхивали пожары.

В сумерках люди не выходили из дому. Освещения в городе почти не было, с улицы доносились выстрелы. Шли грабежи «буржуйских» квартир. И днем на улицах страшно. З. Н. Гиппиус записывала в дневнике о происшествиях, обыкновенных в то время. «Сегодня Ив. Ив. [Манухин] пришел к нам хромой и расшибленный. Оказывается... на Фонтанке в 3 часа дня он увидел женщину, которую тут же грабили трое в серых шинелях. Не раздумывая... он бросился защищать рыдавшую женщину... Один из орангутангов изо всей силы хлестнул Ив. Ив. так, что он упал на решетку канала... Однако в ту же минуту обезьяны кинулись наутек, забыв про свои револьверы...» («Петербургские дневники». 22 января 1918). Через несколько дней новая запись: «Единственная злая отрада сегодняшнего дня: на Шпалерной ограбили знаменитых большевиков Урицкого и Стучку. Полуголые, дрожа, добрались они до Таврического дворца».

Через пять дней после штурма комиссия Городской думы «произвела обследование разгрома Зимнего дворца и установила, что в смысле ценных художественных предметов искусства Дворец потерял немного, хотя

там, где прошли грабители, комиссия натолкнулась на следы вандализма — у портретов прокалывались глаза, на креслах срезаны кожаные сиденья, дубовые ящики с фарфором пробиты штыками», — свидетельствовал С. П. Мельгунов.

Погромы, самосуды, разнузданная чернь — это страшно. Не менее страшно и другое — «идейная» жажда расправы, дикая ненависть, охватившая многих. Ярким примером тому были матросы Балтийского флота. Мельгунов, ссылаясь на статью В. Бонч-Бруевича «Странное в революции», говорит о коллективном психозе матросской массы. «Бонч-Бруевич дал... изумительно яркую бытовую картину матросского общежития той группы, во главе которой стояли прославленный Железняк и его брат. Он описывает исступленные радения с „сатанинскими“ песнями и плясками „смерти“ среди символических „задушенных“ тел — с кровавыми выкриками и угрозами. Железняк и его товарищи запомнились многим. Вот они шагают посередине улицы: на плечах у Железняка меховая горжетка, у другого матроса шея обмотана грязным кружевом; каждый из них обвешан целым арсеналом оружия. На митингах Железняк неизменно требует „миллиона голов буржуазии“!».

Расправа, учиненная матросами над юнкерами, ужасала неслыханной жестокостью. Комендант Петропавловской крепости говорил, что не сможет защитить заключенных царских министров и министров Временного правительства от самосуда. 6 января 1918 года четверо больных узников были отправлены из крепости в лечебницы. Двое из них — члены Временного правительства А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин в ту же ночь были убиты матросами в Мариинской больнице. «Шингарев был убит не наповал, два часа еще мучился, изуродованный, Кокошкину стреляли в рот, у него выбиты зубы. Обоих застигли сидящими в постелях. Электричество в ту ночь в больнице не горело. Все произошло при ручной лампочке» (З. Н. Гиппиус. «Петербургские дневники». 7 января 1918). «Внутри дрожит», — записал 8 января Александр Блок, узнав об убийстве. А начало записи этого дня: «Весь день — „Двенадцать“».

Блок говорил Чуковскому, что начал писать поэму с середины, со слов: «Уж я ножичком полосну, полосну!» Тому страшному, нечеловеческому, что надвинулось на Петроград и Россию, суждено было сказаться через Александра Блока. 29 января он записал: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь... Сегодня я — гений».

В эти недели Блок переживал особое состояние. Кровавый шум времени оглушал, захлестывал душу, доводил до безумия: «Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством... Господи Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивая мысли... Он лично мне еще не сделал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить», — запись 26 февраля 1918 года.

Но «черной злобой, святой злобой» одержимы не все. Большинство рассуждает проще: пришло время грабить буржуев. «Если ночью горит электричество — значит, в этом районе обыски... Оцепляют дом и ходят целую ночь, толпясь, по квартирам», — писала З. Н. Гиппиус. Чего же они ищут? «Денег, антисоветской литературы, оружия». Бабы на обысках особенно интересуются, что в шкафах. «Странное чувство стыда, такое жгучее — не за себя, а за этих несчастных новых сыщиков... беспомощных в своей подлости и презрительно жалких». Страшно, что в обысках участвуют дети. «Мальчик лет 9 на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дм. Серг. (Мережковского. — *Е. И.*). Но в комодах с особенным вкусом... „Ведь подумайте, ведь они детей развращают! Детей!“»

Но у Мережковских, да и у других литераторов, мало чем можно поживиться. А вот Федор Иванович Шаляпин действительно богат. У него конфисковали автомобиль, банковские вклады, но это лишь начало. Он вспоминал: «Каждую ночь обыски. Приходят люди из разных организаций. Документы, выданные в других районах и организациях, для них недействительны. Откровенные грабежи». Конфискуют запасы вина. И картины — он не

имеет права владеть тем, что принадлежит народу. Требуют опись столового серебра. Почему-то именно это переполняет чашу терпения. Шаляпин обращается к властям с просьбой, чтобы серебро оставили. Каменев милостив к просителю: «Конечно, товарищ Шаляпин, вы можете пользоваться серебром, но не забывайте ни на одну минуту, что в случае, если это серебро понадобилось бы народу, никто не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент». «Я понимал, конечно, что больше уже не существует ни частных ложек, ни частных вилок, — иронизировал Шаляпин, — мне внятно и несколько раз объяснили, что это принадлежит народу».

Буржуи будут уничтожены как класс, но пока их можно использовать. В 1918 году «была суровая зима, и районному комитету понадобилось выгружать на Неве затонувшие барки для дров. Районный комитет не придумал ничего умнее, как мобилизовать для этой работы не только мужчин, но и женщин» (Ф. И. Шаляпин. «Маска и душа»). Летом 1918 года в городе вспыхнула холера, и «буржуев» погнали рыть могилы и хоронить умерших. В мае 1919 года «дыры от выломанных торцов на Невском проспекте засыпали щебнем те, кто питались по пятой категории, т. е. не имели постоянной работы. Их гнали на очистку улиц и починку мостовых, они едва стояли на ногах и не всегда могли поднять лопату», — писала Н. Н. Берберова в книге «Железная женщина». Одних водили под конвоем рыть окопы за городом, других отправляли за сотни километров на другие «общественные работы». «Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров», — заметила З. Н. Гиппиус.

«Мы истребляем буржуазию как класс, — писал в 1918 году в газете «Правда» член коллегии ВЧК М. Лацис. — Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого». К буржуям

причислены не только бывшие богачи и аристократы, но и бывшие служащие, врачи, учителя, извозчики-лихачи, лавочники, банщики. Словом, значительная часть петербуржцев. Все они стали заложниками в борьбе новой власти с противниками. Их загребали как рыбу бреднем: при обысках, облавах, по спискам домовых книг. Причиной ареста становились дружеские, родственные связи, просто сословная принадлежность. По свидетельству писателя Марка Алданова, в 1918 году «почти половина столицы старалась ночевать вне дома (аресты производились ночью)». «Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10—11 в день... Комендант, проходя мимо тут же стоящих, помертвевших жен, шутит: „Вот, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалейте, ваш муж мерзавец был! В Красной армии служить не хотел!“» (З. Н. Гиппиус. «Петербургские дневники». Август 1919).

Расстреливали, когда не хватало места в тюрьмах. «Камеры (Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. — *Е. И.*) были переполнены... На третий день людей стали партиями куда-то уводить... [Люди] были выведены на мол... часами стояли на моле в ожидании погрузки. Вдруг раздалась команда: „Те, кто не военные, отойдите в сторону!“ Оказалось, что баржи переполнены и начали тонуть», — рассказывала в своих воспоминаниях «Дочь генеалога» Т. А. Аксакова. Офицеров отвезли в Кронштадт и расстреляли. В ночь после убийства председателя петроградской ЧК Урицкого (30 августа 1918 года) было расстреляно больше 500 заложников.

Друзья, не жалейте ударов!
Копите заложников рать,
Чтоб было кому коммунаров
В могильную сень провожать.

(В. Князев. «Око за око, кровь за кровь». 1918)

Однако «коммунары», занявшие номера гостиницы «Астория» и особняки, не спешили в могильную сень. «Горький говорил с аппетитом: — А провизия есть, есть... Это я знаю наверное... В Смольном куча икры — целые бочки... Вчера у меня одна баба из Смольного была... там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом», — записал в дневнике К. И. Чуковский.

Пир победителей в умирающем Петрограде. Аркадий Аверченко в книге рассказов «Дюжина ножей в спину революции» так описывал «новую русскую власть» в городе: «...съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит... Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван. А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской... спят вонючие китайцы и „красные башкиры“» («Усадьба и городская квартира»).

Угрозу для новой власти представлял и «победивший пролетариат», терпевший те же муки, что и остальные. В царские времена рабочие бастовали, открыто проявляли свое недовольство. Теперь за это полагалось одно наказание — смерть. «За оставшимися в городах, на работающих фабриках, большевики следят особенно зорко, обращаются с ними и осторожно — и беспощадно. Периодически повторяются вспышки террора именно рабочего... Запрещены всякие организации, всякие сходки, сборища, митинги, кроме официально назначаемых... На официальных митингах все бродят какие-то искры, и порою достаточно одному взглянуть исподлобья, проворчать: „Надоело уже все это...“, чтобы заволновалось собрание, чтобы занадрывались одни ораторы, чтобы побежали другие черным ходом к своим автомобилям» (З. Н. Гиппиус). Рабочие пробовали по старой памяти устраивать демонстрации, но «пролетарская власть» встретила их пулеметным огнем. Были арестованы и расстреляны члены заводских комитетов.

Поначалу большевики не верили в прочность своей власти и действовали, как бандиты при удачном налете: спешили побольше награбить (деньги и ценности переводили на свои имена в иностранные банки), убить как можно больше людей. Они каждую минуту готовы были бежать, хотя грозили, по выражению Троцкого, «перед уходом хлопнуть дверью на весь мир». В 1921 году газета

«Правда» писала: «Тем, кто нас заменит, придется строить на развалинах, среди мертвой тишины кладбища».

Если Петербург называли городом на болоте, то Петроград становится городом на крови. В кровавой хляби не просто погибало бессчетное число жертв — сознательно уничтожалось все лучшее, достойное в народе. Выберем из мартиролога тех лет одно имя — капитан I ранга А. М. Щастный. В конце марта 1918 года он был назначен командующим морскими силами Балтийского флота; перед вступлением немцев в Финляндию получил секретное предписание председателя Реввоенсовета Троцкого взорвать корабли, уничтожить Балтийский флот. Щастный не сделал этого, а сохранил флот, выведя его из Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. В мае его вызвали в Москву, арестовали и судили в Верховном трибунале. Единственным свидетелем и главным обвинителем на суде был Троцкий. Щастного обвинили в том, что «совершая геройский подвиг, он тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти». За спасение Балтийского флота он был расстрелян!

Я не стану писать о терроре советского времени — это тема особая. Заглянув в его бездну, уже не видишь ничего, кроме «кровавых костей в колесе». В тридцатые годы в Ленинграде бытовала загадка: «Какое самое высокое здание в городе?» — «Исаакиевский собор». — «Нет, дом НКВД. С собора видно Ладожское озеро, а из дома на Шпалерной — Соловки».

А до Соловков — во всю ширь — плоское, вымершее пространство...

> Небесная родина наполняется ежеминутно более и более близкими нашему сердцу и тем как бы становится нам еще желанней и драгоценней.
>
> *Из письма Н. В. Гоголя*
> *В. А. Жуковскому. 1847*

К началу 1917 года в городе было 2,4 миллиона жителей, в 20-м году — 722 тысячи. За три года население уменьшилось втрое. В 1918—1919 годах в Петрограде голод. Хлебная норма зимой 1918 года — 200 грамм в день, с апреля 1919-го — 50 грамм. «Девятнадцатый год... Симметрия двух девяток для многих... осталась зловещим знаком голодной смерти, сыпного тифа, испанки, лютого холода в разрушающихся и разрушаемых (топили паркетами) домах и самодержавного царствования ВЧК» (Н. Н. Берберова. «Железная женщина»). «Сперва топили печки старого образца мебелью, потом просто перестали их топить. Переселились на кухню... Спали в пальто, покрывались коврами; особенно гибли люди в домах с центральным отоплением. Вымерзали квартирами... Лопнули водопроводы, замерзли клозеты... Умирали, возили трупы на ручных салазках. Теперь стали подбрасывать трупы в пустые квартиры. Дороговизна похорон. Я посетил раз своих старых друзей. Они жили в доме на одной аристократической улице, топили сперва мебелью, потом полами, потом переходили в следующую квартиру. Это — подсечная система. В доме, кроме них, не было никого», — вспоминал В. Б. Шкловский в автобиографической прозе «Три года».

Летом 1919 года в городе свирепствовали дизентерия, холера, сыпной тиф. Раньше можно было уехать из Петрограда (и многие уехали), теперь бежать некуда — с трех сторон фронт гражданской войны. «Несмотря на периодическую глухую орудийную стрельбу, вид города все тот же: по улицам, заросшим травой, в ямах, идут испитые люди с котомками и саквояжами, а иногда... протарахтит большевистский автомобиль» (З. Н. Гиппиус. «Петербургские дневники». Август 1919). Зимой в квартирах нет света, холод такой, что вода из лопнувших труб замерзает, образуя каток. «В эти долгие-долгие часы тьмы все кажется, что ослеп. Ходишь с вытянутыми вперед руками, ощупывая ледяные стены коридора... Я поняла, что голод хуже холода, а тьма хуже и того и другого вместе».

«Сегодня сыт: а знаете, милого творожку я съел чуть-чуть — не более раз 4-х за зиму... Теперь только о еде и думаю», — это из письма 1918 года Розанова Голлербаху. Он вспоминает счастливые дни, когда «отрезывал у-зенькую серединку пирога с капустою и, не удержась... еще

и еще. Ах, как вкусно было». «Булочки, булочки... Хлеба пшеничного... Мясца бы немного...» — (В. В. Розанов. «Апокалипсис нашего времени»).

Имя петербургского хирурга Николая Александровича Вельяминова было знаменито в медицинском мире. В 1920 году, «председательствуя в последний раз на собрании хирургического общества, он, обратясь к портрету Пирогова, сказал: „Ave, Caesar, morituri te salutant!“[1]. Вскоре Вельяминов был выселен из квартиры вместе с собакой — единственным оставшимся у него близким существом. Он нашел пристанище в холодном, пустом помещении и очень нуждался. Когда последнее кресло было расколото на дрова и сожжено, Николай Александрович умер. На другой день нашли мертвой его собаку» (Т. А. Аксакова. «Дочь генеалога»). Таких судеб и страшных смертей в Петрограде 1918—1920 годов были тысячи, десятки тысяч.

С хлебным пайком в 50 или 200 грамм выжить невозможно. На городских рынках появились «толчки», там вещи меняли на еду. Новая власть запрещала это: «...на рынках вечные облавы, разгоны, стрельба, избиения. Сегодня избивали на Мальцевском. Убили 12-летнюю девочку... Чем объяснить эти облавы? Разве любовью к искусству, главным образом. Через час после избиений те же люди на тех же местах снова торгуют тем же. Да и как иначе? Кто бы остался в живых, если б не торговали они — вопреки избиениям?» — записала в августе 1919 года З. Н. Гиппиус. Вымирают целые семьи. Все больше пустующих квартир. Такое повторится еще раз — во время ленинградской блокады.

Петроград 1919 года... Когда-то здесь в метельном блеске Александру Блоку явилась Прекрасная Дама, это был город его Незнакомки, Кармен. Черный умирающий Петроград кажется еще страшнее в обрамлении снегов; по обледенелым рельсам давно не ходят трамваи, на улицах пустынно. В декабрьских сумерках 1919 года в последний раз встречаются герои Блока: Дама, Поэт, Господин, Матрос...

[1] Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя! (*лат.*).

Господин из тех, кто назойливой толпой провожали Незнакомку, Матрос — свойственник Андрюхи из «Двенадцати». В последний раз раскрывается занавес балаганчика:

Скользили мы путем трамвайным:
Я — керосин со службы нес,
Ее — с усердьем чрезвычайным
Сопровождал, как тигр, матрос...
Вплоть до колен текли ботинки,
Являли икры вид полен,
Взгляд обольстительной кретинки
Светился, как ацетилен.
Когда мы очутились рядом,
Какой-то дерзкий господин
Обжег ее столь жарким взглядом,
Что чуть не сжег мой керосин.
И я, предчувствием взволнован,
В ее глазах прочел ответ,
Что он — давно деклассирован,
И что ему — пощады нет.
И мы прошли по рвам и льдинам,
Она — туда, а я — сюда.
Я знал, что с этим господином
Не встречусь больше никогда.

(А. Блок, 1919 год)

Занавес закрывается. За ненадобностью в сундук отправлена кукла Господин, немного погодя — Поэт. А для Дамы и Матроса новую пьесу сочинит Михаил Зощенко.

В начале 20-х годов Петроград полуразрушен: торцы мостовых выломаны и сожжены, летом улицы зарастают травой; «старые петербургские вывески еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было... в Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов... Все кладбища были разгромлены», — вспоминала А. Ахматова. Но население Петрограда увеличивалось, главным образом, за счет притока со стороны. В 1923 году здесь уже больше миллиона жителей, в 1926-м — больше полутора миллионов.

Да тот ли это город? Переименованы улицы, площади, мосты. Дворцовая площадь теперь площадь Урицкого, Исаакиевская — Воровского, Владимирская площадь и одноименный проспект — Нахимсона, Невский проспект — 25 Октября, Литейный — Володарского, Дворцовый мост — Республиканский... Даже Таврический дворец теперь дворец Урицкого! Председателя петроградской ВЧК увековечили основательно: кроме Дворцовой площади, Таврического дворца, табачной фабрики, и Царское Село стало «Детским имени товарища Урицкого». А Павловск — Слуцк.

С улиц и площадей начали убирать памятники, «не имеющие художественной ценности и воздвигнутые в честь царей и их слуг». В 1918 году появились советские памятники. Подбор «великих людей» был удивительный: от Рентгена и Гейне — до Гарибальди и Луначарского. Новые идеи воплотили представители нового искусства. «Старики-старожилы едва ли забыли странные бюсты на длинных столбах — постаментах, которые неожиданно выросли среди городских площадей. Судя по надписям, эти треугольники и усеченные кубы притязали на то, чтобы изображать Некрасова, Чернышевского, Марата», — писал К. И. Чуковский. Гипсовые шедевры вскоре разрушились и были убраны; но один из памятников той поры доныне поражает воображение. Это надгробье над могилой Н. В. Бахвалова (1921 год) на Коммунистической площадке возле Троицкого собора Александро-Невской лавры. Диковинное сооружение из чугунных колес, шестеренок, цепей...

Менялись традиции, даже такие, казалось бы, незыблемые, как погребальный обряд. Ленин увековечен самым почетным образом — в виде мумии. Партийцев хоронили на Коммунистических площадках. В конце 1920 года в Петрограде открылся крематорий. Чуковский побывал там с комиссаром Петросовета Каплуном. «...Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивают места сожжения. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах... Мы открыли один гроб... Там лежал — пятками к нам — какой-то оранжевого цвета мужчина,

совершенно голый, без малейшей тряпочки, только на ноге его белела записка „Попов, умер тогда-то“. — „Странно, что записка! — говорил Каплун. — Обыкновенно делают проще: плюнут на пятку и пишут чернильным карандашом фамилию“... В самом деле: что за церемонии! Кому какое дело, как зовут ту ненужную падаль, которую сейчас сунут в печь... „Летом мы устроим удобрение!“ — потирал инженер руки» (К. И. Чуковский. «Дневник». 3 января 1921). Этот ужас уготован законопослушным гражданам. А «врагам революции» не полагается и могил.

24 августа 1921 года был расстрелян Николай Гумилев. За несколько лет до этого он написал: «И умру я не на постели, при нотариусе и враче...» Но какое воображение могло предвидеть это: скрученные проволокой руки, яма в лесу под Бернгардовкой... Через девять лет Анна Ахматова нашла это место. «Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на шестьдесят человек». Земля вокруг них изрыта лисьими норами.

Разве это *тот* город? В 1922 году было несколько знаменательных отъездов из Петрограда. Летним утром на набережной, неподалеку от Академии художеств собрались люди, провожавшие Шаляпина и его семью. Он уезжал на гастроли. Пароход тронулся, музыканты на берегу заиграли «Интернационал». «Это был грустный для меня момент, — вспоминал Шаляпин, — потому что я знал, что... не вернусь на родину».

В октябре и ноябре на той же набережной опять были проводы. На этот раз «Интернационал» не играли. Родину покидали высланные из советской России деятели науки и культуры, цвет русской интеллигенции. В начале октября отсюда провожали москвичей, 15 ноября — петроградцев, отплывавших от «запушенной первым снегом и погруженной в вечерний сумрак василеостровской набережной. На ней собралось более сотни, а может быть, и около двухсот родственников и друзей отплывающих» (Б. Лосский. «К изгнанию „людей мысли“ в 1922 году»).

В Петрограде-Ленинграде ожесточенно вытравлялось все, связывающее нынешнюю жизнь с прошлым. Во время изъятия церковных ценностей в 1922 году были разграблены не только храмы, «пошли систематические поиски драгоценных металлов и камней в царских и других богатых могилах», — рассказывал Б. Лосский. Награбленное пошло в переплавку (среди прочего серебряный иконостас Казанского собора). Грабежи были только началом разгрома церкви. В августе 1922 года расстреляны петроградский митрополит Вениамин и другие осужденные на Петроградском церковном процессе. Храмы закрывались, а в Александро-Невской лавре в 20-е годы открыли Институт народов Севера.

«В пустынном монастырском убежище учились грамоте, ели и спали кочевники из тайги, охотники и рыболовы — среди них и шаманы. [Они] плясали под громадные самодельные бубны. Они входили в экстаз, прыгали, бесновались и что-то при этом выкрикивали воющими высокими голосами» (Л. Жукова. «Эпилоги»). Видно, правы были раскольники: «Петербургу быть пусту»...

Хотя он заполнен людьми, бурлит жизнь в коммунальных квартирах и на улицах. В сентябре 1927 года Чуковский записывал в дневнике: по дороге «домой останавливаюсь у кабаков (пивных), которых развелось множество. Изо всех пивных рваные люди, измызганные и несчастные, идут, ругаясь и падая. Иногда кажется, что пьяных в городе больше, чем трезвых... А между тем ощущение катастрофы у всех — какой катастрофы, неизвестно — не политической, не военной, а более грандиозной и страшной».

В начале 30-х годов в Ленинграде продолжался разгром научных и культурных центров, были репрессированы многие ученые Академии наук, сотрудники Эрмитажа. «Каждое такое дело — эрмитажники, историки, словарники — это крупица народного мозга, это мысль и это духовная сила, которую планомерно уничтожали», — писала в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам. В учреждениях на «чистках» выясняли социальное происхождение сотрудников. «Социально-чуждые» лишались права служить в государственных учреждениях, хлебной карточки, их выселяли. В 1935 году властями организована высылка дворян из Ленинграда. Кажется, после моровой полосы двух десятилетий в городе должны остаться лишь те, о ком писал М. М. Зощенко: одичалые, несчастные люди.

Но глубинные связи с прошлым, с культурой не так просто вытравить. Оказалось, что Петербург обладает свойством влиять на человеческие души. Уже в 30-е годы сложилось понятие «ленинградец», с которым связывалось представление об интеллигентности, вежливости. Во время войны и блокады большая часть ленинградцев погибла. И уже в который раз население города обновилось за счет притока со стороны. И снова он — с его особым пространством и культурой — преобразовывал и воспитывал новые поколения горожан. Связь с прошлым не прерывается.

Эту книгу о прошлом Петербурга я хочу закончить удивительными стихами, написанными в «черные дни» города. Они о том лучшем, что заключено для нас в слове «Петербург».

Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

Это — древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.

Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.

Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! *Тайную свободу*
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук.

Вот зачем в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

(А. А. Блок. «Пушкинскому Дому»)

1994—1995
Иерусалим—С.-Петербург

КНИГА ВТОРАЯ

Введение

Эта книга о послереволюционной эпохе, о драматическом периоде в жизни нашего города и всей России. Жизнестойкость народа в значительной степени зависит от прочности его связи со своим историческим прошлым, каждое новое поколение наследует родовые черты вместе с религиозными, культурными, нравственными, семейными традициями предшествующих. В осмыслении прошлого формируется самосознание нации, и пока эти связи сохранены, у народа есть будущее, а с их отмиранием он может исчезнуть как историческая общность.

В первых десятилетиях XX века многим в России казалось, что так и произошло, что Россия гибнет, ее великая история завершилась, и народу уготована судьба безличной «массы», человеческого материала в борьбе за победу мировой революции. В 1926 году ленинградка Евгения Александровна Свиньина писала родственникам в Париж: «Думаю, что лет через десять-пятнадцать в России выработается совсем новый язык, внешность и характер, о русском человеке останется только историческое воспоминание по учебникам, как о человеке каменного века и плезиозаурусе… и эту новую породу людей трудно будет убедить, что они потомки Суворовских, Кутузовских героев». А раньше, в 1922 году, она обращалась к внучке Асе: «Не забывай, что ты русская, а это теперь надо особенно беречь и охранять, дабы в таких, какой ты должна быть и будешь, видели, на что способны и чем могут быть русские, и не судили бы их огульно… Помни, что русским теперь особенно следует дорожить своей репутацией… дабы История не отвергла нас». Тогда казалось, что в России происходит нечто небывалое.

Да нет, не небывалое, достаточно вспомнить Великую французскую революцию и ее следствия, результатом которых стало не возрождение, а скорее вырождение нации: за четверть века террора и войн (1789—1814 гг.) население страны уменьшилось почти на четверть. Однако радикальная российская интеллигенция вдохновлялась примером Великой французской революции, а будущие революционеры усваивали ее уроки как руководство к действию. У французских революционеров XVIII века было чему поучиться, особенно в области террора, истребления аристократов и священников, массовых казней заложников, расстрелов демонстраций.

Историк французской революции Томас Карлейль писал о «республиканских свадьбах» (мужчин и женщин связывали вместе и топили в реке), о мастерских, где из волос казненных изготовляли парики, о кожевенной мастерской в Медоне для «выделки человеческих кож; из кожи тех гильотинированных, которых находили достойными обдирания, выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши, служившая для брюк и для другого употребления. Кожа мужчины... превосходила прочностью и иными качествами кожу серны; женская же кожа почти ни на что не годилась — ткань ее была слишком мягкой». При подавлении восстаний в Вандее там расстреливали по 500 человек зараз, в Нанте целыми семьями сгоняли на приготовленные для затопления барки, не щадили и детей. «Это волчата, — говорили палачи, — из них вырастут волки». Кое в чем победившие большевики пошли дальше предшественников — если во Франции казнили короля и королеву, то в России императорскую семью расстреляли вместе с детьми. Но разве участь дофина Луи-Шарля, сына Людовика XVI, менее ужасна, чем судьба цесаревича Алексея: вскоре после казни отца восьмилетнего мальчика разлучили с матерью и отдали сапожнику Симону, «служившему тогда при тюрьмах Тампля, чтобы воспитать его в принципах санкюлотизма», — писал Карлейль. Тот «научил его пить, ругаться, петь „Карманьолу“... и бедный мальчик, спрятанный в одной из башен Тампля, из которой он от страха, растерянности и преждевременной дряхлости не хочет выходить, лежит,

умирая среди грязи и мрака, в рубашке, не менявшейся в течение шести месяцев». Он умер в 1795 году, в возрасте десяти лет. Такая судьба едва ли лучше гибели в подвале Ипатьевского дома.

Большевистские вожди хорошо усвоили уроки французской революции и не собирались повторять ее ошибок. Ленин считал, что Робеспьера и его соратников погубила недостаточная жестокость и твердость. Мы можем наглядно убедиться в его правоте: могилы Робеспьера в Париже нет, он был зарыт в одной из общих ям, где хоронили казненных, на кладбище Пик-Пюс («Лови блох»), а останки Ленина выставлены в центре столицы растерзанной им страны. Менее удачливым соратникам вождя, расстрелянным в 30-х годах, возможно, вспомнилось перед смертью сказанное за полтора века до того во Франции: «Революция пожирает своих детей». Им нравились такие звонкие фразы, пока они не имели отношения к их собственной судьбе. Я не могу разделять большевистских вождей на тиранов и умеренных, на более или менее жестоких, потому что все они составляли единый механизм, исповедовали одну идеологию и служили общему делу.

Само слово «вожди» архаично. Жестокой архаикой веет от идеи уничтожения целых классов (это напоминает истребление побежденных народов в древности), от гекатомб казненных в Петрограде после убийства Урицкого — так приносили кровавые жертвоприношения на могилах племенных вождей. При власти адептов «самого передового в мире учения» жизнь страны погрузилась в глубины архаического прошлого; читая Ленина, думаешь, из каких времен его неистовое требование массового истребления людей; пока не отказала речь, не отнялась рука, он выводил расползающимся почерком: «расстрелять, расстрелять...». Другие его распоряжения воскрешали времена крепостничества, «барства дикого, без чувства, без закона» — так в 1922 году он велел наказать нерадивых правительственных чиновников: «За это надо гноить в тюрьме... Москвичей за глупость на 6 часов клоповника. Внешторговцев за глупость плюс „центрответственность“ на 36 часов клоповника. Так и только так учить надо...». Ученый марксист знал не хуже крепостницы

Салтычихи, кого «гноить», а кого и на сколько сажать в клоповник.

В методах новой власти, в поощрении самых низких инстинктов, терроре, провокации, циничной лжи многие современники видели что-то иррациональное. Автор записок о деятельности советского правительства в 1918 году Аркадий Борман вынес из наблюдений за большевистским руководством впечатление, что они «люди четвертого измерения (оно, по-видимому, дьявольское)». Записки Бормана примечательны тем, что он был человеком из противоборствующего лагеря, агентом контрразведки Добровольческой армии, прибывшим по ее заданию в Москву в марте 1918 года. Этот молодой человек принадлежал к кругу петербургской интеллигенции, он был сыном известной общественной деятельницы, члена ЦК партии кадетов Ариадны Владимировны Тырковой. В Москве Аркадий Борман поступил на службу в Комиссариат торговли и промышленности и быстро сделал карьеру: через несколько месяцев он стал управляющим отделом внешней торговли, получил доступ в правительственные верхи и не раз присутствовал на заседаниях Совнаркома, которые вел Ленин. В декабре 1918 года Аркадий Борман нелегально перешел финскую границу и покинул советскую Россию. Большевистские деятели в его записках составляют настоящий паноптикум, и он пытался понять способ мышления, логику и психологию этих людей. «Большевики, которых мне приходилось видеть, — писал Борман, — конечно, были просто сумасшедшими. Вероятно, есть такая форма болезни, когда заскакивает только один винтик, но этого дефекта достаточно, чтобы изменились все логические и нравственные соотношения», в них поражало «жуткое соединение ощущения действительности и правильной оценки обстановки с безумством коммунистических замыслов... Большинство коммунистов... ни к Москве, ни к России никакого отношения не имели. Они приехали в чужую страну, или во всяком случае в страну, которую они не любили, для того чтобы произвести свой опыт».

Социальные экспериментаторы видели в богатой людскими и природными ресурсами стране плацдарм для задуманной ими мировой революции. В Москве собрались коммунисты из разных стран, в номерах «Метрополя», где они разместились, звучала разноплеменная речь, «некоторые вообще не говорят по-русски, другие предпочитают между собой общаться на родном языке», — писал Борман. Среди них было немало авантюристов и людей с темным прошлым; одного из них, румына Х. Г. Раковского, Аркадий Борман помнил по дореволюционным временам, когда тот некоторое время жил в Петербурге и был принят в либеральных кругах. После отъезда Раковского за границу прошел слух, что он был агентом австрийской секретной службы, «кажется, румыны тоже предъявляли ему подобное обвинение». «Никакой жалости в этом человеке не было, — писал Борман, — люди для него были просто пешками. В этом отношении он был очень типичен для большевистской верхушки». У деятелей вроде Раковского за коммунистическим «безумием» скрывался «холодный расчет, направленный на разрушение России — революция необходима, чтобы разрушить или во всяком случае ослабить Россию». Но обычному человеку не понять «людей четвертого измерения»: Аркадий Борман не подозревал, что холодный расчет и цинизм людей вроде Раковского были ничем по сравнению с цинизмом Ленина, который получал деньги от императорской Германии и после прихода его партии к власти. «В июне 1918 года, — писал историк русской революции Ричард Пайпс, — из немецкого посольства в Москве в Берлин была послана телеграмма, согласно которой для удержания большевиков у власти им требовалась помощь в размере трех миллионов марок ежемесячно; эти деньги поступили и были использованы на подкуп латышей и других настроенных пробольшевистски или нейтрально сил».

Для прихода большевиков были необходимы особые условия, ведь победу революции предрешают не одиночки и не происки иностранных государств, а само состояние общества. Стоит еще раз вспомнить революцию во Франции, в которой, по замечанию французского историка начала XX века О. Кошена, «большую роль играл круг людей, сложившийся в философских обществах и академиях, в масонских ложах, клубах и секциях... он жил в своем

собственном интеллектуальном и духовном мире... Здесь вырабатывался тип человека, которому были отвратительны все корни нации: католическая вера, дворянская честь, верность королю, гордость своей историей, привязанность к обычаям своей провинции, своего сословия, гильдии. ...Среда его обитания — пустота, как для других — реальный мир; он как бы освобождается от пут жизни, ему все ясно и понятно... Как следствие — убеждение, что все следует заимствовать извне... Будучи отрезан от духовной связи с народом, он смотрит на него как на материал, а на его обработку — как на техническую проблему»[1]. Людей этого типа мы встречаем в среде российской интеллигенции уже во второй половине XIX века, со временем их количество и влияние только увеличивалось.

Разрушение старой России было подготовлено усилиями нескольких поколений образованных классов российского общества, и примечательно, что к концу XX века подобные люди снова явились на политической сцене. У них те же убеждения и те же речи: Россия презрительно называется «*эта* страна», вся история ее государственности объявлена рабской, слово «патриот» почти превратилось в бранное — то есть радикальные «демократы» и обличители советского прошлого по сути повторяют утверждения Ленина и его соратников. Хочется надеяться, что «социальный эксперимент» начала 90-х годов XX века, стоивший России многих утрат и бед, завершился и страна вернется на путь своего естественного исторического развития.

[1] Цит. по книге Л. Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая степь» (М., 1989. С. 249–250).

После переворота

«Люди четвертого измерения». Питерская заварушка. Казаки в Гатчине и бой под Пулковом. Разгон Учредительного собрания

Однажды герою романа «Преступление и наказание» Раскольникову приснилось время, когда люди решили изменить мир, и у каждого был свой план переустройства, во имя чего они истребляли друг друга, пока не опустела земля, — его сон стал сбываться в Петрограде с октября 1917 года, да так, что у многих скулы свело предсмертной зевотой. А до того жизнь в городе кипела, здесь действовали десятки партий и Центральный исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов, менялся состав Временного правительства — но в ночь с 25 на 26 октября «кучка авантюристов, засевшая в Смольном», совершила переворот и арестовала министров Временного правительства. «Преступная авантюра, затеянная большевиками, — писала 27 октября газета «Народное слово», — и увенчавшаяся к позору Петербурга успехом, уже на исходе... Они спешат уехать и держат курс на Гельсингфорс». Общественные деятели и политики предсказывали, сколько смогут продержаться узурпаторы: А. М. Горький считал, что не больше двух недель, другие полагали, что недели три, пессимисты утверждали, что дело может затянуться на два-три месяца. Некоторые почему-то вспоминали Парижскую

коммуну, уверяя, что большевикам отпущен такой же срок — 72 дня.

Но были и другие, правда, немногие голоса. Министр Временного правительства А. И. Шингарев говорил, что большевистская власть продержится не десять дней, а десять лет, а ему самому осталось меньше трех месяцев жизни — в начале января 1918 года он будет убит в Мариинской больнице матросами. Один из свидетелей тех дней, историк искусства и создатель Института истории искусств в Петербурге, В. П. Зубов много лет спустя вспоминал: «Приближался конец октября. Все знали, что на 25-е число большевики назначили захват власти. Только Временное правительство, казалось, этого не подозревало. В Зимнем дворце раз в неделю собирался... высший совет по делам искусств, членом которого был и я. 18 октября... происходило заседание; мы были почти уверены, что оно будет последним... Я вышел на набережную вместе с Михаилом Ивановичем Ростовцевым; мы говорили о сроке, который пророчествовали большевистскому правительству, если бы ему удалось оказаться у власти... Михаил Иванович сказал: „Большевикам захват удастся, они останутся очень долго и наделают много вреда“». Профессор Петербургского университета М. И. Ростовцев был историком; очевидно, у историков интуиция развита лучше, чем у политиков.

Зато политики — люди действия: сразу после переворота лидеры социалистических партий создали Всероссийский Комитет Спасения Родины и Революции для борьбы с узурпаторами. При этом о союзе и совместных действиях с умеренными и «правыми» партиями не могло быть и речи, потому что задачей Комитета являлась не только «ликвидация большевистской авантюры», но и «решительное подавление всех контрреволюционных попыток». Для всех политических партий, получивших после Февральской революции доступ к власти, угроза контрреволюции была несравненно страшнее большевистского переворота, поэтому его последствия надлежало ликвидировать «методами, гарантирующими интересы демократии». 12 ноября один из лидеров меньшевиков И. Г. Церетели говорил, что «вся буржуазная кадетская партия объединена лозунгом кровавой расправы с большевиками. Для меня несомненно, что ликвидация большевистского восстания это — расстрел пролетариата... Вред, который они (большевики. — *Е. И.*) сейчас приносят, не так велик, как в будущем, когда придет расправа с ними... надо подготовить им отступление, когда в их среде начнется разложение». В Смольном радовались таким речам, ведь переворотчики не были уверены, что сумеют удержать власть. Известный большевик Л. Б. Красин говорил в те дни о соратниках: «Они побезобразят еще, наделают глупостей, а там опять все удерут за границу».

Они безобразили с первых шагов — после переворота объявили о запрете ряда газет, и хотя социалистические издания не попали под запрет, с ними тоже не церемонились: громили редакции, типографии, жгли тиражи. Поначалу запрет казался не столь страшным, закрытые газеты тут же выходили под другими названиями, «День» становился «Ночью», «Народное слово» — «Неумолчным словом»... — и снова летели в огонь газетные кипы. Но были вещи куда серьезнее: большевики потребовали у Государственного Банка три миллиона рублей «на покрытие текущих расходов». В городской Думе рассудили, что если денег не дать, возьмут силой, разграбят все, поэтому решено было отправить с ними своих представителей, «которые присутствовали бы при открытии кассы». Эти совместные походы в кассу прекратились после того, как в ноябре большевистская власть объявила Государственный Банк своей собственностью, в декабре издала декрет о национализации акционерных банков, а в январе 1918 года прибрала к рукам капиталы частных банков. По свидетельству З. Н. Гиппиус, «действовали они поначалу так: протянут лапу, пощупают: можно? и захватят». И оказывалось, что можно все или почти все, потому что в политизированном и раздробленном на группы и партии обществе не осталось места обычным человеческим правилам. Вот лишь один пример: Комитет Спасения Родины и Революции потребовал у большевиков освободить арестованных членов Временного правитель-

ства, но это требование касалось только представителей социалистических партий! «„Министров-социалистов“ сегодня выпустили, — записала 27 октября в дневнике З. Гиппиус. — И они ... вышли! оставив своих коалицианистов-кадетов в бастионе. Это страшно». Лишь двое из тех, кому предложили освобождение на этих условиях, отказались и остались в тюрьме.

Жертвами смуты и апатии общества стали юнкера петроградских военных училищ, выступившие по призыву Комитета Спасения Родины и Революции против большевиков. Через четыре дня после переворота, в ночь с 28-го на 29-е, Комитет решил осуществить спасение родины и революции силами войск Петроградского гарнизона, юнкеров петроградских училищ и «старых волков революции», к которым, как предполагалось, должна была присоединиться казачья дивизия генерала Краснова, находившаяся в Гатчине (там находился и бежавший из Петрограда Керенский). При этом Комитет не учитывал очевидных вещей: основная часть гарнизона не участвовала в перевороте, сохраняя нейтралитет, и четыре дня спустя они вряд ли выйдут сражаться за власть одних социалистов против других. Накануне восстания Петроградский Совет казачьих войск сообщал в Киев, где проходил фронтовой казачий съезд: «Казачьи полки пока не играли... Предстоят в ближайшем будущем аресты петроградских военных училищ, все время ищущих контактов с нами. Совет пока в безопасности». Комитет ничего не учел, не организовал выступления, ограничившись призывом к войскам Петроградского гарнизона: «Идите туда полками, батальонами, ротами, идите туда группами и в одиночку!» — но не пришел никто.

Слухи о скорых арестах в петроградских военных училищах были не беспочвенны, ведь именно юнкера организовали оборону Зимнего дворца и были готовы сражаться до конца, но Временное правительство приняло решение сдаться во «избежание ненужного кровопролития». И четыре дня спустя эти, по словам революционерки Веры Засулич, «дети-герои» были единственными, кто снова выступил по призыву Комитета Спасения Родины

и Революции. Один из участников восстания, юнкер Николаевского инженерного училища, вспоминал, что вечером 28-го им было приказано «лечь спать одетыми в шинели и винтовки поставить у постелей. В 4 часа ночи нас внезапно разбудили и подняли. Нам выдали патроны, выстроили в полк». Представитель Комитета Спасения объявил им, что «войска Керенского ожидаются в городе к 11 часам утра и что юнкерам в ожидании подхода этих войск поручается поддерживать в городе порядок и для этой цели надлежит занять Михайловский замок и телефонную станцию». Боевые действия начались в четыре часа утра и продолжались весь день; юнкера сражались почти в одиночку, к ним присоединилось лишь несколько десятков офицеров и бойцов ударных батальонов — ни полков гарнизона, ни «старых волков революции», ни «войск Керенского» они не дождались. К вечеру восстание было подавлено матросами Балтийского флота, военные школы и училища окружены, здание Владимирского училища разгромлено артиллерией. Выступившие по призыву Комитета Спасения Родины и Революции юнкера (их было не больше трех сотен) выполнили свой долг до конца.

День восстания пришелся на воскресенье, и к вечеру в городе воцарилось праздничное оживление, а в это время семьи юнкеров уже начали поиски сыновей. Они не знали, что их ждет, — матросы расправились с многими пленными с невиданной жестокостью, слухи о которой потрясли Петроград. На следующий день Исполнительный комитет Всероссийского съезда военных училищ выпустил воззвание: «Вчера в Петрограде совершилось ужасное, кошмарное дело. Банда обезумевших, озверевших людей под предводительством сознательных убийц произвела невероятную по своей жестокости расправу над юнкерами, не желавшими признать власть Ленина Кровавого... Не поддаются никакому описанию ужасы, творившиеся вчера опричниками самодержавного „военно-революционного комитета“... Кровь мучеников вопиет к вам!» С протестом выступили и студенческие организации Петрограда, и по их ходатайству 31 октября аресто-

ванные юнкера-социалисты были освобождены, ведь они только о них и ходатайствовали — а с остальными пусть большевики поступают как знают. Так сообща и сплетали с первых дней новой власти общую удавку...

А где же были «старые волки революции» — героические террористы, экспроприаторы, бомбисты из эсеровских партий? О, у них были дела поважнее, чем уличные бои: последних юнкеров еще добивали, когда Комитет Спасения поспешил отмежеваться от восстания. Вечером 29 октября собралось совещание социалистических партий, на которое пригласили большевиков, и их представители Каменев и Сокольников заявили, что в Смольном готовы поделиться властью с товарищами-социалистами, если те признают ее законность. «Наша вражда, — убеждал Сокольников, — на руку контрреволюции. Если не будет соглашения, неизбежна реставрация царизма и казачья диктатура». В ответ зазвучали гневные речи, но за их горячностью все заметнее проступало соображение, что, коли узурпаторы удержались, пускай делятся властью!

На следующий день большинство участников совещания признало организованное ими восстание «неуместным» (что такое, в конце концов, судьба нескольких сотен мальчишек в юнкерских шинелях?). Такая позиция левых партий была продиктована не трусостью: за их непоследовательностью был расчет, за уступками — соображения политической выгоды. Хорошо осведомленная и внимательно следящая за событиями З. Н. Гиппиус записала в дневнике еще в день восстания, 28 октября: «Намечается у... эсеров, еще очень прикрыто, *желание использовать авантюру для себя*...То есть: левые, за большевиками, партии... как бы *переманивают* „товарищей“ гарнизона и красногвардейцев: большевики, мол, обещают вам мир, землю и волю, и социалистическое устройство, но все это они вам не дадут, а могут дать — и дадим в превосходной степени! — *мы*».

Настроение в столице тоже подталкивало партии к сближению: люди устали от потрясений и хотели покоя и мира. Ночью 30 октября на совещание пришли депутаты рабочих Обуховского завода, они кричали, что, пока

«вожаки» занимаются междоусобицей, растет разруха и опасность гражданской войны. «Долой партии, вожаков — они ничего не могут нам дать!», «Черт вас разберет, кто из вас прав. Вы все не стоите того, чтобы вас земля носила. Повесить бы вас всех на одном дереве — в стране само наступило бы спокойствие!» На одном дереве рабочие хотели повесить Керенского, Ленина и Троцкого. На всех заводских митингах повторялись требования прекратить распри «какими угодно средствами», и эти настроения пролетариата угрожали всем, кто цеплялся за власть, а кроме того, у соглашателей был тайный расчет: в Гатчине уже стоял кавалерийский корпус (слухи сильно преувеличивали его численность) генерала П. Н. Краснова, который, мол, в считанные часы выбьет большевиков из столицы.

О том, что в это время происходило в Гатчине, вспоминал В. П. Зубов, в то время заведовавший художественными ценностями Гатчинского дворца. 25 октября через Гатчину проехал Керенский, он направлялся в Псков, в ставку Северо-Западного фронта, а а через два дня он вернулся «в сопровождении кавалерийской дивизии[1], следовавшей за ним нехотя, лишь потому, что видела в нем единственного представителя порядка и что надо было бороться с беспорядком». Керенский, министр-председатель Временного правительства и верховный главнокомандующий, был настолько непопулярен в Петрограде и в армии, что его присутствие могло погубить все дело. Представители Комитета Спасения Родины и Революции и офицеры штаба Краснова уговаривали его уехать, но он колебался. Тогда Краснов объявил, что он действует в согласии с Комитетом Спасения с целью восстановления революционной демократии в столице; о Временном правительстве и его министре-председателе при этом вовсе не упоминалось.

---

[1] Под началом генерала Краснова было воинское соединение из шести сотен казаков. В. П. Зубов назвал его дивизией; принятое название «корпус Краснова» скорее условное, т. к. корпус — войсковое соединение, включающее в себя несколько дивизий, а не три полка, которые были у Краснова.

В изображении мемуаристов Керенский предстает ничтожным, фарсовым персонажем российской трагедии. В. П. Зубов вспоминал: «Я еще вижу Керенского входящим с видом Наполеона, заложив руку за борт военной тужурки... Он попросил отвести комнаты для себя и „своей свиты“... В своих речах он часто представлял себя облеченным верховной властью, каким-то мистическим образом перешедшей на него от императора. Теперь, утопая, он еще говорил о „своей свите“». Этот тщеславный человек напоминал Хлестакова и то и дело попадал в фарсовые ситуации: чего стоили разговоры о его водворении в Зимнем дворце (Александр Федорович занял апартаменты императрицы Александры Федоровны) или слух о бегстве из Зимнего в женском платье и отъезде из Петрограда в автомобиле английского посольства. Зубов вспоминал, как накануне боя с большевистскими силами «Керенский решительно отказался сопровождать войска, сражавшиеся за него; он оставался в своей комнате, лежа на кушетке и глотая успокоительные капли», а ночью в Гатчинском дворце началась тревога: «Когда стали доискиваться причины, выяснилось, что ее вызвал Керенский, охваченный внезапной паникой. По оставшейся невыясненной причине двое часовых, дежуривших в коридоре, из числа юнкеров... вошли в его комнату. Он принял их за большевиков, пришедших его убить. Дрожа, он стонал: „Начинается!“». А судьба уже припасла новый фарс — Керенскому действительно угрожала гибель, но не на поле сражения, а от руки мстителя. Мститель, капитан Печенкин (почти Копейкин, персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»), тоже словно сошел с гоголевских страниц. «В первый же вечер, — вспоминал Зубов, — ко мне вошел офицер гатчинского гарнизона Печенкин, обвешанный порядочным числом ручных гранат. Он уже раньше был мне известен как монархист, заядлый враг революции... и кандидат в дом умалишенных. Он во что бы то ни стало желал объяснить мне конструкцию ручной гранаты и доказать, что она не может взорваться без детонатора. Я отвечал... что я ему верю на слово и от демонстрации прошу воздержаться. Он тем не менее бросил на пол свои гранаты и, к счастью, оказался прав, взрыва не последовало. Засим он сообщил мне, что наутро, когда войска двинутся в поход против большевиков, он намерен оказаться вблизи Керенского и убить его своими гранатами или другим способом». На всякий случай Печенкина заперли в подвале, а после прихода большевиков он был освобожден и «награжден должностью» как жертва контрреволюции. Не правда ли, вся эта фантасмагория совершенно в духе Гоголя?

Известие о прибытии в Гатчину регулярной армейской части вызвало в Смольном настоящую панику, там знали, что рассчитывать на войска гарнизона, которые отказывались «быть орудием гражданской войны», не приходится, а у отрядов красной гвардии не было военного опыта. Главная надежда была на матросов, и представитель Смольного Ф. Ф. Раскольников был отправлен в Кронштадт мобилизовать матросов — «всех, до последнего человека». Большевистские вожди развили бурную деятельность, организовали десятки митингов на заводах и в полках (Ленин сам ездил уговаривать рабочих Путиловского завода дать нужные для военных действий бронеплощадки) и получили согласие сражаться за их власть на большинстве петроградских заводов и в частях гарнизона. Что же за красноречие у них было такое, что они смогли привлечь на свою сторону столько людей? Секрет прост: они отчаянно, безоглядно лгали, что Краснов собирается войти в Петроград «по требованию дворян, помещиков, капиталистов, спекулянтов», чтобы вернуть землю помещикам и продолжить войну; что Керенский решил сдать Петроград немцам и восстановить монархию, о чем ведет тайные переговоры с великим князем Михаилом Александровичем, что все завоевания революции будут потоплены в крови усмирителями-казаками. Такие вести расшевелили и равнодушных, и Петроградскому Военно-Революционному комитету[1] удалось мобилизовать на борьбу с отрядом Краснова около семи тысяч человек, половину этого воинства составляли матросы Балтийского флота.

[1] Военно-Революционные комитеты, В. Р. К. — боевые органы большевистской власти в октябре 1917 — марте 1918 гг.

30 октября в бою под Пулковом сошлись защитники революционной демократии и большевистской власти. П. Н. Краснов вспоминал, что обстановка перед началом боя напоминала военные маневры: противники заняли позиции вдоль русла реки Славянки, на Пулковской горе встали отряды красной гвардии, по флангам — матросы; в отдалении были видны группки любопытных, собравшихся посмотреть на сражение, среди них иностранные наблюдатели. Но едва заработала артиллерия Краснова, иллюзия маневров кончилась — после первых залпов шрапнели солдаты гарнизона и красногвардейцы обратились в беспорядочное бегство. Сотня оренбургских казаков Краснова при виде отступления противника без приказа и поддержки артиллерии бросилась в сабельную атаку, но отступила под пулеметным огнем матросских частей. Потери в сотне были невелики, но «морально, — вспоминал Краснов, — эта неудачная атака была очень невыгодна для нас: она показала стойкость матросов. А матросы численностью более, нежели в 10 раз, нас превосходили»[1].

Неудачная атака оренбуржцев изменила настрой обеих сторон, и бой продолжился до сумерек, пока у артиллеристов Краснова не подошел к концу запас снарядов. Он дал приказ отходить, и отряд в строевом порядке, с артиллерией и обозом, двинулся к Гатчине, противники не пытались его преследовать. Позднее каждая из сторон изрядно преувеличивала потери противника и преуменьшала свои, но, судя по реакции иностранных наблюдателей, пулковская баталия оказалась не слишком кровопролитной. «Да разве это гражданская война? — разочарованно сказал французский офицер журналисту Джону Риду. — Это все, что хотите, но только не бой». Верно, это не гражданская война, и бой под Пулковом был не решающим сражением, а пробой сил противников, и отход войск Краснова не означал их поражения или разгрома. Но после этого стало ясно, что с такими силами Петроград не взять, и в ночь на 31 октября из Гатчины была отправлена телеграмма в действующую армию с просьбой прислать «хотя бы по одному пехотному полку от ближайших армий и возможно срочно... курьерскими поездами доставить эшелоны в Лугу и Гатчину». Но уже на следующий день в штабе Северного фронта получили другую телеграмму из Гатчины с сообщением, что «гражданская война закончилась примирением сторон и что немедленно должны быть прекращены всякие враждебные действия, а также приготовления к таковым и передвижение идущих в Петроград эшелонов».

[1] По сведениям большевиков, в бою участвовало три тысячи матросов.

Что же произошло за это время? Угрозы гражданской войны страшились все, поэтому 31 октября в Смольный явилось несколько делегаций с требованием немедленно начать переговоры о перемирии. Положение большевиков было критическим, ведь стало известно, что в Гатчину вызвано подкрепление с фронта, а полки петроградского гарнизона больше не желали сражаться. Но в то же самое время началось брожение в отряде Краснова: после вчерашнего боя здесь ждали наступления большевистских войск, и казаки, не дожидаясь подмоги с фронта, потребовали от Краснова начать переговоры о перемирии. Утром в Гатчинском дворце состоялся военный совет с участием Керенского, офицеров штаба Краснова, представителей Комитета Спасения Родины и Революции, а также Совета казачьих войск; позже Керенский вспоминал, что «все военные, без исключения, были единодушны: для выигрыша времени нужно сейчас начать переговоры — иначе нельзя ручаться за спокойствие казаков». Предложение о начале мирных переговоров было отправлено в Петроград, и это стало такой неожиданностью для большевиков, что они, по свидетельству Г. Е. Зиновьева, заподозрили «военную хитрость со стороны наших врагов». Действительно, в штабе Краснова рассчитывали таким образом выиграть время до подхода подкрепления, а у Керенского была своя «военная хитрость» — еще до военного совета для него тайно приготовили автомобиль на случай бегства, потому что прошел слух о намерении казаков выдать его большевикам.

Однако судьба революционной демократии решалась не на военном совете, а на собрании солдатских комитетов корпуса, где Краснова попросили составить текст мирного соглашения, потому что для казаков что Керенский, что Ленин — одна петрушка, а надо возвращаться на Дон, где, говорят, собирает отряды атаман Каледин. Вечером 31 октября казачья делегация выехала для мирных переговоров в Царское Село; замечательно, что в это же время и с той же целью в Царское прибыла делегация Петроградского Военно-Революционного комитета, отправленная по настоянию полков гарнизона. Обе стороны собирались договариваться о мире, но если в гатчинской делегации были младший офицер и два казака, то петроградскую возглавил член ПВРК матрос П. Е. Дыбенко. Парламентеры протолковали всю ночь; казаки говорили, что если большевики вздумают наступать на Гатчину, они и примкнувшие к ним добровольцы будут стоять насмерть, а Дыбенко заверял их, что в Петрограде хотят только мира. Казаки хотели вернуться на Дон с оружием, артиллерией и лошадьми, и Дыбенко обещал, что их отправят туда специальными эшелонами. У матроса тоже были пожелания, и главное из них — «передать Керенского в распоряжение революционного комитета для предания гласному суду». Казаки обещали подумать, и ранним утром 1 ноября обе делегации приехали в Гатчину. К этому времени ни Керенского, ни ряда других участников военного совета здесь уже не было, верховный главнокомандующий тайно уехал накануне днем, переодевшись в матросскую форму. В Гатчинском дворце остались офицеры корпуса Краснова, они ждали решения войскового комитета, потому что, по предложению Дыбенко «обойтись без генералов», их на переговоры не допустили.

Собрание войскового комитета продолжалось шесть часов, и наконец, после шумных споров и взаимных уступок договор о мире был составлен. Дыбенко вспоминал, что он намеренно тянул время: «Нужно, с одной стороны, выиграть время до подхода отряда моряков, чтобы Гатчину захватить врасплох, с другой — без промедления, до прибытия ударников, захватить Керенского». С Керенским дело сорвалось, зато остальное вышло как нельзя лучше: едва переговоры завершились, к гатчинской заставе подошел Финляндский полк под белым флагом, но в боевом порядке и с артиллерией. Делегаты большевиков заявили, что им надо сообщить о заключенном мире в Смольный и немедленно уехали в Петроград, а казаки почти сразу поняли, что они обмануты. Вечером Краснов сообщал в штаб Северного фронта: «Настроение очень тревожное... Отношения с большевицкими войсками полны взаимного недоверия. Мы ими окружены и стоим под охраной двойных караулов — наших и их... Сейчас солдаты обезоруживают казаков». Краснова и его офицеров арестовали и увезли для допросов в Петроград, но вскоре освободили. А в то время как в Гатчине разоружали и арестовывали, вызванное подкрепление с фронта уже прибыло в Псков; по донесению в ставку, там 1 ноября «с часу дня прошли первые эшелоны 3-й Финляндской дивизии и 35-й из 17 корпуса». К вечеру в Псков прибыл ударный батальон, ему пришлось задержаться, чтобы разогнать местный ВРК, но «батальон объявил, что он это поручение исполнит, прося, по возможности, отпустить их в Гатчину 2 ноября ночью». Однако помощь, как известно, запоздала.

В первые недели после переворота политическая жизнь Петрограда представляла странную картину разброда, в котором различные интересы и силы как бы нейтрализовали друг друга, и в этом хаотическом движении разнородных частиц существовало одно твердое ядро — большевистская партия и ее вожди. Их фанатическая решимость и воля притягивали многих. Сразу после переворота в столице стали появляться латышские стрелки, которые дезертировали с фронта, они пробирались в Петроград группами и поодиночке, и вскоре отряды латышей, а не матросы станут главной опорой большевиков. Зато идущие с фронта воинские части при приближении к Петрограду словно попадали в полосу мертвой зыби, эшелоны «растянулись по линии железной дороги от Могилева до Луги, застряв частями по промежуточным станциям». Первый батальон ударников прибыл в Лугу и направил

делегацию в Смольный с заявлением, что войска вот-вот войдут в столицу и ликвидируют Военно-Революционный комитет, однако после переговоров делегаты вернулись в Лугу «с целью убедить свои части ехать на позиции»!

В эти дни Ленин и его окружение раздавали самые невыполнимые обещания, лгали, маневрировали, или, по словам Троцкого, «импровизировали», — первых делегатов из Луги убедили не начинать братоубийственную бойню, а другую делегацию, возмущенную призывом «братания» с немцами, заверили, что теперь большевики за войну до победного конца. Одновременно в стоявшие на подступах к Петрограду войска были направлены агитаторы. В Луге их едва не прибили, но постепенно, по свидетельству историка С. П. Мельгунова, «агитаторы сделали свое дело и направили застрявших стрелков на грабежи в имениях». Власть большевиков смогла удержаться лишь благодаря разложению армии, над которым после Февральской революции много потрудились их предшественники из либералов и демократов. Достаточно вспомнить изданный 2 марта 1917 года ЦИК Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов «Приказ № 1», передававший власть в армейских частях «выборным комитетам представителей от нижних чинов», причем «всякого рода оружие должно находиться в распоряжении этих комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам». Такие постановления были направлены на разложение и фактическую ликвидацию армии, и большевики лишь воспользовались их плодами.

Между тем влиятельные левые партии были заняты поиском компромисса с переворотчиками. «Переговоры, — писал С. П. Мельгунов, — интересовали лидеров господствующих партий революционной демократии гораздо больше, нежели непосредственная ближайшая судьба отряда Керенского. При переговорах они чувствовали себя в привычной сфере политического торга, под знаменем которого проходила их практическая деятельность в эпоху Временного правительства. Вооруженная борьба с большевиками в их сознании, в сущности, была уже перевернутой страницей». Эта, по циничному выражению Ленина, «болтовня и каша» завершилась 14 ноября соглашением большевиков с левыми эсерами, а еще через три дня — соглашением с меньшевиками о союзе и создании общего правительства. Соглашения 14 и 17 ноября стали решающей политической победой большевиков, потому что таким образом их власть получила влиятельных союзников и приобретала видимость законности. Этот союз не продержался и года, а «в 1919 году была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК — и досидела в Бутырках до своего процесса в 1922». В том же 1919-м видный чекист Лацис писал о меньшевиках: «Такие люди нам больше, чем мешают. Мы их сажаем в укромное местечко, в Бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом», — читаем в первой книге «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына. Юная большевистская власть разобралась с бывшими союзниками, не дожидаясь окончания борьбы труда с капиталом.

Завершающим эпизодом политической драмы 1917 года стала судьба Учредительного собрания, или Всероссийского парламента, — многолетней мечты российских революционеров-либералов. Созданное после Февральской революции Временное правительство потому и называлось временным, что управляло страной до начала работы Учредительного собрания, которому предстояло определить новое государственное устройство. Большевики до захвата власти обвиняли Временное правительство в том, что оно намеренно откладывает созыв Учредительного собрания, и сразу после переворота газета «Правда» писала: «Товарищи, вы своею кровью обеспечили созыв в срок *хозяина земли русской* — Всероссийского Учредительного собрания!» После переворота большевики оказались в трудном положении, ведь их власть могла быть признана законной только по решению Учредительного собрания, а на это рассчитывать не приходилось.

Сразу после переворота Ленин заговорил о недопустимости созыва «Учредилки», но пока только в кругу соратников, потому что говорить об этом открыто значило объявить войну всей стране. Между тем приближался

установленный Временным правительством срок созыва Учредительного собрания — 28 ноября 1917 года, перед этим в стране прошли выборы, которые подтвердили опасения Ленина. Наибольшее число голосов избирателей собрали эсеры (68,3 %); за большевиков проголосовало 24 % избирателей, а среди других партий лидировали конституционные демократы (кадеты) — самая влиятельная несоциалистическая партия в стране. На такой парламент нельзя было положиться, поэтому большевики приняли ряд мер: они объявили, что созыв Учредительного собрания переносится на более поздний срок, потому что не все депутаты успеют собраться в Петрограде, и в те же дни вышел ленинский декрет «Об аресте вождей гражданской войны против революции», объявивший партию кадетов вне закона как партию «врагов народа».

Представители других партий были возмущены не этим беззаконием, а тем, что большевики осмелились изменить дату созыва Учредительного собрания, и 28 ноября депутаты собрались в Таврическом дворце. Их было всего 45 человек (большинство действительно не успело приехать в Петроград), но они хотели показать, что Всероссийский парламент, «хозяин земли русской», не подчинился произволу. Депутаты начали заседание, а у Таврического собрались их сторонники. К вечеру многотысячная толпа с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию!» заполонила прилегающие к дворцу улицы, потому что сам Таврический был в оцеплении присланных Смольным латышских стрелков. На следующий день оцепление у Таврического дворца стало плотнее, к латышам присоединились отряды матросов, а на третий день они не пропустили депутатов во дворец.

Созыв Учредительного собрания откладывался — на декабрь... на январь... наконец была названа дата — 5 января 1918 года. Все это время из Смольного лились потоки клеветы и угроз, Ленин объявил, что лозунг «Вся власть Учредительному собранию» на деле есть лозунг контрреволюции — кадетов, калединцев и их пособников. За годы борьбы с «проклятым царизмом» приверженцы демократии привыкли к словесным баталиям и демонстрациям, за 1917 год — к политическим маневрам и комбинациям, но они оказались беспомощными перед циничной подлостью «игры без правил». Однако у социалистов-революционеров был старый, проверенный метод террора, и входивший в Военную комиссию Союза защиты Учредительного собрания эсер Ф. М. Онипко начал готовить покушение на Ленина. «С помощью других опытных конспираторов, — писал историк Ричард Пайпс, — Онипко удалось проникнуть в Смольный и ввести туда четырех своих людей под видом чиновников и шоферов. Наблюдая за передвижениями Ленина, они обнаружили, что председатель Совнаркома почти ежедневно покидает Смольный, навещая свою сестру. Сделав это открытие, группа устроила своего человека швейцаром в доме, куда приезжал Ленин. Онипко планировал захватить или убить Ленина, а затем Троцкого. Проведение операции назначено было на Рождество». Когда все было готово, Онипко обратился за одобрением в ЦК своей партии, но вождей эсеров словно подменили — они с ужасом отвергли этот план: убить Ленина и Троцкого значило сыграть на руку контрреволюции! Онипко распустил боевую группу и включился в работу Военной комиссии, которая готовила на 5 января вооруженную демонстрацию с целью свержения большевиков. В вооруженной демонстрации согласилось участвовать более 10 тысяч солдат и несколько тысяч рабочих, но руководство Союза защиты Учредительного собрания воспротивилось: никакой вооруженной демонстрации, только мирное шествие! Солдаты гарнизона отказались участвовать в этом шествии, ведь только слепой не видел военных приготовлений Смольного. Большевистский нарком по морским делам П. Е. Дыбенко получил приказ вызвать в Петроград еще несколько тысяч матросов, срочно формировались отряды красногвардейцев, а 4 января в городе было введено военное положение. Войскам гарнизона было приказано оставаться в казармах, рабочим — не покидать заводов, демонстрации и митинги запрещались, а любые скопления граждан возле Таврического дворца, сообщала газета «Правда», будут разогнаны с применением оружия.

Утром 5 января депутаты Учредительного собрания направились к Таврическому дворцу. «В начале двенадцатого выступили, — вспоминал один из депутатов, эсер Марк Вишняк. — Идут растянутой колонной, человек в двести, посреди улицы. До дворца не больше версты. И чем ближе к нему, тем реже прохожие, тем чаще — солдаты, красноармейцы, матросы. Они вооружены до зубов: за спиной винтовка, на груди и по бокам ручные бомбы, гранаты, револьверы и патроны, патроны без конца, всюду, где только можно их прицепить или всунуть. На тротуарах одинокие прохожие при встрече с необычайной процессией останавливаются, изредка приветствуют восклицаниями, а чаще, сочувственно проводив глазами, спешат пройти дальше... Перед фасадом Таврического вся площадка уставлена пушками, пулеметами, походными кухнями... Пропускают в левую дверь... Повсюду вооруженные люди. Больше всего матросов и латышей». Во дворце тоже было полно солдат, они толпились возле буфетов, где продавали водку. Депутаты прошли в зал и стали ждать начала собрания. А в центре города, несмотря на запрет, все-таки собралась демонстрация, в которой, по некоторым сведениям, участвовало около 50 тысяч человек! Мирное шествие подходило к Литейному проспекту, когда с крыш домов был открыт пулеметный огонь. Упали первые раненые и убитые, остальные бросились врассыпную, но вскоре снова собрались, и колонна двинулась по Литейному. Здесь тоже стреляли с крыш, а на Шпалерной улице демонстрантов встретили матросские приклады... Погибших в тот день хоронили 9 января на Преображенском кладбище, рядом с жертвами «кровавого воскресенья» 1905 года. В те дни А. М. Горький писал, обращаясь к большевистским вождям: «Понимают ли они... что неизбежно удавят всю русскую демократию, погубят все завоевания революции?.. Или они думают так: или мы — власть, или — пускай все и всё погибают?» Горькому лучше других было известно, что именно так они и думали.

Депутаты несколько часов томились в зале, они не знали, что происходило в городе; в четыре часа дня Ленину

сообщили, что демонстрация разогнана, и фракция большевиков появилась в зале. Теперь эти люди чувствовали себя хозяевами положения и доказали это с первых минут. Первое заседание Учредительного собрания должен был открыть его старейший депутат А. Ф. Михайлов. Депутат фракции большевиков Ф. Ф. Раскольников вспоминал, что́ за этим последовало: «Видя, что Швецов (Раскольников неверно называет фамилию. — *Е. И.*) всерьез собирается открыть заседание, мы начинаем бешеную обструкцию. Мы кричим, свистим, топаем ногами, стучим кулаками по деревянным пюпитрам. Когда все это не помогает, мы вскакиваем со своих мест и с криком „долой“ кидаемся к трибуне. Правые эсеры бросаются в защиту старейшего. На паркетных ступеньках трибуны происходит легкая рукопашная схватка... Кто-то из наших хватает Швецова за рукав и пытается стащить с трибуны». Представьте: орущие, свистящие молодцы вроде Раскольникова стаскивали старика с трибуны, а Свердлов вырвал у него из рук председательский колокольчик. Свердлову не дали говорить, из зала кричали: «Долой! Убийцы! Руки в крови!» — и тогда он запел! Он старательно выводил «Интернационал», первыми подхватили большевики, а за ними, вспоминал Раскольников, «все члены Учредительного собрания тоже встают... и один за другим нестройно подхватывают пение... „Но если гром великий грянет над сворой псов и палачей“, — поет Учредительное собрание». Эсер В. М. Чернов показывает при этом на большевиков, но поют все, дружно поют! Как представишь этот хор, делается не по себе. Спели — и на том единение Всероссийского парламента кончилось.

Подготовленный большевиками план был прост и нагл: Ленин составил резолюцию, предлагавшую Учредительному собранию утвердить все декреты Совнаркома, а затем добровольно отказаться от законодательной власти. Конечно, это предложение отклонили, и около 10 часов вечера большевистская фракция покинула зал. По свидетельству Раскольникова, «Владимир Ильич предложил не разгонять собрания, дать ему возможность сегодня ночью выболтаться до конца и свободно разойтись

по домам, но завтра утром никого не пускать в Таврический дворец». Депутаты продолжали заседание, несмотря на угрозы пьяной охраны; вот, вспоминал Раскольников, «кто-то из караула берет винтовку на изготовку и прицеливается в лысого Минора, сидящего на правых скамьях». Пьяные солдаты толпилась на балконе, бродили по залу, рассаживалась на депутатских местах, и за всем этим следил «веселый и радостный, весь опоясанный пулеметными лентами начальник караула Железняков». Так продолжалось несколько часов. «Около четырех утра, — писал Пайпс, — когда председатель Учредительного собрания Виктор Чернов провозглашал отмену собственности на землю, Железняков поднялся на сцену и тронул оратора за плечо». В протоколе записаны его слова: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал». Этой косноязычной фразой матрос Железняков вошел в историю. «Было 4 часа 40 минут утра, — элегически завершал рассказ Раскольников. — В незанавешенные окна дворца глядела звездная, морозная ночь. Обрадованные [!] депутаты шумно ринулись к вешалкам... В Англии когда-то существовал „Долгий парламент“. Учредительное собрание РСФСР было самым коротким парламентом во всей мировой истории».

Вот так — расстрелом безоружных, глумлением над законностью и хоровым исполнением «Интернационала» — завершилась многолетняя мечта российской демократии о парламенте. 6 января 1918 года Александр Блок записал: «К вечеру — циклон. — Слухи о том, что Учредительное собрание разогнали в 5 часов утра. (Оно таки собралось и выбрало председателем Чернова.) — Большевики отобрали бо́льшую часть газет у толстой старухи на углу». Старуха на углу. Черный вечер. Белый снег. И замерзшая кровь на снегу.

Военный коммунизм[1]

Голод в Петрограде. Что хорошего в новом режиме? Поэма «Двенадцать» как петроградская хроника. Володарский. Красный террор. Убийство и похороны Урицкого. Баллада о сайке. «Холера может решить проблему голода». Григорий Зиновьев. Оборона города в 1919 году. Обыски, уплотнения, слухи

Нету хлеба — нет муки, не дают большевики.
Нету хлеба — нету масла, электричество погасло.

Из городского фольклора. 1919 год

Задолго до созыва Учредительного собрания на его имя стали приходить письма с наказами избирателей, но депутаты не смогли их прочесть, потому что в предрассветной тьме 6 января закончилось первое и последнее заседание Всероссийского парламента. А в тот же день, 6 января, избиратель из Царского Села сел писать свой наказ: «Довольно шума; довольно братской крови, — старательно выводил он, — нужно строительство новой, тихой, светлой жизни... Довольно играть на наших синих жилах, как на струнах арфы. Нужен спокой им, а не мучительная голодная смерть. Довольно смерти, довольно нас травить одного на другого, как собак. Бойтесь, лопнет наше терпение и мы перебьем и разгоним вас всех и скажем, что мы сами собой будем управлять без всяких партий».

[1] Военный коммунизм — политико-экономический режим большевистской власти в 1918 — начале 1921 г. Его важные элементы: национализация промышленности, максимальная централизация руководства производством и распределением, запрещение частной торговли, карточная система, всеобщая трудовая повинность, уравниловка в оплате труда, продразверстка в деревне.

Действительно, довольно толковать о партиях, пора обратиться к жизни города. В 1917 году люди мечтали о тихом, светлом будущем, не подозревая, что́ подступило вплотную. По плану «самого передового социального учения» им предстояло стать соломой для разжигания костра мировой революции, а Петрограду — «колыбелью» этой революции. Для достижения своей цели вожди и идеологи самого передового учения прибегли к трем издревле проверенным средствам: голоду, войне и террору.

Вернемся на несколько месяцев назад, в Петроград февраля 1917 года. Последний градоначальник царской столицы А. П. Балк вспоминал, что утром 23 февраля он получил донесение «об оживленном движении на Литейном и Троицком мостах, а также по Литейной ул. и Невскому проспекту. Быстро выяснилось, что движение это необычное — умышленное... В публике много дам, еще больше баб, учащейся молодежи и сравнительно с прежними выступлениями мало рабочих... Густая толпа медленно и спокойно двигалась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась, и часам к двум стали слышны заунывные подавленные голоса: хлеба, хлеба... И так продолжалось всюду весь день. Толпа как бы стонала: „хлеба, хлеба“. Причем лица оживленные, веселые и, повидимому, довольные остроумной, как им казалось, выдумкой протеста». Уже два с половиной года шла война, в столице начались перебои с продовольствием, у магазинов выстраивались очереди — «хвосты». 22 февраля газеты сообщили о намерении городских властей ввести хлебные карточки. Голода тогда не было: по свидетельству Балка, «хлеб, вкусный и питательный, выдавался по 1 $^1/_2$ ф<унта>[1] на человека, а рабочим и войскам по два». Однако известие о введении карточек вызвало волнения, начались грабежи хлебных лавок — эти события стали началом революции. Очень скоро на улицах прольется первая кровь, но 23 февраля толпам в центре города было весело, и заунывное стенание «хлеба, хлеба» казалось дерзкой шуткой.

[1] Фунт — 0, 4095 кг.

А вот Невский проспект 1919 года, хотя теперь он называется проспектом 25 Октября; на нем малолюдно — многие из тех, кто фланировал здесь в феврале 1917 года, умерли или покинули Петроград, у редких прохожих изможденные, темные лица. Поэт Василий Князев вспоминал эпизод начала 1919 года: «Угол проспекта 25 Октября и ул. Лассаля (Михайловской ул. — *Е. И.*). У заколоченной досками и сплошь заклеенной афишами и плакатами витрины магазина вопит-корчится простоволосая, в разорванной кофте женщина. Ни на секунду не умолкая, она выкрикивает только одно заветное слово: „Хлеба... хлеба... хлеба!“ Люди бегут мимо». Уже давно были введены карточки не только на хлеб, но на все продукты и товары, а хлебный паек уменьшился по сравнению с февральским 1917 года в восемь-десять раз. Перед нами умирающий город времен военного коммунизма.

В чем же была причина петроградских бедствий? Советские историки называли сразу несколько причин: удаленность города от основных сельскохозяйственных районов, разруха на железных дорогах и других путях сообщения, гражданская война... Но была еще одна причина: Петроград стал опытным участком для большевистского эксперимента, здесь новая власть опробывала свои социальные идеи[1]. В 1918 году председатель Совета народных комиссаров Петроградской трудовой коммуны Григорий Евсеевич Зиновьев говорил: «Я знаю, что среди очень широких кругов населения распространено мнение, что свобода торговли, хотя она и была бы нарушением наших принципов... спасла бы на короткое время от того ужаса, в котором мы находимся сейчас». Может, она и спасла бы Петроград от ужаса голода, но ее запретили как противоречащую большевистским догмам. Вожди не жаловали бывшую столицу империи, население которой было мало пригодно для строения социализма — рабочие составляли

[1] Об особой роли Петрограда Ленин писал 26 июня 1918 г. Зиновьеву, требуя усиления террора в городе: «Надо поощрять энергию и массовидность террора... *и особенно в Питере, пример коего решает*».

здесь меньшинство, зато бывших царских чиновников, буржуазии и прочей «контры» в Питере было больше, чем в других городах России.

После переворота многие государственные служащие не стали сотрудничать с новой властью, этот саботаж продолжался несколько месяцев, но в 1918 году большинство их вернулось на службу, к этому принуждал голод. «Все население Петербурга взято „на учет“, — вспоминала З. Н. Гиппиус. — Всякий, так или иначе, обязан служить „государству“ — занимать место если не в армии, то в каком-нибудь правительственном учреждении. Да ведь человек иначе и заработка никакого не может иметь. И почти вся оставшаяся интеллигенция очутилась в большевистских чиновниках. Платят за это ровно столько, чтобы умирать с голоду медленно, а не быстро». Люди на грани голодной смерти не представляли серьезной опасности для власти. «Голодными легче управлять, чем сытыми», — цинично заметил Лев Троцкий.

В мае 1918 года Зиновьев говорил на собрании Петроградского Совета: «Буржуазия и ее прямые прихвостни охватывают около 100 тысяч, и мы им говорим: мы не отказываем и вам в маленьком пайке... У нас были и другие предложения — лишить всякого пайка эти 100 тысяч человек. Может быть, это было бы правильно, может быть, это напрашивается у каждого из нас». Желание уморить 100 тысяч буржуев действительно напрашивалось: можно было избавиться от лишних ртов и подправить классовый состав населения. Буржуи, по мнению Зиновьева, не заслуживали сочувствия: «Тот, кто был богат, остается богатым и сейчас. Он найдет лазейку, чтобы хлеб получить, чтобы кормиться более питательными продуктами: консервами, молоком и всякими другими благами». Однако питательными продуктами тогда кормился сам Григорий Евсеевич и другие представители городской власти да спекулянты, все остальные голодали. Летом 1918 года в Петрограде свирепствовала эпидемия холеры, в связи с чем Троцкий сказал: «Холера поможет нам решить проблему голода». Действительно, холера сильно поубавила количество голодавших.

1 июля 1918 года в Петрограде была введена система распределения пайков по классовому принципу: рабочим полагалось $^1/_2$ фунта хлеба в день, служащим — $^1/_4$ фунта; «лицам не рабочим и не служащим, живущим своим трудом» — $^1/_8$ фунта, а ста тысячам человек, которых следовало уморить, — $^1/_{16}$ фунта (25 граммов). Поэт Василий Князев вспоминал о жившей по соседству с ним семье: «В 3-м этаже живет небольшая семья интеллигентов: бабушка, гимназистка-внучка и близнецы — мальчики-гимназисты. Я видел их во дворе: тихие, бледные до прозрачности, сидят и читают, обнявшись, одну книгу. Потом один мальчик исчез... Потом и другой. Потом исчезла бабушка — перестала утрами ходить на набережную за щепками. Потом не стало видно и ее хроменькой, тихой, русоволосой внучки. Эти люди — вымерли, медленно умирали на глазах всего дома. То, что они погибли от голода, обнаружилось при взломе дверей их квартиры». Эта семья была из числа «нетрудовых элементов», зато трудящимся полагался не только паек, но и питание в коммунальных столовых.

В создании бесплатных коммунальных столовых для трудящихся реализовалась одна из утопических идей марксистской идеологии, «коммунальное» питание должно было навсегда покончить с традицией домашнего приготовления пищи. Это имело глубокий смысл, ведь, по утверждению Ленина, отказ от «мелкого домашнего хозяйства» являлся важнейшим условием для создания коммунистического общества. Известный тогда партийный теоретик Юрий Ларин пропагандировал полный отказ от мелкобуржуазной привычки домашнего питания; по его словам, в Европе с этим давно покончили, а в Австрии и Германии приготовление обедов «в сепаратной кухне отдельной семьи» запрещено законом! Юрий Ларин «научно» обосновывал преимущество коммунальных квартир, в которых пролетарские семьи заживут дружной коммуной. Не случись переворота, «идеологи» вроде этого враля канули бы в забвение, но вышло иначе, и в советских энциклопедиях Юрий Ларин именуется видным экономистом. Профессор Педагогического института при универ-

ситете, географ В. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал о столовых военного коммунизма: «Питались кониной (это был деликатес), затем тюлениной, пшеном, ржаной кашей, турнепсом и мороженой картошкой... В „столовках“ обязательно подавался суп с „сущиком“, т. е. мелкой сушеной рыбой. Обеды было не обязательно поглощать в „столовке“, а можно было уносить и домой... Л. С. Берг, как ихтиолог с мировым именем, с большим терпением выуживал из супа мельчайшие косточки, раскладывал по краям тарелки в порядке зоологической классификации и называл по-латыни и по-русски тот вид, которому каждая косточка принадлежала. Состав суповой фауны оказывался сложным, и в нем иногда попадались редкие виды». По свидетельству З. Н. Гиппиус, одно время в этих столовых «царила вобла... я до смертного часа не забуду ее пронзительный, тошный запах из каждой тарелки супа, из каждой котомки прохожего». Об отупении измученных голодом людей можно судить по эпизоду из воспоминаний Семенова-Тян-Шанского: однажды в столовую привезли мешок конских копыт. На вопрос заведующей, что с ними делать, в Наркомпроде ответили: «Раздайте копыта гражданам бесплатно; они сами сумеют, что с ними делать». К изумлению заведующей, «многие граждане молча взяли копыта, положили их к себе в карманы и мирно разошлись по домам».

Конечно, доставлять продовольствие издалека было трудно, но в Петроградской и соседних губерниях у крестьян хватало картошки и скот не перевелся, и им было выгодно продавать продукты в городе. Однако уже в начале 1918 года Петроград был окружен кольцом продовольственных заградительных отрядов, которые не пропускали в город везущих продовольствие крестьян. На подъездах к городу, на станциях, в поездах шли облавы, крестьяне-«мешочники» были объявлены врагами советской власти, так что не разруха, а само государство обрекало Петроград на голодную смерть. Но многим мешочникам удавалось пробраться через блокадное кольцо заградотрядов, и самыми упорными в этом промысле оказались женщины — не случайно выражение «баба-

мешочница» позже вошло в арсенал городской перебранки. Но тогда петроградцы относились к ним иначе, партизанские вылазки мешочниц не раз спасали их от голода. Семенов-Тян-Шанский вспоминал, как его жену остановила на улице «очень толстая деревенская баба и шепотом спросила: „Не хотите ли картошки?“. Жена привела крестьянку домой и спросила: „А где же картошка?“ Баба ответила: „А вот“, быстро расстегнулась, картошка посыпалась из ней, застучала массами по полу кухни, и баба стала совсем тонкой. Так она благополучно проехала мимо застав „военного коммунизма“ и нам сделала благодеяние». Городская торговля замерла, магазины были закрыты, и единственным местом, где можно было купить или выменять на вещи продукты, оставались рынки. Рыночная торговля тоже была запрещена, на рынках проводились облавы с арестами и конфискацией всего вынесенного на обмен и продажу, но покупатели и продавцы собирались снова. В городском центре появилось много импровизированных рынков, которые исчезали при приближении облавы. «У Литейного, — записывал в дневнике 1918 года историк Г. А. Князев, — стоял какой-то длинный ряд и все продавали что-то. Кого только не было в этом ряду с мешочками в руках! И старушки, и дамы, и два лицеистика, и солдаты».

В конце апреля 1918 года петроградские власти объявили, что хлеба по карточкам выдавать не будут, кончился хлеб! Это вызвало рабочие волнения, но властям удалось «заболтать», обмануть рабочих очередной ложью. Зиновьев говорил на одном из митингов: «Все человечество сейчас голодает... и никакого другого выхода нет отсюда, как свергнуть буржуазию до конца... Если возьмем Швейцарию, богатейшую страну, мы увидим, что и она голодает. Возьмите Финляндию... там ввели в пищу солому, там ее режут и дают рабочим и части крестьян... Если буржуазия Финляндии переводит наших братьев рабочих на солому, то если пойдет худо и у нас, мы переведем в первую очередь на солому крупную буржуазию. (Рукоплескания)». Ладно, если уж Швейцария голодает, а в Финляндии солому грызут, надо и нам потерпеть

до победы мировой революции и уничтожения буржуазии... Но через несколько месяцев, в октябре, в Петрограде взбунтовались матросы: Второй гвардейский экипаж вышел на улицы города под лозунгом «Долой советскую власть!» Это напугало большевистских вождей, и в Петроград срочно доставили продовольствие, рабочим выдали хлеб, мешочникам разрешили въезд в город, а умиротворять матросов приехал сам Троцкий. Он не скупился на лесть и обещания и сумел уговорить матросов, а зачинщики выступления по его приказу были расстреляны. Таким образом удалось восстановить спокойствие, и 2 ноября 1918 года передовая статья петроградской «Красной газеты» возвестила горожанам, что они дожили до «золотого века»: «Человечество приближается к своей заветной мечте! Советская Россия указывает путь!»

«Еще три месяца назад, — писал Аркадий Борман о Петрограде ноября 1918 года, — жизнь чувствовалась в северной столице, а теперь уже мерзость запустения. За это время Зиновьев превратил его в кладбище, населенное живыми мертвецами. На лица легла какая-то особая тень... На войне на лицах обреченных есть что-то спокойное, даже скорее светлое. А здесь заживо погребенные». Жизнь в городе угасала, на поверхность выходило все скрытое прежде низменное, жестокое. Грабежами промышляли не только уголовники, но и революционные матросы и солдаты, и ночная встреча с патрулем была так же опасна, как с грабителями, уголовники к тому же часто рядились в матросскую форму. И днем на улицах было скверно. «В воздухе висит матерная ругань, — записал в дневнике Г. А. Князев в 1918 году. — Такой грубости и разнузданности в словах я еще никогда не слышал. Ругаются все... Все злы, как черти. Особенно грубы кондукторы и вагоновожатые. О красногвардейцах у лавок и говорить не стоит». «Удивительный это народ — кондукторши, — размышлял он. — Злы и невежественны. А это ведь все крестьянки, мещанки, сам народ... Что же значат тогда слова Некрасова о русской женщине?»

В городе росло ожесточение, потому что революционная свобода обернулась насилием, а вместо обещанного

благоденствия вплотную подступила смерть. Все понимали, что обмануты, и обвиняли друг друга, забывая о собственной вине, а на смену прежнему ослеплению пришла ненависть к тем, кого считали повинными в революции. Горький отозвался на слова Александра Блока о высокой смертности среди петроградских рабочих от сыпного тифа с раздражением: «Ну и черт с ними. Так им и надо. Сволочи!» Бывшая революционерка-народница говорила Г. А. Князеву о голодавших крестьянах: «И пусть погибают. И поделом им. Возмездие. Уж слишком носились с народом». Ожесточение выливалось в ненависть к буржуям, или к пролетариям, или к крестьянам, но чаще всего — к советской власти. «На ком в сущности держатся большевики? — размышлял Г. А. Князев. — На своих наемниках. Ведь только и слышно, как поносят большевиков. В трамваях, на улицах, особенно женщины... И все-таки большевики держатся».

Жизнь европейского города XX века словно отбросило в глубины прошлого, в лихолетье иноземного ига, во времена нашествий кочевников — на эту мысль все чаще наводили становившиеся привычными уличные сцены. В октябре 1919 года З. Н. Гиппиус писала в дневнике: «Люди так жалки и страшны. Человек человеку — ворон. С голодными и хищными глазами. Рвут падаль на улице равно и одичавшие собаки, и воронье, и люди. Едут непроницаемые (какие-то нелюди) башкиры и заунывно воют, покачиваясь: средняя Азия». Позже, в предисловии к опубликованному дневнику 1919 года, она писала: «Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают арестованных — захваченных... Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных в наступление красноармейцев, чтобы, когда они побегут (а они бегут!), встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть. Чем не монгольское иго?»

Впоследствии власть неохотно вспоминала о роли разноплеменных «интернационалистов» в ее утверждении,

но без них картина петроградской жизни была бы неполна. Ко времени революции в крупных промышленных городах России работали десятки тысяч китайцев: с началом германской войны в промышленности не хватало рабочих рук, и число китайских рабочих все увеличивалось. В гражданскую войну бо́льшая часть их примкнула к большевикам, в Красной армии были китайские полки и отряды, китайцы служили в ВЧК. По свидетельству многих мемуаристов, китайцы выделялись особой дисциплинированностью и жестокостью, в Петрограде о них ходили страшные слухи: «А знаете, что такое „китайское мясо“? Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, „Чрезвычайка“ отдает зверям Зоологического сада.... Расстреливают же китайцы... Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе — утаивают и продают под видом телятины», — записала один из городских слухов З. Н. Гиппиус.

О роли латышских частей мы уже говорили, они были образцовыми наемниками: эти солдаты из крестьянских парней в большинстве не знали русского языка и, оказавшись в чуждой среде, крепко связали свои судьбы с новой властью. Большевики высоко ценили их, петроградский комиссар по делам печати Володарский говорил в 1918 году на собрании латышского полка: «Не мне говорить это перед вами, перед которыми мы, русские социалисты и пролетарии, считаем себя в неоплатном долгу. Мы знаем великолепно революционные подвиги, те блестящие доказательства революционной доблести, которые были даны латышскими стрелками... в особенности начиная с Октябрьского восстания народных масс». Историк С. П. Мельгунов писал о них: «Они служат здесь целыми семьями и являются самыми верными адептами нового „коммунистического строя“... Латыши и латышки, зачастую не владея русским языком, ведут иногда допросы, производят обыски, пишут протоколы и т. д. В Москву из Латвии в ВЧК едут как в Америку, на разживу». В Петрограде были еще бо́льшие возможности для поживы, а Володарский рисовал перед ними новые перспективы: «Я от всей души приветствую

вас как авангард революционной армии, которой... придется и на улицах Берлина уничтожать власть империалистов, пройтись по всей Европе, побывать и в Париже, и в Лондоне, и во всех больших капиталистических городах, в которых будут властвовать наши товарищи». Собственное будущее оратору представлялось еще более ярким и значительным, но человек, как известно, предполагает, а Бог располагает... Через полтора месяца Володарского убьют, а лет через двадцать после его смерти карательные органы, в которых служили верные латыши, вплотную примутся и за них.

«Творцы и вдохновители революции у нас евреи, а фактические выполнители этих идей — латыши», — записал Г. А. Князев 25 октября 1918 года, в первую годовщину переворота. Но это неверно, «нерусский элемент» был лишь незначительной частью сил, разрушивших старую Россию, а кроме того, такие люди были в меньшинстве и в своих народах. Революционные и социалистические идеи десятилетиями культивировались в образованных классах общества, в среде радикальной интеллигенции, и их воплощение привело страну к катастрофе. Для интеллигентов смириться с этим выводом было труднее, чем с голодом, поэтому понятно их желание найти в послереволюционных переменах хоть что-то позитивное, и представление об этих поисках дают дневниковые записи Г. А. Князева. « Скажу страшный парадокс, — писал он в августе 1918 года. — Большевики все же принесут, пожалуй, России пользу: они научат работать. Мы совсем не умеем работать... Большевики н у ж н ы России... Ведь какая бы там ни была, но в л а с т ь есть... Действительно, кругом кошмар... Но что это — гибель культуры или рождение нового будущего? Ведь действительно кучка людей жила трудом масс. Может быть, и впрямь всех заставят работать... Так и не понимаю ничего. Но не могу проклинать большевиков. И защищать их не могу. Но чувствую, что они нужны... Вот этот хотя бы факт. О новой орфографии. Так никогда и не ввели бы ее, если бы не такие решительные меры. Пусть там жалуются, печалуются. Жизнь требует реформы правописания...

И пусть выносят иконы. Это хоть оживит, опоэтизирует умирающую религию. А особенно меня мало трогает, когда туго приходится тем, у кого свои дома, имущество, роскошь... Все зависит от того, „творится ли у нас новое небо, новая земля“, или нет. И будь проклято все творящееся сейчас, если это только дьяволов водевиль, и будь благословенно — и никакие жертвы не страшны — если это рождение жизни новой и более справедливой на нашей грешной земле». Этот монолог мог бы продолжить Поприщин из «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка, пожалей о своем больном дитятке!» Как мучительно желание найти хоть что-то, чему можно сказать «да», а иначе жить невозможно, впору с ума сойти! Через несколько дней Г. А. Князев записал: «Не все сплошная мерзость и попрание всего светлого у наших властителей», а в октябре 1918 года: «Но в большевизм, кажется, начинают верить... Находят уже хорошие стороны. Свыкаются с мыслью, что большевики так и останутся у власти».

Такие суждения были характерны для либеральной интеллигенции, которая долго ждала революции и теперь пыталась примирить действительность со своими идеалами: конечно, сейчас творится много несправедливого и страшного, но при рождении нового мира жертвы неизбежны, а кроме того, культурные реформы новой власти (например, реформа правописания) внушают надежды на светлое будущее, в котором все научатся работать! Романтическая жажда *настоящей* работы для общего блага и мечта о «сотворении нового неба и новой земли» были почерпнуты из учений европейских социалистов-утопистов, и хотя до революции интеллигенция честно трудилась, этот обыденный, рутинный труд не имел, по ее убеждению, ничего общего с *настоящим* трудом[1], который

[1] «Тоска по труде, о боже мой, как она мне понятна! Я не работал ни разу в жизни», — говорит герой пьесы Чехова «Три сестры», поручик Тузенбах. Очевидно, нелегкая армейская служба не считалась настоящим трудом.

будет возможен лишь в обновленном революцией мире. Георгий Алексеевич Князев (1887—1969) разделял заблуждения своих современников, но история его жизни свидетельствует, что в характере интеллигентов этого склада была и непоказная твердость, и верность профессиональному и нравственному долгу. Слабость здоровья и хромота определили его роль не участника, а лишь свидетеля происходящих событий, а профессия историка-архивиста давала возможность заниматься прошлым, не слишком вглядываясь в настоящее. Однако молодой сотрудник Архива Морского министерства с 1915 года начал писать хронику современной жизни России: в его дневнике газетные выписки с сообщениями о важных государственных и общественных событиях перемежались личными наблюдениями, а записи бытовых эпизодов — размышлениями и анализом происходившего, поэтому его дневник 1915—1922 годов стал уникальным свидетельством о жизни Петрограда тех лет.

После революции Князев продолжал работать в Морском архиве, а с 1929 года он занял должность заведующего Архивом Академии наук СССР, где проработал несколько десятилетий. Его жизнь казалась достаточно спокойной, и только самые близкие люди знали об опасности, грозившей скромному архивисту: в 1922 году он передал копию своего дневника американскому профессору Ф. Голдеру, и она хранилась в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира при Станфордском университете. Публикация или просто упоминание об этом документе погубили бы его автора, и Князев тревожился об этом всю жизнь, однако не уничтожил подлинник дневника. Война и блокада застали его в Ленинграде, и он снова стал вести дневник — хронику жизни осажденного города, но этот правдивый документ тоже пришлось скрывать до лучших времен. У этого слабого на вид человека хватило мужества тайно создавать летопись страшных времен, хотя бóльшая часть его жизни пришлась на период фальсификации истории и казенной лжи. Такая непоказная многолетняя твердость и верность долгу сродни подлинному героизму.

В первые месяцы военного коммунизма, по свидетельству Г. А. Князева, многие горожане относились к новому режиму как к кратковременному бедствию, которое надо перетерпеть: «Есть и такая теперь идеология: „Мы Россию не раскачивали, мы неповинны... И поэтому мы спокойны, и наш единственный лозунг — изжить скорее до конца эту мерзость. А теперь, чтобы изжить, надо укреплять как можно больше свой организм питанием“. И едят, и спокойны, и ждут, „когда мерзость будет изжита“». Но черная полоса не кончалась, жизнь становилась все страшнее, и скоро выжидание и негодование сменились тупым равнодушием, а немыслимое стало привычным: среди бела дня матросы волокли кого-то на невский лед и расстреливали, а прохожие лишь ускоряли шаг и отводили взгляд. С таким же равнодушием в Петрограде приняли весть об убийстве царской семьи; скука, отупение, предсмертное томление — так определяла свое состояние З. Н. Гиппиус. В январе 1918 года Блок еще писал в статье «Интеллигенция и революция»: «Дело художника, о б я з а н н о с т ь художника... слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух“», — «музыку революции», но постепенно и его охватывало оцепенение. В марте 1921 года К. И. Чуковский записал в дневнике: «Блок, оказывается, ничего не знал о кронштадтских событиях (восстании в Кронштадте. — *Е. И.*) — узнал все сразу и *захотел спать*. „Я всегда хочу спать, *когда события*. Клонит в сон“... Добужинский тоже говорит: — Я ничего не чувствую...»

Александр Блок писал поэму «Двенадцать» в январе 1918 года. Ветер, метель, ледяное безлюдье — таким предстает в ней Петроград. В снежном мареве еще виден измятый плакат «Вся власть Учредительному Собранию!», в метели на миг появляются и исчезают человеческие фигуры. Присмотримся к этим несчастным теням 1918 года. Они и впрямь несчастны: плачет старушка, барыня падает со словами «Ужь мы плакали, плакали»; куда-то опасливо спешит священник; мерзнет на перекрестке буржуй, к нему жмется голодный пес. Что выгнало на улицу буржуя в ночной час? Возможно, он на дежурстве.

При старом режиме у домов дежурили дворники, а теперь все равны, и жильцы должны нести дежурство по очереди. Александр Блок тоже не избежал этой повинности; 9 января 1918 года он записал, что закончил статью «Интеллигенция и революция», а «завтра — проклятое дежурство (буржуев стеречь)». Иногда дежурства удавалось избежать, но такое случалось редко, и ночами Александр Блок стоял у дома на ледяном ветру, упрятав нос в воротник, как буржуй из его поэмы «Двенадцать». «Буржуй, — заметил Г. А. Князев, — это глупое слово — в просторечии употребляется сейчас ко всем, кто чисто одет или чисто живет». В 1918 году в ходу были хлесткие ленинские лозунги: «Смерть буржуям!», «Кулаком в морду, коленом в грудь!», с буржуями дозволялось делать все: выбрасывать их из квартир, грабить, гнать на каторжную работу, а еще лучше — убивать. «*Стоит буржуй, как пес голодный, / Стоит безмолвный, как вопрос*». Но власть уже решила вопрос, как распорядиться его жизнью.

«*Что нынче невеселый, / Товарищ поп?*» О церковной жизни в городе разговор впереди, а пока отметим, что во времена военного коммунизма в каждой волне «красного террора» погибали священники. В августе 1918 года, после убийства председателя петроградского ЧК М. С. Урицкого, в городе начались массовые аресты, людей отбирали по спискам домовых книг, где указывалась сословная принадлежность жильцов. Арестованные — аристократы, чиновники, студенты, офицеры, священники — предназначались для уничтожения в отместку за его смерть. «Один из приходивших (для ареста. — *Е. И.*), — записал Г. А. Князев, — безусый мальчишка, особенно интересовался, „нет ли в доме батюшек, знаете, этих батюшек“». Среди расстрелянных в то время был известный в России религиозный деятель, настоятель Казанского собора протоиерей Философ Орнатский.

Горесть старушки при виде плаката: «*Такой огромный лоскут... / Сколько бы вышло портянок для ребят, / А всякий — раздет, разут...*» — тоже примета времен военного коммунизма. В октябре 1918 года Г. А. Князев

записал, что петроградцев возмущали пышные приготовления к празднованию первой годовщины Октября: «Целые куски красной материи... полотнища закручиваются на столбы... Скоро без штанов и рубашек ходить будем, а тут целыми кусками материи столбы заворачивают. Все разваливается, не ремонтируется, а тут целые леса бревен, сотни пудов гвоздей, веревок... и самое бесценное — холста и разной материи». На большевистских складах была мануфактура, гвозди и прочие необходимые вещи, а в других местах их днем с огнем не сыскать, хотя гвозди иногда попадались, но при странных обстоятельствах. «В гречневой крупе (достаем иногда на рынке — 300 р. фунт), в каше-размазне — гвозди, — писала в дневнике 1919 года З. Н. Гиппиус. — Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Изо рта мы их продолжаем вынимать... Верно, для тяжести прибавляют. Но для чего в хлеб прибавляют толченое стекло — не могу угадать».

«Только нищий пес голодный / Ковыляет позади...» Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала: «Петербург в начале революции был полон бродячих собак самых чудных кровей. Хозяева, удирая за границу, повыгоняли их прочь. Однажды Шилейко, муж Ахматовой, подобрал на улице сенбернара, больного, голодного и несчастного. И Тапка, безукоризненно воспитанный и благородный, долгие годы жил у Ахматовой». К 1920 году бродячих собак, безродных и с родословными, в городе почти не стало — их съели, так что сенбернару Тапке повезло. О печальной участи одного из его сородичей писал поэт Василий Князев: «В дворницкой дома № 4 живет семья... Эти люди в течение января — февраля [1919 года] съели 25 собак и 13 кошек. Однажды им удалось заманить к себе отощавшего, но все-таки сильного еще сенбернара. Когда они стали „резать“ его, он вырвался и начал клыками отстаивать свое право на жизнь... его повалили, оглушили ударом лома по черепу и зарезали. Это тот сенбернар, что часами простаивал в человеческих хлебных очередях и потом, дойдя до двери, отходил в сторону и по-человечески говорящими глазами вымаливал себе крохи и крошки».

«Снег крутит, лихач кричит, / Ванька с Катькою летит — / Електрический фонарик / На оглобельках...» / Петроград военного коммунизма на первый взгляд напоминал блокадный Ленинград — нищий, умирающий город. Но это сравнение неверно потому, что до революции Петроград был одним из богатейших городов Европы, и для тех, кто подхватил ленинский лозунг «Грабь награбленное!» настали золотые деньки. Теперь лихачи были по карману не купчикам и офицерской молодежи, а солдату Ваньке, и в Катьке не классовое чувство проснулось, она просто сменила клиентуру: *«С юнкерьем гулять ходила — / С солдатьем теперь пошла?»*. Где они теперь, юнкера? Кого не убили, те прячутся по домам или пробираются на юг, в Добровольческую армию, а Питер нынче матросский да солдатский. И жить в нем можно превесело. «В трамваях, — записал в марте 1918 года Г. А. Князев, — между другими объявлениями, мне бросилось в глаза одно: „Развеселая танцулька“. Устраивает какой-то любимец публики дядя Коля... Сегодня опять объявление: „Грандиозный бал-маскарад“, устроитель Саша Верман. 6 призов. Один за костюм, другой за танцы, третий за лысину, четвертый за дамскую ножку. Господи, прости меня...» Объявления о балах обещали чудные вещи: «Роскошные призы царице бала и за характерные танцы. Комната свиданий. Карамели для мамзели! Орехи для потехи!» Кто же веселился на этих балах? Конечно, победивший класс, а оплачивала его развлечения побежденная буржуазия. Сразу после переворота в городе появилось множество советов, комитетов, и все они занимались обысками квартир буржуазии, отбирая награбленное в свою пользу. В. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал сцену в Василеостровском совете рабочих и солдатских депутатов: «В комнату, где я ждал, вошла группа матросов с тяжелым мешком. Они его раскрыли, вынимая оттуда серебряные и золотые предметы, спрашивали объяснений у какого-то... интеллигентного по виду молодого человека, видимо, владельца этих предметов... Затем они его отпустили и стали распределять по группам всю эту груду предметов, причем очень сильно между собой спо-

рили, ссорились и бранились». Впрочем, власть скоро навела порядок в этом промысле, и изъятое при обысках стало поступать на специальные склады. Обыски бывали общие (когда изымали все ценное) и «тематические»: например, для нужд Красной армии реквизировали то одеяла и подушки, то обувь и одежду, то скатерти и портьеры. Собранная таким образом экипировка красноармейцев бывала экстравагантной — так, летом 1918 года Г. А. Князев встретил на улице взвод солдат, маршировавших в сшитых из портьер красных плюшевых штанах.

Петроградское лето 1918 года началось тревожно: 20 июня 1918 года был убит городской комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Володарский. Что мы знаем об этом человеке?

Вот наш вождь — великан,
Пролетарский титан,
Мировой бедноты предводитель;
Вот — весь пламя и гнев,
Красной армии Лев,
Многотысячных орд победитель.

(Василий Князев.«Володарский»)

Погибшего называли «красным Мирабо», сравнивая его со знаменитым оратором Великой французской революции; сравнение со львом заимствовано из той же эпохи — «львиная грива Мирабо», «львиный рык» его речей — большевистским вождям импонировало сравнение с могучим зверем. Троцкий вспоминал, что в день переворота Ленин, как лев, метался по комнате в Смольном; с львом сравнивали председателя ПЧК Урицкого, а Троцкий получил имя Лев с рождения. Однако погибший комиссар Володарский не походил ни на льва, ни на Мирабо. Жизнь «пролетарского титана» до его появления в 1917 году в Петрограде ничем не примечательна: Моисей Маркович Гольдштейн родился в 1891 году в местечке Острополь на Западной Украине, русский язык стал осваивать лишь в двенадцать лет, а в 1913 году эмигрировал в США, где работал портным на швейной фабрике.

Но честолюбивый юноша не собирался ограничиться портняжным ремеслом, еще в России он вступил в Бунд[1], затем примкнул к меньшевикам, а в Америке стал профсоюзным активистом и корреспондентом социал-демократической газеты «Новый мир».

Весть о революции в России открывала перед 26-летним честолюбцем новые перспективы, и в мае 1917 года он прибыл в Петроград, вступил в ВКП(б), а в ноябре был назначен комиссаром по делам печати, пропаганды и агитации. Его стремительная карьера отчасти объяснялась тем, что вернувшиеся из эмиграции вожди предпочитали доверять ответственные посты таким же бывшим эмигрантам. Жизнь Володарского сказочно изменилась: он занимал апартаменты в гостинице «Астория», ездил в автомобиле из императорского гаража, основал в Петрограде «Красную газету» и стал ее главным редактором. «Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком... И вдруг все свалилось сразу: власть... не стесненная ни законами, ни формами суда — ничем, кроме „революционной совести“», — заметил писатель Марк Алданов о другом петроградском деятеле — Урицком, но эти слова в полной мере относятся и к Володарскому. В мае 1918 года по его распоряжению было запрещено издание нескольких петроградских газет и устроены суды над этими «буржуазными» изданиями, где Володарский выступал в роли обвинителя. Он обвинял их в «распространении ложных слухов, которые сеют панику и смуту», однако газеты писали правду, сообщая, например, о рабочих волнениях в городе. «7—8 мая, — говорил Володарский, — были чрезвычайно острыми днями у нас в коммуне: хлеба не было, на заводах происходили волнения. 9-го мая я с Зиновьевым провел целый день на Путиловском заводе, где обсуждал в присутствии 10 тысяч человек коммунальные вопросы». Тогда в чем же повинны запрещенные газеты? А в том, что писали о неприятных вещах, нервировали власть: «Эти слухи так нас измучили, мы так изнерв-

[1] Бунд — социалистическая партия «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России».

ничались, что мы их больше не хотим... Когда жизнь каждую минуту хлещет нас по нервам, красть спокойствие, подкладывать поленья в костер, на котором мы уже достаточно жаримся, не позволено». Какое простодушное признание! Речи Володарского были выдержаны в тоне грозной снисходительности: «Один новожизненец (сотрудник газеты „Новая жизнь". — *Е. И.*) написал (я бы взял и вырезал эти слова у него на лбу): „Какой же это социализм, когда на рабочих есть вши?"»; на суде над газетой «Новый вечерний час» он говорил о ее редакторе: «Я имел перед собой старого радикала-демократа, который 36 лет работает в печати... И раз мы имеем дело с определенной литературной программой, с людьми, у которых заслуженная физиономия... вы (судьи. — *Е. И.*) скажете им: „Издавать газету в нашей трудовой республике вам не может быть разрешено"». Радуйся, заслуженная физиономия, что легко отделалась, ведь редактора другой газеты арестовали прямо в зале суда.

Комиссар по делам печати явственно напоминал Хлестакова — в его упоении властью была та же бесконечно расширяющаяся, не встречающая преград пустота. Володарский не забывал и о собственной апологии: «Я прожил три с половиною года в Соединенных Штатах; в качестве газетного работника я каждый день следил за деятельностью президента Вильсона, и я могу вас уверить, что это самый умный капиталистический разбойник из всех, когда-либо существовавших на земле... И этот разбойник... должен посылать нам телеграммы с выражением приветствия и предложением своих услуг» (в этом «нам» так и звучит ликующее — «мне, мне!» Президент и бывший эмигрант-портной даже не на равных, Вильсон вынужден заискивать). И это только начало, потому что скоро Володарский и его товарищи возглавят мировую революцию: «Нам, революционерам, абсолютно нечего терять, но завоевать мы можем весь мир». А коли им суждено погибнуть, то героически, как парижским коммунарам: «Быть может, нам не суждено победить. Те из вас, кто останется в живых, увидят, какую дикую свистопляску поднимут эти господа на трупах наших, какие страшные

преступления будут нам приписывать... Тогда настанет ваше время, вы сможете отплясывать ваш дикий канкан!» Какой канкан, почему канкан? Кто его будет отплясывать — перепуганные редакторы, которые оказались на скамье подсудимых? Канкан упомянут для красоты — так, по его представлению, буржуазия Парижа праздновала разгром коммуны. Но голодающему Петрограду было не до плясок.

Володарский был даровитым агитатором, он умел облекать большевистские идеи в самые примитивные формы, и в таком виде они усваивались лучше всего. Взгляните на стихи Князева о Володарском: «пролетарский титан», «многотысячные орды» — так закручено, что не каждый поймет, а в речах Володарского все предельно ясно. В апреле 1918 года он напутствовал будущих агитаторов: «Товарищи! Я должен читать вам о текущем моменте и о внешнем положении России. Уже больше года, как мы все читаем о текущем моменте. Каждую почти неделю, каждые две недели мне лично и многим другим приходится читать о текущем моменте...» Нет, он, конечно, не Мирабо, но время не нуждалось в велеречивых ораторах, оно захлебывалось ленинскими угрозами, и в звенящем, металлическом голосе Володарского был этот напряженный, угрожающий звук. Его наставления агитаторам были просты: «Когда вам придется встретиться с вашими противниками, вас постараются сбить на одном пункте: большевики сначала гнали офицеров и генералов... а теперь берут этих самых генералов (в Красную армию. — *Е. И.*). Мы брали генералов, берем их и будем брать, но не так, как это делали наши противники. Мы ничего им не оставляем, мы лишаем всего — и погон, и звездочек, и столовых, и приборных, и жалованья — и выбрасываем на улицу без всякого сожаления... Когда Троцкий принимал генералов, он им сказал: „Мы не можем ручаться за то, что вас не расстреляют по ошибке, но мы ручаемся, что за дело вас непременно расстреляют"». Так же доступно он разъяснял суть советской внешней политики: «Основа нашей политики — это лавировать между двумя империалистами... заключив сегодня с одним мирный дого-

вор, завтра взяв у другого бронированные поезда, пулеметы, пушки, через три дня порвав и с теми, и с другими... Помни, что империалисты суть империалисты, помни, что они хотят тебя ограбить, и помни, что в силу того, что они друг с другом не могут помириться, ты, быть может, сумеешь стать в такое положение, когда тебе удастся ограбить их обоих». Ничего не скажешь, ловко придумано! В речах Володарского встречаются отличные ораторские находки, например, такая: «Ум у меня холодный, но сердце, товарищ, горячее»; в напутствии агитаторам он повторил это почти дословно: «Каждый революционер должен иметь не только горячее сердце, но и холодный, стальной рассудок». После его смерти этот афоризм по наследству перешел к Дзержинскому, говорившему о холодном уме, горячем сердце и чистых руках чекиста.

Володарский агитировал, разъяснял, угрожал, не чувствуя приближения гибели, и не такой, как ему представлялось, не героически-эффектной; место его смерти напоминало не шикарный Париж, а скорее его родной Острополь: городская окраина, огороды, заборы, грязь. 20 июня 1918 года он ехал за Невскую заставу, выступать на митинге Обуховского завода, но по пути кончился бензин, и автомобиль остановился. Володарский вышел из машины, в это время к нему приблизился рабочий Сергеев и дважды выстрелил почти в упор. «Совершив свое кровавое дело, он бросился бежать в ближайший переулок, перескочил через забор в огород, бросил там бомбу, опять перескочил через забор и скрылся на кладбище, все время отстреливаясь», — писал Василий Князев. Убийце, члену партии правых эсеров Сергееву, удалось скрыться, а Володарского похоронили на Марсовом поле, под гром ружейного салюта. На похороны собралось много народа, в толпе были лозунги: «Вы убиваете личность, мы убиваем классы!», и, по мнению Ленина, смерть Володарского была отличным поводом для «убийства классов». 26 июня он телеграфировал Зиновьеву: «Мы услыхали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы грозим... массовым террором, а когда до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную». Вождь выдавал желаемое за действительное, не питерские рабочие, а он сам стремился развязать в Петрограде массовый террор, однако пришлось подождать еще два месяца, до следующего политического убийства.

Первый, временный памятник Володарскому был поставлен на бульваре Профессиональных Союзов (Конногвардейский бульвар). В 1920 году неизвестные злоумышленники подложили бомбу, которая повредила его нижнюю часть, но дыру завесили полотнищем, и при сильном ветре из гипсового чрева Володарского неслись завывания и свист, наводившие страх на прохожих. В 1923 году петроградские власти решили установить новый монумент комиссару по делам печати, «Красная газета» тогда сообщала: «Оставшиеся на набережной Рошаля после снятия памятников Петра I (спасение утопающих и постройка первого корабля) гранитные пьедесталы будут использованы для постройки памятника на месте убийства тов. Володарского». В 1925 году памятник был установлен, огромная бронзовая фигура встала на берегу Невы, на городской окраине, еще много лет остававшейся захолустьем. Даже в конце 40-х годов на берегу реки в окрестности памятника были огороды, и осенью у его подножия сжигали картофельную ботву. Воскурение гнилой картофельной ботвы — какая низкая проза! Но «красного Мирабо» увековечил не только монумент, в городе именем Володарского назвали проспект, улицу, переулок, несколько фабрик, больницу, трамвайный парк, железнодорожную станцию, поселок, прежде называвшийся Сергиевой пустынью, а в 30-х годах — новый мост через Неву, возле которого стоит его памятник.

Прежде чем говорить о «красном терроре», вернемся в Россию начала XX века. В это время в общественном мнении утвердилось сочувствие к террористам, этих людей окружал романтический ореол. Художник Юрий Анненков вспоминал о знакомстве со знаменитой деятель-

ницей «Народной воли» Верой Николаевной Фигнер: «Я смущенно и восторженно смотрел на нее. Мне казалось тогда, что лицам революционеров и тем более народников и террористов свойственны особая чистота и ясность форм». А жертвы «светлых личностей» сочувствия не вызывали. За время русской революции 1905—1907 годов жертвами политического террора стали почти 20 тысяч человек, и все происходило при одобрении передовой части общества, так что прививку идейной жестокости это общество получило задолго до прихода к власти большевиков. Вот лишь один характерный эпизод: 4 февраля 1905 года при выезде из Кремля генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович был убит эсером И. П. Каляевым — брошенная в карету бомба разорвала его тело. Великая княгиня Елизавета Федоровна[1], услышав взрыв, выбежала из дворца на площадь и с плачем стала собирать останки мужа. Вокруг стояла равнодушная толпа; кто-то из зевак пошевелил сапогом кровавый ошметок и заметил: «Надо же, у него, оказывается, были мозги!» Острота: «Впервые русскому великому князю пришлось раскинуть мозгами» мигом облетела город, и московское Охранное отделение сообщило в столицу: «Все ликуют». За этими остротами и ликованием, за небоязнью пролития крови и оправданием политических убийств уже можно разглядеть будущее — с массовым террором, подвалами «чрезвычаек» и ГУЛАГом.

---

[1] Великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра последней русской императрицы, убитая в 1918 г., в последние годы вела монашеский образ жизни. 18 июля 1918 г. в городе Алапаевске Елизавету Федоровну, великих князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновича, великого князя Сергея Михайловича, князя Владимира Палея и сопровождавшую ее в ссылке монахиню Варвару Яковлеву бросили в шахту заброшенного рудника. По местному преданию, из-под земли долго доносились молитвы умиравших Елизаветы и Варвары. Занявшие Алапаевск части белой армии извлекли тела погибших из шахты, затем они были вывезены в Китай. Великие князья и князь Палей похоронены в приделе православной церкви в Харбине; останки Елизаветы и Варвары покоятся в Иерусалиме, в церкви Св. Марии Магдалины. В 1992 г. преподобная мученица Елизавета была канонизирована русской церковью.

Стремление Ленина развязать массовый террор впрямую связано с положением дел в стране — летом 1918 года положение большевиков казалось безнадежным. Под их властью оставалось лишь малая часть страны; с юга, севера и востока их теснили белые армии и войска Антанты, Владивосток заняли японцы; в результате выступления Чехословацкого корпуса, сформированного из военнопленных, была захвачена часть территорий Поволжья, Урала и Сибири. Но и там, где советская власть удержалась, было неспокойно, в Москву приходили сведения о крестьянских бунтах и недовольстве рабочих. По свидетельству Аркадия Бормана, «большевики чувствовали, что враги наступают на них со всех сторон, и совершенно не были уверены, что справятся с положением. Наиболее видные из них уже обеспечили себе тайные квартиры на случай переворота». На заседаниях Совнаркома Ленин постоянно «говорил о необходимости увеличения террора. По мнению Ленина, это было необходимо сделать хотя бы для того, чтобы буржуазия видела, как пролетарская власть умеет хлопать дверью перед своим уходом». Петроград представлял широкое поле деятельности, здесь только кадровых военных было около 50 тысяч, и после убийства Володарского основной удар пришелся на них.

Все лето 1918 года в Петрограде шли аресты. 12 августа Г. А. Князев записал: «Утром мне встретилась группа арестованных, по-видимому, офицеров, человек 50, окруженных матросами с винтовками. Некоторые совсем пожилые, даже старые; аресты продолжаются ежедневно. Оказывается, для них созданы концентрационные лагеря». Эта картина повторялась изо дня в день: «Утром на том же месте, у Николаевского моста, видел еще группу арестованных офицеров, окруженных матросами с винтовками. Все в трамвае заволновались и заговорили, увидев их. Особенно волновалась какая-то дама. У дверей стоял матрос. Наглая и одутловатая физиономия и вызывающий вид». 8 августа председатель ПЧК Урицкий приказал арестовать в Петрограде всех иностранных офицеров, не имевших дипломатического статуса. Через несколько дней в «Петроградской правде» появился список

24 расстрелянных из их числа. Родственники часто узнавали о судьбах уведенных из дому людей из расстрельных списков, но очень многие пропали бесследно. «Рассказывают, как опускавшийся в воду водолаз, чтобы отыскать по просьбе вдовы тело ее мужа-офицера, убитого и брошенного в воду, сошел с ума от ужаса. Когда спустился другой водолаз, то сразу дал тревожный сигнал. „У них там митинг“, — в ужасе кричал он. Оказалось, к ногам потопленных был привязан груз. Потоплены они были на месте очень быстрого течения. Их этим течением подняло и трепало так, что многие размахивали руками, качали головой, и получилась страшная картина митинга мертвецов», — писал Г. А. Князев. Этот митинг на дне Невы должен войти в «петербургский миф».

В атмосфере ужаса, арестов, ожидания расстрельных списков произошло новое политическое убийство. 30 августа был убит председатель петроградской ЧК М. С. Урицкий. «Преступление произошло при следующих обстоятельствах, — сообщал „Вестник областного комиссариата Союза коммун Северной области“. — В 10 час. утра в вестибюле здания № 6 по Дворцовой площади, где помещаются Комиссариаты внутренних и иностранных дел, вошел молодой человек в кожаной куртке, в фуражке офицерского образца. Он приехал на велосипеде, который оставил на панели около окна... В 11 час. 15 мин. на автомобиле подъехал тов. Урицкий, который быстро прошел в вестибюль, направляясь к подъемной машине. Швейцар Григорьев успел сказать своему помощнику, чтобы тот приготовил машину к подъему, как раздался гулкий выстрел... Стрелявшим оказался молодой человек, который после выстрела выбежал на улицу; подоспевшие чины охраны заметили его мчавшимся на велосипеде по Дворцовой площади». Охранники на автомобиле (в тексте опечатка: «*автомогиле*». — *Е. И.*) настигли его в доме 17 по Миллионной улице, где он пытался скрыться. На допросе задержанный назвался Леонидом Каннегисером. Он заявил, что убил Урицкого не по постановлению какой-либо организации, а «по собственному побуждению, желая отомстить за арест офицеров и расстрел своего друга Перельцвейга».

Обстоятельства драмы 30 августа иные, чем в случае Володарского — ее действие происходило в центре бывшей столицы: Урицкий убит в вестибюле Главного штаба, Каннегисер схвачен в доме знаменитого до революции Английского клуба. Церемония прощания с председателем ПЧК происходила в Таврическом дворце, переименованном затем в Дворец Урицкого; даже Дворцовая площадь стала площадью Урицкого. Жизнь поставила эту драму с ампирной пышностью, имперским размахом. Сам убийца Урицкого — человек замечательный. «Молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы, — писал Алданов. — Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений... Сын знаменитого инженера... он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург». Леонида Каннегисера знали многие литераторы, Цветаева писала о нем в очерке «Нездешний вечер», Тэффи вспоминала о последней встрече с ним: «Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший. Ах, как часто вспоминаем мы *потом*, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И *потом* мы всегда знаем, что надо было сделать *тогда*, как взять друга за руку и отвести от черной тени... Как во сне — вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу». Алданов размышлял о причинах его поступка: «Многое туда входило: и горячая любовь к России... и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицкого и Зиновьева, и дух самопожертвования». Он шел на верную гибель, он платил за смерть палача собственной жизнью. Это напоминало убийство Марата Шарлоттой Корде; на допросе она сказала: «Я убила не человека, а чудовище».

Был ли Урицкий чудовищем? Вот как его запомнил В. П. Зубов: «...перед серединой стола сидело существо отталкивающего вида, поднявшееся, когда мы вошли; приземистое, с круглой спиной, с маленькой, вдавленной в плечи головой, бритым лицом и крючковатым носом, оно

напоминало толстую жабу. Хриплый голос походил на свист, и, казалось, сейчас изо рта станет течь яд». Зубов встретился с Урицким в марте 1918 года, когда был арестован и доставлен в Смольный с великим князем Михаилом Александровичем. Их допрашивал председатель ПЧК. Это зловещее существо словно сошло со страниц романа Гюго «Девяносто третий год»[1]: «„Кто из вас бывший великий князь?“ — просвистел Урицкий, и злая радость блеснула в его глазах. „Великий князь я“, — сказал Михаил Александрович… — „Вы все еще считаете себя великим князем?“ — „Великим князем рождаются, и этого отнять нельзя, так же как у графа Зубова его титул“. — „Законами республики рабочих и крестьян титулы упразднены. Романовы заставляли нас подчиняться своим законам, теперь мы заставим вас подчиняться нашим“». Каков злодей! Да нет, не злодей, а заурядный, не слишком умный человек, внезапно вознесенный на вершину власти.

Он родился в 1873 году в городе Черкассы, получил юридическое образование; в 1898 году вступил в РСДРП. В партийных кругах был фигурой неприметной и незначительной. В архивах Охранного отделения сохранилась справка о нем: «Урицкий Моисей Соломонович, мещанин гор. Черкасс, комиссионер по продаже леса… Не производит впечатления серьезного человека». Урицкий побывал в ссылке, затем эмигрировал и ко времени переворота вернулся в Россию. В марте 1918 года он стал председателем петроградской ЧК. По многим отзывам, Урицкий, в сравнении с преемниками, не отличался жестокостью, он даже признавался, что «много страдает на своем посту». Работа была нервная, и он стал пить, но порученное дело вел исправно. «Вид у него был чрезвычайно интеллигентный, — вспоминал Алданов, — сразу становилось ясно, что все вопросы, существующие, существовавшие и возможные в жизни, давно разрешены Урицким по самым передовым и интеллигентным брошюрам; вследствие этого повисло раз и навсегда на его лице туповато-ироническое самодовольное выражение… Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком». Мечта исполнилась: председатель ПЧК и комиссар внутренних дел Северной области получил власть над миллионами людей.

[1] Действие романа Виктора Гюго «Девяносто третий год» происходит в эпоху Великой французской революции.

При этих обстоятельствах обычные слабости маленького человека приобретали зловещий оттенок. Он хотел казаться незаурядным, любил щегольнуть своим всемогуществом. В разговоре с секретарем датского посольства похвалялся, что за один день подписал 23 смертных приговора. Другой пример хвастовства приведен в мемуарах В. П. Зубова: великий князь просил Урицкого удалить охрану из комнаты в коридор. Тот отказал, ссылаясь на возможность побега арестованных. Но побег невозможен, комната на четвертом этаже, к тому же на окнах железные решетки. «Кому вы это говорите? — отвечал Урицкий. — Я-то знаю! Раз я был заперт в такой маленькой комнате, что я не мог сделать больше пяти шагов, и два солдата со штыками на ружьях меня сторожили; я ходил как дикий зверь в клетке; каждый раз, как я подходил к одному из солдат, он направлял на меня штык. И я все-таки бежал». Вероятно, эта дикая история была придумана с ходу. «„Когда это было?“ — с ужасом спросил великий князь. „Да в благополучное царствование вашего братца, который сейчас находится в Тобольске“, — саркастически отвечал Урицкий». Да он второй Монте-Кристо, этот товарищ Урицкий!

То и дело вспоминается литература, романы Гюго, Дюма. Вот и Тэффи писала: «Так по плану трагического романа „Жизнь Каннегисера“ великому Автору нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо». Сюжет «Жизни Каннегисера» создан великим Автором в канонах романтизма, в нем есть злодей и мститель, самопожертвование и гибель поэта, обреченные заговорщики. Не случайно Алданов в рассказе о петербургской молодежи того времени обращается к стилистике романтизма: «Петербург в ту пору кишел заговорщиками… Конспирация у них была детская — по-детски серьезная и по-детски наивная… Они ничего не желали для себя, да и не

могли желать. При всей своей неопытности они, вероятно, понимали, что в борьбе против большевиков у них девять шансов из десяти попасть в лапы Чрезвычайной комиссии... Все они палачу и достались».

«Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет», — писала Ахматова, оглядываясь на прошлое с мудростью, которой сопутствовала великая печаль. В жизни Петербурга переплетение прошлого с будущим не редкость, но кто может разглядеть грядущее? В 1913 году Россию посетил знаменитый бельгийский поэт Эмиль Верхарн. В записях Александра Блока он назван крайним мистиком и «машиной тайновиденья»; грандиозные «бреды» Верхарна увлекали людей «серебряного века». Анна Ахматова много лет спустя вспоминала о его приезде и встрече с петербургскими литераторами. Казалось бы, что могло связывать этого мистика и эстета с вождями большевизма? Однако, придя к власти, они воздали Верхарну небывалые почести, даже памятник в Москве поставили (правда, на скорую руку, гипсовый). А в Петрограде увековечили с размахом, который не снился «тайновидцу»: в честь его пьесы «Зори» Каменноостровский проспект переименовали в улицу Красных Зорь, завод Эриксона в «Красную зарю», трудовую школу под Стрельной, а заодно и железнодорожную платформу в «Красные зори». В 1918 году Г. А. Князев записал в дневнике: «Что бы им уж и название города изменить бы: „Город Красных Зорь“!» Пьеса Верхарна, написанная в 1897—1898 годах, в начале XX века имела большой успех. Сейчас «Зорям» не собрать зрителей, но тогда в них ценили главное — манящий, угрожающий гул, явственный в происходившем на сцене. Этим гулом была чревата Европа на рубеже веков. «Зори» пленили большевистских вождей еще в эмигрантские времена. В России во время первой революции вышли сразу три перевода «Зорь». Действие в пьесе происходит в городе Оппадомань во время народного восстания против тирана, главные герои — народные трибуны Жак Эреньен и Эно; участие остальных персонажей в основном сводится к толчее на сцене и крикам: «Довольно! Долой!» и т. п. Послушаем монологи героев пьесы. Эреньен: «Я буду вашей душой, вы — моими руками, и мы озарим человечество величием таких завоеваний, что люди, увидев их во всем великолепии осуществления, объявят день нашей победы началом новой эры!»[1] За два десятилетия до объявления в России организованного массового террора герои Верхарна призывали к уничтожению классовых врагов. Эно: «Если мы хотим бороться с идеями, враждебными революции, то должны уничтожать тех людей, в ком эти идеи воплощены... Обдуманно и холодно каждый из нас наметит свою жертву». Трудный монолог, напоминает инструкцию карателям перед расправой, как это сыграть? Лучшую постановку «Зорь» в советской России осуществил Мейерхольд. В 1920 году в спектакле московского Государственного театра имени Всеволода Мейерхольда актеры по ходу действия бросали в зрительный зал листовки, зачитывали сводки с фронтов. Одно представление особенно удалось. «Было прочитано со сцены только что полученное в Москве и еще не опубликованное телеграфное сообщение о взятии Красной Армией Перекопского перешейка в Крыму,» — вспоминал Юрий Анненков. Тут зрители, без сомнения, пережили подлинный катарсис.

Мы зачастую не отличаем того, что для людей той эпохи было узнаваемой цитатой. В «Зорях» есть сцена прощания народа с Эреньеном, он пал в борьбе с тиранией. «Народное собрание. Эно стоит на трибуне — ею служит гробница, расположенная выше всех остальных... стоят, исполняя роль часовых, вооруженные рабочие». Это очень похоже на происходившее 1 сентября на Марсовом поле во время похорон Урицкого. «Никакого памятника, только гранитные глыбы и еловые ветви. Масса народа, рабочих... Броневики, расцвеченные знаменами».

---

[1] В начале 20-х гг. в советской прессе обсуждалось возможность двойного летоисчисления, наряду со старым ввести еще одно — со дня октябрьского переворота. Идея не новая, деятели Великой французской революции реформировали календарь, объявив началом новой эры 22 сентября 1792 г. — день провозглашения республики.

В пьесе Эно призывает уничтожить всех тех, в ком воплощены враждебные революции идеи, и толпа откликается яростными криками. На Марсовом поле звучали похожие речи. «Убит барчонком-юнкером наш дорогой друг, при одном имени которого дрожала от бешенства вся шваль Невского проспекта, — говорил Н. И. Бухарин. — Все знают, чем и кем был Урицкий для Красного Петрограда, который у буржуазии носил злобное название „Урции“». Зиновьев не отставал: «Есть все данные сообщить вам, что товарищ Урицкий убит англичанами... В Москве лежит, борясь со смертью, раненый лев рабоче-крестьянской революции товарищ Ленин!» Толпа вопила в ответ: «Позор! Смерть!» Над головами были полотнища с лозунгами: «За каждого нашего вождя тысячи ваших голов!», «Пуля в грудь всякому, кто враг рабочего класса!», «Смерть наемникам англо-французского капитала!» Среди возложенных на могилу венков был венок от Совета народного хозяйства с надписью: «Через трупы борцов вперед к коммунизму!», на ленте венка от союза банщиков и банщиц было начертано: «Белогвардейцы слишком долго оставались безнаказанными. Настал час расплаты!» Похороны Урицкого были «поставлены» по мотивам пьесы «Зори». Воплотилось то, к чему призывали герои Верхарна: в ночь после убийства председателя ПЧК в Петрограде казнили 500 человек. К реализованным цитатам относится и разрушение памятников. В «Зорях» статуя правителя рушится сама собой и его каменная голова разбивается у ног погибшего трибуна. В жизни все обстояло прозаичнее, приходилось ломать самим. Есть известная фотография: красноармеец возле головы снесенного в Москве памятника Александру II. Вряд ли малый с ружьем и цигаркой, привалившийся задом к голове царя-Освободителя, осознавал символический смысл этой сцены, но фотограф, несомненно, осознавал.

«Красная газета» писала в день похорон председателя ПЧК: «Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки

крови — больше крови, столько, сколько возможно». 5 сентября Совет Народных Комиссаров издал постановление о красном терроре. В Петрограде он начался в день гибели Урицкого. Президиум Петросовета приказал «организовать аресты среди буржуазии, офицерства... студенчества и чиновничества... обыскать и арестовать всех буржуа, англичан и французов». 1 сентября, когда на Марсовом поле звучали свирепые речи, Зиновьев обвинял англичан, в здание английского посольства уже входили чекисты. Посол Великобритании Бьюкенен и большинство служащих за несколько месяцев до этого покинули Россию и в посольстве осталось лишь несколько сотрудников. Вторжение чекистов напоминало бандитский налет. Морской атташе капитан Кроми встретил их выстрелами и был убит, а чекисты продолжали стрельбу. В суматохе палили в своих: начальник комиссаров и разведчиков ПЧК Геллер ранил следователя Бортновского, свои подстрелили комиссара Шейнкмана. Когда стрельба стихла, чекисты изъяли документы посольства и арестовали всех находившихся в здании. В Англии не забыли этой истории: там было проведено расследование по делу убийства Кроми, а в 1926 году в СССР прибыла миссия, «чтобы получить принадлежащие английскому правительству мебель и вещи, секвестированные советским правительством в 1918 году». Никаких доказательств причастности англичан к покушению на Урицкого не было найдено. Их не могло быть, Каннегисер действовал самостоятельно, в одиночку.

Но в Петрограде шли аресты его «сообщников». Взяли всех, чьи имена были в его записной книжке, многих жителей дома, в котором он пытался скрыться, и несколько сотен людей, никогда о нем не слышавших. Количество задержанных росло, но их недолго держали в тюрьмах. В первые несколько дней в городе было расстреляно 512 человек. «В Кронштадте, — свидетельствовал историк Мельгунов, — за одну ночь было расстреляно 400 чел<овек>. Во дворе были вырыты три большие ямы, 400 человек поставлены перед ними и расстреляны один за другим». Один из арестованных, генерал

А. А. Сиверс, впоследствии рассказывал, что в камере тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости было несколько англичан. «На третий день людей из камеры стали партиями куда-то уводить. Когда осталось лишь несколько человек, старший из англичан сказал: „Мы люди разных национальностей, друг друга не знаем, но у нас есть одно общее — молитва Отче Наш. Давайте же споем ее вместе!“ Молитву спели, обнялись и через полчаса были выведены на мол, врезающийся в Неву. Перед молом стояли баржи, в которые грузили людей для отправки в Кронштадт... Вдруг раздалась команда: „Те, кто не военные, отойдите в сторону!“» Многие из тех, кого отправляли в Кронштадт, были утоплены в Финском заливе — не случайно для перевозки узников были выбраны барки-«грязнухи» с раскрывающимся дном.

Английский священник Ломбард привел в письме на родину свидетельство своего знакомого, который жил на даче на берегу залива: в конце августа две барки с трюмами, заполненными офицерами, сбросили свой груз, и к берегу прибило множество трупов, «многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой». Официально красный террор был отменен 6 ноября, после решения IV Всероссийского съезда Советов об амнистии. В Петрограде с конца августа до начала ноября было убито около 1500 человек. Но казни продолжались и после амнистии. В ночь на 28 января 1919 года на соборной площади Петропавловской крепости были расстреляны арестованные во время красного террора великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Георгий Михайлович и Николай Михайлович, они пробыли в тюрьме почти пять месяцев. Перед смертью их пытали так, что троих к месту казни несли на руках. Их убили на площади перед собором, в котором покоились их предки, заровняли яму, и это место было забыто. Много лет миллионы людей проходили по площади на экскурсиях, где им рассказывали о Петре Великом, не подозревая, что у них под ногами лежат его потомки.

В 1918 году в Петрограде торжественно отмечали первую годовщину Октября.

Художественное оформление этого праздника вошло в историю советской культуры как образец новаторства, триумф нового монументального искусства. Дневник Г. А. Князева дает нам возможность заглянуть в те дни. 5 ноября 1918 года он записал: «Всюду стучат молотки, копошатся люди. Целые арки возведены, грандиозные щиты с картинами. Всюду столбы, обтянутые красной материей, переплетенные еловыми ветвями... Особенно стараются на Благовещенской площади перед Дворцом Труда. Трамвайный павильон посередине, давно превращенный в ретирадное [отхожее] место — не пройти иногда, такой дух распространяется от этого злополучного места — обратили в трибуну для ораторов. На крышу павильона устроили лестницу, на самой крыше смастерили площадку. Украшение приготовляют. Продезинфицировали бы сперва!» Ну что за человек Георгий Алексеевич Князев — город украшается, в канун праздника отменен «красный террор», а он все недоволен! Но кое-что впечатляет и этого ворчуна: «На Николаевской набережной целая картинная галерея. Все новые люди — рабочие и крестьяне. Куют железо, косят сено, подбрасывают уголь в топку. Люди нарисованы в натуральную величину и больше, это производит впечатление»

Однако для горожан главный интерес праздника заключался не в этих картинах и даже не в материи на столбах, их мысли были заняты другим. Дневниковые записи Князева о праздновании годовщины Октября можно назвать «Балладой о сайке». 29 октября он писал: «Большевики наобещали с три короба к праздникам, а теперь жмутся. И по фунту хлеба, и булку, и сахару к чаю обещали, а теперь от одного отперлись, другое сократили до минимума». 30 октября: «У нас на службе невыносимо холодно... Все забрались в переплетную, которая превращена в кухню. Жарят и пекут картофель... Только и разговоров, что о большевистской сайке. Легенды уже сплетаются вокруг этой злополучной, обещанной на праздник сайки!» 5 ноября: «Когда я подходил к дому, на телеге, груженной доверху, везли сайки. Значит, сайки будут давать!» И, наконец, 6-го: «Дали по сайке! Одну

мы тотчас же съели. „А вот придут немцы — каждый день по сайке есть будем!“ И много (многие) так рассуждают». Начало ноября в городе обычно холодное и ненастное, так было и в тот раз: 7 ноября с утра задул сильный ветер, весь день моросил дождь. Назавтра декорации обвисали драными клочьями, ветер покосил «триумфальные арки», разметал по земле еловые ветви. И все же праздник удался: было множество митингов, процессий, речей на площадях, а когда стемнело, то, по словам Князева, «было грандиозное шествие с факелами. Пожарные в медных касках и громадная толпа с сотнями пылающих факелов производила сильное впечатление». Александр Блок весь день провел в городе, а вечером записал: «*Праздник*... Никогда этого дня не забыть». Он еще различал в штормовом ветре музыку революции, но большинство оглушенных ее ревом вспоминали о сайке, о незабвенной сайке... Кто осудит несчастных сирот военного коммунизма?

К зиме жизнь в Петрограде стала не просто голоднее и тяжелее, это была совсем другая жизнь. Не раз казалось, что вот оно, дно, дальше падать некуда, но бездна раскрывалась глубже — и так без конца, до избавления в смерти. Через год после «Двенадцати» в записных книжках Блока часто повторяется слово «ужас», почти в каждой записи известие о чьей-то смерти. 14 декабря 1918 года он писал: «Все это предельно. На душе и в теле — невыразимо тяжко. Как будто погибаю. Мороз мучителен»; 20 декабря: «Ужас мороза. Жру — деньги плывут. Жизнь становится чудовищной, уродливой, бессмысленной...»; 31 декабря: «Слух о закрытии всех лавок (из лавки). Нет предметов первой необходимости. Что есть — сумасшедшая цена. — Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая от голоду. Светит одна ясная и большая звезда».

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

(Осип Мандельштам, 1918 год)

В марте 1919 года хлебные пайки для рабочих были урезаны до 1/8 фунта (50 грамм), а жалованье сократили на треть. Пролетариат ответил на это забастовкой, в которой участвовали 20 тысяч человек, и требованием увеличения пайков, права свободного въезда и выезда из города и отмены смертной казни. Тогда рабочий паек увеличили до 1/2 фунта, а зачинщиков и активистов «контрреволюционного восстания» расстреляли. 200 граммов хлеба не могли спасти от голода, и «победивший класс» находился не в лучшем положении, чем другие горожане. Петроградцы страдали от цинги и авитаминоза, а летом 1919 года в городе вспыхнули сразу две эпидемии — дизентерии и холеры. Больницы были переполнены, но какой прок в больницах, где нет лекарств? Юрий Анненков сохранил тогдашнее предписание врачам: «Доводится до сведения, что иода, иодоформа... препаратов мышьяка, абсол. спирта, сулемы, брома, хины, опия... аспирина и др. производных салициловой группы, тонина (валерьян. капли, дигиталис и др.), а также марли, ваты, бинтов и других перевязочных материалов, зубного порошка, туалетного мыла в городских и коммунальных аптеках в настоящее время не имеется». Иными словами, аптеки были пусты. «Из больницы возили трупы в гробах штабелем: три внизу поперек, два вверху вдоль, или в матрасных мешках, — вспоминал Виктор Шкловский. — Расправлять трупы было некому — хоронили скорченными». Похоронный отдел Петросовета наладил выдачу гробов напрокат: покойника доставляли на кладбище в гробу, а затем возвращали «прокатную вещь» в Петросовет. Эти нововведения и ставшие обыденными страшные сцены — приметы новой, немыслимой до того жизни. «Когда отпевали маленького сынишку нашей сторожихи, — записал в феврале 1919 года Г. А. Князев, — дьякон все кадил, кадил около аналоя, где стояла кутья (отпевали сразу нескольких покойников), потом встал на колени и, как бы продолжая обряд, стал отбавлять с каждой тарелочки рис. Набрал полную чашку и унес в алтарь. Возмущению погребавших не было границ». В литературе XIX века есть немало трагических страниц о смерти детей, но

сцены отпевания, при которой родители следят за тарелкой с кутьей, нет ни у Достоевского, ни у Некрасова. Об этом запредельном мире со временем расскажут Варлам Шаламов и Александр Солженицын.

В мае 1919 года, когда в городе царили голод и мор, к Петрограду подошли войска генерала Юденича. Позднее советские историки писали, что первыми на борьбу с белогвардейцами выступили петроградские коммунисты, — они действительно выступили, но в основном в составе коммунистических заградительных отрядов, которые шли за красноармейцами, гнали их в атаку, а при попытке отступления стреляли в спину. План создания заградительных отрядов (прежде русская армия такого не знала) принадлежал Троцкому и был горячо одобрен Лениным. В конце мая в Петрограде было введено военное положение и началась мобилизация горожан на борьбу с Юденичем. Основную массу мобилизованных составили солдаты-дезертиры, которые в 1917 году поддержали большевиков, чтобы избежать отправки на фронт; не случайно созданные тогда Советы прозвали «Советами рабочих и дезертирских депутатов». Теперь дезертирам под угрозой расстрела было приказано явиться на призывные пункты, и в Петроградским военном округе набралось около 60 тысяч таких призывников. Кроме того, на борьбу с Юденичем призвали рабочих, служащих, студентов. Какие это были солдаты — истощенные, с незаживающими ранами от авитаминоза, а главное, без всякого желания защищать постылую власть! Мобилизовали и кадровых офицеров-«военспецов», которые оказались в безвыходном положении: семья мобилизованного офицера переходила в разряд заложников, и при малейшем подозрении в саботаже, а тем более в измене «военспеца», его семью казнили. В марте 1919 года по приказу Ленина были расстреляны жены и «взрослые члены семей» офицеров 86-го пехотного полка, который перешел к белым. Ленин не уточнил в приказе, что значит «взрослые члены семьи», поэтому убивали и подростков.

Оборону Петрограда возглавил председатель Совета народных комиссаров Союза коммун Северной области Григорий Евсеевич Зиновьев. Пора поговорить об этом соратнике Ленина. Он был влиятельным человеком в партии, например, в августе 1917 года на VI съезде РСДРП(б) Зиновьев был избран в ЦК наибольшим, после Ленина, числом голосов, а после переворота оказался обладателем огромной власти: в декабре 1917 года он стал председателем Петросовета, а с апреля 1918 года до февраля 1919-го — был полновластным хозяином северо-западных областей России. Он возглавил Союз коммун Северной области, в который вошли Петроградская, Новгородская, Псковская, Архангельская, Северо-Двинская, Череповецкая, Вологодская и Олонецкая губернии. «Сейчас трудно себе представить, — вспоминала Нина Берберова, — какую ни с чем не сравнимую власть имел этот человек... В „Петроградской правде“ каждое утро Зиновьев писал: „Я объявляю“, „Я приказываю“, „Я запрещаю“, „Я буду карать безжалостно“, „Я не потерплю“». За десять лет до этого Григорий Евсеевич тоже писал официальные бумаги, но не приказы, а прошения, и совсем в ином стиле: «Имею честь вновь покорнейше просить Ваше Превосходительство, — взывал он в 1908 году к начальнику Охранного отделения, — сделать распоряжение о моем освобождении или допросить меня возможно скорее. Первый же допрос, на котором я готов дать все показания, несомненно выяснит для Вашего Превосходительства полную мою невиновность». Он заискивал, ссылался на слабость здоровья, обещал всяческое содействие, и после трех месяцев тюрьмы был освобожден и отправлен в родной Елисаветград под надзор полиции. Кому он был опасен, эсдековский писака, жалкий щелкопер! Затем в его жизни была эмиграция, совместные с Лениным сочинения и совместное возвращение в Россию, а в июле 1917 года после неудачной попытки переворота в Петрограде они с Ильичем отсиживались в Разливе. Но очень скоро судьба столицы, а потом и огромных территорий бывшей империи оказались в его руках! Юрий Анненков вспоминал, что «Зиновьев, приехавший из эмиграции худым, как жердь, так откормился и ожирел в голодные годы революции, что был даже прозван Ромовой

бабкой». Современники были на редкость единодушны в его оценке, Г. А. Князев отмечал в дневнике: «Все ненавидят Зиновьева. За его кровожадность, фразерство, я бы сказал, пустозвонство, если бы не было пролито столько крови при его участии». Действительно, с именем Зиновьева были связаны самые мрачные времена жизни города.

«Любопытно видеть, — писала в 1919 году Зинаида Гиппиус, — как „следует“ по стогнам града „начальник Северной Коммуны“. Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газете, выходит необыкновенно похожим на пышную, старую тетку... Когда едет в своем автомобиле — открытом, — то возвышается на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без нее — никуда, он трус первой руки». В сентябре 1918 года Зиновьев предлагал вооружить рабочих для самосуда над буржуазией, позже грозил заколотить Петроград в гроб, но наступление Юденича весной 1919 года ввергло питерского диктатора в панику, и он решил «эвакуировать Петроград» (!), то есть его промышленность, истребить всю петроградскую буржуазию и затопить Балтийский флот. Черноморский флот был уничтожен по приказу Ленина в июне 1918 года, несколько раньше было решено затопить Балтийский флот, но командующий морскими силами Балтийского флота А. М. Щастный нарушил приказ из Москвы, привел корабли из Гельсингфорса в Кронштадт и был за это расстрелян. Стремление вождей покончить с российским флотом наводило современников на мысль о том, что большевики выполняли условие тайного соглашения с немецкими властями, которое они заключили в обмен на деньги.

В мае 1919 года Зиновьев отдал приказ подготовить к затоплению бо́льшую часть судов Балтийского флота, а оставшиеся приспособить под плавучие батареи, но из Москвы пришло распоряжение не топить, а срочно ремонтировать корабли. На подмогу Зиновьеву прибыли И. В. Сталин и представители руководства ВЧК Я. Х. Петерс и М. С. Кедров, и при их содействии был реализован план питерского стратега об истреблении буржуазии. 12 июня газета «Правда» сообщала, что в Петрограде «арестовано и расстреляно большое количество лиц, изобличенных и частью сознавшихся в участии в белогвардейских организациях военного характера». В тот же день Г. А. Князев записал в дневнике: «Страшные дни. Голод. Болезни. Убийства. Расстрелы. У нашего сотрудника расстрелян 29-летний сын. Он был флотским офицером в Кронштадте... В Москве и Петербурге массовые расстрелы. Передают, что расстреливают китайцы. За каждого убитого они получают 350 руб. и одежду. Участились грабежи». Судя по масштабам террора, палачи должны были разбогатеть, хотя человеческая жизнь в то время стоила дешевле стоптанных башмаков: на рынке можно было сторговать поношенные туфли за 500 рублей, а фунт ржаной муки — за 200.

В конце августа войска Юденича отошли от Петрограда к эстонской границе, но через месяц возобновили наступление. 15 октября Политбюро ЦК постановило отстоять «красный» Петроград любой ценой, Ленин потребовал защищать город до последней капли крови. На следующий день З. Н. Гиппиус записала: «... взято [Юденичем] Красное Село, Гатчина, красноармейцы продолжают бежать. В ночь сегодня мобилизуют всех рабочих, заводы (оставшиеся) закрываются. Зиновьев вопит не своим голосом, чтобы „опомнились“, не драли, и что „никаких танек (танков. — *Е. И.*) нет“. Все равно дерут». Тех, кто мог держать оружие, гнали на фронт, а оставшихся в городе заставили рыть окопы и строить баррикады. «Сумасшествие с баррикадами продолжается. Центр города еще разрывают. Укрепили... цирк Чинизелли! На стройку баррикад хватают и гонят всех, без различия пола и возраста, устраивая облавы в трамваях и на квартирах. Да, этого еще никогда не было: казенные баррикады!» — писала Гиппиус 4 ноября. Окопы и баррикады не пригодились, потому что в начале декабря отряды Юденича отступили на территорию Эстонии и по приказу эстонских властей были там разоружены, а «красный Петроград» был награжден за стойкость орденом Красного Знамени и Почетным революционным Красным знаменем.

На фронте воевали с Юденичем, в городе шли непрерывные обыски, и газеты сообщали, что в квартирах буржуазии были обнаружены целые арсеналы оружия. На самом деле целью обысков было выявление потенциальных противников власти, которые надеялись на приход белогвардейцев, — таких людей арестовывали и расстреливали. Газеты публиковали расстрельные списки, в которых сообщалось о преступлениях казненных, например: «Чеховской, б. дворянин, поляк, был против коммунистов, угрожал последним отплатить, когда придут белые». Жертвами этой кампании стали тысячи петроградцев, но размах обысков все увеличивался, потому что их второй целью было пополнение государственных вещевых складов. Заместитель председателя ВЧК Я. Х. Петерс составил инструкцию, согласно которой при обысках запрещалось конфисковывать продукты и продовольственные карточки, но оголодавшие «сыщики» прихватывали и карточки, и провизию, и все, что им приглянулось.

Массовая кампания обысков требовала тысяч исполнителей, и «сыщиками» становились рабочие, барышни из служащих, бабы из комитетов домовой бедноты и даже дети. У академика В. И. Вернадского обыск проводили «вооруженные солдаты и два отвратительных типа — один коммунист на вид, по „форме“, другой полуинтеллигент, должно быть, бывший студент или гимназист, идейный работник... Количество книг привело их в изумление и некоторое негодование... Затем обыск у жены, дочери — там вещи, и они были в своей сфере. Так и видно, что это люди, которые понимают толк в вещах, мелкие стяжатели». Но стоило ли обвинять рядовых исполнителей, если сама Чрезвычайная Комиссия была не только карательной, но и мародерской организацией? У петроградской ЧК был свой счет в Народном банке, на который поступали конфискованные у осужденных деньги и выручка за продажу их имущества; рядовые чекисты не брезговали торговать одеждой и обувью казненных и, случалось, предлагали выкупить все это их родственникам. «Чиновники чрезвычайки производят впечатление низменной среды — разговоры о наживе, идет оценка вещей,

точно в лавке старьевщика», — вспоминал В. И. Вернадский. Руководство петроградской ЧК неоднократно проводило чистки в рядах своих сотрудников, самых заворовавшихся даже расстреливали, но на их место приходили такие же кадры.

Конфискованное у горожан поступало на склады собеса, а затем происходило перераспределение: на предприятиях и в организациях выдавали ордера на вещи, и обладатели таких ордеров шли на склад. Многие мемуаристы вспоминали трагикомические коллизии на складах собеса: просителям доставалась обувь не по размеру, шубы не по росту, красные чулки (добытые, видно, в бывших увеселительных заведениях), драные ушанки, шляпы со страусовыми перьями — словно закончилось действо «Дореволюционный Петроград», и поношенный хлам его статистов свалили в общую кучу. Но отнюдь не все конфискованное доходило до складов. «За мной ухаживает комиссар, — сообщала в письме 1919 года петроградская барышня. — Он занимает буржуазную квартиру, обещает одеть меня как картинку, катает меня на автомобиле. На квартире у него чего только нет: несколько пар сапог с лакированными голенищами, разные туфли, каракулевое пальто, рис, масло, хлеб. Он говорит, чтобы я торговала на рынке материями, которых у него черт знает сколько». Так что и в изглоданном смертью Петрограде можно было неплохо жить («Ах ты, Катя, моя Катя толстоморденькая!»).

Но что эти комиссарские сокровища, пустяк, мелочишка! Вещи поинтереснее циркулировали в стране таинственными путями, которые были известны только избранным. В 1919 году в Симбирске была арестована жена царского министра иностранных дел Анна Борисовна Сазонова. «Мои переполненные французские сундуки да английские чемоданы, — вспоминала она, — были по уводе меня с квартиры нагружены на подводы... и вывезены как „народное достояние“ (!!), чтобы попасть не в народные „пролетарские“, а в самые хищные „комиссарские“ руки. Много позднее в Москве я раз на углу Садовой и Кудринской площади увидала в руках шикарной

„совкомши“ один из моих прелестных парижских зонтиков». У всех видных партийцев были собственные вещевые склады. В 1923 году Ю. П. Анненков написал портрет Троцкого, и довольный председатель Реввоенсовета решил вознаградить мастера: «Он повел меня в особую комнату, служившую складом, полным всевозможных гардеробных подробностей: шубы, лисьи дохи, барашковые шапки, меховые варежки и пр.». Все это, по словам Троцкого, было подарками и подношениями, конечно, он не сам добывал эти шубы, но дарители сняли их явно не со своих плеч. Такие личные склады сохранялись десятилетиями, в 1937 году при аресте главы НКВД Г. Г. Ягоды во время обыска у него среди прочего нашли слежавшиеся, полуистлевшие шубы.

Наряду с обысками многим горожанам угрожала еще одна беда — уплотнение квартир. 23 июля 1919 года Александр Блок записал: «Руки на себя наложить. — Воинская повинность. Уплотнение квартиры». На фронт его не взяли, но угроза уплотнения сохранялась несколько месяцев, в его квартиру собирались подселить матросов. Этого не случилось только благодаря влиятельным заступникам, и после их хлопот Зиновьев начертал на прошении Блока: «Прошу оставить квартиру Ал. Блока и не вселять никого». Между тем являлись кандидаты на подселение: «Вечером пришел матрос с подругой, смотрел „Двенадцать“ и решил освободить квартиру», — так революционная поэма сослужила автору добрую службу. Но тем, кто не имел никаких революционных заслуг, что было делать, в какие двери стучаться? Заметим, что в городе не было жилищной проблемы, здесь пустовало множество квартир, и уплотнение было лишь еще одним способом притеснения петроградской «буржуазии». Беззащитные люди терялись в жестокой бессмыслице происходящего, но в этой бессмыслице была система, смысл которой точно определил В. И. Вернадский: «Большевизм держится расстройством жизни».

В 1919 году зима пришла рано, в ноябре начались сильные морозы, и в нетопленых квартирах стоял лютый холод. Дрова стоили баснословно дорого, и купить их можно было лишь по случаю, поэтому для обогрева жгли все: мебель, паркет, книги. 31 декабря 1919 года Блок записал: «Символический поступок: в советский Новый Год я сломал конторку Менделеева», — конторка его тестя Д. И. Менделеева была сломана на дрова. Городские власти разрешили разбирать на дрова пустующие деревянные дома, а деревянные торцы мостовой граждане растаскивали без спросу, и улицы центра города, с их паркетными мостовыми, превратились в изрытые ямами дороги. Зимой петроградские дома походили на склепы с заживо погребенными людьми, в них не было электрического света, «из военных соображений» то и дело отключалась телефонная связь, вышли из строя водопровод и канализация. «Все собирались в кухни; в остальных комнатах развелись сталактиты», — вспоминал Виктор Шкловский.

В петроградских квартирах появились кустарные печки — «буржуйки» и «пролетарки»: «буржуйки» складывали из кирпичей, а «пролетарки» были жестяными. Давно стали редкостью самые необходимые вещи, не было керосина, свечей, соли, сахара; коробка спичек стоила в ноябре 1919 года 75 рублей, сажень дров — 30 тысяч, фунт масла — 3 тысячи. Хлеб, который выдавали по карточкам, был двух видов: сухой, крошащийся, с примесью соломы или горьковатый, вязкий, напоминавший глину. Все в перевернутом мире причиняло боль: ледяные стены квартир, замерзшие лужи воды возле лопнувших батарей, жирный налет сажи на мебели, изменились даже самые привычные вещи. Г. А. Князев писал: «В будущем (историкам и бытописателям) нужно отметить очень плохой сорт спичек нашего времени. Бесконечное чирканье во время заседаний отвлекает внимание, люди раздражаются... в домашнем обиходе создаются вследствие этого семейные неприятности. В особенности теперь, когда спички отсутствуют в продаже и в буквальном смысле каждая спичка дорога»[1].

[1] Качество спичек не улучшилось и позже. В 1926 г. «Красная газета» сообщала, что «ввиду нареканий на выпуск в продажу бракованных спичек Спичтрест решил выпускать на рынок бракованные спички с особым *этикетом* (курсив мой. — *Е. И.*) и по сниженной продажной цене».

В 1919 году, по словам Виктора Шкловского, в Петрограде «ели странные вещи: мороженую картошку и гнилой турнепс, и сельдей, у которых нужно было отрезать хвост и голову, чтобы не так пахли... Ели овес с шелухой и конину, уже мягкую от разложения...» Жаренная на касторке конина тогда считалась лакомством. В декабре 1919 года Г. А. Князев записал в дневнике свое обычное меню: «Утренний завтрак — навар из овса с кусочком хлеба. Завтрак — навар из овсянки без хлеба. Обед — совдеповский суп, полтарелки пшенной кашицы и навар из овса с кусочком хлеба, луком и солью. Ужин — остатки пшенной каши и навар из овса. Овес для нас сейчас все. Я уже давно не пью чаю, ничего — все заменяет навар из овса».

Граждане ели овес, а петроградские лошади дохли от голода. Конские трупы на улицах — характерный штрих городского пейзажа 1919 года, и эта падаль тоже шла в пищу. Поначалу люди стеснялись отрезать ее куски у всех на виду и выходили на промысел ночью, но вскоре это занятие стало привычным и даже приобрело упорядоченность: «На Николаевской улице вчера оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только», — записала в ноябре 1919 года З. Н. Гиппиус. Поэт Василий Князев вспоминал, как его родственник-красноармеец «в свободное от службы время ходил рыться в помойках: если находил картофельную шелуху, селедочные или вобловые головы — тут же отправлял в рот. Ему приходилось сражаться с одичавшими собаками. Как-то он увидел гниющий лошадиный труп. Он, несмотря на ужасающее зловоние, отрезал от падали кусок и понес в казарму».

По свидетельству В. П. Семенова-Тян-Шанского, к весне 1920 года в Петрограде исчезли голуби, «которые были все поголовно съедены населением. Раз появились в изобилии грачи, свившие себе гнезда на деревьях сада Академии Художеств и других, но вскоре исчезли, вероятно, тоже в целях питания населения, а гнезда их были разорены... профессор зоологии Стрельников с другими гражданами съел только что подохшего от голода в Зоологическом саду крокодила и говорил, что мясо его было очень вкусно, напоминает осетрину». В городе давно шептались о том, что зверей Зоологического сада кормят телами расстрелянных, но теперь и им пришел конец. Зловещий слух о зверях возник не на пустом месте, возможно, эта идея мелькала в умах градоправителей. Однажды А. М. Горький присутствовал на заседании Петросовета, на котором зашел разговор о положении Зоологического сада, и на его вопрос, чем кормить зверей, Зиновьев ответил — «буржуями». Городские слухи того времени неправдоподобно, фантастически страшны. Когда Г. А. Князев усомнился в одном из них, его собеседник возразил: «Но ведь то, что кругом происходит, превосходит самую больную фантазию, так что и не верить нет особых оснований».

Люди культуры

Культурная политика большевиков. Горький и «Всемирная литература». «Пайколовство». Дворец Искусств. Скандал на банкете. Литературные вечера. «Фармацевты» и «акушерки». Борис Каплун

В 1917 году в Петрограде вышла книжка К. И. Чуковского «Ваня и крокодил. Поэма для маленьких детей»[1], а в 1920 году Чуковский задумал ее продолжение: «Придумал сюжет продолжения своего „Крокодила“, — писал он в дневнике. — Такой: звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго. И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди — в Зоологическом саду, — а звери ходят и щекочут их тросточками. Ваня Васильчиков спасает их». Конечно, Корней Иванович не собирался писать памфлет, и в княжеской фамилии спасителя людей Вани Васильчикова не было скрытой фронды (так звали героя первой книжки), но сюжет этой мрачной сказки весьма походил на реальность.

И все же петроградская жизнь не вмещается в рамки повествования о людях, мучимых победившим зверьем, и можно верить поэтессе Ирине Одоевцевой, которая вспоминала «трагические, страшные и прекрасные, несмотря на все ужасы, первые пореволюционные годы». В определении «страшные и прекрасные» соединились две данности — страшное время и замечательные люди, имена которых вошли в историю русской науки и культуры. Петроград оставался культурным центром страны, об этом свидетельствовала статистика: в 1920 году государство учредило «академические» пайки для ученых и деятелей культуры, и в Петрограде их получали 2,5 тысяч человек, а во всех других городах России в общей сложности меньше 2 тысяч.

Но особые «академические» пайки не свидетельствовали об особом уважении или доверии власти к научной интеллигенции, да и как ей было доверять, если эти господа не принимали нового государственного устройства и не скрывали этого. Чего стоили, например, публичные лекции академика И. П. Павлова, прочитанные весной 1918 года в Петрограде: он утверждал, что революция не дала России подлинной свободы, а лишь высвободила худшие человеческие инстинкты. В ЧК было известно, что многие видные петроградские ученые, в их числе академики В. И. Вернадский и С.Ф. Ольденбург, были деятелями партии кадетов и что их сыновья сражаются в белой армии. Однако знания научных «спецов» могли пригодиться новому государству, поэтому «спецов» стоило сохранить.

Во времена военного коммунизма научная деятельность в Петрограде замерла, не было элементарных условий для экспериментальной работы, и многие ученые приходили к мысли о неизбежности эмиграции. В 1920 году В. И. Вернадский писал в дневнике: «Сейчас на поверхности все для сволочи — правой, и левой, и безразличной... Рядом с этим как-то чувствуется, что эти, дающие сейчас тон всей жизни страны, люди не составляют ее всю и что Россия подымется. Я это тоже твердо знаю и чувствую — но тяжело жить в этой обстановке. Хочется уехать скорее в Англию или Америку и отдаться всецело научной работе». В 1920 году академик И. П. Павлов обратился в Совнарком с просьбой о выезде за границу, и хотя большевистские вожди не были сведущи в науке, знаменитые имена они знали, поэтому Совнарком поручил Зиновьеву обеспечить ученого всем необходимым. Зиновьев рас-

[1] В следующих изданиях стихотворная сказка Чуковского называлась «Крокодил».

порядился выдавать Павлову не только академический, но еще и чекистский паек! Об этом пайке ходили легенды, по слухам, в него входила даже икра, и Зиновьев был уверен, что после таких щедрот Павлов наверняка раздумает уезжать. Управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич с удивлением читал ответ академика: «Теперь скажите сами, можно ли... не теряя уважения к себе, согласиться, пользуясь случайными условиями, на получение только себе жизни, *„обеспеченности во всем, что только ни пожелаю, чтобы не чувствовать в моей жизни никаких недостатков“ (выражение из вашего письма)*? Пусть бы я был свободен от ночных обысков (таких у меня было три за последнее время), пусть я был бы спокоен в отношении насильственного вселения в мою квартиру и т. д. и т. п., но перед моими глазами... стояли бы жизни со всем этим моих близких. И как бы я мог при этом заниматься моим научным делом? Вот почему и после вашего письма я прошу вас поддержать мою просьбу. Только в другой обстановке, вдали, я надеюсь отвлечься, забыться и больше сосредоточиться в спокойной и все еще меня привлекающей области научного труда».

С ходатайством о разрешении Павлову выехать к Ленину обратился шведский Красный Крест, и дело стало принимать неприятный оборот: нобелевский лауреат рвался (несмотря на чекистский паек!) уехать из советской России, компрометируя тем самым власть в глазах прогрессивной общественности Запада. А большевики сильно рассчитывали на поддержку этой самой общественности в подготовке мировой революции, поэтому пришлось пойти на расходы: 24 января 1921 года Ленин подписал постановление о создании особых условий для работы Павлова и его сотрудников, и его лабораториям были выделены значительные средства. «Кроме Павлова, об ученых у нас персональных запросов из-за границы не было», — с облегчением признавался нарком просвещения А. В. Луначарский. С другими учеными они не миндальничали, научные заслуги не имели решающего значения для ВЧК: академик В. И. Вернадский в 1921 году был

арестован по подозрению в участии в «заговоре Таганцева», его удалось спасти лишь благодаря ходатайствам Академии наук и ряда влиятельных людей, а арестованный по тому же подозрению известный химик М. М. Тихвинский был расстрелян. За М. М. Тихвинского тоже ходатайствовали, и Ленин откликнулся на эти прошения запиской: «Тихвинский не „случайно“ арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга»[1].

Вопросами культуры в советском правительстве ведал нарком просвещения А. В. Луначарский, который имел репутацию самого культурного из большевистских деятелей, он сочинял драмы, трагедии и был теоретиком «пролетарского искусства». Илья Эренбург вспоминал Луначарского эмигрантских времен: «Это было давно, в те счастливые времена, когда совнарком мирно обсуждал никому не нужные резолюции в плохоньких кафе „авеню Доклер“. Луначарский тогда был не наркомпросом, но лишь трудолюбивым корреспондентом закрытого им впоследствии „Дня“... В часы досуга он уж тогда разрабатывал проекты насаждения пролетарской культуры». Луначарский читал лекции в партийной школе в Лонжюмо, и его слушатели делились впечатлениями: «Нам товарищ Луначарский все разъяснил: „Вот Рембрандт, к примеру. Свет и тень — это борьба труда с капиталом“». Он в том же духе толковал литературу, писал о классовой борьбе в музыке, о «пролетарском» исполнении Баха, но человек был не вредный, а по сравнению с соратниками даже приятный. К. И. Чуковский записал в феврале 1918 года: «У Луначарского... Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нб., сделать одолжение — для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо — источающее на всех благодать». В кабинете наркома висел оставшийся от прежних времен портрет Николая II в золоченой раме, который он не снял и не занавесил «из либерализма», а через несколько лет

[1] Ленин и здесь следовал примеру деятелей французской революции: в 1794 г. великий химик А. Л. Лавуазье был казнен по приговору трибунала как бывший откупщик и «враг народа».

зал издательства «Всемирная литература» украсил портрет самого Анатолия Васильевича в золоченой раме. После революции многие надеялись, что Луначарский будет радеть об охране и развитии культуры, но наиболее дальновидные современники думали иначе — в 1921 году Евгений Замятин опубликовал статью о культурной политике новой власти. Он назвал ее «Я боюсь» и закончил словами: «... я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». Мертвящее убожество воззрений партийных теоретиков со временем привело к катастрофическому упадку культуры.

Под стать теоретикам были практики, ведавшие делами культуры; по словам Ф. И. Шаляпина, «самая страшная, может быть, черта режима была та, что в большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство, с его нестерпимой узостью и тупой самоуверенностью. Кажется, это был генеральный смотр всем персонажам обличительной и сатирической русской литературы от Фонвизина до Зощенко». Персонажи сатирической литературы стали распорядителями и хозяевами новой жизни. Разве Зиновьев не был персонажем М. Е. Салтыкова-Щедрина? В конце 1917 года этот градоначальник заявил: «Нам буржуазная статистика не нужна» и поставил управлять государственным Отделением статистики торговли и промышленности ветеринара, а тот набрал штат из дворников и уличных девиц. Через пару лет Высшему Совету Народного Хозяйства (ВСНХ) потребовались статистические данные за прежние годы, в Петроград пришел запрос, и оказалось, что за это время все накопленные десятилетиями данные были уничтожены или потеряны.

Среди комиссаров, назначенных надзирать за культурой, встречались удивительные персонажи: один из них прервал литературный вечер в Тенишевском училище после доклада историка В. Н. Сперанского о Достоевском и потребовал адрес «контрреволюционера» Достоевского. Услышав в ответ: «Митрофаньевское кладбище», он не смутился, а лишь подосадовал. Персонажи с комиссарскими мандатами предложили сотрудникам Военно-морского архива сжечь документы, чтобы не возиться

с их перевозкой в другое помещение. «Кто распоряжается нашей жизнью и всеми накопленными с таким трудом культурными ценностями»? — в отчаянии восклицал Г. А. Князев. Советская жизнь породила особое явление: появились сообщества людей, целью жизни которых стало охранение культуры. Культура оказалась самым действенным противовесом идеологии, она воспитывала и давала нравственные ориентиры, поэтому государство видело в этих сообществах врагов, и подвижники культуры зачастую становились ее мучениками. «Учение о культуре» передавалось из поколения в поколение, как некогда христианское учение, и для многих оно подменило религию. Такое понимание культуры сформировалось в эпоху военного коммунизма, когда восторжествовало жестокое варварство. 31 августа 1918 года, на другой день после убийства Урицкого, когда шли аресты и расстрелы заложников, Г. А. Князев записал в дневнике: «Сегодня, в наиболее критический день нашего бытия, архивные работники справляли подлинный праздник культуры. При Археологическом институте открылись архивные курсы... Мы, может быть, все обреченные, но работаем не покладая рук. Все наше спасение в работе».

В Петрограде было известно, что зачастую связанные с культурой вопросы решались не в Смольном, а в квартире дома 23 по Кронверкскому проспекту, в которой жил Алексей Максимович Горький. В этой квартире было светло и тепло, здесь не знали нужды и сытно ели, хозяин коллекционировал китайскую скульптуру и ковры, за гроши скупая их у голодных владельцев. «У Горького на Кронверкском топилась ванна — сказочная роскошь — другой ванны не было на десять километров в окружности», — вспоминал К. И. Чуковский. К Горькому запросто заезжал Зиновьев и другие важные персоны, в этот оазис устремлялись многие литераторы. При новой власти Алексей Максимович стал очень влиятельной личностью, все знали о его близости к вождям, о дружбе с самим Лениным, и к нему шли просители, умоляя вызволить из ЧК мужа, сына, брата... Горький наводил справки, ходатай-

ствовал, и нередко его заступничество спасало людей. Существуют легенды о ходатайстве Горького за расстрелянных в Петрограде великих князей и за поэта Гумилева, они подозрительно похожи: Горький ездил в Москву, заручился согласием Ленина на помилование, но московские чекисты сообщили об этом в Питер, и к его возвращению несчастные были расстреляны. Вероятно, эти легенды исходили от самого Горького. В среде петроградской литературной элиты он был человеком чуждым: давно и прочно связанный с большевиками, Горький, по словам культуролога Вячеслава Всеволодовича Иванова, «принадлежал к числу тех очень богатых русских людей, без денежной помощи которых большевики и сам Ленин едва ли легко выдержали бы испытания времени между двух революций» (1905 и 1917 годов. — *Е. И.*). Со временем его слава потускнела, литература жила под другими звездами, и Горький с ревнивой завистью относился к новым властителям дум — дело обычное, вот только время было необычным. Победа большевиков дала ему возможность руководить культурой по своему разумению. «На несколько лет, — писал Замятин, — он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции. Эти работы походили на сооружение Вавилонской башни...»

«Вавилонской башней» Горького стало созданное им в 1918 году издательство «Всемирная литература», которое должно было в кратчайший срок обеспечить пролетариат сокровищами мировой литературы: за три года планировалось издать 800 томов произведений классиков всех времен и народов. Другой целью этого грандиозного предприятия было желание Горького привлечь «старую интеллигенцию» к сотрудничеству с советской властью. Благодаря «Всемирной литературе» многие писатели и переводчики получили работу, а с нею пайки и гонорары в самое тяжелое, голодное время, но была и оборотная сторона: «Всемирная литература» стала первым опытом привлечения писателей к службе новому государству, превращения творцов в чиновников-исполнителей. «Да, это

одна из причин молчания подлинной литературы... — писал Замятин в статье „Я боюсь“. — В наши дни — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во „Всемирной литературе“, несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве». Трагическое положение привлеченного к чиновничьей службе писателя отразилось в записях Александра Блока: «Тружусь над протоколами секции... О!» (29 сентября 1918 г.); «Большое организационное заседание всех секций... Отчаянье, головная боль; я не чиновник, а писатель» (2 октября 1918 г.). Служба не оставляла времени не только для стихов, но и для «снов порядочных. Все снится служба, телефоны, казенные бумаги и т. д.».

Александр Блок был членом редакционной коллегии издательства, в которой Горький собрал известных литераторов и филологов, но главное слово всегда оставалось за ним. Воззрения пролетарского классика во многом совпадали с теорией «пролетарского искусства» Луначарского, и он учил знаменитых писателей, как следует писать. Однажды он отверг статью Блока, написанную «не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому... Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать надо иначе... тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось измученное прекрасное лицо Блока», — записал К. И. Чуковский. Другим испытанием для сотрудников «Всемирной литературы» были рассуждения и рассказы этого друга Ленина и завсегдатая Смольного, его некоторые «историйки» сохранились в записях К. И. Чуковского. Горький часто рассуждал о крестьянах: «Я недавно был на съезде деревенской бедноты — десять тысяч морд — деревня и город должны непременно столкнуться... здесь как бы две расы», или: «Мужик, извините меня, все еще не человек. Он не обещает быть таковым скоро». Это говорилось во времена, когда деревню вымаривали продразверстками, а слушали его люди из «старой интеллигенции», воспитанные в сочувствии к мужику и тяжелой крестьянской доле.

В ноябре 1919 года, в пору повальных обысков и расстрелов, Горький поделился своим открытием: «Ведь вот

сейчас — оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее и сытнее!», а в июне 1921 года задушевно повествовал: «Я знаю, что и в Чрезвычайке есть герои. Носит в известке костей своих — любовь к человеку, а должен убивать. У него морда пятнами идет, а должен... Недавно тут сидел человек и слушал рассказы чек<иста>. Тот похвалялся черт знает каким душегубством. И вдруг улыбнулся. Все-таки улыбнулся. Тот человек обрадовался: „Видите, даже чек<ист> улыбнулся. Значит, и в нем человеческое“». Чего хотел этот ломаный человек, неужели он думал, что его цинизм примирит интеллигенцию с властью? А с другой стороны, деваться ей было некуда, так что пусть принимает нас такими, какие мы есть, — «черненькими».

Горький любил обращаться со своими «историйками» к Александру Блоку, и трудно сказать, чего в этом было больше — злого юродства или бессознательной мести поэту, слава которого превзошла его собственную. 3 декабря 1919 года Чуковский записал, как «Горький *с просветленным и сконфуженным лицом* (курсив мой. — *Е. И.*) сказал Блоку: „Александр Александрович! Сын рассказывает — послушайте“. Далее следовал рассказ: в Москве женщина приютила белого офицера, влюбилась в него и по его просьбе позвала к себе знакомых офицеров. „Сошлось человек двадцать, он сделал им доклад о положении дел у Деникина, а потом вынул револьвер — руки вверх — и всех арестовал и доставил начальству. Оказывается, он и вправду б<ывший> деникинец, теперь давно перешел на сторону Сов. Вл. и вот теперь занимается спортом. Недурно, а? Неглупо, не правда ли?“» К концу жизни Александр Блок не мог выносить присутствия Горького.

А бумажная круговерть «Всемирной литературы» принесла весьма скромные результаты: ко времени отъезда Горького из России осенью 1921 года было издано всего 53 тома серии. Уже не было на свете членов редакционной коллегии Ф. Д. Батюшкова, А. А. Блока, Н. С. Гумилева, многие сотрудники издательства поспешили эмигрировать. Они не испытывали благодарности к Горькому за его старания породнить интеллигенцию с властью. «У нас было отнято все, и все в нас было запятнано прикосновением — неизбежным — к звериному быту. Души наши были конфискованы», — писал один из эмигрантов, критик А. Я. Левинсон. В 1924 году издательство «Всемирная литература» было закрыто.

О Горьком написано много плохого и хорошего, и то и другое справедливо, но надо помнить, что без его инициатив судьба петроградской интеллигенции была бы еще трагичнее. Тяжелое время требовало от людей особых качеств, в пору военного коммунизма главным было умение добывать пайки — «пайколовство»[1]. У художника Ю. П. Анненкова обнаружился талант в этой области: «Я получал общий гражданский, так называемый *голодный* паек. Затем „ученый“ паек, в качестве профессора Академии Художеств. Кроме того, я получал „милицейский“ паек за то, что организовал культурно-просветительную студию для милиционеров... Я получал еще „усиленный паек Балтфлота“, просто так, за дружбу с моряками, и, наконец, самый щедрый паек „матери, кормящей грудью“ за то, что в Родильном центре „Капли молока имени Розы Люксембург“ читал акушеркам лекции по истории *скульптуры*». У большей части интеллигенции такого таланта не было, и она находилась в отчаянном положении. В 1920 году А. М. Горький стал инициатором создания «Комиссии по улучшению быта ученых» — КУБУ (затем реорганизованная в Центральную комиссию — ЦЕКУБУ). «Это учреждение, боровшееся с нищетой, — вспоминал Юрий Анненков, — помещалось на Миллионной улице (оно находилось на Дворцовой набережной, 26, в Доме ученых. — *Е. И.*). Научным деятелям, приходившим туда в лохмотьях, в рваных ботинках, с рогожными мешками и детскими салазками, выдавался недельный паек: столько-то унций конины, столько-то крупы, соли, табака, суррогатов жира и плитка шоколада».

[1] Философ-эмигрант П. Б. Струве метко назвал экономическую политику военного коммунизма «пайковой дрессурой».

Встречаясь в очереди в дни выдачи пайков, ученые обменивались новостями, и по большей части новости были печальные: «В 1920 году, прибыв однажды в Дом ученых, — вспоминал Семенов-Тян-Шанский, — я узнал от академика Н. Я. Марра, что только что скончался академик А. А. Шахматов от последствий голода и непосильных личных физических трудов по рубке, колке и переноске дров.... Около того же времени умер от дизентерии академик-египтолог Б. А. Тураев, у которого я успел приобрести экземпляр его печатного курса истории Ближнего Востока. Говорили, что он скончался в то время, когда сам пел себе отходную. Удивительная сила человеческого духа!» Пайки ЦЕКУБУ получали не только ученые, но и писатели, и деятели искусства. Горький особенно радовался тому, что в пайках был шоколад, рассуждая с привычной смесью простодушия и цинизма: «Революция их сильно обидела. Нужно дать им по шоколадке, это многих примирит с действительностью и внутренно поддержит»!

Другой замечательной инициативой А. М. Горького стало создание Дворца Искусств, который открылся в ноябре 1919 года. В петроградском Дворце Искусств (более известное название — Дом Искусств, или «Диск») нашли приют многие писатели и деятели искусства, хотя Горький не собирался создавать приютный дом, у него был совсем другой замысел. Об этом вспоминал писатель Николай Корнеевич Чуковский: «Как всему, что создавалось по замыслам Горького в первые годы революции, Дому Искусств в идее была свойственна громадность и универсальность. По мысли своего основателя, он должен был объединить в своих просторных стенах литераторов, художников, музыкантов, актеров, стать центром всех искусств на долгие-долгие годы, где в постоянном общении с мастерами росла бы художественная молодежь». В этом замысле есть что-то необыкновенно знакомое... конечно, об этом в 1918 году услышали приглашенные к Луначарскому московские литераторы! Идея, несомненно, принадлежала наркому, хотя изложил ее приближенный к Луначарскому писатель И. С. Рукавишников. Поэт Владислав Ходасевич воспроизвел в мемуарах его монолог:

«Оказалось, что надо построить огромный дворец... м-м-дааа... дворец из стекла и мрамора... и ал-л-лю-ми-ния... и чтобы все комнаты и красивые одежды... эдакие хитоны... — и как его? Это самое... — коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инструментах... И когда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или — как ее там? — опера, то сейчас это все кол-л-лективно сочиняют з-з-звучные слова и рисуют декорацию и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом, ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай все будут очень сча-а-астливы... И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом».

Хитоны и эмалированные тазы оставим на совести пьяного Рукавишникова, но идею Дворца Искусств Горький, видимо, позаимствовал у Луначарского. Он был открыт в доме 15 на Невском проспекте, принадлежавшем до революции купцам Елисеевым. Главные общественные события в Доме Искусств происходили в квартире Елисеевых, которая занимала, по словам Ходасевича, «целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью», в ее Зеркальной зале устраивали лекции и концерты, в Голубой гостиной проходили занятия литературных студий, а за парадными апартаментами начинались комнаты общежития. В общежитии Дома Искусств был занят каждый угол: Виктор Шкловский жил в гимнастической зале, Мариэтта Шагинян — в помещении бывшей бани, а Николай Гумилев занял предбанник. «Комнаты, — вспоминал Ходасевич, — за немногими исключениями, отличались странностью форм. Моя, например, представляла собою правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Е. В. Щекотихина... была совершенно круглая, без единого угла... Комната М. М. Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам...»

Под крышей Дома Искусств собрались люди разных поколений, здесь жила младшая современница Тургенева и Достоевского, писательница Е. П. Леткова-Султанова, и известная до революции общественная деятельница баронесса В. И. Икскуль фон Гильдебранд, и бывшие солистки императорских театров. «... На кухне „Дома Искусств“, — писал К. И. Чуковский, — получают дешевые обеды, встречаясь галантно, два таких пролетария, как б<ывший> князь Волконский и б<ывшая> княжна Урусова. У них в разговоре французские, англ. фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы, и на лице покорная тоска умирания». С известными людьми прошлого соседствовали будущие советские литераторы Мариэтта Шагинян, Александр Грин, Всеволод Рождественский, Михаил Слонимский и будущие писатели-эмигранты. Что привлекло сюда людей, покинувших свои квартиры ради общежития Дома Искусств? Конечно, роскошь вроде электрического освещения, дешевой столовой, бесплатных дров и даже ванны с горячей водой, но главное — стремление находиться в своем кругу, боязнь одиночества. Об этом чувстве вспоминала Тэффи: «Всем хотелось быть „на людях“... Одним, дома, было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он: в Киеве или там, откуда не вернется». Так было и в Доме Искусств: однажды исчез О. Э. Мандельштам — оказалось, он уехал в Киев за невестой; летом 1921 года отсюда увели Н. С. Гумилева и скульптора С. А. Ухтомского — туда, откуда они не вернулись.

Дом Искусств, с его причудливым пространством и не менее причудливыми обитателями, можно назвать «звучащей раковиной»[1], он был наполнен звуками: мелодиями музыкальных вечеров; стихотворными ритмами; спорами членов Общества изучения поэтического языка, исследовавших литературные произведения, как тургеневский

[1] Так называлась поэтическая студия в Доме Искусств, которой руководил Николай Гумилев.

Базаров лягушек; смехом молодых поэтов студии Гумилева, затевавших после занятий игру в жмурки или пятнашки. В комнате прозаика Михаила Слонимского не умолкали голоса его друзей и взрывы хохота, когда читал свои рассказы Михаил Зощенко; в этой крохотной прокуренной комнатке начиналась история литературной группы «Серапионовы братья». В стенах Дома Искусств были созданы прекрасные, ставшие знаменитыми стихи. Ирина Одоевцева вспоминала, как зимним вечером 1920 года она стала свидетельницей такого чуда: «Тихо. Пусто. Никого нет. Уже сумерки... И вдруг я слышу легкое жужжание... В темном углу, у самой статуи Родена перед ночным столиком... сидит Мандельштам... Я никогда не видела лунатиков, но, должно быть, у лунатика, когда он скользит по карнизам крыши, такое лицо и такой напряженный взгляд. Он держит карандаш в вытянутой руке, широко взмахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром... Внезапно его поднятая рука повисает в воздухе. Он наклоняет голову и застывает. И я снова слышу тихое ритмичное жужжание». Ей казалось, что Мандельштам не видит ее, не замечает ничего вокруг, хотелось незаметно уйти, но он вдруг спросил: «Хотите послушать новые стихи?» и прочел «Я слово позабыл, что я хотел сказать...».

В многоголосье звучащей раковины Дома Искусств вплетались мерное чтение Александра Блока, голоса Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Ходасевича. А по ночам тишину Дома Искусств разрывали дикие возгласы поэта Владимира Пяста. Пяст, возводивший свой род к древним польским королям, близкий друг Александра Блока, не мог постичь науки выживания и отчаянно бедствовал. Весь заработок, паек и дрова он относил своей семье, которая жила отдельно, и, «томимый морозом, голодом и тоской, до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по „Дому Искусств“, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами». Он казался странным даже среди странных обитателей Дома Искусств, «высокий... с красивым, несколько „дантовским“ профилем (высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок),

носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем „пястов“», — вспоминал Ходасевич. И позже, когда жизнь стала налаживаться, талантливый и блестяще образованный Владимир Пяст по-прежнему привлекал внимание своим странным и жалким видом: по словам московского литератора Ю. М. Зубакина, в 1927 году к ним с Пястом подошел на Арбате «довольно опрятный нищий-еврей и сказал буквально следующее: „Хаверим (граждане), подайте мне, пожалуйста, что-нибудь. Я *тоже* из тюрьмы, и *тоже* из Могилева“». В памяти Ходасевича Владимир Пяст остался олицетворением безысходного человеческого страдания.

«В бывшем елисеевском особняке поселили кучу писателей, и там еще шло веселье, казавшееся зловещим на фоне притаившегося, вымирающего, погруженного в темноту города. Всплески веселья в мертвом Петербурге в тысячу раз страшнее: мы знаем, что это за пир», — писала через полвека Надежда Мандельштам. Она напрасно укоряла обитателей Дома Искусств в легкомыслии, хотя всплески веселья там действительно бывали. Нина Берберова вспоминала, как «А. Н. Бенуа и его брат Альберт Николаевич сели за два концертных рояля на разных концах зала, и Штраусовский вальс загремел из-под поднятых крышек», а по зале закружились пары в поношенной одежде и грубых башмаках. Молодежь вопреки всему не утратила жизнелюбия, в Доме Искусств завязывались романы, намечались будущие браки; поэты студии Гумилева («гумилята») приносили сюда пайковый хлеб, получали на кухне по тарелке каши и устраивали веселые пирушки.

В истории Дома Искусств был и настоящий «пир во время чумы», устроенный в октябре 1920 года в честь Герберта Уэллса, который приехал в советскую Россию посмотреть на результаты марксистского эксперимента. В Петрограде его принимал Горький, которому хотелось познакомить Уэллса с новой жизнью деятелей искусства, и в Доме Искусств был устроен прием в честь знаменитого гостя. По этому случаю с продовольственных складов Петросовета привезли замечательные, давно не виданные продукты и был составлен список гостей, в который попали не все обитатели Дома Искусств. Но прием взбудоражил всех: в парадном зале с утра топили печи и натирали паркет, не приглашенные на праздник с грустью вдыхали дивные запахи из кухни, а приглашенные лихорадочно думали, как бы прилично одеться.

Наконец прибыли Горький с Уэллсом, и увиденное ими было в самый раз для писателя-фантаста: при тусклом электрическом свете в роскошной зале собралось несколько десятков людей с нездоровыми, бледными лицами: дам в старомодных платьях, мужчин в визитках и пожелтевших манишках — все это напоминало театр восковых фигур. Беседа началась вяло, потому что приглашенных больше занимала еда на столах, а не Уэллс. Горький произнес приветственную речь, и «в ответ наш гость, — вспоминал Юрий Анненков, — с английской сигарой в руке и с улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им — иностранным путешественником — от возможности лично понаблюдать „курьезный исторический опыт“», — и тут разразился скандал. Слово взял писатель Александр Амфитеатров, «Вы ели здесь, — обратился он к Уэллсу, — рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами... Правда, вы видите нас пристойно одетыми... Но я уверен, что вы не можете подумать, что многие из нас, и, может быть, наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, „бельем“». Гости онемели — оратор не только губил себя, но и их ставил под удар.

А скандал разгорался: после Амфитеатрова Виктор Шкловский «сорвался со стула и закричал в лицо бес-

страстного туриста: „Скажите там, в вашей Англии, скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим!.. Слушайте вы! равнодушный и краснорожий! — кричал Шкловский, размахивая ложкой, — будьте уверены, английская знаменитость... что запах нашей крови прорвется однажды сквозь вашу блокаду и положит конец вашему идиллическому, трам-трам-трам, и вашему непоколебимому спокойствию!“» После этого, писал Анненков, поднялся общий крик, гости «кинулись друг на друга с громогласными объяснениями, чем тотчас воспользовались их соседи, чтобы незаметно проглотить лишние пирожные, лежавшие на тарелках спорящих». Горький помнил этот прием до конца дней, а Уэллс едва ли что понял в новой жизни деятелей искусства, зато воочию увидел «русский скандал», известный ему по романам Достоевского.

«Есть люди, — писал Ходасевич, — которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом. Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыносимое, щемящее наслаждение». Послереволюционное время совпало с последней яркой вспышкой петербургской культуры. В переломные времена российской истории особое значение обретало слово, особенно поэтическое слово. Так было и в Петрограде на рубеже 20-х годов — литературные вечера тогда становились общественными событиями. 13 мая 1918 года в зале Тенишевского училища выступали поэты, среди них были Блок и Гумилев. Поэт Леонид Страховский вспоминал: «На утреннике выступали как видные, так и начинающие поэты. Среди последних особенно помню Леонида Канегиссера, в форме вольноопределяющегося, с бледным, красивым, чуть семитическим лицом. Кто мог бы предположить, что еще до конца лета он застрелит чекиста Урицкого и умрет мученической смертью?» Кто мог бы предположить, что скоро не станет Гумилева и Блока: Блоку тогда было 37 лет, а Гумилеву — 32 года. В тот день со сцены впервые прозвучала поэма «Двенадцать», ее читала жена Александра Блока, актриса

Л. Д. Менделеева, и зал взорвался аплодисментами, шиканьем, криками, свистом. Затем должен был читать Блок, но он отказался, и Николай Гумилев со словами: «Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали» — пошел на сцену. Блок все-таки выступил, и зал слушал его замерев, с восторженным, благодарным вниманием.

Александр Блок никогда не любил публичных выступлений, зато Гумилев был на сцене в своей стихии, он держался с отвагой бретера и часто читал стихотворение «Галла», в котором были строки:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

В 1919 году он прочел его на вечере для матросов Балтфлота, и в зале зароптали, вскочили с мест, кто-то двинулся к сцене, но Гумилев дочитал стихотворение до конца и умолк, скрестив руки на груди и спокойно глядя в зал. Напряженное молчание разрядилось аплодисментами, и стало ясно, что победил поэт. Конечно, читать такие стихи было риском, безумием, но что тогда вмещалось в рамки обычной логики, и как объяснить, почему люди собирались на литературные вечера и лекции в моровом 1919 году? Это было время боев с войсками Юденича, массовых расстрелов, эпидемий, голода, но слушатели заполняли холодные залы и аудитории. Создатель Института истории искусств В. П. Зубов вспоминал, как «многие студенты, жившие в расстоянии часа ходьбы и даже больше, по два раза в день приходили в Институт, что составляло для них больше четырех часов ходьбы». Разве это не противоречило всякой логике? «В те дни, — писала Ирина Одоевцева, — я, как и многие, научилась „попирать скудные законы бытия“. В те дни я, как и многие, стала более духовным, чем физическим существом. „Дух торжествует над плотью“ — дух действительно торжествовал над моей плотью. Мне было так интересно жить, что я просто не обращала внимания на голод и прочие неудобства» — и сил хватало, и не оставляло чувство радостного подъема.

Культура и искусство становились единственной подлинной реальностью не только для молодежи. Тогда на улицах Петрограда можно было увидеть немощного старика на костылях. «Ах ты, дедушка. Ползешь на четырех. Ну ползи, ползи, Бог с тобой!» — говорили жалостливые прохожие, обращаясь к знаменитому юристу Анатолию Федоровичу Кони. Этот человек был живой легендой — прославленным оратором, другом многих великих людей, хорошо знавшим Тургенева, Достоевского, Толстого. Теперь он преподавал в петроградских институтах, часто выступал с публичными лекциями, и в городе шутили: «Анатолий Федорович объявил тему новой лекции — „Иисус Христос по личным воспоминаниям“». В марте 1919 года в Институте живого слова торжественно отметили его 75-летие, с приветственным словом выступил Луначарский, пришли поздравления от Петросовета и от правительства из Кремля, а в ноябре 1919 года он был арестован. После освобождения Кони рассказывал К. И. Чуковскому: «Очень забавно меня допрашивал какой-то мальчик лет шестнадцати. — Ваше имя, звание? — Говорю: академик. — Чем занимаетесь?.. — Профессор... — А разве это возможно? — Что? — Быть и профессором и академиком сразу. — Для вас, говорю, невозможно, а для меня возможно». Он говорил об аресте со смехом, хотя все могло бы обернуться очень печально.

В ту пору люди не только плакали, но и смеялись, и учились находить в разрушенном мире ценности, ради которых стоило жить. Ирина Одоевцева так вспоминала о лете 1919 года: «Дни были удивительно голубые, поместительные, длинные, глубокие и высокие. В них как будто незримо присутствовало и четвертое измерение. Казалось, что трех измерений для них, как и для всего тогда происходившего, мало... Скоро и я буду поэтом. Теперь я в этом уже не сомневаюсь. Надо только немножко подождать. Но и ожиданье уже счастье, такое счастье, или, точнее, такое предчувствие счастья, что я иногда боюсь не выдержать, не дождаться, умереть — от радости».

Ленин искусства, как известно, не жаловал. В 1921 году Юрий Анненков писал портрет вождя и запомнил его рассуждения: «Я, знаете, в искусстве не силен... искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! вырежем. За ненужностью». По мнению Ленина, культура представляла опасность для нового государства: «...наш лозунг „ликвидировать безграмотность“ отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. „Ликвидировать безграмотность“ следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего». Поскольку культуре отводилась столь скромная роль, вожди препоручили руководство ею своим родственницам и женам, и эти советские сановницы получили в литературных кругах прозвище «акушерки». До революции у петербургских литераторов бытовало другое насмешливое словечко — «фармацевты», так называли поклонников искусства из буржуазии, тех, кто заполнял залы на театральных премьерах и литературных вечерах. В художественно-артистическом кабаре «Бродячая собака», «учитывая интерес, проявляемый „фармацевтами“ к литературной и артистической богеме, особенно их желание видеть ее в частном быту, встречаться с нею запросто», с них брали за входные билеты «сколько взбредало на ум, иногда повышая входную плату до 25 рублей, как это было, например, на вечере Карсавиной», — вспоминал поэт Бенедикт Лившиц. Петербургская богема напрасно относилась к «фармацевтам» с высокомерием, потому что среди этих людей были бескорыстные поклонники и настоящие ценители искусства.

Совсем другое дело — «акушерки». Это словцо вошло в обиход к концу XIX века, когда у женщин появилась возможность получить медицинское образование. Но ироническое прозвище «акушерка» (тогда чаще говорили «акушёрка») не относилось к профессиональной принадлежности, так называли эмансипированных жен-

щин, имевших радикальные убеждения и безапелляционно судивших обо всем. К «акушеркам» можно отнести Н. К. Крупскую, хотя она получила педагогическое образование. В новом государстве Крупская руководила воспитанием подрастающего поколения, и ей принадлежал целый ряд «открытий» в этой сфере, например, о вреде волшебных сказок: они развивают у детей нездоровую фантазию, кроме того, герои этих сказок — цари, принцессы и прочие деклассированные элементы; она считала, что игра в куклы прививает девочкам мещанские интересы, и так далее. Выступая в 1925 году на съезде учителей, Крупская рассказала назидательную историю из революционных времен: однажды красноармейцы остановились на ночлег в школе и «изорвали в мелкие клочки все книги, разбили все физические аппараты и произвели полное разрушение. Это было сделано солдатами потому, что они чувствовали, что та школа, в которой находились все эти книги и инструменты, — барская школа.. враждебная народным массам. Они чувствовали, что знания, даваемые в этой школе, служили не для того, чтобы наладить общую жизнь, а для того, чтобы вырастить слуг капитала, которые бы порабощали народ»!

Работу в области культуры «акушерки» свели к созданию бесчисленных учреждений и бесконечных заседаний. В Москве искусством «заведовала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка», — писал Владислав Ходасевич. Каменева возглавляла Театральный отдел Наркомпроса (Тео), и «писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленые квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями». Всем, по словам Ходасевича, распоряжались «какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажемента, бывшие театральные репортеры, студенты...» В Петрограде вопросами культуры ведала жена Зиновьева З. И. Лилина, и здесь происходило то же самое. Ф. И. Шаляпин вспоминал, как

«в театр приходили какие-то передовые политики-коммунисты, бывшие бутафоры, делали кислые лица и говорили, что вообще искусство, которое разводят оперные актеры, — искусство буржуазное и пролетариату не нужно». В названии должности Лилиной — «зав. губ. Соцвоса» — слышен зудящий, скрипучий звук, то же впечатление вызывала сама эта женщина. К. И. Чуковский записал в 1920 году в дневнике: «Меня вызвали повесткой в „Комиссариат Просвещения“. Я пришел. Там — в кабинете Зеликсона — был уже Добужинский. Кругом немолодые еврейки, акушерского вида, с портфелями. Открылось заседание. На нас накинулись со всех сторон: почему мы не приписались к секциям, подсекциям, подотделам, отделам и проч. Особенно горячо говорила одна акушерка — повелительным, скрипучим, аффектированным голосом. Оказалось, что это тов. Лилина, жена Зиновьева». Впоследствии Лилина испортит Чуковскому и другим ленинградским писателям немало крови, но в первую встречу он смело оборонялся: «Мой ответ сводился к тому, что „у Вас секция, а у нас Андрей Белый; у Вас подотоделы, у нас — вся поэзия, литература, искусство“».

Настоящим бедствием для литераторов был брат Лилиной И. И. Ионов, поставленный во главе петроградского отделения Госиздата. Этот, по словам Чуковского, «маленький, бездарный, молниеносный, как холера», деятель интриговал и со всеми ссорился, досаждал Горькому, отравлял последние годы жизни Александра Блока. «Ионов ужасно любил поэзию Блока; но он — шалый: одно время он систематически теснил произведения Блока как завед<ующий> Пет<роградским> отдел<ением> Гос<ударственного> Издательства», — писал после смерти поэта Андрей Белый. Ионов много лет руководил издательскими делами в городе и оставил о себе недобрую память. Многие родственники большевистских вождей заняли руководящие посты (в Петрограде Лилина ведала «просвещением», а вторая жена Зиновьева С. Н. Равич после смерти Урицкого несколько месяцев была комиссаром внутренних дел Северной области!),

и дело тут было не только в желании «порадеть родному человечку», но и в стремлении поставить у власти надежных людей — а что может быть надежнее родственных связей? В толпе самоуверенной, невежественной питерской чиновной родни выделялся двоюродный брат Урицкого Борис Гитманович Каплун. Этот молодой человек был примечательной личностью в Петрограде поры военного коммунизма.

В 1920 году Евгений Замятин написал рассказ «Пещера»: «Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры... Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья — пещерные люди отступали из пещеры в пещеру». Горожане погибали в ледяных квартирах-пещерах, хотя, конечно, не все — людям власти и спекулянтам жилось неплохо. Но представим себе пещеру, в которой играют отблески имперского света, а ее хозяин напоминает, как говорили в XVIII веке, «попавшего в случай» вельможу. Борис Каплун «попал в случай» благодаря победе большевиков и родственным связям. В 1918 году он был назначен управляющим делами Петросовета, «чем-то вроде советского петербургского губернатора», — пояснял Юрий Анненков. «Это приятный — с деликатными манерами — тихим голосом, ленивыми жестами — молодой сановник, — писал о нем К. И. Чуковский. — Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова. У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина... У его дверей сидит барышня-секретарша, типичная комиссариатская тварь: тупая, самомнительная, но под стать принципиалу: с тем же тяготением к барству, шику».

Молодой сановник во френче и щегольских сапогах принадлежал к разряду «фармацевтов» и до революции увлекался литературой и искусством, а не политикой. Тогда скромный студент Технологического института, он не имел доступа в литературные салоны и едва ли мог заплатить четвертной за входной билет на вечер Карсавиной, он мог видеть своих кумиров лишь издали. Теперь

все сказочно переменилось, знаменитые люди искали его расположения, а его любовницей стала талантливая балерина Ольга Спесивцева. Позже Сергей Дягилев писал о ней: «Увидев Павлову в дни ее и моей молодости, я был уверен в том, что она „Тальони моей жизни“. Мое удивление поэтому было безгранично, когда я встретил Спесив<це>ву, создание более тонкое и более чистое, чем Павлова». До революции связи с известными танцовщицами были не редкостью в среде высшей аристократии, и Борис Каплун продолжил эту традицию: балерина Мариинского театра Ольга Спесивцева обживала его «пещеру».

Апартаменты Каплуна в здании Главного Штаба действительно напоминали разбойничью пещеру: Юрий Анненков вспоминал «морозный день, или, вернее, те морозные сумерки 1919 года: было около семи часов вечера. Мы сидели в обширном кабинете Каплуна... Комната была загромождена всякого рода замочными отмычками, отвертками, ножами, кинжалами, револьверами и иными таинственными орудиями грабежей, взломов и убийств, предметами, которые Каплун старательно собирал для будущего петербургского „музея преступности“. В одном углу были сложены винтовки и даже пулемет... За бутылкой вина, извлеченной из погреба какого-то исчезнувшего крупного буржуя, Гумилев, Каплун и я мирно беседовали об Уитмене, о Киплинге, об Эдгаре По». Такие беседы доставляли управляющему делами Петросовета неизъяснимое наслаждение, и он старался отблагодарить друзей. Зимний вечер 1919 года закончился неожиданно: «Каплун, взглянув на часы, схватил телефонную трубку и крикнул в нее: — Машину! Это был отличный „мерседес“, извлеченный из гаража какого-то ликвидированного „крупного капиталиста“. Он пригласил гостей на любопытное мероприятие: в городском морге предстояло выбрать труп для пробного сожжения в строящемся крематории. Был выбран покойник, на лохмотьях которого лежала картонка: „Иван Седякин. Соц. пол.: Нищий“. „Итак, последний становится первым, — объявил Каплун и, обернувшись к нам, заметил с усмешкой: — В общем, доволь-

но забавный трюк, а?“» — вспоминал Анненков. Он часто развлекал знакомых такими трюками, К. И. Чуковский записал в дневнике 3 января 1921 года: «Вчера черт меня дернул к Белицким. Там я познакомился с черноволосой и тощей Спесивцевой, балериной — нынешней женой Каплуна. Был Борис Каплун — в желтых сапогах, — очень милый. Он бренчал на пьянино, скучал и жаждал развлечений. — Не поехать ли в крематорий? — сказал он, как прежде говорили: — Не поехать ли к „Кюба“ или в „Виллу Родэ“?» То, что Корней Иванович там увидел, не раз являлось ему в ночных кошмарах. Жутковатые развлечения Бориса Каплуна вполне в духе замысла сказки Чуковского о том, как «звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми». Хотя сам Каплун думал иначе и видел в крематории символ прогресса и приобщения к европейской культуре.

Но заслуга Бориса Каплуна была не в строительстве первого в России крематория, а в его помощи петроградским деятелям искусства. Он всегда был рад оказать услугу писателям, актерам, художникам. Когда Блоку грозило уплотнение квартиры, ему первым делом посоветовали обратиться к управляющему делами Петросовета; для Шаляпина Каплун выпрашивал у сурового председателя ПЧК Бакаева конфискованную водку («Шаляпин очень просит, чтобы с белыми головками!»). Гумилев в его доме мог отвлечься от «тяжелой бессмыслицы революции», вдыхая пары конфискованного где-то эфира, который Каплун приберег для приятелей. Но, конечно, главной поддержкой были дополнительные пайки, которые благодаря Каплуну деятели культуры получали за просветительную работу в ГОРОХРе — Клубе городской охраны. По свидетельству Анненкова, в ГОРОХРе «Кони объяснял основы уголовного права, балерина обучала милиционерок пластическим танцам, Максим Горький читал лекции по истории культуры, Корней Чуковский — историю литературы, а Мстислав Добужинский рассказывал о петербургских памятниках искусства и старины». Каплун предложил Чуковскому заведовать просветительной работой, и тот, загоревшись этой идеей, поспешил в клуб: «Я сказал, что хочу просвещать милиционеров... Мне сказали: не беспокойтесь — жалованье вы будете получать с завтрашнего дня — а просвещать не торопитесь». Замученная голодом и бандитизмом милиция не могла оценить своего счастья. Юрий Анненков вспоминал, как однажды осенью 1919 года он шел по ночному Петрограду с Блоком и Андреем Белым после затянувшейся пирушки: «На мосту, над каналом — пронзительный снежный ветер, снежный свист раннего утра, едва успевшего поголубеть. Широко расставив ноги, скучающий милиционер с винтовкой через плечо пробивал желтой мочой на голубом снегу автограф: „Вася“. — Чернил! — вскрикнул Белый, — хоть одну баночку чернил и какой-нибудь обрывок бумаги! Я не умею писать на снегу!.. — Проходи, проходи, гражданин, — пробурчал милиционер, застегивая прореху». Несмотря на старания Каплуна, союз милиции и искусств пока явно не складывался.

Время военного коммунизма было звездным часом Каплуна, позднее он постепенно понижался в ранге, работал в издательской и банковской сферах; в 1924 году помог эмигрировать Ольге Спесивцевой, и она получила на Западе признание и славу. Борис Гитманович Каплун был расстрелян в ноябре 1937 года, и, заканчивая рассказ о нем, Юрий Анненков заметил: «В качестве влиятельного партийца Каплун сделал много страшных вещей, но много и добрых (я стараюсь быть объективным)».

Двадцать первый год

Матросы в революции. Рабочие волнения в Петрограде. Кронштадтские «мятежники». Подавление восстания. Смерть Александра Блока. Дело Таганцева

В марте 1921 года X съезд РКП(б) отменил политику военного коммунизма, потому что ее продолжение угрожало большевикам потерей государственной власти. Ленин увидел опасность раньше своих соратников и первым заговорил о необходимости перемен. В 1926 году Луначарский вспоминал: «Ленин никогда не боялся выпячивать свои ошибки. Например, на одном собрании он заявил: „Военный коммунизм был ошибкой!“ Мы все пришли в ужас от такого заявления. Конечно, военный коммунизм не был ошибкой, а был неизбежностью. Владимир Ильич ответил: „Если мы выпятим то, что военный коммунизм был неизбежностью, от него будут отказываться лениво и медленно. А если мы будем кричать, что он был ошибкой, наше дело двинется вперед“». Отказ от военного коммунизма и провозглашение новой экономической политики (нэп) было вынужденной мерой, так как против большевиков выступили те слои населения России, при чьей поддержке они пришли к власти. Во всех областях страны вспыхивали крестьянские бунты, а восстание тамбовских крестьян, возглавленное А. С. Антоновым, грозило перекинуться на соседние губернии. В городах периодически происходили рабочие волнения; в одном из частных писем, отправленном из Петрограда в августе

1919 года, сообщалось: «Рабочие Путиловского завода хлопочут, чтобы на время закрыли все заводы и отпустили за продуктами, тогда будем работать, а сейчас голодны и не станем работать». Кроме того, в конце февраля 1921 года взбунтовались моряки Кронштадта. Восстание в Кронштадте, крестьянские восстания и рабочие волнения вынудили власть отказаться от режима военного коммунизма.

Кронштадтцев в Петрограде не любили, с ними связывали самые жестокие события революционной поры, ведь уже «бескровная» Февральская революция началась в Кронштадте с кровопролития. Представитель большевиков в Кронштадте Ф. Ф. Раскольников вспоминал, как ночью 28 февраля 1917 года «воинские части одна за другой с оркестрами музыки стали выходить на улицу и присоединять к себе остальных солдат и матросов... Под утро толпа матросов подошла к дому главного командира порта и потребовала его на улицу. Адмирал Вирен оделся и, выйдя на улицу, скомандовал: „Смирно“. Эта неуместная команда была встречена бурными взрывами хохота... К адмиралу подскочил матрос и сорвал с него погоны. После этого его окружили и повели на Якорную площадь», где герой русско-японской войны адмирал Н. Р. Вирен был растерзан толпой. В тот же день погибли контр-адмирал А. Г. Бутаков и еще 35 офицеров, а многие избежавшие расправы офицеры были арестованы. Раскольников упоминал об издевательствах над ними: «В арестном помещении полуэкипажа находилось в заключении несколько офицеров, которых командир полуэкипажа трудолюбиво обучал пению „Интернационала“, *похоронного марша и других революционных песен*» (курсив мой. — *Е. И.*). Так же расправлялись с офицерами на базе Балтийского флота в Гельсингфорсе. 7 марта 1917 года З. Н. Гиппиус записала: «В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров... Адм<ирал> Непенин телеграфировал: „Балтийский флот, как боевая единица, не существует. Пришлите комиссаров [Временного правительства]“. Поехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел к ним навстречу, — ему всадили в спину нож».

Командующий Балтийским флотом адмирал А. И. Непенин был убит на глазах у депутатов правительства (по другим свидетельствам, не ножом, а выстрелом в спину). Когда его адъютант получил разрешение Совета матросских и солдатских депутатов «на изъятие тела адмирала Непенина, [он] поехал и обыскал несколько свалок трупов офицеров».

Позднее такие свалки появятся в Севастополе, в Симферополе, где расстрелы офицеров начались с декабря 1917 года, и в Одессе, где в 1918 году было убито более 400 офицеров флота. Надо иметь в виду, что к началу 1917 года офицерский корпус российского флота составляли 5248 человек, а при Временном правительстве в офицеры было досрочно произведено еще 250 гардемаринов. Таким образом, ко времени октябрьского переворота на флоте служили пять с половиной тысяч офицеров; для подготовки офицеров военно-морского флота требовались годы, и они по праву считались элитой российских вооруженных сил. За развал флота, за уничтожение его командного состава в будущем России пришлось заплатить непомерную цену, и первыми в этом преступном деле были не вожди большевиков, а матросы Балтийского флота.

После Февральской революции Кронштадт зажил по собственным законам: в мае 1917 года его Совет депутатов решил взять власть в свои руки, объявить Кронштадт республикой, и Временному правительству удалось поставить там своего нового представителя только в июне. Особую надежду возлагали на матросов занятые подготовкой переворота большевики, и в июле 1917 года Троцкий величал балтийских моряков «красой и гордостью русской революции». Матросской вольнице были по душе самые крайние лозунги, поэтому большевики и анархисты имели в Кронштадте примерно равное влияние. В биографии вождя кронштадтских анархистов Ярчука много общего с биографией Володарского: он был выходцем из еврейского местечка, эмигрировал в США, работал там на швейной фабрике, а после революции вернулся в Россию. Ярчук был сильным митинговым оратором, так что два бывших американских портных воспламеняли революционными речами сердца в Петрограде и Кронштадте. Желанным гостем в Кронштадте был глава петроградских анархистов-коммунистов Блейхман (Солнцев), который вошел в историю тем, что в 1918 году предлагал Петросовету собрать петроградских буржуев в одном концлагере и взорвать их там всех сразу.

В июльские дни 1917 года кронштадтцы по призыву большевиков появились на улицах Петрограда. «При нашем появлении, — вспоминал Раскольников, — многие окна открывались настежь и целые семейства богатых и породистых людей выходили на балконы своих роскошных квартир. И на их лицах было... выражение нескрываемого беспокойства и чувство шкурного, животного страха». Страх и тревога, охватившие город, отразились в дневниковой записи З.Н. Гиппиус: «... дни ужаса 3, 4 и 5-го июля, дни петербургского мятежа... Кронштадтцы анархисты, воры, грабители, темный гарнизон явились вооруженными на улицы». Горожане страшились не зря — в Кронштадте, как в огромном котле, вызревали самые темные, жестокие силы революции. В отличие от солдат столичного гарнизона, матросы составляли сплоченные боевые отряды, которые сыграли решающую роль в событиях переворота 25/26 октября, а через несколько дней — в разгроме выступления юнкеров и в расправе над пленными юнкерами, садизм которой потряс Петроград: перед расстрелом им выкалывали глаза, отрезали половые органы и т. д.

Современники усматривали в таких акциях проявление психической патологии, царившей в матросской среде. Не случайно статья В. Бонч-Бруевича с описанием диких радений кронштадтцев, «сатанинских» песен и плясок смерти среди символических «задушенных» тел, названа «Странное в революции». Трудно объяснить причину этого взрыва темной энергии. Возможно, она отчасти была связана с особенностями службы: призванные на флот крестьянские парни оказывались в особой, разительно не похожей на их прежнюю жизнь среде. Островной Кронштадт был как бы обособлен от внешнего мира; и корабли, на которых матросы служили по несколько лет, тоже

были «островами»: экипаж большого судна составлял полторы-две тысячи человек. Неравенство офицеров и рядовых на флоте ощущалось резче, чем в сухопутных войсках, служба была тяжелее, дисциплина — жестче, и в этой замкнутой среде вызревали семена ожесточения и ненависти. Матросы выделялись жестокой одержимостью и во время гражданской войны, а позже многим из них было трудно вернуться к нормальной жизни. Историк Мельгунов писал в 1923 году: «В России в последнее время в психиатрических лечебницах зарегистрирована как бы особая „болезнь палачей“... мучающие совесть и давящие психику кошмары захватывают десятки виновных в пролитии крови. Наблюдатели отмечают нередкие сцены таких припадков у матросов и др<угих>, которые можно видеть, например, в вокзальных помещениях на железных дорогах. Корреспондент „Дней“ из Москвы утверждает, что „одно время Г. П. У. пыталось избавиться от этих сумасшедших путем расстрела“».

Люди, которые враждебно приняли поэму Блока «Двенадцать», иронически переиначивали ее финал: по замершему, пустому Петрограду в «белом венчике из роз — /Впереди *идет матрос*». Действительно, после переворота кронштадтцы вели себя в Петрограде как завоеватели, им казалось, что диктатура победившего класса — это их, матросская диктатура. У «передового отряда революции» было немало черт, роднивших его с воинством Стеньки Разина: для них свобода-«волюшка» была возможностью разгуляться в богатом городе, грабить и убивать буржуев. По выражению З. Н. Гиппиус, матросы были «доморощенными гориллами на цепочке у мошенников — у шайки, нами, дураками, завладевшей и „правящей“». Они выделялись среди горожан: матрос — это обычно огромный детина (на флот отбирали рослых), увешанный оружием, с гранатами на поясе и с пулеметными лентами на груди (по выражению тех лет, «весь в пулеметах»). В матросской среде процветали пьянство и наркомания, и, возможно, «сатанинские» песни и пляски были их следствием. В городе их было много, очень много, они маршировали со знаменами и оркестрами, конвоировали арестованных, устраивали самосуды. «Я сама видела, — вспоминала Тэффи, — как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра». В роли комиссаров и комендантов матросы появились в государственных учреждениях, и многие запомнили этих колоритных чиновников. К. И. Чуковский в дневнике 1918 года описывал коменданта петроградских Почт и Телеграфов Царева: «Комендант оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в вицмундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брамстеньгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного. У стола, за которым помещался этот детина, — огромная очередь... Я сидел на диванчике, и вдруг меня осенило: — Товарищ Царев, едем сию минуту, вам будет знатная выпивка! — А машинка есть? — спросил он. Я вначале не понял. — Автомобиль, — пояснил он». Матросский жаргон прочно вошел в разговорную речь советского времени («братан, братишечка, братва», «дрейфить») и даже в официальный стиль (командный термин «даешь!», «крепить») — «Даешь Перекоп!», «крепить союз» и так далее.

К матросам враждебно относились не только «буржуи», но и рабочие, которых раздражали претензии «клешников» (так звали матросов из-за форменных расклешенных брюк) на особые привилегии. У клешников были завидные пайки, они вселялись в барские квартиры и, по словам Г. А. Князева, «вселяясь, обставляют свои комнаты мебелью из особняков. Несут картины, бархатные стулья, пружинные кровати». Власть не испытывала к ним особого доверия, потому что матросы, в отличие от латышей, были малоуправляемы, и не нуждалась в самосудах, поскольку уже был отлажен карательный механизм ВЧК. Матросская вольница не понимала, что пора ее «диктатуры» кончается, митинговала против унизительных условий Брестского мира и не подчинялась назначенным комиссарам.

13 октября 1918 года в Петрограде взбунтовался Второй флотский экипаж, моряки требовали расторжения Брестского мира, отказа от выплаты контрибуции Германии и власти Советов без большевистских комиссаров. Тогда Г. А. Князев записал в дневнике: «Прибежал бывший сторож в архиве к своей жене: „Слава Богу, большевиков свергают! Толпы матросов идут с музыкой и знаменами и кричат: «Долой Советскую власть!» И я не утерпел, крикнул“. А ведь... в прошлогодние октябрьские дни раскатывал на большевистских вооруженных грузовиках с победителями по городу. У нас в комитете заседал. Чуть ли не на управление архивом претендовал... Прошла их пора. Пора господства уличной черни. Пришли снова немногие и укрепились. Чего он так боялся — отправки на фронт, от чего, думал, с приходом большевизма избавился, снова предстало перед ним — его отправляют на фронт. Ну, конечно, и бормочет теперь: „Проклятые большевики“». На другой день на площади у Мариинского театра матросы устроили митинг, вошли в театр, где в тот вечер шла опера Вагнера «Валькирия», вывели музыкантов оркестра и под музыку двинулись к Неве. Но экипажи стоявших на Неве кораблей отказались поддержать восставших, и им пришлось вернуться в казармы. Ночью казармы были окружены воинскими частями, многих матросов арестовали, а в Петроград приехал Троцкий, называвший за год до этого балтийцев «красой и гордостью революции». Он и на этот раз приготовил эффектную фразу: «Милость обманутым, горе обманувшим», и одиннадцать зачинщиков выступления были расстреляны. Однако это не остудило горячие головы; 2 ноября Князев писал: «Среди матросов глухое недовольство властителями. На пожаре в Адмиралтействе, не стесняясь, поносили большевиков и грозились: „Только бы праздничек отпраздновать, а там мы покажем им“». Они не понимали, что праздник на матросской улице кончился.

Бывают странные совпадения исторических дат, в случайность которых трудно поверить: Февральская революция 1917 года началась с митингов на заводах, с шествий в центре города с требованием: «Хлеба, хлеба!» —

и ровно через четыре года все повторилось. 24 февраля 1921 года на улицы Петрограда вышли многотысячные демонстрации, но теперь их разгоняли не казаки, а «красные курсанты» военных училищ, забастовали фабрики и заводы, среди них Балтийский, Путиловский, Обуховский, Трубочный. В этот раз масштаб забастовок был меньше, чем в 1917 году, по простой причине — в 1921 году многие предприятия не работали. Поводом для февральских забастовок 1921 года (их называли «волынками») стало очередное уменьшение пайка, и бастовавшие требовали увеличить хлебную норму, выдать положенную по карточкам обувь и одежду, уравнять разные категории рабочих. Во время «волынок» были выдвинуты и политические требования — новых перевыборов в Советы, свободы слова и печати, легализации социалистических партий, отмены продразверстки и заградительных отрядов, свободы торговли. Кроме того, бастовавшие требовали отменить трудовую повинность и дать право рабочим-трудармейцам вернуться в родные места. «Трудовые армии», инициатором создания которых был Троцкий, по сути были возвратом к крепостничеству: людей насильно мобилизовали на «трудовой фронт» и отправляли туда, где была нехватка в рабочей силе. Такие «работные люди» составляли 20 % питерского пролетариата, они находились на казарменном положении и бедствовали еще больше, чем другие горожане.

На Балтийском флоте тоже было неспокойно. Его командующий Ф. Ф. Раскольников в январе 1921 года отправил в Москву телеграмму с доносом на кронштадтцев: «Окончание гражданской войны, отсутствие непосредственной военной опасности пробуждает среди моряков, утомленных долголетнею службою, естественную реакцию. Эта реакция проявляется не только в виде усталости, апатии, ослабления дисциплины, но она распространяется и против тех лиц, которые по воле партии до сих пор осуществляли на флоте твердую и неуклонную дисциплину». Раскольников умолчал о том, что кронштадтцев, в частности, «утомил» он сам и его окружение. За короткое время он сменил две трети команд-

ного состава и комиссаров флота, поставив на их места своих людей, начальником Политуправления Балтийского флота назначил своего тестя А. М. Рейснера, нашлись места и для других приближенных. Раскольников, внебрачный сын протодиакона Сергиевского собора и продавщицы винной лавки, принадлежал к новой аристократии, держался с подчиненными высокомерно и жил побарски. Давно ли матросы убивали барчуков-офицеров, а теперь появились новые баре, не лучше прежних! Это вызывало ропот среди вернувшихся с гражданской войны кронштадтских матросов. Им жилось не лучше, чем рабочим, на флоте тоже урезали пайки, но больше всего их будоражило другое: основная часть матросов была из крестьянских семей, а деревня погибала от грабительской продразверстки. Из родных мест приходили отчаянные письма: «В деревне все отбирают, полную очистку делают. Первый декрет: каждому крестьянину полагается хлеба по 26 фунтов в месяц, это за то, что он работает 24 часа»; «у нас в деревне реквизировали хлеб, но иные не хотели отдать как красноармейские семьи. Того, кто не хотел отдать, били прикладами»; «у нас в полном смысле слова голод, вторую неделю едим одну траву со своего огорода, даже варим лебеду»; «люди едят мох, дерево, мякину одну, без примеси муки, и живут все, не помирают... живучи люди».

События февраля 1921 года во многом повторяли начало Февральской революции — с демонстрациями, с попытками привлечь на свою сторону военный гарнизон, с неспокойным Кронштадтом. 27 февраля Г. А. Князев записал в дневнике: «В Петрограде волнения. Изголодавшиеся рабочие вышли, наконец, на улицу... Едущих в автомобиле стаскивают: поезжай на одиннадцатом номере (то есть пешком. — *Е. И*)... У многих глаза прыгают от радости: „начинается!“ Другие молчаливы и угрюмы». Из Кронштадта команды линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» направили в Петроград делегатов, чтобы выяснить, что там происходит; делегаты вернулись в Кронштадт и рассказали об обстановке в городе. 27 февраля собрания судовых команд линкоров решили поддержать питерских рабочих, составленная матросами резолюция повторяла требования бастующих. Большевистские вожди тоже поняли: «начинается!» и приняли срочные меры: в Петрограде ввели военное положение, а увещевать рабочих приехал из Москвы председатель ВЦИК М. И. Калинин[1]. 27 февраля в газетах появилось сообщение о намерении правительства отменить продразверстку, Калинин пообещал убрать заградительные отряды вокруг Петрограда (их сняли 1 марта) и распустить по домам трудармейцев. «Как и нужно ожидать, — записывал Г. А. Князев, — множество арестов. Арестовывают... профессоров и студентов некоторых учебных заведений... Рабочим выдана мука, мясо, обещали свободный проезд на 150 верст. Конечно, ищут шпионов, предательства. Но факт остается фактом — рабочие восстали против рабоче-крестьянской власти». В это время в Петроград прибывали эшелоны с продовольствием и топливом. «Как будто и „бунт“... — размышлял Князев 1 марта. — Выдано много хлеба, мяса, мыла, много обещано. Арестованных рабочих выпускают. И вся тяжесть возмездия за случившееся обрушивается на интеллигенцию». Нет, на этот раз не на интеллигенцию, пришел черед кронштадтских матросов.

1 марта Калинин выступил на митинге в Кронштадте, и хотя настроения там не отличались от петроградских, в Кронштадте он никого не уговаривал и ничего не сулил, а вместо этого завел старую песню о «красе и гордости» и о заслугах матросов перед революцией. Почему он не давал никаких обещаний — мыла на всех не хватило бы? Или власть решила воспользоваться случаем и покончить со своевольным Кронштадтом? На митинг на Якорной площади собралось около 16 тысяч солдат и матросов гарнизона. Один из участников митинга, Иван Ермолаев, вспоминал: «Когда на трибуне появился Калинин, его...

[1] Пропаганда создала образ «всенародного старосты» Калинина, газеты писали о доверии и уважении крестьян к тверскому мужику Калинычу. Прозвище «Калиныч» было позаимствовано из рассказа Тургенева «Хорь и Калиныч», но М. И. Калинин заслуживал сравнения не с мужиками Хорем и Калинычем, а скорее с кровожадным хорем.

встретили аплодисментами, ждали, что он скажет. Но когда он опять стал говорить о заслугах моряков, о достижениях и трудностях Советской страны, снова раздались возгласы: „Хватит похвал! Скажи, когда отменят продразверстку? Когда перестанут душить мужика?“ Калинин пытался как-то оправдать продразверстку, но тут на трибуну поднялся широкоплечий немолодой матрос и громко крикнул: „Хватит хвалебной болтовни! Вот наши требования: долой продразверстку, долой продотряды, даешь свободную торговлю, требуем свободного переизбрания Советов!“... В ответ Калинин стал упрекать участников митинга в том, что они затевают рискованную игру против Советской власти...» «Калиныч» должен был понимать, что упреки и угрозы были бессмысленны, они лишь разжигали страсти, и, вероятно, намеренно провоцировал взрыв. Митинг на Якорной площади закончился принятием резолюции с теми же, что у петроградцев, политическими требованиями, Калинин поспешил в Петроград, а за ним обреченную крепость покинули сотрудники карательных органов — Особого отдела и реввоентрибунала.

Следующий день, 2 марта, ознаменовался несколькими событиями: в Петрограде и губернии было введено осадное положение; появилось правительственное сообщение о мятеже в Кронштадте, подписанное Лениным и Троцким; рабочие многих предприятий города закончили «волынку». А в Кронштадте делегаты от гарнизона, заводов и профсоюзов выслушивали угрозы комиссара флота Н. Н. Кузьмина и председателя кронштадтского Совета П. Д. Васильева. На этом собрании произошло решающее событие — был создан Временный революционный комитет. По свидетельству председателя Временного революционного комитета С. М. Петриченко, это случилось так: атмосфера на собрании накалялась, и тут «один моряк взбегает к президиуму и начинает кричать: „Что вы здесь торгуетесь? Коммунисты ведь не спят, и Кронштадт уже окружен конницей. Нужны меры к самозащите!“ Тут получилась настоящая паника... Наскоро президиум уполномочили принять на себя обязанности „Временного ревкома“ [ВРК]. Неожиданное для всех нас самих свершилось... Ревком предписал: „Всем товарищам оставаться на местах и честно исполнять свой долг перед Родиной“». В ответ на правительственное сообщение о контрреволюционном мятеже «ВРК обратился с воззванием: „Всем, всем, всем!... Товарищи! Не верьте словам самодержавных комиссаров, уверяющих, будто в Кронштадте действует штаб белых офицеров во главе с генералом Козловским. Это наглая ложь. Кронштадтские товарищи предлагают вам немедленно присоединиться к Кронштадту и установить прочную связь, общими и другими усилиями достичь долгожданной свободы“». Но петроградские рабочие не откликнулись на этот призыв, и к дню первого штурма Кронштадта в городе закончились все «волынки».

Почему рабочие не поддержали кронштадтцев? Здесь уместно вспомнить слова героя «Преступления и наказания», отставного чиновника Мармеладова: «...бедность не порок, это истина... Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто». Если дореволюционное положение рабочих можно назвать бедностью, то послереволюционное — даже не нищетой, а чем-то запредельным. О настроении горожан свидетельствовали ежедневные секретные политсводки, которые составлялись в каждом райкоме Петрограда. Практику составления таких сводок, основанных на донесениях информаторов, большевики ввели в обращение сразу после переворота. Информаторы прислушивались к разговорам на улицах, в очередях, на вокзалах, в заводских цехах и чайных и доносили об услышанном.

Это была старая как мир практика, такими же старыми испытанными средствами были подкуп и клевета. Все это пустили в оборот: в газетах и на собраниях внушалось, что власть в Кронштадте захватили белые офицеры, чтобы восстановить монархию, что мятежников финансируют зарубежные белогвардейские центры; что на помощь им идет английская эскадра, а в крепости действуют иностранные шпионы. Все попытки восставших сообщить

в город правдивые сведения пресекались, Кронштадт был блокирован, и береговая охрана задерживала всех, кто оттуда шел. Отправленная 6 марта для мирных переговоров делегация кронштадтцев была арестована, делегаты расстреляны, та же участь постигла следующие делегации. В Петрограде агитаторы убеждали рабочих, что матросы жируют за их счет, отсюда и нехватка продовольствия, и этому верили многие. Сыграла роль и давняя неприязнь к «клешникам». Информаторы доносили: «Отношение к клешникам враждебное»,«часть рабочих проявляла заметное беспокойство о судьбе Петрограда... что в связи с мятежом может выступить Финляндия на стороне мятежников, а это создаст новую войну». В сводках приводились рассуждения рабочих: «Что клешникам не хватает... были одеты, обуты лучше других, а теперь натворили», «матросов надо проучить», «носились с клешниками, вот и доносились!»

Сводка 12 марта свидетельствовала об успехе официальной пропаганды: «Волнений никаких выдающихся не замечено, кроме недовольства на недостаток продовольствия, и это погашается их [рабочих] сознанием, что всему виной мятежники, по ликвидации которых рабочие снова заживут мирной трудовой жизнью». 4 марта Г. А. Князев записывал: «Ночью лучи прожекторов скользили по небу... Так жутко было следить за этими бесшумно бегающими лучами... Теперь скоро булки будут — так думают многие наивные люди». После забастовок рабочие получили невиданно щедрые пайки, в которые входили мясо и рис, а их малолетним детям полагалось по сто грамм шоколада и по банке сгущенки! Разгоревшиеся вокруг пайков страсти вытеснили все остальное, и недавние политические требования были забыты. Всюду «трения на заводах из-за выдачи неравномерных пайков», — доносили информаторы; «нарушают нормальный ход работы споры о распределении обуви и одежды, которые происходят по всем предприятиям. Это больше интересует рабочих, чем все кронштадтские события»; «говорят, власть все равно, уж скорее бы хлеба прибавили». Последние отзвуки «волынок» обернулись трагифарсом: рабочие 4-й

парусиновой фабрики угрожали присоединиться к кронштадтцам, если начальству опять дадут муки, а остальным — нет. Можно ли осуждать рабочих за отступничество или лучше понять их — ведь голод и нищета, как известно, убивают «благородство врожденных чувств».

Между тем в Петроград прибывали войска, руководство операцией было поручено командарму М. Н. Тухачевскому, к концу военных действий под его началом было 45 тысяч человек. В кронштадтском гарнизоне было около 27 тысяч матросов и солдат. Там был создан штаб обороны, в который вошли офицеры гарнизона, а комиссаром был назначен представитель Временного ревкома Яковенко. И все же в Кронштадте надеялись, что дело не дойдет до кровопролития, и послали в Петроград делегацию для мирных переговоров. Но Тухачевский прибыл говорить не о мире. Вечером 7 марта по его приказу был начат артиллерийский обстрел крепости, а на рассвете 8 марта войска пошли на штурм, но восставшие отбили атаку огнем с боевых кораблей и орудий береговой обороны. «Нас бросала молодость на кронштадтский лед», — писал поэт Эдуард Багрицкий. В то утро в атаку пошли три тысячи курсантов военных училищ, и пославшие их на штурм были убийцами: наступая по заснеженному льду без маскировочных халатов, они оказались мишенями, большинство их погибло или было ранено, многие утонули под разбитым снарядами льдом. Цинизм этой бойни был тем отвратительней, что в те же часы на открытии X съезда РКП(б) Ленин объявил о намерении правительства отменить продразверстку и о других уступках, которых требовали кронштадтцы, но в той же речи говорил о необходимости уничтожения мятежников.

В Петрограде царила тревога, по данным политсводок, «разговоры тихие, при приближении замолкают»; «на улицах, как и вчера, боязливость и отсутствие политразговоров»; «интеллигенция молчит»; «обыватель боится». Кое-что все же удалось подслушать, например, 9 марта в очереди толковали: «Комиссаров поприжмут теперь, лучше станет». Князев записал в тот день: «Когда шел... домой — палили из тяжелых орудий. Кто — Кронштадтцы

или Питерцы? Передают, что много убитых и раненых. У всех выжидательное настроение». В толпе рабочих информатору «разговоров уловить не удалось, т. к. идут все быстро, но были слышны возгласы: „так их и надо, и побьют их“, но к кому относились эти слова, выяснить не пришлось». Все это время по приказу Тухачевского шли расстрелы в «неблагонадежных» воинских частях, в которых сочувствовали кронштадтцам или прямо отказывались воевать против них. 11 марта Г. А. Князев записал городской слух: «Кронштадтцы отбили три атаки с большим уроном для наступающих... Наступление ведется так. Впереди высылаются красноармейцы, а за ними курсанты с пулеметами, которые расстреливают всякого, кто не хотел бы идти вперед. Настроение у солдат самое тяжелое. Бросают винтовки, патроны и при первой возможности разбегаются». Но и среди петроградских военных училищ обнаружились «неблагонадежные»: бо́льшая часть курсантов Училища командного состава флота (ныне Военно-морское высшее училище им. М. В. Фрунзе) отказалась выступить против кронштадтцев. «Возникай содружество ворона с бойцом, / Укрепляйся мужество сталью и свинцом», — писал поэт Эдуард Багрицкий. Он прославлял не этих курсантов, но их мужество было высшей пробы, а расплатой стало зловещее «содружество ворона с бойцом»: их погрузили в эшелон и повезли в южном направлении, якобы для службы на Черноморском флоте. «Мне не удалось, однако, найти подтверждения прибытия их в Севастополь или Николаев», — писал историк российского флота С. А. Зонин.

11 марта кронштадтцы отправили в Петроград новую делегацию для переговоров, но и на этот раз делегаты были арестованы, а позже расстреляны. В городе говорили, что из Петергофа видны пожары в стороне Кронштадта, Князев записал услышанное: «Ораниенбаум взят мятежниками, курсанты отказываются идти в наступление и не подчиняются комсоставу, все коммунисты перебиты во время последнего наступления». Шептались, что «подъем курсантов поддерживается тройным пайком и дачей спирта, две дивизии отказались идти в бой, после 9 часов

возят расстрелянных», «что нет у нас снарядов и сил, половина курсантов перетонула подо льдом». Кронштадтцам сочувствовали немногие, горожане не хотели новых потрясений, тем более что 15 марта съезд РКП(б) утвердил постановления об отмене продразверстки и о свободе торговли! А после торжественного закрытия съезда его делегаты отправились в Петроград «давить мятежников».

В Кронштадте понимали абсурд положения: после этих решений съезда борьба теряла смысл. Офицеры штаба обороны предлагали начать наступление на Петроград, где можно было надеяться на поддержку войск гарнизона, но «на такую братоубийственную бойню гарнизон [Кронштадта] не мог пойти. Вместо серьезного вооруженного сопротивления было решено уйти на финскую территорию, о чем ревком и договорился с правительством Финляндии», — вспоминал Иван Ермолаев. Кронштадтцы отказались от продолжения братоубийственной бойни, но большевистские вожди требовали от Тухачевского именно этого — уничтожения восставших. Тухачевский отдал приказ: «В ночь с 16-го на 17-е марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт». На этот раз командарм основательно готовился к штурму, он решил обстреливать крепость химическими снарядами, но из-за неблагоприятной погоды газовую атаку пришлось отменить. Через несколько месяцев у Тухачевского будет возможность применить химические снаряды с отравляющим газом при подавлении восстания тамбовских крестьян.

В ночь на 17 марта войска пошли в наступление, но стремительного штурма не получилось — передовые отряды атакующих прорвались в крепость лишь к 5 часам вечера, и бой продолжился на улицах. Тухачевский приказал «при действиях в городе широко применять артиллерию в уличном бою... Жестоко расправиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления... пленными не увлекаться». Несмотря на численный перевес нападавших, в тот день им не удалось сломить сопротивление кронштадтцев. Ночью бой утих, и из крепости потянулась молчаливая вереница людей: больше 8 тысяч человек уходили в Финляндию. Эта черная цепь на засне-

женном льду всю ночь связывала обреченный Кронштадт с чужим, финским берегом. После их ухода в городе продолжали обороняться отряды прикрытия и те, кто решил остаться. Только около полудня 18 марта они объявили, что сдаются и складывают оружие.

В Петрограде сообщили о подавлении мятежа. «Сегодня на фабриках и заводах было объявлено об успехах красных войск в Кронштадте. Это известие произвело двоякое впечатление. Часть рабочих вместе с коллективистами [коммунистами] шумно изъявляли радость по этому поводу... Другая же часть очень недоверчиво отнеслась к известиям, выражала сомнение, говорила, что эти новости дутые», — доносили информаторы. Г. А. Князев записал 17 марта: «Всю ночь была слышна стрельба, даже стекла тряслись... Сегодня выстрелы особенно слышны... Вечер. Выстрелов почти не слышно. Слухи о падении Кронштадта распространились по городу. Взволнованы все необычайно... Ужас безудержный овладел многими». По официальным данным, атаковавшие войска потеряли при штурме 572 человека убитыми и 3285 ранеными, а осажденные — 1 тысячу убитыми и больше 2 тысяч ранеными. Две с половиной тысячи кронштадтцев было взято в плен. Официальные сведения о числе пленных вызывали сомнения у историков, в различных исследованиях приводятся разные данные. С. А. Зонин писал: «Не только участие в боях, но и само пребывание в Кронштадте и на его фортах в дни восстания квалифицировалось как преступление. Учитывая потери в боях, примерно 13—18 тысяч защитников Кронштадта были пленены». Потом начались суды и расстрелы, пленных расстреливали в Кронштадте и в окрестностях Петрограда, в лесу под Павловском, возле Царского Села, в Ораниенбауме. Тех, кого отправили в концлагеря, тоже не щадили: в концлагере в окрестностях Холмогор привезенных кронштадтцев сразу построили в шеренгу и расстреляли каждого второго. В 1923 году власть объявила «мятежникам» амнистию, и многие из бежавших в Финляндию вернулись на родину, но они недолго оставались на свободе. Председатель Временного ревкома С. М. Петриченко, который ушел в 1921 году в Финляндию, в 1945-м был выдан финнами советским властям. Его не спасло то, что с конца 20-х годов он сотрудничал с советской разведкой, и в 1947 году Петриченко погиб в концлагере.

В марте 1921 года ни в Петрограде, ни в Кронштадте не хотели «братоубийственной бойни», но пора военного коммунизма завершилась кровавой точкой. Поэт Николай Оцуп писал: «Помню жестокие дни после кронштадтского восстания. На грузовиках вооруженные курсанты везут сотни обезоруженных кронштадтских матросов. С одного грузовика кричат: „Братцы, помогите, расстреливать везут!“». Но нету братцев, какие братцы могут быть на бойне? В феврале и марте 1921 года многим казалось, что время словно повернуло вспять: «Глухо долетают издали пушечные выстрелы (ночь наступления на Кронштадт), — вспоминал Оцуп. — Гумилев сидит на ковре, озаренный пламенем печки, я против него тоже на ковре... Мы стараемся не говорить о происходящем — *было что-то трагически обреченное в кронштадтском движении, как в сопротивлении юнкеров в октябре 1917 года*» (курсив мой. — *Е. И.*). В октябре 1917-го матросы убивали курсантов военных училищ, теперь кронштадтцев расстреливали красные курсанты.

День подавления восстания совпал с государственным праздником — днем Парижской коммуны, и рабочие некоторых предприятий устроили по инициативе коммунистов шествия в честь победы над мятежниками. Но политсводки свидетельствовали, что ликования в городе не было: «Ликвидация мятежа в массе населения не произвела того впечатления, какого следовало ожидать. В большинстве случаев это недоверчивость к свершившемуся факту, чаще всего слышатся возгласы, что не могли пехотные части взять морскую неприступную крепость. Ходят упорные слухи, что в лагере белых существует хорошо подготовленный заговор, о котором нам ничего не известно, но который с наступлением весны будет приведен в исполнение. Тогда уж нам так легко не отделаться». В этих слухах была доля истины, только беды стоило ждать не от белых, а от укреплявшейся советской власти,

об этом красноречиво свидетельствовала судьба кронштадтцев — гвардии, передового отряда, «красы и гордости революции». Писатель Леонид Пантелеев через несколько лет после этих событий записал рассказ бывшего матроса: «После Кронштадтского мятежа, в 21 или 22 году — гуляли мы с товарищем по Конногвардейскому бульвару. Идет мимо курсант, на нас не смотрит... поет:

Эх вы, клешники,
Да что наделали —
Были красные
Да стали белые!»

В сознании многих мемуаристов лихолетье военного коммунизма завершилось страшным августом 1921 года, унесшим жизни Александра Блока и Николая Гумилева. Нередко бывает так: в полотно исторических событий эпохи вплетается нить яркой человеческой судьбы, и эта судьба дает имя своей эпохе. В 1921 году в речи «О назначении поэта» Александр Блок говорил о пушкинской эпохе: «Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин». Для многих современников Блока их время определялось его именем; один из них, литератор Леонид Борисов, писал: «И не только одни стихи его есть Блок — именем этим сегодня мы обозначаем эпоху, время, атмосферу и целый мир». Творчество Александра Блока — одна из духовных исповедей России, «самое страшное то, что с Блоком кончилась литература русская», — записал, узнав о его смерти, К. И. Чуковский. Сознание «особости» Блока и его поэзии сложилось у его почитателей еще со времени «Стихов о Прекрасной Даме», оно сопровождало поэта всю жизнь. Поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева вспоминала характерный эпизод: ноябрьская ночь 1914 года в Москве, уже несколько месяцев идет война, получены первые известия о поражениях на фронте, и для многих эти переживания связаны с мучительной тревогой за судьбу России. В компании спешащей по ночному городу молодежи заходит разговор об этих событиях,

а потом о Блоке: «...сначала это спор, — писала она. — Потом просто моя декларация о Блоке. Я говорю громко, в снег, в ночь, вещи для меня пронзительные и решающие. У России, у нашего народа родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она. Ну, мать безумна, все мы ее безумием больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за него отвечаем... я вольно и свободно свою душу даю на его защиту»[1].

Корнея Ивановича Чуковского известие о смерти Блока застало в Холомках Псковской губернии, и он писал: «*Никогда в жизни* мне не было так грустно, как когда я ехал из Порхова... грустно до самоубийства. Мне казалось, что вот в Порхов я поехал молодым и веселым, а обратно еду — старик, выпитый, выжатый... Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто — все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. „Вот едет старик, мертвый, задушенный — без ничего“. Я думал о детях — и они показались мне скукой. Думал о литературе — и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр — не умеющий *по-настоящему* и слова сказать». Со смертью Блока был утрачен смысл его собственной жизни. Многие именно так переживали эту утрату. Нина Берберова запомнила «чувство внезапного и острого сиротства, которое я никогда больше не испытала в жизни... Кончается... Одни... Это идет конец... Мы пропали...»

Но странно — великий поэт и после смерти оставался опорой для современников. Поэт и мистик Даниил Андреев писал в «Розе Мира»: «Я видел его [Блока] летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об этом — не только мое право, но и мой долг. С гордостью говорю, что Блок был и остается моим другом, хотя в жизни мы

[1] В устах этой женщины такие слова не были просто декларацией. Эмигрантская судьба приведет ее во Францию, она станет монахиней — матерью Марией, а в годы Второй мировой войны членом движения Сопротивления. В концлагере Равенсбрюк мать Мария «вольно и свободно дала душу свою», когда пошла на смерть вместо другой узницы.

не встречались, и когда он умер, я был еще ребенком... Я его встречал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка тюремного заключения оказалась способствующей тому, что впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже и в дневную память». Подлинная смерть поэта приходит только тогда, когда умирают его стихи.

Смерти Блока и Гумилева почти совпали по времени, но Блок умер своей смертью, а Гумилев был расстрелян. Александр Блок устал жить, причиной этого была творческая немота — после 1916 года он почти не писал стихов, последними гениальными озарениями стали поэма «Двенадцать» и «Скифы» в январе 1918 года и стихи «Пушкинскому Дому» — в феврале 1921 года. Поэт переживал периоды немоты как трагедию богооставленности, он мучительно размышлял: «Но — за что же „возмездие"? В том числе за недосказанность, за полуясность, за медленную порчу»; «тяжело, как будто кто-то сглазил»; «неужели я вовсе кончен?». В записях последних лет постоянно повторяется: «тоска, скука, усталость, отчаянье», все это наложило отпечаток на облик Александра Блока — его прекрасное лицо потемнело и казалось трагической маской. Блок медленно и мучительно угасал, последний период его жизни был выстроен по законам трагедии: духовный подъем после сумеречного упадка, прощальное слово «О назначении поэта» и смерть. Он прочел речь «О назначении поэта» 11 февраля 1921 года, в пушкинские дни на вечере в петроградском Доме литераторов, и она рассеяла пелену «полуясности», отделившую Блока после поэмы «Двенадцать» от многих друзей и почитателей. «Автор „Двенадцати", — писал Ходасевич, — завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие — свободу, хотя бы „тайную". И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком». Пожалуй, никто еще не говорил о судьбе поэта с такой трагической простотой: «...Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура... Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны». Блок закончил говорить и сошел со сцены, словно не слыша овации зала. Никто тогда не мог предположить, что это его прощальное слово.

Казалось, ничто не предвещало скорой развязки: Александру Блоку было сорок лет, он всегда отличался завидным здоровьем, а недомогания последних лет — сердечные приступы, цинга, слабость — были обычными в городе больных, измученных голодом людей. Но на его творческом вечере 25 апреля 1921 года в Большом драматическом театре предчувствие прощания стало явным. Он начал вечер со стихов о России — «На поле Куликовом». Каждое стихотворение вызывало шквал аплодисментов в переполненном зале, Блок неподвижно стоял, дожидаясь тишины, и в синеватом свете на сцене казался почти призрачным. По словам Ходасевича, «хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал) — все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации. Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, — и он, как актер, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было». Это было его последнее выступление в Петрограде.

В начале мая Блок поехал в Москву, где состоялось несколько его вечеров, на одном из них поэт Михаил Струве крикнул из зала, что стихи Блока мертвы, да и сам автор мертвец. Александр Блок слушал это, стоя за кулисами, и негромко сказал: «Правда. Правда...» Он упомянул об этом скандале в разговоре с издателем С. М. Алянским, и того поразило равнодушие Блока; «больше того, — вспоминал Алянский, — когда я сказал что-то нелестное о выступавшем, Ал. Ал. взял его под защиту: он стал уверять меня, что человек этот прав. — Я действительно стал мертвецом, я совсем перестал слышать». После воз-

вращения из Москвы он слег и больше не встал с постели. «Не странно ли, — размышлял Ходасевич, — Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи — и никто не называл и не умел назвать его болезнь... Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно... поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл». Александр Блок умер 7 августа 1921 года. Его хоронили на Смоленском кладбище, несколько сотен людей шли от дома поэта за его гробом, «и наверное не было в этой толпе человека, который бы не подумал — хоть на одно мгновение — о том, что умер не только Блок, что умер город этот, что кончается его особая власть над людьми и над историей целого народа, кончается период, завершается круг российских судеб, останавливается эпоха, чтобы повернуть и помчаться к иным срокам», — вспоминала Нина Берберова. Александр Блок говорил, что с Пушкиным умирала его культура, а с его собственной смертью завершилась эпоха «Серебряного века».

«Гроб Александра Александровича Блока мы принесли на кладбище на руках, — писал поэт Николай Оцуп. — Ныло плечо от тяжелой ноши, голова кружилась от ладана и горьких мыслей, но надо было действовать: Гумилева не выпускают. Тут же на кладбище... сговариваемся идти в Чека с просьбой выпустить Гумилева на поруки Академии наук, Всемирной литературы и еще ряда других не очень благонадежных организаций». Николая Степановича Гумилева арестовали в Доме Искусств в ночь на 3 августа, весть об этом разнеслась по городу, в телефонных разговорах друзья сообщали о его «болезни» и поначалу были уверены, что это недоразумение. В июле — начале августа 1921 года в Петрограде таким же образом «заболело» больше тысячи человек. Уже тогда у интеллигенции сложился условный язык, бытовавший до конца советской эпохи: слова менялись, но персонажи оставались неизменными: в 30-х годах доносчиков называли «меценатами», позднее «стукачами»; в 30-х годах советскую власть величали «Софьей Власьевной», в 70-х годах — «Софьей Васильевной». В послереволюционное

время петроградская интеллигенция говорила о большевистской власти безлично-презрительно — «они». «Сегодня во „Всемирке“... — записал 11 ноября 1919 года К. И. Чуковский, — Горький... говорил с аппетитом. — „Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы *они* (курсив мой. — *Е. И.*) либо кормили, либо — пускай отпустят за границу. Раз *они* так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах“». М. Л. Лозинский выговаривал Гумилеву после его очередной фрондерской выходки: «Только не задевай „их“. Оставь „их“ в покое!» И вот теперь его увели из Дома Искусств на Гороховую, 2...

Дом № 2 по Гороховой улице надо помнить так же, как крейсер «Аврора»: 22 декабря 1917 года в этом здании разместилась только что образованная Всероссийская Чрезвычайная комиссия — ВЧК. Если роль «Авроры» свелась к нескольким выстрелам, то эта организация, временами меняя названия, обеспечивала прочность большевистской власти во все время ее правления. В марте 1918 года ВЧК перебралась вместе с правительством из Петрограда в Москву, а здание на Гороховой, 2, стало резиденцией Петроградской ЧК. «Проезжая по Адмиралтейскому проспекту в трамвае, даже незнакомые не могут удержаться, чтобы не указать на здание бывшего Градоначальства: Гороховая, 2... Времена инквизиции и Иоанна Грозного возвратились. О какой тут свободе говорить. Все как-то стыдятся и вспоминать сейчас об этом», — записал в августе 1918 года Г. А. Князев. Петроградцы расшифровывали аббревиатуру ВЧК как «всякому человеку капут»; по слухам, пытки и истязания там не уступали средневековым.

Друзья Гумилева не могли понять причины его ареста, всем было известно, что его главным интересом была поэзия и что он далек от политики. Критик А. Я. Левинсон, работавший с Гумилевым во «Всемирной литературе», вспоминал: «О политике он почти не говорил: раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали: в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы...»

Возможно, причина была в каких-то его неосторожных словах на выступлениях и лекциях или в том, что он не скрывал своего патриотизма и религиозности? Никому не приходило в голову, что Гумилев мог быть замешан в каком-то заговоре, он трезво оценивал обстановку, не верил в возможность перемен и не раз говорил, что все тайные организации в конечном счете лили воду на «*их* мельницу», и участие в них было глупостью. Весной 1921 года он подумывал покинуть Россию, говорил: «Вот наступит лето, возьму в руки палку, мешок за плечи и уйду за границу: как-нибудь проберусь». Но в Петрограде была его настоящая жизнь, он много и увлеченно писал и был уже на пороге славы, и все откладывал побег, вместо этого отправившись в июле в Севастополь. Затем, «как ни в чем не бывало, вернулся в Петербург, продолжал свою деятельность лектора, наставителя поэтов... — писал художественный критик и историк искусства С. К. Маковский. — Ночью на 3-е августа люди в кожаных куртках куда-то повели его... Никто его не видел больше».

Из тюрьмы Гумилев передал письмо жене, просил прислать табак и том сочинений Платона и уверял, что беспокоиться нечего. Те же заверения услышали члены депутации Союза писателей, когда пришли к председателю ПЧК Б. А. Семенову просить об освобождении поэта. Семенов сказал им, что Гумилев арестован за должностное преступление, но, вспоминал Николай Оцуп, «один из нас ответил, что Гумилев ни на какой должности не состоял. Председатель Петербургской Чека был явно недоволен, что с ним спорят. — Пока ничего не могу сказать. Позвоните в среду. Во всяком случае, ни один волос с головы Гумилева не упадет». А через несколько дней имя Гумилева прочли в списке расстрелянных по «делу Таганцева». Причина гибели Николая Степановича Гумилева много лет оставалась загадкой, в литературных кругах бытовало множество версий: о подосланных к поэту провокаторах, о «севастопольском следе», назывались разные имена. По свидетельству поэта Семена Липкина, Анна Ахматова «точно знала, что Гумилев в таганцевском заговоре не участвовал. Более того, по ее словам, и заговора-то не было, его выдумали петроградские чекисты для того, чтобы руководство в Москве думало, что они не даром хлеб едят».

В конце июля 1921 года «Петроградская правда» сообщила о раскрытии заговора «Петроградской народной боевой организации» (ПБО), якобы входившей в некий «Областной комитет Союза освобождения России». В городе шли аресты «сотен членов боевых и террористических организаций», людей загребали не спеша, широким бреднем. Арестовывали офицеров командного состава Балтфлота и преподавателей военно-морских учебных заведений, студентов и профессоров высшей школы; среди прочих был арестован академик В.И. Вернадский, но благодаря энергичному ходатайству Академии наук освобожден. О Гумилеве в опубликованном списке расстрелянных по делу ПБО сообщалось, что он «содействовал составлению прокламаций», «обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов» и «получал от организации деньги на технические надобности». Тогда и позже эти сведения ставились под сомнение, однако сохранились воспоминания двух близких к Гумилеву людей, которые видели прокламации, написанные им в дни Кронштадтского восстания, хотя в следственном деле эти улики отсутствуют. Через десять лет после его гибели филолог Б. П. Сильверсван сообщил в письме писателю А. В. Амфитеатрову, что «Гумилев, несомненно, принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл там видную роль... в конце июля 1921 года он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие (каковое я немедленно и от всей души ему дал), а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию», — это свидетельство подтверждает участие Гумилева в заговоре. Но дело в том, что никакого «террористического заговора» по сути не было: в организации объединились люди, считавшие, что в момент свержения большевистского режима (события в стране убеждали, что этот момент близок) они не должны оставаться в стороне. Догадка Ахматовой о том, что «заговор» был заме-

шан на провокации чекистов, верна — в организации действовали провокаторы из агентуры ПЧК.

Но главная роль в петроградских событиях принадлежала товарищу из Москвы — особоуполномоченному ВЧК Якову Агранову, личности выдающейся даже в мрачном ряду подонков из этого ведомства. Этот молодой человек был важным советским чиновником — секретарем Совета Народных Комиссаров, и параллельно подвизался в ВЧК, где мог реализовать свои специфические таланты. Его коньком была провокация, а затем «раскрытие» и ликвидация контрреволюционных организаций и заговоров. После ареста профессора-географа В. Н. Таганцева Агранов стал требовать от него признания в террористической деятельности ПБО. В октябре 1922 года выходившая в Париже эмигрантская газета «Последние новости» опубликовала две статьи, проливавшие свет на методы Агранова: «С ареста [Таганцева] Агранов старался расположить в свою пользу Таганцева, но ему это не удавалось, Таганцев молчал... После 45-дневного сидения в „пробке“[1] Таганцев был вызван на решительный допрос. Агранов после долгой беседы предложил пойти на компромисс: Таганцев дает полное сознание и выдает всех причастных к делу лиц, Агранов гарантирует облегчение участи арестованных. Таганцев колебался... тогда Агранов в резкой форме заявил, что если не получит согласия, то расстреляет всех без разбора». Видимо, это убедило Таганцева подписать составленное Аграновым «признание», где, в частности, говорилось: «Я, Владимир Николаевич Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего... Все сделаю для облегчения участи участников нашего процесса». Агранов, в свою очередь, обязался «закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд, где будут судить всех обвиняемых»: «Я, Агранов, обязуюсь, в случае исполнения договора со стороны Таганцева, что ни к кому из обвиняемых, как к самому Таганцеву, так и к его помощникам, даже равно как и к

[1] «Пробка» — одиночная камера.

задержанным курьерам из Финляндии, не будет применена высшая мера наказания. Петроград, 28 июля 1921 г.». Редакция газеты «Последние новости» оговаривала, что достоверность этих документов требует проверки, но они, несомненно, в стиле Агранова. По тем же дьявольским рецептам он будет в дальнейшем стряпать следственные дела патриарха Тихона, Промпартии, Зиновьева—Каменева, Радека—Пятакова и многие другие. Агранов «специализировался» на интеллигенции, в 1922 году он составлял списки деятелей культуры для высылки за границу, всегда водил дружбу с литераторами, был тесно связан с четой Бриков, приятельствовал с Маяковским, Пильняком. Его гнусная жизнь завершилась 1 августа 1938 года пулей в затылок в подвале родного ведомства.

Существует легенда, что на допросах Гумилева Агранов беседовал с ним о литературе; по ряду свидетельств, всех участников таганцевского дела пытали. 1 сентября 1921 года «Петроградская правда» вышла с сообщением: «По постановлению Петроградской Губ. Чрезвычайной Комиссии от 24-го августа с. г. расстреляны следующие активные участники заговора в Петрограде», затем следовал список. Г. А. Князев записал в тот день в дневнике: «Целый день под страшным впечатлением опубликованного синодика. По постановлению ВЧК убито 61 человек. Подходят к стенам домов и читают этот страшный синодик... Читают молча. Батюшка подошел, встал рядом со мной и читает. Как-то весь съежился, еще меньше стал. Пытался заговорить с ним. Не пришлось. Разве можно разговаривать об этом с посторонним человеком». В Казанском соборе отслужили панихиду «по убиенным», туда пришло много людей, среди них были мать и вдова Александра Блока, и стоявшая поодаль от других Анна Ахматова. Друзья Гумилева заказывали панихиды по «убиенном рабе Божьем Николае» и в других петроградских храмах. Они много лет по крупицам собирали сведения о том, что происходило в застенках на Гороховой. Неизвестно даже точное место захоронения казненных — где-то в лесу под Бернгардовкой. Через несколько лет Ахматова пришла на указанное ей место и увидела два участка осевшей земли, изрытой лисьими норами.

Никакого суда, конечно, не было, обреченным оглашали приговор уже на месте казни. Статья в газете «Последние новости» описывала заведенный в петроградской ЧК порядок: в нижнем этаже дома на Гороховой было помещение с табличкой «Комната для приезжающих» — камера смертников. «Жильцы долго не засиживаются, проводят день и ночь, а в следующую ночь от 3 до 4 часов производится отправка на место казни... Женщины и мужчины находятся вместе. В 1921 году, в дни больших расстрелов, комната бывала битком набита приговоренными». На них надевали наручники и ночью увозили в грузовиках на артиллерийский полигон по Ириновской железной дороге. За грузовиками шли легковые машины, «в них размещаются лица, тем или иным способом участвующие в казни. Здесь непременно находится следователь, который в последний момент, когда уже приговоренный стоит на краю ямы, задает последние вопросы, связанные с выдачей новых лиц. Такие вопросы обязательно задаются каждому приговоренному. Тут же помещаются 2—3 спеца по расстрелам, которые выстрелом в затылок из винтовки отправляют на тот свет. Кроме них, 5—6 человек... со специальными обязанностями — снимать наручники, верхнее платье, сапоги и белье и подводить жертву к стрелку-палачу».

В ночь на 25 августа был казнен 61 человек, из них 16 женщин. Их гибель со временем обросла легендами, говорили, что грузовик, в котором везли Гумилева и других приговоренных, по пути сломался, и им пришлось стоять в кузове, дожидаясь, когда его починят. Почти все казненные были молоды: больше половины из них были в возрасте от 19 до 30 лет, 14 человек в возрасте от 31 до 40 лет (среди них В. Н. Таганцев — 31 год и Гумилев — 35 лет). Убивали семьями: среди расстрелянных супруги Таганцевы, Эубер, Акимовы-Перец, Гизетти, Комаровы, брат и сестра Перминовы; о вине жен сообщалось: «сообщница во всех делах мужа». Осиротевших детей отправили в специальные детприемники, маленькие дети Таганцевых попали в разные детские дома, откуда их с трудом вызволили родственники. Опубликованный в «Петроградской правде» перечень «преступлений» казненных не мог убедить горожан в существовании реального заговора, но это не волновало Агранова и петроградских чекистов, их целью было устрашение. Об этом недвусмысленно заявил член президиума ВЧК Менжинский: «Виноваты [они] или нет — неважно, а урок сей запомните!»

Историки получили доступ к документам по делу Таганцева лишь в середине 90-х годов. 382 тома следственных материалов подтвердили правоту тех, кто не верил в заговор: «сценарий» дела «Петроградской боевой организации» был создан Аграновым, и по этому обвинению казнили больше 100 человек. Преподанный властью урок вызвал у петроградской интеллигенции даже не страх, а ясное предчувствие грядущего. После мартовских послаблений забрезжила надежда, что жестокость военного коммунизма была временной и теперь, когда власть укрепились, вернется нормальная жизнь. Для писателей смерти Блока и Гумилева обозначили черту, за которой требовалось определиться: или эмиграция, или готовность работать в новых советских условиях. Нина Берберова писала: «...тот август — рубеж. Началось „Одой на взятие Хотина“ (1739), кончилось августом 1921 г., все, что было после (еще несколько лет), было только продолжением этого августа: отъезд Белого и Ремизова за границу, отъезд Горького, массовая высылка интеллигенции летом 1922 года, начало плановых репрессий, уничтожение двух поколений — я говорю о двухсотлетнем периоде русской литературы; я не говорю, что она кончилась, — кончилась эпоха».

Посмертные судьбы Блока и Гумилева были разными. Поэзия Александра Блока не попала под полный запрет, однако идеологи советской культуры неизменно подчеркивали ее чуждость. В десятую годовщину смерти Блока Луначарский писал о нем: «Последний поэт-барич мог петь славу даже деревенскому красному петуху, хотя бы горела его собственная усадьба... Но революция пролетарская, но ее железная революционная законность, ее насквозь ясное просветительство... ее крепкий и напряженный труд по составлению нового планового хозяйства —

все это никак не могло войти в мозг и сердце последнего поэта-барича». Имя Гумилева было вычеркнуто из истории русской литературы XX века, его стихи были под запретом. Но о нем не забывали. В 20-х годах Маяковскому не раз приходилось на выступлениях отвечать на записки из зала: «Вот тут пишут, что Гумилев хороший поэт. Это неверно: Гумилев хороший контрреволюционный поэт». В 60-х годах ленинградские деятели культуры предприняли попытку «реабилитации» поэта, из-под спуда была извлечена старая байка, что Ленин-де не велел расстреливать Гумилева, да запоздала телеграмма вождя. Появилась еще одна версия о причине его гибели: некий офицер, знакомый Гумилеву по фронту, пытался вовлечь его в антисоветскую организацию, тот отказался, но «предрассудки дворянской офицерской чести не позволили ему пойти с доносом».

Эти романтические истории не произвели впечатления на начальство, оно рассуждало просто: раз расстрелян, значит, враг; ленинградский обком партии запретил публикацию книги «белогвардейца». Замечательно, что после этой неудачи ленинградские писатели кляли не обком, не убийц Николая Гумилева, а его друзей-эмигрантов, которые обсуждали в мемуарах возможность участия поэта в заговоре.

Вперед — к нэпу!

Прелесть запустения. Кладоискательство. «Сооружение для ног». Юные робинзоны. Граждане и дамочки. Ленин как законодатель моды. Барахолки. Большие надежды

«Там, где все было заключено в камень и сковано железом, произошли изменения, получились промежутки и благодаря этому появилась трава, появились цветы, — писал искусствовед С. Яремич в предисловии к книге „Петербург в двадцать первом году в графике М. Добужинского“. — Есть ограниченные люди, которых шокирует, что на улицах нашего города пасутся козы и лошади и мирно бродят никем не тревожимые птицы, и вообще весь этот мир природы и прелесть деревенской тишины, докатившиеся до огромного города». Прелесть деревенской тишины в огромном городе можно назвать одним словом — запустение. С Петербургом такое уже случалось: вскоре после смерти основателя большинство жителей покинуло город, он был заброшен и казался фантастической декорацией — несколько десятков великолепных зданий среди пустырей и болот. И теперь, спустя двести лет, город поражал пустыми пространствами площадей, безлюдием улиц, темными окнами огромных домов. По замечанию Анны Ахматовой, Петербург «вообще необыкновенно приспособлен для катастроф. Эта холодная река, над которой всегда тяжелые тучи, эти угрожающие закаты, эта оперная, страшная луна... Черная вода с желтыми отблесками света... Все страшно».

Казалось, в судьбе города, даже во времена его расцвета и торжества, таилось предчувствие гибели. Автор работ о культуре Петербурга В. Н. Топоров связывал эту особенность Петербурга с его обостренной «чуткостью к неблагоприятному». В послереволюционную пору все неблагоприятное сошлось воедино, и город оказался на грани вымирания — за годы гражданской войны его население сократилось в три с лишним раза (в 1917 году здесь было 2,3 млн жителей, а к концу 1920 года — 722 тысячи).

К началу 20-х годов в Петрограде явственно ощущался разлом эпох — прежняя жизнь была разрушена, а будущее оставалось неясным, и город замер: в не замутненном заводскими дымами воздухе пахло морской свежестью, в садах и скверах пели соловьи, на центральных улицах порхали бабочки и стрекотали кузнечики. «К этому времени, — вспоминал В. П. Семенов-Тян-Шанский, — улицы Петрограда заросли травой с цветами. У нас между Большим и Средним проспектами на 2-й — 3-й линии образовалась посреди улицы от лопнувшей водопроводной трубы узкая, местами расширявшаяся постоянная лужа... В ней не только в изобилии завелись комары, но были также и лягушки, кваканье которых можно было слышать. В. Л. Комаров написал интересную научную работу „Флора петроградских улиц в 1918—1920 гг.“, но цензура не пропустила ее к печатанию». Городской водопровод во многих местах пришел в негодность, в большинстве домов не было электрического освещения, и пришлось снова вернуться к керосиновым лампам. Зимой обитатели выстуженных квартир ютились в одной комнате, согревались у печки-буржуйки, для сохранения тепла окна завешивали одеялами, и теплившаяся за темными окнами домов жизнь казалась едва заметной. На улицах не было освещения, никто не чистил тротуаров, не сбрасывал с крыш снег, поэтому прохожие старались держаться подальше от домов — ходить по проезжей части было безопаснее, чем по тротуару, ведь транспорта почти не было.

Объявление новой экономической политики (НЭП) породило в городе фантастические слухи, Г. А. Князев записал в июле 1921 года: «Сейчас период государственного капитализма. Государство отдает в аренду частным лицам фабрики, заводы, совхозы и прочее. Открываются магазины. Идут всевозможные слухи о том, что Петроград и бо́льшая часть России будут отданы в сферу влияния иностранных государств. Говорят, что та часть Петрограда, где мы живем, отходит к английским инженерным компаниям, которые будут приводить в порядок дома, чинить мостовые и т. п. ...Хорошее наступит времечко». Горожане обменивались свежими новостями: говорят, Зиновьев и его подручные выехали из номеров гостиницы «Астория», они готовятся, прихватив награбленное, бежать за границу, а Питер объявят свободным городом, и все вернется на свои места! «Неужели все жертвы даром, неужели все бывшее только „неудачный опыт“? — размышлял Князев. — Ведь все-таки верилось во что-то. И вдруг — хуже, чем у разбитого корыта». Он напрасно беспокоился, большевики вовсе не собиралась прекращать свой «опыт», их временное отступление было вынужденным маневром. Между тем все заметнее становились перемены — оживилось движение городского транспорта, в домах появился электрический свет. «На мостах и на некоторых улицах зажглись фонари, — писал Князев в сентябре 1922 года. — Все лето чинили мостовые, убирали грязь... Попал тут на Невский: трамваи, автомобили, конные экипажи, открытые магазины. Через Садовую переходим с осторожностью. А ведь было время, когда город замер и так жутко было на тихих и опустевших улицах».

Петроград быстро заполнялся новыми жителями, с 1920-го по 1923 год его население увеличилось в полтора раза, теперь в городе жило больше миллиона человек. Переселенцы чувствовали себя неуютно, как люди, которым приходилось обживать гигантский парадный зал — наверное, то же чувство испытывали варвары в захваченном Риме. По какому-то негласному правилу они запирали и забивали досками парадные входы в дома, предпочитая ходить по узким лестницам черного хода; вензеля и гербы на фасадах зданий и оградах набережных были выломаны или обиты кусками жести. Торцовые мостовые

находились в плачевном состоянии, деревянные шашки и доски под ними были растащены на растопку, и движению транспорта по Невскому проспекту и центральным улицам мешало множество образовавшихся ям и рытвин. Ямы засыпали щебнем, который добывали тут же, на соседних улицах — для этого разбирали булыжные мостовые и дробили на щебень булыжники. Горожане предпочитали ходить по этим щербатым мостовым, а не по тротуару с треснувшими плитами, хотя «милицейские не дают ходить публике по „пришпекту“, согласно приказа загоняют прохожих на панели, — записывал Г. А. Князев. — А ходить по панелям — значит подвергнуть себя смертельной опасности: то тут, то там только и слышишь: обвалился кусок карниза, упала штукатурка». Так что недисциплинированность граждан свидетельствовала об их осторожности, а не о дикости.

Хотя дикости хватало с избытком — нравы немыслимо упростились; по свидетельству Князева, «в пруду у Летнего сада сперва купались мальчишки, потом стали купаться матросы, красноармейцы, рабочие. Тут же на глазах всех гуляющих раздеваются на бережку и барахтаются в воде... Ну чем не идиллия!» Семенов-Тян-Шанский вспоминал другую идиллическую сцену: «Я как-то в жару при безоблачном небе посреди бела дня был свидетелем такого случая на углу Сенатской площади и набережной Невы. Из Невы вышел при публике совершенно голый взрослый человек без трусов и направился в подворотню или одну из дверей сенатского здания. Очевидно, этот гражданин, купаясь в Неве, опасался, как бы у него не украли одежды, а потому, ради ее сохранности, попросту оставил ее дома на квартире». Действительно, вполне легко могли спереть одежонку. А то, что гражданин разгуливал нагишом в столь прославленном месте, тоже понятно — запах там был самый «идиллический». В июле 24-го года корреспондент «Красной газеты» писал о невыносимом смраде возле «Медного всадника»: «На набережной Невы, на оставшемся от временного деревянного моста устое приспособлена выгрузка нечистот из бочек ассенизационного обоза в металлические барки...

Необходимо организовать вывоз нечистот, не прибегая к такому безобразию, как разгрузка содержимого выгребных ям среди дня на Сенатской площади».

Для охраны исторических памятников петроградские ученые и деятели культуры объединились в общество «Старый Петербург»; по их инициативе отдел коммунального хозяйства Петроградского совета (Откомхоз) занялся восстановлением сломанных и разобранных оград вдоль рек и каналов. Но разве за всем углядишь! «Красная газета» постоянно сообщала о случаях вандализма в городе и окрестностях. Весной 1923 года ее корреспондент писал: «Следует обратить внимание комиссии по „охране“ памятников на ужасное состояние, в котором находится „Медный всадник“... — буквы сбиты, конь Всадника и нижние части фигуры поцарапаны. Пишущему эти строки пришлось разогнать целую ватагу лиц, вооружившихся ломом и собиравшихся делать какие-то эксперименты с бронзовой змеей под копытами лошади монумента».

Еще хуже обстояли дела в прославленных пригородных дворцах и парках Царского Села, Павловска, Гатчины, Ораниенбаума: «Детское Село... Каждый памятник носит на себе следы своеобразного обывательского внимания. Большинство фигур в парке — с отбитыми носами, пальцами, грудями. С мостов сброшены вниз мраморные перила, стекла выбиты всюду. В парке беседка — за нею вбита в землю мраморная плита с надписью, прочесть которую невозможно, так как плита превращена в уборную. „Уборные“ — в мечети, беседках, на террасах, в фонтанах, в китайских домиках... В ужасном состоянии находится статуя Геркулеса в Александровском саду. Весь торс статуи покрыт красными пятнами от кирпичей, которые бросают мальчишки, старающиеся уничтожить это произведение искусства». В марте 1924 года газета сообщила, что «в парке гор. Слуцка (б. Павловск) похищены статуи оленей, стоявших около Розового павильона. Статуи, по-видимому, увезены местными крестьянами». Тяга местных крестьян к прекрасному не знала преград, в деревенских сараях со временем отыщутся не только скульптуры, но и парадные кареты, и детская коляска Александра II, и еще много чего по мелочи.

В 1926 году специальная комиссия, в которую вошли представители администрации и ученые Петрограда, ходатайствовала о реставрации «Медного всадника»: «Скат скалы, превращенный детьми в каток, отполированный, блестит, у змеи выломано жало, а хвост ее стерт и сверкает, как хорошо начищенная кастрюля. Туристы оставили воспоминания о себе в виде инициалов и надписей на животе коня. С уходом комиссии „вредители“ из местных шкетов снова густо облепили памятник». По предложению комиссии вокруг «Медного всадника» восстановили убранную ограду. А вот бронзовую ограду вокруг Александровской колонны пришлось снять, потому что ее разломали тогдашние «охотники за цветными металлами»: к 1926 году в ограде не хватало 30 прутьев, 172 бронзовых орлов и 112 бронзовых пик — все это попадало к скупщикам, а потом, скорее всего, в переплавку. Но стоит ли пенять на вандализм граждан, когда сами власти действовали в том же духе? После революции в городе были убраны и отправлены в переплавку памятники Петру I «Царь-плотник» и «Царь, спасающий утопающих рыбаков», монумент великого князя Николая Николаевича, бюсты императоров Александра I и Александра II. В 30-х годах этот перечень пополнился еще рядом памятников.

В начале 20-х годов многих граждан охватил азарт кладоискательства, и первыми в этом деле стали городские власти. Борис Лосский, сын профессора Петербургского университета, философа Н. О. Лосского, вспоминал, как в 1922 году «пошли систематические поиски драгоценных металлов и камней в царских и других богатых могилах. Об их результатах общественность осведомлена не была, что способствовало рождению самых разнообразных и нелепых легенд. Гробница Александра I оказалась (как действительно известно) пустой. Что же до Петра Великого, то его грозный лик настолько устрашил комиссаров, которые собрались было отколоть от его камзола рубиновый или янтарный аграф, что они бросились в бегство». В городе помнили о вскрытии гробниц в Петропавловском соборе, хотя позднее власти категорически отрицали этот

факт кощунства. Знаменитый астроном и многолетний узник ГУЛАГа Н. А. Козырев рассказывал, что встретил в концлагере одного из участников этой акции, который подтвердил, что гроб Александра I оказался пустым.

Но в царских могилах сокровищ не сыщешь, это не гробницы фараонов. Куда перспективнее было обследование сейфов в квартирах, которые до революции занимали петербургские богачи; губфинотдел методично обследовал такие квартиры, и газеты сообщали о находках, например: «Вскрыт большой несгораемый шкаф в доме, принадлежавшем ранее княгине Вандбольской. В шкафу найдены золотые и серебряные вещи, часы, браслеты, цепочки, переписка и документы Вандбольской». Кому нужны документы этой княгини, когда ее и след простыл? Но сотрудники губфинотдела терпеливо искали и находили — здесь браслетки, там камешки, улов невеликий, но все-таки... Бывали у них и разочарования: «При вскрытии одного из несгораемых шкафов представители Губфинотдела нашли бархатный бювар художественной работы. В бюваре заключена грамота о поднесении б. обер-прокурору Синода Победоносцеву городским управлением города Сарапуля звания почетного гражданина города». Тьфу на этот бювар! Газетные сообщения о тайниках и спрятанных ценностях волновали умы граждан, и, вселяясь в барские квартиры, они простукивали стены и вскрывали полы в поисках клада. В ноябре 1923 года журналист Э. Гард писал: «После обнаружения ценностей, запрятанных бежавшей буржуазией — в доме Сумарокова, на Песочной, на Фонтанке — мания кладоискательства завладела обывателем. Перерыли едва ли не все питерские руины. — На Коломенской, говорят, нашли клад: золотые монеты екатерининских времен. — Я слышал, говорили, пачку „керенок“... О кладе на Коломенской говорят последние дни. На рынке, в трамвае, в кинематографе, даже не „панельной бирже“. Едемте же на Коломенскую! Разоренный дом на углу Коломенской и Свечного. Развалины: зияющие дыры окон, заваленные дыры бывших дверей, мусор, кирпичи, зловоние. Около руин бродят унылые фигуры с видом потерявших что-то людей. Это — кладоис-

катели». Это бедные, замороченные граждане — герои Михаила Зощенко.

Куда удачливее были мальчишки — они, обследуя заброшенные здания, набережные, памятники, чувствовали себя первооткрывателями таинственного мира. Для детей, родившихся ко времени революции, прежняя жизнь Петербурга была чем-то вроде погибшей цивилизации, и на их глазах остатки этой цивилизации уходили в небытие: разрушались недостроенные здания, старьевщики за бесценок скупали фраки, цилиндры, корсеты, женские шляпы с огромными полями. Семья ленинградца П. П. Бондаренко приехала в город в 1922 году, когда ему было семь лет, и поселилась в доме на Большой Морской улице. Рядом с этим домом было недостроенное здание банка, который начали возводить в 1915 году, да не закончили из-за войны и революции: «Возвели наружные стены, стены между залами и помещениями. Все делалось добротно: из кирпича и бетона... Так и стояла перед нашими окнами эта заброшенная громадина. Но какое раздолье для восьми-девятилетних исследователей-путешественников! Залезаем внутрь, бродим по бесчисленным помещениям первого этажа и подвалам. Своды эхом отражают топот ботинок». По лестницам без перил мальчишки поднимались под самые своды, выбирались наружу, и весь город был перед ними как на ладони, а во время наводнения 1924 года вода залила первый этаж здания и там можно было плавать на плоту. «Проплывая по бесчисленным сводчатым помещениям, я чувствовал себя настоящим путешественником. В то время я прочитал „Потонувший лес“ Майн Рида, его герои как раз пробирались по лесным зарослям на лодках», — вспоминал Бондаренко. Заброшенная стройка простояла больше десяти лет, прежде чем в 1928 году началась реконструкция здания (ныне Текстильный институт), рабочие обтесывали гранитные глыбы, вручную носили наверх кирпичи, никакой техники не было, а на заброшенных стройках истлевали «доисторические» подъемные краны. Мальчишки бегали на Неву смотреть на полузатопленный у набережной Лейтенанта Шмидта пароход. «Часть его конструкций —

труба и еще какие-то большие куски железа — свалена прямо на мостовую... Особенно, конечно, впечатлял вид махины, торчавшей из воды. Мы знали, что в советское время пароход назвали „Народовольцем“ и что лежит он здесь с 1919 года. Пролежал он так до 1926 года», — писал П. П. Бондаренко. Заброшенные громадины, затонувшие махины — остатки исчезнувшего загадочного мира, так же, как автомобильное кладбище в Почтамтском переулке, где догнивали невиданные старинные автомобили. «Кожаные сиденья, колеса с деревянными спицами и спицами типа велосипедных, латунные ацетиленовые фонари... груши-клаксоны. Глаза разбегались. И по всему этому можно было спокойно полазить». Можно было обследовать изнутри Ростральные колонны, на которых на памяти тех мальчишек никогда не зажигался огонь.

Каждый знак того, что город оживает, становился важным событием. Борис Лосский вспоминал, как на Невском проспекте он и его друзья «были поражены зрелищем едущего навстречу трамвая, подобия автобуса, и пришли в такой восторг от этого свидетельства возрождения „материальной культуры“, что оптимистически пожали друг другу руки». Менее приятным новшеством стало возобновление платы за проезд, ведь за годы военного коммунизма об этом забыли, тогда транспорт был бесплатным, хотя пассажирам тех времен не позавидуешь: трамваи ходили очень редко, и люди висели на подножках и на «трамвайной колбасе» — буферах вагонов. «Ведь было же на земле такое государство, где можно было жить без денег, — размышлял Г. А. Князев. — Я около года никогда не имел при себе денег... Теперь опять возвращаются старые времена. Деньги снова начинают играть важную роль». Вспомнились и старые обращения, приказчики в магазинах называли покупателей «барин», «барыня», но самым распространенным было обращение «гражданин» и «дамочка». По свидетельству Князева, эти слова вошли в городской обиход к 1920 году: «„Ну, выходите поскорее, граждане“, — говорят в трамвае. У некоторых, когда говорят это слово „граждане“, появляется саркастическая улыбка». Тогда же женщин, даже из просто-

народья, стали называть «дамочками»: «Дамочка, скажите, пожалуйста...» Безличное обращение «товарищ» не привилось, оно сохранялось только в партийных кругах и в официальной речи. Еще одним наглядным свидетельством перемен стало появление новых вывесок. При военном коммунизме был установлен специальный налог на вывески, и большинство их сняли или закрасили, что, по мнению эстетов, пошло городу на пользу. Но теперь магазины, рестораны, мастерские опять обзавелись яркими вывесками, порой с неожиданными названиями, например, «Сапожная мастерская имени Анри Барбюса».

Шлягером зимы 21/22 года в Петрограде стала песенка:

Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимние холода?
У тебя нет теплого платочка-точка!
У меня нет зимнего пальта!

Ох, какой актуальной была эта песенка! За несколько лет горожане чудовищно обносились и выглядели скопищем фантастических оборванцев. Особенно плохо у них было с обувью. Обувная проблема возникла в первые месяцы советской власти и в той или иной форме сохранялась до самого ее конца — может, за этим крылась какая-то неведомая нам идеологическая установка? Во всяком случае, вожди большевиков, едва вернувшись из-за границы, заговорили об обувном вопросе: надо отнять у буржуазии сапоги и отдать их рабочим. Вероятно, за годы эмиграции у вождей сложилось представление, что половина России ходит босиком, хотя до революции проблем с производством обуви не было. Интересно свидетельство сотрудника Министерства иностранных дел Временного правительства В. Б. Лопухина — он вспоминал, как вскоре после октябрьского переворота в министерство пришел нарком по иностранным делам Троцкий. Нарком разъяснял задачи новой власти и «сообщил, что правительство предлагает объявить обязательный сбор обуви с нетрудового населения, хотя бы ее пришлось стаскивать с ног буржуев. Последние босыми, во всяком случае, не останутся. Что-нибудь да изобретут». Ленин тоже говорил, что надо отнять сапоги у буржуев; очевидно, иных планов решения «обувного вопроса» в плановом хозяйстве[1] большевиков не было. Их замысел удался наполовину: буржуев разули, но у победившего класса не прибавилось обуви.

Нина Берберова писала о Петрограде 1919 года: «По площади Зимнего дворца, в Эрмитаж и из Эрмитажа, ходил Александр Николаевич Бенуа, закутанный в бабий платок, а профессор Шилейко стучал деревянными подошвами, подвязанными тряпками к опухшим ногам в дырявых носках». Деревянные подошвы все же какая-то обувь, а коммунистка Евгения Мельтцер до глубокой осени ходила по Москве босиком, пока ей, как вдове героя гражданской войны, не выдали в распределителе солдатские ботинки. Однако обувь и одежду в распределителях получали немногие избранные, а остальные перемогались своими средствами. «Зимою мои ноги слабеют, *хожу в лаптях из тряпок*, когда сухо — ничего, но бывает и сыро... *Вы, верно, не носите лаптей*, как я, но в *лаптях* мне *легче* и *теплей*, да еще я сама их делаю из тряпок», — писала в 1922 году родным в Париж Евгения Александровна Свиньина, вдова члена Государственного Совета, которая теперь принадлежала к самых бесправным, «бывшим» людям. Лапти долго оставались обувью неимущих, а во времена террора 1937—1938 годов им нашлось еще одно применение — они служили средством унижения людей власти. Маршалу Тухачевскому и другим арестованным высшим военачальникам выдали в тюрьме поношенную солдатскую форму и лапти.

С началом нэпа в Петрограде стала появляться в продаже добротная обувь: модные дамские сапожки и фетровые ботики, щегольские краги и лаковые ботинки, но большинство горожан по-прежнему ходило в жалких опорках. Журналист Э. Гард писал в 1926 году: «Вы пом-

[1] В 1931 г. А. В. Луначарский писал, что после прихода к власти главным делом вождей пролетарской революции был «крепкий и напряженный труд по составлению нового планового хозяйства». Первыми жертвами нового планового хозяйства стали миллионы людей, заморенных голодом при военном коммунизме.

ните ноги 1920 года? Ноги в самодельных бурках и парусиновых туфлях в декабре? Ноги без галош, в заплатанных „американках“?. Пусть узконосые, хлыщеватые джимы и серые боты, обшитые кожей, и лакированные туфельки, в которые убегают розово-телесные чулки, — пусть говорят они о пошлости и суете сует... Но покажите мне стоптанные каблуки 1920 года! Покажите — парусиновые туфли, самодельные валенки, 12 заплат на тяжелых, как ломовые телеги, „американках“!» Конечно, с годами положение с обувью улучшилось, но до этих времен надо было еще доковылять. В 1924 году Е. А. Свиньина писала дочери, что теперь у нее есть «очень удобное сооружение для ног, я приспособила случайно купленные мужские калоши к войлочным полуботинкам, и при теплых чулках, сшитых из шерстяной старой фуфайки, вполне обойдусь». Очень точно сказано — «сооружение для ног». Много лет почти несбыточной мечтой горожан были бурки, войлочные, белые, обшитые понизу кожей бурки. Бурки и хромовые сапоги были знаком принадлежности к начальству и благоволения власти, ими награждали ударников труда и других заслуженных людей. Разве такое великолепие годилось рядовым гражданам, которые месили уличную грязь и оттаптывали ноги в трамвайной давке?

При нэпе в однообразной серой толпе шинелей и пальто из шинельного сукна опять замелькали модные полупальто и шубки. Модницы среднего достатка носили плюшевые жакеты[1] или короткие пальто с воротником-шалью, нэпманы щеголяли в меховых шубах и бобровых шапках, их дамы — в котиковых манто. Ирина Одоевцева вспоминала о даме, позировавшей Юрию Анненкову, «кутавшейся в мех, шуршащей шелками, дышащей духами, с бледным до голубизны лицом, кроваво-красными губами и удлиненно подведенными глазами — новый тип женщины в революционном Петербурге». В ее описании дама

[1] Мода на плюшевые жакеты на много лет удержалась в деревне, еще в 60-х гг. плюшевый жакет был частью выходного наряда сельских женщин.

напоминает блоковскую Незнакомку, однако вместо «шляпы с траурными перьями» нэпманши носили маленькие, напоминавшие горшок шляпки, которые низко натягивали на лоб. Широкополые шляпы с перьями ушли в прошлое, их, как и декольтированные платья, не покупали даже на барахолке. Женщины из простонародья по-прежнему ходили в платках, партийные и комсомольские активистки носили красные косынки. Из моды вышли не только перья, но и вуаль на шляпах, поэтому в кинохронике начала 1946 года странно видеть Анну Ахматову, сидящую на собрании ленинградских писателей в маленькой, без полей, шляпе с вуалью — этот головной убор свидетельствовал не о старомодности, а скорее о ее приверженности к старой эстетике и традиции. В последний раз я видела женщин в таких шляпках на похоронах Анны Андреевны: полтора десятка старушек в Никольском соборе казались островком, отделенным от остальных невидимым рвом времени.

Любопытно, что Ленин со своей хрестоматийной кепкой тоже оказался законодателем моды. На снимках эмигрантской поры запечатлен респектабельный господин в шляпе-котелке, но в апреле 1917 года Ленин должен был появиться в Петрограде в роли вождя рабочего класса, поэтому он выбрал «пролетарский» головной убор — кепку, какие носили европейские рабочие. Правда, русские рабочие носили не кепки, а картузы и фуражки; «кэпи» было скорее принадлежностью буржуазного спортивного стиля. Однако с легкой руки вождя новшество привилось, и если на снимках 1920 года мы видим в толпе рабочих немного людей в кепках, то с каждым годом кепок становится все больше. Но большинство соратников Ленина предпочитало военизированный стиль, достаточно вспомнить шинели Троцкого, Зиновьева, Дзержинского, сталинские френчи. Никто из этих людей не проходил армейской службы, вероятно, поэтому им особенно льстила военная, офицерская форма. В 1923 году художник Анненков получил заказ написать портрет Троцкого и придумал для него специальную «одежду революции» — «темную, непромокаемую шинель с большим карманом

на середине груди и фуражку из черной кожи, снабженную защитными очками. Мужицкие сапоги, широкий черный кожаный кушак и перчатки, тоже из черной кожи, с обшлагами». На портрете наряд Троцкого весьма напоминает форму офицеров гестапо, очевидно, «одежда революции» импонировала не только коммунистам. Советское начальство ходило в кожаных куртках или плащах, в брюках-галифе и кожаных крагах, солдаты и офицеры Красной армии — в длинных, расширяющихся книзу шинелях и шлемах, получивших прозвища «синагога» и «свиное рыло».

Хорошо тем, кому положена форма, а как одеться простому обывателю? Обзавестись брюками, например, было головоломной задачей; наряду с обувным много лет существовал «брючный вопрос». В 1928 году журналист Михаил Кольцов писал: «Сознательному человеку не придет и в голову покупать себе какую-нибудь буржуазную принадлежность вроде штанов, благо на дверях Ленинград-одежды замок и перед замком — хвост человек на двести». В другой статье Кольцова есть фраза, которая лучше всяких цифр говорит о товарном голоде в стране: «Летчик надел *отличные английские перчатки, отбитые у белых на южном фронте*»! (курсив мой. — *Е. И.*) В конце 20-х — 30-х годах брюками премировали ударников труда, но при нэпе их можно было купить в магазине или заказать у портного. Те, кому это было не по карману, отправлялись на барахолку и покупали «для шикарного тона — брюки последнего фасона. Галифе, полугалифе, английские в полоску. Материал — самый английский!» «Английским» материалом служили портьеры, одеяла, мебельная обивка, и брюки из них не шили, а «строили», как скорняки «строят» шубу, подбирая кусочки меха. В 1923 году репортер «Красной газеты» описывал процесс создания шикарных брюк: сначала за лоскуты брался закройщик, «его работа — не кройка, а мозаичное искусство. Из этих обносков он «строил» настоящие английские брюки». Затем раскроенные брюки поступали к штучникам: «На третьем дворе огромного дома на Лиговке в полутемной комнатушке, сидя на нарах, работают „штучники-брючники“. Сшивают кусочки, ставят заплаты, заштуковывают дыры, отпаривают, вшивают карманы... На барахолке продается в день до 100 пар брюк. Покупают — приказчики магазинов, артисты, служащие — те, кому полагается выглядеть прилично».

Люди с достатком шили одежду на заказ, у нэпманских дам были свои шляпницы, портнихи, которым заказывали не только платья, но и нижнее белье. Автор статьи об «эволюции белья» Юлия Демиденко писала: «Привычен стал бюстгальтер [эта деталь женской одежды появилась лишь в начале XX века], укорачивание панталон с 1910-х гг. привело к появлению трусов — очень коротких панталон с пуговицами, соединявшими переднюю и заднюю часть... Комбинации и панталоны шили из цветного шифона, легкого шелка, крепдешина. В отделке кружево, плиссе, вставки из другой ткани». В моде были короткие плиссированные юбки, но следовать за модой могли лишь немногие; большинство женщин перелицовывали платья или мастерили наряды из старых отрезов.

Новая советская аристократия беззастенчиво пользовались всем национализированным или просто награбленным у буржуазии. Семенов-Тян-Шанский вспоминал о секретарше заведующего Академическим центром М. П. Кристи, которая «имела обыкновение зимой в холодные дни сидеть на службе в горностаевой мантии, доставленной из каких-то дворцовых гардеробов. Н. Я. Марр страшно этим возмущался и говорил, что он положительно не может разговаривать „с секретарем в порфире“». Временами в городе происходили распродажи вещей из дворцовых кладовых; на такой распродаже герой рассказа Зощенко «Царские сапоги» купил сапоги, а его знакомая — очаровательные, тончайшего полотна сорочки. Но через несколько дней у сапог отвалились подошвы, а сорочки расползлись на лоскуты после первой стирки. Полусгнившие вещи из дворцовых гардеробов были так же недолговечны, как брюки из «самого английского материала», купленные на рынке. Однако на рынках все было несравненно дешевле, чем в кооперативных и коммерческих магазинах, и нужда приводила людей на рынок.

Рынки начала 20-х годов были не только «чревом» города, но и настоящей «энциклопедией русской жизни», там можно было встретить людей всех социальных слоев. Нам трудно представить Ахматову и Ходасевича, продающими на рынке селедки, или Евгения Шварца, торгующего постным маслом, однако так было. К. И. Чуковский записал в дневнике в сентябре 1922 года: «У детей спрашивают в Тенишевском Училище место службы родителей. Большинство отвечает: *Мальцевский рынок*, так как большинство занимается тем, что продает свои вещи». «Магазины, вывески, — отмечал Г. А. Князев, — и рядом ужас нищеты, еще более обнажившейся... Особенно бедствуют педагоги. То, что они должны получать, вовремя не выдают. Как они существуют, совсем непонятно».

Рыночная Сенная площадь приобрела свой прежний вид, словно не было революции и военного коммунизма, здесь торговали снедью, посудой, одеждой, хозяйственными товарами. Прилавки продовольственных павильонов рынка поражали изобилием — и ценами. А рядом, в проулках, шла другая торговля: «Вот „бывшая“ дама, со следами красоты, видимо, измученная нуждой, продает шляпу и коробку папирос. Рядом старик, несомненно, бывший военный. На мешке разложены: бинокль, суповая ложка, жестяной чайник и портрет певицы Виардо. Портрет живо интересует идущую мимо торговку селедками. — „Барышня сколько стоит?“ — спрашивает она, протягивая к портрету руку. — „Ну, ну! — грозно прикрикивает продавец, — сначала руки вымой, а потом хватай!“» — писал репортер «Красной газеты» в 1924 году . Нищенские сокровища вроде старой фарфоровой супницы, черепахового лорнета или мраморного письменного прибора прельщали немногих, к услугам любителей старины были антикварные магазины, заполненные произведениями искусства. И хорошо, если после дня торговли на рынке такой продавец выручал деньги на скромную еду.

Что же ели тогда петроградцы? Не станем заглядывать в рестораны, или в бывший Елисеевский магазин с пирамидами фруктов в бумажных гнездышках на прилавках, или в бар гостиницы «Европейская» — большинству горожан там было нечего делать. Обычное меню рядовых граждан составляли картошка или каша на воде, привычное для них состояние — полуголодное; у людей побогаче на столе бывала селедка и пироги с картошкой или морковью. Грустно все время жевать картошку и безвкусную перловку, когда в витринах гастрономических магазинов такое великолепие. Судя по воспоминаниям, самым вожделенным лакомством тогда было какао в коричневой с золотом пачке, напоминавшее о прежней жизни. Сладостный вкус *того* какао мемуаристы вспоминали и через десятилетия. Старый кулинарный лексикон с бесчисленными названиями блюд давно утратил актуальность, а то, чем теперь довольствовались, все чаще обозначалось одним словом — «пища». В сентябре 1923 года «Красная газета» писала об офицере, которого обвиняли в участии в контрреволюционной организации: «За это он, кроме денег, *стал получать также улучшенную пищу*» (курсив мой. — *Е. И.*). «Получать улучшенную пищу» звучит жутковато — так говорят о подопытных животных, но в мире пайков и распределителей это выражение никого не смущало.

Благодаря политическим послаблениям нэпа в Петроград с 1921 года стала поступать иностранная помощь, в первую очередь от американской организации «АРА»[1], поставлявшей продовольствие, обувь, одежду, мануфактуру. Не менее важной была возможность вести переписку с родственниками и знакомыми за границей, получать от них посылки и денежные переводы — так продолжалось до 1937 года. Еще одно важное новшество — возможность эмиграции для тех, кто родился за границей (в том числе в государствах, возникших после распада Российской империи) или имел там родственников. «Все бегут за границу, — записывал в 1921 году Г. А. Князев. — Кто куда может. Записываются в иностранное гражданство. Самые „исконно русские люди“ оказыва-

[1] «АРА» — «Американская администрация помощи» (1919—1923), организация, созданная для помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне. В 1921 г. деятельность АРА была разрешена в РСФСР.

ются вдруг финнами, латышами, эстонцами, поляками». В 1921—1923 годах только в Латвию выехало 250 тысяч человек, а в эту страну устремлялись далеко не все эмигранты. Кроме того, в обращение вошли заграничные паспорта, дававшие право советским подданным на поездки за границу. Все эти перемены и послабления и на глазах оживавший город внушали надежду, что жизнь постепенно налаживается. Философ Н. О. Лосский вспоминал о петроградской жизни начала 20-х годов: «Благодаря улучшившемуся питанию силы русской интеллигенции начали возрождаться, и потому явилось стремление отдавать часть их на творческую работу. Прежде, когда мы были крайне истощены голодом и холодом, профессора могли только дойти пешком до университета, прочитать лекцию и потом, вернувшись домой, в изнеможении лежать час или два, чтобы восстановить силы. Теперь появилось у нас желание устраивать собрания научных обществ и вновь основать журналы... Петербургское Философское общество стало издавать журнал „Мысль“». Не умудренные философией горожане тоже размышляли о переменах и делали свои выводы. Например, был найден ответ на вопрос: «Чем закончится коммунизм?» Ответ заключался в самом гербе РСФСР — если слова «молот» и «серп» прочесть справа налево, получается «престолом». Эти надежды и иллюзии начала 20-х годов кажутся наивными, пока не вспомнишь о наших надеждах и иллюзиях начала 90-х годов.

Голод 1921 года в Поволжье напомнил о лучших качествах российской интеллигенции, которая умела объединяться для помощи при таких бедствиях: в июле 1921 года была создана государственная Комиссия помощи голодающим (Помгол) под председательством М. И. Калинина, в нее вошли известные ученые, врачи, литераторы; приняла в этом активное участие Академия наук. Благодаря авторитету членов Комиссии Россия получила международную продовольственную помощь. Голод в Поволжье был следствием неурожая и более общих причин, о которых писал А. И. Солженицын: «Повальное выголаживание и обнищание страны: это — от падения всякой

производительности (трудовые руки заняты оружием) и от падения крестьянского доверия и надежды хоть малую долю урожая оставить себе. Да когда-нибудь кто-нибудь подсчитает и те многомесячные многовагонные продовольственные поставки по Брестскому миру — из России... в кайзеровскую Германию, довоевывающую на Западе».

В августе 1921 года русская православная церковь создала свои комитеты помощи голодающим, и верующие, как бывало прежде, жертвовали туда деньги и ценности. Вот этого «как прежде» власть не могла допустить, поэтому церковные комитеты были запрещены, а все собранное ими конфисковано. В составе Комиссии помощи голодающим было несколько дореволюционных общественных деятелей, что дало повод обвинить ее в контрреволюционных замыслах. Конец надеждам петроградской интеллигенции на возвращение нормальной жизни положил суд над «церковниками» в июне—июле 1922 года, завершившийся десятью смертными приговорами, а в августе в городе были арестованы многие известные ученые и деятели культуры. Тогда же стало известно о подобных арестах в Москве. За год до этого точно так же начиналось «дело Таганцева», поэтому узники и их семьи готовились к худшему, но затем прошел слух, что арестованных ученых собираются выслать из РСФСР. Борис Лосский вспоминал о «придурковатом» парнишке-парикмахере, которому он сказал об этом, на что тот возразил: «Ничего подобного... всех расстреляют... определенно». Парнишка рассуждал здраво — такой исход дела был весьма вероятен.

Однако на этот раз вышло иначе, и в начале октября 1922 года от василеостровской набережной отчалил немецкий пароход, увозивший высланных москвичей, а 15 ноября на той же набережной провожали в изгнание петроградцев. Высланные в 1922 году ученые, общественные деятели, литераторы принадлежали к интеллектуальной элите, и, избавляясь от таких людей, большевики расчищали поле для своего «эксперимента» — ведь у лишенного культурной опоры народа слабеет способность

к сопротивлению. Тогда это понимали многие. Никто не осудит людей русской культуры, покинувших родину, но тем замечательнее мужество тех, кто осознанно сделал другой выбор. О смысле этого выбора Анна Ахматова скажет в «Реквиеме»:

Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

А ее друг, поэт и переводчик Михаил Лозинский так объяснял свое решение не покидать родину: «В отдельности влияние каждого культурного человека на окружающую жизнь может казаться очень скромным и не оправдывать приносимой им жертвы. Но как только один из таких немногих покидает Россию, видишь, какой огромный и невосполнимый он этим наносит ей ущерб: каждый уходящий подрывает дело сохранения культуры; а ее надо сберечь во что бы то ни стало. Если все разъедутся, в России наступит тьма, и культуру ей придется вновь принимать из рук иноземцев. Нельзя уходить и смотреть через забор, как она дичает и пустеет. Надо оставаться на своем посту. Это наша историческая миссия».

Борьба с церковью и ее последствия

Церковь — прибежище. Разграбление храмов. Обновленцы. Суд над «церковниками». Священник Михаил Яворский. «Октябрины» и «звездины». Сексуальная революция. Крематорий — символ прогресса. Кладбища Александро-Невской лавры

Орудием в деле всемирного переворота, мировой революции, должен был стать народ, утративший национальное и религиозное самосознание, поэтому после победы большевики повели наступление на религию. За отделением церкви от государства должно было последовать ее разграбление и планомерное истребление священников. Большевики разделяли взгляды идеологов французской революции, которые провозглашали: «Нет религии, кроме свободы» и декларировали уничтожение всех религий, потому что в будущей «всемирной республике» будет только один бог — народ! (Марксистам осталось лишь заменить «народ» на «пролетариат».) В 1793 году во Франции убивали священников, переплавляли колокола и священную утварь, жгли церковные книги, оскверняли мощи святых. Томас Карлейль писал о том, что происходило в Париже: «Большинство этих людей были еще пьяны от вина, выпитого ими из потиров, и закусывали скумбрией на дискосах! Усевшись верхом на ослов, одетых в рясы священников, они правили священническими орарями, сжимая в той же руке чашу причастия и освященные просфоры... В таком виде приблизились эти нечестивцы к Конвенту. Они вошли туда бесконечной лентой, выстроившись в два ряда, все задрапированные,

подобно актерам, в фантастические священнические одеяния, неся носилки с наваленной на них добычей: дароносицами, канделябрами, золотыми и серебряными блюдами». В зале Конвента они решили сплясать «Карманьолу», и депутаты революционного парламента «взяли за руки девушек, щеголявших в священнических одеждах, и протанцевали с ними».

В советской России до плясок в Совнаркоме дело не доходило, но отношение к религии у большевиков было таким же. Первым делом им предстояло сокрушить самую влиятельную в стране православную церковь, другими конфессиями они занялись позже. В директивах ЦК ВКП начала 20-х годов говорилось, что нужно с большой осторожностью проводить мероприятия, затрагивающие религиозные чувства населения, однако эта терпимость не распространялось на православие, к которому большевики относились как к одному из главных врагов советского строя. Борьбу с православной церковью они начали своим обычным способом — насилием: священников брали в заложники и расстреливали, в октябре 1918 года разнесся слух, что готовится декрет об отмене церковных праздников, а в январе 1919 года петроградские власти попытались занять здания Александро-Невской лавры. Это вызвало волнения в городе, верующие создали «Братство защиты Александро-Невской лавры», и властям пришлось отступить.

Оказалось, что привить людям классовую ненависть куда легче, чем искоренить в их душах религиозное чувство. Этот урок усвоили не все — через два месяца комиссариат юстиции Союза коммун Северной области принял постановление о вскрытии раки с мощами Св. Александра Невского в Лавре, но президиум Петросовета, опасаясь новых волнений, не дал своего согласия. Через месяц комиссариат юстиции повторил запрос в Петросовет и снова получил отказ. В это время «изъятия» мощей происходили во всей стране, НКВД издал циркуляр о правилах их проведения: раку с мощами следовало вскрыть в присутствии представителей общественности, мощи выставить для обозрения, после чего вернуть

на место или передать в музей для «публичного постоянного осмотра». Кинохроника сохранила эпизоды этих изъятий: представители общественности и само действо очень напоминают картины Иеронима Босха. В июле 1920 года Совнарком одобрил предложение наркомата юстиции «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». (Ленин не мог предвидеть, что через несколько лет его самого превратят в «мощи».) Изъятые в начале 20-х годов мощи святых Александра Невского, Серафима Саровского, Зосимы и Савватия впоследствии были переданы ленинградскому Музею истории религии и атеизма, открытому в 1932 году в Казанском соборе. Музейные работники не придумали, как ими распорядиться, и отложили дело, а через полвека с лишним во время одного из «субботников» сотрудники музея стали разбирать хлам на чердаке и обнаружили какой-то ящик под слоем пыли. В нем оказались мощи св. Серафима Саровского. В 1991 году эта святыня была возвращена церкви.

Насилие и кощунства властей не поколебали настроений верующих, что стало очевидным сразу после объявления нэпа. В пасхальное воскресенье 1921 года в Петрограде «был грандиозный крестный ход по городу. Религиозная процессия обратилась в политическую демонстрацию. Было несколько инцидентов с несниманием шапок. С некоторых шапки были сбиты», — записал Г. А. Князев. Церковь стала прибежищем для разных людей, в том числе для самых бесправных в новом обществе. Священник Анатолий Краснов-Левитин вспоминал о нищих у петроградских храмов 20-х годов: «Среди просящих милостыню было особенно много бывших полковых священников... Особенно колоритны были флотские иеромонахи: в клобуках, но в коротких рясах, они просили энергично, требовательно, без всякого заискивания... Среди нищих можно было увидеть пожилых дам... опрятно, но бедно одетых. Самое тяжелое впечатление производили бывшие офицеры, раненые, контуженные, в кителях со споротыми погонами, они протягивали руку с мучительным стыдом, с искаженным выражением на лице». Пожилая, оставшаяся в одиночестве аристократка Евге-

ния Александровна Свиньина в голодные времена спасалась, прислуживая в часовне при домике Петра Великого. «Слава, слава Богу — да будет благословенно имя Его! Говорю это здесь, в историческом домике Петра Великого, под шепот молитвы меня окружающих и под чтение Акафиста Спасителю, под сенью которого я нашла хлеб насущный и уже третий год существую благодаря Святым рукам Его, протянувшего мне Свою помощь и милосердно не отвратившего от нас лица Своего», — писала она родным в 1922 году.

В тяжелые для России времена люди всегда обращались к церкви, в ней видели оплот и залог спасения народа; и после революции ученые, бывшие общественные деятели, военные связывали свои судьбы с церковью. Известный экономист, профессор Московского университета, в будущем религиозный философ и теолог С. Н. Булгаков стал священником в 1918 году; казненный в Петрограде по приговору процесса «церковников» архимандрит Сергий, в прошлом профессор Военно-юридической академии и член Государственной Думы, был рукоположен в священники в 1920 году. На суде его спрашивали: «Чем вы объясните такое повальное вхождение и надевание ряс со стороны сенаторов, профессоров, студентов, инженеров, адвокатов и так далее?» В отчете ГПУ за 1923 год сообщалось, что за год было обнаружено «в церкви состоящими в поповских должностях более 1000 человек бывших кадровых офицеров, б. полицейских и членов Союза Русского Народа», то есть только в 1923 году было арестовано и репрессировано более тысячи священников, пришедших в церковь во времена гонений; такие люди будут из года в год пополнять список новомучеников. В церковь шла молодежь, «юноши и девушки, читающие, ищущие, спорящие о церковных течениях, впоследствии погибшие почти все в лагерях», — писал Краснов-Левитин. Примечательна его личная история — он рос в нерелигиозной семье, но с детства чувствовал потребность в вере и в восемь лет самостоятельно пришел в церковь. «Когда меня спрашивают, как я представляю идеальную общину, я вспоминаю Питер 20-х годов», — писал он. Бо́льшую

часть петроградской общины тогда, как и полвека спустя, составляли женщины. В 60—70-х годах на службах в церквях были почти одни женщины, казавшиеся молодежи «пережитками» чуть ли не дореволюционного прошлого, но по возрасту они могли быть дочерями прихожанок начала 20-х годов.

Вожди большевиков нашли повод для расправы с церковью в трагедии голодавшего Поволжья. В марте 1922 года Троцкий счел, что «кампания по поводу голода для этого крайне выгодна», а Ленин направил в Политбюро письмо: «Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей... Взять в свои руки этот фонд в несколько миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало... Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии нам удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». Сколько выгод сразу: пополнить казну, и пустить кровь, и запугать людей так, чтобы пикнуть не смели, — от замыслов полупарализованного вождя так и разило адской серой!

Церковь пришла на помощь голодающим еще в августе 1921 года, организовав комитеты по сбору средств; тогда же патриарх Тихон обратился с воззванием к народам мира: «Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода!» По древней традиции в пору бедствий церковь жертвовала для спасения народа свое достояние (оно так и называлось — «нищее богатство») — жертвовать можно было все, за исключением святынь и священных предметов богослужения. Патриарх Тихон в послании 19 февраля 1922 года разрешал отдать для голодающих все, кроме «священных предметов». Это было по-божески, по-людски, но не по-большевистски. Поэтому через неделю ВЦИК издал декрет об *изъятии всех без исклю-*

чения церковных ценностей. Решение об изъятии вместо пожертвования было рассчитанной провокацией, на которую патриарх ответил новым посланием: «Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов». Этого власть и ждала: теперь можно было начать расправу с попами, не желавшими отдать *все*.

Но в Петрограде ее замысел едва не сорвался: бо́льшая часть духовенства во главе с митрополитом Вениамином считала, что следует пожертвовать все церковные ценности. Такие люди, как петроградский митрополит Вениамин, — кроткие, твердые, неутомимые подвижники — были опорой церкви во все времена. На суде его спросят: «В чем вы понимаете христианство?», и он ответит: «В деятельности. В жизни». Вениамин стал петроградским митрополитом весной 1917 года; он был первым избранным, а не назначенным высшими церковными властями иерархом. Во время суда над ним один из свидетелей, священник Александр Боярский говорил: «Я в Петрограде с 1908 года и с тех пор знаю Вениамина... Несомненно, что митрополит был... любимцем, так сказать, простонародных масс, главным образом рабочих кварталов». В начале марта 1922 года, когда вожди прикидывали, сколько выручат за награбленное, митрополит Вениамин сообщил в петроградский Помгол о готовности пожертвовать все без исключения церковные ценности, но поставил несколько условий: «Церковь должна иметь уверенность: 1) что все другие средства и способы помощи... исчерпаны; 2) что пожертвованные святыни будут употреблены исключительно на помощь голодающим и 3) что на пожертвование их будет дано благословление Высшей Церковной Власти. Только при этих главнейших условиях... сокровища, согласно святоотеческим указаниям и примерам древних архипастырей, будут обращены, при моем непосредственном участии, в слитки. Только в виде последних они и могут быть переданы в качестве жертвы». Так, твердо и искренне, церковь заявила о готовности к жертве. На заседании Помгола Вениамин сказал: «Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божьей Матери, сладкими слезами оплачу их и отдам». Петроградская комиссия согласилась на его условия, но это «соглашательство» вызвало ярость в Кремле: попы хотят быть уверены, что богатства пойдут на помощь голодающим! Вождей мало занимала судьба Поволжья, им требовались деньги для мировой революции. Ленину, лепетавшему о «миллионах, а может, и миллиардах золотых рублей», вторил Троцкий, подсчитавший, что можно рассчитывать на 525 тысяч пудов серебра (тут он сильно преувеличил). Церковные ценности надлежало переправить в Америку, уже была договоренность об их реализации, а до той поры «предметы культа» поступали в специальный отдел Наркомпроса, который возглавила жена Троцкого Н. И. Седова. Москва приказала убрать «соглашателей» из петроградского Помгола, а газета «Известия» опубликовала «Список врагов народа», который открывался именем патриарха Тихона, в нем был и петроградский митрополит. В середине марта в петроградских церквях началось изъятие ценностей. Вениамин наставлял духовенство, как себя вести в таком случае: «Св. сосуды и освященные предметы священник по церковным канонам и распоряжению Церковной власти не может отдать посетителям. Если же они будут настойчиво требовать, то он должен заявить: берите сами».

Он оказался между двух огней, петроградский митрополит Вениамин: власть объявила его врагом народа, а верующие обвиняли в том, что он «продался большевикам». Когда начались изъятия церковных ценностей, припомнили его слова о том, что он готов сам снять ризы с икон. На суде о. Александр Боярский говорил о настроениях тех дней: «...народ наш получил две болезни: во-первых, страшное недоверие, неверие, а во-вторых, жестокость. Сострадания к голодным у него очень мало. У меня рабочий район... — „А мало мы сами голодали, а нам через два года, если будем голодать, кто поможет?“ — „То, что пишут, пустяки, пишут, что друг друга едят... Мы не ели, когда голодали!“» У каждой церкви комиссию по изъятию встречала враждебная толпа. Из толпы летели не только угрозы, но и камни, случалось, членов комиссии

и сопровождавшую их охрану били; 16 марта у церкви Спаса-на-Сенной чуть не до смерти забили одного из милиционеров. Толпу разгоняли, самых рьяных арестовывали, но у следующей церкви комиссию по изъятию ожидало то же самое. 22 марта 1922 года К. И. Чуковский записал в дневнике: «Стоит суровая ровная зима. Я сижу в пальто, и мне холодно. „Народ“ говорит: это оттого, что отнимают церковные ценности. Такой весны еще не видано в Питере». Изъятия продолжались и во время Пасхи, что вызывало особый гнев верующих. Вениамин в пасхальном обращении увещевал паству: «Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление насилия в той или другой форме. Ни в храме, ни около него неуместны резкие выражения, раздражения, злобные выкрики против отдельных лиц или национальностей... так как все это оскорбляет святость храма и порочит церковных людей... Перестаньте волноваться. Успокойтесь. Предадите себя в волю Божию». Митрополит переживал горькие дни. 12 мая ему пришлось присутствовать при «публичном осмотре» мощей св. Александра Невского в соборе, куда набилось несколько сотен представителей общественности. 90-пудовую серебряную раку по частям перевезли в Эрмитаж[1], но мощи св. Александра Невского оставили в ковчеге в алтаре собора. Они были изъяты через несколько месяцев после казни Вениамина.

Другой печалью митрополита был раскол в церкви, ее изнутри расшатывало движение «обновленцев». В так называемое обновленческое движение вошли служители церкви с «революционными» взглядами: они утверждали,

[1] В Эрмитаже оказалась не только серебряная рака работы середины XVIII века. В 70-х гг. на выставке русского прикладного искусства я увидела прямоугольный ящик, обтянутый ветхой материей. Он привлекал внимание непритязательным, по сравнению с другими экспонатами, видом. Табличка сообщала, что это предмет прикладного искусства начала XVIII века, без упоминания о его назначении. Потускневшая надпись на окаймлявшей его серебряной полосе гласила, что здесь хранились мощи св. Александра Невского. Видимо, этот «предмет прикладного искусства» торжественно внесли в 1724 г. в Александровскую церковь Александро-Невского монастыря, а здесь, на выставке, он соседствовал с самоварами и супницами.

что учение Христа было преддверием коммунистического, хотели упразднить патриаршество, допустить в дьяконы и священники женщин, убрать церковнославянизмы из богослужебных текстов, разрешить священникам второй брак и так далее. Одним из самых ярких деятелей обновленчества стал петроградский священник Александр Введенский, честолюбивый, жаждавший власти и неразборчивый в средствах. Весной 1922 года ему представился удобный случай — в Москве патриарх Тихон был заключен в ожидании суда под домашний арест, и петроградские священники Введенский, Красницкий и Белков поспешили в столицу, чтобы убедить его временно сложить с себя власть. Добившись согласия патриарха, они вернулись в Петроград уже в качестве членов Высшего церковного управления (ВЦУ), временно перенявшего право руководства церковью. За присвоение власти и покушение на права патриарха Вениамин отлучил их от церкви, «доколе не принесут покаяния пред своим епископом». Введенский приходил к митрополиту с требованием снять отлучение, угрожал; угрожал и сопровождавший его начальник Политуправления Петроградского военного округа И. П. Бакаев, но Вениамин твердо стоял на своем. Бывший председатель ПЧК Бакаев вмешивался в дела церкви и вступался за Введенского по распоряжению свыше: большевики рассчитывали, что обновленчество разрушит церковь изнутри. Обновленцев надо было заставить «открыто связать свою судьбу с вопросом об изъятии ценностей... заставить довести их эту кампанию внутри церкви до полного организационного разрыва с черносотенной иерархией», — писал Троцкий.

Не все обновленческое духовенство действовало из честолюбия или желания угодить власти; были люди, искренне стремившиеся к созданию обновленной церкви. Таким был священник колпинского храма Святителя Николая Александр Боярский. Свидетельствуя на петроградском церковном процессе, он говорил: «Лично я — священник-народник, пошел в священники, чтобы служить народу... Мы хотели взять под защиту Евангелия такие вещи, как борьбу с капиталом, как социальное

равенство». Таким людям предстояло разделить общую судьбу духовенства: в 1934 году епископ Александр Боярский был арестован, «его судьба осталась неизвестной. Был неясный слух, будто его видели в Ивановской тюрьме, в безумии. Затем наступили годы ежовщины... Следы Александра Боярского пропали», — писал Красновъ-Левитин.

Иначе сложилась жизнь Александра Введенского: в середине 20-х годов он возглавлял обновленческий Синод, жил в Москве. В то время он был чрезвычайно популярен в Ленинграде благодаря публичным диспутам с атеистами, которые устраивались в большом зале Филармонии. Это были настоящие представления, билеты на них раскупались заранее, и Введенский актерствовал перед переполненным залом, дискутируя с оппонентами. Он был эффектен, велеречив, и «шляпки, воротнички, рясы, истерические барышни и старухи в зале и даже блузы, куртки и гимнастерки на хорах» аплодировали оратору в рясе. В 1927 году в зале Филармонии был устроен диспут с участием Луначарского, речь митрополита о религии «как синтезе науки, искусства, жажды справедливости» привела зал в экстаз, а Луначарского и других оппонентов Введенского приняли холодно. Один из них едко заметил проповеднику: «Если религиозные вопросы — ваша святыня, не делайте их предметом торга». Он был прав: речи Введенского были не отстаиванием веры, а лицемерной, точно рассчитанной игрой. Он ладил с безбожной властью и в секретном циркуляре рекомендовал иереям-обновленцам разбираться со «староцерковниками» с помощью ОГПУ. Лукавый пастырь скончался в 1945 году, с его смертью формально завершилось движение обновленчества (в действительности оно закончилось гораздо раньше).

В 1922 году карьера Введенского только входила в зенит, и наложенное митрополитом Вениамином отлучение было серьезнейшей помехой, но, вероятно, он понимал, что Вениамин обречен. 1 июня в петроградское ГПУ пришла телеграмма из Москвы: «Митрополита Вениамина арестовать и привлечь к суду, подобрав на него обвинительный материал... Вениамин Высшцеркуправлением отрешается от сана и должности». Введенский как представитель Высшцеркуправления (ВЦУ) присутствовал при аресте, он подошел к митрополиту за благословением, но тот сказал: «Отец Александр, ведь мы с вами не в Гефсиманском саду». Ужаснуло ли Введенского упоминание о Гефсиманском саде и поцелуе Иуды, мы не знаем.

10 июня 1922 года в большом зале Филармонии начался суд над «церковниками». Формально он был открытым, но в зал впускали только по билетам-пропускам, поэтому бо́льшую часть публики составляли курсанты военных училищ и студенты Коммунистического университета имени Зиновьева[1]. В это учебное заведение принимали коммунистов со стажем не менее трех лет, университетский курс начинался с повторения школьных азов — молодая советская элита была малограмотна, но идейно закалена. Едва ли намного образованнее был председатель трибунала, бывший булочник Семенов, но в роли главного обвинителя выступал сам замнаркома юстиции П. А. Красиков, человек, несомненно, образованный. Какие странные вопросы он задавал подсудимым! Например, спрашивал у студента богословских курсов: «Ведь вы же сын крестьянина, не монаха?», неужто он не знал, что монахи — люди бессемейные? Знал, конечно, просто потешался на радость залу, ведь он творил не суд, а расправу. Перед революционным трибуналом предстали 85 человек: духовенство, близкие к церковным кругам люди и те, кого арестовали во время беспорядков при изъятиях ценностей из храмов. Из тюрем их привозили в грузовиках. «Еще на Невском и на повороте с Невского что ни день густо стоял народ, а при провозе митрополита, — писал А. И. Солженицын, — многие опускались на колени и пели „Спаси, Господи, люди Твоя!“... В зале бо́льшая часть публики — красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке». Это судилище длилось 25 дней.

[1] Мемуарист Лидия Жукова назвала в книге «Эпилоги» университет имени Зиновьева «большевистским пажеским корпусом».

Все происходившее в зале Филармонии напоминало о ранних временах христианства: глумление обвинителей, скорбные рассказы арестованных у храмов простецов, смелость свидетелей, рисковавших оказаться за правду среди подсудимых, бесстрашие представителей защиты. Александр Введенский тоже был вызван свидетелем и, по его уверению, собирался говорить в защиту митрополита. Может, и так, ведь ему надо было оправдаться в глазах духовенства и верующих. Но перед входом в зал суда он был ранен в голову камнем, который бросили из толпы, и выступать раздумал. Впрочем, это ничего бы не изменило, как ничего не меняли героические усилия адвокатов, разоблачавших ложь обвинения. Один из обвинителей сказал с простотой палача: «У нас тут юридических фактов, может быть, мало, но это не важно, потому что это есть борьба не на жизнь, а на смерть». А Красиков заявил: «Вся православная церковь — контрреволюционная организация. Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю церковь!» 5 июля был оглашен приговор: десять обвиняемых были приговорены к расстрелу и конфискации имущества; 50 человек — к разным срокам заключения, а 25 подсудимых оправданы. В приговоре был и такой пункт: все осужденные должны оплатить судебные издержки, и самые большие суммы (по 100 тысяч рублей) — семьи смертников. Приговоренные к казни не признали за собой вины. «Что бы ни случилось со мной, слава Богу за все», — сказал в последнем слове митрополит Вениамин.

Семь смертников принадлежали к духовенству, трое — Ю. П. Новицкий, Н. А. Елачич и И. М. Ковшаров — были юристами, пытавшимися защитить церковь от разграбления и погрома. Приговоренные ожидали казни больше месяца, а в это время их адвокаты и родственники, Политический Красный Крест, Комитет помощи политзаключенным, Академия наук и даже Высщеркуправление ходатайствовали об их помиловании. 3 августа Президиум ВЦИК постановил оставить в силе четыре смертных приговора, а шести осужденным заменить казнь пятилетним сроком заключения (каков диапазон карательных мер за одно и то же «преступление»!). Митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, Ю. П. Новицкий и И. М. Ковшаров были расстреляны в ночь на 13 августа. Перед казнью их переодели в лохмотья и обрили, потому что в ГПУ опасались, что верующие будут искать тела мучеников, а в таком виде их было трудно опознать. Расчет палачей оправдался — место казни осталось неизвестным, а несколько лет назад на Никольском кладбище Александро-Невской лавры появилась символическая могила митрополита Вениамина.

В петроградских храмах тайно поминали митрополита, молились об убиенных и заточенных, но церковный раскол становился все глубже: храмы переходили к обновленцам, и сторонники арестованного патриарха Тихона и церковной традиции негодовали. Вместо мира, к которому призывал митрополит Вениамин, в общине усиливались ожесточение и раздор. В сентябре 1923 года«Красная газета» писала о происшествии в церкви Святого Пантелеймона: «Вчера, 11 сентября, в храм явились два священника, назначенные от „красной церкви“ вместо смененных приверженцев „древлей веры“, и приступили к совершению всенощной. Толпа тихоновцев, человек в полтораста, находясь внутри церкви, стала громко кричать, требуя, чтобы священники прекратили службу и ушли. Такая же толпа „платочков“ и „картузов лабазного типа“ стояла вне храма и уговаривала идущих в храм идти в Спасскую церковь, „где, слава Богу, пока все по-старому“. Когда священник попросил вести себя в церкви потише, тихоновцы устроили ему форменный кошачий концерт. Но священники были уже достаточно обстрелянными и продолжали службу под гомон тихоновцев. Всенощная была благополучно доведена до конца». Обновленцы были ребята крепкие, но этот эпизод свидетельствовал о нравственном упадке в среде прихожан, оскорблявших своим поведением святость храма. Малодушие одних и слепое ожесточение других подрывали устои церкви, и только подлинные подвижники из духовенства могли остановить разрушительный напор.

В Петрограде были такие люди. Об одном из них, священнике Михаиле Яворском, вспоминал А. Э. Краснов-Левитин. В 1910 году отец Михаил стал настоятелем

церкви Святой Екатерины на Кадетской линии Васильевского острова и «принял на свои плечи всю тяжесть приходской работы: был постоянным гостем дворницких, чердаков, подвалов... этот красивый, стройный батюшка с академическим значком, с тонким лицом интеллектуала». Отец Михаил был женат на Вере Философовне Орнатской, дочери настоятеля Казанского собора, расстрелянного в 1918 году. Во время церковных изъятий Михаил Яворский принял сторону патриарха, считая их святотатством. После казни митрополита «из лавры изымались мощи Св. князя Александра Невского. Испуганная, дрожащая братия лавры смиренно молчала... И тут поднял свой голос настоятель Екатерининского храма: „Своими руками, своими руками отдаете вы святыню наших предков. И на вас падет ответ за поругание святыни“». Тогда его слова поразили общину смелостью, а позже — прозорливостью. Такие люди были твердыми как алмаз, но церковный мир расплывался под ударами власти и давлением обновленцев как глина.

Сослуживавшие отцу Михаилу в церкви Святой Екатерины примкнули к обновленцам, и ему пришлось уйти из храма. Он продолжал совершать службы в домах прихожан. «На бульваре по Среднему проспекту, — писал Краснов-Левитин, — можно было видеть десятки собравшихся простых женщин — баб в платочках... „Отец Михаил сейчас выйдет: он в этом доме сейчас молебен служил“. И действительно появляется отец Михаил в белой рясе, всегда без шляпы, с развевающимися волосами, веселый и оживленный. Прихожане бросались к нему под благословление». В 1924 году его сослали на Соловки, а через три года освободили с запретом жить в Ленинграде. Отец Михаил поселился в Любани и изредка тайком приезжал в город, где оставались его жена и пятеро детей. В 1930 году его вновь арестовали и приговорили к десяти годам концлагеря. По словам Краснова-Левитина, «тогда это была редкость: обычно давали три года... Он был заключен в лагерь на Беломоро-Балтийском канале. „Он был как ребенок; только молился: во всем полагался на Бога“, — вспоминает московский священник, бывший

с ним в заключении. Никому в точности не известна его судьба». Жене отца Михаила пришлось фиктивно развестись с ним, чтобы избежать высылки, семья голодала и бедствовала. Матушку Веру не брали даже на черную работу, соседи следили за тем, кто ходит к опальной семье, но бывшие прихожанки, «платочки», делились с голодавшей семьей чем могли. Вера Философовна Яворская умерла в блокадном Ленинграде, судьбы ее детей неизвестны. Надо помнить, что уцелевшие и разрушенные храмы Петербурга были местом подвижничества и началом мученического пути лучшей части его духовенства.

Разграбление церквей стало еще одним уроком власти народу на тему: «Что такое *хорошо* и что такое — *плохо*», — с этого времени участились грабежи в храмах, воры добирали то, на что не польстились комиссии по изъятию. Вот несколько выдержек из «Красной газеты»: в марте 1923 года «вторичное ограбление Исаакиевского собора» (по иронии судьбы Исаакиевскую площадь скоро переименуют в площадь *Воровского*); в апреле ограбили мечеть, украли ковры и кружки для пожертвований. В марте 1924 года «при ограблении Троицкого собора (Александро-Невская лавра) был, в частности, похищен крест с частицей мощей Иоанна-воина. Воры бросили крест с мощами в Обводный канал»; в июне «был совершен налет на Екатерининскую церковь на просп. Юных Пролетариев. Злоумышленники проникли в церковь и, собрав все ценные церковные предметы и несколько пудов серебра, намеревались уйти, но были замечены и задержаны». Замечательны эти пуды серебра — как их могла проворонить комиссия по изъятию? После таких сообщений граждане с особым интересом поглядывали на церкви. Они были открыты, там шли службы, но все заметнее проступали знаки грядущей мерзости запустения. Милиция сообщала: «Опять самогонный завод в Троицком соборе (на Измайловском просп.). Несколько времени тому назад в одном из склепов под Троицким собором был обнаружен самогонный завод... Сегодня наряд милиции приступил к обыску подвальных помещений собора. В одном из укромных уголков был обна-

ружен самогонный аппарат и принадлежности к нему». («Заводами» называли аппараты для изготовления самогона.) Позднее государство станет приспосабливать храмы под мастерские, цеха, склады. В 1936 году Красновъ-Левитин заглянул в Екатерининскую церковь, в которой прежде служил Михаил Яворский: «Что я увидел: иконы, поваленные навзничь; гулким эхом раздавались грубые голоса», на месте царских врат громоздилась груда грязных ящиков. Но некоторые храмы ждала еще более страшная участь. Церковь Воскресения Христова у Смоленского кладбища и сейчас выглядит по-особенному заброшенной, на ее стенах можно разглядеть щербины. Говорят, в начале 30-х годов здесь расстреливали людей и закапывали под стеной, поэтому трава здесь с тех пор особенно высока и густа.

До конца 20-х годов в городе сохранялись островки монастырской жизни. «Я утверждаю, — писал Красновъ-Левитин, — что период с 1925 по 1932 год — период расцвета питерского монашества. Все корыстолюбивые, недобросовестные люди ушли — остались лучшие. Полулегальное, стесненное со всех сторон, ежеминутно ожидающее ареста и полного разгрома (что и случилось в феврале 1932-го), монашество отличалось чистотой жизни, высотой молитвенных подвигов». Официально монастыри упразднили, но их храмы не были закрыты, и возле них теплилась монастырская жизнь. На окраине за Обводным каналом, в Новодевичьем монастыре в 1929 году оставалось больше 90 монахинь; казалось, время застыло в их кельях с божницами, расшитыми полотенцами и с цветами на окнах. При монастыре обретался известный тогда в городе юродивый Гриша, к нему приходили за советом и помощью, а потом рассказывали о пророчествах «блаженного». Поток взбаламученной жизни обтекал стены монастырской обители, пока ее насельниц не арестовали и не отправили на погибель.

Советская идеология объявила реакционным весь прежний уклад жизни народа, мораль, религию и стремилась создать новые традиции. Ведь победа большевиков в России, по утверждению идеологов, открыла новую эру истории человечества. Как некогда мир был сотворен по замыслу Саваофа, так новое мироздание создавалось по законам теории Карла Маркса[1]: «Маркс... проникнув в душу статистических цифр, вскрыв все жилы исторической крови, разметав горы бухгалтерских записей, гениальным пером проколол набухший нарыв горделивой личности... Маркс разложил на химические элементы сложную массу капитала. Обнажил фигурку идеализма. Вытащил скальпелем дотоле только прощупывавшийся нерв... Труп Маркса — костяк... И пять лет витает его тень над беспредельной — несмотря на злоухищрения врагов — Советской Россией, Марксистской Россией!» — так, с эпической мощью повествовал об «основоположнике» в 1923 году петроградский журналист А. Лешин.

Образ витавшего над Россией вселенского прозектора был жутковатым, пролетарии даже имени его верно не выговаривали: то Кар Маркас, то Карло-Маркс. И придерживались старых обычаев: венчались, крестили новорожденных, хоронили умерших по церковному обряду. Одним словом, главные события человеческой жизни — рождение, вступление в брак, смерть — сопровождались традиционными обрядами. С начала 20-х годов советские идеологи пытались заменить их новыми: вместо крестин, например, учредили «октябрины»(или «звездины»). Эти анекдотические, на наш взгляд, новшества преследовали важную цель — искоренение из жизни всего связанного с религией. В голосах пропагандистов «октябрин» была явственно различима угроза: «Устроить *крестины* — значит *дать присягу* воспитывать ребенка в духе покорности поповскому богу и, значит, в духе освященной этим богом *верности буржуазным отношениям*, — писал в 1924 году Юрий Ларин. — Священники всех религий пользуются отсталостью и темнотой, чтобы красть детей

[1] По замечанию Маркса, человечество, смеясь, расстается с прошлым. Тени основоположников покидали Россию под беззлобный смех. Анекдот середины 1990-х гг.: ребенок, указывая на плакат с изображением Маркса и Энгельса: «Мама, а кто этот лохматый дяденька?» — «Это Маркс». — «А второго я сам знаю — это Сникерс».

пролетариата для клеймения их своими крестинами, обрезаниями и окроплениями... Как помочь нашим рабочим и как охранить беззащитные существа от религиозного воровства?.. Попытка крестить потихоньку от матери или потихоньку от отца должна считаться *уголовно наказуемым преступлением*».

Показательные «красные крестины» проводили в клубах и народных домах. Автор книги «Октябрины» (1925 г.) Иван Сухоплюев так описывал новый обряд: «После вступительного слова председателя докладчик выяснил суть и значение революционных октябрин... Затем было передано приветствие родителям и подарок новорожденной Октябрине, а именно портрет тов. Ленина в трехлетнем возрасте. При передаче портрета было указано, что тов. Ленин еще с девятилетнего возраста задавал матери вопросы о причинах крайнего неравенства, наблюдаемого в церкви среди молящихся. Революционная воспреемница, коммунистка преклонного возраста, приветствовала родителей. Секретарь Комсомола огласил анкету новорожденной и постановление о принятии новорожденной в местную комсомольскую организацию... Оркестр сыграл туш родителям, исполнил Интернационал. Местный хор из рабочих спел ряд песен».

Пропаганда нового обряда стала делом государственной важности, о нем выходили книги, публиковались статьи в центральных газетах. В 1924 году «Правда» сообщала, что «в селе Халайдове провели коллективные звездины — озвездили 15 детей сразу», и описывала октябрины в пасхальную ночь: «В лучшей одежде, какая имеется у них, пришли родители на собрание рабочих и рассказали о своем перерождении. „Сбросили мы с себя позорное пятно — дурман религии“... Первый этап — она [девочка] на руках комсомольца. Поднял ее вверх высоко. „Зачисляем в пионеры. Комсомольской ячейкой берем шефство над Розой“. И еще выше возносится Роза на руках секретаря райкома Захарова. Зал наполняется звуками боевой песни рабочих: дружно и с восторгом все поют Интернационал». В Питере тоже «октябрили» и «звездили» младенцев; в новогоднюю ночь 1924 года в клубе

Госиздата праздновали октябрины дочери сотрудника Госиздата Генриха Пукка. Девочку назвали Кимой (сокр. «Коммунистический Интернационал Молодежи»), председатель зачитал акт о красном крещении, затем родителей, как водится, порадовали пением Интернационала.

Звездины и октябрины в обществе не прижились, «несознательные» матери, бабушки или няньки тайком крестили ребятишек. Но большая часть народа, не приняв октябрин, постепенно отказалась и от церковного крещения, так что большевики добились своей цели. Скромнее были успехи кампании по введению новых имен, имевшей ту же основу, что октябрины, — борьбу с религией. Послушаем Сухоплюева: «Когда господствовала православная религия, тогда родителей-христиан насильно заставляли давать своим детям имена, взятые из святцев... Всякий сознательный человек, желающий порвать с идолопоклонством, не должен называть своих новорожденных детей теми именами, которые имеются в святцах или вообще связаны с религией». Но ведь бóльшая часть имен «связана с религией»! Значит, следовало придумать новые имена, например, «вместо того, чтобы назвать своего сына Камнем (Петром), родители могут назвать его „Радием“, чтобы именем сына постоянно напоминать о научных открытиях, связанных с радием, — писал Сухоплюев. — Чтобы напоминать о смычке рабочих и крестьян, о смычке города и села, родители могут назвать своего сына „Молотом“ или „Серпом“». В 20-х годах издавались брошюры со списками новых имен, их печатали в календарях. Вот лишь некоторые из них: Нинель (наоборот — «Ленин»), Вилен, Будёна, Бухарина, Сталина, Октябрина, Декрета, Террор (уменьшит. Терка), Смычка, Гудок, Динамит, Болт, Рева, Милиция, Парижкома, Ротефанэ (нем. «красное знамя»). Находились идейные родители, дававшие детям такие имена, но это не приняло массового характера. Параллельно происходила трансформация традиционных имен: Евдокии и Дарьи стали Дусями, Ефросиньи — Фрузами, Марии — Мусями и т. д.

В 20-х годах началась кампания против церковного брака; в 1923 году «Красная газета» сообщала, что боль-

шинство петроградцев «предпочитает гражданско-церковные браки», но увеличивается число невенчавшихся, их уже больше трети. (Такие браки пренебрежительно называли «обжениться самокруткой» или «самоходом».) Конечно, идеология не могла оставить без внимания семейных отношений, ведь семья — хранительница традиций и ее уклад по природе консервативен. «Революция, — писал Троцкий, — сделала героическую попытку разрушить так называемый „семейный очаг“, то есть архаическое, затхлое и косное учреждение». Идеологический натиск на семью и традиционную мораль проходил под лозунгом борьбы с мещанством, и его организаторы видели главного противника в женщине — хранительнице семейного очага. «От настроения, выносливости и энергии женщины зависит настроение борца-рабочего в тяжелую минуту, когда пассивность женщины равносильна поражению», — утверждал в 1925 году Карл Радек. От женщин требовалась выносливость ломовых лошадей, а им хотелось быть привлекательными, влюбляться, выйти замуж, завести семью. Автор статьи «Половая проблема» в «Красной газете» И. Кондурушкин предлагал радикальное решение «женского вопроса»: «Многое мы можем изменить в буржуазной идеологии... устранив все то, что подчеркивало в женщине самку... Старое общество, обособляя женщину, создало для нее особую внешность, одежду. Необходимо упростить одежду женщины, уничтожить женскую одежду как неудобную, негигиеничную. Необходимо уничтожить внешнее различие мужчины от женщины — для того, чтобы не ошибиться, достаточно и физиологических различий (рост, голос, растительность на лице). Женщина-пролетарка должна начать борьбу за новую внешность, сбросив с себя буржуазный вид самки». Но даже сознательные пролетарии предпочитали женщин, не сбросивших вид самок, и растрачивали на них ценную созидательную энергию. Автор книги «Революция и молодежь» (1924) А. Б. Залкинд убеждал их: «Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата... Половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально полового завоевания... Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих сочленов».

Таковы были идеологические установки, а что происходило в реальной жизни? На комсомольских и партийных собраниях происходили разбирательства «персональных» дел, при этом, как правило, осуждалась не половая распущенность, а проявления «мещанства» — ухаживание, ревность, требование верности. Коммунистическая молодежь с готовностью подхватила призыв к раскрепощению от традиционной морали, а старшие партийные товарищи подвели под «сексуальную революцию» теоретическую основу. Коммунистка А. М. Коллонтай, которая с 1920 года заведовала женотделом ЦК партии, утверждала, что старая форма семьи изжила себя и ей на смену должна прийти «последовательная моногамия» со сменой партнеров; «чем сложнее психика человека, тем неизбежнее „смена“», — писала она. Другие теоретики полагали, что любовь вообще не должна отвлекать личность от общественной деятельности. Все обстоит просто: человек утоляет жажду, выпив стакан воды, и продолжает заниматься делом; точно так же он, утолив «половой голод», должен вернуться к своим обязанностям. И никакой любви, привязанности и прочих сентиментов! В 1923 году работавший за границей В. И. Вернадский сообщал в письме известия из России. Они были печальны: «Идет окончательный разгром высшей школы. Подбор неподготовленных студентов рабфаков, которые сверх того главное время проводят в коммунистических клубах. У них нет общего образования, и клубная пропаганда кажется им истиной... Женская и мужская коммунистическая молодежь все время в меняющихся временных браках». В среде комсомольцев такие нравы считались отказом от мещанских предрассудков. Литературовед Э. Г. Герштейн в те годы училась в Московском университете, она вспоминала о нравах студенчества: «В аудиториях в ожидании лектора они пели хором; на вечерах танцевали под духо-

вой оркестр; в общежитии предавались бурным страстям... У новых людей были чуждые мне вкусы, другие повадки, другие понятия о добре и зле». Пошлость и распущенность студенческой аудитории ужасала университетских преподавателей. Молодые рабочие тоже не отставали в деле «раскрепощения» — по данным опросов 20-х годов, больше половины рабочих начинали половую жизнь в 14—17 лет, а нередко и раньше. Сексуальная революция 20-х годов не привела ни к чему хорошему, одним из ее следствий стало увеличение проституции и распространение венерических болезней. В 1923 году в Петрограде от сифилиса лечилось больше 6,5 тысяч человек; число зараженных постоянно увеличивалось, а пик заболевания пришелся на 1925—1926 годы. «Наибольший процент заболеваний у рабочих. 73 % сифилитиков в возрасте 18—30 лет», — сообщала в 1925 году «Красная газета». В кинотеатрах демонстрировали документальные фильмы о сифилисе, а газеты публиковали рекламу этих увлекательных кинолент.

Не лучше обстояли дела на семейном фронте. В 20-х годах были не редки «браки втроем», которые, как правило, оборачивались грязноватым фарсом, а иногда трагедиями. Традиционные браки тоже стали непрочными, и временами в Петрограде количество разводившихся было больше, чем число вступавших в брак. Очень многие разводившиеся объясняли свое решение плохими жилищными условиями, увеличением квартплаты, ростом налогов и безработицей. Но самая страшная статистика того времени относится к рождаемости, абортам и детской смертности: в 1923 году в городе, по официальным данным, было сделано почти три тысячи абортов, в 1924-м — втрое больше. «Социальный состав женщин: 65,2 % — рабочие, 17,1 % — служащие, 8,1 % — безработные...» — писала «Красная газета». Эти данные красноречиво свидетельствовали о жизни ленинградского пролетариата. В 1924 году власти попытались бороться с этим бедствием, теперь в абортарии принимали только после разрешения специальных районных комиссий. По данным этих комиссий, большинство обращавшихся к ним женщин ссылались на нехватку жилья и недостаток средств. Введенные ограничения ничего не изменили, в августе 1925 года «Красная газета» сообщала, что «в последний год сильно возросло число абортов... В мае число абортов составило 43,7 % к общему числу рождений, в июне — 47,5 %. При этом не учитываются тайные аборты без разрешения». Иными словами, *в Ленинграде 1925 года не был рожден каждый второй ребенок*. В декабре того же года были опубликованы данные о детской смертности: 17 % новорожденных умирали в грудном возрасте. Страшные, зловещие цифры.

Так продолжалось из года в год. Автор замечательного дневника 30-х годов, молодой ленинградец Аркадий Георгиевич Маньков записал в сентябре 1933 года: «У нас [на заводе „Красный треугольник“] работают преимущественно женщины и, в большинстве, молодые девушки. Сейчас 175 женщин. И ни одна из них не гуляет по родам. Но большинство больничных листов, проходящих через мои руки, говорит об абортах и преждевременных выкидышах. Это знаменует, что прирост населения в нашей стране слаб (в особенности в крупных городах)». Добавим к слабому естественному приросту населения коллективизацию, погубившую миллионы крестьянских жизней, и становится ясно, что демографическая ситуация в стране приняла угрожающий характер. Поэтому в июне 1936 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов. Я не могу осуждать это решение — несмотря на тяготы тогдашней жизни, на то, что детям предстояло пережить войну и послевоенную нужду и голод. В середине 60-х годов людям этого поколения было по тридцать, сейчас — за шестьдесят. В нем так много замечательных, достойных людей, и страшно представить, что бóльшая часть этих жизней могла кануть в небытие в мясорубках абортариев.

Хотя трудно осуждать и женщин, решившихся на такой шаг. В 1933 году Аркадий Маньков записал разговор со своим преподавателем, профессором А. Г. Фоминым: «Мимо нас прошло несколько студенток. „Вот посмотрите на них, — кивнул головой Фомин, — это идут

будущие матери, но на щеках их не видно румянца, лица их бледны, ну скажите, пожалуйста, какое же от них может быть поколение?“» Обращали ли вы внимание на массовки в советских фильмах 30-х годов? Стройные, красивые главные герои картин заметно отличаются от низкорослых, плохо сложенных статистов на заднем плане. Это наблюдение подтверждают записи Манькова: «На Стрельнинском пляже, на дамбе — ни одного свободного камня. Всюду тела — мужские и женские вперемешку... Но вот удивительно: мало встречается совершенных женских фигур. У большинства один недостаток: отвислые зады, искривленность общей линии корпуса, отсутствие тончайшей линии форм и их строгой пропорциональности...» Мужчины, вероятно, выглядели не лучше, потому что полуголодное существование, тяжелейшие условия труда, пьянство не способствовали появлению аполлонов. Таких же неказистых, низкорослых людей мы видим в кадрах военной кинохроники — красивых, породистых мало, их повыбили за предвоенное время, и человеческая порода измельчала после жестокой вырубки. Я имею в виду не только дворянство, достаточно посмотреть на дореволюционные снимки крестьян, чтобы убедиться — исчезли целые типы русских людей. Главное следствие большевистского эксперимента — огромный ущерб, причиненный им генофонду нации.

Жизнь конечна. Во всех религиях существуют обряды, провожающие человека в последний путь, и, конечно, идеология не могла оставить без внимания столь важного момента. Она отвергала традиционные обряды, заменив церковную панихиду гражданской, с зажигательными речами над могилой. Впрочем, началось это раньше — радикальная интеллигенция демонстрировала презрение к церковному обряду задолго до революции, но теперь она фрондировала противоположным образом. В 1925 году К. И. Чуковский записал: «Был вчера на панихиде — душно и странно. Прежде на панихидах интеллигенция не крестилась — из протеста. Теперь она крестится — тоже из протеста». В 20-х годах находились фанатичные

противники всякой обрядности, которые отвергали даже гражданскую панихиду; об этом упоминается в статье председателя Союза воинствующих безбожников СССР Емельяна Ярославского: «Один товарищ написал завещание: „Когда я умру, я завещаю мой труп отдать в мыловарню и сделать из него мыло“. А то вы боретесь против обрядности, а сами установили массу новых обрядностей». Хорошенькая перспектива — мыться мылом, сваренным из коммунистов! Даже воинствующие безбожники были против подобных крайностей.

Можно изменить погребальный обряд, но неизменным остается вопрос: что там, за последней чертой? У верующих людей был ответ, о нем свидетельствуют эпитафии в некрополе Александро-Невской лавры:

Покойся, милый прах, до радостного дня,
В который мать, отец обнимут вновь тебя,

или: «Нас разлучила смерть, но вечность съединит». То же упование хранили эпитафии, увиденные Леонидом Пантелеевым на кладбище Старой Руссы: «Мой милый комсомолец! Котик, я не выживу одна. Возьми меня с собой», или: «Сергей не забудь меня прими меня к себе твой любящий брат Вася». В надписях на этих фанерных памятниках был отблеск того же чувства, что запечатлено на мраморе в некрополе лавры. По мнению атеистов, надежды на грядущую встречу Сергея с Васей, котика-комсомольца с подругой и прочее в этом роде были вредной нелепицей. Об этом свидетельствовала другая запись Леонида Пантелеева: «В Новом Петергофе улица, ведущая к местному кладбищу, издавна называлась Троицкой... Недавно иду и вижу... висит новенькая эмалированная табличка: Улица Безвозврата». Кладбища Александро-Невской лавры хранят свидетельства о разных эпохах жизни города, здесь легко если не понять, то почувствовать прошлое. Надписи на памятниках 20—30-х годов на Коммунистической площадке перед Троицким собором и на Никольском кладбище напоминают записи отдела кадров: «инженер-технолог», «начальник штаба и учебной части Володарского аэроклуба», «агент 2-й бригады управ-

ления Петроградского угрозыска», «лучший товарищ производства». Иногда они сообщают об обстоятельствах смерти: «погиб в автомобильной катастрофе», «зверски убиты бандитами в квартире», «погиб на производстве». В новых формулах увековечения памяти видна обнаженная беспомощность перед лицом смерти, даже искренние слова скорби отзываются в них жестоким романсом: «Королеве Сказки любви дорогой. Тебя не забуду». Изменились и сами нагробные памятники — на кладбищах того времени почти не увидишь крестов. Начало этому положило запрещение хоронить на коммунистических площадках людей, родственники которых хотели поставить на могиле крест; постепенно исчезло и изображение креста на камне.

Но идеологическая мысль не останавливалась, она двигалась вперед — пора отказаться от традиции погребения в земле! «Кремация — культурный способ борьбы с вековыми предрассудками», — писал в 1925 году в «Красной газете» некий Гвидо Бартель. Возможно, это псевдоним, журналисты тогда нередко подписывали свои статьи иностранными именами, придавали видимость достоверности выдумкам, которые выдавались за новшества европейской цивилизации. «Я смело могу утверждать, — продолжал Бартель, — что политическое воспитание последних лет и степень сознательности, которая наблюдается среди трудящихся масс, подготовили почву для всякого культурного начинания, в частности для широко распространенного на Западе огненного погребения умерших». Иными словами, перед трудящимися открывался путь к культуре, озаренный пламенем крематория. Идея такого приобщения к цивилизации у большевиков созрела давно, Совнарком издал декрет о введении кремации в декабре 1918 года, а в конце 1920-го в исполкомах Петрограда появились объявления о том, что «всякий гражданин имеет право быть сожженным в бане на речке Смоленке, против Смоленского лютеранского кладбища». Но граждане не хотели пользоваться этим правом и хоронили по старинке. «Ленинградскому пролетариату, — утверждал Бартель, — тем легче будет вступить на этот

путь, что это будет лишь возобновление кремации, которая существовала в Петрограде с декабря 1920 года по февраль 21 года, когда на 14 линии Васильевского острова функционировал временный крематорий».

За столетие до этого персонаж трагедии «Моцарт и Сальери» петербургского сочинителя Пушкина задавался вопросом:

А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Насчет Микеланджело Буонаротти не знаем, но создатель первого в стране временного петроградского крематория А. Г. Джорогов определенно был убийцей. Его история словно заимствована из романа другого петербургского сочинителя, Достоевского: в 1918 году инженер А. Г. Джорогов убил старика-процентщика, ростовщика Пугинова, был осужден за это на 8 лет заключения, но по распоряжению Бориса Каплуна освобожден и поставлен руководить созданием крематория. В 1922 году он опять попал под суд, на этот раз за убийство любовницы. Видимо, именно этот «рогожин-раскольников» упомянут в записи побывавшего во временном крематории К. И. Чуковского: «„Летом мы устроим удобрение!“ — потирал инженер руки». Каплун видел в крематории символ приобщения Петрограда к прогрессу и гордился им, но разве бессмысленной толпе дано постичь величие замысла? В 1922 году, когда он служил в Петроградском промбанке, а Джорогов находился под следствием за убийство[1], оборудование крематория уже разворовывали. В сентябре 1923 года «Красная газета» сообщала: «Дом 95—97 по 14-й линии занимает бездействующий ныне крематорий.

[1] Рок, что ли, довлеет над питерским крематорием? В середине 1970-х в городе случилось неслыханное по тем временам происшествие: преступники убили часового в одной из частей гарнизона и завладели его оружием. Убийцами оказались студент юридического факультета ЛГУ и работник открытого в 1973 г. крематория. Впоследствии труженики ленинградского крематория не раз представали перед судом за различные преступления.

Ночью воры украли 8 кусков чугунных труб, принадлежащих крематорию. Воры — три жильца домов по 13-й линии Васильевского острова».

Но советская власть не забывала своих идей, и в 1925 году развернулась активная пропаганда кремации. Гвидо Бартель приводил веские доводы в ее пользу: «Стоимость сжигания должна обойтись в пределах 10 руб. Если к этому прибавить расходы на дешевый гроб, дешевое одеяние, то ясна материальная выгода для широких масс». От бодрого тона таких статей, от прикидки расходов и ссылок на культуру становится неуютно. Наверное, так же неуютно чувствовали себя посетители открытой в мае 1925 года в Аничковом дворе выставки кремации: среди римских урн для пепла, планов крематориев и колумбариев красовалась фарфоровая урна, выполненная по рисунку художника С. В. Чехонина. Комментатор романов Ильфа и Петрова Ю. К. Щеглов отмечал, что тема кремации вошла в юмор эпохи. В 1927 году в «Крокодиле» появился проект комплекса крематория в дешевой нарпитовской столовой: отравившихся ее едой граждан прямиком отправляли в печь кухни.

После идеологической подготовки можно было приступить к делу. В июле 1926 года «Красная газета» сообщала, что «в Москве состоялась закладка первого крематориума», а в сентябре: «В Откомхозе ведутся подготовительные работы по сооружению крематориума с весны 1927 г. в глубине митрополичьего сада в Александро-Невской лавре на берегу пруда. Из крематория в колумбарий будет вести закрытый переход. В крематориуме будут размещены зал для отпевания на 300 человек и зал для ожидания на 175 человек... Откомхоз решил закупить у германской фирмы „Топ“ две кремационных печи». Выбор места был не только кощунственным, строительство грозило уничтожением одного из исторических мест Петербурга. В это время лавру окончательно разоряли, выгребали последнее: «На днях в ризнице Александро-Невской лавры состоялась аукционная продажа предметов церковного обихода, облачений и т. д. Торжественное архиерейское облачение „саккос“, специально изготовленное для коронации Александра III, было продано за 45 рублей», — писала газета.

К счастью, строительство тогда отложили, а фирму «Топ» и других производителей кремационных печей ожидали иные перспективы: не за горами было время, когда их изделия понадобились для лагерей смерти. В московском крематории примером для подражания предстояло стать коммунистам, это было чем-то вроде последней партийной обязанности, и в кремлевской стене появились первые урны с прахом. Скоро открылись дополнительные выгоды этого учреждения — в печах крематория сжигали казненных. Мой дядя, Ф. А. Черняев, один из руководителей Осоавиахима, в 1938 году был арестован по делу о «контрреволюционном заговоре» в руководстве Красной армии. Через много лет его сыну выдали справку о посмертной реабилитации отца и сообщили, что Федор Алексеевич Черняев был в числе немногих, кто не дал во время следствия ложных показаний. Он был расстрелян 27 сентября 1938 года. На вопрос, где он похоронен, чин КГБ затруднился ответить. По его словам, расстрелянных, как правило, кремировали, запаивали прах в жестянки и сбрасывали в яму где-то у Донского монастыря. Вот такая утилизация и технический прогресс... Как там у Чуковского? «„Летом мы устроим удобрение!“ — потирал инженер руки».

В земле Александро-Невской лавры покоится много известных людей, но не меньше тех, чьи имена несправедливо забыты. На Никольском кладбище лавры похоронен блаженный Матфей, известный и почитаемый в Петербурге начала века; к этому праведному человеку обращались за благословением, за советом и духовной помощью. Надпись на часовне его склепа гласит, что ревнитель Пресвятой Троицы и затворник блаженный Матфей Татомир родился в 1848, а скончался в 1904 году. А. Э. Красновъ-Левитин вспоминал о почитательнице Матфея, старушке-эстонке, которая в 20-х годах жила в лавре и ухаживала

за его могилой. Помогал ей монах, в прошлом офицер белой армии, и на Никольском можно было ежедневно видеть странную пару — высокий, сутулый монах бережно вел к часовне маленькую старушку. Она умерла в конце 20-х годов, монаха отправили в концлагерь, без присмотра часовня разделила участь других разоренных памятников лавры, но в городе не забыли о блаженном Матфее — в 1999 году я видела молящихся у его часовни.

На Никольском кладбище можно прочесть историю ушедшего столетия. Рядом со склепом примадонны начала века — певицы Анастасии Вяльцевой — теперь могила Л. Н. Гумилева; его жизнь прошла по чужим углам, по коммуналкам (не считая лагерных лет), а упокоен он под роскошным надгробьем у самой Никольской церкви. Неподалеку могила Галины Старовойтовой, а кажется, совсем недавно мы с нею ходили на лекции Л. Н. Гумилева. Здесь сошлось все: символическая могила митрополита Вениамина, и надписи на стене о расстрелах монахов, и колумбарий в кладбищенской ограде.

Несколько десятилетий, до начала 40-х годов, на Никольском кладбище можно было встретить пожилую, долго сохранявшую величавую осанку женщину, Евгению Александровну Свиньину. Здесь были похоронены ее муж, генерал А. Д. Свиньин, и сын Владимир — погибший на Первой мировой войне командир броненосца «Слава». Этот уголок кладбища остался для нее единственным родным местом на земле, и желание было единственное: чтобы ее похоронили здесь, рядом с ними. Но «меня здесь не похоронят, это слишком дорого, и хотя мне вчера прибавили 3 рубля пенсии, но из 13-ти в месяц никак не сколочу не только на похороны в своей могиле, но даже на саван! Где я буду?»[1] — писала она дочери в Париж в 1927 году. И жаловалась на обиду — рабочие кладбища

[1] Е. А. Свиньина умерла в блокадном Ленинграде зимой 1942 года, похоронена в братской могиле на Серафимовском кладбище.

выкопали и выбросили посаженную ею сирень: «Я пришла в полное отчаяние, тем более, по русскому обычаю, вместо извинения принялись на меня кричать и ругаться, сознавая свою вину... Взобравшись со своей работой на нашу могилу, закидав ее всяким мусором, досками, камнями... прямо лепят чужую могилу к моей стене и изгороди. Я долго не могла успокоиться, и, наконец, эти люди, видя мое отчаяние, предложили мне посадить мою сирень, уже подвявшую, в другой уголок... Не знаю, будет ли она расти на новом месте. Я ее обстригла елико возможно и хочу надеяться, что Бог сжалится надо мной и над могилой ни в чем не повинных». Ее молитва была услышана — сирень прижилась. Весной 1928 года она писала внучке: «...пишу с могилы дедушки, сижу, облокотившись на гранитные серые перила. Все вычищено, убрано мною, и я еженедельно езжу к нему и Воке [Владимиру]... Здесь хорошо, небо ясное, березки распустились, тишина... ах, как я счастлива, что могу еще следить за могилой, она в полном порядке и очень красива — представь себе, сирень, которую в прошлом году каменщики выкинули, все же принялась... Вербочку, которую я посадила на прошлой неделе, уже не нашла, кто-то вырвал». Весь мир несчастной женщины сосредоточен в этой тишине, в сирени, вербочке...

А за стенами Никольского кладбища кипела жизнь, в лавре расположились учреждения, общежития, коммуналки. Летом 1934 года Аркадий Маньков пришел в Александро-Невскую лавру для «постижения духа старины»: «Бродил по кладбищам. Одно из них, в левой стороне — очень живописное: почти девственный лес... Старые склепы и памятники здесь разрушали, а камни и мрамор выносили из кладбища. В одном месте я наткнулся на артель рабочих за завтраком. Они полукругом сидели на железной, ржавой коробке с выбитыми стеклами и ели сухую воблу, запивая водкой. А позже на одной из дорожек кладбища повстречался с одной из „бывших“ старушек. Она, согбенная, медленно шла, опираясь на палку. Она посмотрела мне в глаза пытли-

во, но ласково, как бы отыскивая во мне своего утешителя... — „Там... все еще ломают?“ — „Ломают“, — почему-то улыбаясь, ответил я... И она пошла, еще более согбенная, не оглядываясь. Я пристально смотрел ей вслед. Она оглянулась. Мы несколько секунд обмеривали друг друга взглядами, не понимая один другого, до странности далекие и чужие». Мне кажется, что тогда на Никольском кладбище встретились двое героев этой книги — Аркадий Маньков и Евгения Александровна Свиньина.

Житье-бытье

Петербургские персонажи в петроградской жизни. Наводнение 1924 года. Поэт Василий Князев. Коммуналки. О мебели. Городская флора и фауна. «Берегите своих кошечек!» Медвежий бунт. Мир Константина Вагинова

В конце 50-х годов мой знакомый, тогда московский студент, разговорился в кафе с пожилым человеком. У того была до революции слесарная мастерская. «Сволочи, — сказал он о большевиках, — из-за них в России вся резьба сорвалась». Верно сказано, сорвалась резьба, все пошло вкривь и вкось, но есть вещи неизменные: например, отличие Петербурга от других российских городов, его особая судьба и сопутствующий «миф». Созданная в Петербурге литература вдохнула жизнь в его великолепный образ, наделив странными, фантастическими чертами, и хотя запечатленная Пушкиным, Гоголем, Достоевским жизнь ушла в прошлое, город то и дело воспроизводил ее сюжеты.

Невский проспект поблек, его толпа утратила былую яркость, но в описании Е. А. Свиньиной проспект 1926 года напоминает гоголевскую «всеобщую коммуникацию» Петербурга: «Встречаются гражданки, разодетые и разрисованные, как модные картинки, товарищи воины в длинных шинелях, с волочащимися по снегу или грязи полами и коротенькими тальями, точно у прежних кавалерийских юнкеров... встречаются озабоченные, деловитые, юркие портфели... все спешат, спешат, точно за ними кто-то гонится, что веку не хватит... Встречаются автомобили с дельцами разных типов, больше горбоносые

брюнеты, кожаные куртки, а иногда „дамочки“... точно прежние „grandes dames“, взирающие на эту товарищескую мелочь, что плетется пешочком по грязи». В этой толпе мелькают потомки гоголевских героев — об одном из них упомянула 20 августа 1926 года «Красная газета»: «Тигр искусал служителя в Зоологическом саду. Служитель Сергей Тряпичкин, 40 л., вошел в клетку тигра, чтобы произвести уборку. Находившийся в клетке тигр набросился на Тряпичкина и вцепился ему в плечо. Тряпичкина отправили в больницу им. Веры Слуцкой, у него рваные раны в плече и предплечье». Душа Тряпичкин, что тебя занесло в Зоологический сад? Или ты деклассирован? Неужто потомку Ивана Васильевича Тряпичкина, приятеля Хлестакова, в новой жизни осталось одно место — зоопарк? Пока ты маешься в больнице имени Веры Слуцкой, потомки Ивана Александровича Хлестакова раскатывают в комиссарских автомобилях. Дедушка твой, помнится, подвизался в литературе, что бы и тебе пристроиться в «Красную газету»?

Другая история словно сошла со страниц Достоевского: К. И. Чуковский публиковал в то время забавные высказывания детей, и его собрание «детского языка» пополняли письма родителей с сообщениями на эту тему. Его заинтересовало письмо Сюзанны Лагерквист-Вольфсон с оригинальными суждениями о детской литературе и рассказом о ее детях Туленьке и Лиленьке. Чуковский хотел познакомиться с этой семьей, да все откладывал и наконец «сегодня... — записал он 30 октября 1927 года, — пошел я на Греческий проспект — и стал в доме № 25 спрашивать про Сюзанну Вольфсон. Все отвечают уклончиво. Я позвонил — ход через кухню — грязновато — вышел ко мне наконец какой-то лысый глухой человек, долго ничего не понимал, наконец оказалось, что эта самая Сюзанна Эдуардовна недавно выбросилась из окна на улицу и разбилась насмерть — чего ее дети не знают. Я подарил сироткам свои книжки... (Сюзанна была *француженка*)». Чуковский печально замечает, что глухой, убитый горем отец Туленьки и Лиленьки не расслышит их забавных слов и песенок.

Но, пожалуй, самая «петербургская» история случилась в Петрограде в январе 1924 года и связана она была со смертью В. И. Ленина. Слухи о его болезни циркулировали в городе несколько лет; питерские коммунисты старались поддержать боевой дух вождя — в сентябре 1923 года он был избран почетным пилотом Воздухофлота. Партийное собрание штаба Балтийского флота отправило Ильичу телеграмму: «В день пятой годовщины покушения на твою жизнь избираем тебя почетным пилотом Красного Воздушного Флота Балтийского моря». А обыватели шептались, что вождь совсем плох. По воспоминаниям Бориса Лосского, весной 1922 года в Петрограде рассказывали, что «Ленин совсем перешел в небытие и что за него правительственные распоряжения подписывает „какая-то Цурюпа“. Другие говорили, что вождь революции... лишился речи и только (неизвестно каким образом) повторяет „что я сделал с Россией?!“ и что ему даже являлась скорбная Богоматерь».

Все это архиглупость и поповская болтология, как сказал бы на это сам Ленин. О том, что было на самом деле, поведал на страницах «Красной газеты» психоневролог профессор Доброгаев, лечивший Ленина с мая 1923 года. Он рассказал, что «речевое поведение Владимира Ильича характеризовалось отсутствием произвольной речи. Во время усилий что-либо сказать Владимир Ильич обычно произносил, иногда несколько раз подряд, слова: „Вот, иди, идите, веди, ведите, что, это, аля-ля“». Но даже в этом состоянии он отчетливо произносил особенно волновавшие его, «эмоциональные» слова. «Такие слова, как отзвуки основных интересов жизни, характерны для основного ядра личности больного», — отметил Доброгаев и привел свод этих слов: «пролетарий, народ, революция, совнарком, буржуй, ячейка». Как видим, слова «Россия» среди них нет, а все только «аля-ля, совнарком, буржуй, ячейка».

Не менее интригующим было свидетельство окулиста, профессора Авербаха о том, что «Владимир Ильич обладал особой конструкцией глаз». (Как-то тревожно становится от таких сведений.) По словам Авербаха, Ленину

«казалось, что он пользуется исключительно правым глазом... Года два назад я обнаружил, что рабочий глаз его именно левый, которым он читает, в то время как правым он смотрит вдаль, пользуясь им при охоте». Но самым неожиданным оказалось заключение паталогоанатомов после вскрытия тела Ленина, обнародованное 25 января 1924 года наркомом здравоохранения Н. А. Семашко. Под заголовком «Артериосклероз» сообщалось, что «основная артерия, которая питает примерно 3/4 всего мозга, при самом входе в череп настолько затвердела, что стенки ее значительно закрывали просвет, а в некоторых местах были настолько пропитаны известью, что пинцетом ударяли по ним, как по кости». Под заголовком «Артерии-шнурки»: «Становится понятным, каково было питание мозга и состояние других мозговых артерий. Например, отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры, связанные с движением и речью, оказались настолько измененными, что представляли собою не трубочки, а шнурки: стенки настолько утолщились, что закрыли совсем просвет... На всем левом полушарии мозга оказались „кисты", т. е. размягченные участки. Закупоренные сосуды не доставляли этим участкам крови, питание их нарушалось, происходило размягчение и распадение мозговой ткани. Такая „киста" констатирована и в правом полушарии».

Врачи заключали, что «не пять и не десять лет, очевидно, этим болел Владимир Ильич», — таким образом, выходило, что с 1917 года в России всем заправлял человек со «шнурками» в голове! Здоровье вождя подорвал не выстрел Фанни Каплан, процесс перерождения мозга начался задолго до этого. Маниакальные черты личности Ленина отмечали все знавшие его люди, только называли их по-разному: одни — революционной непреклонностью, другие — одержимостью. Освобожденная от всего человеческого воля вождя обладала заразительной мощью. В. П. Зубов вспоминал его речь на Всероссийском съезде советов в 1918 году: «Его ораторское дарование было удивительно: каждое его слово падало как удар молота и проникало в черепа. Никакой погони за прикрасами, ни малейшей страстности в голосе; именно это было убедительно». Человек с каменеющим мозгом и со сведенной к нескольким формулам идеологией мыслил и действовал четко и методично, как механизм.

Но обратимся к приключившейся в Петрограде истории, столь странной, что невольно вспомнишь петербургскую литературу, где то Медный Всадник оживает, то мертвый чиновник Башмачкин сдирает шинели с сановных плеч, то двойник объявится, — в январе 1924 года у умершего вождя здесь объявился двойник. Незадолго до кончины Ленина на Васильевском острове умер водопроводчик Васильев. Человек он был неприметный, и в городе не заметили бы утраты, не окажись Васильев нетленным: врачи констатировали смерть, но покойник не коченел, кожа сохраняла естественный цвет, и временами на ней выступала испарина. Несмотря на заключение медиков, родня наотрез отказалась хоронить усопшего водопроводчика. А 21 января умер Ленин, и на страницах «Красной газеты» воцарилась полная бесовщина: 24 января в номере соседствовали статья о траурном собрании в Петрограде, на котором говорилось: «Величайший мозг потеряла РКП», — и интервью с доктором Обухом: «Вскрытием обнаружено резкое перерождение сосудов, в частности, мозговых»; здесь же была статья «Ленин жив» и заметка «Живой покойник» о Васильеве. Вождя пришлось забальзамировать «для временного сохранения», а Васильев с Васильевского острова оставался нетленным. Не иначе как насмешливый питерский бес передразнивал происходившее в Москве. Перекличка продолжалась: 30 января газета писала о митингах под лозунгом «Ленин жив!» и тут же —«Еще о живом покойнике». В марте комиссия по похоронам Ленина, «идя навстречу желаниям широких масс Союза ССР и других стран видеть облик покойного вождя, решила принять меры для возможно длительного сохранения тела», а водопроводчика Васильева к тому времени уже похоронили на Смоленском кладбище. Этот внезапно возникший, жутковато-пародийный двойник вождя и шутовское кривляние смерти совершенно в духе жесткой петербургской мистики.

В конце января 1924 года Петроград был переименован в Ленинград. Инициатива этого переименования принадлежала Г. Е. Зиновьеву. 24 января на митинге в Петросовете было зачитано его письмо: «Я предлагаю, товарищи, на сегодняшнем заседании Петросовета постановить, что город Петроград переименовывается в Ленинград, и провести это решение во всех инстанциях в порядке советской законности». 26 января новое название утвердили в Москве. В тот же день, сообщила газета, в *ленинградский* Музей революции «поступили от т. Емельянова, скрывавшего в 1917 г. Ильича в Разливе, парики и все вещи, которые имел т. Ленин с собой в 1917 г. Среди других вещей поступил простой костюм и черная повязка, в которых совершил путь из Петрограда до станции Разлив Ленин после июльских дней». Парики, скрывавшая лицо повязка — если продолжать сравнения с литературой, это, несомненно, из романа Андрея Белого «Петербург», где в вихрении двойников, ряженых, в кривлянии красного шута вплотную подступила катастрофа.

Петербургу суждено погибнуть от потопа — это предсказание появилось еще во времена Петра Великого, «того, чьей волей роковой под морем город основался», как писал Пушкин. Город часто страдал от наводнений, до XX века самыми разрушительными были наводнения 1777 и 1824 годов. В 1924 году в Ленинграде ожидали сильного весеннего паводка и укрепили к этому времени шоссейные дороги, железнодорожное полотно, дамбы, но весной ничего чрезвычайного не произошло. Лето выдалось жарким, в сентябре тоже было тепло и солнечно, и горожане одевались по-летнему. 22 сентября заметно повысился уровень воды в реках и каналах, но, как сообщала «Красная газета», «по данным Главной Геофизической Обсерватории, опасение за наводнение отпадает». Утром 23 сентября в городе царило особое оживление, увеличились очереди у продовольственных и керосиновых лавок, на набережных толпились зеваки. Брызги и пена, перехлестывающие через гранит, и внезапные порывы теплого ветра вызывали веселое возбуждение. По словам К. И. Чуковского, «было похоже на революцию — ...трамваи, переполненные бесплатными пассажирами, окончательно сбитые с маршрута; отчаянные, веселые, точно пьяные толпы». Город не предчувствовал беды, хотя к этому времени уже затопляло побережье Финского залива, Петергоф, Лахту.

Перелом наступил внезапно — около пяти часов вечера «рвануло резкими порывами ветра. Сбило прохожих с ног. Поползли слухи — нет сообщения с Дворцовым мостом, заливает площадь Урицкого. Но никто не верил. И только когда трамваи встали длинным рядом вкопанных в землю покойников, стало ясно, что стихия движется... Последний трамвай по вздымающейся мостовой, подымая фонтаны брызг, взбежал на горб Дорцового моста... Громадная волна вздыбила торцовую мостовую, речкой прорвалась в садик Зимнего дворца и громадным потоком плавающих торцов затопила площадь Урицкого. Моментально был залит проспект 25 октября [Невский], Адмиралтейский проспект», — писал репортер «Красной газеты». Особенно плохо пришлось стоявшим на набережных: штормовой ветер поднимал людей в воздух, швырял оземь, о стены домов, бросал в хлынувшую через гранит воду. Улицы мгновенно преобразились — в воздухе закружились листы кровельного железа, сыпались разбитые оконные стекла, торцовые мостовые корежило, а между плит тротуара пробивались фонтанчики воды. В панике люди не догадывались укрыться в ближайшей парадной, взбежать по лестнице, но, по словам репортера, «все рвало, метало и бегало, ища выхода». «На площади Жертв Революции [Марсово поле] громадной волной смыло лавину людей, пытавшихся пробраться на Петроградскую сторону. Им пришлось просидеть несколько жутких часов на граните братских могил». Вода стремительно прибывала; к восьми часам вечера она превысила ординар на 3,7 метра.

Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились, —

писал Пушкин о наводнении 1824 года. Тогда под напором воды расступилась земля, и по улицам поплыли гробы с городских кладбищ. Бедствие 1924 года, судя по сообщениям газет, вообще напоминало конец света, земля разверзлась уже до самых глубин: «На Вознесенском проспекте в доме 53 во время очистки подвала от наводнения найдены кости мамонта», а в кладовых Апраксина рынка были «найдены кости доисторического животного исполинских размеров. Позвонки вышиною в 1 метр»[1]. Казалось, земля исторгала из недр копившееся с незапамятных времен, но захваченным врасплох горожанам было не до таких размышлений.

Наводнение началось, когда люди возвращались с работы, и некоторые решили переждать его в вагонах трамваев. Когда вода поднялась до середины трамвайных окон, им пришлось раздеться и с узелками одежды вброд добираться до ближайших подъездов. На набережные выбросило десятки судов, одно из них швырнуло о стену Мраморного дворца с такой силой, что в окнах дворца вылетели стекла. На парапете набережной напротив Летнего сада висела перевернутая баржа, а по затопленному Среднему проспекту Васильевского острова прошел буксирный пароход и вернулся в Неву по одной из улиц-линий. Бо́льшая часть города оказалась без света и воды из-за повреждения электростанций и водопровода. Начались пожары. В семь часов вечера начался пожар в многоэтажном доме на Нарвском проспекте. Пожарные сумели добраться туда, когда уже горели нижние этажи, а жильцы спасались на крыше; их спускали вниз по пожарной лестнице, «были случаи падения с крыши, но геройство пожарных в этом случае было сверхчеловеческим», — писал журналист. Удивительное мужество проявили работники губернского суда: даже отрезанные от мира (нижний этаж затопило, телефоны не работали), они продолжали заседание по делу о хищении рельс с Октябрьской железной

[1] Скоро дело разъяснилось: в подвале на Вознесенском проспекте, по словам жильцов, «30 лет назад кости были оставлены проживавшим в доме антикваром», а на Апраксином рынке когда-то был склад китобойной фирмы.

дороги. Героически держались сотрудники центрального телеграфа, а его управляющий Семенюк отправил в Москву телеграмму в духе песни о гордом «Варяге»: «Положение катастрофическое. Вода все время прибывает, заливая машинное отделение. Борьба со стихией продолжается, но безнадежно. Действие закрываем в последнюю минуту, выключив всю связь». Многие горожане почувствовали себя в тот день матросами тонущего корабля, и во время следующего наводнения в январе 1925 года репортер «Красной газеты» писал: «*Трюм* б<ывшего> Мариинского театра залило водой. Сегодня приступлено к откачке воды из *трюма* б<ывшего> Мариинск<ого> театра».

К вечеру 23 сентября в Смольном был организован штаб борьбы с наводнением, и спасательные работы пришлось начинать с себя: «Вода так высока, что во дворе Смольного тонут верховые лошади, и их приходится поднимать на второй этаж». Для спасательных работ были мобилизованы милиция и воинские части. Всю ночь лодки и катера кружили по улицам, мимо темных домов, снимая людей с крыш трамваев, с сараев, с заборов, высвобождая из затопленных квартир. Они осторожно огибали погнутые фонари, дрейфующие острова торцов, дров, бревен, мебели. К полуночи вода начала отступать, а утро опять было теплым и солнечным, и вчерашнее наводнение казалось дурным сном. На улицах снова выстроились очереди, на этот раз за свечами и питьевой водой. «Уличные спекулянты подняли цену по 50 коп. за свечку, — писала „Красная газета“. — На центральных улицах можно было видеть, как предприимчивые владельцы тележек и бочонков продавали воду по 25—50 коп. кувшинчик. Вокруг „водовозов“ образовались очереди». Откомхоз начал подсчитывать убытки: было повреждено больше пяти тысяч домов, разрушены мостовые и трамвайные пути, вышли из строя водопровод и канализация. Набережные требовали ремонта, почти все городские мосты получили повреждения, а 19 малых мостов снесло водой. Сильно пострадал Летний сад. Спустя год журналист Аркадий Селиванов вспоминал о его утраченной красоте: «Всю зиму пилили и складывали в штабеля толстые

поваленные деревья. Весной пришли ученые садовники, землекопы и каменщики... И ковырялись до осени. Вчера сад открыли. И цветники, как прежде, посажены, и носики богиням приделаны, и чистенькие аллеи вытянулись, но грустные бродят старожилы: „Нет у нас больше Летнего сада!“ Где ни сядь, насквозь видно: молодой дубок от липки на приличном расстоянии. И зеленой кровли не стало... так жалобно и тихо шумит этот заштопанный и омоложенный, плешивенький Осенний сад».

По первым сведениям, во время наводнения погибли шесть человек, несколько десятков людей были ранены, но в следующие дни не раз сообщалось о выброшенных водой утопленниках. В драматических событиях 23 сентября 1924 года был примечательный эпизод: в Исаакиевском соборе шла служба, когда началось наводнение, и выбежавшие оттуда люди столпились на возвышении колоннады, с ужасом следя за подъемом воды. («Народ зрит Божий гнев и казни ждет», — писал Пушкин в поэме «Медный всадник».) Журналист «Красной газеты» не пожалел красок для описании «истерических женщин-кликуш, скопившихся на колоннаде Исаакиевского собора. Они истерически кричали о конце света, и некоторые бросались с колоннады в бушующие волны и разбивались о плиты тротуара и фундамент собора. Здесь было много жертв». Затем следовал рассказ об их спасении: «Помощь была оказана охваченной паникой толпе. Пионеры и комсомольцы спасли около 150 женщин и детей». «Кликушам» помогли не молитвы и не чудо, если, конечно, не считать чудом появление пионеров в лодках. Едва ли пионеры участвовали в спасательных работах, но именно этот эпизод запечатлел в стихах ленинградский поэт Василий Князев:

У Исаакия, где дико завывала
Толпа кликуш о гибели души,
Спасли от смерти многих малыши,
И было подвигов таких — немало!

Наводнение 1824 года вдохновило Пушкина на создание «Медного Всадника», а пролетарский поэт Василий

Князев создал после наводнения 1924 года цикл стихов под названием «Красный эшафот». Стихийное бедствие стало в них «красным потопом», который уничтожает мещанский мир маленького человека:

Идиот приобретает вещи,
Пыльным хламом комната полна —
А в окно уже прибойно хлещет
Грозная потопная волна.

Красный потоп призван разорвать связь детей с родителями-обывателями:

Тони, коль хочешь — стари не излечишь,
Горбатый так в могилу и сойдет.
Но для чего ты горбишь и калечишь
Своих детей, проклятый идиот?!

Странные стихи, не правда ли? Эдуард Багрицкий будет славить «содружество ворона с бойцом», необходимое, «чтобы юность новая на костях взошла», и, судя по стихам Князева, юности предстояло взойти на родительских костях. В 20-х годах Василий Князев занимал в новой литературе видное место, он был автором известных революционных песен «По фабрикам душным, по тюрьмам холодным» и «Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами». Идейный накал творений Князева стал образцом для молодой советской литературы. Он, подобно придворным поэтам XVIII века, сочинял сатиры и оды, но, в отличие от другого «пролетарского» поэта Ефима Придворова (псевд. Демьян Бедный), был искренен в своем исступлении.

Василий Васильевич Князев родился в 1887 году в купеческой семье. После бурной юности — с лечением от нервного расстройства, сочинением революционных прокламаций, исключением из Петербургской учительской семинарии, сотрудничеством в журнале «Сатирикон» — к тридцати годам Князев чувствовал себя опустошенным, загнанным в тупик человеком. «Совсем измучился, работая за гроши где попало», — писал он в 1916 году Горькому. У таких поденщиков от литературы была известная

судьба: алкоголизм и ранняя смерть. Его дореволюционные книги стихов были встречены со сдержанным одобрением, критики отмечали их простонародную звонкость, но в то же время прямолинейность и жестокость в изображении жизни, и, не случись большевистского переворота, Князев остался бы на задворках литературы. Но тут нашли выход копившиеся годами обиды, раздражение, ненависть: Князев славил красный террор, казни заложников, обличал белогвардейцев, эсеров, попов, обывателей. Он сотрудничал в журналах «Красный дьявол», «Красная колокольня», в еженедельнике «Гильотина»; стихи цикла «Красный эшафот» назывались «Казнь первая», «Казнь вторая»...

В сбивчивой, рваной стилистике его сочинений есть несомненная патология, эту интонацию одурманенного кровью человека будет имитировать новая литература, но у Князева она подлинная. На фотографии начала 20-х годов он худой, крученый, чернявый, глаза с сумасшедшинкой. Его стихи утратили былую звонкость и превратились в грубо сработанные агитки, их персонажи — «львы, титаны, орлы революции, пролетарский молодняк» и «брюхоногие гады, ходячие трупы, идиоты, кровавые ищейки, сволочи». «Вольный Смольный, друг рабочих, где твой властный красный кнут?» — гневно восклицал поэт. Наполненную яростью и косноязычной хвалой вождям поэзию Князева ценил В. И. Ленин. В 30-е годы таких знаменитостей первых лет революции, как он, в литературе остались считанные единицы. В 1937 году Василий Князев был арестован, осужден за «антисоветскую пропаганду» и вскоре умер в одном из магаданских лагерей. Свидетели последних месяцев его жизни рассказывали, что на лагпункте малосильный старик дядя Вася (Князеву было пятьдесят лет) был определен дежурить при воротах — открывал, когда заключенных вели на работу, и запирал по их возвращении. О себе он ничего не говорил, и солагерники не подозревали, что он известный поэт. В их памяти остался тихий, забитый старик дядя Вася — привратник у входа в ад.

Осенним вечером 1931 года в квартире дома 75 по Кировскому проспекту две дамы беседовали о коммунальном житье. Они были настоящие дамы: вдова члена Государственного Совета Е. А. Свиньина и жена швейцарского инженера мадам Шварц. Правда, к этому времени Свиньина была нищей старухой из «бывших людей», а муж мадам Шварц находился в тюрьме по делу «Промпартии», но дамы, отвлекаясь от своих бед, старались судить объективно. «Мы говорили с m-me Шварц о том, что коммунальные квартиры не всегда улучшают человеческие отношения, и наша квартира, в которой жило всего 3—4 человека, теперь населена 16-ю человеками, и все мы совершенно разного склада люди, поэтому квартира наша стала похожа на „Брынский лес“, где есть всякого зверья по экземпляру», — писала Е. А. Свиньина дочери в Париж. Собеседницы верно определили причину коммунальных конфликтов — «все мы совершенно разного склада люди»; происходившие из-за этого драмы ярко описаны Михаилом Зощенко, Ильфом и Петровым.

В Москве квартирный вопрос был острее, чем в Питере, потому что бо́льшая часть переселенцев из провинции устремлялась в новую столицу. «Уплотнение» петроградской буржуазии во времена военного коммунизма не было вызвано необходимостью: к лету 1918 года в городе пустовало больше восьми тысяч квартир, и их число все время увеличивалось из-за смертей или отъезда владельцев. Тем не менее в квартиры буржуазии подселяли матросов, солдат, иногородних рабочих. Александр Блок избежал уплотнения лишь благодаря распоряжению Зиновьева, но в квартиру его матери Александры Андреевны вселили пьяницу-матроса; «сегодня суббота, и Шурка-сосед орет и бесчинствует», — жаловалась она.

1 марта 1918 года вышло постановление Петросовета о вселении пролетариев в пустующие барские квартиры, при этом пролетариям полагалось немало льгот: право бесплатного проезда в трамвае, право владения всем имуществом в квартире, минимальная плата за центральное отопление и свет, а семьи солдат и матросов вообще освобождались от этой платы. Сказочные условия!

Однако рабочие не спешили переселяться: бесплатный проезд дело хорошее, но трамваи ходили редко, центральное отопление не работало, электричество давали с перебоями; кроме того, в квартире не посадишь картошку, а в голодное время вся надежда на свой огород. Лучше остаться в доме на окраине, где и печь, и огород, и до завода недалеко. В 1918 году немногие пролетарии воспользовались подарком власти, но те, кто воспользовался, не пожалели. «Наш уполномоченный домом товарищ Д. И. Розе, бывший рабочий, поселился теперь в барской квартире, — писал в 1918 году в дневнике петроградец Г. А. Князев. — Владелец квартиры был убит. Жена с детьми после смерти мужа куда-то уехала. В их квартиру и въехали Розе и его друг Рудзис. У них теперь несколько комнат. Ковры, зеркала. Все имущество поделили. Жена Розе и сожительница Рудзиса перессорились. Никак не могли поделить розовое шелковое платье». Жизнь, которая начиналась с дележа чужого добра и ссор, не сулила покоя.

При нэпе квартиры стали возвращать бывшим владельцам, снова была разрешена продажа, покупка и аренда жилья. Тогда началось строительство кооперативных домов, квартиры в которых принадлежали членам кооператива — «застройщикам». В 30-х годах «застройщиков» уплотняли, а то и просто высылали в дальние края, и после войны уже мало кто помнил о первых петроградских кооперативах. «Мы смотрели невероятные квартиры на Неве с зеркальными окнами прямо на серую воду, — вспоминала начало 20-х годов Н. Я. Мандельштам. — Это были квартиры, брошенные хозяевами, бежавшими из России. Никто их не брал, потому что на ремонт и дрова ушло бы целое состояние». Такие хоромы отпугивали и высокой квартирной платой, чаще люди предпочитали что-нибудь подешевле, одну-две комнаты в общей квартире. Но и это не всем было по карману — человек с малым достатком не имел возможности снять отдельную комнату.

В 1921 году К. И. Чуковский побывал в студенческом общежитии. «Они живут в ужасных условиях, — писал он. — Установилась очередь на плиту, где тепло спать,

один студент живет в шкафу, провел туда электрическое освещение»[1]. Квартирная плата повышалась каждые два-три месяца, при этом соблюдался классовый принцип: рабочие, государственные служащие и военные платили по льготному тарифу и могли утешаться тем, что богатых обирают еще больше. Вот лишь один пример: в марте 1923 года «президиум Губисполкома утвердил повышение квартирной платы на март. Для рабочих, служащих, военных, кустарей и пр. — плата увеличивается на 100 %. Для торговцев, промышленников и пр. нетрудовых элементов квартирная плата будет взиматься целиком с переводом на золотой рубль». А в мае снова «квартирная плата увеличивается и высчитывается пропорционально величине зарплаты: для рабочих и служащих — на 25 %, для людей свободных профессий — на 50 %». Для «нетрудовых элементов» — торговцев, ремесленников и других тружеников частного сектора — установленный процент был еще выше. Этот нехитрый прием повторялся раз за разом, и за 1923—1925 годы льготная квартплата увеличилась втрое; не случайно основная часть разводов того времени объяснялась невозможностью платить за жилье.

В трудном положении оказались владельцы квартир — они платили за принадлежавшую им площадь по самой высокой ставке. Чтобы свести концы с концами, приходилось сдавать комнаты, при этом по указу губисполкома «проживающие в их квартирах рабочие и служащие вносят квартировладельцам плату за занимаемую площадь по льготным ставкам». Владельцы вынуждены были тесниться еще больше, и скоро бывшая отдельная квартира превращалась в коммунальную. Жильцы вовсю пользовались их бесправием: «...переехавший ко мне в квартиру гражданин Гюнтер, — жаловался квартировладелец в 1923 году в газету, — несмотря на предварительное условие, лишил меня права пользоваться водопроводом

[1] В общежитиях для получения отдельной комнаты жильцы пускались на всевозможные хитрости. В 1923 г. наблюдалась настоящая брачная эпидемия среди слепых в петроградских инвалидных домах, поскольку семейным стали выделять отдельные комнаты.

и уборной. Обращался я в правление, а там „моя хата с краю“. А ведь и я человек». Одной из главных причин появления коммуналок была непомерная плата за жилье. В 1930 году Е. А. Свиньина писала дочери, что ее главная забота — «собрать те 5 рублей, которыми оплачиваю свой мрачный, тесный, переполненный голодными, злобными крысами угол», а ее пенсия составляла 11 рублей в месяц.

Жизнь большинства людей той эпохи прошла в коммунальных квартирах. Главными в квартире были «места общего пользования» — кухня, ванная, уборная. Кухня служила местом дискуссий, а временами полем сражения жильцов — эти бои увековечены в рассказе Зощенко «Нервные люди». Другой рассказ Зощенко «Кризис», о том, как семейство поселилось в ванной, кажется вымыслом, однако случалось и такое. В московской коммунальной квартире «ванным» жильцом некоторое время был Сергей Есенин. По свидетельству писателя Олега Леонидова, «в голодные годы Есенин в поисках теплого угла (он жил в нетопленой комнате) перебрался в ванную комнату, где можно было топить колонку. И зажил тут, с головой уйдя в работу. Остальные жильцы вознегодовали: „Мы мерзнем, а у Есенина тепло. Выселить его из ванны!“ Но Есенин был стоек и в ванной удержался».

В юморе той эпохи увековечены страдания жильцов в утренней очереди в уборную, затем они выстраивались в кухне в очередь к умывальнику. Пространство кухни было строго разделено, у каждой хозяйки был свой столик, но главное место в кухне занимала плита. Ее растапливали с раннего утра и начинали готовку: варили, жарили, пекли, тут же кипятили белье. Днем плита остывала, и хозяйки зажигали свои керосинки и примусы. Примус — забытая роскошь эпохи, изящная латунная пагода на изогнутых лапках, его нижнюю закрытую чашку заполняли керосином. В 1926 году Е. А. Свиньина сообщала дочери о покупке этой замечательной вещи: «Примус... очень хороший, элегантный... и я любуюсь им ежедневно и держу его в образцовой чистоте у себя в комнате. Это у меня самая роскошная вещь... Ведь я теперь свободный

человек. Никто меня локтями от плиты не толкает, не орет благим матом над моим ухом разные комплименты моей старости и моему прошлому».

Всем хороши были примусы, но иногда «взрывались» — при зажигании керосиновые пары вспыхивали с громким хлопком[1]. Керосинка, конечно, не столь элегантна, да и коптит, но с нею спокойнее: за слюдяным окошечком этого приземистого сооружения смирно горели фитили. Примус и керосинка были необходимыми в хозяйстве вещами, но символом домашнего уюта по-прежнему оставался самовар. Самовар занимал почетное место на обеденном столе, и когда семья садилась за чаепитие, кто-нибудь из соседей непременно заглядывал в комнату — одолжиться кипяточком. У всех петроградцев были в хозяйстве керосиновые лампы, ведь электричество то и дело гасло, и мягкий свет керосиновой лампы был приятнее тускло-багрового накала электрической лампочки. Настольные лампы под цветным абажуром напоминали о старом петербургском быте; горожане много лет называли дореволюционную пору «мирным временем». Даже в конце 30-х годов можно было услышать: «Это было давно, еще в мирное время», хотя после гражданской войны время тоже вроде бы было мирным. Но весь уклад новой жизни напоминал блоковские строки: «И вечный бой! Покой нам только снится / Сквозь кровь и пыль...» — вечная тревога, борьба за кусок хлеба, за собственный угол, за выживание.

Насущной заботой горожан была заготовка дров, они представляли не меньшую ценность, чем хлеб, ведь в большинстве домов было печное отопление. В 1921 году Г. А. Князев писал: «Вся наша жизнь превратилась в сплошной парадокс. Мы получаем жалованье 11—18 тысяч и принуждены в кооперативе платить за продукты по 25—30 тысяч за раз. Дрова предлагают в том же кооперативе по 70 тысяч рублей». Он выписал в дневник газет-

[1] Москвичка Ада Лазо вспоминала эпический рассказ своей няньки: «Сижу раз у окна, слышу, во дворе что-то бабахнуло. „Ну, думаю, опять примус взорвался“. А это Маяковский застрелился».

ное объявление: «Жителям Петрограда разрешено вылавливать из воды плавающие доски, бревна, дрова» (а до того, выходит, нельзя было?). Этим промыслом занимались мальчишки и безработные, но во время наводнений им не пренебрегали даже солидные граждане. В. П. Семенов-Тян-Шанский вспоминал, как во время наводнения 1924 года мимо его дома на Васильевском острове «гнало по воде много дров, и наша молодежь, надев болотные сапоги, крючьями и палками загоняла их внутрь дома к парадной лестнице». В обычное время дрова покупали на складах или на дровяных баржах, и разгрузка и доставка на место этого сокровища уравнивала всех. Жена академика С. Ф. Ольденбурга Елена Григорьевна записала в ноябре 1930 года: «Сегодня была тяжелая картина: подвезли к берегу против АН [Академии наук] две баржи с дровами и с трех часов все сотрудники Академии, исключая академиков, выгружали дрова до 6 1/2 часов вечера». Городские дворы были сплошь застроены дровяными сараями жильцов. Дрова пилили и кололи во дворе, и в сыром воздухе всегда стоял кисловатый, хмельной запах гниющих опилок. В некоторых петербургских квартирах по сей день сохранились печи-голландки; когда-то счастливые обладатели комнаты с такой печью наслаждались теплом, а остальные мерзли в своих комнатах. «Буржуйки» и «пролетарки» ушли в прошлое.

С чем в 20-х годах не было проблемы, так это с мебелью. Новоселы 1918 года перебирались в квартиры с громоздкой, добротной мебелью, но новая эпоха диктовала иной стиль: такая мебель была рассчитана на другое жизненное пространство. Она продавалась за бесценок, комиссионные магазины были заставлены гарнитурами красного и палисандрового дерева, карельской березы, мореного дуба. В городе регулярно производилась распродажа дворцовой мебели. В августе 1925 года газеты сообщали об очередной распродаже: «На складах б<ывшего> Зимнего дворца возобновилась распродажа дворцового имущества, а также имущества гр. Шувалова, Шереметевых и кн. Юсуповых. Заявления о желании приобрести вещи поступили от рабочих и служащих некоторых заводов».

Иногда мебель на продажу выставляли прямо на площади Урицкого (бывшей Дворцовой). То были золотые времена для ценителей искусства: книги из лучших собраний Петербурга продавались на вес, раритеты шли по цене нескольких пачек махорки.

В середине 20-х годов у горожан появилась мода на «аристократизм». Константин Вагинов в романе «Козлиная песнь» изобразил одну из мнимых аристократок: «Она, подобно многим согражданам, любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганым атласом, ждала ее у подъезда, как она спускалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету». В доказательство былого величия покупалась пара стульев с золочеными спинками, бюро или туалетный столик. Но их хрупкое великолепие не было рассчитано на суровый быт, на них не поставишь стиральное корыто или чугунный утюг — эти вещи быстро ветшали, ломались и оканчивали век в кухонной плите. Но главное, они морально устарели в глазах людей новой эпохи. В 1929 году поэт Павел Лукницкий помогал Ахматовой при переезде на другую квартиру. Вещей у нее было немного: «сломанные, ветхие — красного дерева — бюрцо, кровать, 2 кресла, трюмо, столик, буфетик со стеклом... Составляли сначала все это на улице, я стерег, и слова прохожих: „Тоже имущество называется!“ — презрительный гражданин. „Вещи-то старые, бедные... Куда их везут — продавать, что ли?“ — соболезнующим тоном женщина». Бедные, нищенские вещи красного дерева... К ужасу будущих антикваров, красное дерево часто покрывали белой масляной краской — в моде была светлая мебель.

А сохранившиеся островки прежнего петербургского быта производили на молодежь угнетающее впечатление. Евгений Шварц вспоминал, как в 1932 году его пригласили в дом знаменитого хирурга И. И. Грекова: «Мы увидели большую темную переднюю с зеркалом, столиком, картиной в овальной рамке, такой же темной, как стены, стулья с высокими спинками, пол с ковром... По мере того как открывалась нам комната за комнатой — все

отчетливее выступала призрачность обстановки. Она умерла, но не сдавалась. В столовой и комнате хозяйки висели картины, все небольшие, в золотых рамках... Когда-то были они, вероятно, ценимы, эти художники... но умерли и вымерли и ценители, и они сами... И страшновато было, когда ты вдруг понимал, что всех этих покойников принимают за живых. А они умерли настолько недавно, что запах тления еще носился вокруг них». Прошлое источало запах тления, оно отталкивало, пугало. Давно ли героиня «Вишневого сада» Раневская восклицала: «Шкафик мой родной! Столик мой!» — и Гаев произносил панегирик книжному шкафу? Тогда эти вещи были символами прочности семейных устоев, преемственности поколений, но искусство 20-х годов переосмыслило эти символы. В фильме «Нет счастья на земле» (1922 год) герой застреливался в шкафу, узнав об измене жены, — традиционная принадлежность семейного быта становилась местом гибели. Это драматическая трактовка «темы шкафа», но была и сатирическая. В 1927 году режиссер Игорь Терентьев поставил на сцене ленинградского Дома печати комедию Гоголя «Ревизор». В его постановке пьеса превратилась в яркую, дерзкую буффонаду, где главными элементами декорации спектакля стали шкафы. Они служили то отхожим местом (герои скрывались туда со скомканной бумажкой в руке), то местом интимного уединения Хлестакова с Марьей Антоновной. «Многоуважаемый шкаф»[1] уходил в прошлое под презрительный смех нового поколения.

Меблировка комнат в коммунальных квартирах была аскетичной — к этому принуждала теснота, — обычно в нее входили комод или сундук, несколько стульев, стол, шкаф-шифоньер, кровать. Позднее появилась так называемая древтрестовская мебель: буфеты с ребристыми стекляшками, «ждановские» платяные шкафы с зеркалом, высокие комоды. Этажерка заменила книжный шкаф, за легким бамбуковым столиком занимались шитьем и рукоделием. Предметом роскоши считалась железная кровать с панцирной сеткой и никелированными шарами на спинках[1], днем ее украшало покрывало и вязаная накидка на горке подушек. Железные кровати прослужили не одно десятилетие, но в начале 60-х годов стали опять входить в моду деревянные. Тогда, во время массового переселения в малогабаритные квартиры-«хрущобы», старую мебель часто выбрасывали. Любители антиквариата обследовали дворы и свалки и временами находили замечательные, редкие вещи. А новоселы обзаводились «стенками» из прессованных опилок, гарнитурами с пластиковой облицовкой, диванами-кроватями и раскладными столами-книжками.

[1] «Шкафопочитание» неожиданно возродилось в нашу эпоху нуворишей и порой в причудливой форме: фасад одного из новых особняков в Павловске контурами и украшениями очень походит на шкаф в стиле модерн.

Поговорим о флоре и фауне питерских квартир.

Два пестрых одеяла,
Две стареньких подушки,
Стоят кровати рядом.
А на окне цветочки —
Лавр вышиной в мизинец
И серый кустик мирта.

(Константин Вагинов, 1926 год)

В убранстве бедного жилья есть только одно украшение — «цветочки». Жители северного города любили комнатные растения: в XVIII столетии во дворцах и богатых особняках были оранжереи и зимние сады, а в домах бедняков цвели гортензии и гераньки. Комнатные растения — самая универсальная деталь городского быта, они украшали подоконники общежитий, комнат в коммуналках, отдельных квартир, учреждений, больниц, мастерских. В 1920-х годах в квартирах зажиточных людей стояли кадки с фикусами и пальмами, это был мод-

[1] Ленинградка Людмила Чупиро вспоминала, как в послевоенное время дети из домов у Таврического сада купались в его пруду — «Тавриге». Плавать в «Тавриге» было опасно: под водой скрывались ржавые железные кровати, матрасы с торчащими пружинами, ломаные стулья. Это была мебель умерших в блокаду горожан, выброшенная новыми жильцами.

ный атрибут преуспеяния. «Нэпманская» пальма в кадке стала предметом неустанных насмешек сатириков, а позднее их стараниями превратилась в символ мещанства[1]. Наиболее распространенные комнатные растения — герань, гортензия, бегония, фуксия, столетник (алоэ), но было и множество других, тут каждый мог выбирать по своему вкусу. Константин Вагинов в романе «Козлиная песнь» описывал домашние литературные вечера 20-х годов: для чтеца в центре комнаты «ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке». В прежние времена стол украсили бы цветами в вазе, теперь — цветком в горшочке, но это та же неизменная традиция.

При мысли о фауне ленинградских квартир сразу вспоминаются клопы и блохи — эти насекомые отравляли жизнь не одному поколению горожан. Чем их только не выводили: выставляли вещи на мороз, шпарили кипятком, смазывали пазы керосином. (Керосин был вообще универсальным средством: его втирали в волосы, если заводились вши, при ангине смазывали им миндалины — это считалось действенным.) Борьба с клопами была неутомимой и безнадежной: стоило их вывести, как от соседей приползали новые. То же самое было с блохами — старые проверенные средства вроде «персидского порошка» давно исчезли из продажи, и вместо них был найден новый радикальный способ — блох и клопов морили ядовитыми газами. «Красная газета» писала в 1925 году: «В городе развелось неимоверное количество блох. В бюро „Рабочее оздоровление“ обращаются целые дома с просьбой очистить квартиры от блох. Очистка с помощью газов стоит недорого. Некоторые гостиницы обратились с просьбой избавить их от клопов. Эта работа производится тоже в ударном порядке».

Другой городской напастью были мыши и крысы. Ленинградские крысы отличались фантастической прожорливостью, они подгрызали основы социалистического хозяйства: только на заводе «Красный треугольник» крысы «изъели» за год четыре тысячи метров ткани! В 1926 году директор института зоологии Н. Н. Богданов-Катков писал: «Грызуны в Ленинграде представляют опасность для товарных складов, продовольствия и строений. На некоторых складах грызуны прогрызли капитальные стены». Возможно, зоолог заблуждался: «прогрызали» капитальные стены и «изъедали» материю, продукты и прочее не только крысы. Не случайно ведь известное слово «несун» образовано по типу слова «грызун». Богданов-Катков предлагал провести «крысиную неделю», чтобы разом покончить со всеми грызунами в городе, но, судя по всему, до этого дело не дошло. Подвалы и чердаки домов были настоящим крысиным царством, ночами они шныряли в квартирах; от крыс не спасали ни заделывание щелей, ни ловушки, ни яд. В 1935 году Е. А. Свиньина писала дочери: «...по ночам плохо сплю, крысы одолевают, хотя и нанимала человека-гражданина, чтобы заделал все дыры... Откуда они лезут? Я всю ночь, до 4-х часов утра, палкой, лежа в постели, отмахиваюсь во все стороны. Крысы рыжие и большие, пушистые. Такого нашествия на наш дом еще никогда не было. Все жалуются, заявляют в правление. Там сказали, что когда засыпят подвалы картофелем, тогда крысы отхлынут туда и нам будет спокойнее». Сомнительное, однако, утешение.

Граждане жаловались на нашествие блох, но, по мнению городской администрации, виноваты в нем были сами. Как не завестись блохам, когда почти в каждой квартире держат кошек или собак?[1] Константин Вагинов в романе «Козлиная песнь» писал о приметах городской жизни середины 20-х годов: «...то пробежит похожая на волка собака, влача за собой человека... То вдруг благой мат

[1] Большие комнатные растения не всегда сопутствовали преуспеянию. В послевоенные годы наша семья жила в невообразимой тесноте, но в комнате нашлось место для китайской розы — деревце в громоздком ящике стояло у окна, и его яркие цветы примиряли с теснотой и убожеством жилья, с кучей угля, высившейся снаружи.

[1] В начале 1990-х гг., при резком ухудшении жизни большинства горожан, на улицах появилось много бродячих собак. Тут причина понятна, труднее объяснить другое: в это время заметно увеличилось количество домашних животных, особенно кошек, их заводили даже люди, раньше не державшие домашних животных. Возможно, это позволяло легче преодолевать постоянный стресс?

осветит окрестность. То человек заснет у лестницы на собственной блевотине, как на ковре. А какой город был, какой чистый, какой праздничный! Почти не было людей. Колонны одами взлетали к стадам облаков, везде пахло травой и мятой. Во дворах щипали траву козы, бегали кролики, пели петухи». До Великой Отечественной войны в центральных районах города оставалось много деревянных домов, в их дворах и пели петухи, щипали траву козы и кролики. А жильцы многоэтажных домов обзаводились кошками и собаками.

В середине 20-х годов в городе заговорили о серьезной опасности: участились случаи бешенства животных; по данным эпидемиологов, в 1925 году «в Ленинграде укушено бешеными животными свыше 3 тысяч человек». Бешенством чаще всего заболевали бродячие животные, и для их отлова и уничтожения была создана специальная служба. Герой «Собачьего сердца» Шариков — заведующий подотделом очистки города от бродячих животных — возглавил как раз такую службу. Шариков с подчиненными и служащие ленинградского подотдела действовали по утвержденной инструкции, которая в 1925 году была опубликована в газетах: «Ночные часы для ловли самые удобные, но если в районе были случаи укусов, можно ловить и днем по площадям и дворам. В домах, где обнаружены бешеные животные, надо проводить дворовую ловлю, попутно уничтожая огромное количество бродячих кошек, наблюдающихся за последнее время». По городу колесили фургоны, ловцы хватали собак и кошек, не разбирая, какие бродячие, а какие нет. Хозяева, обнаружив пропажу собаки или кошки, отправлялись на «завод-питомник», куда свозили животных, но вызволить оттуда любимца было непросто — по инструкции, «даже если за собакой явился хозяин, но есть подозрение, что она укушена бешеной, она тоже должна уничтожаться». Кроме ловцов подотдела нашлось немало вольных охотников, которые обходили дворы в поисках кошек и, придушив дюжину-другую, набивали мешок, но не спешили с добычей в подотдел очистки — кошачий мех скупали городские скорняки. В 1924 году «Красная газета» поместила заметку «Берегите своих белых кошечек!»: «Сейчас в моде белый мех, и меховщики покупают его по любой цене». Как тут не вспомнить Шарикова, по словам которого удушенные коты «на польта пойдут. Из них белок будут делать на рабочий кредит». Были и другие специалисты по кошачьей части, они развешивали объявления: «Прихожу на дом уничтожать котят. Цена доступная». Кошки регулярно приносили потомство, а куда девать новорожденных котят? Не всякий способен топить их в ведре собственными руками, тут и звали спеца-кошкодава.

Кошки, собаки, канарейки, попугаи — дело обычное, но граждане этим не ограничивались. В сараях, которыми были застроены дворы (они оставались в городе до начала 50-х годов), не только хранили дрова, там, бывало, держали кроликов и кур, а в 20-х годах в некоторых сараях обитали медведи. Газеты не раз упоминали о них в связи с чрезвычайными происшествиями или кражами животных. В марте 1926 года, например, из сарая дома 6 по 5-й линии Васильевского острова был похищен дрессированный медведь. Отдельного рассказа заслуживает жизнь и смерть одного из ленинградских медведей: он жил в доме 11 на Разъезжей улице, в сарае, принадлежащем гражданину Шляхтеру[1]. Для чего Шляхтеру понадобился медведь, нам неизвестно. Видно, в сарае зверю жилось несладко, и медведь взбунтовался. 15 февраля 1924 года «Красная газета» сообщала: «Вчера проходившие по Разъезжей улице граждане были напуганы появлением большого медведя, который, бегая по улице, бросался на прохожих. Прохожими была организована облава. После долгих трудов медведя удалось загнать во двор одного из домов». Судя по решительности и сноровке прохожих, их не особенно удивило появление медведя в центре города. Его снова водворили в сарай, но он не смирился — весной опять затосковала звериная душа, и медведь вышел в последний бой. Вот как об этом повествуется в городских анналах («Красная газета»,

[1] Снова вспоминается «Собачье сердце» М. А. Булгакова: Шляхтер — почти Швондер.

10 мая 1924 г.): «Вчера днем жители Разъезжей и прилегающих улиц были напуганы появлением медведя, который набрасывался на прохожих и лошадей. Во время погони за ним медведь, спасаясь от толпы, забежал в одну из квартир дома 12 на Боровой улице. Жильцы квартиры в панике выскочили из квартиры. Медведь забежал на кухню, где перебил много посуды. В это время к дому подоспели милиционеры и дворники. Медведя удалось поймать и доставить в 10 отделение милиции, где его поместили в пустой комнате. Спустя некоторое время он оборвал веревку, выскочил из комнаты и, встав на задние лапы, с рычанием набросился на часового, стоявшего у камеры арестованных. Часовой произвел выстрел и убил медведя». Как хотите, а мне жалко отважного зверя. Все же на кой черт гражданину Шляхтеру понадобился медведь?

В облаве на медведя участвовали милиционеры и дворники. Дворники были уважаемыми и заметными людьми в городской жизни, они носили особую форму — белый фартук и металлическую бляху на груди. У них было множество обязанностей: следить за порядком на своем участке, за чистотой и вывозом мусора, за сохранностью домового хозяйства; дворники знали всех жителей дома, примечали посторонних и выступали арбитрами в ссорах дворовой детворы. Ночами они охраняли покой жителей дома, с вечера дворник запирал парадную или ворота и садился на дежурство; он мог уйти к себе подремать, но всегда выходил на звонок или стук припозднившихся жильцов. В романе Вагинова «Козлиная песнь» запечатлена картинка ночного Ленинграда 20-х годов: «На улице за запертыми воротами дворник, на тумбе, читал Тарзана, поднося книжку к глазам».

Эти неутомимые труженики пользовались уважением горожан, но в середине 30-х годов обнаружилась страшная вещь: оказывается, в коммунальных службах и в рядах дворников укрылись бывшие полицейские и городовые! Об одном из них вспоминал ленинградец П. П. Бондаренко: «Хозяином обоих дворов нашего дома и примыкавшей к нему части Кирпичного переулка был старший

дворник Борис Леонюк, белорус, городовой до 1917 года, добрейший человек... В 1937 году многих „бывших“ выселили из дома на Урал. Так под жернова попал и дворник дома № 3 по Кирпичному переулку». А оставшимся на службе дворникам все чаще приходилось исполнять еще одну обязанность: быть понятыми при обысках и арестах жильцов...

«Константин Константинович Вагинов был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И возможно, один из самых даровитых», — вспоминал Николай Чуковский. Происхождение Вагинова было по советским понятиям хуже некуда: его отец был жандармским подполковником, а мать происходила из семьи богатого сибирского промышленника. Фамилия отца поэта до 1915 года была Вагенгейм, но в 1915 году он переиначил ее на Вагинов — во время войны с Германией сама столица России переменила «немецкое» название. Предки Вагинова по отцовской линии — немцы, семья Вагенгейм приехала в Россию в XVIII веке; среди предков поэта был известный петербургский врач, лечивший А. С. Пушкина и В. Ф. Одоевского. Константин Вагинов родился 4 апреля 1899 года в доме, принадлежавшем его родителям, в этом доме прошли его детство и отрочество.

Тебе примерещился город,
Весь залитый светом дневным,
И шелковый плат в тихом доме,
И родственников голоса.

В Константине Вагинове была драгоценная хрупкость потомка угасающего рода. Он рос в просвещенной семье, родители поощряли его интерес к искусству, истории, археологии. Еще в детстве он увлекся нумизматикой, старинные монеты открывали воображению давно минувшие времена: «Вот, взнесенная шеей, голова Гелиоса, с полуоткрытым, как бы поющим ртом, заставляющая забыть все... Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся Сиракузская колесница, а вот монеты варваров,

жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековье, прямолинейное, фанатическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнет, сквозь иную жизнь, солнцем». Этого мальчика легко представить в ясном покое немецкого города XVIII столетия — Гёте в книге «Поэзия и правда» писал о своем сходном отроческом увлечении коллекционированием, мифологией, античностью. Но Константину Вагинову выпала другая эпоха, его гармонический мир был разрушен грозными событиями:

Помню последнюю ночь в доме покойного детства:
Книги разодраны, лампа лежит на полу.
В улицы я убежал, и медного солнца ресницы
Гулко упали в колкие плечи мои.

В романе «Козлиная песнь» он вспоминал о своей юности, о скитаниях по городу со странной девушкой Лидой, о пристрастии к кокаину. В 1918 году Вагинова мобилизовали в Красную армию: «Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска. В Польшу налет — и перелет на Восток»; он побывал на польском фронте и за Уралом, а в 1921 году вернулся в Петроград. Город изменился, а его родители превратились в измученных страхом стариков, у них не осталось ничего, кроме угла в их прежней квартире, они голодали. И сам Вагинов, маленький, сутулый, утопавший в большой отцовской шинели, почти беззубый, казался безвременно состарившимся. Но молодых поэтов из студии Гумилева поразило не это, а его стихи — их смысл казался темным, но, по словам Николая Чуковского, «была в них какая-то торжественная и трагическая нота, которая заставляла относиться к ним с уважением». Так отнесся к стихам Вагинова и Гумилев, который в августе 1921 года, незадолго до своего ареста, принял его в «Цех поэтов». Мир этих стихов действительно странен: в стране Гипербореев, «среди домов ветвистых», течет обыденная жизнь и вместе с тем свершаются древние мистерии, здесь появляется античный юноша Филострат, а в невской воде отражаются золотые Сарды — столица древней Лидии: «иль брег александрийский? иль это римский сад?»

Петербург — остров, омываемый потоком всемирной истории, и над ним сомкнут незримый свод мировой культуры. Собственная история города тоже не канула в прошлое, здесь продолжается жизнь героев его литературы. В романе Константина Вагинова «Труды и дни Свистонова» пушкинский «Евгений бедный» снова бросает вызов Медному всаднику: «... к памятнику, идя от Сенатской площади, приближался седобородый человек в длиннополом позеленевшем пальто, остановился перед памятником, погрозил Петру кулаком и сказал:

Мы вам хлеба, —
а вы нам париков.
От тебя все погромы.

Затем, опустив голову, побрел дальше». В современном Ленинграде по-прежнему живут герои Гоголя: как славно когда-то отплясывал поручик Пирогов[1] с хорошенькой немкой фрау Шиллер! С тех пор много воды утекло, но они все кружатся в танце, хотя теперь их зовут иначе — бывший офицер Мальвин и девица Плюшар. «Мальвин подошел, пригласил Плюшар на танец. Он обхватил ее за талию, и на пятачке они понеслись. Мальвин выделывал па, старался танцевать так, как танцевал еще студентом, становился на колени. Девица Плюшар неслась вокруг него. Он вскакивал, вращал ее еще раз, и они снова неслись». Что за славная пара! Конечно, и Евгений из «Медного всадника», и эти танцоры постарели, но они все те же. В Ленинграде 20-х годов обитают Филемон и Бавкида[2] — старенькие Таня и Петя, они трогательно любят друг друга, и Таня кажется мужу по-прежнему юной. В образах этих чудаковатых стариков воплотилась мечта автора о долгой жизни с его «девочкой-женой» Шурой Федоровой, которую он встретил в поэтической студии Гумилева. Поэтесса Ида Наппельбаум вспоминала:

---

[1] Поручик Пирогов — герой повести Н. В. Гоголя «Невский проспект».

[2] Филемон и Бавкида — в греческой мифологии добродетельная супружеская чета. Боги наградили их за благочестие: они жили долго и счастливо и умерли в один день.

«Они вдвоем — Костя Вагинов и Шура Федорова — просиживали белыми ночами до утра на ступенях набережной. Оба небольшие, одного роста, одетые во что-то неприметное. „Сидят там на Стрелке, вокруг ни души, — сказал кто-то, входя в комнату, — издали посмотреть, ну просто два беспризорника, бездомника“». В 1926 году Шура стала женой Константина Вагинова.

Он был беден, чрезвычайно беден даже по понятиям того времени, из года в год ходил в ветхом бобриковом пальто, в заношенной шапке-ушанке. Его старомодная учтивость и образ жизни многим казались чудачеством: Вагинов не любил электрического света и жил при свечах; «где-нибудь на вечеринке, немного выпив, он вдруг отходил от стола и, счастливый, начинал выделывать изящнейшие па восемнадцатого века, — танцевать ему приходилось одному, потому что в нашем кругу не было дам, умевших танцевать менуэт», — вспоминал Николай Чуковский. Его любили друзья, присутствием Вагинова дорожили литературные группы, но он всегда оставался в своем мире, в незримом кругу одиночества. Вот еще одно воспоминание Николая Чуковского: в промерзшем зимнем трамвае «посреди вагона стоял Вагинов — все в той же шапке-ушанке, завязанной тесемочками под подбородком, все в том же бобриковом пальто, — держался за ремень и, глядя в книгу, читал Ариосто по-итальянски». Он по-прежнему был страстным коллекционером, собирателем раритетов, старинных вещиц, печаток, гемм, редких книг. «Он был беден, но вещи как бы сами шли к нему... — вспоминала Ида Наппельбаум. — Иногда бывал по-детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще: — Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять! — добавил он с отчаянием». Едва ли разница между ЦИКом и ВЦИКом занимала Вагинова, она не играла роли в его стремлении закрепить обнаженно-пошлый и в то же время фантастический современный мир в слове. В 1927—1931 годах в Ленинграде вышли его романы «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада», а до их публикации Вагинов читал главы из книг на домашних

литературных вечерах. «Некоторые главы я слышал в его чтении по нескольку раз, — писал Николай Чуковский, — так как слушатели переходили вместе с ним из квартиры в квартиру». В героях романов легко узнавались известные в литературных кругах люди, но цель автора была иной. Его персонаж писатель Свистонов говорил о цели искусства: «...искусство — это совсем не празднество, совсем не труд. Это борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтобы была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным существованием. Литература по-настоящему и есть загробное существование».

Вагинов был безнадежно болен туберкулезом. С начала 30-х годов он, «широко известный в узких кругах» поэт и прозаик, зарабатывал на жизнь литературной поденщиной: вел кружок на заводе «Светлана», участвовал в составлении книги о рабочих Нарвской заставы. К. И. Чуковский в дневнике саркастически упомянул о включении «одиозного» Вагинова в писательскую бригаду для работы над этой книгой. И впрямь, можно ли поручить столь ответственное дело человеку, которому работницы «Светланы» напоминали бывших воспитанниц Смольного института! «Дух мягкой женственности, девичества, царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову. Он тоже там всем полюбился — добротой, скромностью и столь необычной старинной учтивостью. — Славно, — сказал он мне как-то, когда мы возвращались с ним со „Светланы“. — Совсем как бывало в Смольном институте», — вспоминал Н. К. Чуковский. В *его* городе современность срасталась с прошлым, и нетленное золото Сард отражалось в водах Невы.

«И вот кто-то пришел и сказал: „Костя умирает...“ — вспоминала Ида Наппельбаум. — Вошла в маленькую квартиру, какую-то темную, низкую. В первой комнате у стола сидели два маленьких безмолвных человека. Отец и мать. ...Из второй комнаты появилась Шура и сказала эти страшные слова: „У него агония...“ Я вошла вслед за ней и остановилась в дверях. Он лежал лицом к стене и дрожал. Шура подошла, наклонилась, сказала: „При-

шла Ида“. Он сразу повернулся к двери и улыбающимся беззубым ртом радостно протянул: „А-а-а, Идочка...“ И снова к стене. Я окаменело постояла в дверях и бежала от этого ужаса». Константин Вагинов умер 26 апреля 1934 года, его похоронили на Смоленском кладбище, неподалеку от могилы Александра Блока. В толпе провожавших шли двое старых людей — родители поэта. Вскоре отца арестовали и при обыске изъяли рукописи Вагинова.

В советских мемуарах часто встречается оборот «с тех пор мы не виделись» или «больше мы не встречались», что, как правило, указывало на бесследное исчезновение человека. Так произошло с отцом Константина Вагинова, та же участь наверняка ждала бы его самого. Многим провожавшим его на Смоленское кладбище было отпущено всего три-четыре года жизни. «Как хороша любовь в минуты умиранья!» — писал Константин Вагинов в одном из последних стихотворений. В многомерном, плотно населенном, причудливом мире его стихов и прозы, в переплетении реальности и вымысла, как нигде, запечатлелось его время и город «в минуты умиранья».

Бывшие люди

Прошлое пахнет тлением. «Старорежимные» люди. Молодежь перед выбором: Игорь Рудаков, Вера Кетлинская, толстовец Брукер. Чем объяснить самоубийства? Из хроники происшествий. Гибель Сергея Есенина. Литераторские нравы. Поэт и чернь

Смена эпох — это всегда конфликт поколений, неизбежный спор «отцов и детей», но в советской России 20-х годов происходило нечто совсем иное — молодежь того времени можно назвать «детьми без отцов». У молодого советского поколения не было не только преемственности, но и потребности идейного спора с «отцами» — прошлое отрицалось безоговорочно. Это касалось, в частности, истории России, которая напоминала в трактовке новой идеологии закостенело-однообразную, ледяную пустыню с редкими островками жизни. Да и эти островки вызывали сомнение, надо еще разобраться, что там за жизнь была.

Взять, к примеру, Пушкина... «Левое» искусство требовало сбросить его с корабля современности, однако при соответствующей трактовке Пушкин мог пригодиться. Ф. Ф. Раскольников вспоминал, как в 1935 году В. М. Молотов заговорил с ним о Пушкине: «„Кстати, я давно хотел с вами посоветоваться, — сказал Молотов... — Мы решили торжественно отметить столетие со дня смерти Пушкина. Как, по-вашему, лучше сформулировать: за что мы, большевики, любим Пушкина? Если сказать, что он создал русский литературный язык, что

он воспел свободу, так под этим подпишется и Милюков[1]. Надо придумать такую формулировку, под которой не мог бы подписаться Милюков. Подумайте-ка об этом"... На досуге я придумал тысячи определений значения Пушкина, но не решился доложить их Молотову: под каждым из них мог бы подписаться Милюков». Вот ведь незадача какая!

Но вернемся в 20-е годы.

Россия счастье. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал... —

писал поэт-эмигрант Георгий Иванов. К середине 20-х годов в советском обществе сформировалась стойкая неприязнь к эмигрантам, а их стенания о гибели России вызывали презрение. «У нас сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских... Это имеет свой хоть и не логический, но исторический смысл: великорусский национализм слишком связан с идеологией контрреволюции (патриотизм), но это жестоко оскорбляет нас в нашей преданности русской культуре», — писала в дневнике 1927 года филолог Лидия Гинзбург. Однако отвергать и осуждать русский патриотизм и любить русскую культуру — это все равно что любоваться украшениями на теле мертвеца; власть, которая отмечала юбилей *смерти* Пушкина, была последовательнее интеллигенции. Презрение вызывали не только эмигранты, но и оставшиеся в России «бывшие люди», их так и называли — «бывшие», то есть утратившие право называться людьми. По свидетельству Н. Я. Мандельштам, в 20-х годах «старшие поколения, еще демократичные, вызывали грубые насмешки молодых». Однажды Осип Мандельштам указал ей на бредущего по мосту оборванного старика — «это был известный историк...

[1] Милюков П. Н. (1859–1943) — историк, лидер партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства. После октябрьского переворота в эмиграции.

Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал — он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленой комнате».

Даже признанные властями общественные деятели прошлого вызывали у молодежи пренебрежительную усмешку. Лидия Жукова вспоминала знаменитого юриста А. Ф. Кони: «И вот он перед нами, эта живая легенда: высохший грибок, сбившийся, трепаный комочек... Как-то иду по Надеждинской, смотрю — перед подъездом стул, обыкновенный домашний стул, а на нем знакомая тряпичная кукла. Греется на солнышке. Великий Кони...» В мемуарах, написанных ею через полвека, запечатлелось высокомерие молодой советской интеллигенции 20-х годов. Она вспоминала о превращенной в музей «последней квартире Романовых» в Александровском дворце, где все осталось по-прежнему: игрушки в детской цесаревича, семейные фотографии на столах, свидетельства жизни жестоко загубленных людей. Но Лидию Жукову поразило не это, а буржуазная безвкусность обстановки!

Тогда такие наблюдения были в моде, Лариса Рейснер тоже писала о буржуазной безвкусице покоев расстрелянных великих князей. Спустя полвека Жукова помнила вазочки, белый телефон на столе императрицы, ванную с бассейном, но ни словом не упомянула о главной особенности царских покоев. Об этой особенности сообщала в 1923 году «Красная газета»: «За будуаром — спальня [императрицы]. О том, что это спальня, говорит только стоящая у стены огромная кровать. Все остальное больше напоминает домовую церковь. Иконы, иконы, иконы... Остальное занято огромным иконостасом... Рядом комната двух старших дочерей — Ольги и Татьяны. Эта детская также напоминает домовую церковь, с той разницей, что количество иконостасов и мест для коленопреклонения здесь значительно больше». Забывчивость Жуковой объяснима, религиозный аспект жизни был вне интересов молодежи ее круга, его просто не замечали. Она же вспоминала о том, как во время церковного венчания Марины и Николая Чуковских «мы расшалились, кто-то хихикал

(„Религия — опиум для народа“). Венчавший батюшка что-то загрохотал недовольно».

Молодых друзей Анны Ахматовой смущало ее обыкновение креститься, проходя мимо церкви, это казалось пережитком прошлого, да и сама Ахматова в свои 35—37 лет была официально признана пережитком прошлого — ей назначили пенсию за былые литературные заслуги. В 1925 году критик В. О. Перцов писал: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть», а московские поэты-«ничевоки» публиковали ерические диалоги: «Как поживает там Анна Ахматкина? — Говорят, что Ахматкина уже никак не поживает... Говорят, что она уже загнулась». А через несколько лет Анна Ахматова услышит вопрос: «Вы, кажется, были когда-то писательницей?» Характерно воспоминание Евгения Шварца о появлении в ленинградском Союзе писателей Федора Сологуба, оно напоминает явление Каменного гостя в мир живых: «Его тяжелое лицо, и русское и римское, сохраняло полное спокойствие, будто он был в комнате один. И все притихли, и что-то как будто прояснилось на мгновение. Шел человек чужой, но поэт, умирающий, но еще живой».

Бывшие люди, живые мертвецы, пережитки прошлого — им давно следовало умереть, они были лишними и даже опасными в новом обществе. По утверждению Лили Брик, Маяковского довели до самоубийства грипп и разговоры «литературных бывших людей» об искусстве! В поездах времен военного коммунизма бывших людей можно было определить по запаху: тогда свирепствовал сыпной тиф, и считалось, что разносчиков заразы — вшей — отпугивает запах нафталина и камфары. Поэтому, собираясь в дорогу, люди из «чистой публики» рассовывали по карманам или зашивали в ладанку пахучие шарики. От них пахло нафталином, тлением, как от залежавшегося старья, и соседи брезгливо отодвигались.

Сходное чувство молодежь испытывала к культуре прошлого: «Серебряный век» исчез за выжженной полосой революции и гражданской войны, и жизнь как будто вывернуло наизнанку. Вежливость теперь считалась проявлением «старорежимности», а грубость — признаком передовитости. Лингвист А. М. Селищев в опубликованной в конце 20-х годов книге о языке новой эпохи отмечал его обеднение, вульгаризацию, засилие блатного жаргона. По его наблюдению, речи и статьи вождей были полны «грубых ругательств, особенно резких по отношению к противникам коммунистической власти и к лицам своей среды, нарушившим партийное единство». Еще развязнее была комсомольская пресса, ее страницы пестрели бранью и даже матерщиной. У молодежи «революционным» стал считаться блатной жаргон, при прощании теперь говорили «ну, пока»[1] или «до скорого», рукопожатие сменилось хлопаньем по плечу, а обращение на «вы» почти исчезло из обихода.

Даже люди старшего поколения порой сомневались в реальности недавнего прошлого. Неужели «большая, рыхлая, 45-летняя женщина» — это воспетая Блоком Прекрасная Дама? «Глаза узкие. На лоб начесана челка», — писал в 1926 году К. И. Чуковский о Любови Дмитриевне Блок. Она служила корректором в Госиздате и тоже изъяснялась языком новой эпохи: «Летом случалось *вырабатывать* до 200 р. в месяц, но теперь, когда *мы слились с Москвой*, заработок уменьшился вдвое» (курсив мой. — *Е. И.*). «Того чувства, что она „воспетая“, „бессмертная“ женщина, у нее не заметно нисколько, да и все окружающее не способствует развитию подобных бессмысленных чувств», — отмечал Чуковский. Бывшая жена поэта Ходасевича, «бедная Анна Ивановна Ходасевич с голоду пустилась писать рецензии о кино. Была на интереснейшей американской фильме, но рецензию пишет так: „Опять никчемная американская фильма, где гнусная буржуазная мораль и пр.“ — Иначе не напечатают, — говорит она, — и не дадут трех рублей!», — записывал Чуковский. Поблекли, утратили очарование знаменитые

[1] «Старорежимная» интеллигенция иронически обыгрывала новые словечки и аббревиатуры: при прощании говорили «Чик», то есть «честь имею кланяться»; художник Добужинский произносил с угрожающей интонацией: «Ну, пока!» В годы Великой Отечественной войны прощальным приветствием стало: «Будь жив!»

петербургские красавицы Серебряного века, их изменили не только невзгоды — кончилась эпоха, одухотворявшая их красоту. «Жизнь до того изменилась, что я иногда сомневаюсь, жива ли я еще», — признавалась в 1926 году Е. А. Свиньина.

Но, несмотря на все перемены, из жизни города не исчезли его особые, «петербургские» черты и коллизии. Однажды герой «Преступления и наказания» Родион Раскольников остановился на улице послушать пение: юная певица, в мантильке, перчатках, шляпке, исполняла под аккомпанемент шарманки чувствительный романс. В репертуаре уличных певцов 20-х годов тоже преобладали чувствительные романсы: «Наше счастье разбить пожелали, наруши́ли семейный покой, от меня мою детку отняли. Ах, за что ж я несчастный такой!», «Скажи, зачем меня прельщаешь, и что меня к тебе влечет? Иль так ты взглядом поражаешь, твой образ ходу не дает», и тому подобное. В июле 1924 года «Красная газета» писала об одной из уличных певиц: «Бывшая полковница. Черная креповая шляпка. На плечах тальмочка. В руках ридикюльчик. Во двор заходит смело, но всегда разыщет дворника или управдома и спросит: „Разрешите спеть два романса“. Из-под тальмочки извлекает тетрадку нот, долго переворачивает страницы... Потом легонько откашливается и: „Я шансоньетка! Поберегитесь! Стреляю метко! Не попадитесь!“ Окончив один романс, старуха поет другой и вдруг начинает приплясывать». Тальмочка, шляпка, перчатки... — уж не ее ли когда-то слушал Раскольников? Или это обезумевшая Катерина Ивановна Мармеладова? Старуху сопровождала молодая женщина, вдова ее сына, она тоже пела, а старуха пускалась в дикий пляс. Их жалели, из окон летели во двор завернутые в бумажку монеты. Репортер назидательно замечал, что бывшая полковница богаче своих слушателей: он видел, как она купила пирожное на собранные пятаки!

Всем известно, что самые богатые люди на свете — нищие. Об этом свидетельствовала другая история, поведанная «Красной газетой»: «На днях в Петрограде умерла от голода гражданка Норенберг. Норенберг занималась нищенством». Она собирала по помойкам объедки, соседи подкармливали ее из жалости, а после ее смерти «под матрасом и подушкой покойной нашли несколько триллионов советскими деньгами, на несколько десятков тысяч рублей золота, бриллиантов, а в несгораемом шкафу золотые монеты и другие ценности. На окне комнаты в коробке были червонцы»! Выходит, гражданка Норенберг умерла с голоду среди россыпей золота и бриллиантов, а соседи ничего не знали (коммунальные соседи — самый зоркий народ) и подкармливали хитрую старуху!

Такую чепуху публиковали газеты, такое рассказывали на собраниях, распускали лживые слухи, и все с одной целью — вытравить из людских душ жалость к несчастным, голодным, гонимым. Власть мобилизовала все силы на истребление человеческого в человеке. Это было не бессмысленным злодейством, а циничным расчетом: народу советской России готовилась участь слепой разрушительной силы, а для этого он должен был разучиться думать, сочувствовать, сострадать. Неослабное нагнетание лжи и вражды постепенно давало результаты (в 1933 году Е. А. Свиньина писала: «Жестокие люди, жестокое время... как жестока и несправедлива волчья порода») — окружающие отвергали и травили беззащитных «бывших людей», а государство их истребляло. Хотя по природе людям свойственно чувство жалости, особенно женщинам... К. И. Чуковский записал в дневнике 1924 года случай на митинге в честь возобновления производства на бывшей писчебумажной фабрике Печаткина: «Говорились обычные речи: „Эта фабрика — гвоздь в гроб капитализма“... Вдруг среди присутствующих оказался бывший владелец фабрики, тот самый, в гроб которого только что вогнали гвоздь. Бабы встретили его с энтузиазмом, целовали у него руки, приветствовали его с умилением. Он был очень растроган, многие плакали». При других обстоятельствах те же бабы могли обозвать его паразитом и вытолкать из продуктовой очереди. Такие сцены были обыденными. «В мясной лавке, — записал Леонид Пантелеев, — пожилая дама в трауре просит

девушку: „Будьте любезны, понюхайте этот кусок мяса. Я не могу различить запахи — стара“. Девушка нагибается, но ее обрывает накрашенная и расфуфыренная барыня: „Даша! Не смейте!“ И, обращаясь к старухе: „Что еще за новости! Нюхайте сами. Прошло ваше времечко — не при старом режиме чужих прислуг нюхать заставлять!“» Е. А. Свиньина писала внучке Асе, мечтавшей вернуться в Россию: «Что же ты найдешь там, где все зависит от минуты, новых опытов над человеком и его потребностями? Где даже себе нельзя верить, потому что не знаешь, чего от тебя завтра потребуют».

Народ заплатил дорогую цену за разрыв с прошлым, особенно молодежь — дело даже не в том, что она лишилась драгоценного культурного наследия. Читая воспоминания, дневники, письма «бывших людей», часто поражаешься стойкости, ясности видения, мужеству, патриотизму их авторов. Многие из этих отверженных, несмотря ни на что, сохранили нравственные ориентиры, что в тех условиях было сродни героизму. Эти качества: нравственная твердость, различение добра и зла, правды и лжи — были так необходимы новому поколению, и молодежи придется мучительно, с жертвами, открывать старые истины заново. Многие люди, знавшие Анну Ахматову, считали, что ее жизнь, само ее присутствие могли удерживать от слабости и трусости. В 1944 году Анна Андреевна сказала об одной из знакомых: «Она думает, что я такая слабенькая. Она и не подозревает, что я — танк». В 20-х годах критики отзывались о ней как о «барыньке», знакомым она казалась беззащитной, не приспособленной к новой жизни; однажды на улице какая-то сердобольная старушка подала ей милостыню. Однако чаще женщины из «бывших людей» вызывали не сочувствие, а презрительную усмешку. Аркадий Маньков записал в дневнике 1934 года о появлении у них на службе «бывшей дамы»: «На работе ко мне приставили для обучения какую-то старую барыню в шляпе с ощипанными страусовыми перьями и в больших ботах. Она ходила за мной, шмыгая ботами по полу». Откуда она взялась, бедная? Зачем эта нелепая шляпа — верно, она принарядилась в надежде на

место, но разве таким, как она, есть место в жизни? Печальная тень дамы в страусовых перьях и ботах мелькнула и исчезла, а все не выходит из памяти.

Перед молодежью из дворянской и буржуазной среды стоял выбор: принять новые жизненные правила или оказаться в числе изгоев. В середине 30-х годов для гибели могло хватить происхождения, но в первом десятилетии советской жизни кое-что зависело от личного выбора, власть «перебирала людишек»[1], испытывала их на прочность. В воронежской ссылке Осип Мандельштам познакомился с высланным из Ленинграда молодым поэтом Сергеем Рудаковым[2]. Рудаков происходил из дворянской семьи, его отец и старшие братья были офицерами. Трех братьев С. Б. Рудакова ко времени революции не было в живых, а отец и брат Игорь в гражданскую войну служили в Красной армии. Об их судьбе рассказала Э. Г. Герштейн: «По словам людей, близко знавших Рудаковых, отец и сын были расстреляны случайно. Это было то ли в 1921, то ли в 1922 году в Новониколаевске. Приехала какая-то комиссия и потребовала от генерала Рудакова выступления с признанием своего ошибочного прошлого. Он отказался, ссылаясь на то, что всю свою жизнь честно служил России. Тогда — расстрел, сказали ему члены комиссии. Обратились к сыну Игорю, который в начале Первой мировой войны учился еще в кадетском корпусе, а кончил войну георгиевским кавалером. Игорь ответил: „Я — как папа“. Оба были расстреляны». Их гибель не была случайностью, власть последовательно уничтожала людей с такими «чуждыми» понятиями, как офицерская честь, патриотизм, верность родственным узам — всему этому не было места в новом обществе. Игорь Рудаков предпочел смерть, такой выбор требовал особых человеческих качеств, но большинство молодежи (и это естественно) стремилось включиться в новую жизнь.

Примером такого выбора может служить судьба дочери контр-адмирала российского флота, ленинградской

[1] Выражение «перебирать людишек» заимствовано из письма Ивана Грозного.

[2] С. Б. Рудаков погиб в штрафном батальоне в 1944 г.

писательницы Веры Кетлинской[1]. Ее отец, капитан I ранга К. Ф. Кетлинский был в начале 1917 года командиром крейсера «Аскольд», построенного по заказу России на американских верфях. По пути следования крейсера на базу в Мурманск был раскрыт матросский заговор, и капитан приказал расстрелять его зачинщика. После Февральской революции К. Ф. Кетлинский был произведен в контр-адмиралы, он возглавил командование военно-морскими силами Северного Ледовитого океана, но в 1918 году был застрелен на улице Мурманска матросом. Убийцу не поймали, и кем он был, так и осталось неизвестным. Вера Кетлинская всегда утверждала, что ее отца убил по заданию немецкой разведки переодетый матросом белогвардеец, а ее противники говорили, что это был «красный»матрос, который мстил за расстрелянного на «Аскольде». Разбирательство дела о «белом» или «красном» матросе периодически возобновлялось, о нем не забывали до самой смерти писательницы, в последний раз ленинградский обком занимался им в 1975 году. Неутомимые литераторы где-то разыскали механика с «Аскольда», и старец лепетал в обкоме: «Красные убили, красные...» В 1976 году лауреат Государственной премии В. К. Кетлинская умерла. Почти вся ее жизнь прошла под знаком гибели отца и надежды на то, что его убийца был «белым». Это страшно.

Отец Веры Кетлинской погиб, когда ей было двенадцать лет. В шестнадцать лет она пошла работать на ткацкую фабрику, скрыла свое происхождение, на долгое время прервала отношения с матерью, стала активной комсомолкой и в 1927 году вступила в партию. Ее отказ от семьи не был банальным предательством — Кетлинская страстно уверовала в новые идеи. О ней писал Евгений Шварц, который в 1930 году работал вместе с Верой Кетлинской в ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия». Он вспоминал: «Несокрушимая последовательность ее веры раздражала товарищей по работе. Больше всего любили ее бить, вытаскивая из мрака прошлых лет биографию ее отца... Но мне скорее нравилась последовательность ее поведения и бодрость — тоже вытекающие из цельности мировоззрения». Цельность мировоззрения помогала Кетлинской переносить вражду и невзгоды, у дочери контр-адмирала был сильный характер. К началу войны она возглавляла Союз писателей и во время блокады «с полной последовательностью проводила ту линию, которую ей указывали. Не подмигивая и не показывая большим пальцем через плечо: дескать, не я виновата, а высшие силы, мной руководящие... — писал Шварц. — Ни на миг не позволяя себе усомниться в правильности приказов, которые отдавала от своего имени и от всего сердца».

Жизнь Кетлинской не назовешь легкой: ее оставил муж, художник Е. А. Кибрик, после войны был арестован второй муж, писатель А. И. Зонин. Она не хотела верить в его вину, но «ее вызвали куда-то. И объяснили, какой нехороший человек Зонин. И Вера Казимировна уверовала в это свято, без малейшего притворства» — и отказалась от мужа. Она продолжала писать, растила сыновей, а после освобождения А. И. Зонина приняла его в семью. Коллеги из Союза писателей ненавидели Кетлинскую за прямолинейность, у нее не было«двойного сознания», выработанного творческой интеллигенцией: гнуться, молчать, выполнять социальный заказ и при этом прятать кукиш в кармане, сохраняя видимость достоинства. Там, где не было противоречия ее вере, Кетлинская действовала решительно: она едва ли не единственная вступилась за Ольгу Берггольц в период ее травли. «Кетлинская, — писал Евгений Шварц, — жила в мире, сознательно упрощенном, отворачиваясь от фактов, закрывая то один, то другой глаз, подвешивалась за ноги к потолку, становилась на стол, чтобы видеть только то, что должно, но веровала, веровала с той энергией, что дается не всякому безумцу». В изображении Евгения Шварца такая судьба, несомненно, напоминает пытку.

У каждого времени свое представление о безумии. В 20-х годах фанатизм В. К. Кетлинской казался нормой, а безумцами считались те, кто уверовал в другие идеалы. В 1925 году «Красная газета» поместила статью

[1] О судьбе В. К. Кетлинской мне рассказал ее пасынок, морской офицер, автор работ по истории флота С. А. Зонин.

«Фанатик перед судом. (Показательный процесс в Военно-медицинской академии)» — военный трибунал судил курсанта академии Илью Брукера за отказ от караульной службы. Курсант Брукер был пролетарского происхождения, прошел воинскую службу на Балтийском флоте, а теперь отказывался брать в руки оружие по «религиозным убеждениям». Это что за убеждения такие, допытывался прокурор, и подсудимый объяснил, что он «толстовец». Ну разве это нормально? Курсанта-«толстовца» приговорили к трем годам заключения со строгой изоляцией. Еще большим безумцем был вызвавшийся защищать Брукера свидетель — непонятно, как он осмелился? «Свидетель Симерницкий — молодой, нервный. Он безработный. Этот готов проповедовать. Год назад Брукер познакомился с Симерницким в „кружке имени Толстого“ при Вольной Ассоциации философов. Прокурор оглашает стенограмму доклада Симерницкого „Толстой и революция“, прочитанного в кружке. Это — контрреволюционный бред, пересыпанный религиозно-изуверскими выкриками. По ходатайству прокурора военный трибунал постановляет привлечь свидетеля Симерницкого к ответственности, заключив под стражу в зале суда». Если Симерницкому и Брукеру и довелось еще встретиться, то где-нибудь на Соловках.

Одной из особенностей Петербурга всегда было большое, в сравнении с другими городами России, количество психических заболеваний и самоубийств жителей. Город сохранил это печальное первенство и в XX столетии — в 20-х годах здесь была настоящая эпидемия самоубийств. Во времена военного коммунизма количества самоубийств в городе не считали, к концу 20-х годов их статистика была засекречена, но до того газеты сообщали о них в разделе происшествий. В ноябре 1924-го «Красная газета» поместила заметку: «С 1 января по 1 октября зарегистрировано 288 случаев смерти от самоубийства (в среднем 32 в месяц). Мужчин самоубивается в два раза больше, чем женщин. Наибольший процент — люди в возрасте 20—25 лет. Излюбленные средства: веревка, ре-

вольвер, яд». 288 смертей меньше чем за год — это чрезвычайно много даже по прежним петербургским меркам.

Самоубийства молодежи — верное свидетельство неблагополучного состояния общества, взросление этих людей пришлась на время, когда жестокость, насилие, убийства, голодные смерти были обыденностью, и конечно, пережитое не могло пройти бесследно. В. И. Вернадский вспоминал о солдате, которого он встретил в тюремной камере летом 1921 года: «Рассказывает об убийствах и гибели эпически-спокойно... а рядом с этим говорит: мы все обреченные, будет порядок и станут жить лучше, только когда нас всех, все наше поколение перебьют»[1]. Газеты сообщали о самоубийствах в городе почти ежедневно, вот сведения только за один день — 19 мая 1924 года: «На ул. Красных Зорь отравилась уксусной эссенцией А. Шамонина, 32 г.; в д.14 по Кирилловской ул. приняла яд В. Иванова, 15 лет; с моста Свободы бросился в Неву и утонул П. Волонин, 24 г.; с Охтинского моста бросился в Неву Н. Смирнов, 28 лет, был вытащен из воды командой парохода „Республика“; на Лиговской ул., 44, отравилась А. Ницман, 19 лет; в д. 26 по ул. Большая Щемиловка отравился П. Лукьянов, 26 лет; на Предтеченской ул. покончила с собой выстрелом из револьвера М. Кондрашева, 23 г.». В хронике самоубийств то и дело встречаются знаменитые фамилии: Комиссаржевская, Витте, Пушкин (28 мая 1924 года «с Мытного моста бросился в Неву и утонул П. Д. Пушкин, 30 лет»). Пик самоубийств в городе пришелся на 1924 — начало 1926 года. 25 января 1926 года, например, в Ленинграде покончили с собой десять человек: «Отравились Мария Новикова, 22 лет; Елизавета Топталкина, 25 лет; Ольга Тимофеева, 24 г.; Надежда Сабурова, 21 г.; Роза Флит, 31 г.; Ирина Козлова, 24 г.; Вера Карелина, 25 лет; Анна Игнатьева, 19 лет. Выстрелом из револьвера покончил с собой Павел

[1] Э. Г. Герштейн приводит в мемуарах рассказ офицера, услышанный ею в 1925 г.: «Он говорил, что красноармейцы никак не могут войти в берега мирной жизни. К вечеру закружится кто-нибудь на месте, приставит револьвер к виску и кричит: „Хочешь, удохну?“ И притом без всякой видимой причины».

Смирнов, 25 лет. В записке он говорит, что умирает вследствие разочарования в жизни. На Курляндской ул., д. 25, кв. 10, застрелился Николай Филиппов, 24 г.».

Поводы для расчета с жизнью были разные: любовная неудача, семейные неурядицы, нужда — на них приходилось больше половины случаев, но вот странность: большинство остальных было совершено без всяких видимых причин. Что толкнуло на смерть школьниц, одна за другой стрелявших себе в висок? В чем причина частых парных и тройных самоубийств? Чем объяснить такое: «Вчера покончила с собой выстрелом из нагана недавно вышедшая замуж Александра Б., 19 лет, — писала „Красная газета“ в октябре 1923 года. — Она, очевидно, заранее обдумала акт сведения расчетов с жизнью и постаралась обставить его красиво: на столе спальни, где произошло самоубийство, были разложены все драгоценности, а постель убрана живыми цветами. Выстрел Б. произвела у постели, рассчитывая упасть в нее, но ошиблась в расчете и была найдена на полу. Руки ее были сложены на груди. В правой был наган, принадлежащий ее мужу». По словам родственников, она была любима, благополучна, счастлива в браке. Может, кино насмотрелась (редкая кинодрама обходилась без самоубийства), и захотелось эффектной, «красивой» смерти? Или причина в том же, что и у большинства других: ранняя усталость, жизнь на пределе душевных сил, постоянная готовность к срыву? В той же газете сообщалось о другом происшествии: рабочий-пекарь пришел ночью в больницу, дверь оказалась запертой, он не смог достучаться, бросился в канал и утопился. Видно, что-то сильно у него болело, но все же мог бы дотерпеть до утра, нельзя же сразу головой в воду...

Лавина самоубийств требовала объяснения, и оно было найдено. В 1926 году «Красная газета» поместила отчет о съезде судебно-медицинских экспертов в Москве, где один из докладчиков, профессор А. И. Крюков, сообщил о своем открытии: «У самоубийц наряду с несоответственно большим мозгом наблюдаются ничтожные размеры сердца, узость аорты и различные нарушения внутренней секреции... В качестве реактива, определяющего внутренний мир, самоубийство вскрывает интересные явления. Глухонемые чаще кончают с собой, чем слепые. Известно, что слепые от рождения отличаются удивительным спокойствием своего внутреннего мира». Открытие Крюкова применимо скорее к социальной сфере — не видеть происходящего в жизни было безопаснее, чем оставаться зрячим; а вынужденная немота, невозможность протеста могли довести до безумия и смерти. Молодые люди с «маленькими сердцами», исчерпавшие запас душевной выносливости и жизненной силы, делали свой последний выбор.

Странно встречать в разделе городских происшествий знакомые фамилии: «Скончался известный педагог, бывший директор общеобразовательных курсов Б. В. Шкловский. Покойный стал жертвой несчастного случая, 19 мая он попал под трамвай на пр. Володарского, был извлечен с проломанным черепом и спустя 11 дней скончался» , — сообщала «Красная газета» 7 июня 1923 года. Борис Владимирович Шкловский, отец писателя Виктора Шкловского, был известен в городе; он, по словам Николая Чуковского, еще до революции «был настоящей знаменитостью среди петроградской молодежи... Вид у него был свирепейший. Когда он говорил, он плевался, и лицо его морщилось от брезгливости к собеседнику. Но человек он был необходимейший — любого тупицу он мог подготовить к вступительному экзамену в любое учебное заведение, и ученики его никогда не проваливались». Эксцентричный педагог преподавал математику, и хотя величал своих подопечных «дураками» и «кретинами», выучивал их на совесть, был наделен подлинным талантом.

Другая знакомая фамилия в разделе происшествий — Спесивцев, брат известной танцовщицы Академического театра балета. Студент Института гражданских инженеров А. А. Спесивцев был по ошибке застрелен милиционером. Декабрьской ночью 1922 года постовой на улице Халтурина заметил мужчину с узлом в руках. Милиция тогда не церемонилась, и тот, «услышав окрик милиционера, бросил узел и побежал. Милиционер выстрелил в человека, вбежавшего в ворота дома № 1 по Мошкову переулку». Постовой ошибся: вместо вора был убит возвращавшийся

домой Спесивцев, а в брошенном узле «оказалась скатерть, ложки и несколько столовых приборов». Это происшествие прошло бы незамеченным, если бы не известность Ольги Спесивцевой и не вмешательство ее покровителя Бориса Каплуна. Пришлось разбирать дело. Следствие пришло к выводу, что милиционер действовал по инструкции, но родственники убитого не могли смириться и требовали нового разбирательства. Последнее упоминание об этом деле появилось в петроградских газетах в начале 1924 года. Вскоре Ольга Спесивцева покинула Россию.

В 1924 году Ленинград был потрясен гибелью другой танцовщицы Академического театра балета, Лидии Ивановой. Это событие надолго осталось в памяти горожан, запечатлелось в стихах Михаила Кузмина, в прозе Константина Вагинова. 17 июня 1924 года в «Красной газете» появилась заметка «Гибель балетной артистки Лидии Ивановой. Вчера во время катания на моторной лодке утонула в Неве артистка Академического театра балета Лидия Иванова». Эта история сразу показалась странной: лодка опрокинулась, столкнувшись с пассажирским пароходом, но утонула только Лидия Иванова и один из ее спутников, остальные не пострадали, а ее тело так и не было найдено. Лидия Иванова была замечательно одарена, с нею связывали будущее ленинградского балета, ее карьера входила в зенит, и все оборвала трагическая случайность. «Не случайность, а намеренное убийство», — говорили в городе. Со временем слухи не исчезали, а, наоборот, обрастали подробностями; в том, что это убийство, сходились все, но виновников называли разных. Одни подозревали, что в нем косвенно замешана Ольга Спесивцева, которая видела соперницу в талантливой молодой балерине. («Следят за тактом мертвые глаза, и сумочку волною не качает... Уйди, уйди, не проливалась кровь, а та безумица давно далеко!» — писал Михаил Кузмин.) Другие обвиняли в убийстве людей из городского начальства.

В воспоминаниях Анатолия Краснова-Левитина сохранилась одна из версий: у Лидии Ивановой было много влиятельных поклонников, но воспитанная в строгих

патриархальных правилах танцовщица была неприступна. Приглашение покататься по Неве в моторной лодке она получила от директора театра, он добавил, что «будут также солидные люди из Губкома и из Чека». «Отказаться — Лида будет выдана на съедение врагам... прощай, карьера. На семейном совете было решено, что она поедет». После ее гибели «у отца не было сомнений: четверо мужиков изнасиловали его Лиду, а потом утопили. Несчастный отец требовал расследования...» Но как только оно начиналось — телефон. Звонок от всемогущего в Питере Зиновьева, и дело прекращалось. В 1927 году отец обращается к Кирову, тот направляет его к зам. председателя ГПУ Ягоде. Ягода обещает разобраться, но, приехав через три недели снова в Ленинград, говорит: «Уберите это дело — иначе мы вас уберем, как полено с дороги». Трудно сказать, насколько достоверны эти слухи, но нельзя не согласиться с выводом Краснова-Левитина: «Всюду, где имеется возможность совершать втихомолку темные дела, развиваются зверские инстинкты — рядом с произволом идет преступление». Смутные времена, загадочные смерти: случайность, убийство, самоубийство? Гибель Сергея Есенина в Ленинграде в декабре 1925 года тоже до сих пор остается под знаком вопроса.

Спор о смерти Есенина продолжается. В советское время он был подспудным, тогда существовала одна «официальная» версия: до самоубийства поэта довели алкоголизм и беспутный образ жизни. Почему же к концу XX века опять заговорили о смерти Есенина? Может быть, потому, что ее темный ужас не укладывается в наше привычное, с школьных лет усвоенное представление о «смерти поэта» как о высокой трагедии, о вторжении внешнего зла в творческий мир поэта? Кончину Александра Блока, казнь Николая Гумилева современники пережили как трагедию, но как примириться с таким: пьяный неврастеник режет себе руки в номере гостиницы, пишет кровью прощальные стихи (!) и вешается на трубе отопления, обмотав вокруг шеи веревку от чемодана. В такое страшно вглядываться. За год до смерти Сергей Есенин писал о себе:

Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов[1].

Он погиб через четыре года после Блока и Гумилева, но за эти годы многое изменилось. В 1921 году будущие «агитаторы, горланы и главари» советской литературы еще только сбивались в стаи, Пролеткульт только начинал пробовать силенку. В 1920 году К. И. Чуковский записал свой разговор с пролеткультовскими поэтами после литературного вечера Гумилева. «„Вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют?“ — спрашивали они. „Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать…“ — „Не притворяйтесь, К. И. Аплодируют, потому что там говорится о птице…“ — „О какой птице?“ — „О белой… Вот! *Белая* птица. Все и рады… здесь намек на Деникина“. У меня закружилась голова от такой идиотической глупости». Такие приступы головокружения были обеспечены ему и другим настоящим писателям на многие десятилетия. В литературе воцарилась чернь со своими нравами и понятиями. Творческая свобода, высокое назначение поэзии, присущее поэту обостренное чувство чести — все это старорежимные выдумки; Маяковский сформулирует новую роль и назначение поэта:

Я, ассенизатор
и водовоз,
Революцией
мобилизованный и призванный…

В среде литераторов установились такие нравы, что водовозы и ассенизаторы сошли бы в сравнении с ними за джентльменов. «Не знаю почему, из-за какой-то легкой ссоры с Мандельштамом на вечеринке Камерного театра я разгорячился и дал ему пощечину», — вспоминал поэт Вадим Шершеневич. Мандельштам вызвал его на дуэль, но Шершеневич «коротко ответил, что никакой дуэли

[1] Строка из поэмы Есенина «Черный человек».

не будет, а если Мандельштам будет приставать, то я его изобью еще раз, и посоветовал по этому поводу больше ко мне не обращаться».

Дуэль, поединок чести[1] — один из значимых сюжетов в произведениях русской литературы XIX века и в судьбах ее творцов. В 20-х годах об этой литературной традиции не забыли; так, Вениамин Каверин после незначительной размолвки с Зощенко вызвал его на поединок, но друзья их помирили. Однако одна «литературная» дуэль в Петрограде советской поры все же состоялась: весной 1920 года Виктор Шкловский вызвал на поединок жениха поэтессы Надежды Фридлянд. Поводом для вызова было соперничество, но настоящей причиной — желание Шкловского «примерить» к себе знаменитую традицию. Стреляться решили по всем правилам, за городом, в Сосновке, в присутствии доктора и секундантов. «Одна моя ученица с муфтой поехала с нами, она была врачом, — вспоминал Шкловский. — Стрелялись в 15 шагах, я прострелил ему документы в кармане (он стоял сильно боком), а он совсем не попал. Пошел садиться на автомобиль. Шофер мне сказал: „Виктор Борисович, охота [вам]. Мы бы его автомобилем раздавили“». В этом пародийном поединке все замечательно: и врач с муфтой, и простреленные документы в кармане, но лучше всего реплика шофера. Действительно, зачем подставлять лоб под пулю, если можно раздавить противника машиной?

Жизнь советской литературы проходила под шум драк и треск пощечин.

В 1926 году жена журналиста Сосновского публично дала пощечину Михаилу Кольцову за газетную травлю ее мужа. «Ольга раздражилась его самодовольным видом, подошла к нему и размахнулась так, что потом у нее ладонь болела, — вспоминала Евгения Мельтцер. — „Это вам за клевету!“ — крикнула она… А он схватился за щеку и сказал сквозь зубы: „Если бы вы не были жен-

[1] В середине 20-х гг. в Красной армии еще происходили офицерские дуэли. В 1924 г. Реввоенсовет Западного фронта разбирал дело о поединке командира и комиссара одного из полков, закончившемся гибелью комиссара.

щиной, я бы дал вам сдачи!“» Он, может, и врезал бы ей, да дело происходило на людях.

Писатель Сергей Бородин избил Надежду Мандельштам, и писательский суд под председательством А. Н. Толстого фактически оправдал его.

«В далеком углу сосредоточенно кого-то били. Я побледнел: оказывается, так надо — поэту Есенину делают биографию», — острил поэт Илья Сельвинский. У Есенина ко времени гибели было повреждено сухожилие левой руки, и пальцы этой руки почти не действовали, повреждена была переносица — все это плоды «биографии», которую ему делали. К 1925 году, вследствие доносов и провокаций, на него было заведено семь уголовных дел. Зачем стреляться с поэтом, если его можно раздавить машиной?

24 декабря 1925 года Есенин приехал в Ленинград с намерением прочно обосноваться здесь, он привез с собой рукописи, архив, вещи, хотел снять квартиру, говорил, что собирается заняться изданием литературного журнала. Утром 28-го его нашли мертвым в номере гостиницы «Интернационал» (бывший «Англетер»), а 31 декабря уже хоронили в Москве. Недолго он пробыл в Ленинграде в последний приезд, да и прожил мало — всего тридцать лет.

В стихотворении Мандельштама «Еще далёко мне до патриарха...» есть строки о работе уличного фотографа: «И в пять минут, лопатой из ведерка, я получу свое изображенье под конусом лиловой Шах-горы». Среди воспоминаний о Есенине немало созданных «лопатой из ведерка» с черной краской, свидетельства о его последних днях разноречивы и сомнительны. Например, утверждение, что накануне смерти у него в номере большая компания шумно праздновала Рождество[1], и «рождественский гусь, о котором упоминают все очевидцы, съеден был не всухую». Но на следствии служащие гостиницы утверждали, что у Есенина побывало немного посетителей, и ни один из них не упомянул о многолюдной вечеринке. Следует иметь в виду, что тогда в дни церковных праздников в городе была запрещена продажа спиртного, поэтому рассказы «очевидцев» о пиршестве с гусем и обилием выпивки не вызывают доверия, зато служат подспорьем официальной версии: поэт повесился с перепоя. Таких «гусей» в мемуарах о Есенине не счесть, кажется, память ни об одном русском поэте не была очернена столь основательно.

[1] После реформы календаря в 1918 г. возник разнобой с датами церковных праздников, одни отмечали Рождество по-старому, 25 декабря, другие по новому стилю — 7 января. В 1923 г. «Красная газета» писала, что 25 декабря в петроградских храмах было безлюдно: «Некоторые приходы празднуют по-старинному, в эту ночь службы нет. Ждут „законного“ рождения Христа».

В 1924—1925 годах Сергей Есенин был на творческом подъеме, он много и замечательно писал, а завистники твердили, что он кончился, исписался, спился. В Москве во время его похорон плакат на Доме печати извещал о прощании с «великим русским национальным поэтом», но в последние годы жизни Есенин редко слышал слова публичного признания. Газетные сообщения о его выступлениях полны грубой издевки, его печатно называли хулиганом, идеологом кулачества, черносотенцем. Обвинение в «черносотенстве» было в ходу в 20—30-х годах, тогда оно означало «контрреволюционер, антисемит, кулацкое отродье» — универсальное определение для расправы. Кроме того, «черносотенство» было синонимом слова «патриотизм» — вспомним дневниковую запись 1927 года Л. Я. Гинзбург о том, что «великорусский национализм слишком связан с идеологией контрреволюции (патриотизм)». Горький в 1928 году писал об академике И. П. Павлове: «Сын дьякона и черносотенец ак<адемик> Павлов своим анализом рефлексов больше сделал для СССР и человечества, чем самый разреволюционный словесник». У «словесников» не было таких заслуг перед государством, и это обвинение стало причиной гибели поэтов Николая Клюева, Сергея Клычкова, Павла Васильева и многих других. Эмма Герштейн вспоминала, как знакомые уговаривали ее не ходить в дом к Ахматовой: «Там живут одни черносотенцы».

Огульные обвинения такого рода — одна из позорных страниц истории советской общественной жизни 20—30-х годов. Есенин, стихами которого зачитывалась

вся страна, был окружен стеной завистливого недоброжелательства коллег, а его приятели поэты всерьез считали, что они с ним на равных. Пренебрежение к чужому таланту и самоуверенность молодых литераторов той эпохи поразительны, большинство суждений об Ахматовой, Булгакове, Есенине, Зощенко переливаются всеми цветами самодовольной глупости. Приятель Есенина Анатолий Мариенгоф писал в «Романе без вранья», что «Блок понравился [ему] своей обыкновенностью. Он был очень хорош в советском департаменте» (!), а Велимира Хлебникова изобразил жалким сумасшедшим, зато много и проникновенно повествовал о замечательно ровном, блестящем проборе в своей прическе. В том же развязном стиле выдержаны другие воспоминания литературных приятелей о Есенине. А старые друзья из круга Николая Клюева обвиняли поэта в отступничестве, в том, что он пользовался покровительством партийных вождей.

Это покровительство было, прямо скажем, своеобразным. В 1924 и 1925 годах Есенин путешествовал по Кавказу и Закавказью и хотел отправиться в Персию, но не получил разрешения на поездку за границу. Вместо этого секретарь ЦК КП Азербайджана С. М. Киров приказал «организовать» поэту Персию на месте; заместитель Кирова П. И. Чагин вспоминал, как тот отчитывал его: «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку?.. Туда мы его не пустили, учитывая опасности, какие могут его подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку! Так создавай! Чего не хватит — довообразит...» Чагин «создал» Персию на своей цековской даче (туда даже павлинов привезли по этому случаю) и пригласил Есенина пожить у него. Дивные стихи «Персидских мотивов» о розах Шираза, о голубом Хороссане были написаны Есениным в Баку. Он не спешил возвращаться в Москву, где его ждали судебные разбирательства, — в сущности, его гибель была предрешена: не умри он в Ленинграде, с ним расправились бы «законно», путем приговоров по уголовным делам. Он вернулся в Москву в сентябре 1925 года, обратился к Луначарскому с просьбой помочь ему уехать за границу, в ноябре, чтобы избежать суда, лег в больницу, а в конце декабря неожиданно поехал в Ленинград «насовсем». Почему, на что он рассчитывал? Обратимся к мемуарам в стиле «лопатой из ведерка»: Анатолий Мариенгоф утверждал, что «в последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки». Но не сходятся концы с концами — в последние месяцы, недели Сергей Есенин написал ряд лучших своих стихов. Нет веских доказательств, что он готовился к самоубийству, зато видно, что этого от него как будто ждали. После его смерти Горький писал художнице Валентине Ходасевич: «Есенина, разумеется, жалко, до судорог жалко, до отчаяния, но я всегда, то есть давно уже думал, что или его убьют, или он сам себя уничтожит. Слишком „несвоевременна“ была голубая, горестная, избитая душа его».

Что же произошло в гостинице «Интернационал» в ночь с 27-го на 28-е декабря? Бывший «Англетер» был не обычной гостиницей, а чем-то вроде «правительственного дома»: его апартаменты занимали люди из городского начальства, здесь останавливались прибывшие в командировку важные чиновники; управляющий и часть персонала гостиницы были сотрудниками ленинградского ГПУ. Есенина поселили в этой гостинице по протекции его знакомого — старого партийного журналиста, сотрудника «Красной газеты» Георгия Устинова, который тоже там жил. В последний приезд Есенин редко выходил из номера и гостей у него было немного, хотя, судя по количеству мемуаристов, перед смертью у него побывало чуть ли не пол-Ленинграда.

В описании последних часов жизни поэта царит фантастический разнобой: дворник гостиницы сказал следователю, что за время пребывания Есенина он однажды достал для его гостей бутылку водки, в другой раз несколько бутылок пива, а журналист Лазарь Берман писал, что в последний вечер жизни поэта он увидел стол, «уставленный закусками, графинчиками и бутылками. В комнате множество народа... Большинство расхажи-

вало по комнате, образуя отдельные группы и переговариваясь». По другому свидетельству, вечером 27 декабря у Есенина было пять гостей: супруги Устиновы, поэты Николай Клюев и Вольф Эрлих и художник Мансуров; после их ухода поэт попросил портье никого не пускать к нему и остался один. П. А. Мансуров вспоминал: «...мы шестеро выпили по малюсенькой рюмочке... Тихо в разговорах мы просидели за неизменным нашим пустым чаем. Потом Есенин читал свои стихи, незабываемые короткие стансы... Потом все мы как-то собрались около диванчика, на котором лежал Есенин, и он каждому из нас прочел по стихотворению на память... А Эрлиху он дал уже раньше написанное на клочке бумаги и говорит: „Ты сегодня этого не читай, прочти завтра". И сунул ему в карманчик пиджака для платочка». На листке было стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья». Поразительна зловещая тень над этим застольем — четверо его участников умрут насильственной смертью: Вольф Эрлих (как открылось позже, сотрудник ОГПУ) расстрелян; Георгий Устинов повесился; Николай Клюев расстрелян. А первый среди них — Есенин, которому осталось несколько часов жизни.

Утром 28 декабря Елизавета Устинова и Вольф Эрлих вызвали коменданта и попросили его отпереть комнату Есенина. Им открылась страшная картина: он висел на веревке, привязанной к проходившей под потолком трубе парового отопления, все вещи в комнате были разбросаны. «При снятии трупа с веревки и при осмотре было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез, на левой руке, на кисти царапины, под левым глазом синяк», — писал в протоколе участковый милиционер Горбов, исполнявший роль следователя. Одним из первых в гостиницу пришел критик Павел Медведев, он вспоминал: «Как сейчас вижу это судорожно вытянувшееся тело. Волосы, уже не льняные, не золотистые, а матовые, пепельно-серые, стоят дыбом. На лице нечеловеческая скорбь и ужас. Прожженный лоб делает его каким-то зловещим. Правая рука, на которой Есенин пытался вскрыть вены, подтянута и неестественно изогнута».

Странное самоубийство — откуда синяки на лице и теле и эта глубокая вмятина во лбу? Почему он вскрывал вены на правой руке плохо слушавшимися пальцами левой, проще было бы наоборот? Как он мог дотянуться до потолка высотой 3,8 метра, и даже если привязывал веревку раненой рукой, почему ни на лице, ни на одежде не было капель крови?

У тех, кто ставит под сомнение версию самоубийства Есенина, есть веские основания. Их оппоненты ссылаются на то, что карательные органы (если это их дело) не стали бы устраивать инсценировку. Однако чекисты нередко прибегали к таким инсценировкам, достаточно вспомнить гибель бывшей жены Есенина, Зинаиды Райх, которую убили в квартире после ареста Мейерхольда[1] — все было обставлено как ограбление с убийством. Но главное в другом: можно ли представить Есенина в 1927 году, когда в деревне началась тотальная коллективизация, или во время раскулачивания и гибели сотен тысяч крестьян? Невозможно, а если учесть его всероссийскую известность, то его, несомненно, ждала или гибель в «несчастном случае», или «самоубийство», или что-нибудь в этом роде. Смерть Есенина в конце 1925 года была прологом гибели крестьянской России, и, возможно, когда-нибудь станет наверняка известно, что произошло в ночь 27/28 декабря в бывшей гостинице «Англетер».

Днем 28 декабря Мансуров услышал от знакомого: «А вы знаете, этот товарищ ваш, *пьяница*, *поэт* (курсив мой — *Е. И.*), умер, во всех трамваях объявления». Создатели прижизненной «биографии» Есенина трудились не зря — тут пригодились все сплетни о его хулиганстве и пьянстве, вся клевета, тогда был пущен новый слух о том, что он был английским шпионом! «Не столько творчество Есенина, сколько он сам оказался в центре внимания. В стихах его искали объяснения его жизненной драмы... Стихи поэта превратились в свидетельские показания, если не в последнее слово подсудимого», — писал Павел Медведев. 20 января 1926 года следствие по делу о смерти Есенина было закрыто, а накануне, 19 января,

[1] В. Э. Мейерхольд был вторым мужем З. Н. Райх.

в «Красной газете» появилась написанная с холодным блеском статья Троцкого «Памяти Есенина»: «Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И как трагически потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом — может быть, со всеми нами... Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста — не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукой, из которой сочилась кровь... Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя — да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин». Троцкий утверждал, что на место этого поэта придут другие, но нового Есенина русская литература не дождалась — гибель большого поэта не способствует расцвету поэзии, скорее наоборот.

«Красная газета» опубликовала последние стихи Есенина: «Клен ты мой опавший», «Голубая кофта, синие глаза», «Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся» — и стихи других поэтов, посвященные его гибели:

Промерзли чухонские дровни,
И лошадь ушами прядет.
Никто и вольней и любовней
Над трупом его не заржет, —

писал Всеволод Рождественский, и это отнюдь не худшие из тех виршей. «Друзья и очевидцы» спешили доказать неизбежность самоубийства Есенина; в марте 1926 года Рюрик Ивнев и Олег Леонидов прочли в зале ленинградского Дома печати свою пьесу «Есенин»: ее герой, неврастеник и алкоголик, после истерических монологов кончал с собой. В том же тоне были выдержаны другие сочинения; если составлять книгу «Чернь о поэте», лучшего материала не найти. Одна из ленинградских знакомых Есенина, Нина Гарина, через десять лет так писала о его судьбе: «Есенин унес из деревни память о покосившейся избушке... рваном зипуне. Унес память о вечной нужде, темноте и косности [?]... Слава Есенина сразу перевернула всю его психику — он стал развязным... чем больше росла его слава... тем чаще начал пропадать он в различных увеселительных и злачных местах, губительно развращавших его нетронутую деревенскую психику [!], впитавшую в себя, как губка, все худшее от городской культуры и цивилизации... Одним словом, [он] начал терять постепенно свою скромность, свой разум, пропивая и то, и другое и проявляя все большие симптомы отравленного уже и новой „жизнью“, и винными парами алкоголика». Попросту говоря, собаке — собачья смерть. За сто лет до этих событий Пушкин писал Вяземскому о смерти Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе».

К концу 20-х годов поэзия Есенина попала под официальный запрет, позднее «за Есенина» можно было угодить в тюрьму. И тем не менее, писала в 1930 году Лидия Гинзбург: «Педагогический опыт этого года (рабфак) убедил меня в том, что из всей новой поэзии массовый читатель знает и любит по преимуществу Есенина... Читатель, которого я имею в виду, вовсе не городской обыватель; это профтысячник, рабфаковец, часто партиец. Он слыхал, что Есенин упадочный, — и стыдится своей любви. Есенин, как водка, как азарт, принадлежит в его быту к числу факторов, украшающих жизнь, но неодобряемых». Нет, не как водка и азарт, а как родной воздух, как глоток родниковой воды. В том же 1930 году другой «неодобряемый» поэт писал: «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату: ...не расстреливал несчастных по темницам[1]. Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя...» — так Осип Мандельштам помянул в «Четвертой прозе» Сергея Есенина.

---

[1] Строка из стихотворения Есенина «Я обманывать себя не стану...».

Город-мир

Хозяин города. Высылки из Ленинграда. О сахаре и галошах. Борьба с мещанством. Смычки. Воитель Иван Петрович Павлов. Достижения науки и техники. Грандиозные планы. Теневые стороны жизни: беспризорные, инвалиды войны, налетчики. Питерская шпана. Суд над «чубаровцами». Пьянство

У города тысяча обличий, миллион лиц, но самое значительное лицо в нем, несомненно, Григорий Евсеевич Зиновьев. Вот он спешит в бывшем царском автомобиле из апартаментов «Астории», а с начала 1925 года из дома 26/28 на улице Красных Зорь, где у него прекрасная квартира, — в Смольный. Григорий Евсеевич любит роскошь, золоченую мебель, царские автомобили, барские сани, но больше всего он любит власть. Этот, по словам Ф. Ф. Раскольникова, толстый человек с «круглым, бритым и дряблым лицом, с вьющейся, зачесанной назад шевелюрой, с широким тазом и женским голосом», был полновластным хозяином города. Миновало время, когда он готовился бежать из Петрограда, собирался кормить зверей мясом буржуев, с той поры утекло много воды и крови. В начале 20-х годов его карьера в зените: он председатель Петросовета, член Политбюро ЦК и председатель Исполкома Коминтерна. «Самое замечательное, — вспоминал В. П. Семенов-Тян-Шанский, — было тогда, когда Зиновьев разговаривал по телефону в качестве председателя Коминтерна. Лица, при этом присутствовавшие, говорили, что он говорил таким тоном „владыки мира“, каким никогда не говорили еще никакие

монархи на свете». Во время праздников рядом с ним на трибунах стояли представители революционных пролетариев всех рас (злые языки говорили, что это загримированные артисты), а его появление перед подданными порой действительно напоминало явление владыки мира.

Однажды петроградские ученые собрались в большом зале Дворца труда послушать рассказы вернувшихся из-за границы коллег; Зиновьева на этой встрече не ожидали. Вдруг во время выступления академика С. Ф. Ольденбурга распахнулись двери зала, и появились «две „золотые“ девы; у них волосы были золотистые и одинакового фасона, платья тоже золотистые, — рассказывал Семенов-Тян-Шанский. — Они направились молча и сели за стол перед кафедрой, к общему недоумению. Двери потихоньку за ними закрылись и через несколько минут снова распахнулись. Так же точно вошел сам Зиновьев в шарфе, кивнул на ходу Ольденбургу и уселся в кресле посредине стола с девами, выждал конец речи Ольденбурга... и потом сам произнес речь, которую записывали золотые девы, оказавшиеся стенографистками». Затем «в том же порядке вышел в дверь сначала он один, а через несколько минут золотые девы. Внизу Зиновьев сел в бывший личный автомобиль Николая II и укатил».

Председатель Петросовета гордился своим ораторским искусством, он издал многотомное собрание своих речей и статей, однако с теми, в ком видел помеху, объяснялся без всяких изысков. Глава петроградской ЧК Б. А. Семенов жаловался, что Зиновьев грозил ему: «Мол, придет время, вас сожмут в бараний рог, вы, мол, труха». В 1925 году Зиновьев говорил о Троцком: «Зачем вы эту дохлую собаку[1] будете держать в Политбюро. От нее смердит, работать нельзя в Политбюро», а в черновике своего доклада на XIV съезде писал: «Партия хотела набить морду Троцкому». К середине 20-х годов вся власть в городе принадлежала ставленникам и приближенным

[1] Слово «собака» в качестве ругательства было популярно у большевистских вождей. После расстрела Зиновьева и Каменева в августе 1936 г. Н. И. Бухарин писал: «Что расстреляли *собак* — страшно рад».

Зиновьева, но его планы были шире, он вступил в борьбу за высшую власть в государстве и проиграл: в декабре 1925 года XIV съезд партии осудил «новую оппозицию» Зиновьева—Каменева. Так закончилась политическая карьера Г. Е. Зиновьева, а с нею и власть над городом, в котором он оставил о себе недобрую память.

Зиновьев курсировал между Ленинградом и Москвой, интриговал, а жизнь в городе шла своим чередом. В петроградском ГПУ[1] кипела работа, здесь вплотную занялись борьбой с преступностью. Теперь, по мнению горожан, на Гороховой делали полезное дело: масштабы преступности вызывали у горожан не меньший страх, чем памятный «красный террор». В 1922 году ГПУ получило право внесудебной расправы над захваченными на месте преступления бандитами, вплоть до их расстрела. Кроме того, эта организация занималась борьбой с растратчиками, но ее главной целью по-прежнему оставалось выявление контрреволюционных заговоров и преследование недавних союзников власти — эсеров и меньшевиков. В конце 1921 года ПЧК возглавил С. А. Мессинг, который реорганизовал аппарат бывшей ЧК, почти на треть сократил число сотрудников и старался избегать широких репрессий в среде социалистических партий эсеров и меньшевиков. Зиновьев требовал массовых арестов меньшевиков, но Мессинг объяснял свою позицию московскому руководству ГПУ: «...я не стараюсь их бить широкими репрессиями... принимая во внимание, что мы живем в 23-м, а не в 18-м, я стараюсь углубить эту работу, а это требует время». Он предпочитал не рубить сплеча, действовать методично, но не спеша, ведь времена и настроения в обществе действительно изменились. Осип Мандельштам отмечал в начале 20-х годов, что «у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда

[1] ГПУ — Государственное политическое управление (1922—1923), созданное вместо ВЧК; в ноябре 1923 г. преобразовано в ОГПУ.

сильной власти обуяла слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании». Желание порядка и сильной власти у уставших от потрясений людей понятно, беда только в том, что они заодно соглашались принять принцип «лес рубят — щепки летят».

Пока ГПУ и милиция занимались полезным делом, избавляя город от нечисти, у граждан было лишь одно пожелание — не нервировать их лишний раз видом этой нечисти. «Опять арестованные на б. Невском, — сетовала „Красная газета“ в марте 1923 года. — Петрогубмилицией отдано вторичное распоряжение о недопущении провода партий арестованных по б. Невскому». В июне 1923 года ГПУ приступило к «ликвидации разного рода шарлатанства (гадалки, хироманты, знахари и пр.). Все арестованные препровождаются в ГПУ для высылки из Петрограда в административном порядке». Действительно, какой толк от знахарей и гадалок, гнать их из города! Но высылали не только их — в феврале 1924 года «Красная газета» писала: «Перрон Октябрьского вокзала представлял необычную картину: богато одетая публика в мехах, украшенные бриллиантами женщины. На перроне усиленная охрана. С омским поездом высылалась из Ленинграда партия валютчиков, спекулянтов и других паразитов нэпа. Партия состоит из 102 человек, по преимуществу врачей, инженеров и лиц других профессий, занимающихся чем угодно, но только не по своей профессии».

А весной 1925 года началось выселение помещиков из Ленинградской губернии. Какие могли быть помещики через восемь лет после революции, откуда они взялись? Состав «помещиков» кажется странным, только треть из них дворяне, а остальные — крестьяне, мещане, мелкие служащие, а их поместья — это небольшие земельные наделы, купленные или доставшиеся по наследству. «Бывшие помещики сумели приспособиться, — писала газета, — одни занимают должности в колхозах и совхозах, другие сами обрабатывают чудом уцелевшие 10—12 десятин земли. Третьи ушли в города на торговые и прочие

промыслы». Какую опасность представляли эти люди для государства? Да ни малейшей, просто ГПУ проводило методичную «чистку» чуждого элемента. Кроме помещиков высылке подлежали «бывшие околоточные надзиратели, тайные советники, земские начальники, титулованная царская челядь». Тут ГПУ попадались настоящие удачи, например, была «выявлена» старая баронесса Фридерикс, сестра царского министра. В канцелярию председателя ЦИК М. И. Калинина шли слезные письма от стариков-«помещиков» Ленинградской губернии, у которых давно не было ни поместий, ни земель — ничего, кроме желания дожить остаток дней не в ссылке, а дома. О судьбе одного из бывших помещиков мы узнаем из его прошения в Ленгубисполком: житель деревни Кулаково Волховского уезда В. К. Тюрнер просил не высылать его и сыновей, один из которых воевал в гражданскую в Красной армии, а другой ждал призыва на военную службу. Поместье в Волховском уезде Тюрнер унаследовал от отца — крестьянина, выкупившего заложенное, разоренное имение у бывших владельцев. До революции жизнь петербургского инженера-химика В. К. Тюрнера омрачала забота об убыточном наследстве, но в годы военного коммунизма оно оказалось спасением: «Ввиду продовольственного кризиса я принужден был оставить службу и уехать в бывшее имение... Я с сыновьями стали обрабатывать личным трудом землю и до сих пор все время и обрабатывали... Заболев после Вятки, куда ездил за хлебом, ревматизмом, с 1921—1923 гг. я был болен и не служил». К этому времени земля им не принадлежала, они арендовали ее у совхоза, «а недавно мы сгорели, лишились дома и потеряли бóльшую часть своего имущества». К прошению была приложена справка уездного земуправления: «Отношения местного населения к гр. Тюрнеру хорошие... его бывшая усадьба сгорела, и последний скитается где ночь, где две по углам крестьянских хат (живет очень бедно)». Тем не менее «помещик» Тюрнер и его сыновья были высланы. К осени 1925 года в Ленинградской губернии было «выявлено» 407 семей бывших помещиков, 203 выслано, а остальных пощадили из-

за старости или из-за «заслуг перед Советской властью и Красной армией». В сравнении с тем, что будет твориться при коллективизации, количество высланных из Ленинградской губернии в 1925 году вроде невелико, но важно, что это один из первых опытов таких массовых акций.

При нэпе жизнь еще не вошла в жесткие рамки, политический маятник колебался, и сообщения о высылке бывших помещиков соседствовали с информацией о возвращении частных домов прежним владельцам. Но — «Фабрик обратно не возвращаем!» — гласила заметка «Красной газеты» в 1923 году: «Гр. Опейко обратился в Губэкосо с ходатайством о возвращении ему фабрики папирос „Полония“. С аналогичным ходатайством обратились гр. Бекель, просивший о возврате завода огнетушителей „Богатырь“, и гр. Кравцов — о возврате ему медно-литейного, арматурного и механического завода на Глазовой ул., д. 15. Президиум Губэкосо в ходатайстве о возврате фабрик и заводов отказал». Если гражданин Опейко и другие ходатайствовали о возвращении им фабрик и заводов, значит, они верили в такую возможность. В 1925 году высылали «помещиков», а летом 1926 года К. И. Чуковский писал в дневнике: «В то же самое время, наряду с... *строгостью*, происходит быстрое воскрешение помещиков. „Нэп“. Инженер Карнович, работающий в Земотделе, вернул дачу себе — большую, над рекою... Дача Фриде, бывшей певицы, так огромна, что ее не обойдешь, не объедешь, дача Колбасовых (роскошная!)... отдана для эксплуатации владельцам. Те сдают свои дачи жильцам и получают таким образом огромную ренту со своего капитала. Сейчас возвращают Поповым их бывшую Поповку — огромную дачу, отведенную теперь для дома отдыха... Говорят... что дом отдыха на днях закрывается, а Поповы возвращаются в родное гнездо». Колебание государственного маятника, противоречивость жизни у одних вызывало раздражение, а другим внушало надежду, что постепенно хоть что-то вернется к былому.

«Советская Россия имеет лучших в мире вождей. Но, в общем и целом, пролетариат отстает колоссально», — сетовал в 1924 году Н. И. Бухарин. Он прав, разве пролетарии могли угнаться за автомобилями вождей, если им и в трамвае лишний раз не проехаться? Цены на проезд в трамвае возрастали с той же скоростью, что и на жилье: в феврале 1923 года их повысили на 50 %, в октябре было целых два повышения, и трамвайный проезд стал роскошью. Один тарифный участок пути (маршрут делился на участки, и цена билета зависела от дальности поездки) стоил 40 рублей, а минимальная зарплата в то время была 600—700 рублей, поэтому на «трамвайной колбасе» норовили прокатиться не только мальчишки, но и взрослые граждане[1].

Да, пролетарии безнадежно отставали от своих вождей. Вообще гордое слово «пролетарий» употреблялось в торжественных случаях, обычно говорили иначе — «рабсила». В 1924 году газеты сообщали об «усилении спроса на рабсилу. Рабсила на Бирже имеется в достаточном количестве» — на учете городской Биржи труда состояло 136 тысяч безработных, по большей части женщины. Но можно ли назвать безработной женщину, если на ее плечах была вся тяжесть неустроенной бытовой жизни? Эти «безработные» с утра вставали в очереди — «хвосты» (тогда говорили: «Пойду хвоститься»), а потом весь день трудились не покладая рук. Еще тяжелее приходилось работающим женщинам, ведь у них были те же домашние заботы. Зато они являлись уважаемыми членами общества, для них был учрежден особый праздник — Международный день работниц. 7 марта 1923 года репортер «Красной газеты»сообщал: «Зал Большого театра оперы и балета (б. Мариинский) переполнен — работницы сошлись туда отпраздновать свой международный день». После речей и пения «Интернационала» на сцене «открывается живая картина: в центре на пьедестале белая фигура, олицетворяющая статую свободы. Над головой она держит факел. У ее ног две фигуры, символизирующие труд и науку, а справа и слева толпа работниц в костюмах всех стран и наций. Картина демонстрируется в трех положениях: первое изображает приниженное состояние работницы и тяготение к свободе. Положение второе рисует работницу как бы на половине пройденного пути. Положение третье: торжество достижения».

[1] По свидетельству А. Г. Манькова, в середине 30-х гг. работницы фабрики «Красный треугольник» тратили на трамвайный проезд почти половину месячного заработка.

В 1923 году торжество достижения было налицо: за год хлеб вздорожал в десять раз, ситец — в десять с половиной раз, спички — в четырнадцать; в несколько раз подорожали дрова, мануфактура, обувь, продукты. Цены подскакивали почти еженедельно, повергая горожан в панику. Эмма Герштейн вспоминала, как в конце 20-х годов Мандельштам предрекал скорую мировую войну и, «подняв указательный палец, торжественно провозгласил: „Покупайте сахар!“» Действительно, что еще делать в преддверии войны, как не запасаться сахаром? Однако в ироническом совете Мандельштама запечатлелся характерный штрих жизни 20-х годов. Вспомним разговор горожанок в пьесе Евгения Шварца «Дракон»: «По дороге сюда мы увидели зрелище, леденящее душу. Сахар и сливочное масло, бледные как смерть, неслись из магазинов на склады. Ужасно нервные продукты. Как услышат шум боя — так и прячутся». Перебои с сахаром были верным признаком разлада в государственном хозяйстве, и атмосфера вокруг «нервного продукта» складывалась нервная.

В июне 1923 года петроградские газеты писали о сахарном кризисе: «Сахар страшно подорожал, и почти исчез сахарный песок». Несмотря на заверения городских властей, что сахар скоро завезут, ничего не изменилось и через год. Горожане давно научились толковать газетные сообщения как «сонник»: если пишут «топливный кризис городу не грозит», запасайся дровами; если «перебоев с сахаром не будет» — беги скорее в лавку! Эта примета их никогда не подводила. Осенью 1923 года чуть ли не половина населения города выстраивалась в очереди у магазинов Сахартреста, где сахар был дешевле, чем на рынке. Милиция боролась с ночными очередями, на дверях магазинов висели объявления об их запрете: «Виновные

будут арестованы и привлечены к ответственности. Очередь можно занимать лишь с 8 час. утра». Но это не помогало, люди все равно выстраивались с вечера, разбегались, как мыши, при виде милиционеров, а потом опять вставали в «хвост». Говорят, что те «хвосты» все же отличались от угрюмых, озлобленных очередей конца 20-х — начала 30-х годов, когда снова была введена карточная система; при нэпе люди с достатком могли без хлопот купить «нервные продукты» в частном магазине или на рынке. В конце 1924 года Ленгорисполком объявил, что сахара на складах достаточно, в январе 1925-го сообщалось, что из Гамбурга доставлено еще 100 тысяч пудов сахара, так что успокойтесь, граждане! Но граждане не успокаивались и были, несомненно, правы — об этом свидетельствует газетная заметка августа 1925 года: «В настоящее время наблюдается несколько напряженное состояние с сахаром, главным образом с сахарным песком. В Северо-Западном областном отделении Сахартреста сообщили, что Ленинград обеспечен сахаром и ожидать ухудшения положения не приходится». Как же, не приходится — мы ученые! «Песня о Сахаре» продолжалась до 30-х годов: он то появлялся, и цены на него взлетали ввысь, то исчезал, а в 30-х годах стал почти недоступным для большинства ленинградцев.

Не менее драматичной была история с галошами. Галоши — морока нашего детства: они пачкали школьные обувные мешки, спадали или не налезали на валенки, и при чтении стихов: «И ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких галош», думалось: «Ну и вкусы у этих крокодилов!» Но в 20-х годах обладатель новенькой пары галош чувствовал себя почти как нынешний владелец «Мерседеса». В 1919 году известная революционерка, лидер левых эсеров Мария Спиридонова, выступая на митинге московского завода Гужона, обличала большевиков: «Большевики — первые контрреволюционеры... Только большевикам все привилегии. Им и карточки на галоши!» Видимо, упоминание о галошах находило особый отклик в рабочих сердцах.

В России галоши выпускала основанная в 1860 году петербургская фабрика «Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры» (с 1908 года — фабрика «Треугольник»); к концу XIX века «Товарищество» было ведущим в стране предприятием по выпуску резиновой продукции. В 20—30-х годах XX века ленинградский завод «Красный треугольник» по-прежнему сохранял лидерство — казалось бы, где и купить галоши, как не в Питере! Однако в городе был постоянный «галошный голод» — видимо, отсюда и гастрономическое пристрастие крокодилов из сказки Чуковского. «Вкусовое» отношение к этому товару упрочилось и в умах горожан: Леонид Пантелеев записал услышанную фразу «Я органически не перевариваю галоши». С ними была та же история, что с сахаром: в сентябре 1925 года «в Ленинградском отделении Резинтреста заверили, что вся Северная область будет удовлетворена галошами полностью и даже получится некоторый остаток для вывоза». А в ноябре сообщалось, что «в частных магазинах галоши кончились. У розничного магазина „Треугольника“ в Гостином дворе тянется нескончаемая очередь... Несмотря на то, что введен отпуск галош только по предъявлении профсоюзных карточек, до сих пор налицо спекуляция. Очередь устанавливается у магазина в 7—8 часов утра. К 11 утра очередь с Садовой доходит до проспекта 25 Октября... В день продается до 1,5 тысяч галош». Но гражданам все было мало, и самые отчаянные решались на преступление. В 1924 году ленинградская милиция изобличила шайку галошных воров: «Вчера одного из преступников, Н. А. Николаева, задержали, когда он, похитив галошу, выходил из магазина резиновых изделий на просп. 25 Октября. На допросе он заявил, что долгое время практиковал похищение по одной галоше в различных магазинах, составляя потом из них пары». Составить пару было трудно, потому что самые ходовые размеры редко появлялись в магазинах, и можно представить эту шеренгу краденых галош — от гигантских до крохотных.

«Красный треугольник» трудился изо всех сил, он выпускал не только обычные мокроступы, но и «галоши дам-

ские на французском каблуке», старался улучшить качество продукции. В 1926 году «Красная газета» сообщала, что «заводом предпринято всестороннее испытание выпускаемых галош на прочность, выносливость и т. п. Некоторому числу рабочих и служащих завода розданы галоши для пользования. По истечении определенного срока галоши должны быть сданы обратно для производства экспертизы». Подозреваю, что испытатели галош возвращали их с сожалением, ведь они сами были «сапожниками без сапог». По свидетельству М. Ю. Германа, в конце 30-х годов, когда в Ленинграде появилось много орденоносцев (до этого ордена были редкостью), «на фоне растущего дефицита обычных товаров, ходил анекдот: „Меня вы легко узнаете — я буду в новых калошах и без ордена“».

Но довольно о трудностях. Усвоив правила «сонника», читатель сам может ответить на вопросы газетных заголовков: «Обеспечен ли в 1926 году Ленинград дровами? мылом? мануфактурой?»... Но город жил[1], и к середине 20-х годов здесь стали заметны перемены к лучшему. Горожане начали лучше одеваться, среди граждан в косоворотках, толстовках, брюках галифе стали появляться люди в костюмах. «В связи с улучшением заработка изменился спрос в крупных государственных и кооперативных магазинах белья... — писала „Красная газета“ в 1926 году. — Брюки „клеш“, „галифе“ и „бриджи“ даже не фабрикуются больше. Открыта мастерская галстухов и улучшен ассортимент белья. Появился большой спрос на запонки и фетровые шляпы. Рабочие и служащие предъявляют спрос на дорогое трико и зефировые рубашки». Но фетровые шляпы были редкостью, тогда господствовала мода на тюбетейки, в них ходили и мужчины, и женщины, особенно молодые.

С обувью дело обстояло несколько хуже: мужчины попрежнему носили сапоги или тяжелые ботинки-«бульдоги», женщины — боты, а летом все ходили в сандалиях («сандалетах») или в парусиновых туфлях. Парусиновые туфли — отличная обувь, стоит почистить их зубным порошком или молоком, и они опять как новенькие. Богатые щеголи ходили в блестящих лакированных ботинках-«лакишах», а их дамы — в туфлях-«баретках» с широкими ремешками. Улучшение жизни можно было определить по разнообразию и разностильности одежды. Среди молодежных футболок-«бобочек», блузок-матросок и ситцевых платьев выделялись женщины в дорогих нарядах. Газетный фельетон 1925 года «Аида с Троицкой улицы» обличал этих дам: «Ярко-красные губы — в Москве это называют „вампиризм“. В ушах кольца, какие дикие племена носят в правой ноздре. Золотой зуб. Юбка до колен. Чулки „лососина натюрель“. Туфли „а-ля Севзапгосторг“. Загар, привезенный из Ялты. Это жены спецов, нэпманов, служащих треста, извивающихся между казенным сундуком и счетами от портнихи. Спросите ее — кто она? — Я? Дама. Она официально „домашняя хозяйка“». О, мещанки в фельдеперсовых чулках, фифы в шелках и кольцах, из-за таких и попадали в тюрьму их мужья-растратчики! Дамы одевались у дорогих портних, нежились на курортах и любили модные духи «Персидская сирень», которые покупали в магазинах «ТэЖэ». В названии «ТэЖэ» чудится что-то французское, но в этой аббревиатуре не было ничего романтичного — парфюмерный трест «Жиркость». Дамам с косметикой «от жира-кости» было далеко до западных буржуазок, но для чего, спрашивается, делали революцию, если опять неравенство: одни женщины работают на заводах, томятся в очередях, а другие живут как барыни! Так, очевидно, рассуждали судьи, разбиравшие в 1925 году дело о краже бриллиантов у гражданки Козицкой. Подсудимая, подруга Козицкой, объяснила им причину своего поступка: «Я решила наказать эту сытую буржуйку, украла бриллианты и оставила записку: „Коммунистка в душе, я возмущена твоей буржуазной психологией. Пусть и ты теперь познаешь горе, заботы и некоторое, хотя бы мещанское, страдание“». Несмотря на классовую чуждость воровки, бывшей графини Толстой, приговор ей вынесли мягкий: условное лишение свободы на полгода.

[1] По сравнению с началом 20-х гг. население города увеличилось больше чем вдвое: в 1920 — 722 тыс., в 1926 — 1 млн 614 тыс. человек.

Буржуазные и мещанские настроения проникли в среду молодежи, которая увлеклась развратным танцем — фокстротом. Лидия Жукова вспоминала, как у нее собирались друзья, «тушили кислую капусту и отплясывали фокстрот. Кислая капуста! Квашенная в бочках, посеревшая от этих бочек... она томилась на сковородках, превращаясь в темное, скользкое месиво, она была единственным нашим яством в те далекие двадцатые на наших шумных пирушках. Фокстрот — это тоже было убогой радостью, это шарканье подошвами по питерскому узорчатому паркету под одну и ту же скрипатую пластинку». Несмотря на запрет этого танца, фокстрот отплясывали даже на вечеринках в сельских клубах (крестьяне называли его «хвост в рот»).

С начала 20-х годов идеология вела борьбу с мещанскими настроениями, ее накал запечатлен в стихах Маяковского «О дряни», где он проклинал мещан и призывал свернуть головы их канарейкам. Миазмы мещанского и буржуазного разложения проникали всюду — в 1924 году ленинградский журналист В. Андерсон писал об экскурсантах в Юсуповском дворце: «Идет интеллигент... Сплошное оханье и аханье, слащавое пришепетывание: „Вот красиво-то! Вот изящно-то! Как люди умели жить! Вот культура-то!“ Ошалевают. Мишура позолоты, бархата, ковров, серебра, бронзы, гобеленов до конца ослепляет незрячие глаза. Полотна Рембрандта, мрамор Кановы... Иначе смотрит на эту „сладкую жизнь“ рабочий-экскурсант... Вспыхивают глаза огоньком сильной, жгучей ненависти, и часто разом напружинивается морщина на лбу. Понятно, естественно, полезно, педагогично... Ясно, почему рабочий-экскурсант темнеет от воспоминаний. Значит, не может он хладнокровно смотреть на мавзолеи капиталистических мертвецов-упырей. Там можно учить и учиться великой, всепокоряющей ненависти». Увиденный, а скорее придуманный Андерсоном рабочий-экскурсант кажется не вполне нормальным. За такими историями и за обличением канареек крылась истинная причина тревоги советских верхов: как только жизнь начала налаживаться, стало понятным, что большевистская идеология

не прижилась, — так организм отторгает чужеродные ткани после неудачной операции.

Целью борьбы идеологов с буржуазными и мещанскими настроениями было влияние на молодое поколение, но натиск явно проваливался. Молодежь хотела веселиться и танцевать фокстрот, и это было нормальнее комсомольских нравов и взглядов. Ленинградские газеты часто писали об оформлении шествий коммунистической молодежи на праздничных демонстрациях; на одной из них на площадь Урицкого (Дворцовую) выехали автомобили-колесницы, «на колеснице возвышается громадная виселица, около которой стоят скованные царские генералы в золотых эполетах. На некоторых автомобилях-театрах разыгрываются целые шуточные мимодрамы. Вооруженные винтовками рабочие стреляют в воздух, а буржуи в диком страхе падают на дно грузовика». Борьба комсомольцев с мещанством часто принимала гротескные формы. Молодежная газета поместила назидательную историю: комсомолец вставил золотой зуб, и ячейка предъявила ему ультиматум — вырвать этот зуб или выйти из рядов РЛКСМ. Что предпочел бедняга, нам неизвестно. Комсомольцы кощунствовали, устраивали шабаши безбожников на Троицком подворье, которое было превращено в комсомольский клуб. А в очередях рассказывали, как комсомолка сняла со стены икону, бросила на пол и сама приросла к полу. Никак ей было не сойти с места, стали рубить под ней половицы, а из дерева потекла кровь. Так и стояла девица, покуда не покаялась.

В борьбе с буржуазными настроениями власти не ограничивались агитацией и обличениями, а в первую очередь приняли административные меры. В 1923 году вышло постановление о пролетаризации высших учебных заведений: отныне только два процента выходцев из «нетрудовых слоев» имели право на получение высшего образования, «все остальные зачисленные — рабочие, крестьяне, служащие или их дети». В. И. Вернадский писал об этой реформе: «Уровень требований понижен до чрезвычайности, университет превращен в прикладную школу, политехнические институты превращены фактически в тех-

никумы... уровень нового студенчества неслыханный, сыск и донос. Висят... объявления, что студенты должны доносить на профессоров и следить за ними — и гарантируется тайна. Друг за другом следят, при сдаче задач (петербургский политехнический) студенты доносят преподавателям на товарищей». Молодежи сознательно прививалась нравственная порча, гуманные человеческие принципы заменялись «классовыми». Дети с малых лет усваивали уроки жестокости. Эмма Герштейн записала со слов Ахматовой: «Когда расстреляли Гумилева, Леве было девять лет, школьники немедленно постановили не выдавать ему учебники — тогда они выдавались в самой школе, где самоуправление процветало даже в младших классах».

Большевистская власть нуждалась в сотрудничестве с интеллигенцией, государство не могло обойтись без специалистов в науке, технике, экономике. С начала 20-х годов в прессе и речах вождей появились призывы крепить союз интеллигенции и пролетариата. 6 мая 1923 года в Петрограде состоялся парад в честь братания интеллигенции с Красной армией, «на площадь Урицкого плотными колоннами входили учительство, студенчество, ученые, артисты, художники», которые обязались взять культурное шефство над армией и флотом. «Отныне союз молота, серпа и книги действительно осуществлен!» — провозгласил Зиновьев, и эти слова претворились в лозунг «Союз молота, серпа и книги победит мир!» Тогда много писали и говорили о «смы́чках»: смычка рабочих и ученых, крестьян и интеллигенции, а в 1924 году была объявлена музейная смычка Москвы и Ленинграда, но тут ленинградская интеллигенция запротестовала. «То, что казалось немыслимым при старом режиме, начало осуществляться при советской власти: Красный Ленинград поступился в пользу Москвы частью своих художественных сокровищ», — писала «Красная газета». В столице рассуждали просто: в Ленинграде огромное собрание произведений искусства, а в Москве их меньше, «в Эрмитаже 40 Рембрандтов, а в Москве всего пять (да и то два

сомнительные)», поэтому надо передать ей часть художественных сокровищ. Протесты Академии наук, музейных работников, ленинградских деятелей искусства приостановили разграбление, но все же, сообщала газета, в Москву «к Октябрьским торжествам в подарок из Ленинграда присланы посылки от Шуваловского и Юсуповского дворцов».

Диалог властей с интеллигенцией налаживался с трудом, и не случайно в публицистике тех лет слово «обыватель» служило синонимом слова «интеллигент». Обыватель — это ограниченный, озлобленный человек, который не видит в новой жизни ничего, кроме бессмысленного разрушения; типичный обыватель — герой повести «Собачье сердце» профессор Преображенский. В марте 1925 года М. А. Булгаков прочел в Москве, в доме у знакомых, только что законченную повесть. Среди его слушателей был тайный осведомитель ОГПУ, который доносил, что «вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах». Профессор Преображенский произносил филиппики советскому строю в домашнем кругу, но в Ленинграде жил знаменитый ученый, который этим не ограничивался.

Он тоже производил эксперименты с животными, и «собака Павлова» известна нам не меньше, чем пес Шарик Преображенского. Академик Иван Петрович Павлов, маленький, вспыльчивый, бесстрашный, непримиримый, напоминает мне Александра Васильевича Суворова. Этот воитель доставлял немало хлопот большевистским вождям: ему были созданы особые условия для работы, но от этого его, по словам Луначарского, «обывательское настроение и политическое младенчество» не изменилось. Еще весной 1918 года Павлов прочел в Петрограде публичные лекции «Об уме вообще и о русском в частности», в которых утверждал, что революция не принесла России подлинной свободы, а вместо этого развязала худшие человеческие инстинкты[1]. По мнению Павлова, настоя-

[1] В беседах с В. И. Вернадским И. П. Павлов классифицировал Ленина как патологический тип «большого преступника».

щая свобода возможна только в гармонии с дисциплиной, которую обеспечивает тормозной процесс в коре головного мозга, а худшей чертой «русского ума» является как раз слабость тормозного процесса, склонность к внушениям и фантастическим выводам. «Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, — говорил он, — я сознаю это, горько сознаю... Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк?.. Во-первых, это есть долг нашего достоинства, сознать то, что есть. А другое вот что... для будущего нам полезно иметь о себе представление. Нам важно отчетливо представлять, что мы такое; невзирая на то, что произошло, все-таки надежды терять мы не должны». В этих словах И. П. Павлова много горечи, но заметим, что глубина мысли, нравственная ясность таких людей делают честь русскому уму. «Весь я русский, все, что есть во мне, все вложено в меня моею русской обстановкой, ее историею, ее великими людьми», — писал он в Совнарком в 1920 году.

В 1923 году Павлов вернулся из-за границы и, как обычно, начал чтение своего курса с лекции о политике и современной жизни. «На вступительные лекции И. П. Павлова в начале года в советское время сбегались студенты даже из других институтов, — вспоминал Леонид Пантелеев. — Начинал [он] всегда так: „Господа студенты!“» Лекция 1923 года вызвала возмущение властей, и Зиновьев, выступая на Всероссийском съезде научных работников, специально остановился на ней: «Сотрудничество с таким человеком Советское правительство ценит в высокой степени, в годы самой напряженной борьбы мы делали все возможное, чтобы с ним сговориться». А он обрушился на святая святых партии — на идею мировой революции, высмеивал работы Бухарина на эту тему. В своей лекции Павлов заявлял: «Вы утверждаете, что ваша революция может победить лишь как мировая революция. Хорошо, но если так, то происходящее сейчас у нас есть чистейший бедлам. Я только что сделал большое путешествие и не вижу того, что указывало бы на возможность мировой революции... Лидеры нашей

правящей партии верят в то, что мировая революция будет. Но я хочу спросить: до каких же пор они будут верить? Ведь нужно положить срок. Возьмите крупнейшие державы, которые в своих руках держат судьбы наций, как Франция, Англия, Америка. Там никаких признаков революции нет... Я человек науки. Для меня фактом является только то, что я двадцать раз проверил в своей лаборатории. А где же вы проверили вопросы мировой революции? Чем вы мне это докажете и почему не положили срока?»

Вожди *должны* что-то *ему* доказывать! Павлов говорил, что пожалел бы лягушку для эксперимента, который большевики проводят на людях. Он ограниченный обыватель, политический младенец, черносотенец! Почему же его не трогали? Ответ можно найти в словах Бухарина: «Павлов, который политически, по-видимому, страшно далек от рабочего класса, работает в первую очередь на рабочий класс. Его учение об условных рефлексах целиком льет воду на мельницу материализма. ...Результаты исследований проф. Павлова есть орудие из железного инвентаря материалистической идеологии». Но Павлов распространял свое учение о рефлексах и на социальную сферу. В 1924 году он прочел в зале Городской думы публичную лекцию «Несколько применений новой физиологии мозга к жизни». «Зал не мог вместить всех желающих, — писала „Красная газета“. — Здесь были и надеявшиеся на очередные выпады, к которым так склонен известный своими странностями академик Павлов... Пока академик И. П. Павлов сообщал результаты своих гениальных работ, он стоял на объективной почве. Но когда перешел к своим выводам над жизнью людей, он привел ряд тенденциозно окрашенных мнений». Павлов рассказал о лабораторном опыте: собаку продолжительное время морили голодом и причиняли ей боль, в результате чего у нее был подавлен «рефлекс свободы». То же происходит в СССР: «Террор, да еще в сопровождении голода, совершенно подавляет инстинкт свободы, нация будет забита, рабски принижена». По мнению Павлова, резкий рост числа неврозов у населения связан с насильствен-

ным подавлением инстинкта собственности и религиозного инстинкта. На этой лекции присутствовали сотрудники Смольного и ОГПУ, они запротестовали, зашикали, и Павлов, «вскочив с места, ударив кулаком по столу... крикнул: „Наука имеет свои права, я говорю от лица истины!“ и, не отвечая на бесчисленные записки и реплики... удалился с кафедры». Горяч Иван Петрович, ох горяч, но какой спрос с гениального чудака, пускай продолжает свои опыты.

Наука может принести большую практическую пользу; вспомним героя «Собачьего сердца», профессора Преображенского — он занимался проблемой омолаживания человека. Но «эликсир молодости» был создан в середине 20-х годов в Ленинграде академиком Н. П. Кравковым. Изготовленная по его методу тестикулярная жидкость (для нее использовались половые железы быков), судя по сообщениям газет, творила чудеса: «Удалось уже невменяемого паралитика привести в нормальное состояние настолько, что он вернулся к своей службе и занятиям». В 1926 году Институт экспериментальной медицины получил разрешение выпускать тестикулярную жидкость для широкого применения. Как представишь, что это сулило, дух захватывает!

Вообще, сколько замечательного появилось в жизни — например, радио. Первый сеанс радиотрансляции в Петрограде состоялся 4 ноября 1923 года на площади перед Мариинским театром: сначала запел невидимый хор, заиграл оркестр, потом раздался голос: «Алло, вы слышите меня? Я говорю по громкоговорящему телефону, нахожусь от мембраны на расстоянии аршина». И вся площадь откликнулась криком: «Слышим! Слышим!», а «вечером публика наслаждалась на площади музыкой балета „Египетские ночи“», — писала «Красная газета». В 1926 году ленинградский профессор В. И. Коваленков изобрел телефонный автоответчик, названный в духе времени «телефоном-осведомителем». К телефонному аппарату подключалась приставка, на которой можно было сделать звуковую запись и предложить оставить сообщение. «Эта фраза, написанная при помощи электромагнита на бесконечной проволоке, будет повторяться каждый раз при вызове в отсутствие абонента. Вызывающий может продиктовать что ему угодно. Запись происходит в течение 10 минут. Вернувшись домой, абонент прослушивает запись». Коваленков запатентовал свое изобретение, но на том дело и кончилось. Известно, что главные бытовые новшества: холодильник, пылесос, телевизор и т. д. — были заимствованы СССР у Запада, но отнюдь не потому, что в России не было своих изобретателей. Просто государство считало своей задачей не улучшение жизни граждан, а утверждение идей социализма во всем мире.

Ленинградские ученые, конечно, молодцы, но и пролетарии не лыком шиты. Упомянем об одном опробованном в Ленинграде изобретении: в 1925 году здесь проходило испытание предохранительной сетки трамвая, изобретенной рабочим Петровым. Предохранительная сетка — вещь нужная, ведь граждане нередко попадали под трамвай. «Сетка — люлька в раме, на конце которой имеется кожаная подушка. Если трамвай встречает на рельсах какой-нибудь предмет, сетка соскакивает с крючка, на котором укреплена, и превращается в люльку, куда попадает настигнутый трамваем предмет или человек», — рассказывала газета. Трамвай, снабженный такой сеткой, ходил в городе несколько дней, но изобретение Петрова не было принято. «При опытах чучело в стоячем положении попадало в люльку и оставалось невредимым до торможения вагона. Опыты с лежащим на рельсах чучелом удачных результатов не дали», а граждане, как правило, оказывались под трамваем в лежачем положении.

В середине 20-х годов городские власти заговорили о плане строительства метро, в 1925 году Откомхоз (Отдел коммунального хозяйства горисполкома) обсуждал проект инженера Ю. К. Гринвальда. Автор проекта сообщил, что «еще в 1917 году были определены направления линий метрополитена, которые должны были снять всю нагрузку с трамвайного движения»; Откомхоз признал строительство нужным и постановил «согласовать устройство всех подземных сооружений с планом будущего метрополитена». У плана нашлись критики, которые

утверждали, что метро — устаревший вид транспорта, потому что скоро пассажиры будут летать по городу на аэропланах[1]. На это Гринвальд возразил, что тогда придется строить авиаплощадки высотой с многоэтажный дом и это выйдет гораздо дороже.

Грандиозные планы середины 20-х годов подтверждали тогдашний лозунг: «Мы здоровое, процветающее общество!», а архитектор Ной Троцкий предлагал увековечить это время грандиозным памятником Ленину у входа в ленинградский порт: «Это дает возможность видеть вождя всех трудящихся на расстоянии десятков верст. В то же время такая постановка выразит интернациональный характер нашей революции, зародившейся в Ленинграде и стремящейся охватить весь мир». Памятник, по замыслу напоминавший нью-йоркскую статую Свободы, поставлен не был, но в будущем Ной Троцкий все же увековечит свою эпоху — строительством здания резиденции НКВД — «Большого дома» на Литейном проспекте.

Обратимся к теневым сторонам жизни города 20-х годов. Правда, теневыми их можно назвать лишь условно, они слишком бросались в глаза. На петроградских улицах просили милостыню молодые калеки — инвалиды войны, возле чайных с рассвета собирались беспризорные. Они ждали открытия чайной, чтобы отогреться и подремать в тепле, а потом весь день сновали по городу, толклись на рынках и возвращались на ночлег в заброшенные дома или в пустые железнодорожные вагоны. Беспризорные сироты гражданской войны не были беззащитными детьми, они были организованны, дерзки и имели собственные промыслы: воровали и сбывали краденое, под присмотром юных сутенеров-«шкетов» малолетние «шкицы» занимались проституцией, но главным промыслом беспризорных была торговля папиросами. По словам Владислава Ходасевича, «после налетчиков папиросники были самыми богатыми людьми того времени... В Петербурге

[1] Первая линия ленинградского метрополитена была открыта в ноябре 1955 г.

был у них ночной клуб на Михайловской площади — с ликерами и шампанским». Они успешно конкурировали с табачными магазинами и получили в городе прозвище «Табтрест № 2». Папиросы беспризорные скупали у рабочих табачных фабрик, которым выдавали зарплату фабричной продукцией. Вечером, после закрытия магазинов, папиросники становились монополистами табачного рынка, они продавали свой товар штучно и в россыпь и устанавливали цены. Днем торговля тоже шла бойко, ведь их цены были ниже магазинных, поэтому Комиссия по борьбе с беспризорностью тщетно призывала курильщиков не покупать папиросы у детей.

Беспризорные приторговывали «марафетом» — наркотиками; в те времена самым популярным «марафетом» был кокаин. Многие из них сами пристрастились к кокаину, и наркомания среди беспризорных детей приняла угрожающие размеры. Центром сбыта наркотиков в городе много лет оставался район Лиговского проспекта, наркоманы называли его «фронтом» — на «фронте» кокаин продавали в любом количестве и в любое время. В 1923 году репортер «Красной газеты» писал: «В кафе и кабаках торгуют „белым порошком“... Покупают — взрослые и дети. Девочки-подростки, с красными опухшими лицами под густым слоем пудры, бродят парами около „злачных мест“... Нюхают на улице, в кафе за столиком, в номерах, ресторанах, притонах специального назначения, на извозчиках, в автомобилях». Беспризорные, среди которых было немало малолетних преступников, могли вызвать не сочувствие, а скорее страх, но все-таки они оставались детьми, и их любимым развлечением был цирк. По свидетельству Ходасевича, «в московском цирке ежевечерне заполняли они [папиросники] все ложи и первый ряд. Клоуны Бим и Бом, выходя на арену, отвешивали им поклон: „Именитому московскому купечеству — наше нижайшее!“» В 1923 году «Красная газета» рассказывала о происшествии в ленинградском цирке: «В воскресенье начальник секретного отдела уголовного розыска обратил внимание на двух мальчиков 12—14 лет, сидевших в ложе. В антракте мальчики вышли в буфет, где стали „угощаться“

и „угощать“ других. Тут подвернулся пьяный борец Лурих, они стали угощать и его, и кое-кого из публики. Начальник секретного отдела арестовал их и повез в уголовный розыск». Выяснилось, что промышлявшие кражами малолетки решили развлечься и покутить. Мир беспризорных тесно смыкался с уголовным, и будущее этих детей было ясным: хулиганство, воровство, проституция, тюрьма.

Проблема беспризорных детей требовала неотложного решения, на это нужны были средства, и государство возложило основные расходы на своих граждан — само оно расходовало средства на подготовку мировой революции. Комиссия по борьбе с беспризорностью не ограничивалась сборами кампании «Друг детей» и других благотворительных акций, в 1924 году был установлен «некоторый процент отчислений (обязательный) от квартплаты... сбор с магазинов, ведущих вечернюю торговлю; сбор при прописке документов; вся прибыль от продажи бюстов Ленина, выпускаемых производственным бюро Академии Художеств», — все эти средства шли в фонд Комиссии. Продажа бюстов Ленина была прибыльным делом, их покупали учреждения, заводы, клубы, школы. В пользу беспризорных должны были раскошелиться любители пива: после введения дополнительного налога оно подорожало, и несознательные граждане перестали его покупать, так что финансовой комиссии Губисполкома пришлось снизить этот налог до одной копейки за бутылку. К концу 20-х годов казалось, что проблема беспризорности детей решена: одни из них умерли, другие вернулись к нормальной жизни, многие оказались в местах заключения, но коллективизация вызвала новый, еще больший поток беспризорных. В советской литературе есть немало книг о судьбах и перевоспитании беспризорников, а в фольклор вошла сложенная ими песня:

Позабыт и позаброшен с молодых-юных лет,
Я остался сиротою, счастья-доли мне нет.
Вот и голод и холод, он меня изнурил,
А я мальчик еще молод, это все позабыл...

У кого есть родные, приласкают порой,
А меня все отшибают, я для всех чужой.
Вот уж скоро помру я, похоронят меня,
И никто не узнает, где могилка моя.

Беспризорников можно перевоспитать, а как быть с инвалидами германской и гражданской войн? Государство вроде позаботилось о них, назначило пенсию, многие из них жили в общежитиях — инвалидных домах, работали в артелях; кто хотел учиться, поступал на рабфак, но на деле все было совсем не гладко. «Инвалиды-рабфаковцы Б-н, И-в, К-н и В-й одновременно получают стипендии как инвалиды и как рабфаковцы», — доносил в 1923 году читатель в «Красную газету», и редакция сопроводила его письмо примечанием: «Проверено. Губсоюз устраняет эту ненормальность». Но как быть рабфаковцу-инвалиду: на стипендию не проживешь, другие студенты подрабатывали на тяжелых работах, а калеке это не под силу. Вот и приходилось выбирать — или голодать и продолжать учиться, или прозябать в инвалидном доме. Пуля, как известно, не разбирает, в кого летит, и среди инвалидов войны были разные люди — самые деловитые и мастеровые организовали ремесленные артели и зажили совсем неплохо. Но их благоденствие было шатким, потому что горсобес регулярно проводил «чистки» инвалидных артелей. В 1925 году «Красная газета» сообщала о результатах очередной чистки: «В инвалидных артелях имеется большой процент бывших дворян, купцов и т. д. В некоторых артелях эти инвалиды пролезли даже в правление. Будет урегулирован вопрос о зарплате, которая в некоторых артелях доходит до 400 руб. в месяц на человека»[1]. Чистки инвалидных артелей продолжались в 30-х годах, и в них всякий раз выявляли «чуждый элемент» .

Инвалидам войны трудно было найти место в мирной жизни, в городе и без них хватало безработных. В петроградском горсобесе то и дело возникали планы их трудо-

[1] В 1925 г. средний заработок ленинградцев составлял 35 руб., пенсия инвалидов войны была приравнена к минимальной зарплате — 21 руб. 94 коп. в месяц.

устройства — например, определить инвалидов в чистильщики обуви. Монополию на чистку обуви издавна держали айсоры, они арендовали у городского Отдела коммунального хозяйства (Откомхоза) все отведенные для этого места и бились за них насмерть. В мае 1923 года, сообщала газета, «на углу проспекта 25 Октября [Невского пр.] и улицы Пролеткульта [Малой Садовой ул.] произошло побоище между пятьюдесятью чистильщиками сапог. Драка случилась потому, что некоторые богатые чистильщики арендовали по несколько углов, сдавая их потом от себя в аренду». В общине айсоров враждовали несколько кланов, и милиции приходилось разнимать их драки стрельбой в воздух, другие средства не помогали. Чистильщики обуви были сущим наказанием для Откомхоза: «Каждую весну Откомхоз занимается „восточным вопросом“, собирая арендную плату. Скандалы, толпы в несколько десятков человек влетают в кабинет т. Иванова, требуя снижения арендной платы. Враждующие кланы, крики о том, что арендная плата грабительская: „Режь меня, убивай, выпей всю мою кровь!“» Поэтому в Откомхозе с готовностью согласились передать места для чистки обуви инвалидам, но те отказались — айсоры зарежут!

Бóльшая часть инвалидов оставалась без дела, они хулиганили, опускались, пьянствовали. В рассказе Зощенко «Нервные люди» (о драке в коммунальной квартире) увековечен инвалид Гаврилыч: «Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является. — Что это, — говорит, — за шум, а драки нету? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось». На улицах и в общественных местах спасу не было от «Гаврилычей». В 1925 году заведующий столовой возле Московского вокзала жаловался репортеру «Красной газеты»: «Скандалы и драки у нас бывают. Зачинщик — инвалид, который уже убил в трактире „Дунай“ какого-то человека, а теперь начал к нам ходить. Дерется графинами и полоскательницами и кидается другими вещами». Промыслом многих инвалидов было нищенство, но в середине 20-х годов началась кампания по его искоренению — при социализме не должно быть нищих! На встрече с сотрудниками ленинградского Госиздата Н. К. Крупская назидательно рассказала, как Ленин запретил ей подавать милостыню: «Не плодите нищих!» («Фу, какая гадость!» — громко отозвался писатель Борис Житков.) Милиция арестовывала просящих подаяние на улице, инвалидов лишали пенсии, а после нескольких задержаний высылали из города. Тех, кто подавал милостыню, тоже вели в милицию, оформляли привод и штрафовали. «Мы разучились нищим подавать», — грустил поэт Николай Тихонов, но вернее было сказать: «Нас отучили...»

Революция и времена военного коммунизма стерли грань между законным и преступным, отменили все прежние представления: самосуд считался не убийством, а справедливым возмездием, экспроприации не назывались грабежами, а хищения при обысках — воровством. Кем были вожди большевиков, которые переправляли национализированные ценности на свои счета в иностранные банки, «совкомши» в мехах с чужого плеча и их мужья в бывших царских автомобилях? В послереволюционном Петрограде военный патруль мог оказаться шайкой грабителей, грозный комиссар — вымогателем и спекулянтом, а компания матросов — бандой убийц. В те смутные времена уголовникам жилось вольготно, потому что милиция была слаба и неорганизованна, а ЧК занималась истреблением контрреволюционеров. При нэпе преступность не уменьшилась, а напротив, приобрела небывалый размах, в Петрограде открыто хозяйничали бандиты. Милиции было известно, где они жили и развлекались, известны адреса «малин» и то, что на Крестовском острове и в Лесном налетчики опробывали оружие и упражнялись в стрельбе, — но ей было не под силу справиться с бандитизмом. В 1922 году к борьбе с бандитами подключилось петроградское ГПУ.

Налетчики действовали быстро и с необычайной жестокостью, при грабежах убивали всех вплоть до младенцев, и город смирился с бандитским террором, как с необоримым злом. В 1924 году К. И. Чуковский записал в дневнике о своем визите в дом, среди жильцов которого

была «целая колония налетчиков, которые известны всему дому именно в этом звании. Двое налетчиков сидели у ворот и грызли зубами *грецкие* орехи. Налетчикова бабушка сидела у открытого окна и смотрела, как тут же на панели гуляет налетчиково дитя. Из другого окна глядит налетчикова жена, лежит на подоконнике так, что в вырезе ее кофточки видны ее белые груди. Словом, идиллия полная. Говорят, что в шестом номере того же дома живет другая компания налетчиков. Те — с убийствами, а нижние — без». Состоятельные люди не надеялись на милицию, они в складчину нанимали в дома ночных дежурных или дежурили сами. В 1923 году в почтовых ящиках петроградских домов появились анонимные письма: «Друг! если не хочешь быть ограбленным ночью, повесь на своих дверях ясную записку: „граждане бандиты, не трудитесь сюда идти, ибо здесь живут такие же бандиты“. Записку прибей к дверям с вечера, а это письмо перепиши в трех нумерах и разошли по трем адресам». Совет был принят, и такие анонимные письма наводнили город. «Интересно, — замечал репортер „Красной газеты“, — что мудрому совету анонима последовали некоторые питерские ювелиры, заклеивая на ночь свою карточку на дверях „свидетельством“, что они — бандиты».

Бандитский террор стал обыденностью, сообщения об убийствах, снимки изуродованных тел, выставленные для опознания в витринах, жуткие подробности репортажей из зала суда словно притупили ужас. Люди уже не боялись вселяться в квартиры, в которых убили всех обитателей; в 1924 году журналист Э. Гард писал: «На Гончарной ул. в одной из квартир недавно перебили всю семью. И в домоуправление потянулись хвосты. — „У вас квартира освободилась?“ — „Там убийство было!“ — „Да, да! А ванна есть? А кухня светлая? А в какой комнате убивали? Гирей по голове? Пять человек? А полы паркетные?“ На обоях в спальне следы крови. — „Да, неприятно. Придется переклеивать или занавесить картиной можно. И как это они так… по обоям?“ И перевезут свои вещи: комод, двуспальную кровать, граммофон, кисейные занавески, бабушкин сундук».

Борьба с бандитизмом продолжалась не один год, налетчиков не щадили, ГПУ и милиция имели право расстреливать арестованных при вооруженных ограблениях на месте, без суда. Впрочем, если дело доходило до суда, приговор, как правило, был тот же — расстрел. Среди сотен расстрелянных были известные петроградские бандиты: Сашка-Седой, Пан-Валет, Ванька Советский, Ванька Чугун, Ленька Пантелеев. Примечательно, что в глазах многих горожан, особенно молодежи, бандиты были окружены романтическим ореолом борцов с буржуями. В этом была немалая «заслуга» литературы тех лет, героями которой зачастую были уголовники; в бесчисленных сочинениях на эту тему отчетливо проступала мысль, что уголовники — социально близкие. Недаром в Петрограде поговаривали, что Ленька Пантелеев, «нэпманов гроза», — из бывших матросов. Молодежь вдохновляли не герои Кронштадтского восстания, а матросы революции, воображение наделяло их зверские физиономии героическими чертами. Не случайно наряд городской шпаны явно подражал матросской форме: широкие брюки-клеш, куртки наподобие матросских бушлатов, фуражки-капитанки. Зимой шпана носила круглые шапки-«финки», развязанные тесемки которых свисали как ленточки бескозырки. «Вечером они выходят. Шапка-финка надвинута до бровей, открытая волосатая грудь, как пудрой, присыпана снегом, в углу мокрых распущенных губ прилипла папироса» — так в 20-х годах писали уже не о матросах, а о питерских хулиганах.

Понятие «хулиганство» пришло в Россию из Европы в десятых годах XX века, и впервые это явление было отмечено в Петербурге. Отличие хулиганов от других преступников заключалось в том, что они совершали преступления не из корысти, не сгоряча или со зла, а бесцельно и бессмысленно. Возникновение хулиганства связано с большими городами, оно привилось сперва в Петербурге, потом в Москве и затем распространилось по всей России. Питерские хулиганы терроризировали горожан, они «бузили», «барахлили», устраивали побоища «стенка на стенку». В 1923 году «Красная газета» сообщала,

что «на набережной Невы, против фабрики б. „Торнтон“, местные хулиганы устроили грандиозное побоище. Участвовало в нем около двухсот человек». В 1926 году «на Обводном канале произошло побоище между двумя шайками хулиганов — „тамбовской“ и „воронежской“. Дрались около тридцати человек. В ход пущены камни, палки, ножи, раздавались выстрелы из револьверов». Ладно бы они устраивали свои побоища в стороне от мирных граждан, но главным удовольствием хулиганов было показать свою удаль на людях. В октябре 1923 года охтинские рабочие собрались в клуб на веселый спектакль «Тетка Чарлея», туда же явилась шпана. «Во время второго действия между порховскими и охтинскими посетителями клуба произошла драка. Сначала дрались на улице, а потом, гоняясь друг за другом, с криком ворвались в зрительный зал и там открыли стрельбу из револьверов. С улицы в это время полетели камни. Публика в ужасе бросилась из зала, давя друг друга, некоторые полезли под эстраду, другие бросились к дверям и окнам. В итоге выбиты все стекла, несколько человек получили серьезные ранения». Вот тебе и веселая «Тетка Чарлея»!

Хулиганы куражились, дрались, устраивали поножовщину почти безнаказанно, поскольку они были в подавляющем большинстве пролетарского происхождения. В 1924 году председатель губернского суда товарищ Нахимсон писал, что «главные кадры хулиганов состоят из зеленой молодежи, частью даже членов РКСМ. Надо увлечь и привлечь эту зеленую молодежь той или иной работой: кружками, экскурсиями, даже танцами (все же лучше, чем хулиганство), одним словом, придумать для них разумные развлечения». Суды всякий раз учитывали их социальное происхождение; на одном суде прокурор говорил: «Наказание должно быть очень суровым, но условным» (это примерно как двадцать лет каторжных работ — условно). В особых случаях, например при покушении на убийство, хулиганы отделывались недолгим тюремным заключением. При таком положении дел горожанам оставалось лишь меланхолически классифицировать их шайки. «В Ленинграде есть ряд хулиганских корпораций, — писала „Красная газета“ в 1925 году. — Охтинская, Гаванпольская, Балтийская, Тамбовская. У каждой — свое лицо. Охтинские занимаются разрушением домов — бьют стекла, срывают вывески, выворачивают фонари, мажут ворота и стены. Гаванпольские — нападают на прохожих. Балтийские специализируются на собачонках и кошках, которых подвешивают к окнам, чтобы пищали, и на преследовании подростков. Тамбовские практикуют в пивных и клубах». Горожане боялись обращаться в милицию с жалобами на хулиганов, потому что после короткой отсидки те возвращались и начинали мстить; так, известного на Васильевском острове хулигана Витю Плаксина укрывали от милиции сами потерпевшие. Особенно много шпаны было на Петроградской стороне и в окрестностях Лиговского проспекта. На Лиговке сутенеры в шапках-финках и с ножами-финками в карманах назойливо предлагали прохожим своих «марух»; в чайной «Смычка города с деревней» собирались наркоманы; в пивной на Пушкинской улице, напротив памятника поэту, пировали лихие «пушкинские ребята». Так продолжалось несколько лет. Дошло до того, что шпана Таврического сада ограбила и порезала финками члена городской комиссии по борьбе с хулиганством!

Наконец, в середине 1926 года в Ленинграде была объявлена кампания по борьбе с хулиганством: милиция устраивала облавы в местах их сбора, на улицах дежурили конные патрули, задержанных хулиганов снимали с учета биржи труда, лишали пособия по безработице и передавали дела в суд. Только к первой половине сентября в Ленинграде было привлечено к уголовной ответственности 1886 человек, но кульминацией кампании по борьбе с хулиганством стало судебное дело о групповом изнасиловании в Чубаровом переулке. В этом преступлении отразилась вся темная, жестокая суть хулиганства. Вечером 22 августа двадцатилетняя работница Любовь Белякова возвращалась домой, на Лиговский проспект. В Чубаровом переулке ее остановила толпа парней и, «завязав глаза грязной тряпкой, под свист, крики и улюлюканье потащила ее на Предтеченскую улицу. Дотащив до

сада б. Сан-Галли [тогда он назывался сад „Кооператор“], звери повлекли девушку вглубь сада. Здесь хулиганы сняли с нее повязку, и она увидела себя окруженной толпой». До этого лиговские молодцы не раз «брали в плен» проституток, и известие «Бабу повели!» служило сигналом к их сбору. В саду они выстроились в очередь, один из зачинщиков собрал с каждого «желающего» по 15—20 копеек себе на водку. Среди двадцати двух насильников оказалось несколько комсомольцев, демобилизованный матрос («Позвольте морячку попользоваться!») и член партии, секретарь ячейки ВЛКСМ завода «Кооператор» Константин Кочергин. Он в тот вечер поссорился с женой, сидел на лестничной площадке, переживал и, услышав, что «бабу повели», решил отвлечься от грустных мыслей. Пожалуй, самое поразительное в этой гнусной истории ее обыденность: «Вырвалась из рук насильников Б-ва только в 4-м часу ночи. Перед выходом из сада люди-звери взяли с жертвы клятву, что она будет молчать». Она сумела выйти на улицу, и «прохожий, увидев девушку, сидящую на подоконнике, а возле нее группки молодых людей, сунул руку в карман, как будто у него было оружие, и обратился к ней с предложением проводить. Хулиганы не препятствовали. Она попросила его отвести ее к милиционеру... Произведенная сразу же облава милиции задержала пять человек, из которых она опознала четырех». На суде прокурор спрашивал у насильников: «Отчего же вы ее просто не придушили?» Хороший вопрос! «Зачем душить?» — искренне удивлялись обвиняемые. Подумаешь, побаловались с бабой, эка невидаль! Видимо, так же рассуждал коллектив рабочих завода «Кооператор», которые вступились за своего комсомольского вожака Костю Кочергина.

Суд над «чубаровцами» в декабре 1926 года стал показательным процессом. До этого была развернута широкая кампания в прессе, газеты публиковали циничные показания задержанных, сообщали, что девушку заразили венерической болезнью. Тут же помещались коллективные письма в редакцию: «Хулиганов — каленым железом!», «Только высшая мера наказания может быть для

этих преступников-бандитов!», «Суровыми мерами вырвем из нашего Красного Ленинграда гнездо зверей-хулиганов!» Понятие хулиганства стали трактовать расширительно, теперь к нему относили почти все совершенные преступления. Городские власти словно очнулись от спячки и тоже высказывались за применение смертной казни для особо злостных хулиганов. И вообще шпане не место в Ленинграде! «На заседании губисполкома зав. административным отделом т. Егоров указал, что надо высылать хулиганов. Возник проект ссылать их на необитаемый остров Кильдин», — писала «Красная газета». Но через несколько дней в газету пришло письмо с необитаемого острова: «Житель о. Кильдина Кустов пишет, что Кильдин — центр рыбного промысла населения Мурманского побережья. Там есть и постоянное население — около 100 человек. Остров — заповедник белых и голубых песцов, с уникальными природными условиями». Люди там живут только надеждой на будущее, «потому что настоящего у нас нет». Не надо им на Кильдин хулиганов! Тогда ленинградское бюро краеведения порекомендовало для ссылки шпаны необитаемые Кандостров и Мегостров в Белом море, там они узнают, где раки зимуют!

Во время подобных кампаний нередко появляются самые неожиданные предложения. Врач тюремной больницы Соколов выступил на заседании городского хирургического общества с докладом, в котором утверждал, что от хулиганства можно излечить трепанацией черепа: «Многие заключенные хулиганы после трепанации изменили свое поведение. Один из них до операции не выходил за свои проделки из карцера. После трепанации, сделанной по поводу его болезни, характер его изменился и он принял активное участие в культурно-просветительской работе, организовал музыкальный кружок». Идея, конечно, интересная, но чересчур хлопотно... К моменту суда над «чубаровцами» общественное настроение в городе было накалено до предела. В декабре перед судом предстали двадцать семь обвиняемых в возрасте от 17 до 25 лет; семеро из них были приговорены к расстрелу, остальные — к разным срокам заключения в конц-

лагере, двух подсудимых оправдали. «Чубаровщина» надолго стала нарицательным понятием, материалы судебного процесса были изданы отдельной брошюрой, художник Павел Филонов запечатлел это преступление на фреске в фойе ленинградского Дома печати. А в городской фольклор вошла новая песня на мотив «Кирпичиков»:

Двадцать лет жила я в провинции, в деревушке веселой росла,
Там училася и не знала забот, я примерной девчонкой была.
Всем известная жизнь в провинции, тяжела и довольно темна.
Ленинград славится ведь науками, порешила поехать туда.
Но не знала я, что там в городе много подлостей кроме наук.
Что там люди есть, что звереныши, и там много жестоких мужчин.
Вот идет толпа, подошла ко мне, точно звери схватили меня.
Насмехалися, издевалися и навек загубили меня[1].

Известно, что многие людские беды происходят от пьянства. В 1915 году в Российской империи был принят закон о запрете производства и продажи спиртных напитков на всей ее территории, несмотря на то что этот закон наносил серьезный урон государственному бюджету в военное время. Октябрьские события 1917 года в Петрограде сопровождались разграблением винных складов, после взятия Зимнего дворца победители бросились в дворцовые погреба и несколько человек погибли, утонув в лужах вина. Для предотвращения «пьяных погромов» в городе пришлось создать особые отряды, которые крушили погреба, разбивали бутылки и бочки, смешивая драгоценные вина с грязным снегом. При военном коммунизме вино водилось только у спекулянтов и у большевистского начальства; по словам Ходасевича, «вся Москва знала, что… у Каменевых вино водится в изобилии. В частности, „каменевский“ коньяк, которым они кое-кого угощали, даже славился». Люди попроще пили всякую ядовитую дрянь. Художник Юрий Анненков вспоминал, как рабочие театра, в котором он работал, пили смесь, которой заправляли автомобили, «эта смесь заменяла им ис-

[1] Текст песни приведен по записи из собрания уголовного фольклора 20-х гг. О. В. Цехновицера.

чезнувшую водку, но, составленная из какой-то бензинной накипи, была чрезвычайно вредна», люди от нее слепли.

При нэпе продажа вина и пива (производства водки попрежнему не было) возобновилась, за 1922–1923 годы количество винных лавок в Петрограде увеличилось в два с половиной раза, а число пивных — в пять раз. Но еще больше процветало самогоноварение, в котором первенствовали Московский и Нарвский районы — там самогонные аппараты были почти в каждой квартире. Нелегальная торговля самогоном нарушала монополию государства на продажу алкоголя, уменьшала его доходы, поэтому на борьбу с самогонщиками была мобилизована не только милиция, но и ГПУ. Борьба была неустанной, упорной, но безнадежной. «Чины угрозыска, губмилиция и ГПУ, — сообщала „Красная газета“ в 1923 году, — нагрянули на горделиво возвышающийся, единственный дом-гигант по Тверской, 7. На что уж виды видали, но и агенты пришли в смущение. Что ни квартира, то завод: аппарат и три бочки закваски; два аппарата и бочка закваски — и так в десяти квартирах». В 1922 году в Петрограде было выявлено шестьсот мест изготовления самогона, в 1923 году — пять с половиной тысяч, и конца этому не предвиделось. Самогонщиков штрафовали, судили, конфисковывали аппараты, но умельцы неустанно мастерили и продавали новые «заводики». Тогда государство решило возобновить производство водки. Указ 1925 года о выпуске «русской горькой 40 градусов» был подписан Каменевым, поэтому водку прозвали «каменевкой». Появление «каменевки» было приурочено к годовщине Октября, в газетах появились броские заголовки: «Государственный водочный завод приступил к разливу 40-градусной очищенной водки», «Накануне выпуска 40-градусной!» — и наконец она появилась. Очевидно, «каменевка» пришлась по вкусу горожанам, потому что год спустя «Красная газета» сообщала: «355 168 ведер[1] водки выпито в Ленинграде за квартал. За это же время задержано 11 тысяч пьяных буянов. Больше половины — рабочие».

[1] «Казенное ведро» вместимостью в 12,3 литра — старая мера, сохранявшаяся в России в 1920–1930-х гг.

В 1865 году Ф. М. Достоевский задумал роман «Пьяненькие», его замысел отчасти воплотился в «Преступлении и наказании»: в окрестностях Сенной площади, где происходит действие романа, пьяных людей было большинство. В 1927 году К. И. Чуковский записал в дневнике: «Иногда кажется, что пьяных в городе больше, чем трезвых», — Ленинград стал городом пьяных людей[1]. Во время кампаний по борьбе с пьянством за появление на улице в нетрезвом виде и нецензурную брань полагался штраф, и эти штрафы, несомненно, обогатили бы государственную казну, если бы у пьяниц было чем платить. Но, по свидетельству городской комиссии по борьбе с алкоголизмом, среди рабочих укоренилось «пьянство периодическое — пропивание получек два раза в месяц, в дни выдачи денег». Комиссия била тревогу, ее представитель, профессор А. А. Мендельсон приводил красноречивые данные: в 1923 году за пьянство было задержано шесть тысяч человек, а в 1924-м — уже свыше десяти тысяч! По его предложению комиссия ходатайствовала о понижении тарифа на привоз фруктов в город, «так как замечено, что их распространение значительно содействует уменьшению алкоголизма». Милый профессор Мендельсон, фрукты взамен водки — это из какой-то другой жизни! Видно, комиссия не читала роман Горького «Мать», где популярно рассказывалось о социальных причинах пьянства.

А между тем в городе был известен человек, который исцелял самых закоренелых алкоголиков, — «братец Иван», Иван Алексеевич Чуриков. Он с 90-х годов XIX века проповедовал в Петербурге открывшуюся ему истину: Бог живет в душах бедняков и обездоленных, скоро настанет время, когда исчезнут пьянство, ненависть, жадность и все люди в мире станут единым трудовым братством. Очень скоро у Чурикова появились приверженцы из питерских рабочих, и он создал общину, в которой царили трезвость, трудолюбие и братская помощь. Церковь преследовала

[1] По данным статистики, потребление спиртного на душу населения увеличилось в СССР с 1924 по 1927 г. почти в семь раз.

Чурикова как сектанта, но число его последователей неуклонно росло. «Он имел благодатный дар, непостижимый и несомненный, исцелять закоренелых пьяниц, — вспоминал Анатолий Краснов-Левитин. — Я видел десятки пьяниц, которые на всю жизнь переставали пить после получасового разговора с „братцем“». После 1905 года преследование сектантов было отменено, и чуриковцы начали устраивать жизнь по своему усмотрению: купили в Вырице большой надел земли и организовали сельскохозяйственную коммуну. Скоро коммуна братства стала образцовым хозяйством, в 1916 году у нее появился трактор (большая редкость в то время), в ее парниках вызревал виноград. Чуриковцы видели особый смысл в процветании своей коммуны, они называли ее «Небесным Иерусалимом», прообразом будущего всемирного трудового братства. В 20-х годах «на Вознесение туда собирались тысячи людей, — вспоминал Краснов-Левитин. — Чуриков в белой рубахе становился за соху — трактор в этот день бездействовал — и делал первую полосу, запевал сильным голосом песню о винограднике Божием, который созревает для жатвы. Тысячи голосов подхватывали песню. Так начинались полевые работы».

В начале 20-х годов чуриковская община имела полтора десятка отделений в Петрограде, движение трезвенников объединяло больше десяти тысяч человек, но теперь уже новая власть теснила «сектантов»: «Пожарно-техническая комиссия произвела осмотр „молитвенного зала“, в котором происходят собрания последователей „братца“ Ивана Чурикова... Оказалось, что из-за отсутствия отдельной лестницы из зала собрания там проводить нельзя. Зал решено закрыть». Залы, в которых собирались чуриковцы, закрывались один за другим; так одновременно с кампаниями борьбы за трезвость шло преследование приверженцев трезвенности. В 1925 году «Красная газета» писала о «возмутительном» факте: «Опять дает о себе знать братец Иван Чуриков. Он решил прочно обосноваться в Обухове, в заново отделанном просторном доме, и снова стал привлекать темную массу слушать его „религиозно-нравственные наставления“ и „трезвые беседы“.

Вчера поезда из Ленинграда прибывали в Обухово переполненными. Публика самая серая: сенновцы (с Сенного рынка), мелкие кустари, торговки, „бывшие люди“ и т. п. Собеседование началось в 3 часа дня и закончилось около 7 часов. Вечерние поезда в Ленинград со станции Обухово с бою брались „чуриковцами“». Действительно, публика была «самая серая» — тогда, по словам Краснова-Левитина, «весь рабочий Питер ходуном ходил от одного имени — „братца“ Ивана Чурикова. В рабочих кварталах, у питерских кухарок и прачек, сапожников и дворников, это имя окружено было любовью и глубоким почитанием».

В 1928 году Вырицкую коммуну объявили кулацкой лжекоммуной и разгромили, а чуриковцы попали в категорию «лишенцев» — людей, лишенных избирательных прав. Нам, избегавшим ходить на советские выборы, трудно представить, чем было лишение избирательного права в 20—30-х годах — оно влекло потерю работы, продовольственных карточек, медицинской помощи, пенсии, исключение детей из школы и, наконец, высылку из города. Лишенцы были категорией обреченных людей. В ленинградских архивах сохранились заявления лишенцев с просьбой о восстановлении избирательного права. Рабочий А. В. Скаченков писал: «Я являюсь не как профессионал-проповедник, а просто убежденным чуриковцем и в правде евангельской и, находясь в свободной советской республике, я имею право свободно мыслить, ходить и проводить время, где я считаю для себя полезным». Бедный-бедный чуриковец, эти права могли быть признаны в Небесном Иерусалиме, но не в Ленгорсовете 1928 года. В 1930 (по другим сведениям в 1931-м) году Ивана Алексеевича Чурикова и его ближайших сподвижников расстреляли в Ленинграде, а большинство его «братцев» погибло в лагерях.

В начале 30-х годов, по свидетельству некоторых мемуаристов, пьяных на улицах Ленинграда стало меньше, хотя в городе было множество пивных, некоторые из которых гордо именовались «Культурная пивная». Эмма Герштейн вспоминала ленинградцев тех лет: «Эти худощавые мужчины с землистым цветом лица и острыми глазами, сбегающие по ступенькам в пивную, казались мне или студентами-революционерами, или все сплошь Раскольниковыми»; в Москве, по ее словам, пили гораздо меньше. Таково было впечатление романтически настроенной москвички, а в записях ленинградки Лидии Чуковской все выглядело куда прозаичнее. В мае 1939 года она записала: «Кругом множество пьяных. Кажется, что вся мужская часть улицы не стоит на ногах». Позднее Ахматова напомнит ей при виде большого числа пьяных: «Это как в день мира с Финляндией[1]... я шла к вам (а жили мы друг от друга очень близко) — и по пути насчитала четырех женщин, лежавших в луже и уже успевших примерзнуть». Несчастные, угрюмые, пьяные люди на долгие десятилетия останутся печальной приметой ленинградской жизни.

[1] Мирный договор, завершивший Финскую кампанию 1939—1940 гг., был подписан 12 марта 1940 г.

«Новый Гоголь народился...»

«Серапионовы братья». Невыдуманные персонажи. Зощенко и Шостакович. Нищий Тиняков. Сталин и Зощенко. Катастрофа 1954 года. Юбилейный вечер

Весной 1845 года петербургские литераторы Некрасов и Григорович прочли рукопись Достоевского «Бедные люди» и поспешили к Белинскому: «Новый Гоголь народился!» «Эк у вас Гоголи-то как грибы растут», — иронически отозвался критик. Верно, Гоголи не растут как грибы, хорошо, если такой писатель появляется раз в столетие, но о Михаиле Зощенко можно сказать «новый Гоголь народился». Его при жизни нередко сравнивали с великим предшественником, сходство этих писателей несомненно, только эпохи и судьбы у них разные: Гоголь в двадцать один год написал «Вечера на хуторе близ Диканьки», Зощенко в двадцать один год воевал на германском фронте, попал на передовой под газовую атаку. «Теперь видно, как идут газы... Это не сплошная стена. Это клуб дыма шириной в десять саженей. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тихим ветром... Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот. Возня. Я в бинокль гляжу в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ... Гренадеры стреляют вяло. И стрелков немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые... Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу». Как это отличается от цветущего, поющего мира «Вечеров на хуторе близ Диканьки»!

«Новый Гоголь» вступал в жизнь во времена отравленной земли, мертвых птиц, изуродованных ненавистью людей. В 1919 году он появился в литературной студии петроградского Дома Искусств, которой руководил Чуковский. «Это был один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел... — вспоминал К. И. Чуковский. — Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджачке и в изношенных, заплатанных штиблетах». Замкнутого, молчаливого Зощенко не сразу приняли в кружке студийцев, которые были веселы, открыты и многое обещали в будущем. Вскоре молодые литераторы объединились в группу «Серапионовы братья»[1], о которой прозаик Николай Чуковский писал: «Это, кажется, единственный в мировой истории литературный кружок, все члены которого стали известными писателями». Верно, почти все они стали известными советскими писателями, которых сейчас едва ли кто читает. Для нас «Серапионовы братья» связаны в первую очередь с именем Зощенко, и память об этом «братстве» горчит: некоторые из них участвовали в травле Зощенко, а после его смерти ни один из «серапионов» не захотел сказать прощального слова на панихиде.

Но это в будущем, а тогда, в начале 20-х годов «талантливые юноши, люди высоких душевных запросов, приняли его радушно в свой круг. Он повеселел, стал общительнее... он давал своему юмору полную волю», — вспоминал К. И. Чуковский. В веселье Зощенко трудно поверить, в жизни он был не слишком веселым человеком, и чем громче смеялись слушатели его рассказов, тем печальнее становился автор. Он как будто прислушивался к чему-то — возможно, это зовется голосом судьбы? Зощенко всю жизнь помнил предсказание гипнотизера и прорицателя, услышанное им в юности, на войне: «Вы,

[1] В группу «Серапионовы братья» входили Илья Груздев, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Никитин, Владимир Познер, Елизавета Полонская, Михаил Слонимский, Николай Тихонов, Константин Федин; к «серапионам» примыкал Виктор Шкловский.

молодой человек, имеете недюжинные способности в области искусства. Не отрекайтесь от них. В скором времени вы станете знамениты на всю Россию. Но кончите, впрочем, плохо». Смысл его трагического предчувствия можно понять из описания встречи с Александром Блоком в повести «Перед восходом солнца»: «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие... Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит». Творчество способно сжечь душу творца — в мертвых глазах Александра Блока он видел ту же тоску, что свела в могилу Гоголя. «Литература, — заметил Зощенко, — производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил».

Своенравная судьба сатирика имела склонность к трагикомическим коллизиям, что выяснилось уже при издании его первой книги «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». В типографии наборщики читали рассказы Зощенко вслух, все работники хохотали до упаду и, видимо, со смеху перепутали обложки — часть тиража «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова» вышла в обложке книги Константина Державина «О трагическом». Может, оно и вернее, какой тут смех, это беда-бедишка, как говаривал кроткий Назар Ильич Синебрюхов, повествовавший о горьких и страшных вещах: о германской войне и газовой атаке, о возвращении домой, где его не ждали; о том, как его едва не порешили лихие босячки, а комиссары упекли в тюрьму. Современность, с войнами, революциями и началом советской жизни, оказывалась в несомненном родстве с волшебным миром Гоголя: в рассказах Назара Ильича появляется прекрасная полячка и «голова» сельсовета Рюха, гиблое место и страшная ночь, прикинувшаяся собакой нечистая сила и мертвецы с отросшими когтями. Но главным чудом книги Зощенко стал новый, небывалый в литературе народный язык его эпохи, он-то и заставлял людей смеяться, читая о совсем не смешных вещах. Наверное, так повествовал бы герой «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

пасечник Рудый Панько, доведись ему родиться в новые времена. Вспоминая о веселье, царившем в типографии при наборе «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова», Елизавета Полонская писала: «Кто-то вспомнил о том, что такой же успех имели у наборщиков „Вечера на хуторе близ Диканьки“».

Рассказы 20-х годов принесли Зощенко всенародную славу, такая слава выпадала немногим русским писателям. Собратья по перу пытались объяснить славу Зощенко тем, что он высмеивал мещанство, но вся советская литература с первых шагов обличала и высмеивала мещанство, почему же вся слава ему одному? Оказывается, Зощенко принадлежало открытие нового социального типа: «Вот в литературе существует так называемый „социальный заказ“, — писал он Горькому. — Мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти не фигурировал раньше в русской литературе. Я взял подряд на этот заказ. Я предполагаю, что не ошибся». Что же это за неведомый тип, не замеченный прежней литературой и современными писателями? Этот тип заполнял городские улицы, когда сотни тысяч усталых, замызганных, косноязычных людей возвращались после работы в свои углы[1]. Большинство исполнителей «социального заказа» видели в них однородную, безликую массу и брезгливо отводили взгляд. Характерна дневниковая запись К. И. Чуковского в 1924 году: «В Сестрорецке. ...В курорте лечатся 500 рабочих — для них оборудованы ванны, прекрасная столовая... порядок идеальный, всюду в саду ящики „для окурков“, больные в полосатых казенных костюмах — сердце радуется... Спустя некоторое время радость остывает: лица у большинства — тупые, злые... Им не нравится, что „пищи мало“... окурки они бросают не в ящики, а наземь, и норовят удрать в пивную, куда им запрещено». А как ужасны общежития и коммуналки, где они уплотнены до потери человеческого облика! Рассказы Зощенко осветили этот пласт угрюмой человеческой глины, и он

[1] Ср.: «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь» (Осип Мандельштам. «Четвертая проза»).

вдруг ожил, обернулся сотнями лиц и характеров, десятками типажей. Жизнь узнавала себя как в зеркале и смеялась вместе с автором рассказов, читатели обнаруживали, что окружены персонажами: «Да это прямо из Зощенко!» И скоро стало непонятно — то ли писатель заимствует сюжеты из жизни, то ли она сама стилизуется «под Зощенко». В жестком колорите его рассказов, в корявом языке персонажей открылся целый мир, и в отношении писателя к этому миру было, по его словам, «меньше иронии, чем настоящей, сердечной любви и нежной привязанности к людям».

Рассказы Зощенко пришлись по душе не всем, были критики и читатели, которые видели в них очернение, злостное искажение жизни. «Где он встречал таких уродов, этих Васек и Мишек Бочковых, Конопатовых, Боковых? — возмущались они. — Все это скверные выдумки злопыхателя!» Но, как говорится в пословице, нечего на зеркало пенять... Хроника городской жизни тех лет изобиловала сюжетами сатирика, почти в каждом номере ленинградских газет можно найти что-нибудь «из Зощенко». В 1925 году «Красная газета» сообщала о происшествии в бане: рабочий Бобров пришел мыться, сдал одежду на хранение, «а когда помывшись вышел, вместо роскошных брюк-галифе и кожаной куртки банщики выдали на его билет какие-то лохмотья. „Не иначе как билетик ему подменили“, — говорят банщики. „Да кто подменит, коли я его в руке хранил? — кричит Бобров. „Я помню, что Бобров в руке билет держал! — говорит приятель Боброва инвалид Марцевич. — Я лично к ступне привязал, а он в руке хранил. Которые умственные посетители — те завсегда к ноге билетик привязывают“». Все как в рассказе «Баня»[1], а инвалид Марцевич почти Гаврилыч из «Нервных людей». Жизнь копировала и множила его сюжеты. К. И. Чуковский описал другое происшествие: однажды, когда они с Зощенко шли по Литейному проспекту, к ним подошел незнакомый человек и стал упрекать сатирика в клевете: «Где вы видели такой омерзительный быт? И такие скотские нравы? Теперь, когда моральный уровень...» В этот момент к их ногам упала ощипанная курица, и «тотчас из форточки самой верхней квартиры высунулся кто-то лохматый, с безумными от ужаса глазами и выкрикнул отчаянным голосом: „Не трожьте мою куру! Моя!“» Через минуту из парадной выбежал человек, схватил курицу, вскочил на подножку проходившего трамвая и укатил. «Не успели мы догадаться, что сделались жертвой обмана, что *схвативший курицу вовсе не тот человек, который кричал из окна*, как этот человек налетел на нас ястребом, непоколебимо уверенный... что мазурик, так ловко надувший и нас, и его, на самом-то деле наш сообщник». Тут же собралась толпа и на писателей посыпались обвинения; особенно горячились те, кто сами были не прочь прихватить чужую курицу. «Зощенко усмехнулся своей медленной, томной, усталой улыбкой и тихо сказал обличителю: „Теперь, я думаю, вы сами увидели...“»

Гоголь в поэме «Мертвые души» размышлял о судьбе сатирика: счастливы творцы, изображающие светлые стороны жизни и возвышенные характеры, они награждены любовью и признательностью читателей. «Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь», суд современников «отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев...» Все это будет в судьбе Михаила Зощенко, но пока он окружен народной любовью: его рассказы звучат со всех эстрад, огромные тиражи книг мгновенно раскупаются, а в 1929—1931 годах вышло в свет шеститомное собрание его сочинений. Тогда же на вопрос «Красной газеты» о том, кто самый известный человек в городе, ленинградцы ответили «Зощенко», а кондукторы объявляли название остановки «Улица Зощенко Росси» вместо «Зодчего Росси».

У литературной славы была и оборотная сторона: объявилось множество самозванцев, выдававших себя за

[1] Рассказ Зощенко «Баня» был написан за год до того, в 1924 г.

Зощенко, писатель получал письма с упреками и жалобами от обманутых ими женщин, приходилось объясняться, посылать свою фотографию, чтобы жертвы убедились в обмане. В 1933 году, во время знаменитой поездки писателей по Беломоро-Балтийскому каналу, на всем пути парохода их сопровождали крики с берегов: «Зощенко! Зощенко!» Ему казалось, что эти люди зовут его к себе, что его место среди них, но остальные 119 писателей различали в этих криках совсем другое: как же так, они воспевали современность (как выражался персонаж «Нервных людей», «я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям»), а тут даже подконвойные зеки орут одно имя — «Зощенко»! Конечно, их можно понять, но на то они были и писатели, чтобы скрывать подлинные чувства за словесной мишурой. Близкий друг Зощенко Михаил Слонимский утверждал, что тот «весь свой советский язык почерпнул (кроме фронта) в коммунальной квартире Дома Искусств, где Слоним<ский> и Зощенко остались жить, после того как Дом Искусств был ликвидирован. И вот он так впитал в себя этот язык, что никаким другим писать уже не может», — записал К. И. Чуковский. Корней Иванович тоже сделал открытие — он навестил Зощенко в Сестрорецке и услышал, что там все «изъясняются между собою по-зощенковски. Писатель жил в окружении своих персонажей». Вот, оказывается, в чем секрет успеха: стоит пожить в коммуналке или снять дачу в Сестрорецке, и прославишься! Друзья прикрывали зависть лицемерным недоумением: Зощенко обличает мещанство, а сам живет в мещанской роскоши; Шкловский, этот Ноздрев тогдашней литературной элиты, не умел сдерживаться — увидев пальму в квартире Зощенко, он злорадно вскричал: «Пальма! Миша, ведь это как в твоих рассказах!» Если бы знаменитый сатирик ходил в рубище и жил в чулане, ему, может, простили бы успех. В 1943 году, когда Зощенко клеймили за повесть «Перед восходом солнца», одним из самых злобных хулителей оказался старый приятель Шкловский. «Потрясенный Зощенко сказал: „Витя, что с тобой? Ведь ты совсем другое говорил мне в Средней Азии. Опомнись, Витя!“ На что Шкловский ответил без всякого смущения, лыбясь своей бабьей улыбкой: „Я не попугай, чтобы повторять одно и то же“», — вспоминал Ю. М. Нагибин.

Непонимание и зависть были и будут во все времена, но можно ли сравнивать судьбы Гоголя и Зощенко? Гоголь жил в эпоху, когда существовали твердые понятия о чести и бесчестии, о нравственности и низости. С первых шагов в литературе он встретил дружеское сочувствие Пушкина и Жуковского, среди его друзей и почитателей были Аксаковы, М. Н. Погодин, Н. М. Языков, С. П. Шевырев — всё славные имена в русской литературе. Во времена Зощенко прежние представления и ценности были отменены и попраны и в общественной жизни воцарились другие правила и понятия. В этом перевернутом мире трудно было найти сочувственный отклик и понимание, и Зощенко оставался одиноким и чужеродным в литературной среде. Характерна запись К. И. Чуковского: осенью 1927 года он встретил Зощенко на Невском и был поражен его печальным, потерянным видом. Чем же Корней Иванович ободрил его? «„Недавно я думал о вас, что вы — самый счастливый человек в СССР. У вас *молодость, слава, талант, красота — и деньги*. Все 150 000 000 остального населения страны *должны жадно завидовать вам*“ (курсив мой. — *Е. И.*). Он сказал понуро: „А у меня такая тоска, что я уже третью неделю не прикасаюсь к перу. — Лежу в постели и читаю письма Гоголя, — и никого из людей видеть не могу“». (Время неузнаваемо меняло людей, разве Чуковский сказал бы что-нибудь подобное Александру Блоку?)

Одни считали странности Зощенко позой, другие — капризами баловня судьбы, третьи обвиняли его в высокомерии. Здесь следует вспомнить об отношении коллег к другой ленинградской знаменитости — Дмитрию Шостаковичу. Сравнение не случайно, Зощенко и Шостаковича связывали не только дружеские отношения, но и сходство судеб. По свидетельству Евгения Шварца, при каждой встрече композиторов «беседа их роковым обра-

зом приводит к Шостаковичу. Обсуждается его отношение к женщинам, походка, лицо, брюки, носки. О музыке его и не говорят — настолько им ясно, что никуда она не годится». Особенно негодовали жены композиторов: «Это выродок, выродок!» В литературных кругах предметом пересудов были семейная жизнь, странности, «офицерские» любовные романы Зощенко. Жена переводчика Валентина Стенича «рассказывает, — записал в 1934 году К. И. Чуковский, — что Зощенко уверен, что перед ним не устоит ни одна женщина. И вообще о нем рассказывают анекдоты и посмеиваются над ним...» В Зощенко раздражало все: он не умел добиваться положенного, раздавал деньги просителям — значит, щеголял бескорыстием. Он отказался вступить в партию, объяснив, что недостоин, поскольку «очень развратный» — ну не выродок ли! От этого человека можно было ждать любой выходки: например, в 1931 году он услышал об аресте Стенича и уговорил его невесту Любу пойти к тюрьме, чтобы передать ему папиросы. «Подошли к часовому, — вспоминала Марина Чуковская. — „Вот что, голубчик, — сказал Зощенко, — тут у вас один мой друг, сегодня привезли. Так нельзя ли ему папиросы передать, ведь он без курева, а? Пожалуйста“. Часовой посмотрел на него как на безумца». А как он обошелся со Стеничем, когда того арестовали в 1938 году и вдруг неожиданно выпустили? Этот эпизод сохранился в записи Чуковского: «Зощенко стоял с Радищевым и другими литераторами, когда подошел Стенич. Поздоровавшись со всеми, он протянул руку Зощенке. Тот спрятал руку за спину и сказал: — Валя, все говорят, что вы провокатор, а провокаторам руки не подают».

По словам Дмитрия Шостаковича, Зощенко «любил производить впечатление человека мягкого, любил притворяться робким»[1], а на деле обладал редкостной твердостью. Недаром в германскую войну он был награжден

[1] Зощенко почти в тех же словах писал о Шостаковиче: «Казалось, что он — „хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок“... Но если бы это было только так, то огромного искусства (как у него) не получилось бы. Он жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный».

за храбрость пятью орденами, среди которых два Георгиевских креста. Вся его дальнейшая жизнь требовала не меньшего мужества. Н. Я. Мандельштам вспоминала, как в 1938 году «„Правда“ заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее отовсюду гонят как жену арестованного. Рассказ, разумеется, не напечатали, но в те годы один Зощенко мог решиться на такую демонстрацию». В 1937 году он взял на себя заботу о детях арестованного секретаря Петроградского райкома Авдашева: старший сын Авдашевых жил у Зощенко, а отправленные в детские дома дочери получали посылки и деньги из Ленинграда. В 1939 году одна из них вернулась в Ленинград и тоже нашла приют в семье Зощенко. В те годы помощь детям «врагов народа» требовала невероятной смелости, ведь «каждый поступок противодействия власти требовал мужества, не соразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа», — писал А. И. Солженицын. Зощенко постоянно нарушал круговую поруку трусости, и коллеги никогда ему этого не простили. Жена М. Л. Слонимского Ида, с которой Зощенко был дружен со времен «Серапионовых братьев», в воспоминаниях обвиняла его в гордыне и эгоизме. В 1946 году писатели избегали Зощенко как зачумленного, а он «в своей униженной гордыне» посмел спросить Слонимского, почему тот не здоровается. Пришлось сказать напрямик: «Миша, у меня дети». Тогда семья Зощенко жестоко голодала; «как же они все-таки жили? Зощенко, по-моему, ни к кому не обращался за помощью. Он был слишком самолюбив и горд», — писала Ида Слонимская. Она вспоминала его последние дни: «Он лежал на большой постели, одетый, маленький, очень худой, похожий на тряпичную куклу с большой головой, которую надевают на пальцы, на игрушку бибабо». В этом «бибабо» так и слышится — «выродок, выродок!»

Неприязнь коллег к Зощенко и Шостаковичу была вызвана не только завистью; Евгений Шварц запомнил замечание одного из музыкантов: «Чего же вы хотите? Эти

композиторы чувствуют, что мыслить как Шостакович для них смерть». То же можно сказать о Михаиле Зощенко. «Неблагозвучная» музыка Шостаковича, искаженная речь персонажей сатирика свидетельствовали о трагической дисгармонии, неблагополучии жизни, и Зощенко обвиняли в клевете на современность, а Шостаковича — в глумлении над традицией. В 1936 году, во время ожесточенной травли, Шостакович был близок к самоубийству. «И в это трудное время, — вспоминал он, — мне очень помогло знакомство с идеями Зощенко. Он говорил, что самоубийство не странный, а чисто инфантильный поступок, восстание низшего уровня психики против высшего. Точнее, даже не восстание, а победа низшего уровня, полная и окончательная победа». Вопрос о контроле над «низшим уровнем психики», о преодолении страха был для Зощенко жизненно важным. Он с юности страдал тяжелой депрессией, тоска, апатия, приступы отчаяния сопровождали его жизнь в самые благополучные времена. Когда болезнь обострялась, он переставал есть, избегал людей и надолго исчезал из дома. Никакое лечение не помогало, и в 1927 году он был близок к смерти (тогда-то Чуковский и говорил ему, что он «самый счастливый человек в СССР»). Зощенко нашел собственный путь к исцелению, позднее он рассказал о нем в повести «Перед восходом солнца». Страх, отчаяние, уныние можно победить с помощью разума, нужно найти причину душевной травмы, которая привела к болезни. «Я часто видел нищих во сне. Грязных. Оборванных. В лохмотьях... В страхе, а иногда и в ужасе я просыпался».

В чем смысл этого многолетнего повторяющегося кошмара? Нищий из снов Михаила Зощенко неожиданно материализовался. С середины 20-х годов на Литейном проспекте каждый день появлялся человек, на груди которого висела картонка с надписью «Поэт», он просил милостыню. Зощенко узнал его — это был поэт Александр Тиняков, до революции имевший некоторую известность и скверную репутацию. Тиняков был даровит, но настоящей славы не добился и восполнял ее недостаток скандалами и эпатажем: в 1914 году прославлял в стихах кайзера Вильгельма, потом опубликовал «Исповедь антисемита», но ему не везло — всякий раз находились скандалисты похлеще. В первой половине 20-х годов Тиняков сотрудничал в «Красной газете», писал статьи о литературе, даже по тем временам выделявшиеся хамски-пренебрежительным тоном, а в 1926 году вышел на Литейный просить подаяния. Его выгнала на улицу не нужда, а все та же потребность в вызове, выверте. «Работаете? — спрашивал он у знакомых писателей. — А по мне лучше торговать своим телом, чем работать», и похвалялся, что набирает за день до пяти рублей («это куда лучше литературы») и каждый вечер ужинает в ресторане. Живописный нищий на Литейном был хорошо известен в городе, плакатики с надписями «Писатель», «Поэт», «Подайте бывшему поэту» вызывали интерес и сочувствие. Тиняков продолжал сочинять стихи и декламировал их в пивных[1]. В 1930 году его осудили за антисоветские стихи и нищенство на три года заключения в концлагере, в 1934 году он вернулся в Ленинград больной, на костылях, и через несколько месяцев умер. Тиняков поразил Зощенко, он разгадал в образе «бывшего поэта» смысл пугавшей его нищеты, заключавшейся в нравственной гибели, в бездне падения талантливого человека. В повести «Перед восходом солнца» Зощенко цитировал стихи Тинякова:

Пищи сладкой, пищи вкусной
Даруй мне, судьба моя, —
И любой поступок гнусный
Совершу за пищу я.

В сердце чистое нагажу,
Крылья мыслям остригу,
Совершу грабеж и кражу,
Пятки вылижу врагу!

Страшное видение «бывшего поэта» напоминало Зощенко гоголевского Плюшкина — живого мертвеца, «про-

[1] Пивные были своего рода мужскими клубами. Зощенко вспоминал, как Есенин читал в ленинградской пивной поэму «Черный человек»; излюбленным местом встреч поэтов Заболоцкого, Хармса, Олейникова была пивная на углу канала Грибоедова и Невского проспекта.

реху на человечестве». В разговорах с Шостаковичем он не раз возвращался к Тинякову, смысл этих бесед можно восстановить по воспоминаниям композитора: «Тиняков — крайность, но не исключение. Многие думали так, как он делал, просто иные культурные люди не говорили об этом вслух... Психология современного мне интеллигента совершенно изменилась. Судьба заставила его бороться за существование, и он вкладывал в эту борьбу весь пыл интеллигента прежнего... Важным было — есть, урвать, пока еще жив, ломоть жизни послаще». Их окружало множество тиняковых, талантливых и бездарных, но «все они действовали сообща. Они трудились, чтобы сделать наш век циничным, и преуспели в этом».

Тиняков — реальный человек и персонаж повести Зощенко «Перед восходом солнца». Осенью 1943 года первая часть повести вышла в журнале «Октябрь» и сразу стала литературным событием. Зощенко сообщал в письме: «Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками, говорят, что такого случая у них не было — журнал исчезает, его крадут, и редакция не может мне дать лишнего экземпляра... В общем, шум исключительный». В следующем номере появилась вторая часть — и тотчас последовал запрет на продолжение публикации. Повесть Зощенко привела Сталина в ярость; «он полагал, что в военное время мы должны кричать только „Ура!“, „Долой!“ и „Да здравствует!“, а тут люди публикуют Бог знает что. Так Зощенко был объявлен гнусным, похотливым животным, у которого нет ни стыда, ни совести», — вспоминал Шостакович. Дело не только в этом, Сталин почувствовал главное — перед ним исповедь свободного человека, размышление о победе разума над страхом. Такого с избытком хватало для опалы, после этого писателю полагалось покаяться и смиренно ждать решения своей участи. Вместо этого Зощенко обратился к Сталину с просьбой снять запрет с публикации: «Я не посмел бы тревожить Вас, если бы не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни». Этот писака посмел обращаться к вождю на равных, убеждать и перечить!

Сталин не ответил, вместо этого на Зощенко обрушился поток газетной брани, его обвиняли в невежестве и даже в пособничестве врагу. И поделом ему, решили литераторы, он в который раз нарушил рабские правила, а трусость чувствительна к обиде. Особенно гневались писатели с репутацией смелых людей: «Он получил по заслугам», — говорил Константин Симонов, Шкловский публично обличал, а старый приятель Катаев потребовал исключить Зощенко из редколлегии журнала «Крокодил». «Ну, Миша, ты рухнул!» — повторял он, не скрывая злорадства. Однако запрет повести был только репетицией, первым знаком грядущей расправы. Весной 1944 года Зощенко вернулся в Ленинград, его дела постепенно налаживались, его снова стали публиковать, переиздавать, театры ставили его пьесы. «Я теперь вроде начинающего, — писал он редактору Лидии Чаловой. — Мне-то это безразлично, даже легко... по мне, все равно чем заниматься. Хоть куплетами. Работать буду, а что именно — это уж не такой значительный вопрос... Однако трудности будут дьявольские».

Предчувствие дьявольских трудностей не обмануло Зощенко — после победы народа в войне Сталин опять занялся вопросами литературы. В августе 1946 года редакторов ленинградских журналов «Звезда» и «Ленинград» неожиданно вызвали в ЦК. Узнав, что в Москву вызван и секретарь ленинградского горкома П. С. Попков, литераторы всполошились и всю ночь гадали в вагоне «Красной стрелы», в чем они провинились. В здании ЦК их провели в зал, рассадили поодиночке, а происходившее там, при всем ужасе, было «прямо из Зощенко». Редактор «Звезды» П. Л. Капица вспоминал, как в президиуме «появились трое солидных мужчин. Андрея Александровича Жданова мы, конечно, сразу узнали... Он занял председательское место. Двое усачей уселись по бокам». Капице очень хотелось узнать, кто эти усачи. «За соседним столиком, слева от меня, сидел сотрудник аппарата ЦК. Я пригнулся к нему и шепотом спросил: „А кто тот седой справа?“» Сосед в ужасе отшатнулся — Капица не узнал Сталина! Портреты величавого, благообраз-

ного вождя были повсюду, но «у этого старика сквозь редкие седые волосы просвечивала лысина, лицо было рябоватым и бледным... одет он был как-то по-домашнему: просторный темно-серый костюм полувоенного, полупижамного покроя». Все шло как в безумном сне-перевертыше: Сталин сидел в пижаме, зато драматург Вишневский был в мундире — «при всех орденах, медалях и даже при царских георгиевских крестах»; ленинградцы выходили к президиуму, что-то лепетали и на ватных ногах возвращались на место. «Говорите зубастей!» — прикрикивал на них Сталин. Разбирательство было выдержано в военно-пижамном стиле: «Зачем вытащили старуху? — спрашивал вождь об Ахматовой. — Она, что ли, будет воспитывать молодежь?» «Ее не переделаешь», — уныло отвечал поэт Прокофьев. С особым ожесточением Сталин обрушился на Зощенко: «Хулиган ваш Зощенко! Балаганный писака!.. Мы хотим отдохнуть, смеясь. Он это улавливает, но его смех — рвотный порошок». Грубая брань и мутная ненависть вождя произвели на писателей глубокое впечатление: «Вот она — гениальная простота! Такой занятой, а почти все журналы читает и фильмы смотрит... А как четко и ясно формулирует!» — восторгались они по пути в гостиницу.

Через день Жданов прочел им проект постановления ЦК, и когда они осмелились попросить слегка смягчить формулировки, рыкнул: «Подрессорить хотите? Не выйдет!» В Ленинград они возвращались вместе с Ждановым, им было так тошно, что они даже отказались от коньяка, который разносили в вагоне. В день приезда Жданова в Смольном собрали партийный актив и творческую интеллигенцию Ленинграда. Постановление ЦК и доклад Жданова, который особо остановился на «пошляке и подонке» Зощенко и «полумонахине-полублуднице» Ахматовой, для слушателей были как гром с ясного неба. Почему для расправы выбрали именно эти имена? Действительно, почему? «Мне все-таки кажется, — говорил Шостакович, — что главной причиной нападок как на Зощенко, так и на меня стали союзники. В результате войны популярность Зощенко на Западе значительно выросла. Его часто публиковали и охотно обсуждали... Сталин пристально следил за зарубежной печатью... заботливо взвешивал славу других людей и, если она казалась слишком весомой, сбрасывал их с чашки весов... Во время войны каждый слышал об Ахматовой, даже те люди, которые никогда в жизни не читали стихов. Тогда как Зощенко читали все и всегда». Имя Ахматовой тогда было окружено поклонением, незнакомые люди приносили в ее дом цветы; во время выступления в Москве весной 1946 года зал встал при ее появлении на сцене. «Кто организовал вставание?» — раздраженно допытывался Сталин. Шостакович был прав, вождя мучила зависть.

После постановления ЦК и речи Жданова Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек. Друзья старались помочь Ахматовой, приносили продукты, «они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодная», — вспоминала Анна Андреевна. Зощенко, независимому, гордому и одинокому в своей среде человеку, пришлось еще труднее, его семья голодала. Хлеб можно было купить на рынке, но он стоил неимоверно дорого, и приходилось продавать мебель, вещи; Зощенко за доплату обменял свою квартиру в писательском доме на меньшую. От голода у него опухали ноги, он ходил с трудом, а соседи-писатели при встрече отводили глаза или шарахались в сторону. Актриса Елена Юнгер подошла к нему на Невском, поздоровалась, взяла под руку. «Разве вы не знаете, Леночка, что нельзя ко мне подходить? Почему вы, увидев меня, не перешли на другую сторону?» — спросил Зощенко. Газетная травля не утихала, и опять материализовались персонажи его рассказов, они жаловались и обличали Зощенко. Жительница города Черкассы писала, что он разбил ей жизнь: «Будучи вдовой, я второй раз вышла замуж за начальника почты. Мой муж был красивый парень. И вот появился ваш глупый рассказ о вдовице, которая купила на время у скаредной молочницы мужа за пять червонцев», и им с мужем не стало житья от насмешек. Ночами Зощенко выходил из квартиры и до рассвета сидел на подоконнике лестничной пло-

щадки с котомкой, приготовленной для тюрьмы, ему не хотелось, чтобы его арестовали дома.

Но время шло, Зощенко не трогали, и вокруг засуетились тиняковы, которые желали воспользоваться его талантом. Московская поэтесса пришла с предложением: «Михаил Михайлович, так как вас теперь вообще не будут печатать, а я хочу славы, то вы напишите оперетту, песенки к ней я могу написать сама. Все это, конечно, пойдет под моим именем, а часть гонорара я дам вам». Зощенко, несмотря на нужду, отказался. Объявился еще один «персонаж», Валентин Катаев; он много раз предавал Зощенко, а после каялся, льстил — тиняковы хорошо различали, где поддельное, а где настоящее золото. Зощенко простил ему предательство в 1943 году, но в 1946 году выступления старого приятеля отличались особой подлостью. Катаев приехал в Ленинград и позвонил ему: «Миша, друг, я приехал, и у меня есть свободные семь тысяч, которые мы с тобой должны пропить. Как хочешь, сейчас я заеду за тобой». Жена переводчика Гитовича Сильва вспоминала об этой встрече: «В открытой машине, кроме него самого, сидели две веселые раскрашенные красотки в цветастых платьях, с яркими воздушными шариками в руках... „Миша, друг, — возбужденно говорил Катаев, — не думай, я не боюсь. Ты меня не компрометируешь“. „Дурак, это ты меня компрометируешь“, — ответил Зощенко и медленно пошел прочь».

«...Без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Суровo его поприще, и горько почувствует он свое одиночество», — писал Гоголь о судьбе писателя-сатирика.

А что же читатели, неужели они забыли Зощенко? Нет, он по-прежнему оставался любимым народным писателем, ему приписывали авторство большинства ходивших в стране анекдотов. Обнаруживались новые, неожиданные для властей почитатели Зощенко: в 1951 году в СССР эмигрировал поэт Назым Хикмет, который семнадцать лет провел в турецких тюрьмах. Имя Хикмета было в СССР символом преследования коммунистов в буржуазных странах, и в Москве его встретили с почетом.

Хикмета спросили, с кем он хотел бы увидеться в первую очередь, и он ответил — с Мейерхольдом и Зощенко. Видимо, в турецкие тюрьмы давно не доходили вести из страны Советов. Неизвестно, как ему объяснили отсутствие Мейерхольда, а про Зощенко сказали, что он очень болен и врачи запрещают с ним видеться. (К этому времени Зощенко начал «выздоравливать», его приняли в группком драматургов при Союзе писателей и стали изредка публиковать.) Да зачем товарищу Хикмету Зощенко, вокруг столько замечательных писателей! Но он ответил, что Зощенко, Мольер и Гоголь — его любимые классики, что рассказы Зощенко поддерживали его в тюрьме, что юмор этого писателя вызывает симпатию к советским людям. Ах, вот как? Странно... Ладно, увидитесь, когда выздоровеет.

Но Зощенко не дали «выздороветь» — новая волна травли поднялась после встречи ленинградских писателей с английскими студентами в мае 1954 года, когда на свете уже не было ни Сталина, ни Жданова. Мемуаристы не пожалели для этих юнцов бранных слов, но справедливо ли их винить? Один из них, Ричард Дж. Кук вспоминал, как перед поездкой в СССР «эксперт по русским вопросам рассказывал нам, что русская литература после смерти Сталина находится в преддверии больших перемен. Происходит нечто вроде бархатной революции, не менее того». Мальчишки чувствовали себя первооткрывателями коммунистических джунглей и на встречах с советскими людьми пытались затеять дискусию о Троцком, о расстрелянном Берии и прочих интересных вещах. В Ленинграде английским студентам предложили встретиться с писателями — почему бы и нет? Видимо, для иллюстрации плодотворной работы партии с литераторами на встречу призвали Ахматову и Зощенко, и один из студентов задал вопрос, как они относятся к постановлению 1946 года. «Зощенко встал и шагнул вперед. Мы сразу почувствовали, что может произойти нечто важное. Аскетические черты его лица были искажены нервным напряжением», — вспоминал Кук. Зощенко говорил, что не согласился с постановлением ЦК и написал об этом

Сталину, что он не мог принять обвинений Жданова, потому что всегда работал с чистой совестью, но со временем кое-что в постановлении показалось ему справедливым. Он сказал: «На сегодняшний день я не могу сказать, прав я или нет, и насколько. История покажет». Ахматова ответила коротко и холодно — с постановлением партии согласна. Ее ответ и сам ее облик разочаровал студентов, Ахматова показалась им заурядной буржуазной дамой. По свидетельству Кука, для них «героем дня был Зощенко, и я думаю, что мы были слишком уставшими и чересчур несведущими в тех проблемах, которые возникали во время нашего разговора, *чтобы требовать чего-то большего, чем то замечательное зрелище, каким была попытка его искреннего выступления*» (курсив мой. — *Е. И.*). Юнцы не поняли, что стали статистами пролога трагедии, что в этот момент они вошли в историю русской литературы. После встречи с писателями их пригласили смотреть мультфильмы, что бы им мультиками и ограничиться! О студентах вспоминали с гневом, мемуаристы недоумевали, зачем Зощенко что-то объяснял мальчишкам, и объясняли это наивностью и доверчивостью писателя. «Бедный Михаил Михайлович, — с горечью писал Шостакович, — благородство сослужило ему плохую службу». Но искренность и серьезность были отличительными чертами Зощенко, и это не раз повергало писателей в шок; в 1943 году, когда его поносили за повесть «Перед восходом солнца», он сказал им: «Какие вы злые и нехорошие люди». Искренность Зощенко вызывала неловкость у прожженных негодяев, а у пришибленных страхом пробуждала мучительное чувство стыда; по словам Иды Слонимской, Зощенко был «мучительный человек».

Через месяц после встречи со студентами в ленинградском Доме писателя состоялось собрание — его в который раз судили тиняковы. Зощенко обвиняли в том, что посмел публично заявить о своем несогласии с постановлением ЦК. Из Москвы прибыло начальство, писатели Симонов и Кочетов, они уговаривали его покаяться — «поклонишься — не переломишься», скажи, что виноват,

и все уладится. Они помнили, что Зощенко не каялся ни в 1943, ни в 1946 году, но не понимали причины его твердости: то, что окружающие считали упрямством, высокомерием, гордыней, было верностью кодексу чести, всегда определявшему позицию Зощенко. Собрание катилось по привычной колее, выступали безликие обличители, временами они двоились, как бесы, — то Друзин, то Друц... (В стенограмме не все записано дословно, стенографистка плакала, слезы мешали писать, и кое-что она восстановила по памяти.) Последним говорил Зощенко. «М. М. выходит на трибуну, маленький, сухонький, прямой, изжелта-бледный, — вспоминала художница Ирина Кичанова-Лифшиц. — „Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказал, что согласен с тем, что я подонок, хулиган, трус? А я русский офицер, награжден георгиевскими крестами. Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть“. Сошел с трибуны, направился к выходу. Все смотрели в пол». В мертвой тишине раздались одинокие хлопки, аплодировали Кичанова и писатель Израиль Меттер. Странно аплодировать зовущему смерть человеку, но как иначе выразить сочувствие? Многие участники собрания любили и высоко ценили Зощенко, но за него не вступился никто. Они рассуждали просто: перечить начальству нельзя, и обвиняемому не поможешь, и себя погубишь. Меттер запомнил разговор двух «замечательных, широко известных» писателей после собрания (в мемуарах о Зощенко поражает огромное число замолчанных имен, анонимов вроде «писатель N»): «Для меня сейчас самое главное, — говорил один из них, — чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность писать... А все остальное — эти собрания, все эти массовые дружные поднятия рук... покорные приветствия, гневные письма, которые иногда, когда нет выхода, нет возможности уклониться, подписывают, — все это труха, и она забудется... И судить будут о нас по тем рукописям, что мы оставим в столе». Но оставленное до лучших времен в столах в основном оказалось трухой, и мы судим об этих людях по подписям под позорными письмами и по мертвой тишине того зала.

Судьба Зощенко опять вернулась на прежний круг: нищета, невозможность публиковаться; жене на службе предложили сменить фамилию или уволиться, сам он пытался наняться куда-то мыть пробирки — не взяли. «Я тот человек, который растянул свою жизнь. Она должна была кончиться куда раньше... Умирать надо вовремя», — говорил Михаил Зощенко. Если в Москве чувствовалось приближение перемен, то в Ленинграде сохранялась свинцовая неподвижность. Осенью 1954 года актеры Мария Миронова и Александр Менакер прервали гастроли в городе, потому что Ленсовет потребовал убрать с афиш имя Зощенко: «Если хотите знать, мы, ленинградские власти и вообще ленинградцы, не хотим, чтобы имя этого подонка оскверняло стены нашего города-героя!» В прежние времена актеры не решились бы на такое фрондерство, но теперь все начинало меняться. Симонов увидел Зощенко в московском ЦДЛ, фамильярно приобнял: «О, Михал Михалыч! Идемте ко мне!», Зощенко молча отвел его руку. Соседи по писательскому дому приветствовали его рукопожатием, сочувственно молчали, но все же чаще старались обойти стороной: больной, изможденный, с потемневшим лицом, Зощенко вызывал чувство неловкости и вины. Ему пора было все забыть, жить сегодняшним днем, в 1956 году вышли его «Избранные повести и рассказы», но «ему нужна была полная и почетная реабилитация. Он говорил в том духе, что, мол, обвинили и опорочили его публично и печатно на весь мир, а вот нигде не сказано, что он оскорблен напрасно», — вспоминала Слонимская[1]. К Зощенко вернулась депрессия, он писал с трудом, выносил присутствие лишь самых близких, в последние месяцы почти не мог есть. Его медленное угасание напоминало обстоятельства смерти Гоголя. Михаил Михайлович Зощенко умер 22 июля 1958 года. Городские власти не разрешили хоронить его на Литераторских мостках Волковского кладбища, и Зощенко похоронили в Сестрорецке.

[1] Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» было отменено решением ЦК КПСС в октябре 1988 г., до того времени оно формально оставалось в силе.

Я помню юбилейный вечер памяти Зощенко, кажется, в честь его 80-летия. Вечер проходил в том зале Дома писателя, где его не раз обличали и судили, и был разительно не похож на другие юбилейные вечера. Обычно в таких собраниях возникала особая атмосфера, словно протягивалась невидимая связь между сидящими в зале и тем, ради кого они собрались, а здесь была физически ощутимая пустота. Все происходило как на других юбилеях: были речи и воспоминания, в первых рядах сидели старики-писатели с растроганными лицами, в президиуме — сын Зощенко, а на сцене был огромный портрет юбиляра. Но все речи гасли в вакуумной пустоте, воспоминания о веселье «серапионов» не веселили, и поверх всех, поверх всего смотрели печальные глаза Зощенко. Его *не было* в тот вечер в зале, его *не было* с людьми, запоздало окликавшими его вдогонку. Он пребывал в ином измерении, в незримом кругу одиночества и мог бы повторить вслед за Гоголем: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!»

Время на переломе

На окраине. Гонения на нэпманов. Искусство для народа. Человечность вопреки идеологии. Интерес к старине и развитие краеведения. Ожидание войны. Академия наук живет по старинке. После юбилея. В тисках. «Академическое дело». Судьбы: Н. С. Штакельберг, Н. П. Анциферов

С Михаилом Зощенко мы заглянули в будущее, но пора вернуться в Ленинград 20-х годов. 1926 год — переходный период, когда, как на сломе, видна многослойность жизни. В 1926 году Евгения Александровна Свиньина писала родным, что «Петербург цел, хотя его физиономия соответствует всему остальному — все посерело, посерел и он, но жизнь не угасла, и люди понемногу, точно муравьи, восстанавливают свой муравейник. Красоты, конечно, мало… но живется много лучше, нежели несколько времени тому назад, конечно, как и всегда, тем, у кого есть, чем жить». Равенства нет — одним доступны дорогие магазины, другие «довольствуются хлебом, обрезками колбас, рубцом, хвостами бычьими и кислой капустой, из них первый есмь аз». Что же, богатые и бедные есть во все времена. Витрины больших продовольственных магазинов поражали изобилием, за стеклами продуктовых лавок на окраинах пылились бутафорские булки и крендели, но перебоев с хлебом не было, а картошка и капуста здесь была со своих огородов. Ленинградка Софья Цендровская вспоминала Крестовский остров своего детства — «он представлял огромную деревню. Было всего несколько высоких каменных домов, которые стоят и нынче. Остальные были сплошь деревянные, в большинстве своем ветхие, с палисадниками, огородами, курятниками, сараями для дров и хлевами. У многих были коровы, козы, поросята, куры, голубятни и даже лошади». Здесь не было электричества, и большую часть года взрослые затемно шли к далекой трамвайной остановке, чтобы успеть на работу, а жившие на Крестовском острове извозчики выезжали из дворов на своих пролетках. Дети окраины мало знали «центровую» жизнь города, они и в школе занимались знакомым делом: уроки биологии проходили в школьном саду и на огороде, а потом «плоды просвещения» делились между учениками. На занятия дети приходили в домашней одежде, только у учителей были форменные синие или черные сатиновые халаты, но позже такие халаты стали выдавать и школьникам. Они выглядели мрачновато, зато скрывали ветхую одежду учеников. По праздникам пионеры ходили на демонстрацию в колоннах заводских рабочих, а «с демонстрации возвращались часа в 4 дня, усталые. Помню, по городу идем в тапках или туфлях, а как перейдем Крестовский мост, так разуваемся и по своей „деревне“ идем босиком», — вспоминала С. Н. Цендровская. Говорить об общем благоденствии не приходилось, результаты медицинского обследования ленинградских школьников в 1926 году свидетельствовали, что «среди них только 20 % оказались с хорошим питанием, а 80 % со средним и слабым. Многие из пионеров имеют симптомы переутомления». Конечно, родители переживали за своих не всегда сытых детей, но стоило открыть газету или послушать радиосводку, чтобы понять — нам ли жаловаться! Газетные заголовки гласили: «Англия на краю гибели», «Разрушительное землетрясение в Японии», «Франция вымирает», «Нашествие волков на Италию», «Наводнение в Европе», «Новое землетрясение. Япония почти разрушена». Если верить советским газетам середины 20-х годов, Япония была разрушена не менее трех раз. На столь мрачном фоне известия, что «доллар окончательно съел Панаму», а «Пуанкаре показывает зубы», не заслуживали внимания, а то, что в Польше давно исчезли спички, было просто мелочью. Газеты извещали о стихийных бедствиях, бессудных казнях, о голоде и людоедстве в странах капитала, и только СССР незыблемой твердыней возвышался в центре гибнущего мира. Вот тут самое время помочь мировому пролетариа-

ту сбросить оковы капитализма, утверждал оттесненный от лидерства в партии Троцкий, который поправлял здоровье в партийных санаториях и лелеял планы своего реванша в будущей мировой революции. Один из его сторонников говорил на митинге моряков Балтийского флота: «Мы, красные путиловцы, даем вам наказ — зорко смотрите на Запад. Не упустите начало пожара мировой революции!»

Но эти призывы не находили отклика, люди едва опомнились после потрясений и войн: пес с ним, с мировым пролетариатом, пусть сам разбирается со своими буржуями! Примерно так рассуждали не только обыватели, но даже видные коммунисты. Зиновьев в разговоре с Юрием Анненковым признался: «Революция, Интернационал — все это, конечно, великие события. Но я разревусь, если они коснутся Парижа!» Он жалел Париж с его лиловыми закатами, с цветущими каштанами, с кафе в Латинском квартале, но к городу, в котором хозяйничал, этот поклонник Парижа относился совсем иначе. В 1925 году Зиновьев одобрил проект праздничного оформления площади Урицкого, предложенный архитектором П. С. Розенблюмом: «Новая трибуна в виде корабля будет на середине площади, чтобы колонны [демонстрантов] обтекали ее с двух сторон. В середине трибуны, в носовой части корабля — Александровская колонна. Ангел на верхушке колонны будет закрыт колпаком из брезента, окрашенным в красный цвет (колпак наденут с помощью воздушного флота). На колпаке советские эмблемы — серп и молот». Такой колпак напоминал саван, в какие облачали приговоренных к виселице; благословлявшему город с высоты Александровской колонны ангелу предназначался саван с серпом и молотом. Трибуну вокруг колонны возвели к празднованию октябрьской годовщины в 1926 году, но Зиновьева на ней уже не было — с февраля 1926 года первым секретарем Ленинградского губкома стал С. М. Киров. Ленинградский старожил Павел Петрович Бондаренко запомнил демонстрацию 7 ноября 1926 года: «Среди многих на помосте-трибуне несколько человек что-то кричат демонстрантам, размахивая руками, а проходящие в рядах демонстрантов рабочие стаскивают их с трибуны. Так рабочие выступали против

зиновьевской оппозиции». В партийных верхах Ленинграда оставались сторонники Зиновьева, они и обращались к демонстрантам. При столь важных переменах в городском руководстве дело не дошло до зачехления ангела, и он смотрел с высоты Александровской колонны на происходящее у подножия.

Шел шестой год нэпа. Новая экономическая политика благотворно сказалась на жизни города и страны, но государство приступило к ее свертыванию. Собственно говоря, советская власть никогда не скрывала, что считает нэп временной уступкой, а нэпманов — новой буржуазией, «нетрудовым элементом». Конечно, среди них были разные люди, но большинство трудилось не покладая рук, и в середине 20-х годов самыми зажиточными в Ленинграде считались кустари: портные, шляпники, зубные техники, сапожники, фотографы. Наступление на нэп началось с постоянного увеличения налогов на все занятия частной деятельностью, и «героем» того времени стал фининспектор, который контролировал доходы людей, занимавшихся частной деятельностью, и собирал налоги. Не случайно программное стихотворение Владимира Маяковского 1926 года названо «Разговор с фининспектором о поэзии»:

В ряду
имеющих
лабазы и угодья
И я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня пятьсот в полугодие
И двадцать пять
за неподачу деклараций[1].

В прессе все настойчивее звучали призывы «надеть намордник» и «железную узду» на нэпманов, такой «уздой» стал непрерывный рост налогов. Надежда Мандельштам вспоминала о частном пансионе в Царском Селе: «Хозя-

[1] Замечательно, что наряду с утверждением своего государственного значения поэт торгуется и в конце стихотворения предлагает: «Гражданин фининспектор, я выплачу пять, все нули у цифры скрестя!», то есть вместо пятисот — пять рублей.

ин пансиончика, повар Зайцев, ежедневно ездил в Ленинград к фининспектору, спасая свое частное предприятие от полного разорения... В 1926 году, когда мы вернулись в Царское зимогорами, пансиона Зайцева уже не существовало. Фининспектор съел его». За разорением предпринимателя следовала конфискация имущества и нередко высылка банкрота. В 1926 году среди высланных из Ленинграда был ювелир Агафон Фаберже, задолжавший после разорения плату за квартиру, его оштрафовали на две с лишним тысячи рублей и выселили. В счет погашения долга, очевидно, пошла принадлежавшая Фаберже «богатая художественная обстановка музейного значения». Такие печальные перспективы ожидали бо́льшую часть «нетрудовых элементов», которые трудились во времена нэпа. При мысли об участи нэпманов на память приходят слова персонажа пьесы Михаила Булгакова «Багровый остров» Кири-Куки, который сокрушался после гибели племени и его вождя в вулканической лаве: «Сколько раз я твердил старику, убери вигвам с этого чертова примуса! Нет, не послушался. „Боги не допустят!“... Вот тебе и не допустили!» Прототипом другого персонажа «Багрового острова», сановного Саввы Лукича, возможно, отчасти послужил бывший командующий Балтийским флотом Ф. Ф. Раскольников — ко времени постановки этой пьесы он был председателем Главреперткома, а в 1929-м занял пост *начальника Главискусства*! Подобно многим деятелям ленинской когорты, Раскольников с годами утратил боевой пыл, он тяготел к комфортной, культурной жизни и сам сочинял пьесы.

В середине 20-х годов многих соратников Ленина потянуло к сочинительству[1], они писали воспоминания, статьи о педагогике, литературе, искусстве. В 1926 году газеты публиковали очерки Луначарского «Письма из Парижа».

[1] В 30-х гг. Каменев занимался историей русской литературы, работал над биографиями Герцена и Чернышевского, а Зиновьев сочинял детские сказки! Сталина в те времена занимали другие сюжеты, но в старости он заинтересовался вопросами языкознания — и полетели головы филологов, а на заводских и колхозных собраниях обсуждали проблемы лингвистики.

Судя по ним, теоретика пролетарского искусства в Париже прельщали легковесные зрелища вроде спектаклей «эффектного театра страха и смеха „Гран Гиньоль“, который, как я убедился, остается и сейчас еще одним из самых приятных театров Парижа. Идей вы там не ищите, но позабавить вас они сумеют, щекоча вас то жутью, то юмором». За идеями не стоило ехать в Париж, их с избытком хватало на родине. В 1925 году Главрепертком постановил исключить из оперы «Евгений Онегин» «эпизод крепостной идиллии — сцену барышни с крестьянами», а трагедию Шиллера «Мария Стюарт» запретить «как произведение религиозное и монархическое». Деятели советского искусства смело разбирались с наследием прошлого: зачем, к примеру, нужна пролетариату классическая опера, «которая выросла в условиях дворянско-помещичьей культуры и носит отпечаток умерших классов», мы дадим ему современную оперу! В 1924 году в Ленинграде были поставлены оперы «В борьбе за коммуну» и «Декабристы», новыми в которых были лишь либретто. Их авторы Н. Виноградов и С. Спасский написали либретто «Декабристов» на музыку оперы Мейербера «Гугеноты», а «В борьбе за коммуну» — на музыку «Тоски» Пуччини. Давно ли Луначарский разъяснял слушателям партийной школы под Парижем классовую сущность светотени Рембрандта, теперь он ездил развлекаться в «Гран Гиньоль», а другие расхлебывали его бредни!

К. И. Чуковский записал в своем дневнике со слов молодого литератора Симона Дрейдена: «Сейчас Дрейден на курсах экскурсоводов в Царском. Теперь их учат подводить экономическую базу под все произведения искусства. Лектор им объяснил: недавно зиновьевцы обратились к руководителю с вопросом, какая экономическая база под „Мадонной тов. Мурильо“. Тот не умел ответить. „Таких не надо!“ — и прав». Ничто не могло ускользнуть от бдительного контроля идеологов, критиков, цензоров. Чуковский писал о злоключениях своих сказок: комсомольцы потребовали убрать из «Мойдодыра» слова «А нечистым трубочистам стыд и срам» как оскорбление пролетариев-трубочистов. «Теперь с эстрады читают: „А нечистым, *всем нечистым*, т. е. чертям...“» — грустно заметил он.

В 1925 году цензоры Гублита запретили «Муху Цокотуху»: «Итак, мое наиболее веселое, наиболее музыкальное, наиболее удачное произведение уничтожается только потому, что в нем упомянуты именины!! Тов. Быстрова, очень приятным голосом, объяснила мне, что комарик — переодетый принц, а Муха — принцесса... Этак можно и в Карле Марксе увидеть переодетого принца!» Идеологический идиотизм приводил в отчаяние, и в дневниковых записях Корнея Ивановича то и дело встречается горестное «О! О-о!»...

И все же жизнь постепенно приходила в норму, выпрямлялась. Снова окрепла деревня, и власть вынуждена была признать, что страну кормит «кулак» — бо́льшую часть хлеба государству поставляли частные крестьянские хозяйства[1]. Государственная промышленность не могла обеспечить население самым необходимым, недостающее восполнялось с помощью «частного сектора» и импортных закупок. Несостоятельность экономической системы большевиков была очевидна, и разочарование, освобождение от большевистских соблазнов в обществе отмечали многие современники; по свидетельству В. И. Вернадского, «жизнь чрезвычайно тяжела в России благодаря исключительному моральному и умственному гнету... Но, я думаю, изменение духовное очень велико. Большевизм (и социализм) изжит... Это изменение сейчас охватывает чрезвычайно широкие круги и все увеличивается... Экономисты говорят, что изменение режима неизбежно».

Экономисты исходили из того, что развитие экономики неизбежно ведет к изменению государственной системы, но идеология и цели большевиков не вписывались в правила — главным для них было сохранить власть и реализовать социальный «эксперимент». Средства для этого были известные: голод, террор, война. С середины 20-х годов вожди заговорили о неизбежности скорой войны, которая превзойдет жестокостью все прежние. В 1926 году М. И. Калинин заявил о необходимости военизации всего населения страны. В городе проходили учения по гражданской обороне, в вузах был введен курс военной подготовки, замелькали лозунги «Советскому Союзу нужен меткий стрелок!», «Воздушный Красный флот — наш незыблемый оплот!» Газеты живописали ужасы грядущей войны. В статье 1925 года под лирическим заголовком «Когда запахнет фиалками» повествовалось о газовой атаке: «Улицы заполнены толпой. Вдруг запах фиалки, сначала легкий, а под конец невыносимый, наполняет улицы и площади... А небо остается ясным. Не видно ни одного аэроплана, не слышно гудения пропеллера. В это время на высоте 5000 метров, куда не достигает ни зрение, ни слух, маневрирует без летчиков вражеская эскадрилья, управляемая по радио, и льет на землю заряды яда... Не защитит и маска! Газ разъедает тело, и если он не убивает сразу, то наносит ожоги, которые не излечить и в три месяца». От ядовитого газа, согласно статье, погибало все живое в городе[1].

Можно привыкнуть ко всему, даже к ожиданию войны, и продолжать жить. К тому времени была восстановлена международная почтовая связь, и граждане СССР получили возможность переписываться с людьми, оказавшимися за границей. Большинству эмигрантов тоже жилось нелегко, но они старались помочь близким в России: в 1926 году на ленинградскую почтовую таможню ежемесячно поступало из-за границы около пяти тысяч посылок. На родину возвращались люди, покинувшие страну в годы гражданской войны, многие из них служили в белой армии; из Финляндии стали возвращаться кронштадтцы. Идеология препятствовала любой попытке восстановления нормальной жизни и призывала к бдительности — под видом раскаявшихся в страну проникали шпионы-белогвардейцы. Молодая советская литература воспевала нетерпимость и ненависть, в 1926 году были написаны «Донские рассказы» Михаила Шолохова, пье-

[1] Сталин в статье «К вопросам аграрной политики в СССР» приводил цифры: в 1927 г. в СССР частные хозяйства собрали 600 млн пудов зерна и продали государству 130 млн пудов, а все коллективные хозяйства в совокупности собрали около 80 млн пудов и продали 35 млн.

[1] Эта тема получила отражение в пьесе М. А. Булгакова «Адам и Ева», где население Ленинграда погибало от газовой атаки.

са Константина Тренева «Любовь Яровая», героиня которой предавала мужа-белогвардейца, и еще ряд произведений на эту тему.

Журналист Михаил Кольцов наставлял, как разоблачить классового врага: представим, писал он, что в СССР нелегально вернулся белогвардеец и поселился в коммунальной квартире. «Но ГПУ теперь опирается на самые широкие круги населения», и окружающие сразу заподозрят неладное: «На него обратит внимание комсомолец-слесарь (пришедший чинить водопроводный кран). Прислуга, вернувшись с собрания домашних работниц, где стоял доклад о внутренних и внешних врагах диктатуры пролетариата, начнет пристальнее всматриваться в показавшегося ей странным жильца», и даже соседка-пионерка «долго не будет спать и что-то, лежа в кровати, взволнованно соображать». И все они, от мала до велика, «заподозрив контрреволюционера, шпиона, белого террориста... пойдут в ГПУ и сами расскажут, оживленно, подробно и уверенно о том, что видели и слышали. Они *приведут чекистов к белогвардейцу, они будут помогать его ловить, они будут участвовать в драке, если белогвардеец будет сопротивляться*» (курсив мой. — *Е. И.*). Но в жизни нередко случалось не так, как в байке Кольцова, и один из примеров этого — судьба ленинградки Татьяны Львовны Воронец. Ее отец был морским офицером, героем Цусимского сражения — после гибели капитана корабля «Светлана» лейтенант Воронец принял командование на себя и не покинул тонущего судна. В 1918 году его вдову с тремя детьми выселили из квартиры, которую заняла рабочая семья, после долгих скитаний они оказались на другом конце страны, в Анадыре, но через несколько лет старшая дочь Татьяна вернулась в родной город. Это было рискованным шагом, «классово чуждых» вроде нее в Ленинграде не жаловали, и чиновница биржи труда сказала приезжей: «Для вас и таких, как вы, никакой работы нет». Тут бы ей и кликнуть, по совету Кольцова, сотрудника ГПУ, но она вдруг спросила, не родственник ли девушке лейтенант Воронец. Узнав, что он отец Татьяны, чиновница пообещала помочь ей, потому что брат этой суровой женщины в красной косынке служил на «Светлане» и погиб в том же бою. Благодаря ей девушку приняли на работу в магазин «Тэжэ» и дали комнату в коммунальной квартире. Татьяна Львовна Воронец прожила в Ленинграде долгую жизнь и умерла в середине 80-х годов[1].

Можно сказать, что ей помогла случайность, но в мемуарах и устных рассказах о 20-х годах есть немало свидетельств о том, что в обществе еще сохранялись прежние связи — фронтовые, корпоративные, земляческие. Не была забыта и старая традиция помощи нуждающимся, в 20-х годах в городе существовал целый ряд тайных касс взаимопомощи. Об одной из них говорил преподаватель Академии Красных командиров генерал В. П. Дягилев, брат Сергея Дягилева. Он был арестован в 1927 году в порядке «социальной профилактики» и признал на допросе: «В негласной кассе взаимопомощи, существующей среди преподавателей ц.-политической и военно технической Академий, я состоял. Цель кассы — помочь безработным офицерам генштаба и вообще иметь фонд на всякий случай». Замечательным явлением той эпохи был «человеческий телеграф», по которому передавали сведения, наводили справки и разыскивали близких. Во времена гражданской войны семьи получали известия о людях, воевавших по обе стороны фронта, — эти известия доходили по цепочке, от человека к человеку, особенно если речь шла о смерти. Сын инженера П. В. Леонтьева Игорь служил в белой армии, в 1918 году он умер от тифа на Урале, и спустя несколько месяцев родители получили печальную весть. Какими путями она дошла до Петрограда через несколько фронтов? Оказалось, что бывший соученик узнал Игоря Леонтьева в госпитале и передал известие о его смерти через знакомых.

Восстановить промежуточные звенья «цепочки» удавалось не всегда, потому что часто вестниками были незнакомые люди. По такой «цепочке» наводили справки об обстоятельствах и месте гибели близких; так Ахматова узнала о месте расстрела Гумилева: у ее знакомых была прачка, дочь которой служила в ГПУ, она и сказала, где

[1] О судьбе Т. Л. Воронец рассказала ее родственница М. Ю. Вахтина.

были расстреляны осужденные по делу Таганцева. Еще в начале 30-х годов такие вестники тенями появлялись в ленинградских квартирах. Лидия Жукова вспоминала, как ночью пришла незнакомая женщина: «Вернувшихся оттуда сразу узнаешь: на лице все те же тени и углы, и запавшие, диковатые глаза, и густая желтизна кожи, и какая-то особая тюремная худоба. Она нас как-то разыскала, чтобы сообщить, что брат (брат Жуковой, меньшевик Марк Цимбал. — *Е. И.*) умер от тридцатидневной голодовки. Там же, в Иркутске. Больше она ничего не знала». В 20-х годах Россия оставалась пронизанным незримыми человеческими связями пространством, эти связи оборвались ко второй половине 30-х годов. Тогда смерть опять стала обыденностью, люди исчезали за тюремным порогом, и узнать или рассказать о том, что творилось за кровавой завесой, не решался никто.

1926 год подходил к концу, и можно было подвести итоги. В том году было и хорошее и плохое: город очистили от хулиганов, избавили от Зиновьева — это хорошо; неплохо, что нэпманов прижали налогами; плохо, что никак не удавалось покончить с растратчиками государственных денег. Плохо, что опять подорожал хлеб, но не слишком; по-прежнему были перебои с мукой, сахаром, сливочным маслом, зато подсолнечного хватало, а к очередям в советское время привыкли, как к красным флагам. Горожане жаловались не на многочасовые «хвосты», а на качество продуктов, в которых попадалась всякая дрянь — щепки, гвозди, мусор. В ноябре 1926 года «Красная газета» писала, что «мышь съела Маркова Степанида Михайловна, не заметив ее в 1200 граммов ситного, купленного в ТПО — лавка № 2». Экая дура Степанида Михайловна, мыши не заметила — это прямо из Зощенко! Но в общем, несмотря на трудности, год выдался неплохой. 31 декабря центр города был нарядно иллюминирован, трамваи переполнены, извозчики заламывали безбожные цены, театры, кинематографы и рестораны были заполнены до отказа. В Доме Искусств собралась творческая интеллигенция, начали вечер с митинга и живой стенгазеты, затем все спели «Интернационал» и приступили к застолью. «Тесной семьей собрались революционеры, бывшие политкаторжане, — писала „Красная газета“. — После митинга и воспоминаний собравшиеся хором исполнили песни каторги», а с ресторанных эстрад звучали песни о смуглых мулатах и обольстительных Лолитах и Нинон — в общем, каждый встречал Новый год на свой вкус. В эту ночь даже шикарные проститутки, «дамы из Гостиного», в ажурных шарфах и мягких ботиках, были настроены на лирический лад. Окна в домах были освещены, но некоторые плотно занавешены — за ними скрывались рождественские елки. Ставить елку было запрещено, это считалось буржуазным предрассудком, по квартирам ходили проверяющие, но многие семьи нарушали запрет[1]. О двойственности жизни «переходного» 1926 года можно судить по тому, что, несмотря на запрет рождественских елок, крестьяне торговали ими на бульваре Профсоюзов, это было разрешено. Евгения Александровна Свиньина отпраздновала Новый год на свой лад, она отправила письмо внучке Асе, мечтавшей вернуться в Россию: «Всем, всем, и в автомобилях носящимся, и под забором мерзнущим, и голодающим, желаю нового счастья, а тебе не мечтать о русских морозах, русской душе твоей побольше спокойствия», — писала она.

В 1927 году в СССР отмечали десятую годовщину Октября, Сергей Эйзенштейн снимал в Ленинграде фильм «Октябрь», и тысячи статистов метались по Дворцовой площади и «штурмовали» Зимний. От орудийных залпов во дворце дребезжали стекла, и служители, убирая в залах после съемок, ворчали, что в 1917-м все было потише и грязи поменьше. Эйзенштейн вдохновенно творил миф, который со временем будет восприниматься почти как реальность. Другой мифотворец, Владимир Маяковский, приехал в Ленинград с новой октябрьской поэмой «Хорошо!». На его выступлении в Доме печати случился скандал: после чтения Маяковский стал отвечать на записки из зала. Отвечал, как всегда, грубовато, задиристо и «вдруг затрясся как в падучей, заорал. Он рычал, бесновался: „Закройте двери. Я выведу на чистую воду этого мерзавца, никого не выпускать…“» — вспо-

[1] Запрет на новогодние елки был отменен в СССР в 1935 г.

минала Лидия Жукова. В записке был вопрос: «Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено?» У Горького, который теперь тоже славил большевистский переворот, читатели не спрашивали, сколько ему дадено, хотя его хвалы имели материальную подоплеку: бо́льшую часть гонораров живший в Италии Горький получал из СССР. Читатели наивно полагали, что Горькому неведомо, что происходит на родине, и писали ему о жестокости власти, о том, что «эксперимент стоил стране людоедства». «Что касается Вашей ссылки на историческую аналогичность с временем Петра Великого, то здесь, по-моему, передержка: не с временем Петра I и его реформами следует сравнивать аналогичный момент, нами переживаемый, а с временем, если уж хотите, Павла I, — возражал Горькому москвич Андриан Кузьмин. — Когда этот сумасбродный и озлобленный человек дорвался до власти, то он шпицрутенами и фухтенами насильно пытался обратить русского человека в пруссака... пока его не убрали». Такие письма посылали обычной почтой, поэтому их авторы из предосторожности, как правило, не подписывались. А Андриан Кузьмин не побоялся подписаться, хотя до чего договорился, вражина, — «пока его не убрали»! Такие исторические аналогии — вещь опасная.

В 20-х годах в России возник огромный интерес к отечественной истории. Старый друг Вернадского, известный до революции общественный и государственный деятель Д. И. Шаховской[1] в письме к нему размышлял о причинах этого интереса: «...никогда не было такой тяги к изучению старины, в частности, XVII века, как сейчас... Самое понимание нашего прошлого в целом... определение нашего места в историческом процессе — становится впервые возможным, вся наша история обозревается с огромной высоты, на которую возносит нас пережитое нами». Особый интерес к XVII столетию — рубежу двух исторических эпох России, не случаен: он

[1] Шаховской Дмитрий Иванович (1861–1939) — историк философии, литератор, общественный деятель, принадлежал к числу основателей и лидеров партии кадетов, входил в состав Временного правительства. Расстрелян в 1939 г.

начинался «смутным временем» и сменой царствующей династии, на этот век пришлась церковная реформа, породившая в народе раскол, и начало деятельности Петра I.

А как вписывалось в контекст отечественной истории советское время? Позднее идеологи станут сравнивать его с временами правления Петра Великого и Ивана Грозного, но в 20-х годах аналогии современности и прошлого вызывали у власти подозрительность и вражду. В это же время в стране набирало силу краеведческое движение, тысячи энтузиастов стремились сохранить памятники искусства и старины, собирали сведения о прошлом своего края — «малой родины». На Всероссийском краеведческом съезде 1927 года возникла дискуссия: выступавшие говорили, как важно собирать и изучать материалы, свидетельствующие о быте разных народностей СССР. Это вызвало одобрение зала, «живо откликнулись представители разных народов — черемис, мордвин, татарин... После них выступил проф. С. Н. Чернов и сказал: „Все это очень хорошо, очень нужно. Но следует среди разных национальностей нашего Союза не забывать еще одну национальность, русскую. Нужно предоставить и ей право также позаботиться о фиксировании исчезающих явлений быта, а также уходящих из употребления вещей. Почему слово «русский» почти изгнано теперь из употребления?“ Выступление Чернова вызвало резкие протесты различных националов, обвинивших Чернова в „великодержавной вылазке“», — вспоминал культуролог и историк Николай Павлович Анциферов. Ему пришлось выступить с разъяснением: «Я сказал, что речь идет не о каком-то преимуществе для русских, а о признании прав русской национальности на любовь к своей старине, как это признано за другими нациями». Советская власть скоро разрешит споры краеведов: краеведческие общества будут объявлены контрреволюционными организациями, краеведов сгноят в лагерях или расстреляют в 1937–1938 годах, а бо́льшая часть собранных ими материалов погибнет.

Собирание вещей, сохранивших память о прошлом, всегда притягательно. В советской России 20-х годов оно

имело некий оттенок фронды: в кружке ленинградской литературной и академической молодежи, центром которого был переводчик Валентин Стенич, увлекались собиранием изданий истории царских полков и военных маршей, коллекционированием офицерских эполет. Валентин Стенич славился остроумием и дерзкими выходками — например, прогулкой по Невскому проспекту в цилиндре и фраке, с пожелтевшей от времени газетой «Биржевые ведомости» в руках. Тогда этот эпатаж сходил с рук, многие горожане донашивали обноски, и привлечь внимание мог скорее не цилиндр и выцветший фрак, а новый костюм и галстук. Стенич гордился знакомством с известным в городе «обломком прошлого» — бароном Врангелем. Николай Платонович Врангель до революции был чиновником министерства иностранных дел, а в 20-х годах нужда заставила его принять должность метрдотеля в ресторане гостиницы «Астория». В «Астории» останавливались важные иностранцы, и аристократический облик, блестящее знание иностранных языков, безупречные манеры барона-метрдотеля приводили их в восхищение. Иногда по их просьбе Врангель сопровождал их в поездках по городу и в театре, он сидел рядом с ними в ложе для почетных гостей, почти как во времена своей службы в министерстве иностранных дел.

Но современность не располагала к иллюзиям — в 1927 году ясно наметились признаки надвигавшихся перемен. Наиболее дальновидные люди подумывали об отъезде за границу, но теперь уехать было сложнее, чем прежде: еще недавно оформление документов было сравнительно легким делом, а теперь оно затягивалось, а то и кончалось отказом. Собиравшиеся в СССР иностранцы тоже чувствовали неуверенность: приехать туда — это полдела, а вот выпустят ли обратно? Е. А. Свиньина писала о злоключениях старушки из Ревеля: та полгода добивалась разрешения навестить дочь в Ленинграде, а теперь не может вернуться в Эстонию, ей почему-то не возвращают паспорт. Сама Евгения Александровна мечтала поехать к родным во Францию — в 1927 году это было не просто, а через пару лет стало невозможным. «Если

бы я была правителем, — с горечью писала она дочери, — клянусь, таких старых „пролетариев“, как я, не только не утруждала бы при их жизни покинуть государство, а давала бы им к бесплатному проезду особую премию... Что же нас хранить, копить и томить». Действительно, зачем копить и томить не нужных советскому государству людей?

Писатель Евгений Замятин был признан не нужным и даже вредным еще в 1922 году: он был включен в список петроградских ученых и литераторов, приговоренных к высылке за границу. Перед этим его, как и других приговоренных к высылке, посадили в тюрьму, но друзья принялись хлопотать за него и добились отмены высылки. Можно представить, как Замятин проклинал их усердие. Его дальнейшая литературная деятельность сопровождалась цензурными запретами, доносами и травлей критики, и Замятин решил уехать из СССР в 1929 году, когда это стало уже практически невозможным. Два года прошли в бесплодных хлопотах, в 1931 году он писал Сталину: «Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же думаю, что не такой тяжкой, как литературная смерть, и поэтому прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР». Осенью 1931 года Евгений Замятин получил разрешение уехать благодаря помощи Горького, и, несмотря на сохранение советского подданства, его можно назвать последним известным петроградским писателем-эмигрантом.

В 1927 году страна жила в ожидании войны. Известия из-за рубежа становились все тревожнее: в июне Англия расторгла дипломатические отношения с СССР, а в Варшаве был убит советский полпред П. Л. Войков[1]. Пропаганда внушала, что страны капитала готовят нападение на СССР, а внутри страны действуют шпионы, вредите-

[1] Войкова застрелил за причастность к убийству царской семьи русский эмигрант Борис Коверда.

[2] Во время «дела врачей» так же смотрели на людей в медицинских халатах, в 1953 г. на Литейном мосту пассажиры вытолкали из трамвая человека, под пальто у которого был медицинский халат. В начале 60-х гг. подозрение вызывали люди в солнцезащитных очках, ведь в советских фильмах тех лет темные очки были атрибутом шпиона.

ли и диверсанты. Летом в центре Ленинграда, на Мойке, в здании комитета партии взорвалась бомба; не исключено, что взрыв устроили чекисты, такие провокации были в числе их методов. Газетная истерия и тревожные слухи накаляли атмосферу в городе, наученные горьким опытом горожане в ожидании войны запасались продуктами. «Если бы ты знала, до чего нам надоели очереди у лавок! То сахарная, то мучная, то масло! Конца нет этим очередям, точно война!» — писала в октябре 1927 года дочери Е. А. Свиньина. Люди в очередях враждебно смотрели на интеллигентов в шляпах, на инженеров в форменных фуражках, особое раздражение вызывала старая офицерская форма, которую донашивали по бедности, — все они могли оказаться вредителями, шпионами, диверсантами![2] К. И. Чуковский тогда записал в дневнике слова поэта Клюева: «...ощущение катастрофы у всех — какой катастрофы — неизвестно — не политической, не военной, а более грандиозной и страшной». Предчувствие было верным, катастрофа действительно приближалась, только воевать с народом России готовилась не Англия, а советская власть: за завесой военной истерии шли приготовления к коллективизации, к «вытеснению капиталистических элементов» из деревни и города.

Ленинград не обошла стороной ни одна волна репрессий, и, по мнению многих мемуаристов, они были жестче и жесточе, чем в других городах страны. Н. Я. Мандельштам отмечала, что «в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел отставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения». К концу 20-х годов Ленинград оставался интеллектуальным центром страны, здесь, в институтах Академии наук и в университете, работали лучшие отечественные ученые своего времени. Отношения Российской Академии наук с новой властью складывались сложно: после большевистского переворота ее ученые выступили с протестом против узурпаторов, а руководство Союза коммун Северной области, в свою очередь, в 1918 году предложило упразднить Академию наук как «пережиток ложноклассической эпохи».

Большевики не ценили науку не только в силу своей культурной скудости, главное заключалось в том, что их «самое передовое» учение было ориентировано на возврат к примитивным формам социально-экономического устройства: аграрная политика сводилась к фактическому восстановлению крепостного права, а промышленное развитие в значительной степени обеспечивалось каторжным трудом. Все это не сталинские «перекосы», а продолжение ленинской государственной политики, не Сталин при военном коммунизме учредил продразверстку и мобилизацию населения страны в рабские «трудовые армии». Такое государственное устройство не видело особой пользы в развитии науки, особенно гуманитарных дисциплин — вспомним мнение Ленина, что народ должен быть грамотным лишь для того, чтобы читать приказы правительства.

Однако вскоре большевики оказались перед необходимостью восстановления хозяйства страны, организации системы образования, подготовки специалистов в разных областях знаний, и они оценили пользу и значение Академии наук. К началу 20-х годов между правительством и Академией было что-то вроде негласного соглашения: ученые занимались решением необходимых государству хозяйственных и культурных задач, но Академия наук сохраняла право внутреннего самоуправления, свободу в выборе направления исследований и независимость кадровой политики. В середине 20-х годов она была уникальным «государством в государстве», следующим собственным правилам и сохранявшим традиционный уклад жизни. В ней царил дух корпоративности и «семейственности»: многие академики жили в доме № 1/2 по набережной Лейтенанта Шмидта[1] и все важные вопросы управления обсуждались и решались за чайным столом в квартире президента Академии наук А. П. Карпинского.

Молодые ученые по традиции объединялись в кружки, которые тоже носили домашний характер, их участников

[1] Со временем дом академиков из-за множества мемориальных досок на фасаде получил в городе прозвище «индийская гробница».

связывали не только профессиональные интересы, но и потребность в живом научном общении. В одной из квартир дома академиков, у историка Натальи Сергеевны Штакельберг с зимы 1920/21 года стали собираться ее коллеги, занимавшиеся историей России. Время было трудное, и «на первое собрание Кружка каждый принес с собой кусочек сахару, кусочек хлеба и полено», — вспоминала она. Кружок собирался два раза в месяц, заседания начинались с чтения докладов и новых статей его участников, а потом устраивались веселые дружеские вечеринки. «Однажды, когда наши гости разошлись уже около восьми часов утра, предварительно на прощание исполнив... „Вещего Олега“ — песню с лихим солдатским свистом и притопыванием», — вспоминала Н. С. Штакельберг, к ней обратилась жена академика Павлова, который жил этажом ниже. Она «любезно попросила устраивать наши танцы, „если возможно, то не каждую неделю“»... «И чему вы там все время смеетесь? Как будто теперь есть чему смеяться!» — недоуменно сказала Серафима Васильевна. Но, несмотря на скудость и трудности этих времен, они были счастливыми для кружков молодых ученых.

В 1925 году Академия наук праздновала свой юбилей — двухсотлетие со времени основания. На торжество приехали иностранные ученые, дипломаты, М. И. Калинин представлял на юбилее советское правительство. Выступления гостей были посвящены значению Академии для России и мировой науки, профессор Бомбейского университета Моди закончил свое приветствие словами: «Боже, благослови Россию, русский народ и его Академию наук!» Речь М. И. Калинина отличалась от остальных — он говорил о *новой советской* науке, о том, что старая Академия отныне стала Академией наук СССР и правительство заботится и будет еще больше заботиться об ученых. Считаясь с международным авторитетом Академии наук, власть демонстрировала терпимость: у многих академиков сомнительное политическое прошлое (среди них бывшие кадеты, монархисты, а непременный секретарь Академии востоковед С. Ф. Ольденбург при царизме был членом Государственного Совета, а позже министром Временного правительства) — но забудем прошлое. Жаль, что в *советской* Академии наук практически нет коммунистов (к 1928 году среди тысячи с лишним ее сотрудников было всего семь членов ВКП(б)). ОГПУ известно, что академики Вернадский, Платонов, Ольденбург материально помогают своим детям-эмигрантам; что вернувшийся в СССР сын академика Павлова воевал в белой армии, но мы не возражаем. Мы не против того, что ученые Академии наук годами работают за границей, ездят в командировки и на конгрессы; правда, у ОГПУ есть сведения, что кое-кто из них встречался там с лидерами эмиграции, и это уже серьезно... Но не стоило портить праздник, и правительство выделило к юбилею Академии дополнительные средства для расширения штата ее лабораторий и институтов. «Решено дать всем академикам половину их содержания, как и остальным служащим Академии... Все младшие служащие получат готовые костюмы к юбилею», — записала накануне праздника жена С. Ф. Ольденбурга Елена Григорьевна. Украсилось само здание Академии наук, на его парадной лестнице было установлено мозаичное панно М. В. Ломоносова «Полтавская баталия». Через 12 лет после этого сотрудники Академии наук Ю. А. Крутков и Ю. Б. Румер встретятся в концлагере и вспомнят тот юбилей, парадную лестницу и ломоносовское панно...

Власти сдержали обещание заботиться об ученых, при правительстве была организована Комиссия по содействию Академии наук во главе с секретарем ВЦИК А. С. Енукидзе. На первых порах Енукидзе был любезен, Комиссия *рекомендовала* желательные правительству кадровые решения в руководстве Академии, но все активнее вмешивалась в ее внутреннюю жизнь. К 1927 году время любезностей кончилось. 15 мая 1927 года в «Ленинградской правде» появилась статья журналиста Горина «Академический ковчег»: «При знакомстве с личным составом аппарата Академии прежде всего поражает в нем солидное количество бывших людей... Не только [старая] бюрократия, но и родовитая аристократия, как нам передали, пополнили своими представителями академический аппа-

рат: тут и бывшие бароны Штакельберги, и бывшая княжна Пилкина... Наличие подбора доказывается тем... что в Академии собраны люди, родственные не только по духу... но и по крови». Он перечислял титулы, родственные связи, придворные звания, от которых у несведущего читателя темнело в глазах: в Академии работали бывшие губернаторы, прокуроры, камер-юнкеры, бароны, князья — и это на десятом году советской власти! «Аппарат Академии Наук СССР не может пользоваться привилегиями экстерриториальности и не может быть ковчегом для бывших», — заключал Горин. А через две недели правительство утвердило новый устав Академии наук, который лишал ее автономии. Для того чтобы покончить с засилием «старой касты», по новому уставу почти вдвое увеличивалось число академических вакансий. «Мы хотим открыть отделение общественных наук и посадить туда настоящих ученых-марксистов и, если можно в другие отделения, то и туда. Мы хотим ввести больше свежих ученых, которые могут по-новому подойти к Академии», — пояснял Луначарский (скоро сам Анатолий Васильевич станет «свежим» академиком).

Такие планы власти вынашивали давно; одним из самых яростных врагов «старой касты» был заместитель наркома просвещения, историк М. Н. Покровский, который предлагал вообще упразднить ее Отделение гуманитарных наук или «отделаться от тех... элементов, которые уже абсолютно никакому использованию в советских условиях не подлежат». Власти не случайно начали наступление на Академию с гуманитарных наук, ведь именно эти науки формируют самосознание и мировоззрение народа. Известный историк России, академик С. Ф. Платонов так вспоминал о своих первых шагах на научном поприще: «Мы жили в новой для нас области историографии как в каком-то ученом братстве, где все исследователи дышали общими учеными интересами и жаждою народного самопознания». Историк М. Н. Покровский был убежден, что задача истории — не поиск объективной истины, что она — оружие в классовой борьбе и «наука большевистская должна быть большевистской».

Покровский и Платонов — современники и образование получили почти в одно и то же время, но их взгляды разделяла пропасть. Эта расколовшая общество пропасть была уже за полвека до победы большевиков, но теперь старый спор продолжался в новых условиях: с одной стороны — «жажда народного самопознания», с другой — «ваше слово, товарищ маузер!». Покровский пестовал новых историков-коммунистов в Коммунистической академии, в Обществе историков-марксистов, которые он возглавлял, но созданная им и его учениками школа отплатила творцам черной неблагодарностью: после того как многие из них погибли в терроре 30-х годов, «советская история» стерла их имена со своих страниц. Однако до той поры ученики и соратники Покровского владели монополией в области исторической науки. В начале 20-х годов единственным коммунистом на кафедре русской истории Петроградского университета был М. М. Цвибак — «в распахнутом бушлате, в матросской тельняшке, с голой грудью, в матросской шапочке с лентами и в широченных брюках клеш он ходил по университетским коридорам и изображал лидера классовой борьбы в Университете. По-моему, он был из мелкобуржуазной семьи», — вспоминала Наталья Сергеевна Штакельберг. Цвибак сыграл заметную роль в расправе с учеными Академии наук и подготовил в соавторстве с другим историком-коммунистом Г. А. Зайделем[1], книгу «Классовый враг на историческом фронте» (Л., 1931). Прошло еще несколько лет, и оба они сами оказались в тюремном застенке.

Бывают тяжелые сны — стены комнаты вдруг начинают смыкаться, вытеснять воздух, и спящий в смятении просыпается. С 1927 года атмосфера в Академии наук стала напоминать такой сон; осенью 1927 года всех встревожило нежелание ОГПУ выдать заграничные паспорта академику И. Ю. Крачковскому и его жене. Арабист

[1] Г. А. Зайдель совмещал занятия наукой с обязанностями консультанта ОГПУ, выбрав для этой роли романтический псевдоним «Буревестник».

Крачковский собирался прочесть курс лекций в Швеции, но его не выпускали, опасаясь, что он останется за границей. Предстатель Академии наук перед властями С. Ф. Ольденбург поехал в Москву, убедил Енукидзе выдать Крачковскому заграничный паспорт, но жене академика паспорта не дали. «Крачковский наотрез отказался от поездки, самолюбие его задето, он не хочет ехать, точно собака на привязи», — записала в дневнике Е. Г. Ольденбург. В Москве С. Ф. Ольденбург встретил математика и кораблестроителя, академика А. Н. Крылова, который много лет числился в заграничной командировке и не спешил насовсем возвращаться в Россию. В 1926 году руководство Академии наук предлагало ему пост вице-президента на прекрасных условиях: «Если Крылову дать 600 рублей жалованья, хорошую квартиру, лошадь, автомобиль и 4 месяца поездки за границу, то его аппетиты будут удовлетворены и, может быть, он согласится», — записала тогда Е. Г. Ольденбург, но того не прельстил ни высокий пост, ни академическая лошадь. Однако через год он приехал в СССР и при встрече сказал Ольденбургу, что сейчас приехал на месяц, но скоро собирается обосноваться в России. Спустя месяц «в Москве С. Ф. встретил Крылова, который не мог получить разрешения от ГПУ. Против выезда Крылова сам А. И. Рыков», — записала Елена Григорьевна в декабре 1927 года. Крылов был в отчаянии: как он, с его осмотрительностью, мог попасть в ловушку! Положение, при котором власти решали, стоит ли выпускать из страны знаменитых ученых, напоминало положение крепостных и было внове для академиков.

Летом 1928 года газетная травля Академии наук возобновилась, а осенью в Ленинграде было арестовано несколько известных ученых. «Правительство десять лет ждало и дало много авансов, но на одиннадцатом году оно поступит с АН [Академией наук] по-своему. АН не сумела понять и занять то положение, которое она должна занять в советском государстве», — услышал С. Ф. Ольденбург в Совнаркоме. Эту газетную травлю, запугивание и аресты принято объяснять желанием власти провести в академики партийных деятелей и ученых-коммунистов, но более глубокое осмысление событий того времени мы находим в мемуарах Н. Я. Мандельштам: «У них было много целей... установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства... Людей снимали пластами по категориям (возраст тоже принимался во внимание): церковники, мистики, ученые-идеалисты, ослушники, мыслители... люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями...» Подготовка к предстоящим в январе 1929 года выборам новых действительных членов Академии наук велась как военная операция, ею занималось Политбюро, ленинградский обком партии, пресса, ОГПУ — все было мобилизовано для давления на четыре десятка академиков, которым предстояло голосовать. Они решили пойти на компромисс: избрать наряду с учеными, выдвинутыми самой Академией, желательных правительству кандидатов.

Обсуждение происходило на чаепитии у А. П. Карпинского, «В. И. Вернадский предложил выработать приемлемую формулировку для принятия всего полного списка всеми... На его слова И. П. Павлов, точно сорвавшись с цепи, крикнул: „Это лакейство, что вы предлагаете!.. Большевикам надо себя показать, нечего их бояться“... Сергей [Ольденбург] ему запальчиво сказал, что он может и ему разрешается говорить что угодно, что его не тронут, так как он в привилегированном положении, так как он, известно всем, и это говорят сами большевики, идейный руководитель их партии... Было ужасно!» — записала 27 ноября 1928 года Е. Г. Ольденбург[1]. Да, было ужасно, как во сне, когда ты сдавлен стенами и почти нет воздуха. От исхода выборов зависела судьба Академии наук, и все же не все участвовавшие в голосовании 12 января 1929 года пошли на компромисс: Н. И. Бухарин, Г. М. Кржижановский и геолог И. М. Губкин прошли в академики с перевесом всего в один голос, а литературовед В.М. Фриче, историк Н. М. Лукин и философ А. М. Деборин не были избраны. Правительство было

[1] Несмотря на привилегии, И. П. Павлов много лет находился под надзором ленинградского ОГПУ, к началу 30-х гг. там скопились тома данных слежки за ним и его близкими.

в ярости, Куйбышев грозил разобраться с Академией «огнем и мечом» — и вопреки всем правилам в АН прошло повторное голосование. 13 февраля 1929 года Фриче, Лукин и Деборин (их называли «дураками от марксизма») пополнили ряды академиков.

Летом 1929 года в стране проходила «чистка» государственных учреждений, в накаленной атмосфере собраний звучали покаяния, исповеди, оговоры. Страницы газет заполнились заявлениями об отказе от родственников: «Я, Першин М. К., отказываюсь от отца и порываю с ним всякую связь», «Я, Зикеев Т. П., отказываюсь от отца, связь с ним порвал с 1927 года», и т. д. Комиссии увольняли людей по трем категориям, быть «вычищенным» по первой означало катастрофу: человек лишался права на работу, на бесплатную медицинскую помощь и на продуктовые карточки[1]. «Чистка» лета 1929 года стала следующим эпизодом драмы Академии наук. Председателем комиссии был прибывший из Москвы член президиума Центральной контрольной комиссии Ю. П. Фигатнер, в состав комиссии вошли сотрудники ленинградского ОГПУ. Представим себе эти собрания: зал, в котором собралась элита научной интеллигенции, и в президиуме комиссия, которая выпытывала, какие должности занимал человек до революции, получал ли царские награды, имел ли поместья. Погромщикам хотелось блеснуть эрудицией, Фигатнер спросил у биолога С. Ф. Царевского (тот в начале 20-х годов принял сан дьякона), как он, верующий, относится к материализму Дарвина. Директор Зоологического музея, профессор А. А. Бялыницкий-Бируля крикнул из зала: «Дарвин был не только верующим, но и церковным старостой своего прихода в Англии!» «Это было в Англии, но в Советском Союзе этого не допустили бы», — отрезал Фигатнер, и Царевского «вычистили» по первой категории. В июле—августе 1929 года были уволены многие сотрудники аппарата и институтов Академии наук. «Сергей [Ольденбург] не

[1] В ноябре 1928 г. в стране вновь ввели карточную систему: сначала карточки на хлеб, а к концу 1929 г. — почти на все продовольственные товары.

мог спать — его преследовали лица исключенных по I категории», — писала Е. Г. Ольденбург. К Ольденбургам приходил А. П. Карпинский, «бедный старик!... говорил... что сейчас же отказывается от президентства, он не может перенести всего этого — не может выносить слез этих людей, которые идут к нему плача, просят заступничества, и он бессилен помочь! Весь красный, в слезах, со срывающимся голосом, с длинными белыми волосами».

Между тем Покровский подготовил следующий удар «старой касте»: осенью 1929 года сотрудники Центрального архива, который он возглавлял, донесли, что Академия наук скрывает материалы огромной историко-политической ценности: документы партий эсеров и кадетов, подлинники отречения Николая II и великого князя Михаила, бумаги Керенского и многое другое. Енукидзе еще в 1926 году был уведомлен о том, что в архивах Академии наук хранятся эти документы, но Политбюро воспользовалось «архивной историей» для завершения многолетней интриги, направленной против ее ученых. В октябре 1929 года в Ленинград прибыла Особая следственная комиссия в составе представителей ОГПУ Я. Х. Петерса и Я. С. Агранова, прокурора РСФСР Н. В. Крыленко и Фигатнера, которая расценила хранение архивных документов как доказательство антисоветского заговора в Академии наук. К концу 30-х годов члены этой комиссии будут расстреляны, М. Н. Покровский дождется расправы с ненавистной «старой» Академией смертельно больным, но успеет порадоваться, что теперь она «такое же научное учреждение, как и всякое другое учреждение Советского Союза». Последствия этой «победы» прозорливо определил академик Павлов. 26 декабря 1929 года он говорил на заседании в честь столетия со дня рождения физиолога Ивана Михайловича Сеченова: «Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть — все. Личность обывателя — ничто. Жизнь, свобода, достоинство, убеждения, верования, привычки, возможность учиться, средства к жизни, пища, жилище, одежда — все в руках государства... А у обывателя только беспрекословное повиновение. На таком фундаменте,

господа, не только нельзя построить культурное государство, но на нем не могло бы держаться долго какое бы то ни было государство. Без Иванов Михайловичей, с их чувством достоинства и долга, всякое государство обречено на гибель изнутри, несмотря ни на какие днепрострои и волховстрои».

В это время шли массовые аресты ученых Отделения гуманитарных наук и сотрудников аппарата Академии наук. Отправленный в отставку С. Ф. Ольденбург тоже ждал ареста, он и его домашние ложились спать одетыми, ночью прислушались к шагам на лестнице. Вернадский советовал Ольденбургу собрать вещи для тюрьмы, у обоих академиков уже был тюремный опыт. (Вещи, собранные для тюрьмы, годами хранились у людей «подударных» профессий, а таких профессий было не счесть. Приготовленный на случай ареста саквояж был у переводчика и поэта М. Л. Лозинского[1], а маршал Г. К. Жуков хранил свой «арестный» чемоданчик до 1957 года.) В эти тревожные дни сын Елены Григорьевны Митя вспомнил, что видел в кладовой Музея этнографии «много бумаг Милюкова и каких-то бумаг кадетов... И Сергей тоже вспомнил... Когда все бежали из Петрограда кто куда, то к нему тащили все... Решили, что ночью, когда на лестнице никто не будет ходить в Правление, то Митя пойдет и посмотрит, что там есть наверху в кладовых», — писала она. Несколько ночей в квартиру тайком приносили корзины с документами и до утра жгли бумаги в печах. «Как жаль... Сколько здесь гибнет истории русского общества»; С. Ф. Ольденбург сказал Вернадскому, «что я чуть не плачу, когда жгут бумаги, т. к. здесь много ценного в историческом отношении. Вл. Ив. напал на меня — надо обязательно жечь... Если обыск будет у нас, могут пострадать многие люди... Горит, горит!» — горестно писала Е. Г. Ольденбург.

[1] Иногда предусмотрительность шла дальше: по просьбе Осипа Мандельштама сапожник вделал бритвенные лезвия в подошвы его ботинок, этими бритвами поэт вскрыл вены после ареста.

Особая следственная комиссия наметила контуры политического дела, а «творчески развить» его предстояло ленинградскому ОГПУ. Питерские чекисты стремились подготовить громкий судебный процесс, где подсудимыми станут известные ученые, среди которых четыре академика — историки С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачев и М. К. Любавский. Сценарий обвинения сложился не сразу, со временем «преступное» хранение документов в архивах Академии отошло на второй план, и была вымышлена антисоветская организация «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России», в которую якобы входили ученые. «Всенародный союз» готовил государственный переворот, восстановление монархии, и академики уже распределили министерские посты в будущем правительстве. Фантазия чекистов не знала пределов: заговорщики были связаны с правительствами Германии, Франции и с Ватиканом; Германия готовила 100-тысячную армию для захвата Ленинграда, к ней должна была присоединиться французская авиация, а все расходы на военную кампанию брал на себя Ватикан, потому что «Всенародный союз» обещал Папе ввести в России церковную унию. В Академии якобы действовали немецкие шпионы и военная организация из сотрудников — бывших офицеров, державшая склады оружия в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) и в Гатчинском дворце-музее. Роль главы «Всенародного союза» ОГПУ предназначило академику С. Ф. Платонову, который был известен политической приверженностью к монархизму.

Подтвердить всю эту галиматью должны были показания подследственных, поскольку иных доказательств у следствия не было и быть не могло. За полтора года через камеры Дома предварительного заключения прошло около 150 арестованных: историков, филологов, археологов, этнографов, среди них было немало людей преклонного возраста. Следователи добивались «признаний» подследственных угрозами, арестами их близких, содержанием в одиночных камерах и обещаниями свободы. Абсурдность обвинений порождала у узников чувство безнадежности, у некоторых из них начались психиче-

ские расстройства, и постепенно часть подследственных стала подписывать составленные следователями протоколы или писать «признания» под их диктовку. Некоторых «сознавшихся» освобождали до конца следствия, на смену поступали новые арестованные, из лагерей и ссылки привозили ранее осужденных ученых. Следователи расширяли и перекраивали состав «липовой» организации, присоединили к ней «заговор краеведов» — организация большого политического процесса сулила им карьерные выгоды. За ходом дел наблюдало Политбюро, в 1930—1931 годах на его заседаниях ежемесячно обсуждался «вопрос об Академии наук». Оно не рискнуло проводить показательный судебный процесс, потому что ряд ученых имел международную известность, а нелепость обвинений была очевидна.

«Тройка» ленинградского ОГПУ заочно вынесла приговоры по «академическому делу»: в феврале 1931 года 29 человек было приговорено к расстрелу, а 53 — к различным срокам концлагеря. Через несколько месяцев часть смертных приговоров заменили лагерными сроками, но шестерых сотрудников Академии, в прошлом офицеров, расстреляли. В августе 1931 года «тройка» вынесла приговоры «руководителям антисоветской организации», в эту группу включили наиболее известных ученых, в том числе четырех академиков, — их осудили на пятилетнюю высылку «в отдаленные места СССР». В общей сложности было осуждено 115 человек, и «почти все из привлеченных по этому делу вышли больными и израненными невосстановимо, многие преждевременно умерли, пройдя ссылки, каторгу или лишение прав без лишения свободы», — писала Н. С. Штакельберг. В хронике советской жизни много свидетельств о таких преступлениях власти, но следует иметь в виду цели и последствия каждой из этих акций. В данном случае целью было абсолютное подчинение Академии наук, и она была достигнута: в начале 1930 года число академиков пополнилось еще несколькими учеными-коммунистами и партийными деятелями; коммунисты определяли политику Академии, и в феврале 1931 года ее Общее собрание лишило звания академиков арестованных Платонова, Тарле, Лихачева

и Любавского. Возмущенный президент Академии наук А. П. Карпинский заявил на собрании, что отныне «мы будем представлять собой единственное в своем роде учреждение», — но нет, она превращалась в обычное советское научное учреждение. В 1931 году ее непременным секретарем стал новоиспеченный академик В. П. Волгин — автор работ по истории «социалистических и коммунистических идей домарксова периода».

Последствия «академического дела» не исчерпывались искалеченными и загубленными жизнями ученых, была уничтожена русская историческая школа, а с нею трагически завершилась целая эпоха нашей культуры. Символично, что в числе осужденных оказались племянник Достоевского А. А. Достоевский и внучатый племянник Чернышевского Н. А. Пыпин. Жертвами стали не только осужденные, но и их близкие: жена филолога Энгельгардта, Н. Е. Гаршина-Энгельгардт (родственница писателя Всеволода Гаршина) выбросилась из окна после ареста мужа, жена историка В. М. Бутенко повесилась, отец филолога Н. В. Измайлова бросился в Неву, узнав о расстрельном приговоре сына (позже Измайлову заменили расстрел ссылкой). Драматически сложилась судьба близких академика Сергея Федоровича Платонова. Его дочери Надежда, Вера, Наталья, Мария и Нина получили историко-филологическое образование, сын Михаил был химиком. Надежда жила в эмиграции, а оставшиеся в России дети Платонова успешно занимались наукой. Мария и Нина были арестованы по «академическому делу» и после года заключения отправлены вместе с отцом в ссылку в Самару. Наталья Сергеевна поехала в ссылку к мужу, Н. В. Измайлову, и провела там пять лет. С. Ф. Платонов умер в Самаре в 1933 году, а его дочери Мария, Нина и Наталья через несколько лет вернулись в Ленинград. Все они умерли во время блокады, а их брат, профессор химии Михаил Сергеевич Платонов был расстрелян в блокадном Ленинграде по ложному обвинению. Так погибла большая, дружная семья талантливых русских ученых. Академик М. К. Любавский умер в ссылке в 1936 году, Н. П. Лихачев вернулся в Ленинград в 1933 году лишенным права на работу и пенсию и мучи-

тельно умирал в полной нищете. Благополучнее других сложилась судьба Е. В. Тарле: в ссылке ему дали возможность заниматься научной работой, он вернулся в Ленинград в конце 1932 года и стал преподавать в ЛГУ. В этом «возвращении к жизни» известную роль сыграла его позиция на следствии (из ссылки он писал, что давал ложные показания под давлением) и ходатайства за него политических деятелей Франции, составленные по просьбе французских друзей Тарле. В 1938 году Е. В. Тарле был восстановлен в звании академика. Еще одним следствием «академического дела» было отлучение от науки талантливой молодежи, продолжавшей традиции российской академической школы. Один из осужденных, участник кружка молодых историков С. В. Сигрист писал о судьбах своих товарищей: «...ради сытого куска и жизни в Ленинграде далеко не каждый из нас шел на проституирование любимой науки. Большинство поставило крест над научной работой, не писало бесстыдных статей, жило скромно по ссылкам. Мы добывали хлеб уроками языков и случайными заработками. В этом заключался наш подвиг. Так текла жизнь большинства моих однодельцев... Мирно и скромно закончили они свое печальное житие».

Вместе с возможностью заглянуть в чекистские архивы, прочесть следственные дела, встал вопрос, вправе ли мы судить о поведении людей на следствии? Ведь протоколы допросов зачастую писали сами следователи, а подследственный лишь подписывал их, подтверждая согласие[1]. А кроме того, «безнравственно выносить какие-либо суждения по поводу нравственных качеств людей, в экстремальных условиях вынужденных оговаривать своих ближних», — утверждал один из публикаторов материалов следствия по «академическому делу». Но нравственно ли вообще отказываться от этого вопроса, обесценивая тем самым мужество устоявших? Мы не вправе *судить* людей, но нам важно *знать*, иначе прошлое останется

[1] Арестованный в 1938 г. Лев Гумилев подписывал протоколы допросов «ЛГу», то есть «лгу».

темным маревом, в котором не различить человеческих лиц. Участники «академического дела» держались на следствии по-разному: одни были сломлены и готовы на любые оговоры; другие считали, что «вне зависимости от поведения на следствии с нами будет сделано то, что найдено будет нужным», и надо хоть что-то признать, все отрицать бессмысленно. Такую позицию следователи называли «разоружиться», «разоружившиеся» писали под их давлением нужные для будущего суда «романы»[1]. И все же показательный политический процесс не складывался, этому препятствовала стойкость С. Ф. Платонова и других подследственных. О том, что давало силу нравственно выстоять, мы узнаём из воспоминаний участников «академического дела».

Наталью Сергеевну Штакельберг арестовали в январе 1930 года, в числе других участников исторического кружка, когда-то собиравшегося в ее доме. Она давно не работала (в 1924 году ее «вычистили» с кафедры русской истории университета), жила замкнуто, погрузившись в семейные заботы и воспитание детей. Если бы не тоска по научной работе, ее жизнь была бы вполне счастливой: она не знала материальных забот, жила в огромной квартире, у нее был любящий муж и чудесные дети. Никто не мог угадать в этой молодой, красивой женщине скрытой силы воли и непоколебимой стойкости. Оказавшись в тюрьме, она не могла понять причины ареста, и первый допрос ошеломил ее: следователь Стромин назвал исторический кружок антисоветской организацией, а веселые собрания в ее доме — встречами «кадров антисоветских научных работников». Это противоречило здравому смыслу и истине: «Был период, когда советская власть была для нас узурпатором, а не законной властью. Но годы шли, все эволюционировало, эволюционировало и наше политическое лицо и сознание. В 1930 году, когда все мы стали „советскими“, мне казалось дикостью и несправедливостью, что нас судят за идейные воззрения и политическое лицо, присущее всей интеллигенции в 1920 году», — размышляла Наталья Сергеевна. Она отказалась

[1] «Писать роман» на тюремном языке — давать ложные, нужные следователям показания.

подписывать составленные следователем протоколы, несмотря на «признания» других кружковцев, которые ей зачитывали: «Белое было белым. Черное было черным. Я не могла подписать то, что мне предлагали». Уговоры, угрозы, обещание свободы за признание, что кружок молодых историков был нелегальной антисоветской организацией, не дали результатов, Стромин оказался бессилен. Н. С. Штакельберг допрашивал и сам начальник ленинградского ОГПУ Ф. Д. Медведь, он показал обвиняющие ее показания профессора С. В. Рождественского. «У меня дух захватило. И невольно: „Рождественский просто испугался. Положение его трудное...“» А у нее разве не трудное или она ничего не боялась? Конечно боялась. «Медведь порылся в одной из папок. — „Вам известно, что в вашем Салоне намечались кандидатуры на царский престол в случае свержения Советской власти?“ — „Это ужасное заблуждение. Этого никогда не было!“ — говорю я в ужасе». Она продолжала спорить, объяснять, чем был исторический кружок, и отрицала все обвинения.

Наталью Сергеевну посадили в одиночную камеру, изматывали бессонницей, еженощно вызывая на допрос, требовали признания, но «я плачу отчаянно и безнадежно, я не могу уже говорить и в знак отрицания только качаю головой». Где она брала силы, что отстаивала, если решилась даже на самоубийство? «Нет, я слишком хорошо представляла, на что я иду... Я твердо знаю, что я умру не за Платонова, не за Рождественского, а за личную свою человеческую честь. Как бы я стала жить предателем и трусом?» Она понимала, что ее безвестная смерть в тюремной камере-одиночке ничего не изменит в ходе следствия, и все-таки сделала выбор: «Я вернулась в камеру после последнего допроса совершенно убитая. Выхода не было. Надо было или подписать ложные показания, или умереть». Порезы припасенным ржавым обломком бритвы привели к заражению крови, Наталья Сергеевна была при смерти, но ей не дали умереть. После возвращения из лазарета допросы продолжились, новый следователь не кричал, а деловито объяснил, что отказ от показаний считается враждебным актом против советской власти, поэтому надо хоть что-то написать. Н. С. Штакельберг составила текст, в котором отрицала, что кружок был антисоветской организацией, однако признала, что «большинство докладов носили не марксистский характер». Такие показания никуда не годились, и не миновать бы ей концлагеря, если бы не случай. Следователь замахнулся ударить ее, и она в гневе воскликнула: «Я найду пути, чтобы рассказать Сталину обо всем, что здесь делается», потому что вождь знаком с семьей ее мужа.

Это была правда: в апреле—июле 1917 года Сталин снимал комнату в квартире Штакельбергов. По просьбе знакомого они приютили вернувшегося из ссылки революционера, и Сталин прожил у них почти четыре месяца. Короткости между ним и семьей Штакельбергов не было (в семейные анекдоты вошло то, что будущий вождь однажды тайком съел их котлеты), но он несомненно их помнил. Едва ли он вступился бы за баронскую семью, но Наталья Сергеевна попала в точку — ленинградские следователи испугались ее угрозы. Через неделю ее освободили, и августовским утром 1930 года она стояла на Литейном проспекте с забинтованной головой, с лицом, покрытым после фурункулеза шрамами, держа шубу, в которой ее зимой привезли в тюрьму. У нее не было сил дойти до Финляндского вокзала, не было денег доехать до Левашово, где жила семья. Наталья Сергеевна остановила извозчика, попросила довезти ее до вокзала и дать рубль на поезд, а в плату взять ее шерстяную кофту. Старик-извозчик молча выслушал ее, помог сесть в пролетку, на вокзале она протянула ему кофту, но «он отстранил мою руку: „Наденьте, я тоже человек“, снял шапку, достал из-под подкладки рубль, перекрестился и протянул мне его: „И чего теперь только с людьми не бывает!“» Соузники Н. С. Штакельберг сравнивали историю ее спасения с нежданным спасением Гринева из пушкинской «Капитанской дочки»[1].

[1] Ссылка на знакомство со Сталиным помогла семье Штакельберг еще раз, благодаря ей Наталья Сергеевна сумела вызволить арестованного в 1938 г. мужа.

Убеждение, что честь дороже жизни, помогло сохранить стойкость многим участникам «академического дела». «Все ли вы взвесили?» — спросил следователь Николая Павловича Анциферова. «По моему лицу он понял, — вспоминал Анциферов, — что я взвесил на весах жизнь и честь, что я на все готов, и прекратил допрос». Николай Павлович Анциферов — человек замечательный, его духовная высота, глубокая религиозность и нравственная твердость привлекали к нему самых разных людей, он, сам не зная того, для многих был опорой в самых страшных испытаниях. Спустя годы после «академического дела» профессор Б. М. Энгельгардт спросил его при встрече, не он ли написал на стене камеры-одиночки Дома предварительного заключения:

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви[1].

Энгельгардт увидел эту надпись, когда оказался в этой камере, и угадал, что ее сделал Анциферов. Позднее, в 1956 году, «один профессор-филолог спросил меня о том же, — вспоминал Николай Павлович. — В то время, когда он сидел в Крестах, ему сказали, что всех заинтересовала надпись, сделанная на окне Анциферовым. Это были те же слова». Его жизни сопутствовали невыдуманные легенды: в городе долго помнили, что в 1929 году Анциферова отпустили из Дома предварительного заключения повидаться с больной женой. В лагере на Беломоро-Балтийском канале он работал коллектором, и после его освобождения домик коллекторской продолжали называть «анциферовским». Он узнал об этом через несколько лет, когда ехал в командировку на Беломорканал. Поезд проходил знакомые места, и оказалось, что его попутчики, отец с сыном, хорошо их знают. Николай Павлович спросил, цела ли коллекторская на Медвежьей горе. «Мальчик оживился: „Это вы об Анциферовом домике?“ — „А кто это — Анциферов?“ — „А я почем

[1] Строфа из стихотворения Владимира Соловьева «Бедный друг! Истомил тебя путь...».

знаю? Так прозвали маленький домик, где раньше хранили камни“. — „Позвольте представиться, — сказал я шутливо. — Этот мифический Анциферов перед вами“». После смерти Н. П. Анциферова его судьба и творческое наследие долго оставалось «мифом», его книги не переиздавали, имя было известно немногим. В 70-х годах в бесцветной книге о Петербурге «Серебряного века» мне попалась страница дивной прозы, и я не могла понять, какое озарение нашло на автора. Секрет оказался прост — это был отрывок из «Души Петербурга», без кавычек и без упоминания имени Анциферова.

Его жизнь переломилась весной 1929 года, после ареста по делу религиозно-философского кружка «Воскресенье», созданного в 1917 году философом А. А. Мейером. Мейер собрал круг людей, веривших в возможность соединения социализма с христианством; «нас всех объединяло одно имя — „Христос“», — вспоминал Анциферов. Собрания кружка проходили в квартире архитектора К. А. Половцевой или в домике на Малом проспекте, куда «приходившие приносили несколько поленьев, и, когда трещал огонь в печках, становилось уютно и создавалось особое чувство близости». Кто-нибудь из собравшихся предлагал тему, и начиналось ее обсуждение по кругу; Анциферов запомнил несколько тем бесед: «Патриотизм и интернационализм», «Взаимосвязь понятий свобода, равенство и братство», «Товарищество и дружба». Кружок «Воскресенье» просуществовал до конца 1928 года, его посещали ученые, литераторы, художники, со временем собрания приобретали все большую религиозную окраску. Анциферов отошел от «Воскресенья» в начале 20-х годов, но при встречах с его участниками на «тропинках, проложенных человеческими судьбами в лесу нашей эпохи, я всегда был рад вспомнить наши встречи, наши беседы, наши вечера», — писал он. Тропинки сошлись в апреле 1929 года, когда Н. П. Анциферов был арестован как участник кружка, объявленного ОГПУ антисоветской организацией. Это было трагическое для него время — умирала от туберкулеза его жена Таня. Этот союз двух незаурядных людей был скреплен любовью, единомыслием и сотворчеством, у них были годы счастья

и общее горе — в 1919 году за месяц умерли двое детей Анциферовых. В 1921 году родился сын Сергей (Светик), в 1924-м — дочь Таня, и, оказавшись в тюрьме, Николай Павлович мучился мыслью о том, что ждет его семью. Ему несколько ночей снился один сон: он видел себя в своей комнате, вместе с женой и детьми. «Вы все думаете о доме. Вот Господь и послал вам утешение, во сне душой побывать дома», — сказал ему священник, сосед по камере. Божественное милосердие подтвердилось настоящим чудом: Николая Павловича на несколько часов выпустили из тюрьмы, повидаться с семьей. В сопровождении чекиста он приехал в Детское Село, и его спутник вызвался погулять, пока Николай Павлович побудет с семьей. Тогда он в последний раз видел свою Таню, и радость встречи смешалась с болью. «Времени я не сознавал. Время исчезло. Так отступает волна, добежав до берега, чтобы снова нахлынуть». Пришли дети, друзья принесли сирень, но уже пора было расставаться. Он сказал: «Прощайте», а Таня отозвалась: «До свидания», и в ее голосе звучало: «Верь — до свидания». И вот он опять в тюрьме, и только букет сирени в камере остался свидетельством чуда. В июле 1929 года участникам кружка Мейера объявили приговоры, Анциферова осудили на три года концлагеря, отправили на Соловки, и они с Мейером встретились в тюремном вагоне поезда, идущего на север. «Кончилась жизнь. Теперь начинается житие», — сказал Александр Мейер.

Через год Анциферова снова привезли в Ленинград, на новое следствие. Соловецкий год был страшен: он получил известие о смерти жены, в лагере от сыпного тифа умерли его друзья, и сам он был на волосок от гибели. На Соловках Николая Павловича обвинили в участии во внутрилагерном заговоре, и он оказался в камере смертников с чекистами из соловецкого начальства — в лагерях шла смена «персонала». Каждую ночь кого-то вызывали на расстрел; наконец вызвали его, но вместо расстрела перевели в другой барак и вскоре отправили в Ленинград, где шло следствие по «академическому делу». Все повторялось: опять Дом предварительного заключения, только людей в нем заметно прибавилось, и снова допрашивал

следователь Стромин. Но год назад Анциферова допрашивали как «рядового» участника кружка Мейера, а теперь от его показаний ждали многого. По сценарию ОГПУ во «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России» входило руководство Центрального бюро краеведения (ЦКБ), научным сотрудником которого был Анциферов, и его показания должны были подтвердить этот вымысел. За «признание» ему было обещано смягчение прежнего приговора и скорое освобождение.

Николай Павлович производил впечатление мягкого человека, Стромин знал о его глубокой привязанности к семье и был уверен в успехе. Действительно, в отличие от Н. С. Штакельберг, Анциферов охотно отвечал на вопросы о сотрудниках ЦКБ — «...я поставил перед собой легкую задачу. Я решил написать все хорошее, что я знал о своих товарищах», — и Стромин в гневе рвал исписанные им листы. Анциферов упорствовал, несмотря на ухищрения своего мучителя, на тяжелое свидание с матерью, на встречу с маленькой дочкой, после которой он «плакал, нет, не плакал, рыдал, всхлипывая как маленький. Вся моя сломленная жизнь зашевелилась во мне, причиняя нестерпимую боль». От его выбора зависели судьбы его матери и детей, но «здесь нет места компромиссу. Или — или. Значит, выбор нужно сделать окончательный, и я выбираю смерть». Будущего не было, и в одиночной камере Николай Павлович вызывал в памяти прожитое, горячо молился, во сне к нему приходила Таня, и он навсегда запомнил, как «стоял перед голой, пустой стеной своей камеры, преисполненный счастьем, и чувствовал, что лицо мое сияет. Я сознавал тогда, что ухожу из жизни победителем». Память о прошлом может стать опорой или наказанием человека: через несколько лет Анциферов узнал о расстреле Стромина и пожалел его — что тот должен был пережить перед своим концом! Не добившись от Анциферова ни одной уступки, ни единого слова лжи, его приговорили к пяти годам концлагеря с зачетом предварительного заключения.

После работы на строительстве Беломоро-Балтийского канала Анциферов был освобожден и в 1933 году вер-

нулся в Ленинград. Он писал, вспоминая об «академическом деле»: «Я пережил чувство гордости за своих коллег. Мы, представители „гнилой интеллигенции“, в большинстве устояли. Не писали „романов“. А собранные следствием романы были настолько жалки, что не дали материала для постановки „шахтинского“ дела[1] научной интеллигенции». В книге воспоминаний «Из дум о былом» Николая Павловича Анциферова много цитат из стихов Александра Блока, его жизнь проходила под знаком этой поэзии. Он особенно любил строки из пьесы Блока «Роза и крест»: «Сердцу закон непреложный — Радость — Страданье одно!» Радость — Страданье — так можно сказать о его собственной судьбе. В 1934 году Анциферов переехал в Москву, вернулся к научной работе и был снова арестован в 1937 году. Его жизнь продолжала идти по краю пропасти: после двух лет лагеря в Уссурийском крае его дело пересмотрели и он вернулся в Москву. Дети оставались в Ленинграде, сын Светик умер во время блокады, Таню фашисты угнали из оккупированного Детского Села на работу в Германию. «Когда я начал писать эти воспоминания, я думал о своих детях: пусть они, читая эти страницы, повторят в своей душе путь моей жизни. Детей у меня больше нет: их отняла война». В 1948 году Николай Павлович узнал, что Таня жива, что после Германии она попала в США и стала сотрудником радиостанции «Голос Америки» — это известие было последним чудом в его судьбе. «Благодаря тому, что моя жизнь была очень содержательна событиями, думами, переживаниями, — начинал Анциферов свои воспоминания, — мне мой жизненный путь кажется чрезвычайно длинным. И это радует меня».

[1] «Шахтинское» дело — судебный процесс над горными инженерами Донбасса, проходивший в Москве в мае—июле 1928 г. Во время суда обвиняемые делали ложные признания во вредительстве, которым якобы занимались по заданию «Парижского центра».

Большие перемены
(Ленинград в конце 20-х — начале 30-х годов)

Продажа культурных ценностей. Отношение города к коллективизации. Приток новой «рабсилы». Мужики. Николай Олейников и Дмитрий Жуков. Первые итоги соцстроительства. Новая аристократия. Трудности жизни. Нищие жертвователи. «Голубые е́ды». Ложное пространство архитектуры и жизни. Праздники и будни 1934 года. Убийство Кирова и его последствия

Мы знаем, что большевики не были бессмысленными разрушителями и злодеями, у них была великая позитивная идея — преобразование мира, а для начала — доставшейся им России. Возглавить мировую революцию могла только индустриально развитая страна, поэтому следовало в кратчайшие сроки возродить и укрепить российскую индустрию, а для этого требовалась мобилизация всех сил народа. Как мобилизовать народ, они знали с самого начала — в 1920 году на IX съезде партии Троцкий клеймил «буржуазный предрассудок о том, что принудительный труд непроизводителен», потому что именно такой труд заложен «в основе нашего хозяйственного строительства, а стало быть, социалистической организации вообще». Строителям будущего не сулили скорых благ: сначала наладим добычу сырья, потом восстановим производство, потом — производство средств производства, потом — тяжелую промышленность и лишь «в стадии последнего звена хозяйственной цепи — производство средств потребления, непосредственно осязательный для масс плод работы», — говорил Троцкий.

К концу XIX века миром завладела идея, что развитие техники обеспечит человечеству счастье и процветание,

европейская литература описывала будущее «машинное» блаженство, искусство воспевало чудеса производства. В 1922 году в петроградском Большом Драматическом театре была поставлена пьеса немецкого драматурга Георга Кайзера «Газ». Автор оформления спектакля Ю. П. Анненков вспоминал: «Все элементы декораций — схематический... аспект завода — колеса, трубы, цепи, спирали, заполнявшие громадную сцену во всю ее глубину, высоту и ширину, ожили благодаря ряду механизмов... Освещение тоже было динамическим, и даже по протянутым через сцену проволокам проносились электрические искры». Премьеру спектакля приурочили к пятой годовщине Октября, спектакль был встречен с восторгом, критик Адриан Пиотровский писал: «Герой, не в переносном, а в прямом смысле — завод, сначала живущий шестернями и колесами, потом гибнущий, лежащий мертвым и, наконец, снова восставший. Действующие лица, рабочие — только проявление этого гигантского героя». Вот идеал новой жизни — восставшие заводы, грандиозные стройки и каналы, превращение земельных угодий страны в единое пахотное поле, а отдельных крестьянских хозяйств в коллективные. Советская Россия скоро станет Новым Светом, новой Америкой — в конце 20-х годов с этим утверждением были согласны и побывавшие в СССР иностранцы, ведь Запад переживал экономический кризис, а здесь такой размах! Американский писатель Дос Пассос, посетивший СССР в 1928 году, писал: «Я полагал себя достаточно энергичным человеком, но эти люди могли дать мне сто очков форы... Я чувствовал, что, несмотря на уничтожение многих талантливых людей при ликвидации наиболее образованных правящих классов, русские по-прежнему могли рассматриваться как один из основных резервуаров человеческого разума».

Разум и энтузиазм, безусловно, необходимы, но кроме них для построения социализма требовались деньги. В начале 30-х годов ОГПУ проводило аресты зажиточных людей, принуждая их «добровольно» пожертвовать золото и валюту в фонд индустриализации. Этих людей помещали в переполненные камеры-«парилки», угрозами,

издевательствами, арестами родственников вынуждали отдать все принадлежавшие им ценности и тогда освобождали. Аресты с «политико-экономической целью» нередко приводили к трагедиям: в 1931 году покончил с собой известный в Ленинграде врач Б. И. Ахшарумов, он вернулся из тюрьмы с агентами НКВД, отдал им шкатулку с ценностями, а потом принял яд. Его спасли, но после перенесенного в тюрьме он не мог жить и через несколько дней выбросился из окна своей квартиры. Для пополнения государственной казны годились все способы, в ведомстве ОГПУ было предприятие под скромным названием «утильзавод № 1». На этом заводе путем химической обработки смывали позолоту с иконостасов, киотов, икон, церковной утвари и с золоченых листов храмовых куполов. К началу 30-х годов утильзавод ОГПУ ежемесячно получал таким образом около тридцати килограммов золота, которое превращали в слитки. Когда было решено закрыть московский храм Христа Спасителя, хозяйственный отдел ОГПУ обратился во ВЦИК с предложением отдать утильзаводу № 1 листы покрытия его куполов: «...в настоящее время оставлять на куполах до 20 пудов золота (1/2 миллиона валюты) является излишней для СССР роскошью, а реализация золота будет большим вкладом в дело индустриализации страны». Это предложение было одобрено.

Средством пополнения казны стала продажа культурных ценностей, унаследованных СССР от старой России. Их распродавали с первых лет советской власти, в начале 20-х годов антикварные магазины Европы были заполнены произведениями искусства из России, которые везли за границу пароходами и целыми железнодорожными вагонами. В 1923 году «Красная газета» сообщала, что «Петроградское бюро по учету и реализации госфондов готовит к отправке в Германию и Англию большие партии персидских, бухарских и текинских ковров со своих складов. Первые партии, отправленные в прошлом году, распроданы полностью». Значительная часть вырученных средств предназначалась для подготовки мировой революции и не возвращалась в Россию. Апофеозом этих

распродаж стал план Наркомфина 1925 года «реализовать все ценности б. императорского двора. Среди них — корона, скипетр, держава и др. Все драгоценности оценены в 300 милл. руб. Наркомфин отправляет специальную комиссию в Америку для выяснения возможности их реализации и переговоров с американскими богачами». На продажу выставляли корону, в которой короновалась Екатерина II, скипетр, «также сделанный при Екатерине II — в нем алмаз „Орлов“ в 195 карат. Это старый индийский камень, единственный в мире по качеству. Среди прочего — две малые короны, одна сделана при Павле, другая для последней императрицы. Есть огромное количество драгоценностей, среди них самые крупные в мире сапфир и изумруд», — сообщали газеты. Сделка сорвалась из-за кампании в прессе русской эмиграции, получившей на Западе общественную поддержку.

В декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) принял директивы по составлению пятилетнего плана развития социалистического хозяйства, для подъема экономики требовались деньги, и взоры правительства опять обратились к музеям — что бы продать? Время, выбранное для продажи произведений искусства, было хуже некуда: из-за экономического кризиса спрос и цены на них на Западе упали, но это не смущало вождей — можно продать и дешево, все равно в конечном итоге все будет нашим. В. П. Зубов, который к тому времени был эмигрантом, жил во Франции, вспоминал свой разговор с советским «должностным лицом, посланным по делам продажи искусства. „Советское государство, — сказал тот, — не национальное государство, а в теории ядро всемирного союза советских республик. Поэтому нам безразлично, будет ли какое-нибудь произведение искусства находиться в России, в Америке или еще где-либо. Деньгами, которые нам буржуи платят за эти предметы, мы произведем мировую революцию, после чего возьмем их у буржуев обратно“». С решением о продаже культурных ценностей был не согласен А. В. Луначарский, Академия наук (еще не сломленная) протестовала против разграбления Эрмитажа. Академик С. Ф. Ольденбург писал Калинину

в 1928 году: «Те жалкие деньги, которые мы могли бы получить, не помогут при наших громадных потребностях, а лишат нас величайших культурных ценностей и опозорят на весь мир. Нельзя делать таких государственных ошибок, воображая, что продажей картин наша громадная страна со 150 млн жителей может поправить свои финансы... наживутся негодяи, мы получим гроши, а сраму будет без конца».

С 1928 года началось планомерное разграбление музеев. Глава Наркомата внешней торговли А. И. Микоян представлял на утверждение Политбюро списки предметов искусства для продажи, там возражений не было. Продажами ведал экспортный отдел Наркомвнешторга — Антиквариат, чаще всего они производились через посредников; так, немецкая фирма Р. Лепке выставила в ноябре 1928 года на берлинский аукцион предметы искусства и мебель из Эрмитажа и ленинградских пригородных дворцов. С начала 20-х годов, когда началась распродажа российских ценностей, в Европе и США появилось множество фирм-посредников, которые баснословно наживались на этом деле. Об одном из посредников, американском миллионере Арманде Хаммере, стоит сказать особо: до начала 80-х годов он регулярно наведывался в Ленинград, и известие о его приезде вызывало смятение у музейщиков, особенно тревожились сотрудники Русского музея. Этот «друг Советского Союза» привозил в дар какое-нибудь третьестепенное произведение искусства, о чем широко оповещалось, а взамен получал из запасников Русского музея шедевры живописи русского авангарда (об этом скромно умалчивалось). Но эти набеги престарелого хищника мелочь по сравнению с его деятельностью в 20—30-х годах. Арманд Хаммер родился в Одессе, в семье социал-демократа, который был хорошо знаком с Лениным; в юности и сам Арманд лицезрел вождя. Этот молодой человек удачно совместил коммунистические идеалы родителя с коммерцией, с 20-х годов он был агентом секретных служб СССР — через таких агентов проводилось финансирование зарубежных сторонников СССР. «Как рассказывали современники, —

писал журналист Борис Станишев, — тридцатикомнатный особняк Хаммера в Москве быстро превратился в перевалочный пункт, откуда в Америку пароходами уплывали царский фарфор, ювелирные украшения, картины, иконы, книжные раритеты, мебель. Именно Хаммер увез от нас практически все наследие Фаберже. По некоторым данным, советские представители даже передали Хаммеру старые клейма мастера, и американец начал массовую подделку изделий этой фирмы». Агент мировой революции никогда не забывал собственных интересов и нажил миллионы на спекуляции российскими ценностями.

Вначале Антиквариат доверил в Эрмитаже отбор экспонатов на экспорт специалистам-искусствоведам, но спецы не оправдали доверия: они отбирали не лучшие экспонаты и злостно уклонялись от продажи шедевров. Тогда отбор поручили сектору Наркомата просвещения «Главнаука», и дело заладилось: в Эрмитаж пришло распоряжение наркома отобрать для продажи 250 картин стоимостью не ниже 5 тысяч рублей каждая, выдать золотые и платиновые предметы (в феврале 1930 года Эрмитаж передал Антиквариату 347 золотых и 17 платиновых монет из нумизматической коллекции). История полна странных совпадений: многие знаменитые произведения искусства попали в Россию в царствование Екатерины II, императрица собирала коллекцию, пользуясь помощью и советами Вольтера, энциклопедистов Дидро и Гримма. Через 150 лет распоряжения об изъятии шедевров подписывал зам. заведующего сектора «Главнаука» товарищ Во́льтер — так жизнь Эрмитажа прошла путь от Вольте́ра до Во́льтера. Руководство музея с болью расставалось с собраниями гравюр, с нумизматическими коллекциями, но когда в начале февраля 1930 года Антиквариат потребовал выдать скифское золото, решительно отказалось. Однако в феврале был взят для продажи первый шедевр из собрания Эрмитажа — портрет Елены Фурман работы Рубенса. Сотрудники музея были в шоке, руководство Наркомата просвещения, возможно, тоже было в некотором смущении, поэтому картину велели передать, «приняв все меры для соблюдения строжайшей секретности этого дела». Как известно, труден первый шаг, а дальше пошло-поехало: в 1930 году из Эрмитажа исчезли полотна Рембрандта, Рубенса, Хальса, Ватто, позже работы Веласкеса, Рафаэля, Боттичелли, Перуджино, Тициана. Все происходившее в городе: аресты ученых, «академический процесс», разграбление Эрмитажа — воспринималось ленинградской интеллигенцией как культурная катастрофа — Ленинград превращался в провинцию. «Да, ужасно, — сказала об Эрмитаже одной из собеседниц Анна Ахматова, — просто провинциальный музей, мы уж теперь туда и не ходим». Но многие ходили, осматривали залы и отмечали новые потери. «В Эрмитаже нет ничего особенного. Кроме двух картин Рубенса... еще взяли Рембрандта чудесный портрет старушки», — записала в феврале 1930 года Е. Г. Ольденбург, а в сентябре: «Была в Эрмитаже часа три. Картина Рембрандта „Даная“ снова на своем месте»[1].

Представители Антиквариата были мало сведущи в коммерции, и покупатели пользовались этим, сбивая цены: миллионер, «нефтяной король» Гюльбенкян купил две работы Рембрандта, полотна Ватто, Тер Борха и Ланкре из собрания Эрмитажа, заплатив за пять картин 120 тысяч фунтов, что было очень дешево даже по тем временам. Ему предложили купить скульптуру Гудона «Диана», но он торговался, тянул и наконец прислал своего агента, чтобы тот проверил сохранность скульптуры. Под присмотром этого агента в Эрмитаже тайком, ночью, при свечах, упаковывали скульптуру для отправки во Францию. В Антиквариате были горды — они выручили за шедевр целых 20 тысяч фунтов! Потом Гюльбенкян прикупил еще кое-что, среди прочего «Портрет старика» Рембрандта — лучшего вложения денег было не придумать.

Продажа произведений искусства стала средством подкупа иностранных государственных деятелей: министр финансов США Э. Меллон оказался обладателем 21 шедевра из картинной галереи Эрмитажа: полотен Ремб-

[1] Бедная «Даная», какой-то рок связал ее с мутными политическими страстями: в 30-х гг. она избежала продажи, а через полвека литовский националист облил ее кислотой из «политического протеста».

рандта, Ф. Хальса, Веласкеса, Рубенса, Боттичелли, Перуджино, Рафаэля, Тициана. Говорили, что за это Меллон помог СССР получить американские государственные кредиты. Его счастье оказалось недолгим, в США мистера Меллона обвинили в неуплате части налогов, и ему пришлось пожертвовать коллекцию Вашингтонской картинной галерее. На еще не проданные шедевры зарился Арманд Хаммер, он собирал деньги для покупки «Мадонны Литта» и «Мадонны Бенуа» Леонардо да Винчи, но внезапно российское «эльдорадо» закрылось для охотников. Руководство Эрмитажа решило сыграть на чувствительных струнах души «кремлевского горца», и в октябре 1932 года заведующий Отдела Востока И. А. Орбели обратился к вождю с письмом. Он писал, что деятельность Антиквариата «приняла угрожающие Эрмитажу формы, а в настоящее время заявками Антиквариата ставится под угрозу и сектор Востока, притом в форме, которая неминуемо должна будет привести к полному крушению нашего дела». Сталин не замедлил ответить: «Уважаемый товарищ Орбели! Ваше письмо от 25 X получил. Проверка показала, что заявки Антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстанция обязала Наркомвнешторг и его экспортные органы (Антиквариат) не трогать сектор Востока Эрмитажа. Думаю, что можно считать вопрос исчерпанным. С глубоким уважением И. Сталин. 5.XI. 32». После этого продажи прекратились, а то, что еще не успели сбыть за границей, было возвращено в страну. Государственная авантюра с продажей культурных ценностей стоила Эрмитажу утраты почти 40 тысяч экспонатов, за короткое время было за бесценок спущено то, что собиралось столетиями. А вырученные деньги оказались каплей в море нужд СССР, потому что в это время власть разрушила основы экономики страны проведением всеобщей коллективизации.

Коллективизация сравнима со смещением глубинных геологических пластов, она изменила страну и облик народа. В начале 30-х годов около тридцати миллионов крестьян покинуло деревню; в 1930—1931 годах не менее десяти миллионов[1] из них было раскулачено, выслано на спецпоселения, отправлено в концлагеря или расстреляно, а остальные, спасаясь от коллективизации, рассеялись по стране, хлынули в города. Кочевье «крестьянского народа» продолжалось до самой войны, массы оборванных, голодающих людей заполняли вокзалы, умирали на улицах городов. Высланные на спецпоселения едва успевали хоронить умерших, их поселки в голой степи, тайге и тундре сразу обрастали могилами, в первую очередь погибали старики и дети.

Насильственная коллективизация разрушила не только уклад жизни, но и психологию крестьянства, вытравила из душ извечную привязанность к земле. В 1931 году Н. П. Анциферов встретил в тюрьме раскулаченного мужика, которого тревожило «одно — в концлагере или в ссылке — дадут ли ему работу на земле. Он готов работать на кого угодно, кем угодно, лишь бы его не оторвали от земли». Но колхозная жизнь вытравляла тягу к земле и даже привязанность к жизни, в записях тех лет нередко встречается наблюдение: «все колхозники почему-то лежат». Так бывало во времена великих бедствий; Н. Я. Мандельштам вспоминала: «Моя мать, мобилизованная как врач во время одного из дореволюционных голодов в Поволжье для помощи деревне, рассказывала, что во всех избах лежали, не двигаясь, даже там, где еще был хлеб». Видно, есть предел душевного истощения и отчаяния, за которым человек или даже целый народ утрачивает волю к жизни. В византийских хрониках сохранились свидетельства о временах, когда государственные поборы становились невыносимы и начинался крестьянский мор: люди переставали работать, двигаться и ложились умирать в своих домах, даже если у них оставалась вода и пища. Тогда великая империя пришла в запустение не от нашествия врагов, а от мора.

[1] Данные приводятся по публикации в сборниках «Неизвестная Россия. XX век»: книга 1, с. 192; книга 2, с. 325 (М.: Историческое наследие, 1992).

Современники видели, что в стране совершается гигантский переворот, но оценивали его по-разному. Конечно, немногие представляли подлинные масштабы репрессий при «ликвидации кулачества как класса», эти данные скрывались. Но те, кто становился свидетелем бедствий ссыльных крестьян, отправляли отчаянные письма в Москву. В 1930 году жители Вологды писали «всесоюзному старосте» Калинину, что в город привезли 35 тысяч раскулаченных, превратили церкви в бараки, в каждую набили до двух тысяч человек, что в ожидании пересылки люди погибают от холода и эпидемий и только за месяц у них умерло почти три тысячи детей. «Поэтому ничего не будет удивительного, если вы в скором времени услышите, что померли не только дети сосланных, но и все дети г<орода> Вологды». Из Енисейска Калинину писали, что ссыльные «осаждают жителей города и деревни нищенством и надрывают всем сердце словами и горем своим, и их горе грызет всем сердце», что люди на спецпоселениях от голода становятся «дикими зверями». Из колхозов в Москву шли мольбы крестьян о защите от местного начальства, потому что теперь всем в селе заправляют лодыри, воры и пьяницы. Казалось, вопль крестьянской России мог всколыхнуть небеса, но небеса над СССР, похоже, стали другими. По словам Н. Я. Мандельштам, «поколения, возмужавшие перед войнами, мировыми и гражданскими, были психологически подготовлены к пониманию истории как целеустремленного потока человеческих масс, которые управляются теми, кто знает, где цель... Нам внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости...» Даже те, кто писал Калинину о страданиях ссыльных, рассуждали, сообразуясь с новым понятием: «А если призадуматься серьезно, что будет от этого какая-нибудь польза? Если бы, прошедши через эти трупы детей, мы могли продвинуться ближе к социализму или к мировой революции, то тогда другое дело... но в данном случае ни к какой цели не прийти». Страшная логика, и все же заметим, что, вопреки прививке бесчеловечной морали, этим людям «грызла сердце» чужая беда.

Тем, кто не сталкивался впрямую с ужасом происходящего или закрывал на него глаза, открывался простор для отвлеченных рассуждений. «Я изучил народничество — исследовал скрупулезно писания Николая Успенского, Слепцова, Златовратского, Глеба Успенского — с одной точки: что предлагали эти люди мужику?.. — писал в 1930 году К. И. Чуковский. — Замечательно, что во всей народнической литературе ни одному даже самому мудрому из народников, даже Щедрину, даже Чернышевскому — ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически — и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам». Чуковский поделился своим открытием с Ю. Н Тыняновым: «Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Ст<алин>ым как историк... Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи». Оправдание насилия во имя будущего счастья по сути означало соучастие, такая позиция уродовала человека, превращала в марионетку зла, и диалог замечательных российских интеллигентов завершался в духе Салтыкова-Щедрина: Тынянов просил никому не говорить о его восхищении Сталиным, ведь «столько прохвостов хвалят его [Сталина] теперь для самозащиты», а не искренне. «Я говорил ему, провожая его, — продолжал Чуковский, — как я люблю произведения Ленина. — „Тише, — говорит он. — Неравно кто услышит!“ И смеется». Восторг освобождения от собственной воли, от сомнений, от личной ответственности опьянял, и когда Чуковский писал о «прелестной улыбке» Сталина, о счастье видеть, как «ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый», он был искренен. Интеллигенция, с ужасом отшатнувшаяся от жестокости первых советских лет, теперь добровольно отказывалась от бремени «отщепенства», от свободы мысли, от неприятия зла. Пройдут десятилетия, и эти же люди станут уверять, что так думали и чувствовали *все*, но это ложь — ни задавлен-

ный нищетой народ, ни загубленное крестьянство, ни сохранявшая ясность видения интеллигенция не испытывали любви к Сталину. Иван Петрович Павлов направил в 1934 году в Совнарком письмо, в котором сравнивал СССР с древними деспотиями и обвинял государство в сознательном растлении народа: «Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли можно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства». Подобные мысли и выводы можно встретить во многих записях современников.

По словам Н. Я. Мандельштам, тогда «город не замечал деревню», но как было не заметить появления высохших от голода людей, ютившихся на свалках или в землянках в окрестностях города. Аркадий Маньков записал в дневнике, что по улицам Ленинграда «много бродит, клянча милостыню, людей в лаптях, онучах и латаных широкополых полушубках. Они скитаются по тротуарам целыми семьями, с маленькими ребятами, и просят хором, вытягивая руки. У них темно-коричневые испитые лица». Город не замечал деревню, но опять вернулась карточная система, нормированное распределение хлеба, а толпы недавних хлебопашцев вымаливали на улицах подаяние. Разорение деревни сразу сказалось на росте населения Ленинграда, оно за короткий срок увеличилось почти в два раза[1], а значит, обострились жилищная, транспортная и другие проблемы. Бежавшие из колхозов шли на производство, на самую тяжелую работу, лишь бы осесть в городе, они жили в ужасных условиях — в разгороженных занавесками бараках, в переполненных общежитиях.

Городские власти решили разом решить две задачи: уменьшить жилищный кризис и «почистить» Ленинград, изменить социальный состав его населения. Административная высылка «антисоциальных» и «нетрудовых элементов» началась с первых советских лет, когда из города выселяли аристократов, не служивших в Красной армии офицеров, буржуазию, к концу 20-х годов стали выселять нэпманов, церковников, потом принялись за кустарей, извозчиков и прочую мелочь. Порой у комиссии по выселению возникали сложности, к какой, например, категории отнести букинистов: «Мы запросили Ленсовет, Ленсовет запросил НКВД, как быть с букинистами, так как среди них есть положительный элемент, который принес много пользы, собирая книги... Вопрос тянулся долго, потом пришло разъяснение, что Ленсовету дозволяется определять, если этот букинист полезный человек, его не выселять, а если вредный, то выселять. Сейчас этих букинистов имеется 30 человек». В 1929 году комиссия по выселению освободила для нужд города 24 тысячи квадратных метров жилья, отправив прежних хозяев этих метров обживать сибирские края. Одновременно с выселением проводилось «уплотнение», и жильцы коммунальных квартир оказались в еще большей тесноте и обиде — грубые, шумные, непривычные к условиям городской жизни подселенцы досаждали всем.

Еще недавно казалось, что жизнь налаживается, а тут это нашествие мужиков! Тогда в арсенал городской перебранки прочно вошло презрительное: «Эх ты, деревня!» Из-за притока крестьян город менялся на глазах, и эти перемены его не красили. «На Невском страшная толчея на панелях... — писал в 1931 году Даниил Хармс. — Меня толкают встречные люди. Они все недавно приехали из деревень и не умеют еще ходить по улицам. Очень трудно отличить их грязные костюмы и лица. Они топчутся во все стороны, рычат и толкаются. Толкнув нечаянно друг друга, они не говорят „простите“, а кричат друг другу бранные слова... В трамвае всегда стоит ругань. Все говорят друг другу „ты“... Люди вскакивают в трамвай и соскакивают на ходу. Но этого делать еще не умеют и скачут задом наперед. Часто кто-нибудь срывается и с ревом и руганью летит под трамвайные колеса». Пришлых винили во всем: в безработице, в жилищном кри-

[1] В 1926 г. в Ленинграде был 1,6 млн жителей, а в 1932 г. — 2,8 млн.

зисе и товарном голоде, а пресса подтверждала: да, все трудности связаны с притоком крестьянских масс. Трудности и нужда не способствуют добрым чувствам, у горожан не было сочувствия к беглецам из деревни. А у пришлых крестьян был свой счет к городу: деревню грабили, чтобы обеспечить едой города, в начале 30-х годов голод сгубил пять миллионов крестьянских жизней, а город откликнулся на чужую беду бойкой частушкой:

Телятину, курятину буржуям отдадим,
А Конную Буденную мы сами поедим[1].

Город — ненасытное чудовище, которое готово пожрать не только «конную-Буденную», но все плоды труда крестьян и сами их жизни. В 1932 году у К. И. Чуковского был неприятный случай: зашел он в парикмахерскую побриться, разговорился с парикмахером, тот сказал, «что бежал из Украины, оставил там дочь и жену. И вдруг истерично: „У нас там истребление человечества! Истребле-ние чело-вечества. Я знаю, я думаю, что вы служите в ГПУ (!), но мне все равно: там идет истреб-ле-ние человечества. Ничего, и здесь то же самое будет. И я буду рад, так вам и надо!“»[2] А в руках у него, между прочим, бритва, а в голове полная чепуха — это Корней Иванович-то из ГПУ! Нет, народники ошибались, они слишком идеализировали мужика.

Давно ли русская литература скорбела о мужицкой доле, а молодежь из образованных классов готова была жизнь положить за «народ» — и как все переменилось! Видно, тех людей извели под корень, а может, «народ» подменили? Грубые, заполонившие город люди никак не походили на героев тургеневских «Охотничьих рассказов» или некрасовских стихов, теперь их считали не жертвами, а дезертирами колхозного строительства. Однако, как и раньше, были люди, которые видели в крестьянах *тот*

[1] В 1932–1933 гг., во время голода на Украине и юге России, СССР, продавал за границу хлеб и сельхозпродукты, т. к. на индустриализацию требовались деньги.

[2] Голодом вымаривали только крестьянство; в городах ввели карточную систему, но горожане не умирали от голода.

«народ», и их записи перекликаются с литературой прошлого. Леонид Пантелеев стал свидетелем встречи мужиков в пригородном поезде: один, крепкий и основательный, по виду был из раскулаченных, другой был молод и худ. Оба в ветхой одежде, у старшего «на ногах что-то вроде ночных туфель: „Вот до чего дожили. В опорках хожу. Голенища были, да продал“, — сказал он». Они затянули протяжную песню, и «вдруг, не сговариваясь, запевают: „Спаси Го-осподи, люди твоя и благослови достояния твоя“... Старший пристально смотрит на товарища. — „Давно тебя не видел, похудел ты, брат“. — „Похудеешь. Сижу на пище святого Антония, а работаю на 275 процентов“. Старший вдруг закусывает губу, закрывает руками лицо и глухо, навзрыд плачет». Эта сцена в пригородном поезде 1932 года кажется списанной из Некрасова. Другой эпизод того времени был вырван из темноты слепящими фарами автомобиля — Пантелеев успел отшатнуться, а молодой «человек бездомного вида, в потертой кожаной тужурке, с забинтованными ногами, обутыми поверх бинтов в рваные галоши», едва не угодил под колеса. Он сказал Пантелееву, что не боится смерти: «Чего ее бояться. И жизнь не такая уж отличная».

Незавидная жизнь рабочих из крестьян еще больше ухудшилась после декабря 1932 года, с выходом постановления «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и об обязательной прописке паспортов», с 1933 года у граждан СССР появились новые паспорта. Правда, не у всех — колхозному крестьянству, чтобы пресечь бегство из деревень, паспортов не полагалось, и они четыре десятилетия оставались на положении крепостных. Кроме того, целью паспортизации было удаление из городов «лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях»: по новым правилам у уволенных с работы крестьян отбирали паспорта, они должны были в течение десяти дней покинуть город и вернуться в колхоз. В Ленинграде резко увеличилось число бездомных, люди цеплялись за любую возможность остаться, они жили в подвалах, на чердаках, в кладбищенских склепах — такого у Некрасова не вычитаешь. Среди записей об этих

отверженных в одном из них неожиданно узнаешь черты кроткого человека Платона Каратаева. В 1933 году Аркадий Маньков записал, как подошел к нему на трамвайной остановке «низенький человек, в оборванном засаленном пиджаке, в разорванных башмаках, обвязанных толстой веревкой... Просительно улыбался: — Не одолжишь ли гривенник, доехать до Нарвских?.. — И после паузы, в течение которой я вынул из кармана пальто два пятака и впихнул ему в руку, добавил: — А там у Нарвских еще попрошу, до Лигова нужно ехать — на двух трамваях». В Лигове он жил на чердаке, а до того, пока работал в порту, в общежитии, да вот уволили. «Теперь паспорта не дают... на родину в колхоз посылают, а какой я к черту колхозник, когда ни кола, ни двора своего... — А куда ехать-то? — спросил я, сраженный беспечностью и добродушием голоса моего собеседника. — На Урал... Что хочешь, то и делай... А и сейчас с голоду помираю... Побираюсь (и все улыбается, все улыбается!)... И вдруг неожиданно заключил: — Э, да что говорить! Человечек я маленький, а мир-то во какой — большой... Куда меня ни ткни, везде мне хорошо будет... Подошел трамвай. Он ловко вскочил в вагон и первый из всех вошедших протянул кондуктору руку с поданным ему гривенником». И поехал маленький человек до Нарвских ворот, до Лигова, а там на Урал, мир-то вон какой большой!

В комнате дома на Разъезжей улице за столом сидели двое мужчин, перед ними была бутылка водки, вареная картошка, лук в постном масле — нехитрое застолье конца 1929 года. Все было обычным — коммуналка с темным коридором, тусклый свет в кухне, шарканье соседей за дверью, необычной была только комната с экзотическими масками на стенах, куклами-самураями в парчовых одеждах, яркими расписными веерами. Ее хозяева, Дмитрий и Лидия Жуковы, недавно вернулись из Японии, где Дмитрий Петрович два года работал в советском полпредстве. Перемены на родине они почувствовали сразу, когда на вокзале мать Лидии спросила: «А еду вы привезли?» Жуковы не знали, что в Ленинграде плохо с едой, и везли в подарок нарядную одежду, книги, сувениры, пластинки. Они пригласили друзей, свалили в кучу все это великолепие, пусть каждый выберет что-нибудь на свой вкус. Но и вкусы друзей изменились, «пришел Митя Шостакович, — вспоминала Лидия Жукова, — долго и деловито разглядывал рубашки, пижамы — этот вечный дефицит, — наткнулся на коробочку чая „Липтон“, заколебался было, но тут он заметил драгоценный кусочек мыла с белолицей японочкой на обертке» и выбрал его. Оказывается, за время их отсутствия в Ленинграде исчезло хорошее мыло.

Жуковым было непросто определиться в новом, перевернутом мире, и именно тогда у Дмитрия Петровича появился новый друг, писатель Николай Макарович Олейников. Он зашел после их возвращения, потом стал частым гостем, и сейчас они неспешно беседовали за столом, два молодых человека с героическим прошлым. Дмитрий Жуков был одним из организаторов ленинградского комсомола, «тринадцатилетним мальчишкой вступил он в кружок рабочей молодежи, и из таких разрозненных кружков пятеро ленинградских подростков, и он в том числе, создали первую в городе ячейку Коммунистического Союза молодежи», — писала Лидия Жукова. Для таких, как он, были открыты все пути: Дмитрий Жуков окончил Коммунистический университет имени Зиновьева, потом Институт восточных языков имени Енукидзе, работал в Японии, а вернувшись, стал в свои 26 лет заведующим сектором истории культур и искусств Востока в Эрмитаже. Его карьеру определили не только комсомольские заслуги и партийный стаж, он был талантливым ученым, и со временем наука стала занимать его больше, чем мировая революция.

У Николая Олейникова тоже была славная революционная биография: в 1917 году парень из патриархальной казачьей семьи вступил в красноармейский отряд, провоевал всю гражданскую войну и в 1920 году стал членом ВКП(б). В 1925 году Олейников приехал из Донбасса работать в газете «Ленинградская правда», но его при-

званием была не журналистика, а литература, и вскоре он стал редактором детского отдела Госиздата. Детский отдел Госиздата — одна из легенд советской литературы, его сотрудниками и авторами были замечательно талантливые люди: Самуил Маршак, Евгений Шварц, Борис Житков, Даниил Хармс, здесь создавалась новая литература для детей. Молодой провинциал Олейников занял достойное место в этой плеяде, он был неистощимо изобретателен, талантлив, умен и блистательно остроумен. Его крутой чуб и скрытая за внешней ленцой жесткость выдавали упрямую казачью породу, его любили, но побаивались его острословия. В литературных кругах повторяли остроты и стихи Олейникова, которые считали блестящими безделицами, но эти «легковесные» стихи по праву остались в русской поэзии XX века. Он легко и уверенно шел по жизни, был слишком силен и независим, чтобы искать чьей-то дружбы, но с Дмитрием Жуковым подружился — молодые люди из поколения победителей, невеселые, зоркие остроумцы, сходно оценивали перемены. Лидия Жукова запомнила двустишие Олейникова:

Колхозное движение, как я тебя люблю,
Испытываю жжение, но все-таки терплю.

По ее словам, Олейников явно отличался от своих фатоватых коллег, он «смахивал на колхозника» и ближе к сердцу принимал трагедию крестьянства. Он помнил «расказачивание», но раскулачивание и насильственная коллективизация были еще страшнее, и в строках Олейникова о колхозном движении слышится боль и беспомощность человека перед лицом катастрофы. Если события нельзя ни изменить, ни смириться с ними, на помощь приходит ирония. Ирония в стихах ленинградских поэтов Александра Введенского, Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова окрашена крайним пессимизмом; они писали об абсурдном мире, подчиненном закону круговорота веществ в природе, живущие в котором пожирают друг друга, и в этом смысл бытия. Но жившие в этом мире современники не замечали ужаса и веселились, слушая Олейникова, хохотали,

читая Зощенко. Они с удовольствием повторяли иронические стихи Олейникова, такие, как обличение «неблагодарного пайщика»:

Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
...Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.

Николай Олейников «испытывал жжение» от колхозов, а Дмитрия Жукова больше задевало происходившее в политике: 1929 год стал годом «великого перелома» не только для крестьянства, но и для его соратников по комсомолу. Кто бил «контру» на фронтах гражданской и добивал в ВЧК, кто громил церковь и искоренял буржуазную мораль, кто изобличал врагов и неустанно чистил свои ряды? Конечно, комсомольцы революционного призыва, Коммунистический Союз молодежи — молодая гвардия ВКП(б). Вожди считались с ними, Ленин называл их большевистской сменой, и они чувствовали себя равноправными в системе власти. Комсомольский молодняк той поры был фанатичен и самоуверен, отвергал все, что не вписывалось в рамки догм, и был радикальнее многих старших товарищей по партии. Комсомольцы поколения Жукова отрицали «вождизм», исключение делали только для Ленина, но еще популярнее в их среде был Троцкий. Они знали, что мирное время — только передышка перед схваткой с мировой буржуазией и сохраняли боевую готовность, но с середины 20-х годов в партийных верхах что-то разладилось, соратники Ленина обвиняли друг друга в грехах, за которые по революционным законам надо было ставить к стенке (что впоследствии и произошло). Борьба закончилась победой Сталина и высылкой из СССР Троцкого в 1929 году.

Раскол в партийных верхах вызывал разброд в комсомоле, он утрачивал политическую самостоятельность и сплоченность. Судьба коммунистической молодежи первого призыва во многом повторяла судьбу революционных матросов: они были необходимы вождям для захвата и удержания власти, а потом эта буйная вольница стала

ненужной и даже опасной. Матросская эпопея завершилась подавлением Кронштадтского восстания, «разоружение» комсомола происходило постепенно, но к концу 30-х бо́льшую часть комсомольцев первого призыва репрессировали по обвинению в троцкизме. Многие из них рано постарели; Э. Г. Герштейн вспоминала о знакомстве с одним из таких комсомольцев в 1929 году: «О нервозности, присущей и ему, и его товарищам, он говорил как о каком-то трофее. У одного дрожат руки, другой не может спать, если в щелочку пробивается свет, третий не выносит резких звуков... Все это — результат гражданской войны, а может быть, и работы где-нибудь в разведке или просто в ЧК. Между прочим, у этих комсомольцев, сколько я их ни встречала, была одна и та же излюбленная тема: воспоминания о первой жене-комсомолке, почему-то бросившей их... Вероятно, они оплакивали не своих ушедших подруг, а половодье чувств первых лет революции». Собеседник Герштейн с неприязнью говорил о Сталине, «он, как и все хоть немного думающие в ту пору комсомольцы, был антисталинцем». Их боевые подруги превратились в чиновниц или в советских сановниц и предпочитали не вспоминать о половодье чувств. На смену декларации «свободной любви» пришла новая установка: в социалистическом обществе недопустимо моральное разложение, которое неизбежно ведет к разложению политическому. Теперь на комсомольских собраниях осуждали не за «мещанское ханжество», а за распущенность и нарушение моральных норм. Студенты филологического факультета ЛГУ той поры запомнили череду собраний, на которых комсомольский коллектив факультета разбирался в любовном треугольнике: у студентов Борща и Грозы была одна на двоих жена, которая то и дело бросала одного и уходила к другому. Брошенный муж обращался с жалобой в комсомольскую ячейку, и коллектив вникал в семейные подробности. Легкомыслие жены-студентки измучило не только Борща и Грозу, но и комсомольскую организацию, и на очередном собрании всех троих вычистили из комсомола за моральное разложение.

С газетных страниц 1929—1930 годов не сходило число «пять»[1], оно повторялось как заклинание — пятилетний план, пятилетка, пятидневка. Задачей начавшейся в 1929 году первой пятилетки была перестройка всей экономики страны на основе социалистических принципов. Большевики уже пытались провести этот эксперимент при военном коммунизме, но столкнулись с таким сопротивлением, что пришлось отступить. Теперь было решено довести дело до конца. Примечательно, что, как и в первый раз, это начинание ознаменовалось «революцией календаря» — в 1929 году шестидневную рабочую неделю с выходным в воскресенье заменили пятидневкой с пятью рабочими и шестым свободным днем. Смысл новшества объясняли экономической целесообразностью и тем, что воскресный день отдыха связан с религиозной традицией, а значит, является пережитком прошлого. Но в изменении временного ритма была иррациональная основа — сокращение цикла «рабочие и выходной день» создавало иллюзию ускорения времени.

Успеху пятилетки было подчинено все, одним из средств пополнения государственных фондов стало открытие в 1930 году магазинов Торгсина[2], в которых за валюту и драгоценный металл можно было купить товары и продукты. Все было подготовлено для торжества социализма, и оно настало: жизнь страны разом отбросило в прошлое десятилетней давности. Многое напомнило о военном коммунизме: опустели магазины, аптеки, из продажи исчезло все самое необходимое. Возродилась уличная торговля, убогая даже в сравнении с послереволюционной, теперь люди торговали продуктовыми «излишками», которые

[1] Магическое число «пять» давало надежду даже крестьянам-спецпоселенцам: в 1931 г. им было обещано за примерный труд через пять лет вернуть гражданские права, но без права покидать место ссылки. На деле раскулаченные были восстановлены в гражданских правах лишь в 1947 г.

[2] Торгсин — Контора по торговле с иностранцами на территории СССР, созданная при Наркомате торговли в 1930 г., с 1931 г. была преобразована во Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами. Торгсин был упразднен 1 февраля 1936 г.

умещались в ладони продавцов, — четвертушка хлеба, стакан муки, луковица, несколько картофелин. «Мешочниц» прежних времен не было в помине, а может, они и были, но уже среди нищих крестьян, побиравшихся на улицах Ленинграда.

И все же начало 30-х годов отличалось от военного коммунизма, потому что на этот раз нищете сопутствовал миф о процветании и благоденствии. Примером должна была служить жизнь партийной элиты — самые достойные уже вкушали плоды социализма, которые в недалеком будущем получат все. Подражание ленинскому аскетизму, пусть даже показное, уже не соответствовало духу эпохи. Состав партийной элиты заметно менялся: в нем, по замечанию Э. Г. Герштейн, утверждался новый тип — «черненьких» 20-х годов вытесняли «серенькие»; «черненькие» были амбициозны и претендовали на полноту власти, а у «сереньких» не было «ни блеска, ни самоуверенности, и не упивались они раздувшейся властью», довольствуясь ролью исполнителей. По этой классификации Зиновьев был ярким представителем «черненьких», а сменивший его Киров — «сереньким»; пламенных демагогов 20-х годов заместили лекторы с чекистской выправкой, воспаленных комсомольских вожаков — спокойные молодые люди в вышитых украинских рубахах-косоворотках; «акушерки» — жены вождей — утратили былое влияние, а некоторые и мужей, которые ушли в новые семьи. Теперь женщинам из высших кругов полагалось ограничиваться интересами семьи и не помышлять о руководящих общественных ролях.

В начале 30-х годов в круг жен ленинградского начальства вошла Лиля Брик, ее муж В. М. Примаков был заместителем командующего Ленинградским военным округом. Она всегда умела выбрать верный тон. «Лиля, вылинявшая так, словно ее опустили в особый едкий раствор, не оставляющий никаких красок, поворачиваясь к нам с Митей, щебетала о новой пятикомнатной квартире, которую им с Витюшей, Витенькой, Виталием надо же обставить!» — вспоминала о ней Лидия Жукова. У этой женщины было бурное прошлое, слава возлюбленной Маяковского, сомнительная репутация[1], но главное — интуиция и редкая способность к мимикрии, к «линьке», спасавшая ее в самые опасные времена. А вот у жены Кирова Марии Львовны Маркус напрочь отсутствовала интуиция, и она выбрала самую неподходящую сферу деятельности, возглавив в 1929 году ленинградский лечебно-трудовой профилакторий для проституток. Профилакторий напоминал мастерские Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?»: во время лечения женщины получали жилье, работу в швейных мастерских, медицинское обслуживание и возможность культурного досуга. М. Л. Маркус сочла это недостаточным и взялась за идейное воспитание проституток, устраивала собрания, митинги и беседы, на которых обращалась к ним с «большевистским словом». Легко представить, как их раздражала эта барыня, уезжавшая домой в шикарном автомобиле, но они слушали «большевистское слово», шили, а некоторые подрабатывали в баре на Невском, где ночами устраивались для узкого круга посвященных тайные действа под названием «Афинские ночи». Милиция накрыла это гнездо разврата, два помощника М. Л. Маркус были обвинены в устройстве «ночей» и оказались в тюрьме, а ей пришлось оставить работу, потому что слухи об этом дошли до Москвы. Воспитательные усилия окончательно расшатали здоровье М. Л. Маркус, и она с тех пор находилась то в лечебницах, то дома под присмотром родни. Вот к каким пагубным последствиям приводило нарушение правил круга, к которому принадлежала Маркус!

В ленинградскую партийную элиту входили люди, которым было под сорок или немногим больше сорока лет и которые по советским понятиям имели все: отдельные квартиры, прислугу, снабжение из спецраспределителей и персональные автомобили. У них были свои привычки и вкусы — отдых на черноморских курортах, посещение театров; старшее поколение любило игру на бильярде,

[1] Л. Ю. Брик была известна не только распутством, но и тесной дружбой с видными чинами ОГПУ, в том числе с Аграновым. В 20-х гг. литературный салон Бриков прозвали «мембраной», намекая на их тесную связь с этим ведомством.

молодежь предпочитала теннис; в моду вошли грузинские вина и цветистые тосты с непременным «за родного и любимого Сталина!» Они не щадили сил, воплощая в жизнь «громадье» планов, уверенно шли по пути побед, но им мешали вредители и прочая вражеская нечисть. Кто же были эти враги?

Автор изданной в 1998 году книги «Питерские прокураторы» В. И. Бережков писал, что «главный враг был внутренний: кулаки, члены антисоветских партий, белогвардейцы и чиновники царской России, реэмигранты, участники антисоветских организаций, церковники и сектанты, а также бандиты и уголовники-рецидивисты». Здесь повторяется то, о чем неустанно кричали газеты начала 30-х годов, и стоит подумать, что за этим скрывалось. «Члены антисоветских партий» — очевидно, троцкисты, приверженцы одного из главных создателей советского государства; «участники антисоветских организаций» — ленинградские ученые, сотрудники Академии наук; сектанты — чуриковцы; трудно поверить, что победе социализма препятствовала горстка старых чиновников и реэмигрантов, священники и мифические «белогвардейцы». Но для оправдания экономического кризиса в стране необходим был внутренний враг, и оказаться в числе таких врагов ничего не стоило. Ф. Ф. Раскольников вспоминал примечательный эпизод: в 1931 году он привез семье В. М. Молотова подарки от полпреда СССР в Чехословакии А. Я. Аросева: отрез на костюм для Молотова, пальто для его жены П. С. Жемчужиной и одежду для их маленькой дочери. «С восхищением разглядывая вязаный детский костюмчик, Полина Семеновна непосредственно воскликнула: „Когда же наконец у нас будут такие вещи, Вячеслав?“ — „Ты что же, против Советской власти?“ — шутливо ответил Молотов». Действительно, упоминать о трудностях значило «быть против Советской власти».

Партийная элита создавала миф, рапортуя о победах и разоблачая врагов, но ее собственная жизнь была пронизана интригами и доносами. Начальник ленинградского ГПУ Ф. Д. Медведь ежедневно сообщал в Москву

о том, чем в этот день занимался и с кем встречался Киров, это входило в его обязанности. Кажется, Сталин доверял Кирову, насколько вообще способен был доверять, и все-таки... Жизнь превращалась в абсурд, город увязал в нищете под рапорты о победах, и их гипноз глубоко врезался в память: мне не раз приходилось слышать от старых горожан, что при Кирове жилось хорошо. Но записи той поры говорят о росте ожесточения, подозрительности, страха. Евгений Шварц вспоминал, что «Маршак в те дни любил повторять: „Время суровое“, и это вносило известную правильность, даже величественность в смутные чувства и унылые наши мысли», однако на службе «все яростно чистили друг друга» и «сохранять равновесие становилось все труднее». Даже хозяевам города не всегда удавалось сохранять равновесие, как видно из воспоминаний сотрудника ленинградского обкома М. Н. Рослякова: в декабре 1932 года он доложил Кирову о скандальном поведении Медведя. Во время торжественного ужина, посвященного 15-летнему юбилею ВЧК, на который собралось руководство города, появился приглашенный Ф. Д. Медведем артист Леонид Утесов. Появление «чужого» нарушило атмосферу ужина, в ней возникло что-то неправильное, тревожное. «С помощью Утесова Медведь совсем ошалел, глупо улыбался, целовался с Утесовым, сидел с ним в обнимку», принимался петь, и пьяное пение старого чекиста оскорбляло славный юбилей. Возмущение Рослякова понятно: советская элита чувствовала себя комфортно только в рамках созданной ею мнимости, поэтому вторжение всего постороннего было недопустимо.

Возможно, Утесову тоже было не слишком уютно на этом зловещем пиршестве, его место было в кругу творческой молодежи, которая вечерами заполняла зал Дома кино и на вопрос ведущего: «Как живете, караси?» — хором отвечала: «Ничего себе, мерси!» «Караси» трудились в литературе, журналистике, кинематографе, воспевали героику гражданской войны и социалистического строительства и обличали его врагов. Они работали не за страх

и не за совесть, а за право быть вровень с эпохой, за одобрительный кивок вождя, и размашисто малевали ложь поверх измученной жизни. Чем талантливее были мифотворцы, тем ярче воспевали насилие:

Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!

(Э. Багрицкий, «ТВС», 1929 год)

Так Эдуард Багрицкий славил деятельность ВЧК и коллективизацию. Николай Олейников презрительно называл такое искусство «кишочками». «Кишочки» проглядывали в сочинениях о светлом будущем; Алексей Толстой писал в 1933 году о «новом материке»: «1943 год. Электрический поезд мчится вдоль пересохшего русла реки... Десять лет назад здесь бешено прыгали желтовато-прозрачные воды Невы». Поезд мчался мимо пересохшей Невы в тундру, где цвели сады и шумели хлеба, выращенные советскими людьми. (В 1943 году в тундре росла не пшеница, а лагеря, а блокадники черпали воду из не пересохшей, к счастью, Невы.) Ленинградская кинофабрика выпускала фильмы об ударниках труда и врагах социалистического строительства. Нина Берберова вспоминала, как в 1935 году ее отца на Невском остановил «режиссер Козинцев и сказал ему: „Нам нужен ваш типаж“. — „Почему же мой? — спросил отец. — У меня нет ни опыта, ни таланта“. — „Но у вас есть типаж, — был ответ, — с такой бородкой и в крахмальном воротничке, и с такой походкой осталось всего два-три человека на весь Ленинград“... И отец мой сыграл свою первую роль: бывшего человека, которого в конце концов приканчивают». Потом было еще несколько ролей — саботажник, вредитель, агент империализма. В старости мастера искусств

говорили, что тогда они жили в русле времени и верили, что новое всегда право и что главная правда — в силе.

Разрыв между мифом и реальностью виден на простых примерах: в 1930 году на XVI съезде ВКП(б) было провозглашено, что пятилетний план развития промышленности уже выполнен. При этом каждый делегат съезда получил подарок: право купить по льготной цене в спецмагазине ОГПУ три метра бостона, 10 метров бумажной материи, две пары нижнего белья, две катушки ниток, два куска простого и кусок туалетного мыла, резиновое пальто и пару обуви. Наговорившись о победе социализма в промышленности и рассовав по карманам резиновых пальто катушки и мыло, делегаты разъехались по домам. А ведь за несколько лет до этой сокрушительной победы мыло, нитки и нижнее белье продавались в городских магазинах. В Ленинграде, как на тонущем корабле, стали избавляться от «балласта» — понизили пенсии по старости. Е. А. Свиньина стала вместо 13 рублей получать 11, а плата за комнату осталась прежней — пять рублей в месяц. На остаток она могла выкупить паек: хлеб из расчета 200 грамм в день, полкило макарон и 50 грамм чая в месяц. «В этом году особенно трудно живется, даже капусты, ни кислой, ни свежей, не могу найти, так что беднякам очень круто приходится», — писала она в 1930 году. Отоварить карточки было нелегко, в городе не хватало продовольствия, и, промаявшись несколько часов в очереди, люди оказывались перед запертой дверью. Тогда появился новый вид заработка: «Стою по найму в очередях за продуктами, получаю за это разно, иногда 40 коп., а иногда 20, это зависит от успешности моего стояния, а иногда и ничего, если ничего не принесу», — писала Свиньина в декабре 1930 года. Представим эти очереди стариков, мерзнущих в надежде заработать 20 копеек, или нищих, обращавшихся на улицах к иностранцам на немецком, французском, английском языках. Впоследствии с временами ленинградского правления Кирова свяжут представление о либерализме и ослаблении репрессий, но это не так, Киров был ликвидатором остатков былой жизни города. Именно при нем происходило разрушение

интеллектуальной среды, высылка интеллигенции, дворян, и даже его смерть послужила этому делу — после его убийства в «кировском потоке» были высланы десятки тысяч ленинградцев.

«Нетрудовой элемент» бедствовал, а как жилось трудящимся Ленинграда? В семье Аркадия Манькова из пяти человек работали трое, но их общего заработка «не хватает даже на прожиточный минимум — сплошь и рядом нам приходится голодать, мерзнуть и лишать себя самого необходимого». Пайковых продуктов хватало на несколько дней, а дальше перебивайся как можешь. Вот свидетельства ленинградцев той поры: «Едим каждый день картофель, капусту и разных видов кашу»; «мы питаемся так: картошка, черный хлеб и кипяток»; «ем один раз в сутки, тут уже все — и чай, и каша, и хлеб». С. Н. Цендровская вспоминала, как в 1931 году в ее классе «на уроке биологии проходили тему „Домашние животные и птицы“. Учителю надо было продемонстрировать кости скелета курицы». «Кто дома ест куру и может принести все ее косточки после обеда?» — спросила учительница. Из сорока учеников подняла руку одна девочка, и класс «изучал» курицу по косточкам, принесенным этой девочкой из зажиточной семьи.

Положение рабочих в начале 30-х годов напоминало сложившееся к началу 20-х, их заработки постоянно уменьшались за счет увеличения норм выработки и понижения расценок. Но в 30-х годах на плечи трудящихся легла еще одна повинность — государственные займы[1]. Государство ежегодно «занимало» (без отдачи) у граждан деньги в фонд пятилетки, и не по мелочи, а месячную или полуторамесячную зарплату! Аркадий Маньков записал, как в 1933 году проходила подписка на заем на заводе «Красный треугольник», где он работал. Часть рабочих безропотно согласилась отдать месячную получку, но многие заупрямилась — как прожить месяц без денег, чем кормить семью? За дело взялись заводские агитаторы,

[1] Займы проводились из года в год, кипы облигаций накапливались в каждой семье.

шутовская процессия с духовым оркестром и рогожным знаменем обходила цеха, это «знамя» водрузили в цеху, который отставал с подпиской. «На чумазых лицах рабочих появилась широкая, ироническая улыбка, и кто-то произнес: „Ну, вот и все в порядке“». Но на другой день в цеху появились плакаты: «Мы плетемся в хвосте передовой политической кампании — подписки на заем! Личным примером политической сознательности покажем свое передовое лицо — 150 % зарплаты взаймы государству, и ни копейки меньше!», «Позор и проклятие гробовщикам займа!» А еще через день «в цеху появилось человек 20 посторонних лиц. Кто они такие? Часть их — краснофлотцы, присланные из Кронштадта проводить подписку, часть — каких-то других военных, остальные — работники спецчасти нашего завода». Вспомним начало 1921 года: тогда питерские рабочие отвернулись от восставших в Кронштадте, а теперь кронштадтские матросы обирали рабочих заодно с особистами! «Действительность: противоречия между людьми в наиболее обостренной, циничной форме... — проницательно заметил Маньков. — Люди так разъединены и разбиты на отдельные части и атомы, что дальше идти некуда». Особисты и моряки стыдили неподписавшихся на заем, грозили лишением карточек, и вот «работница, обливая написанное слезами, кое-как выводит на подписном листе свою фамилию». Горстку самых упрямых отвели в «красный уголок», где «засело человек 15 агитаторов, к которым по очереди вводили работниц. Некоторые из них упирались, кричали, плакали. Их втаскивали насильно, усаживали на стул и, размахивая кулаками, невероятно крича, вдалбливали истину в голову». Истина была проста: паспорта выдавались на определенный срок, их возобновляли при наличии характеристики с работы; не подпишешься — не будет характеристики, а значит, и па́спорта — и вон из Ленинграда!

«Жестокие люди, жестокое время, и все это когда-то пройдет, как проходит все на свете, и чего ради идут эти упражнения в развитии бесчеловечности», — писала Е. А. Свиньина. Жестокости хватало с избытком: в марте 1932 года пенсионеров из «нетрудовых элементов»

лишили хлебных карточек — им пора на кладбище, а не хлеб есть! И все же люди оставались людьми: «Уже несколько лиц, конечно, далеко не богатые, но знающие об этом постановлении, обещали *сами* делиться со мной, а мне много не надо — будет у них хлеб, дадут кусок и мне», — сообщала дочери Свиньина. Кто эти филантропы, которые сохранили доброту и человечность в бесчеловечное время? «Дают мне хлеб самые разнообразные, даже незнакомые люди всевозможных положений, узнавшие, что я без хлеба... даже совсем почти деревенские женщины — я говорю „почти", потому что они теперь уж не на земле, а вынуждены быть на заводах, их хозяйства уже не принадлежат им, но душа и сердце у них еще собственные, поэтому они находят нужным делиться своим хлебом с такими, у кого его отняли». Старая аристократка и бывшие крестьянки, работницы, плачущие в «красных уголках», — все они обездоленные, несчастные, но именно такие люди сохранили для нас тепло и свет человечности.

В 1931 году Николай Олейников и Лидия Жукова однажды зашли в магазин на Невском, где за пустыми прилавками маялись продавцы и стояла бочка с прокисшими огурцами. «Дайте мне что-нибудь голубое. Мне нужны голубые е́ды», — попросил Олейников. «В магазине не было ни красного, ни белого, ни розового, ни желтого. Ничего не было. И продавцы конфузливо жались: „Нет, голубого ничего нет!"» «Голубые е́ды» были в закрытых распределителях или в магазинах с коммерческими ценами, но там хлеб стоил в десять раз дороже, чем по карточкам. Магазины Торгсина предлагали богатый выбор продуктов и промтоваров — только несите золото и валюту! С валютой у горожан было туго, и в Торгсине чаще покупали не деликатесы, а муку, крупу, сахар, сливочное масло. Родители С. Н. Цендровской отнесли в Торгсин обручальное кольцо и золотые серьги, и «попробовали мы тогда хорошей белой булки и еще какие-то продукты удалось купить», — вспоминала она. Люди постарше еще помнили деликатесы, а дети о них уже не знали. Ленинградка Л. А. Дукельская рассказывала, как родители

решили сделать ей подарок — сдали какую-то вещицу в Торгсин и купили пирожное. Вся семья собралась смотреть, как она будет есть пирожное, девочка попробовала и отложила его — хлеб гораздо вкуснее. К сладкому тоже надо иметь привычку, а сахар давно стал редкостью.

Правительство размышляло, как преодолеть продовольственный кризис: не заменить ли, например, основные продукты соевым суррогатом? Из соевой муки можно получить заменители мяса и молока, делать колбасу, пирожные и конфеты. В 1930 году Институт сои доказывал преимущество чудесных бобов, устраивая «показательные обеды», а через пару лет соевые продукты появились в магазинах Ленинграда. Другое продовольственное озарение властей было воспето Николаем Олейниковым:

Красавица, прошу тебя, говядины не ешь.
Она в желудке пробивает брешь.
Она в кишках кладет свои печати.
Ее поевши, будешь ты пищати.
Другое дело кролики. По калорийности они
Напоминают солнечные дни.

В 1932 году вышло правительственное постановление «О развитии кролиководства в промышленных районах» — всем городским предприятиям, учреждениям, жилконторам и воинским частям приказано разводить кроликов, в школах каждый класс должен завести два кроличьих «гнезда». В народе кроликов прозвали «сталинскими быками», а ответом на лозунг «В бой за кролика!» стала шутка: «Чем Сталин похож на радио? — Тем, что слушать противно и возразить нельзя».

Контраст фасада и изнанки жизни, показного и подлинного был самой характерной чертой Ленинграда первой половины 30-х годов. «Фасад» менялся в буквальном смысле: в центральной части города красили здания, убирали навесы над парадными, восстанавливая прямые линии улиц, асфальтировали Дворцовую площадь. Невский проспект хорошел на глазах, витрины центральных магазинов поражали воображение (в них были таблички «Товар с витрины не продается»); летом за оградой сада

Аничкова дворца звучала музыка, под деревьями сидели за столиками нарядные люди. Трамвайные поезда из нескольких вагонов плыли по улицам, вид портили только граждане, гроздьями свисавшие с подножек. В городе появились автобусы, среди них «один огромный, на 100 человек», — писал в 1933 году за границу друзьям Николай Владимирович Линдстрем, старый дворянин, в прошлом гусарский полковник. Таким, как он, не полагалось вкушать блага социализма и оставалось только жаловаться: «Ленинград все украшается. Однако жизнь обывателей не улучшается: голодаем и ходим в обносках». Постовые в белых перчатках регулировали уличное движение, а у дверей «Астории», где останавливались иностранцы, стояли статные швейцары с гвардейской выправкой. Иностранцы не знали русского языка, не могли прочесть лозунг «В бой за кролика!», не подозревали, что консервные банки на полках магазинов большей частью пустые, бутафорские. Зато они видели размах строительства и великолепие праздников, которые становились все пышнее. «Проспект 25-го Октября превращен в картинную галерею, а корпуса крупнейших домов ослепительно освещены электричеством... — писал о празднике 7 ноября 1933 года Аркадий Маньков. — Когда подходили к площади Урицкого, воздух сотрясался от взрыва ракет, и разноцветные дымовые, змеевидные струйки ползли в свежем морозном небе, а дымящиеся пыжи падали на землю. Со стороны б. Адмиралтейского сада обволакивала площадь пелена фиолетового дыма, и от этого многотысячная толпа демонстрантов принимала фантастические очертания».

Слитная масса, текущая в указанном направлении, послушно меняющая форму и очертания, — таким вожди хотели видеть социалистическое общество. Это мировоззрение запечатлелось в архитектуре эпохи, в зданиях райсоветов, Дворцов и Домов культуры (имени Ленина, Ильича, Капранова, Газа, Кирова) с их индустриально-казарменной эстетикой. В 30-х годах в городских районах встали серые громады райсоветов, где, судя по количеству кабинетов, на каждый десяток жителей приходилось по чиновнику. В строительной гигантомании торжествовала

идея централизации: вся жизнь города должна быть сосредоточена в специальных центрах; эта идея увенчалась строительством Дома Советов (1936—1941 гг.), Дома Союзпушнины (1937—1939 гг.) и других архитектурных памятников эпохи. Реализовалась и идея централизованного питания, которое Ленин считал «важнейшим условием для создания коммунистического общества»: в конце 20-х годов в рабочих районах появились первые фабрики-кухни. Они поставляли готовую еду в столовые промышленных предприятий и должны были избавить работниц от домашней стряпни: на фабрике-кухне можно было купить обед, а дома оставалось только разогреть его — очень удобно! Правда, из-за нехватки продуктов в городе фабрики-кухни работали не на полную мощность. В числе проектировщиков этих «дворцов пищи» мы встречаем знакомое имя — инженер А. Г. Джорогов, строитель первого петроградского крематория. Как тут не вспомнить предложение юмориста из «Крокодила» объединить столовую Нарпита с крематорием и топить кухонные печи отравившимися едоками! Выходит, жизнь подхватила эту зловещую шутку. Но самой зловещей и знаменитой новостройкой начала 30-х годов было здание ленинградских спецслужб на Литейном проспекте — «Большой дом». Его возводили в ударном темпе, построили за год, и 7 ноября 1932 года Ленинград получил подарок — пока слитные массы горожан шли по Дворцовой площади, на Литейном торжественно открывали новый центр массового уничтожения.

Согласно Генеральному плану развития Ленинграда, разработанному в 1932—1935 годах, городу предстояло расти в южном направлении, и его центром должен был стать Московский (тогда Международный) проспект. С начала 30-х годов на этой окраине города шло интенсивное строительство, в 1936 году были снесены Московские Триумфальные ворота, и Московский проспект превратился со временем в памятник архитектурных стилей сталинской эпохи, от конструктивизма до поздней эклектики. В 50-х годах конструктивистские постройки стушевались в соседстве с многоэтажными домами со мно-

жеством архитектурных «излишеств» и статуями на крышах. Мое детство прошло на Московском проспекте. Мы росли в мире несоразмерностей, в просторных дворах с бетонными фонтанами, среди арок и колоннад, и отличались от детей центральных районов, как кочевники Гуляй-поля от жителей немецких городков: Невский проспект казался нам нешироким, его дома — невысокими, и разве мог Летний сад сравниться с нашим огромным парком Победы! Мы были воспитаны этим пространством, но даже для нас на Московском проспекте были «мертвые зоны»: в окрестностях Дома Советов, на площадях, обрамленных домами с арками, за которыми открывались пустыри, было как-то не по себе. Я училась в школе рядом с Дворцом пушнины и всегда шла вдоль его гигантского цоколя, глядя под ноги, потому что при взгляде вверх становилось нехорошо. Однажды я упомянула об этом в разговоре с человеком из круга Ахматовой, и он вспомнил слова Анны Андреевны о том, что особенность Московского проспекта — ложное пространство. По плану за гигантскими арками его зданий должны были начинаться новые улицы, площади — пересекать широкие проспекты, но план остался на бумаге, и за шеренгами домов с портиками и пропилеями много лет были пустыри. Московский проспект оказался макетом несбывшегося, и его фантомное пространство угнетало и тревожило.

Ленинград первой половины 30-х годов тоже был «ложным пространством», за парадным фасадом которого шла ломка. В 1932 году в стране была объявлена «антирелигиозная пятилетка», и к 1 мая 1937 года планировалось закрыть культовые здания всех конфессий и «изгнать само понятие Бога». В Ленинграде тотчас принялись за дело: закрыли почти все действующие церкви, многие начали сносить, и город стал блекнуть, утрачивая белизну и позолоту разрушенных храмов. «Был... в антирелигиозном музее (б. Исаакиевский Собор), — писал в 1932 году Н. В. Линдстрем. — Колокола сняты. Снят и 8-пудовый высеребренный голубь (Св. Дух), висевший на 50-саженной высоте под главным куполом собора... В соборе выставлены обнаженные мощи Св. Феодосия Черниговского, изображения скопцов и других фанатиков, карикатуры на церковные обряды и духовенство. Все это производит очень неприятное впечатление». За городским парадным фасадом продолжалось выселение и переселение «ненужных» людей, ведь в городе по-прежнему катастрофически не хватало жилья. Домовая комиссия постановила переселить Е. А. Свиньину из ее крохотной комнаты-угла в худшую; «где эта худшая комната, в мансарде или в подвале, я не знаю... куда же мне деваться, если даже в таком углу нельзя будет ютиться! А вопрос этот жгучий для многих, особенно для той массы, которая кинулась сюда со всех концов и которой тоже некуда деваться». Пришлось доказывать, что она «трудовой элемент», собирать справки о том, что ухаживает за больными, шьет и вышивает на заказ, и ее оставили в покое.

Сколько злобы, зависти и доносов порождал жилищный вопрос! По мнению булгаковского Воланда, люди 30-х годов были не хуже прежних, «квартирный вопрос только испортил их», но и он бы поморщился, читая такое: «Прошу выявить гр. Деткову П. Н., проживающую по улице Рылеева дом 20, кв. 28, о том, что у нее есть на станции Пела Северной ж. д. собственная дача, дом в 2 этажа, 1 сарай и баня, усадьба 3000 кв. м земли, две козы и куры, нигде не служит... имеет квартиру на Рылеевой улице в 16 метров и нигде не служит, с тремя детьми и только носит одно золото и серебро и живет душа нараспашку и поговаривает: „дураки работают, а я купаюсь в сыре и масле“... Прошу комиссию расследовать». В райсовете этот донос проверяли несколько месяцев и заключили, что «заявление обследованием не подтвердилось». Хороша мерзавка, польстившаяся на соседскую комнату, не лучше комиссия, скрупулезно проверявшая донос, — в этом клубке коммунальных склок и тупого усердия власти, искавшей, кого выселить, отпечаталось время. Выселяли людей непролетарского происхождения, духовенство, интеллигенцию, и скоро результат сказался: «Город совсем переменил свой вид. Интеллигенции совсем не видно, всюду пролетарская публика, очень невоспитанная и грубая», — писал Линдстрем в августе

1934 года. Но вот какая странность — именно в эти времена в стране сложилась особая репутация ленинградцев как самых вежливых, воспитанных, интеллигентных людей. Полагаю, что столь лестным мнением мы обязаны высланным, разбросанным по всем концам страны, — по ним и судили о ленинградцах.

Окончилась первая пятилетка, в 1933 году началась вторая, но жизнь не слишком менялась: время от времени повышались цены, открывались новые роскошные гастрономы[1], было снесено еще несколько церквей, кого-то высылали — все, как прежде. Эта монотонность внушала мысль, что жизнь прочно вошла в колею и так будет всегда. «Доволен ли кто-нибудь? — размышлял в мае 1934 года поэт Михаил Кузмин. — Я думаю, да. Хоть я общественность презираю и ненавижу, но потребность в общественности развита у очень многих людей. Причем эту потребность легче легкого обмануть, давая грубую видимость общественности при самом антиобщественном режиме». Напрасно он презирал «общественность», принадлежность к ней сулила льготы и выгоды. Хорошо принадлежать к литературной общественности: Ленсовет отдал под писательский клуб дом на улице Воинова, и ленинградские литераторы встречали 1935 год в новом прекрасном особняке. Хорошо быть общественником на производстве: выступай на собраниях, сыпь цитатами из Сталина, и тебя заметят, наградят премиальными и путевкой в крымский санаторий. Хорошо быть военным, пусть в небольших чинах: офицерам платят в полтора раза больше, чем штатским, и они получают в своих частях командирский паек (сахар, сливочное масло, сало, мясо), бесплатное зимнее и летнее обмундирование — чем не жизнь!

У армии тоже был парадный фасад, например, военкоматы. Вызванный в военкомат Аркадий Маньков был поражен его великолепием: «Входишь на лестницу — и твои глаза слепит убранство… Всюду плакаты. Первым бросается в глаза: „Большевистский привет допризывникам

[1] О ценах в этих магазинах дает представление письмо Н. В. Линдстрема 1934 года: килограмм какао стоил в них 100 рублей, а месячное жалованье Линдстрема было 70 рублей.

1913 года рождения“. И от этого не то жутко, не то приятно. На площадках лестницы — пальмы. По углам — белые, мягко растворяющиеся в сумраке статуэтки». Но вопросы призывной комиссии развеяли эйфорию — спрашивали о социальном происхождении, об осужденных в семье, о родственниках за границей. Комиссия решала, к какому роду войск приписать будущего призывника, считаясь не столько с его здоровьем, сколько с классовой принадлежностью — в авиации и бронетанковых частях, например, должна служить только рабоче-крестьянская молодежь. Однако именно среди этих призывников было много истощенных и низкорослых, сказывалось полуголодное существование и вырубка крестьянской породы при коллективизации. Но военачальники и в этом нашли преимущество, М. Н. Тухачевский предлагал пересмотреть критерии медицинских комиссий: «Для большего охвата рабочих и крестьян при комплектовании авиации и бронетанковых войск следует пойти на значительное снижение границы малого роста». В недостатке веса тоже были свои плюсы: «количественно можно увеличить состав воздушных десантов»; самолет при малом весе летчика возьмет больше горючего и боеприпасов; чем тщедушнее танкисты, тем просторнее им будет в танке. Отсюда можно было сделать вывод, что не стоит слишком сытно кормить бойцов.

«Люди сознательно меняли свои „биографии“ и старались жить новой жизнью, пока не вмешивалась судьба, мойра, подписывавшая ордер и обрывавшая нить», — писала о 30-х годах Надежда Яковлевна Мандельштам. Город тоже менял «биографию», утрачивая черты прежнего облика, обновляя состав населения, превращаясь в крупнейший военно-промышленный центр страны. Ленинградцы притерпелись к карточной системе и, пожалуй, не знали, радоваться ли слухам о грядущей отмене продовольственных карточек, ведь пайковые цены на продукты были гораздо ниже, чем на рынке и в свободной торговле. Но в гастрономических магазинах заметно прибавилось покупателей — значит, в городе появилось

больше зажиточных людей. Весной 1934 года в моде были белые брюки, гимнасты в белоснежных спортивных костюмах выделывали на первомайском параде балетные «па», а барышни мечтали о крепдешине и духах «Красная Москва». С промтоварами было по-прежнему трудно; очереди за тканями, которые отпускали по карточкам, выстраивались с ночи, и матерьялец был убогий, тем не менее в городе стало больше нарядно одетых дам. Их наряды из файдешина, крепдешина и сатина-либерти говорили о привилегированном положении владелиц, такие ткани покупали в спецраспределителях или в Торгсине.

Лето 1934 года запомнилось горожанам двумя событиями: объединением ОГПУ с Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД), в чем многие почему-то усматривали поворот к либерализму, и приездом в Ленинград челюскинцев[1]. Первомайские торжества в Ленинграде прошли под знаком экспедиции «Челюскина»: «В сквере перед Казанским собором была устроена панорама: авария ледокола „Челюскин“. Представлено было в миниатюре ледяное поле, расколотый корабль, хибарки с людьми, собаки, запряженные в сани, и спасающий аэроплан. Пострадали только памятники Кутузову и Барклаю де Толли, которые были завешены белым полотном», — писал друзьям Н. В. Линдстрем. Но когда челюскинцы приехали в Ленинград, демонстрация в их честь оказалась не слишком многолюдной, и Киров сердился на помощников — не могли организовать встречу как следует! Зато прием и ужин в Большом дворце Петергофа удался на славу: «Ужин перемежался выступлениями артистов. Пела Софья Преображенская, чье пение любил Киров… Джаз Утесова участвовал в шествии поваров, несших большую модель „Челюскина“, сделанную из пломбира… Было много артистов, ученых… Приглашенные разошлись по апартаментам дворца, в которых были организованы буфеты, танцы, художественные импровизации», — вспоминал Росляков.

[1] Участники советской экспедиции, отправившейся в 1933 г. на пароходе «Челюскин» по Северному морскому пути, чтобы пройти за одну навигацию от Мурманска до Владивостока. В феврале 1934 г. «Челюскин» был раздавлен льдами в Чукотском море, и члены экспедиции зимовали на льду, пока не были спасены полярными летчиками. За этот подвиг летчики М. В. Водопьянов, С. А. Леваневский, Н. П. Каманин, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев, И. В. Доронин первыми в стране получили звания Героев Советского Союза.

Праздник новой знати напоминал придворные празднества прошлого, былое объединял с современностью пафос имперской силы. Сталину импонировал образ империи, но не такой, какую он застал, — загубленной слабостью власти, нигилизмом интеллигенции, слепым бунтом низов, — пусть ее оплакивают эмигранты. Образцом было время становления империи, и не случайно чуткий к переменам Алексей Толстой начал в 1929 году писать роман о Петре I. Историческая концепция менялась, и в 1934 году над головами историков школы М. Н. Покровского прогремели первые громы за огульное очернение прошлого. Возможно, Сталин видел в деятельности первого русского императора сходство со своими действиями: Петр разрушал старые устои, чтобы создать мощный государственный и военный механизм империи, — у Сталина была та же цель; Петру пришлось утверждать свою власть в борьбе с высшей знатью, а Сталин затратил много сил на борьбу с соперниками из ленинского окружения. Вождь не любил времен, когда ему приходилось держаться в тени, терпеть высокомерное пренебрежение Троцкого, — не любил и не забывал. Теперь высланный Троцкий издалека обвинял его в подготовке термидорианского переворота[1]; действительно, в скором будущем диктатор истребит остатки ленинской гвардии. Сталин подбирал себе окружение, в котором одним из лучших был деловой, энергичный, исполнительный Киров, сознательно строивший свой публичный образ на контрасте с Зиновьевым — никакого своевольства, самоуверенности, подчеркнутая простота и демократизм. В Москве работал

[1] Термидорианский переворот — 9 термидора по республиканскому календарю (27 июля) 1794 г. диктатура якобинцев была свергнута, Робеспьера и его соратников казнили на следующий день. Девятое термидора считается днем завершения Великой французской революции.

всесоюзный крестьянский староста Калиныч (Калинин), а в Ленинграде — пролетарский вожак Мироныч, который появлялся на заводах в старом плаще или поношенном пальто и в «кепке-картузе фасона глубокой провинции». Демократический образ был продуман им до мелочей: у Кирова была дальнозоркость, но на людях он никогда не появлялся в очках, чтобы не походить на интеллигента. Низкорослый человек в гимнастерке, сапогах и кепке-картузе не был похож на барственного Зиновьева, но вел ту же политику, с его ведома и одобрения ленинградское ГПУ создавало политические дела и расстреливало.

Весной 1934 года в городе была арестована «террористическая группа»: четверо молодых людей дворянского происхождения якобы готовили покушение на Кирова. Т. А. Аксакова знала одного из них — сотрудника «Ленфильма» Бориса Столпакова. Она вспоминала, как однажды увидела его «выходящим из „Астории“ в сопровождении 2-х молодых людей — один из них был его троюродный брат Бобрищев-Пушкин, другой — сын профессора», и отметила, как «эти юноши своим внешним видом выделяются из общей массы». Выделяться из общей массы было опасно, Осип Мандельштам не зря предупреждал своего друга Бориса Кузина: «Не носите эту шляпу, нельзя выделяться, это плохо кончится». Для арестованных весной 1934 года молодых людей дело кончилось плохо: их отправили в Москву, мать Бориса Столпакова добилась свидания с сыном и услышала от него: «Мамочка! Не удивляйся и не осуждай — я должен был подписать, что собирался убить Кирова. Я не мог поступить иначе. Но это ничего — мне обещали: за то, что я подписал, мне дадут только три года, и все!» Через несколько дней всех четверых расстреляли. «Надо добавить, — писала Аксакова, — что в ту пору С.М. Киров был жив и здоров, и поэтому вся эта инсценировка казалась чем-то выходящим за грани человеческого разумения». Киров действительно был жив и здоров, но ему осталось жить несколько месяцев, и его убийцей стал не аристократ, а коммунист Леонид Николаев.

Биография Николаева (1904—1935) типична для коммунистической молодежи 20-х годов: пролетарское происхождение, шесть классов образования, вступление в ряды ВКП(б) в двадцать лет. Примечательнее была его внешность с явными признаками вырождения: рост 150 см, впалая грудь, сутулость, непропорционально длинные руки. Среди тех, кто в первые годы примкнул к большевикам, было много людей с дегенеративными или патологическими чертами[1], новая власть давала возможность развернуться психологически ущербным людям. Они годились для разрушения и насилия, в 20-х годах в них нуждались, и Леонид Николаев занимал пусть небольшие, но руководящие посты: был управляющим делами Лужского уездного комитета ВЛКСМ, инспектором Рабоче-Крестьянской инспекции (РКИ), сменил еще несколько должностей и мест работы. Жена Николаева Мильда Драуле тоже была членом партии и успешно продвигалась по службе, с 1930 года работала в ленинградском обкоме ВКП(б); в их семье росло двое детей. Кадровые перемены рубежа 20—30-х годов не коснулись этих рядовых партии. Леонид Николаев, со своими шестью классами образования, был инструктором Института истории ВКП(б) и проводил партийную линию в массы.

Очевидно, его бедный ум не успевал следить за изгибами партийной линии, потому что в 1933 году он был «вычищен» из партии и уволен из института — он, который раньше сам исключал и увольнял! Николаев жаловался во все инстанции, добился восстановления в партии, но на работу его так и не приняли — выдвиженцев 20-х годов вытесняли новые люди. Бывало, «вычищенные» партийцы кончали самоубийством, но Николаев не сдавался, продолжал писать жалобы Кирову, Сталину, к которому обращался как к «царю войны и индустриализации». В его путаных, истерических письмах были жалоба и протест

[1] Сами вожди отличались неказистой, плебейской внешностью, достаточно вспомнить низкорослых, коротконогих Ленина, Бухарина, Кирова, женоподобного Зиновьева; Сталин был маленького роста, хилого сложения, с физическими изъянами: впалая грудь, одно плечо выше другого, высыхающая левая рука тоньше правой.

ничтожного человека против жестокости власти, выбросившей его за ненадобностью. В истории убийства Кирова можно увидеть продолжение одного из «петербургских сюжетов» — в поэме «Медный всадник» безумный Евгений бросал вызов Петру Великому: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!» Персонажи событий 1934 года лишены величия и романтических черт, они гротескны под стать своей эпохе, но в основе этой истории растоптанная судьба маленького человека, его отчаяние, безумие, жажда мести.

К середине 1934 года Леонид Николаев потерял надежду вернуть утраченное руководящее положение, рушилась и его семейная жизнь, он подозревал, что его жена — любовница Кирова. Он надеялся на помощь первого секретаря Ленинградского обкома, но не мог добиться приема, несколько раз пытался подойти к Кирову, но его не подпускала охрана. Постепенно все беды и обиды Николаева персонифицировались в Кирове, у которого было все, чего лишился он сам: благополучие, власть, уверенность в будущем. Желание отомстить бездушному хозяину жизни превратилось в навязчивую идею, и 1 декабря 1934 года Николаев осуществил свой замысел. В тот вечер в Смольном должен был собраться партийный актив города, чтобы обсудить решение об отмене в Ленинграде продовольственных карточек, доклад об этом должен был сделать Киров. Николаеву удалось попасть в число приглашенных, около четырех часов дня он пришел в Смольный за пропуском, предъявил партийный билет и поднялся на третий этаж, где находился кабинет Кирова. Убийце повезло — в 16.37 в коридоре появился Киров, его личный охранник Борисов задержался за поворотом. Николаев шагнул за Кировым и выстрелил ему в затылок. Второй раз он выстрелил в себя, но рука дрогнула, пуля прошла мимо, и он свалился в обмороке рядом с убитым. Коридор заполнился людьми, Кирова подняли и унесли, лежащего на полу Николаева принялись бить ногами, но скоро опомнились — надо было выяснить личность убийцы и мотив преступления.

«Эх, огурчики да помидорчики! Сталин Кирова убил в коридорчике!» — эта частушка загуляла по стране в

1956 году, после доклада Хрущева с «разоблачением культа личности», в котором он назвал Сталина виновником смерти Кирова. Однако это был случай, когда Сталина обвинили понапрасну: поступок Николаева был бунтом одиночки, местью «отработанного человеческого материала» 20-х годов фавориту 30-х. На допросах Леонид Николаев повторял: «Я отомстил!», плакал, в камере несколько раз пытался покончить с собой. Мильда Драуле и ее сестра с мужем были арестованы как его соучастники, детей Николаева отправили в специальный детдом, где их следы затерялись. Сталин не был причастен к убийству Кирова, но использовал его для репетиции будущего «большого террора» в масштабах одного города.Через несколько часов после известия о гибели Кирова был подготовлен закон «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов», согласно которому для следствия отводились минимальные сроки и после вынесения приговора виновного сразу расстреливали.

Вечером 1 декабря Сталин выехал в Ленинград в сопровождении высшего руководства НКВД во главе с наркомом Ягодой. Утром 2 декабря в Ленинграде вывесили траурные флаги, но выход газет задерживался, и в городе царили недоумение и тревога. К. И. Чуковский узнал об убийстве Кирова раньше многих, ему ночью позвонили из „Правды“, и ранним утром он «бродил по Питеру. У здания бездна автомобилей, окна озарены, на трамваях траурные флаги — и только. Газет не было (газеты вышли только в 3 часа дня). Из «Правды» прилетел на аэроплане Аграновский посмотреть траурный Л-д... Я не спал снова — и, не находя себе места, уехал в Москву». Здание в окружении «бездны автомобилей», о котором упоминает Чуковский, это Смольный, туда приехал Сталин; журналист Аграновский прилетел описывать траурный Ленинград, а появление Ягоды и его заместителя Агранова означало,что городу грозит беда; поспешный отъезд Чуковского в Москву весьма походил на бегство. Умудренные горьким опытом горожане почувствовали беду с первых часов. «Теперь мы все погибли», — сказала писательница Раиса Васильева в редакции «Госиздата», и ей никто не возразил.

2 декабря город лихорадило: в Таврическом дворце проходила церемония прощания с Кировым, а в Смольном — непрерывные допросы. Ленинградские чекисты попытались отвести от себя удар устранением личного охранника Кирова, который никак не подходил для столь ответственной должности: 53-летний Борисов погиб в автомобильной катастрофе по пути на допрос. Это им не помогло: начальник управления НКВД Ф. Д. Медведь был снят с поста и «за преступную халатность» приговорен к трем годам концлагеря, его подчиненных отправили служить в разные районы страны, и к концу 30-х годов почти все они были уничтожены. Сталин пробыл в Ленинграде один день, допросил Николаева и свидетелей убийства и вечером 2 декабря отбыл в Москву; его поезд увозил гроб с телом Кирова. Кинохроника запечатлела церемонию прощания с Кировым в Москве: Сталин в почетном карауле, понурая ленинградская делегация, М. Л. Маркус, исступленно целовавшая мужа в губы (ее почти оттаскивали), черные толпы с транспарантами «Смерть убийцам Кирова!» в густой метели.

Ягода уехал со Сталиным, но в Ленинграде остался Агранов, которому предстояло сфабриковать политическое обвинение. При его умении и опыте дело не заняло много времени — 16 декабря Агранов сообщил на заседании обкома, что убийство Кирова организовано «молодежной частью» зиновьевской оппозиции, а его идейные вдохновители — Зиновьев и Каменев. Позднее формулировка несколько изменилась, на суде над Зиновьевым и Каменевым (1936 г.) Николаева называли «агентом бандитской троцкистко-зиновьевской организации», но доклад Агранова уже наметил контуры будущего процесса. Росляков вспоминал, что «доклад Агранова ошеломил» членов обкома, они поняли нависшую над ними угрозу. В конечном итоге Николаев достиг цели, его выстрел привел в движение лавину, которая скоро смела тех, кому он завидовал и кого винил в своих бедах. Но он об этом не узнал: 10 марта 1935 года Леонид Николаев, Мильда Драуле и ее сестра с мужем были расстреляны. Еще раньше, через несколько дней после убийства Кирова, в Ленинграде расстреляли 36 «бывших белогвардейцев», хотя Агранов обвинял в организации покушения не их, а партийных оппозиционеров-зиновьевцев. Этот расстрел стал началом акции, официально названной выселением «некоторого числа горожан из царской аристократии и из прежних эксплуататорских классов». Ленинградцы удивлялись: «Разве есть еще кого высылать?», ведь Киров основательно потрудился на этом поприще, однако к весне 1935 года из города было выселено около 100 тысяч человек.

«Есть квартиры, куда очень приятно звонить по телефону перед вечер<ом>. Кажется, что там тепло, дожидаются обеда, прислуга, дети собираются в театр... Кто-то в кабинете занимается историей или историей литературы. Комплекс полной (не роскошной, не красивой), но благоустроенной и уютной жизни. И голоса оттуда какие-то подбодряют, спокойные и уверенные», — писал 10 декабря 1934 года поэт Михаил Кузмин. Скоро многие из этих голосов умолкнут, и освободившееся жилье займут новые обитатели. Среди выселенных в «кировском потоке» были священники, бывшие купцы, лавочники, но основную часть составляли дворяне. Комиссии по чистке просматривали издания дореволюционного справочника «Весь Петербург», где были указаны не только фамилии и адреса, но и сословная принадлежность жителей, и вносили в списки уцелевшие в Ленинграде дворянские семьи.

Людей заставали врасплох, вызывали в управление НКВД, иногда задерживали на несколько дней и выпускали с подпиской о невыезде, а при повторном вызове отбирали паспорт и вручали предписание выехать из Ленинграда в назначенное место. «Все эти несчастные были рассованы по медвежьим углам, а через два года первыми арестованы и почти все погибли в лагерях», — писал Анатолий Краснов-Левитин. Он запомнил толпы людей у Большого дома в начале 1935 года, «старую даму, лет за 70, видимо, очень хорошего общества, которая еле двигалась... она громко жаловалась, что ей предложено ехать куда-то в Башкирию в течение 24 часов. Все улицы, прилегающие к Шпалерной, были наполнены

такими же пожилыми людьми. С перевернутыми лицами, с прекрасными манерами, нагруженных вещами». В приемной Большого дома стояла толпа, в ней выделялись бывшие офицеры, они «держались намеренно бодро и даже шутили, но и у них на лицах я видел ужас и безнадежность», — продолжает Краснов-Левитин. Пожилая женщина громко спрашивала: «Ну, пусть мы, но за что же наших детей, внуков? Что же, это месть до десятого колена, что ли?»

Весной 1935 года Ахматова гостила в Москве, и однажды, вспоминала Н. Я. Мандельштам, они вместе поехали на Павелецкий вокзал проводить высланную из Ленинграда знакомую Анны Андреевны. «На вокзале нас встретила обычная картина — ступить некуда... но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи — внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины». «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», — сказала Ахматова.

Бо́льшая часть выселенных принадлежала к петербургской интеллигенции, и, казалось, душа Петербурга отлетела вместе с изгнанниками, а они, рассеянные по чужбине, тосковали по своему городу, как по земле обетованной. «Я познакомился здесь со многими Ленинградцами [орфография автора]; среди них немало симпатичных людей, в том числе мой племянник с женой. Все мы очень тоскуем по Родине и рвемся домой», — писал осенью 1935 года из Оренбурга в Париж Николай Владимирович Линдстрем. Его, 70-летнего старика, выслали в «кировском потоке». В ссылке Линдстрем почти ослеп, жестоко бедствовал и голодал, а знакомые Ленинградцы не могли помочь, потому что ссыльных нигде не брали на работу. Он сетовал на грубость и невежество местных жителей, на дикость детей; «тоскливо здесь по вечерам, когда все кругом темно и выходить опасно из боязни, что отнимут одежду, что здесь случается часто», — писал он друзьям 20 декабря 1936 года. Это было его последнее письмо, дальнейшая судьба Н. В. Линдстрема неизвестна: был ли он расстрелян за «связь с заграницей» или просто умер от лишений и голода? В его письмах часто повторялось: «Надеюсь на скорую смерть, которая освободит меня от тяжкой жизни», «скорее бы меня Бог прибрал», и его желание исполнилось... Массовое выселение горожан проходило под лозунгом «В городе Ленина имеют право жить только настоящие пролетарии», и многим это казалось справедливым. Нередко можно было услышать: «Пусть их выселяют, может, рабочим скорее квартиры дадут», но в планы властей не входило намерение осчастливить квартирами ленинградских рабочих.

Ленинград второй половины 30-х годов

«Цивилизованные европейцы» де Кюстин и Селин о России. Новый ренессанс. Демократическая Конституция. Чем провинился Генрих Ягода? Свободный человек Юрьев. Молодежные кружки и тайные организации. В начале 1937 года. План и график «большого террора». Время, назад! Обыденная жизнь на фоне страха. Запредельный мир. Советско-финляндская война. Бог хранит все

К ленинградскому писателю Алексею Толстому пришел «переводчик Н. Говорит: „Что за страна, что за люди! Ехал в трамвае — унылые, испуганные физиономии, ни шутки, ни смеха, ни веселого слова“. — „Не знаю, — отвечает Алекс. Ник. — Не замечал. Наоборот, всегда видел веселые, довольные лица, смех, улыбки, оживление“. Помолчал и добавил: — „Так и передайте“». Этот диалог середины 30-х годов сохранился в записи Леонида Пантелеева. Толстой, конечно, лукавил, но в словах переводчика-иностранца тоже не было правды. Сказанное им перекликается с посвященными Ленинграду фрагментами сочинения французского писателя Луи-Фердинанда Селина «Безделицы для погрома». Селин побывал в Ленинграде в сентябре 1936 года и написал о своих впечатлениях: у власти в СССР жестокие и циничные коммунисты-евреи, а порабощенный ими народ — «безумная орда… гнусное, огромное, липкое, рыгающее и урчащее скопление нищих… обитателей помоек». Они готовы по приказу вождей хлынуть в Европу, а до той поры Ленинград — огромная казарма «резервистов», где обитает «целая армия доведенных до отчаяния подонков… Надвигающаяся катастрофа». Действительно, многим из тех,

кто шагал по ленинградским улицам в сентябре 1936 года, предстояло с боями пройти пол-Европы, тут Селин не ошибся. Правда и то, что примкнувшему к нацистам Селину это будет не в радость, после победы над фашизмом он едва избежит во Франции смертной казни.

За брезгливым высокомерием Селина почти невозможно разглядеть реальные черты Ленинграда 1936 года, и не стоило бы упоминать о нем, если бы не поразительное сходство этого сочинения с памфлетом «Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина. Французских авторов разделяло столетие, за которое столь многое изменилось в стране и городе, о котором они писали, но идея у них одна: «Россия — империя зла». Селин описывал разрушающийся, погибающий город («Старые, гигантские, морщинистые, полуразвалившиеся, осыпающиеся тени великого прошлого… в них полно крыс»), но, по утверждению де Кюстина, Петербург погиб еще в его времена: «…портики, фундаменты коих почти исчезают под водой; площади, украшенные колоннами, которые теряются среди окружающих их пустынных пространств». Селину, с его крысами в развалинах, далеко до предшественника, сообщавшего, что зимой на островах Петербурга царствуют волки, но оба автора единодушны в том, что у города нет оснований гордиться красотой и памятниками культуры. «Слишком прославленная статуя Петра Великого… произвела на меня исключительно неприятное впечатление», — писал Кюстин, а Селину знаменитые музеи Ленинграда напомнили «склад бракованных, непригодных к употреблению товаров». Расстрел царской семьи в подвале, по его мнению, прежде всего «проявление дурного вкуса»; очевидно, публичная казнь французских короля и королевы больше соответствовала его утонченному вкусу.

«Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я порицаю в них притязание казаться теми же, что и мы… — писал де Кюстин. — Невольно приходит на мысль, что эти люди потеряны для первобытного состояния и непригодны для цивилизации». Европейцы, по его словам, как правило, руководствовались заботой о благе человечества — очевидно, именно эта забота привела армии Напо-

леона в Россию. Полемизировать с де Кюстином, написавшим памфлет по заказу правительства короля Луи-Филиппа, бессмысленно, поэтому просто послушаем его: русских нельзя считать полноценными людьми, у них нет самобытной культуры, понятий о человеческом достоинстве и чести, о семейных традициях, а их религия, в сущности, язычество; эти полулюди лживы, бездушны, большинство их уродливо, и даже зубы у них имеют «форму зубов тигра или зубьев пилы»! Изображенные де Кюстином существа мало чем отличаются от «грязных подонков» Селина, и он, несомненно, мог повторить за предшественником: «Мне становятся ненавистными и страна, и правительство, и весь народ, и я испытываю неописуемое отвращение и мечтаю лишь о том, чтобы скорее отсюда уехать». Что же, жанр памфлета никогда не отличался корректностью, однако рассуждения о «полулюдях» и низшей расе далеко выходят за рамки литературы. Оба автора утверждали, что судят о России и русских с позиции цивилизованных европейцев; что же, такого рода «цивилизаторы» оставили следы на страницах нашей истории в качестве иноземных завоевателей, временщиков вроде Бирона, да и большевистских вождей, которые тоже считали себя цивилизаторами. Но вот что примечательно: едва памфлет де Кюстина стал известен в России, радикальные круги общества приняли его как «настоящую правду» о России, то есть люди, радевшие о благе народа, не отвергли пасквиля на свой народ. Напоследок заметим, что написанное де Кюстином и Селином преследовало цель создать отталкивающий образа врага и что сочинения такого рода, как правило, предвещали близость войны.

Но о неизбежности войны не хотелось думать, хотелось жить в сильном, благополучном государстве, и в 1936 году многим казалось, что это время уже близко. В 1936 году эмигрант Троцкий писал о «преданной революции» и сравнивал происходившее в СССР с событиями после французской революции, когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором, а после его падения была реставрирована королевская власть. Возможна ли реставрация прошлого в советской России? Наблюдательные люди полагали, что в известных пределах возможна, и приводили примеры: в 1935 году в СССР были восстановлены отмененные в 1917-м офицерские звания, и в Красной армии появились лейтенанты, капитаны, майоры, полковники. Заметно менялся взгляд на историю России, вместо огульного очернения прошлого формировалась более взвешенная позиция, были реабилитированы многие традиционные нормы морали. «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый „семейный очаг“... как можно больше отделить детей от семьи, чтобы оградить от традиций косного быта. Еще совсем недавно, в течение первой пятилетки, школа и комсомол широко пользовались детьми для разоблачения, устыжения, вообще „перевоспитания“ пьянствующего отца или религиозной матери... этот метод означал *потрясение* родительского авторитета *в самых его основах*», а теперь «тупые и черствые предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морали», — негодовал Троцкий. Отмена запрета на новогодние елки — тоже несомненный элемент реставрации. Ф.Ф. Раскольников, в то время полпред СССР в Болгарии, приехал в Москву летом 1936 года и был поражен переменами: «...страна... лихорадочно строилась, переделывалась, буйно расцветала и была на пороге какого-то нового, могучего ренессанса». Московские писатели спрашивали у Раскольникова, почему не возвращается на родину Бунин, ведь «он большой патриот, любит Россию, сильную армию, бодрую и радостную молодежь — все это он в изобилии увидит в Москве». В 1936 году режиссер МХАТа В. И. Немирович-Данченко во время гастролей театра за границей встретился с Шаляпиным и передал ему приглашение Сталина вернуться в СССР, однако тот отказался. И напрасно — если бы эмигрировавшие деятели культуры увидели «новый ренессанс» России, они наверняка признали бы заслуги коммунистической партии. Ленинградский литератор Валентин Стенич утверждал, что если бы Гумилев был жив, он перестроился бы одним из первых и занял достойное место в современной литературе.

На двадцатом году советской власти «наряду с пафосом строительства... во всех слоях общества наблюдалось утомление и усталость, — отмечал Раскольников. — Все жаждали порядка, спокойствия, законности и свободы. Казалось, что самое трудное время позади: навсегда отошли в прошлое голод и ужасы первых лет коллективизации». Порядка и законности жаждала перестроившаяся старая интеллигенция и постепенно вытеснявшая ее новая, спокойной жизни желали многие люди в верхах власти. Примечательны показания одного из руководителей советской разведки А. Х. Артузова, арестованного в 1937 году, — он привел слова бывшего наркома НКВД Г. Г. Ягоды: «Довольно потрясений, нужно наконец зажить спокойной, обеспеченной жизнью, открыто пользоваться теми благами, которые мы как руководители государства должны иметь». У Ягоды были квартиры и дачи-поместья, все видные государственные и партийные чиновники широко пользовались регламентированными благами. Раскольников вспоминал, как Молотов принимал его в прекрасном загородном доме, сказав, что для него строится новая, еще лучшая дача. Благами и привилегиями пользовались не только руководители государства, но и «знатные люди»: партийные работники, чекисты, командиры Красной армии, организаторы производства, инженеры, ударники труда, видные ученые и деятели культуры. Новая знать получила право на «красивую», обеспеченную жизнь и могла повторить за Сталиным: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Московские писатели были увлечены возведением дач в Переделкино, они «превратились в заботливых и рачительных хозяев, пристраивали гаражи, обносили участки заборами и палисадниками», — писал Раскольников. Больше всего деятели культуры ценили близость к людям власти, которая сулила дополнительные блага, и кто знал, что скоро многие покровители окажутся «врагами народа» и за близость к ним придется расплачиваться свободой, а порой и жизнью? Но казалось, ничто не предвещало беды, и новая аристократия сохраняла оптимизм и уверенность в будущем.

Неужели в СССР действительно происходила реставрация прошлого? Похоже на то: знаменитый старый актер Ю. М. Юрьев рассказал К. И. Чуковскому, что при встрече с А. С. Енукидзе он упомянул, «что у него в Московской губернии есть конфискованное имение. — „Возвратим“, — сказал Енукидзе». И сам Корней Иванович весной 1936 года испытал чувство, неведомое российским интеллигентам с незапамятных времен, когда на съезде ВЛКСМ увидел Сталина: «Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый... Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем... Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства», — писал он. Переполнявшие Чуковского чувства и их описание почти дословно совпадают с чувствами Николая Ростова при виде обожаемого государя-императора[1]. Наряду с реставрацией элементов прошлого мы наблюдаем «реставрацию чувств», и можно поверить воспоминаниям достойных людей о том времени: «Мы искренне верили...» Это не было фанатичной верой большевиков ленинской когорты, *вера* интеллигентов 30-х годов была формой приспособления, приобщения к новым условиям жизни. Л. Я. Гинзбург записала в дневнике суждение одного из таких людей: «Чтобы существовать, человек должен работать, чтобы существовать прилично, он должен работать квалифицированно; чтобы работать квалифицированно, он должен работать добросовестно, то есть убежденно разделять господствующее мировоззрение».

Многое в идеологии большевизма превратилось в скопище мертвых догм, а суть нового мировоззрения была проста — самоотверженное участие в государственном строительстве и преданность вождю. В 1935 году старый коммунист Т. Т. Енукидзе объяснил ленинградскому инженеру В. И. Мудрику, что значит быть большевиком: «Енукидзе подходит ко мне и говорит: — Вы комму-

[1] Л. Н. Толстой, «Война и мир», т. I, часть третья, глава VIII.

нист? — Я не коммунист, я большевик, — отвечаю. — А вы знаете, что такое большевик?.. Так вот, знайте, что большевик — это такой человек, который, если потребуется для выполнения ответственного задания, может отрезать свой самый главный орган, положить на пол и переступить!» Ленин едва ли согласился бы с подобным определением, и что значит «не коммунист, а большевик», в чем разница? Это выражение, так же как «непартийный большевик» и «беспартийный коммунист», было формулой изъявления лояльности власти, принятой у беспартийных интеллигентов 30-х годов, — такие формулировки были понятны начальству и не смущали отсутствием логики. У партийной и беспартийной элиты были общие запросы и желания: занимать ответственную должность, иметь хорошую квартиру, отдыхать на курортах, получать пайки из спецраспределителей. Приметами жизненного успеха считались персональный автомобиль, государственная дача, присутствие на официальных праздничных приемах, особой привилегией были зарубежные командировки и поездки на лечение в Европу. Представление советской элиты о красивой и правильной жизни запечатлено в кинофильме «Цирк», поставленном режиссером Г. В. Александровым в 1936 году. В натопленных театральных залах, на балах, где щеголеватые офицеры танцевали с нарядными дамами, на банкетах с тостами «за родного и любимого Сталина» царила атмосфера бодрости и оптимизма. Уверенность в будущем укрепляла новая Конституция СССР, проект которой был опубликован летом 1936 года, — она гарантировала гражданам все демократические права, свободу слова, собраний, печати, свободу совести, право на труд и на отдых, на образование и пенсионное обеспечение... Умиравший А. М. Горький прочел проект Конституции и сказал: «Мы вот тут пустяками занимаемся, а в стране теперь, наверно, камни поют...»

«Все так дорого ужасно, что даже хлеб считается роскошью, если его покупать вдоволь, — писала дочери в 1935 году Евгения Александровна Свиньина. — Я уже совсем в этом сократилась и обхожусь всякими кусочками.

Как ни стараюсь заработать, все же очень трудно. Больные люди теперь молят Бога о смерти... Я их хорошо понимаю, если здоровым тягостно, то уж старым и больным лучше, когда их Господь приберет». Она просила прислать то аспирина, то несколько иголок и немного ниток для шитья — но таким, как она, старухам из «бывших людей» не было места в светлом будущем социализма. Не место в социализме и таким, как Анна Ахматова, которая приехала в ноябре 1935 года в Москву хлопотать за арестованных сына и мужа, Л. Н. Гумилева и Н. Н. Пунина. Э. Г. Герштейн вспоминала, как Ахматова боялась переходить московские улицы, застывала при появлении машины, не решалась ступить на мостовую. «Машина приближалась. Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Казалось, они уже издалека заметили нас и посмеивались, — писала Герштейн. — Приближаясь, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и... узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь почти брезгливо. Вот эта старая безумная нищая — знаменитая Ахматова?»

Но Ахматова была не безумной старухой, а знаменитым поэтом, и ей, с известными оговорками, могло найтись место в культуре «нового ренессанса». В 1935 году издательство «Советская литература» заключило с Ахматовой договор на издание книги стихов с условием отобрать такие, в которых нет «ни мистицизма» (упоминаний о Боге. — *Е. И.*), ни пессимизма, ни «политики»[1]. «А. А. подписала с издательством договор на „Плохо избранные стихотворения“, как она говорит... — писала в дневнике Л. Я. Гинзбург. — Что за принцип — много бога нельзя, а немножко сойдет?» Но ведь это как посмотреть: «немножко Бога» уже первый шаг, а после принятия Конституции будет вольнее, ведь она гарантирует свободу совести и свободу печати.

Проект Конституции был опубликован для того, чтобы его обсуждали трудящиеся; по всей стране проходили собрания, газеты трубили о небывалом энтузиазме масс,

[1] Эта книга Ахматовой не была издана.

но поступавшие в Москву донесения областных управлений НКВД свидетельствовали о другом: рабочие и крестьяне не верили записанному в Конституции, обсуждения проходили формально, а порой на собраниях звучали контрреволюционные речи. Вот несколько выдержек из выступлений, содержавшихся в донесении УНКВД по Воронежской области[1]: «Новая Конституция — это бумажная Конституция. Статья „право на собственность“ выгодна только коммунистам, которые захватили себе много добра за время революции и хотят его закрепить за собой»; «надо заменить в Конституции слова „Кто не работает, тот не ест“ на „Кто работает, тот должен есть“... Сейчас мы работаем в колхозе, а ничего не получаем, нужно, чтобы советская власть всех нас, работающих, обеспечила хлебом»; «при перевыборах советов надо выбирать беспартийных и бывших кулаков. Эти люди умнее коммунистов и не желают чужого, а коммунисты только грабят народ... Скоро вообще власть переменится».

Но власть не переменилась, и с 5 декабря 1936 года новая Конституция СССР вступила в действие.

Одновременнно с обсуждением проекта Конституции в стране происходили другие, не менее важные события. В сентябре 1936 года Сталин обвинил государственные карательные органы в бездействии: по его словам, «ОГПУ на четыре года опоздал» с принятием неотложных жестких мер, и вместо Г. Г. Ягоды главой НКВД был назначен Н. И. Ежов. В чем провинился Ягода, ведь он трудился не покладая рук: за два года его руководства НКВД полмиллиона граждан отправилось в концлагеря

[1] Интересно сравнить упоминания об одном месте и времени: сосланный в Воронеж О. Э. Мандельштам упомянул в стихотворении «Эта область в темноводье...» (декабрь 1936 г.) Воробьевский райком: «Трудодень страны знакомой /Я запомнил навсегда./ Воробьевского райкома/ Не забуду никогда!». Воробьевский райком упомянут и в октябрьском донесении воронежского УНКВД в Москву: «Воробьевский район. Назначенный на 28 сентября пленум Воробьевского сельсовета не состоялся, т. к. председатель сельсовета Коновалов был пьян», а на других собраниях делегатами на районный съезд был «избран чуждый и разложившийся элемент». Воробьевскому райкому наверняка скоро припомнят срыв обсуждения проекта Конституции на местах.

и больше четырех тысяч было расстреляно! Его карьера увенчалась подготовкой процесса зиновьевско-троцкистского блока, 25 августа 1936 года Зиновьев и Каменев были расстреляны, а Ягода сохранил для истории извлеченные из их тел пули — и вот теперь налаженная работа, власть и даже эти пули переходили к Ежову! Почему Сталин обвинил чекистов в опоздании на четыре года, разве они не делали все, что требовалось? Тогда вождь объявил, что надо максимально укрепить и усилить государственную власть, потому что чем больше у нас побед, тем больше внутренних врагов, и пришла пора «добить остатки умирающих классов». И чекисты трудились, укрепляя власть, добивая «умирающих», — вспомнить хотя бы размах высылок из Ленинграда и искоренение остатков партийной оппозиции. Они лучше всех знали, сколько врагов у советской власти, умели распознавать их под любой личиной, да те порой и не прятались. В 1930 году, например, когда в Москве шел суд над «спецами-вредителями», в Ленинграде были устроены демонстрации под лозунгом требования смертной казни для подсудимых. Этому «предшествовали собрания во всех учреждениях, где предлагалось вынести соответствующие резолюции, — вспоминала Т. А. Аксакова. — И вот, к всеобщему удивлению, нашлось одно место, где предложенная резолюция встретила возражения. Это была Военно-медицинская академия. Там поднялся профессор Михаил Иванович Аствацатуров и сказал: „Напоминаю, что мы все принимали медицинскую присягу охранять жизнь. Поэтому мы не можем и не будем выносить смертных приговоров“». Тогда контрреволюционная вылазка сошла профессору с рук, позднее такого не прощали, и все-таки тогда и позже находились люди, открыто протестовавшие против жестокости. В общем подавленном молчании их голоса звучали особенно громко, за это нередко расплачивались свободой, и все-таки находились люди...

Свобода состоит не в том, чтобы открыто ходить по улицам и сидеть на собраниях, а в освобождении от страха — этот вывод скромного ленинградского интеллигента привел его в психиатрическую больницу. В 1932 году

с этим человеком познакомился писатель и партийный оппозиционер Виктор Серж, в своем очерке «Ленинградская больница» он назвал его Юрьевым. Юрьев был немолод, зарабатывал на жизнь продажей газет, любил литературу и, как многие, пребывал в состоянии безотчетного страха. По его словам, весь народ был задавлен страхом: рабочие «мучаются от страха умереть с голода, если не украдут, от страха перед воровством, от страха перед партией, от страха перед планом... Интеллигенты боятся понять, но боятся и не понять, боятся показаться непонимающими или не показаться понимающими... Народ боится власти, власть боится народа. На вершине государства боятся друг друга члены Политбюро... Вождь боится своего окружения, окружение боится его. Он стакана воды не выпьет без страха перед отравлением, боится самых преданных в собственной охране». Юрьев был таким, как все, пока не понял, что «раз уж опасности существуют, разумнее воспринимать их спокойно, ведь страх населяет наши души призраками, унижает, ослепляет... Страх — это заразительный, но излечимый невроз»[1]. Он сумел побороть свой страх и однажды проснулся свободным, спокойным, счастливым. Юрьев считал своим долгом поделиться секретом исцеления с окружающими, написал несколько десятков листовок «Воззвание к народу» и ночью расклеил их в центре Ленинграда. «Граждане, почему вы дрожите? Почему дрожат члены нашей Великой Партии Победоносного Коммунизма? Почему власти вскрывают несуществующие заговоры? Почему вы боитесь поднять голос против лжи и беззакония? Довольно! Кошмар прекратится завтра же, стоит только захотеть. Посмотрите друг на друга по-доброму, без страха, без злобы — мерзость и рухнет». Он подписал листовки, указал свой адрес и уже на следующий день растолковывал секрет избавления от страха следователям ОГПУ. И странное дело, они оказались бессильны — ни

[1] Сходный рецепт освобождения от страха нашел Михаил Зощенко, он рассказал о нем в повести «Перед восходом солнца». «Открытие» Зощенко относится к середине 30-х гг.; очевидно, лекарство от страха тогда искали многие.

угрозы, ни брань, ни наведенный револьвер не испугали свободного человека. «Бесплодные эти допросы посетило весьма озабоченное высокое начальство», — писал Виктор Серж, и после этого Юрьев оказался в изолированной палате сумасшедшего дома, находившегося в ведении ОГПУ.

Но Юрьев, Аствацатуров, осужденные ученые Академии наук принадлежали к старой интеллигенции, к «остаткам умирающих классов», а как обстояло дело с молодежью? Взрослевшим в 20-е годы людям тоже было непросто, для них настали «тесные» времена — изменились идеи, лозунги, пафос общественной жизни. Мечты о переустройстве мира заменила задача строительства социализма в одной отдельно взятой стране, а верность идее подготовки всемирной революции классифицировалась как троцкизм. Образцами для молодого поколения должны были служить уже не революционеры, не герои гражданской войны, а энергичные организаторы производства, толковые инженеры, ударники труда, а эталоном высшей государственной мудрости — мало примечательный в 20-х годах Сталин. Революция умерла, ее взрывная энергия иссякла, и в 1929 году Маяковский с горечью сказал Юрию Анненкову, что он уже не поэт, а чиновник. Экспериментальное искусство все чаще обвиняли в «левачестве», формализме, в искажении социалистической действительности, а от таких отзывов и разгромных критических статей был один шаг до тюремной камеры.

В конце 1931 года в Ленинграде были арестованы поэты Даниил Хармс и Александр Введенский, входившие в литературную группу «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ) — их обвинили в антисоветской агитации, скрытой под видом «зауми» в их стихах. Впрочем, борьба с формализмом в искусстве не входила в число задач ОГПУ-НКВД 30-х годов, этим занимались критики и сами деятели искусства, они формулировали политические обвинения, а чекисты только доводили дело до логического конца. Сотрудники карательного ведомства отличались невежеством, большинство руководителей ленин-

градского управления ОГПУ-НКВД 30-х годов имело низшее образование (а нарком Ежов — «неполное низшее»!); подчиненные были под стать руководству, но свое дело знали твердо. В 1933 году в Ленинграде была «ликвидирована молодежная контрреволюционная группа в составе восьми человек», участники которой штудировали и совместно обсуждали «Критику чистого разума» Канта. Канта трудно заподозрить в контрреволюционной агитации, но то, что молодежь собиралась не для танцев под патефон, а для чтения мудреных книг, настораживало, и поклонников буржуазного философа арестовали. Чекисты не ошиблись — члены кружка не ограничивались критикой «чистого разума», они критически относились к советской действительности. Один из них, Яков Левитин, заявил на допросе, что «экономическая политика Советской власти слепа, лишена теоретического руководства, стихийна и переменчива», что «производитель основного продукта питания — хлеба — перестал быть его хозяином, отсюда голод, нищета, как в городе, так и в деревне», что «никакой свободы и демократии не существует. Большевистский режим устранил какую бы то ни было возможность участия масс в управлении страной». Все это были очевидные истины, но любое упоминание о них считалось преступлением[1]. Дело участников философского кружка было рассмотрено в феврале 1934 года тройкой ОГПУ, и читателей Канта приговорили кого к трем, кого к пяти годам заключения в концлагере. Члены осудившей их «тройки»: первый секретарь обкома партии С. М. Киров, председатель Ленгорисполкома И. Ф. Кодацкий и глава ленинградского ОГПУ Ф. Д. Медведь — не предвидели собственной печальной участи: Кирову оставалось меньше года жизни, а Кодацкий и Медведь были расстреляны в 1937 году по приговору столь же скорых и неправых судов.

[1] В 1933 г. в Ленинграде рассказывали анекдот: милиционер услышал разговор двух прохожих и арестовал одного из них за антисоветскую агитацию. «Отпустите его, он ненормальный», — вступился собеседник. «Какой, к черту, ненормальный, когда все правильно говорит», — ответил милиционер и повел задержанного в отделение.

В Ленинграде 30-х годов было немало неофициальных обществ и кружков молодежи, мы узнаем о них из воспоминаний участников, но чаще из следственных дел об «антисоветских заговорах». Однако в городе действительно были тайные политические сообщества, об одном из которых рассказал Анатолий Краснов-Левитин: в январе 1936 года в Ленинграде возникла подпольная антисоветская организация «Социалистический молодежный фронт». В числе ее организаторов были Краснов-Левитин и его сокурсники по учебе в Педагогическом институте имени Герцена, Борис Григорьев и Владимир Вишневский: «... сначала мы разговаривали в основном о литературе, но вскоре наши беседы уперлись в политику... Одно, кажется, было бесспорным, что советский режим безнадежно плох». В старой России считалось, что почти каждый студент в двадцать лет придерживался революционных убеждений, но к тридцати большинство их превращалось в мирных обывателей, однако в поколении Краснова-Левитина только немногие дожили до «обывательских» тридцати. Все началось с разговоров о политике, но скоро этого оказалось недостаточно, и друзья решили создать подпольный кружок для активных действий. У каждого на примете было несколько единомышленников, в общей сложности могло набраться человек двадцать, «мы бы, конечно, их собрали и были бы немедленно арестованы», — писал Краснов-Левитин. К счастью, они решили посоветоваться с преподавательницей института, в прошлом принадлежавшей к зиновьевской оппозиции, но «разоружившейся» и открыто признавшей свои ошибки. Они пришли к ней домой, изложили свой план и услышали в ответ: «Ну, есть ли у вас что-нибудь в голове, что вы приходите ко мне с таким делом... Любой бы на моем месте позвонил в НКВД, хотя бы потому, что принял вас за провокаторов». Однако она не прогнала «заговорщиков», усадила пить чай, и в забитой книгами комнате, под светом голой лампочки, начался разговор о литературе, во время которого она невзначай рассказала о правилах конспирации и посоветовала познакомиться с одним толковым студентом из института Покровского («он много

может дать ценных указаний по литературе») и со студентом химического факультета ЛГУ Николаем[1]. На прощание преподавательница велела им забыть этот разговор и больше никогда не приходить к ней. Очевидно, она сохранила связь с партийной оппозицией и в 1937 году была арестована как троцкистка, но не выдала «сумасшедших мальчишек», приходивших к ней осенью 1935-го. По ее совету они познакомились со студентами института Покровского, будущими сельскими учителями: «Туда поступали деревенские ребята, испытавшие все прелести коллективизации... Среди них было около десятка парней, которые считали себя социал-демократами, но по мировоззрению скорее подходили к эсерам. Их в основном интересовала деревня... До чего же хорошие были люди: устойчивые, аккуратные, трудолюбивые», — вспоминал Краснов-Левитин. Кроме них в подпольную организацию вошли студенты университета из рабочей молодежи, считавшие себя большевиками-ленинцами.

В январе 1936 года члены «Социалистического молодежного фронта» составили программу, в которой перечислили цели, за которые решили бороться: за установление демократии в стране и в партии, за свободу профсоюзного движения, за право крестьян свободно выбирать способ хозяйствования без принудительной коллективизации, за свободу слова, печати, за свободу совести. «Главной целью молодежи является борьба с господствующим слоем бюрократии... Методом борьбы молодежного фронта является индивидуальная устная и (при возможности) письменная агитация среди молодежи». Примечательно, что многие пункты программы подпольной организации совпадали с положениями Конституции, которая подготавливалась в то время, — это значило, что потребность в демократических правах и свободах объединяла все общество, от партийно-государственной элиты до радикально настроенной молодежи. В 1936 году на миг пересеклись два противоположных варианта развития государственной системы: усиление деспотии правящей верхушки или поворот к демократии. В воздухе 1936 года было что-то будоражащее, пьянящее; шла гражданская война в Испании, и почти все участники «Социалистического молодежного фронта» мечтали отправиться туда добровольцами, чтобы бороться с фашизмом. Организация начала действовать, и дело продвигалось успешно: Краснов-Левитин вспоминал, как в 1936 году он преподавал русский язык в школе для малограмотных рабочих и «по ходу дела популяризировал нашу программу... И абсолютное большинство моих учеников уходили от меня, вполне усвоив программу, и были вполне подготовлены, чтобы поддержать нашу организацию». Но целью «Социалистического молодежного фронта» было не расширение состава, а агитация среди молодежи, подготовка почвы для будущего. В 1937 году, во время массовых репрессий, члены ленинградского «Социалистического молодежного фронта» решили прекратить его деятельность, но НКВД ни тогда, ни позже не было известно об этой подпольной организации, среди ее участников не оказалось ни трусов, ни предателей. Все они воевали на фронтах Великой Отечественной войны; те, кто вернулся с фронта, работали, учительствовали, и их достойно прожитая жизнь требовала не меньшей воли и мужества, чем юношеская агитация.

Конец 1936 года был отмечен торжественным утверждением Конституции и последними отголосками празднества «нового ренессанса». Лидия Жукова вспоминала о встрече нового, 1937 года: «Сначала Мариинка, где директорствовал еще наш приятель, Рувим Шапиро... помню аванложу, апельсины, и оживление, и ожидание праздника, вкусной еды, веселья». Потом компания отправилась к директору ленинградского отделения Госбанка Давиду Межову, а затем «кавалькадой, на межовских машинах, поехали к писателям, туда, к Неве... Мы были еще очень молоды, и нам хотелось всей этой „мелкобуржуазности“ — проехаться на машине, хлебнуть пьяно-

[1] А. Э. Краснов-Левитин навсегда усвоил правила конспирации и в воспоминаниях, написанных через десятки лет, назвал фамилии только тех друзей, кого наверняка не было в живых: Владимир Вишневский погиб в ленинградском ополчении в августе 1941 года, Борис Григорьев умер в блокадном городе в 1942 г.

ватого угара, кричать за столиками „С Новым годом“... У писателей было бестолково: шутовские колпаки, ленты цветастого серпантина, связавшие столики, людей невсамделишной, наигранной карнавальностью, атмосферой веселья, в котором было больше наигрыша, чем подлинной радости». Все ускоряющееся кружение, карнавальное смешение лиц и личин, тревога под маской беззаботности — таким было завершение «нового ренессанса». Ирина Кичанова вспоминала о московском веселье 1937 года, когда они с мужем, композитором Никитой Богословским, и их друзья, «герои Арктики, подчеркнуто скромные чекисты, увешанные орденами, актеры, писатели», — «вся эта разудалая компания по вечерам неслась из „Националя“ в Клуб мастеров искусств»; и в Ленинграде «Никита продолжал носиться по городу с еще большим остервенением, чем в Москве, но только по ленинградскому кругу: из Дома кино в Дом актера, с банкета на банкет». О лихорадочном «кружении» писала и Лидия Жукова: тогда у ее мужа появился новый приятель, «задира, обожатель дам... он пришелся очень по вкусу моему суровому, ученому Мите. Вместе, заступаясь за „вдов и сирот“, они били кому-то морду, куда-то неслись, таясь от жен, болтали „про баб“, словом, прожигали жизнь в меру того, что доступно было жуирам тех лет». В воспаленном воздухе конца 1936-го — начала 1937 года было растворено страстное желание жить, заслониться от гибели неведением, работой, суетой, любовными увлечениями и романами, ведь в большинстве своем люди советской элиты были молоды. Там, где скоро будут решаться их судьбы, тоже царило жутковатое веселье. Оставшийся в 1938 году на Западе видный деятель НКВД Александр Орлов вспоминал: «20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК-ОГПУ-НКВД, Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет», на котором один из них развлек товарищей, изображая Зиновьева перед расстрелом: «...поддерживаемый под руки двумя коллегами... Паукер простер руки к потолку и закричал: „Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый!“» Пройдет немного времени, и многие присутствовавшие на этом банкете, в том числе шутник Паукер, будут расстреляны.

«Тридцатые — коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й — и притом вовсе не подавленность, — вспоминала о настроении молодой интеллигенции Л. Я. Гинзбург, — но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять... Это было возможно и в силу исторических условий, и в силу общечеловеческих закономерностей поведения социального человека. К основным закономерностям принадлежат приспособляемость к обстоятельствам; оправдание необходимости (зла в том числе) при невозможности сопротивления; равнодушие человека к тому, что его не касается». Эти закономерности позволяли находить объяснение для любого абсурда, например, для приказа учителям сдирать обложки с ученических тетрадей, рвать их и сжигать. В начале 1937 года, к столетней годовщине гибели Пушкина, были выпущены школьные тетради с обложками, украшенными иллюстрацией Васнецова к «Песне о вещем Олеге», но «кто-то рассмотрел, что узоры на мече Олега образуют слова: „Долой ВКП(б)“. Буква „б“, правда, не на мече, а где-то на каблуке княжеского сапога», — вспоминал Краснов-Левитин. Оправдание насилия позволяло равнодушно относиться к «изъятию» из города дворян и других чуждых элементов; в марте 1937 года из Ленинграда было изъято 3627 человек, среди них рабочие и служащие, которые, скрыв свое происхождение, втерлись в ряды ВЛКСМ и даже ВКП(б)! В Ленинграде не было покоя даже в относительно спокойные времена, в глазах советских вождей он всегда был гнездом крамолы, и массовые репрессии здесь начались раньше, чем в других городах, — в 1936 году наряду с планомерными высылками горожан здесь производилась «окончательная ликвидация троцкистско-зиновьевского подполья». По свидетельству Краснова-Левитина, в 1936 и 1937 годах «несметные толпы наполняли оставшиеся храмы... В великом посту сотни тысяч человек приступали к исповеди и причастию. Подавалось огромное число записок о здравии „скорбящих“ (термин „заключенный“ был запрещен)».

Весной 1937 года в очередную волну арестов людей, обвиненных в принадлежности к троцкизму, попал заведующий сектором истории культур и искусств Востока в Эрмитаже Дмитрий Петрович Жуков.

«Большой террор» 1937—1938 годов — одна из загадочных страниц советской истории. Чем он был вызван, какие цели преследовал, против кого был направлен? Его нельзя объяснить экономическими причинами, ведь, судя по данным статистики, промышленность тогда находилась в периоде роста, собранный в 1937 году урожай зерна намного превысил урожаи предыдущих лет; уровень жизни городского населения, по сравнению с началом 30-х годов, заметно повысился. «Большой террор» невозможно объяснить стремлением Сталина укрепить свою власть[1], к этому времени она была незыблемой. В современной литературе можно встретить утверждение, что политика Сталина была направлена на укрепление государства, но какой государственной необходимостью объяснить арест полутора миллионов граждан и казнь почти 700 тысяч человек? Правда, за время коллективизации в стране было загублено в несколько раз больше человеческих жизней, однако террор 1937—1938 годов оставил в памяти современников особый отпечаток. Арестованный в 1938 году поэт Николай Заболоцкий писал, что в тюрьме у него «созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом».

Однако постановление о начале массовых репрессий было принято не фашистами, а Политбюро ЦК ВКП(б)

[1] Такое объяснение дал Н. С. Хрущев в докладе «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС (25 февраля 1956 г.).

2 июля 1937 года, и уже через две недели ленинградское Управление НКВД направило начальникам окружных отделов этого ведомства и руководству милиции приказ взять на учет «бывших кулаков, уголовников и других враждебных элементов, ведущих активную антисоветскую подрывную работу», и внести их в списки двух категорий. Отнесенные к первой категории люди «подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках, — расстрелу», попавшие во вторую, «менее активные, но все же враждебные элементы... должны быть заключены в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет»[1]. 31 июля 1937 года в ленинградское Управление НКВД пришло распоряжение Ежова: «Согласно представленных Вами учетных данных утверждаю Вам следующее количество подлежащих репрессиям: по первой категории — четыре тысячи, по второй категории — 10 тысяч [человек]». Такой размах работы требовал пополнения кадров, и летом 1937 года партийные комитеты предприятий и военных частей Ленинградского округа провели мобилизацию коммунистов для службы в НКВД. Карательный механизм был запущен на полную мощность, и утвержденный Ежовым план по «первой категории» был выполнен уже в сентябре. А в общей сложности в Ленинграде и Ленинградской области в 1937—1938 годах было расстреляно 44 460 человек[2].

Какая социальная группа советского общества больше других пострадала во время репрессий 1937—1938 годов? Политические противники Сталина утверждали, что он направил основной удар на старых партийцев и коммунистическую молодежь призыва 20-х годов, и обвиняли его в перерождении и измене делу революции. Однако прислушаемся к словам одного из этих противников, Ф. Ф. Раскольникова, который встретился со Сталиным

[1] В октябре 1937 г. ЦИК СССР постановил увеличить максимальный срок заключения за «контрреволюционные преступления» до 25 лет.

[2] В то время в состав Ленинградской области входили нынешняя Псковская, Новгородская, Мурманская области и часть территории Вологодской области.

в 1936 году, — его поразило несоответствие вождя духу времени, сознательное неприятие возможностей, которые могла дать жизнь: «Сталин — человек с потребностями ссыльнопоселенца. Он живет просто и скромно, потому что с фанатизмом аскета отвергает жизненные блага: ни культура, ни жизненные удобства, ни еда его не интересуют». Теми же качествами отличался Ленин, и Сталин был в этом смысле самым последовательным продолжателем ленинской традиции. «Переродился» не он, а бывшие соратники, которые хотели пользоваться всеми благами и преимуществами правящего класса.

Старые партийцы ужаснулись беззаконию и жесткости выпестованной ими системы, только когда сами попали в ее жернова. Соратник Ленина Х. Г. Раковский, который в далеком 1918 году угрожал курским народным учителям расстрелом за «контрреволюцию», на одном из допросов сказал следователю: «Я напишу заявление с описанием всех тайн мадридского двора — советского следствия... Пусть я скоро умру, пусть я труп, но помните... когда-то и трупы заговорят». Но голоса Раковского и ему подобных потонули бы в хоре миллионов замученных и погубленных по их воле людей. Конечно, зная о методах советского следствия, можно посочувствовать и Раковскому, и председателю Ленгорисполкома И. Ф. Кодацкому, который перед расстрелом просил своего палача: «Ты меня не расстреливай. Я старый большевик. Меня сам Ленин знал». Жертвами террора стали многие известные чекисты, в том числе восемь бывших руководителей ВЧК-ГПУ-ОГПУ в Петрограде-Ленинграде. Л. М. Заковский, который с 1934 года возглавлял ленинградское Управление НКВД, был расстрелян; сменивший его М. И. Литвин избежал ареста, покончив самоубийством. Нарком Ежов, два года державший страну в «ежовых рукавицах», признал в показаниях на суде, что он «почистил 14 тысяч чекистов, но огромная моя вина заключалась в том, что я мало их почистил».

В карательном ведомстве сложились свои уродливые традиции — Г. Г. Ягода, как уже упоминалось, приказал извлечь пули из тел Зиновьева и Каменева, затем эти

жуткие сувениры перешли к Ежову. Для чего их предназначали, уж не для Музея ли революции, в котором хранились пистолеты палачей царской семьи и прочие реликвии, чтобы потомки могли приобщиться к славному прошлому? Другой традицией, сложившейся в карательном ведомстве той поры, стала своеобразная «эстетика казни», интерес к тому, как человек вел себя перед смертью (конечно, это касалось знаменитых и значительных людей). В верхах НКВД с презрительной издевкой вспоминали малодушие Зиновьева, валившегося в ноги палачам, зато военачальники Тухачевский и Якир держались мужественно, крикнув перед растрелом: «Да здравствует товарищ Сталин!» Расстрелянный в феврале 1940 года Н. И. Ежов не изменил этой славной традиции, успев за секунды до смерти восславить товарища Сталина.

В 1964 году К. И. Чуковский разговорился на отдыхе с дипломатом, послом СССР в Великобритании А. А. Солдатовым, о том, какая часть общества больше других пострадала в 1937—1938 годах. Солдатов считал, что «особенно пострадали партийцы... И, конечно, это неверно: особенно пострадали интеллигенты», — записал Чуковский. Правы были и тот, и другой: жертвами террора стали члены партии и беспартийные, крупные администраторы и инженеры, врачи, агрономы, деятели науки и искусства. Можно согласиться и с Красновым-Левитиным, утверждавшим, что «после 1936 года началось буквальное наступление на рабочий класс... Террор, направленный якобы против интеллигенции, на деле был направлен против рабочего класса». Расстрельные списки свидетельствуют, что колхозное крестьянство пострадало тогда не меньше, чем рабочий класс. Словом, это была великая чистка, и трудно предположить, что она не имела определенной цели.

Социальные утопии нежизнеспособны, со временем люди приспособились к новым условиям жизни, и советское общество 30-х годов значительно отличалось от того, которое большевики «конструировали» при военном коммунизме. Не был ли террор 1937—1938 годов попыткой вернуть страну назад, к времени, когда большевист-

ская идеология реализовалась в чистом виде? Многие следствия «большого террора» подтверждают это предположение. Репрессии проводились под лозунгом тотальной чистки, ликвидации контрреволюционеров всех мастей, возвращения к железной дисциплине и жесткому порядку. В пору военного коммунизма Ленин и Троцкий вынашивали идею мобилизации населения страны в трудовые армии, и в 30-х годах этот план постепенно реализовался путем всеобщей принудительной коллективизации и увеличения «трудовой армии» ГУЛАГа, которая постоянно пополнялась потоками узников. С второй половины 30-х годов положение рабочего класса все больше напоминало о времени военного коммунизма — на предприятиях постоянно увеличивались нормы выработки и таким образом уменьшались заработки трудящихся. Каждое «подтягивание норм» начиналось с прославления героев стахановского движения, перевыполнявших план на 200, 300, 400 процентов, а затем нормы повышали для всех.

В 1939 и 1940 годах вышли постановления о судебной ответственности руководителей, допустивших к работе прогульщиков и опоздавших больше, чем на двадцать минут, и о продлении рабочего дня. Теперь за самовольный уход с предприятия человек попадал в тюрьму, трудящихся лишили права менять место работы и насильно прикрепили к рабочим местам. Колхозное крестьянство фактически вернули к времени продразверстки — планы обязательных поставок государству составляли львиную долю колхозной продукции, а сама деревня жила впроголодь. Следствием «большого террора» стала изоляция населения страны от внешнего мира, с 1937 года любые связи с зарубежьем рассматривались как преступление, тогда репрессировали не только возвращенцев, но и иностранных коммунистов, переселившихся в страну Советов. Подводя итог, можно сказать, что причиной террора 1937—1938 годов была попытка власти вернуть страну к начальным основам большевистской государственности, повернуть жизнь вспять.

Один из ленинградских старожилов, в 1937 году студент ЛГУ, вспоминал, что, вернувшись после каникул,

он заметил, как изменилась городская толпа — на улицах почти не было женщин в яркой, нарядной одежде. По словам другого ленинградца, летом 1938 года в воздухе города чувствовался запах горелой бумаги, он доносился из раскрытых окон. Скорее всего, в этих воспоминаниях отразилось позднейшее представление авторов о том, что происходило в Ленинграде того времени. Вероятно, больше правоты в свидетельстве Л. Я. Гинзбург, которая писала: «Напрасно люди представляют себе бедственные эпохи прошлого как занятые одними бедствиями... Тридцатые годы — это не только труд и страх, но еще и множество талантливых, с волей к реализации, людей... Тридцатые годы — это ленинградский филфак во всем своем блеске... или великий ленинградский балет с враждующими балетоманами — одни за Уланову, другие за Дудинскую. Страшный фон не покидал сознание. Ходили в балет и в гости, играли в покер и отдыхали на даче те именно, кому утро приносило весть о потере близких, кто сами, холодея от каждого вечернего звонка, ждали гостей дорогих». Ночами эти люди прислушивались к шуму проходящих машин, к шагам на лестнице, а утром шли на работу, слушали на собраниях речи о притуплении классовой бдительности, потом занимались обыденными делами.

Забот хватало, в городе по-прежнему было трудно с товарами, и очереди у магазинов были куда заметнее скорбной очереди на Шпалерной улице, где принимали передачи для узников, или у прокуратуры на Литейном. «Социализм у нас декретировали давно, а до сих пор ни пары носков, ни паршивеньких брючек, ни ботинок, хотя бы с матерчатым верхом и на резиновой подметке, не купишь», — писал в 1938 году Аркадий Маньков. Трудности были привычные, но теперь их объясняли происками враждебных элементов: бывших кулаков, торговцев и спекулянтов, проникших в торговлю, поэтому в числе репрессированных в Ленинграде в 1937—1938 годах оказалось почти все руководство торговых организаций и множество работников торговли. Конечно, дефицит всегда порождает спекуляцию, но вряд ли враждебные элементы

украли все носки, ботинки, валенки и брюки, предназначенные трудящимся Ленинграда, — однако этому верили. Трудно сказать, верили ли сведениям о раскрытии шпионских и вредительских гнезд на всех предприятиях, в вузах, в столовых, в библиотеках, в детских домах — на страницах газет регулярно появлялись такие сообщения. Как можно было жить, работать, сохранять относительное спокойствие в это опасное, страшное время? Помогало сознание того, что ты честно делаешь свое дело и ни в чем не замешан, поэтому тебя это не касается. Вот в общежитие ЛГУ пришли арестовать студентку, она не плакала, ни о чем не спрашивала, взяла приготовленный узелок с вещами, и ее увели. Опомнившись, соседки начали рассуждать: во-первых, она дочь священника, во-вторых, заранее приготовила вещи, значит, ждала, что за ней придут, а значит, во что-то замешана. Во что, известно НКВД, а наше дело спокойно учиться, честно трудиться, ведь жизнь продолжается.

Особенностью кампании 1937—1938 годов была видимая бессистемность арестов: если при коллективизации репрессировали кулаков, а после убийства Кирова высылали из Ленинграда «бывших людей», то в этом была пусть страшная, но хоть какая-то логика. А то, что происходило теперь, походило на эпидемию чумы, которая косила людей без разбору. По свидетельству Л. К. Чуковской, «человек круглосуточно пребывал в ужасе перед судьбой и в то же время не боялся рассказывать анекдоты и в разговорах называть чужие имена: расскажешь — посадят и не расскажешь — посадят. Написал письмо Ежову в защиту друга — и ничего, не тронули; написал множество доносов, посадил множество людей — а глядишь, — и тебя самого загребли». Аркадий Маньков после очередных арестов на историческом факультете ЛГУ записал в дневнике: «...начинаешь привыкать к этому и уже как-то перестаешь связывать подобного рода эксцессы с возможностью своего провала». Лучше было не вдумываться, не вглядываться, заслониться от тревоги и страха работой, житейскими заботами, глядишь, чума и обойдет стороной. Город продолжал жить привычной

жизнью, на улицах встречались красивые, нарядные женщины, и мужчины провожали их взглядами, а вечерами окна домов светились теплым светом оранжевых абажуров, потом гасли, и люди засыпали до нового дня.

В спящем городе всю ночь горел свет в окнах Большого дома, за стенами этого здания был другой, запредельный мир, в котором царили ложь, насилие и жестокость. Оттуда было только два пути — на расстрел или в концлагерь, но прежде узник проходил кругами ада, от первого ошеломления, когда ему предъявляли фантастические обвинения, до безысходного отчаяния. Нигде человек не был так нестерпимо, так отчаянно одинок, как в переполненных камерах Дома предварительного заключения или Крестов. Нередко узники сходили с ума, у Николая Заболоцкого после нескольких дней непрерывных допросов начались галлюцинации: «Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин». Не об этой ли книге он написал в 1934 году в стихотворении «Лодейников в саду»?

Лодейников склонился над листами,
и в этот миг привиделся ему
огромный червь, железными зубами
схвативший лист и прянувший во тьму.
Так вот она, гармония природы!
Так вот они, ночные голоса!
На безднах мук сияют наши воды,
на безднах горя высятся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
хорек пил мозг из птичьей головы,
и страшно перекошенные лица
ночных существ смотрели из травы.

У людей из круга Заболоцкого образ Лодейникова ассоциировался с поэтом Николаем Олейниковым. Ко времени ареста Заболоцкого Олейникова уже не было в живых, его расстреляли. Он был арестован в июле 1937 года за «участие в контрреволюционной троцкистской организации» — это обвинение следователи выбили у его друга Дмитрия Жукова. В последний раз они увиделись на очной ставке: несчастный, сломленный Жуков повторял свой оговор, Олейников все отрицал; трудно представить себе ужас этой встречи. Позже у Олейникова вырвут признание об участии в террористической организации, а у Жукова об их совместном шпионаже в пользу Японии, и их расстреляют в один день, 24 ноября 1937 года. Карательная машина работала как мясорубка, бывало, за день расстреливали больше ста человек, палачей не хватало, и к этой работе привлекли работников автопарка и других служб НКВД. За каждого казненного им платили 200 рублей. Имелись и более существенные формы поощрения сотрудников НКВД: они занимали опустевшее жилье «врагов народа», наследуя всю обстановку и домашний скарб. Во время конфискации имущества осужденных чекисты забирали не только ценности, но и мебель, хорошую одежду, одеяла, постельное белье, словом, все, что им приглянулось. Конфискованные книги свозили в Петропавловскую крепость, там был открыт спецмагазин, в который, среди других привилегированных лиц, имели доступ члены творческих союзов Ленинграда, и они пользовались случаем пополнить свои библиотеки. В общем, все происходило как в стихотворении Заболоцкого: «Природа, обернувшаяся адом,/ свои дела вершила без затей./ Жук ел траву, жука клевала птица...»

Жизнь обернулась адом не только для жертв террора, но и для их семей, для детей «врагов народа» — и все это совершалось под лозунгом очищения общества от чуждых и враждебных элементов. Но стало ли общество чище, прибавилось ли в нем идейно закаленных строителей коммунизма, о воспитании которых твердила пресса тех лет? Террор привел к противоположным результатам: народ

был еще больше разобщен, в сознании людей укоренился рабский страх, цинизм, боязнь проявления инициативы, то, что А. И. Солженицын назвал «массовой паршой душ». Интеллектуальная и культурная жизнь Ленинграда приходила в упадок, в 1936—1938 годах были репрессированы многие ученые, а на их место пришли невежды и беспринципные карьеристы. «Нынче принципами никого не удивишь, — записал в 1939 году Аркадий Маньков. — Нынче подай должность и деньги — более ничего не нужно». Хорошая должность не зависела от знаний, квалификации или таланта, важнее всего была анкета, не замаранная сомнительным происхождением или родством с врагом народа, особенно в сочетании с «блатом». Слово «блат» вошло в обиход в начале 30-х годов, тогда появилась поговорка: «Блат сильнее наркомата»; по блату можно было добыть все — от дефицитных товаров и путевки на курорт до высокой должности.

В результате террора второй половины 30-х годов еще больше углубилась пропасть между народом и властью: «Получается впечатление чрезвычайно растущего недовольства властями. Резкое ухудшение высшей бюрократии, отсутствие самых необходимых продуктов, понижение партийного уровня. Огромный произвол. Сейчас слышны такие рассуждения публично, которые еще недавно были невозможны, хотя опаска доносов очень сильна», — записал в 1940 году академик В. И. Вернадский. Он отмечал, что «полицейский коммунизм растет и фактически разъедает государственную структуру», что режим непрочен, несмотря на тотальную слежку, что в торговле по-прежнему процветает воровство, и все же «что-то большое делается — но не по тому направлению, по которому ведет власть». Советский режим, как и раньше, удерживался и управлял страной при помощи испытанных средств: террора, голода, угрозы войны. Мы видим это на примере Ленинграда: вскоре после свертывания кампании массового террора, во время советско-финляндской войны город оказался в прифронтовой зоне, затем была Великая Отечественная война, блокада и гибель огромной части населения Ленинграда.

В конце 30-х годов неизбежность войны была очевидной, но пропаганда твердила, что она будет недолгой, победоносной, и победа в ней достанется малой кровью. Начавшаяся 30 ноября 1939 года советско-финляндская война сразу развеяла все иллюзии, в жизни города зимы 1939/40-го года мы уже можем различить грозное предвестье будущего. В сумерках Ленинград погружался во тьму, улицы не освещались, окна домов были плотно завешены, горожанам было запрещено пользоваться электроприборами, следовало экономить электричество. Эта зима запомнилась давящей темнотой, небывалыми морозами, слухами о больших потерях на фронте, перебоями с продуктами, повышением цен и сумрачными очередями у магазинов. «Маленькая войнишка, а уже ни черта нет, — писал в дневнике Аркадий Маньков. — Мать на морозе четыре часа стояла в очереди за двадцатью коробками спичек. Нет предмета, за которым бы не было чудовищных очередей: булки, керосин, мясо, чай, мука, масло и т. д. и т. п. Тыл дезорганизован. Дров нет, электричества не хватает». Победные реляции быстро сменились сообщениями о боях на отдельных участках фронта: в сорокаградусные морозы советские войска штурмовали самую мощную оборонительную систему того времени — линию Маннергейма на Карельском перешейке. Линия Маннергейма была сооружена по последнему слову военной техники, состояла из нескольких полос укреплений, и прорвать ее было почти невозможно.

С Новым Годом! С новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем,
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?

Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых не видать, —

написала Анна Ахматова в январе 1940 года. На фронт непрерывно шло подкрепление (а оттуда поток раненых и обмороженных), и в феврале 1940 года советские войска прорвали линию Маннергейма на нескольких направлениях. 12 марта 1940 года советско-финляндская война закончилась подписанием мирного договора, к СССР отошла территория Карельского перешейка и граница с Финляндией была отодвинута от окрестностей Ленинграда. Эту войну можно было бы назвать «маленькой победоносной кампанией», если бы не два обстоятельства: потери советской армии в ней, по различным данным, составили от 200 до 300 тысяч человек; после начала Великой Отечественной войны переданные СССР по мирному договору территории на несколько лет вновь отошли к Финляндии. В ходе советско-финляндской войны вблизи Ленинграда за три зимних месяца было убито, искалечено, изранено едва ли меньше людей, чем расстреляно в стране в период «большого террора».

В 1965 году Анна Андреевна Ахматова побывала в Англии, а на обратном пути встретилась в Париже со знакомыми, уехавшими из России после революции. В разговорах она несколько раз назвала покинутый ими город Ленинградом и на вопрос: «Вы говорите Ленинград, а не Петербург?» ответила: «Я говорю Ленинград потому, что город называется Ленинград». Ахматова была точна: того Петербурга, который помнили ее собеседники, уже не существовало, изменилось не только имя, но вся жизнь города. Казалось, окончательную черту, отделившую его от прошлого, подвела ленинградская блокада. В августе 1941 года искусствовед Н. Н. Пунин записал в дневнике: «Один человек справедливо сказал сегодня: „В сущности, нас уже двадцать пять лет приглашают поскорее умереть“». Двадцать пять лет не слишком большой срок даже для человеческой жизни, но его хватило для насильственного изменения «состава крови» бывшей столицы после вымаривания ее жителей при военном коммунизме, расстрелов, высылок, террора 30-х годов.

Ко времени Великой Отечественной войны коренные петербуржцы, свидетели и участники революционных событий, уже составляли меньшую часть населения города, после блокады их стало еще меньше. Всего двадцать пять лет отделяло Петроград февраля 1917 года, заполненный толпами веселых, возбужденных предчувствием перемен людей, скандировавших «Хлеба... хлеба!», от Ленинграда февраля 1942 года, чьи улицы, скверы, дворы были усеяны трупами умерших от голода. После войны он опять наполнился жителями; город, над которым витали сонмы теней погибших, ожил, однако его обитатели мало походили на петербуржцев начала века. Изменились не только традиции, стиль поведения, привычки, но и язык, интонации, даже выражение лиц: «...я заметил, что в нынешнюю волевую эпоху вообще лица русских людей менее склонны к мимике, чем в прежнее время», — записал в 1946 году К. И. Чуковский. Казалось, прошлое навсегда отчуждено, заслонено испытаниями страшных лет, события революции и начала 20-х годов были искажены лживым мифом, и горожанам тяжелого послевоенного времени было не до оглядки на прошлое. Но город хранил память о былом, в нем не стерлись следы прежней жизни, в частности, жизни героев этой книги.

Николай Павлович Анциферов переселился в Москву еще до войны, но часто приезжал в Ленинград, встречался с друзьями, навещал могилу жены и всякий раз приходил на набережную к Академии Художеств, чтобы отыскать полустертый мазок синей краской на одном из сфинксов. Этот мазок появился 5 февраля 1914 года, в день венчания Анциферова с Т. Н. Оберучевой. Шафер Анциферова, молодой историк А. В. Тищенко, возвращаясь домой после их свадьбы, «перед сфинксом... заметил кисть и баночку с синей краской. Ему было так весело, что хотелось дурачиться. Взял и сделал мазок. И вот я до сих пор, посещая свой родной город, подхожу к сфинксу и отыскиваю этот мазок...» — вспоминал Николай Павлович. Еле заметный след краски на каменном теле сфинкса напоминал Анциферову об одном из самых счастливых дней в его жизни.

Вещественных следов недавнего прошлого сохранилось много, среди них — мозаичная картина «Отъезд А. В. Суворова из села Кончаковского на кампанию 1799 года» на фасаде музея Суворова. Ее автор — художник М. И Зощенко, отец писателя Михаила Зощенко. Михаил Михайлович любил вспоминать, как отец позволил ему выложить елочку на переднем плане картины, — так в запечатленную память о полководце причудливо вплелось воспоминание о детстве замечательного писателя. Анна Ахматова поставила в эпиграф к своей «Поэме без героя» девиз герба на ограде Шереметевского дворца — «Deus conservat omnia» (лат. «Бог хранит все»). Да, Бог хранит все, даже то, что стерто временем, но продолжает незримо жить в памяти города. В 20-х годах на могиле Александра Блока на Смоленском кладбище часто появлялись цветы, их приносили почитатели поэта. «Мы часто гурьбой ходили на „блоковскую дорожку“... — вспоминала Лидия Жукова, — большая, широкая аллея немоты, где на березе, большой и мощной, у самого края могилы Блока кто-то ножиком вырезал: „Ты в поля отошел безвозвратно“[1]. Буквы росли вместе с березовой корой, вытянулись, замысловато растанцевались, — какая-то фантастическая клинопись! Выветрило ее давно, должно быть, время, да и жива ли та береза?» Останки Александра Блока в 1944 году перенесли на Волковское кладбище, и давно нет той березы — и все-таки она жива, пока мы помним о ней.

Но, может быть, самое важное для нас — духовная связь с замечательными людьми 20—30-х годов, знаменитыми и безвестными, оставившими научные труды, произведения искусства или просто потаенные дневники и письма с правдивым свидетельством о своем времени. Их голоса были заглушены шумом эпохи, но именно таким людям, порой даже не зная о них, мы обязаны тем, что могли уберечь себя от нравственной порчи. Одна из них — Евгения Александровна Свиньина, старая, мудрая жен-

[1] Измененная начальная строка стихотворения Блока «Вступление» (1905): «Ты в поля отошла без возврата».

щина, умершая в блокадном Ленинграде зимой 1942 года. В письмах она просила внучку Асю не мечтать о возвращении на родину, прежней России она не найдет, прошлое умерло, и «как ни дорога могила, но жить на могиле и могилой нельзя». Анастасия Борисовна Дурова (Ася) приехала в Ленинград в 1959 году, пришла в квартиру, в которой жила бабушка, и оказалось, что Евгению Александровну здесь помнили, — соседка сохранила ее иконки, несколько фотографий, письма; видно, было в старой женщине из «бывших людей» нечто, отчего память о ней сберегли в страшную пору блокады. Такие, как она, люди сохраняли лучшие качества людей прежней России, и эти качества унаследовали их потомки. Анастасия Борисовна Дурова, работавшая в Москве в 60—70-х годах, передавала за рубеж рукописи А. И. Солженицына, помогала многим участникам правозащитного движения, она никогда не была равнодушна к тому, что происходило в России.

Завершить эту книгу я хочу рассказом о двух ленинградских ученых, астрофизике Николае Александровиче Козыреве и историке Льве Николаевиче Гумилеве. Их имена вошли в историю науки: Л. Н. Гумилев — автор ряда работ, посвященных истории Центральной и Восточной Азии, и создатель учения об этногенезе, Н. А. Козыреву принадлежит несколько значительных открытий в области астрофизики и создание «теории времени», согласно которой источником космической энергии, которая организует наш мир, является время. В 30-х годах они были очень молоды, им обоим прочили блестящее будущее в науке, но познакомились они не в Ленинграде, а в норильском концлагере в 1939 году.

Сотрудник Пулковской обсерватории Н. А. Козырев был арестован осенью 1936 года; тогда НКВД затеяло дело о «заговоре» интеллигентов, жертвами которого стали многие ленинградские ученые. Одного из них, директора Астрономического института Б. В. Нумерова, обвинили в создании «фашистской зиновьевско-троцкистской террористической организации», по этому делу было осуждено более ста человек, в том числе Н. А. Козырев. Студента исторического факультета ЛГУ Льва Гумилева арестовали в марте 1938 года (это был третий его арест) и после суда осенью 1939 года этапировали на север. Там, в концлагере за Полярным кругом, они и встретились.

Человека можно лишить всего, отнять свободу, бросить в нечеловеческие условия, но нельзя заставить его не думать. В тюремной камере Дмитровского централа, а потом в концлагере Козырев продолжал обдумывать проблему источников звездной энергии. По свидетельству Л. Н. Гумилева, «еще на первом курсе истфака автору [т. е. Л. Н. Гумилеву] пришла в голову мысль заполнить лакуну во Всемирной истории, написав историю народов, живших между культурными регионами: Западной Европой, Левантом (Ближним Востоком) и Китаем (Дальним Востоком)». Таким образом, в концлагере Норильска встретились люди, каждый из которых готовился к заполнению лакун, пересмотру контекста современной науки.

За время знакомства с Николаем Александровичем Козыревым я не раз слушала его воспоминания о прошлом — эти рассказы восстанавливали атмосферу, в которой зарождались будущие открытия. Первые месяцы Козырев и Гумилев были на общих работах, разгружали составы на станциях Норильска и Дудинки и, как только выпадала краткая передышка, садились на рельсы и разговаривали. Разговоры продолжались на Мерзлотной станции, начальником которой назначили Козырева, а Гумилев стал его помощником; эти беседы были важны для обоих, они будили творческую мысль, в них оттачивались новые идеи. Вероятно, тогда формировалась идея Л. Н. Гумилева о природе пассионарного толчка, происходящего под воздействием луча космической энергии на отдельные регионы планеты. Н. А. Козырев уже тогда обдумывал гипотезу об источнике космической энергии, которая положена в основу его теории. «Согласно его теории, небесные тела (и планеты, и звезды) представляют собой машины, которые вырабатывают энергию, а „сырьем для переработки“ служит время, — писал биограф ученого А. Н. Дадаев. — Оно в силу особых физи-

ческих свойств способно продлить активность и жизнеспособность объекта: чем дольше существует объект, тем больше обретает способность к продолжению существования».

Во время работы над этой книгой я часто представляла себе двух заключенных на мерзлых железнодорожных рельсах, двух молодых петербургских интеллигентов, ведущих разговор о звездах, планетах и об истории народов на планете Земля. Они не знали, что им, вопреки всему, отпущено время для долгого творческого труда в родном городе. Время, которое не только старит, но и возрождает, в потоке которого не остывает прошлое и созидается будущее, время, несущее энергию для продолжения жизни нашего мира.

2000–2002

Иерусалим—С.-Петербург

Основные источники

КНИГА ПЕРВАЯ

Авсеенко В. Н. История города Санкт-Петербурга в лицах и картинках. 1703–1903. Исторический очерк. СПб., 1993.

Анциферов Н. П. «Непостижимый город...» СПб., 1991.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977.

Белый Андрей. Петербург. Л., 1981.

Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Кн. 1–5. М., 1980.

Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.

Божерянов И. Н. Невский проспект. Культурно-исторический очерк двухвековой жизни Петербурга. Т. 1–2. СПб., 1901–1903.

Божерянов И. Н. Санкт-Петербург в Петрово время. Иллюстрированный исторический очерк. Вып. 1–3. СПб., 1901–1903.

Блок А. Дневник. М., 1989.

Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965.

Бурцев В. Л. В погоне за провокаторами. М., 1989.

Валишевский К. Дочь Петра Великого. Елизавета I, императрица всероссийская. М., 1993.

Георги И. Г. Описание столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей окрестностей оного. СПб., 1794.

Гнедич П. П. Книга жизни. Воспоминания. 1855–1918. Л., 1929.

Голлербах Э. Ф. Город муз. Л., 1930.

Дашкова Е. Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985.

Декабристы. Избранные сочинения. Т. 1–2. М., 1987.

Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого в 1721–1725 годах. М., 1857.

Записки князя Н. С. Голицына// Русская старина. 1880 (ноябрь, декабрь), 1881 (январь, март, апрель).

Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890—1910 годов: Записки очевидцев. Л., 1991.
Каганович А. Л. «Медный всадник»: История создания монумента. Л., 1975.
Кони А. Ф. Петербург: Воспоминания старожила. Петроград, 1922.
Курбатов В. Я. Петербург. СПб., 1913.
Кшесинская М. Ф. Воспоминания. М., 1992.
Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. Л., 1930.
Мацулевич Ж. А. Летний сад и его скульптура. Л., 1936.
Мельгунов С. Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот 1917 года. Лондон, 1984.
Мемуары декабристов. М., 1988.
Мережковский Д. С. Петр и Алексей. М., 1990.
Никитенко А. В. Дневник. М., 1955—1956.
Очерки истории Ленинграда. М.-Л., 1955.
Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов и пр. СПб., 1901.
Плен графа Гордта в России // Русский архив. Кн. 2. 1877.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 т. М., 1974—1978.
Пыляев М. И. Старый Петербург. М., 1990.
Розанов В. В. Сочинения. Л., 1990.
Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.
Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991.
Русские мемуары. 1800—1825. М., 1989.
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград: Энциклопедический справочник. М., 1992.
Саруханян Е. Г. Достоевский в Петербурге. Л., 1970.
Свиньин П. П. Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей. Ч. 1—5. СПб., 1816—1828.
Солженицын А. Красное колесо. Август четырнадцатого. Париж, 1983.
Солженицын А. Красное колесо. Октябрь шестнадцатого. Париж, 1984.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 15 книгах. М., 1962—1963. Кн. 8—9.

Степняк-Кравчинский С. М. Россия под властью царей. М., 1965.
Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. М., 1928.
Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. Л., 1970.
Фигнер В. Н. Запечатленный труд: Воспоминания. М., 1964.
Шмурло Е. Ф. Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. 1. (XVIII век). СПб., 1912.
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. М., 1991.
Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982.
Яцевич А. Г. Крепостные в Петербурге. Л., 1933.

КНИГА ВТОРАЯ

Академическое дело 1929—1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993.
Академическое дело 1929—1931 гг. Вып. 2. Дело по обвинению академика Е. В. Тарле. СПб., 1997.
Аксакова Т. А. Дочь генеалога // «Минувшее». Исторический альманах. № 4. М., 1991.
Алданов М. Урицкий // Наш современник. 1990. № 2.
Александр Блок в воспоминаниях современников. М.,1980.
Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1—2. М., 1991.
Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992.
Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1964.
Бережков В. И. Питерские прокураторы. СПб., 1998.
Берберова Н. Железная женщина. М., 1991.
Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. Нью-Йорк, 1983.
Бикерман И. Россия и русское еврейство // «Россия и евреи». Сборник статей. Берлин, 1924.
Бондаренко П. П. Дети Кирпичного переулка // «Невский архив». Историко-краеведческий сборник. М.-СПб., 1993.
Борман А. А. Москва — 1918 (из записок секретного агента в Кремле) // «Русское прошлое». Историко-документальный альманах. Кн. 1. Л., 1991.
Бухарин Н., Зиновьев Г. Июльские дни 1917 года. Киев, 1919.

Вагинов К. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. М., 1989.
Васецкий Н. А. Г. Е. Зиновьев. Страницы политической биографии. М.,1989.
Васецкий Н. А. Ликвидация: Сталин, Троцкий, Зиновьев. М., 1989.
Введенский А. Произведения 1926—1937. Т. 1. М., 1993.
Верхарн Э. Стихотворения; «Зори» // БВЛ, т. 142. М., 1972.
Вестник областного комиссариата внутренних дел Союза коммун Северной области. 1918. № 2.
Вечерняя Красная газета. Издание Петроградского совета Р. и К. д. (1923—26 гг.).
Володарский. Речи. Петроград, 1919.
Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.
Воспоминания о Михаиле Зощенко. СПб., 1995.
Герман М. Ю. Сложное прошедшее: Главы из книги воспоминаний // Невский архив. Кн. III. СПб., 1997.
Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998.
Гибель царского Петрограда: Февральская революция глазами градоначальника А. П. Балка // Русское прошлое. Кн. 1. Л., 1991.
Гинзбург Л. Я. Записные книжки: Новое собрание. М., 1999.
Гиппиус З. Живые лица: Стихи. Дневники. Кн. 1—2. Тбилиси, 1991.
Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика: Справочник-путеводитель. СПб., 1997.
Гранин Д. А. Ленинградский каталог // Собрание сочинений в 5 т. Т. 5. Л., 1990.
Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. М., 1989.
Жукова Л. Эпилоги. Книга первая. Нью-Йорк, 1983.
Заболоцкий Н. А. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965.
Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990.
Зиновьев Г. Хлеб, мир и партии. Петроград, 1918.
Зиновьев Г. Интеллигенция и революция. Доклад на Всероссийском съезде научных работников 23 ноября 1923 года. М., 1924.
Зонин С. А. Первый шквал // Морской сборник. 1991. № 11.
Зонин С. А. Теория и практика перманентного уничтожения: Из истории гибели офицерского корпуса российского флота // Звезда. 1994. № 9.

Зощенко М. Возвращенная молодость. Перед восходом солнца. М., 1991.
Зощенко М. Избранное в двух томах. Л., 1982.
Зубов В. П. Страдные годы России: Воспоминания о Революции (1917—1925). Мюнхен, 1968.
Иванов Вяч. Вс. «Голубой зверь» (Воспоминания) // Звезда. 1995. № 1—3.
И. П. Павлов в институте экспериментальной медицины: Сборник статей. СПб, 1994.
Каганович Б. С. Люди и судьбы: Д. И. Шаховской, С. Ф. Ольденбург, В. И. Вернадский, И. М. Гревс по их переписке 1920—30-х годов // Звезда. 1992. № 5.
Каганович Б. С. Начало трагедии: (Академия наук в 1920-е годы по материалам архива С.Ф. Ольденбурга) // Звезда. 1994. № 12.
Калашникова В. Володарский. М., 1925.
Кичанова-Лифшиц И. Прости меня за то, что я живу. Нью-Йорк, 1982.
Ключарева М. И. Страницы из жизни Санкт-Петербурга 1880—1910 // Невский архив. Кн. III. СПб., 1997.
Князев В. В. В. Володарский. Петроград, 1922.
Князев Г. А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции, 1915—1922 гг. // Русское прошлое. Кн. 2. СПб., 1991.
Кожинов В. Россия. Век XX-й (1901—1939). М., 1999.
Краснов-Левитин А. Лихие годы. 1925—1941. Париж, 1977.
Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 1998.
Ласкин А. Неизвестные Дягилевы, или Конец цитаты. СПб., 1994.
Лебина Н. Б. Ищите женщину, или Размышения в пустой спальне // Звезда. 1997. № 10.
Ленинградский мартиролог. 1937—1938. Т.1—4. СПб., 1998.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989.
Линдстрем Н. В. 28 скорбных писем голубого гусара. 1931—1937 гг. // Русское прошлое. Кн. 6. СПб., 1996.
Лишенцы: 1918—1936 / Публикация А. И. Добкина // «Звенья». Исторический альманах. Вып. 2. М.-СПб., 1992.

Лосский Б. К изгнанию людей мысли в 1922 году // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып. 1. Иерусалим, 1992.
Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999.
Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990.
Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в четырех томах. М., 1991.
Маньков А. Г. Из дневника рядового человека (1933—1934 гг.) // Звезда. 1994. № 5.
Маньков А. Г. Из дневника. 1938—1941 гг. // Звезда. 1995. № 11.
Мариенгоф А. Б. и др. Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990.
Мельгунов С. П. Красный террор в России. Нью-Йорк, 1979.
Мельтцер Е. Л. Комментарии к жизни // Минувшее. № 20. М.-СПб., 1996.
Наппельбаум И. М. Памятка о поэте // Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988.
Неизвестная Россия. XX век. Кн. 1—2. М., 1992.
Нежный А. Комиссар дьявола // Звезда. 1993. № 4.
Нежный А. Плач по Вениамину: Документальная повесть // Звезда. 1996. № 4.
Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990.
Никольская Т. Л. К. К. Вагинов (Канва биографии и творчества) // Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988.
Огонь, мерцающий в сосуде: [Произведения Н. А. Заболоцкого, анализ творчества, воспоминания современников] / Сост. Н. Заболоцкого. М., 1995.
Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988.
Олейников Н. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000.
Пайпс Ричард. Создание однопартийного государства в советской России (1917—1918) // Минувшее. № 3—4. М., 1991.
Пайпс Ричард. Три «почему» русской революции //Минувшее. № 20. М.-СПб., 1996.
Пантелеев Л. Приоткрытая дверь. Из старых записных книжек. 1924—1947. Л., 1980.
Перченок Ф. Ф. К истории Академии наук: снова имена и судьбы.... [Список репрессированных членов Академии наук] // In memoriam. Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.-СПб., 1995.
Пиотровский Б. Б. Эрмитаж: История и современность. М., 1990.
Раскольников Ф. Ф. О времени и о себе: Воспоминания, письма, документы. Л., 1989.
Росляков М. Убийство Кирова. Л., 1991.
Самойлов В. О., Мозжухин А. С. Павлов в Петербурге—Петрограде—Ленинграде. Л., 1989.
Свиньина Е. А. Письма в Париж (1922—1938) // Звезда. 1997. № 11.
Селин Луи-Фердинанд. Безделицы для погрома: Ленинград 1936 года глазами писателя Л.-Ф. Селина // Невский архив. М.-СПб., 1995.
Селищев А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926). М., 1928.
Семенов-Тян-Шанский В. П. Фрагменты воспоминаний // Звенья. Вып. 2. М-СПб., 1992.
Сергей Есенин. Материалы к биографии. М., 1992.
Советский эрос 20—30-х годов: Сборник статей. СПб., 1997.
Соколов Б. Михаил Тухачевский. Жизнь и смерть красного маршала. Смоленск, 1999.
Солженицын А. Архипелаг Гулаг. Т. 1—3. М., 1989.
Сухоплюев Ив. Октябрины. Харьков, 1925.
Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995.
Тэффи. Ностальгия: Рассказы. Воспоминания. Л., 1989.
Уралов С. Г. Урицкий. Л., 1929.
Флеровский И. П. В. Володарский. М., 1922.
Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1991.
Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991.
Цендровская С. Н. Крестовский остров от нэпа до снятия блокады // Невский архив. М.-СПб., 1995.
Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1—3. М., 1997.
Чуковский К. Дневник 1901—1929. М., 1991.
Чуковский К. Дневник 1930—1969. М., 1995.
Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989.
Шаляпин Ф. И. Воспоминания. Страницы моей души. Маска и душа. М., 2000.
Шварц Е. Живу беспокойно... Из дневников. Л., 1990.

Шенталинский В. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М., 1995.
Шкаровский М. В. Ленинградская проституция и борьба с ней в 1920-е годы // Невский архив. СПб., 1993.
Шкаровский М. В. Семь имен «кошки»: расцвет наркомании в Ленинграде в 1917—1920-е годы // Невский архив. Кн. III. СПб., 1997.
Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М.,1990.
Шнейдерман Э. Бенедикт Лившиц: арест, следствие, расстрел // Звезда. 1996. № 1.
Штакельберг Н. С. «Кружок молодых историков» и «Академическое дело» // In memoriam. Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.-СПб., 1995.
Штурман Д. О вождях российского коммунизма. Кн. 1—2. Париж; Москва, 1993.
Щеглов Ю. К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев» // Ильф и Петров. Двенадцать стульев. М.: Панорама, 1995.
Щеглов Ю. К. Комментарии к роману «Золотой теленок» // Ильф и Петров. Золотой теленок. М.: Панорама, 1995.
Яров С. В. Кронштадтский мятеж в восприятии петроградских рабочих (по неопубликованным документам) // Звенья. Вып. 2. М.-СПб., 1992.

Содержание

От автора 5

КНИГА ПЕРВАЯ

Начало города. *Орел над островом. Возведение крепости. Петропавловский собор. «Красные хоромы» и Адмиралтейский дом. Заселение Петербурга* 9

«Парадиз» среди топей. *Печальный край. На Троицкой площади. Иностранцы в Петербурге. Петр и Москва. Строение города, или Любовь к геометрии. Александро-Невский монастырь.* 22

Будни, праздники, события. *«Жесткий дух порядка». Обязанности горожан. Немецкое платье и налог на бороды. День Петра I. Царская забота о просвещении подданных. Праздники и торжества. «Всепитейный собор». Ассамблеи. Фискалы и обер-инквизиторы. Судьба царевича Алексея. Смерть Петра Великого* 37

После Петра. *«Похитительница престола». Торжество временщика. Колесо Фортуны. Запустение Петербурга. Императорский двор покидает столицу. Славные деяния генерал-фельдцейхмейстера Миниха* 59

Жестокая пора. *Воцарение Анны Иоанновны. Засилье иностранцев у власти. Тяготы жизни в Петербурге. Нравы императорского двора. Свадьба в Ледяном доме. Труды Комиссии о Санкт-Петербургском строении. Дело Волынского. Дворцовый переворот 1741 года* 71

Петербург времен Елизаветы. *Блистательный Растрелли. Время чудес и превращений. Смягчение нравов в столице. Записки графа Гордта. Ксения Петербургская. «Продерзостный» Ломоносов. Меценат Шувалов и развитие искусств* 86

«Парадиз в парадизе». Летний сад в XVIII веке. *«Царский огород». Скульптуры Летнего сада. История Венеры Таврической. Очевидец об одном из петровских празднеств. Летний сад после Петра I* 103

Торжество Фелицы. *«Голштинец» на престоле. Недовольство в столице. Странные события на Дворцовой площади. Расцвет Петербурга. Дворцовое строительство. «Медный всадник». Характер петербуржца. Дашкова — директор Академии наук. Увлечения горожан. Волнения и невзгоды. Роскошь екатерининских вельмож. «Город пышный, город бедный...»* 115

Нескучное время. *«Вечный наследник». Перемены в жизни города. Немилость императора. Михайловский замок. Смерть Павла I и радость в столице* 143

Романтический Петербург. *Картинки городской жизни. В Летнем саду. «Когда народ пробудился...» Поколение победителей. Литературные собрания. Новые интересы офицерства. Рыцарственный Милорадович. «Ночная княгиня». Наводнение 1824 года. Четырнадцатое декабря. Конец прекрасной эпохи* 158

«Город самовластья». *Важнейшие постройки и благоустройство городского центра. Чудеса прогресса. Холера 1831 года. Пожары. «Русский костюм». Пушкин в Петербурге. Подмостки для императора. Сочинитель Белинский. Опасные мечтатели. Вражеский флот в заливе. Смерть Николая I* 209

«Век девятнадцатый, железный...» *Медовый месяц либерализма. В праздничные дни. Изобилие снеди. Вокруг Сенной площади. Студенческие волнения 1861 года. Общественное воодушевление и городские пожары. События, отразившиеся в романе «Бесы». Осуждение Чернышевского* . . . 239

Петербург террористов. *Покушение Каракозова. Жертвы, мученики, злодеи. Убийство Александра II. Казнь народовольцев. «Тайные диктаторы России»* 259

Заводь уходящего столетия. *Город преображается. Слободские. Строительная лихорадка. Городские традиции. Знаменская площадь. Музыкальный Петербург. Роман престолонаследника. Революционное затишье. Иоанн Кронштадтский* 273

Закат Петербурга. *Прекрасное Царское. Праздники воздухоплавания. Синематограф и прочие плоды прогресса. Трамвай через время* 297

Пляски смерти. *Пораженцы и террористы. Январь 1905 года. Охотник за провокаторами. Провокатор Азеф. Юбилейные торжества в Петербурге. Молодцы юнкера! Самоубийства среди молодежи. Секты в городе. Распутин и Щетинин. Успех футуристов. Предвестья войны. После объявления войны. «Полное разложение». Убийство Распутина* 312

«Мы новый мир построим...» *Февральская революция. Кшесинская против РСДРП(б). Тревожный июль. Хроника большевистского переворота. «В плену у обезьян». Буржуй Шаляпин. Петербургу быть пусту? Высылка «людей мысли» в 1922 году. Моровая полоса. Город, преобразующий души* . . . 343

КНИГА ВТОРАЯ

Введение 381

После переворота. *«Люди четвертого измерения». Питерская заварушка. Казаки в Гатчине и бой под Пулковом. Разгон Учредительного собрания* 387

Военный коммунизм. *Голод в Петрограде. Что хорошего в новом режиме? Поэма «Двенадцать» как петроградская*

хроника. Володарский. Красный террор. Убийство и похороны Урицкого. Баллада о сайке. «Холера может решить проблему голода». Григорий Зиновьев. Оборона города в 1919 году. Обыски, уплотнения, слухи 407

Люди культуры. *Культурная политика большевиков. Горький и «Всемирная литература». «Пайколовство». Дворец Искусств. Скандал на банкете. Литературные вечера. «Фармацевты» и «акушерки». Борис Каплун* 454

Двадцать первый год. *Матросы в революции. Рабочие волнения в Петрограде. Кронштадтские «мятежники». Подавление восстания. Смерть Александра Блока. Дело Таганцева* 480

Вперед — к нэпу! *Прелесть запустения. Кладоискательство. «Сооружение для ног». Юные робинзоны. Граждане и дамочки. Ленин как законодатель моды. Барахолки. Большие надежды* 511

Борьба с церковью и ее последствия. *Церковь — прибежище. Разграбление храмов. Обновленцы. Суд над «церковниками». Священник Михаил Яворский. «Октябрины» и «звездины». Сексуальная революция. Крематорий — символ прогресса. Кладбища Александро-Невской лавры* 531

Житье-бытье. *Петербургские персонажи в петроградской жизни. Наводнение 1924 года. Поэт Василий Князев. Коммуналки. О мебели. Городская флора и фауна. «Берегите своих кошечек!» Медвежий бунт. Мир Константина Вагинова* 563

Бывшие люди. *Прошлое пахнет тлением. «Старорежимные» люди. Молодежь перед выбором: Игорь Рудаков, Вера Кетлинская, толстовец Брукер. Чем объяснить самоубийства? Из хроники происшествий. Гибель Сергея Есенина. Литераторские нравы. Поэт и чернь* 595

Город-мир. *Хозяин города. Высылки из Ленинграда. О сахаре и галошах. Борьба с мещанством. Смычки. Воитель Иван Петрович Павлов. Достижения науки и техники. Грандиозные планы. Теневые стороны жизни: беспризорные, инвалиды войны, налетчики. Питерская шпана. Суд над «чубаровцами». Пьянство* 622

«Новый Гоголь народился...» *«Серапионовы братья». Невыдуманные персонажи. Зощенко и Шостакович. Нищий Тиняков. Сталин и Зощенко. Катастрофа 1954 года. Юбилейный вечер* 660

Время на переломе. *На окраине. Гонения на нэпманов. Искусство для народа. Человечность вопреки идеологии. Интерес к старине и развитие краеведения. Ожидание войны. Академия наук живет по старинке. После юбилея. В тисках. «Академическое дело». Судьбы: Н. С. Штакельберг, Н. П. Анциферов* 682

Большие перемены (Ленинград в конце 20-х — начале 30-х годов). *Продажа культурных ценностей. Отношение города к коллективизации. Приток новой «рабсилы». Мужики. Николай Олейников и Дмитрий Жуков. Первые итоги соцстроительства. Новая аристократия. Трудности жизни. Нищие жертвователи. «Голубые е́ды». Ложное пространство архитектуры и жизни. Праздники и будни 1934 года. Убийство Кирова и его последствия* 721

Ленинград второй половины 30-х годов. *«Цивилизованные европейцы» де Кюстин и Селин о России. Новый ренессанс. Демократическая Конституция. Чем провинился Генрих Ягода? Свободный человек Юрьев. Молодежные кружки и тайные организации. В начале 1937 года. План и график «большого террора». Время, назад! Обыденная жизнь на фоне страха. Запредельный мир. Советско-финляндская война. Бог хранит все* 768

Основные источники 803

Литературно-художественное издание

Елена Алексеевна Игнатова

ЗАПИСКИ О ПЕТЕРБУРГЕ

Жизнеописание города
со времени его основания
до 40-х годов XX века

Ответственный редактор *Игорь Степанов*
Художественный редактор *Егор Саламашенко*
Технический редактор *Любовь Никитина*
Корректоры *Лада Киревичева и Вера Чаленко*
Верстка *Наталии Нагиной*

Подписано в печать 28.02.2005.
Формат издания 60×90 1/16. Печать офсетная.
Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 51,00.
Заказ № .

Торгово-издательский дом «Амфора».
197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 15, литера А.
E-mail: amphora@mail.ru

Отпечатано с диапозитивов
в ФГУП «Печатный двор» им. А. М. Горького
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.